



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (474)

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Лариса Йоонас. Мировое словесное электричество. <i>Стихи</i>	3
Ольга Аникина. Белая обезьяна, чёрный экран. <i>Роман</i>	7
Юрий Гудумак. Американский фронтир. <i>Стихи</i>	115
Алексей Слаповский. Рассказы из книги «Туманные аллеи».....	118
Настя Запоева. «нас накрывает тьмой...» и др. <i>стихи</i>	135
Сергей Зельдин. «Джунгарский Алатау» и др. <i>рассказы</i>	140
Иван Стариков. «Занимательная палеонтология» и др. <i>стихи</i>	150
Владимир Тучков. Преображение. <i>Рассказ</i>	157
Андрей Торопов. «Едет, едет шанхайский экспресс» и др. <i>стихи</i>	161
Михаил Окунь. «Коллекционер» и др. <i>рассказы</i>	168
Рафаэль Шустерович. Набережная. <i>Стихи</i>	171
Дмитрий Колисниченко. Метель. <i>Рассказ</i>	177

РЕТРОСПЕКТИВА

Сергей Боровиков. Из дневника (1994–1999).....	189
---	-----

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Виктор Иванів. Два стихотворения из письма. <i>Подготовка текста и комментарий Алексея Дьячкова и Елены Горшковой</i>	214
---	-----

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Сто пятьдесят пудов булавок.....	216
--	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Сергей Соловьев. Между жизнью и записью. <i>Некоторые фрагменты из фб</i>	248
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борис Кутенков. «И вся земля видна...» <i>Денис Новиков. Река-облака</i>	286
--	-----

Александр Вергелис. «Ничтожна смерть, сильней любовь моя» <i>Калле Каспер. Песни Орфея</i>	292
--	-----

Андрей Пермяков. Феномен танкетки, или Короче, некуда <i>Александр Корамыслов, Полина Потапова. Танкетки на двоих</i>	295
---	-----

Станислав Секретов. Маленькие романы <i>Инна Иохвидович. Женский портрет</i>	299
--	-----

Анна Голубкова. Глобальное экзистенциальное целое <i>А.А. Житенев. Палата риториков: избранные работы о поэзии, исповедальном дискурсе и истории эмоций</i>	301
---	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Вячеслав Лопатин. Происхождение Радищевского музея (<i>Продолжение</i>).....	304
---	-----

ЛАРИСА ЙООНАС

МИРОВОЕ СЛОВЕСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Невозможно рассказывать рыбам
о пресуществлении даров
когда они плывут серебристыми косяками
изгибаясь единым телом радужным и блестящим
как металлический нож преломляемый лезвием вод

кипарисам наслаивающим ветви
на плоскости ветров тоже невозможно
проповедовать слово
их дыхание само невыносимо неповторимо

невозможно также сообщить благую весть лесу
он сам благая весть провозвестник чудесного сотворения
от подземных холодных сосудов
до высохших игл в безвоздушном заоблачном небе

ничего невозможно сказать и некому
все давно всем известно всеми познано
так единственный стоишь на себя замыкая
мировое словесное электричество.

Каждую ночь бригадный генерал
снится десяткам людей
со всей планеты

снится в разных ракурсах
в погонах и без погон
в парадной форме или в банном халате
с плохо различимым во тьме лицом

люди вздыхают и ворочаются во сне
кто-то тянет руки к потолку и невнятно бормочет

Лариса Йоонас (Larissa Joonas) родилась в 1960 году в Татарстане. Окончила Московский энергетический институт. С 1983 года живет в г. Кохтла-Ярве, Эстония. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Воздух», «Новый Таллинн», «Радуга» (Таллинн), альманахе «Воздушный змей» (Тарту), в сетевых журналах.

фиолетовые мигалки улиц
бродят по мертвым комнатам
натываясь на холодные предметы

наутро люди разбредаются
по привычным местам повинности
от стеклянной гармонике барной стойки
до замызганных приводов
металлообрабатывающих станков

эта незаметная армия
все еще боеспособна
готова встать к плечу плечо
по первому взмаху генеральской руки
никто из них об этом пока не знает
не знает и генерал истлевая
с вытянутой вперед рукой
указывающей направление движения

но это общее дыхание
синхронизированное мерной поступью
иногда оборачивает землю
необъяснимым страхом
как невидимыми частицами
летающими в указанном направлении
сквозь еще пульсирующие тела.

Она вспомнила об умершем муже за обедом
за супом из судака с картофелем и зеленью
заплакала от одиночества
внезапно вернувшегося всем своим ужасом
плакала вынимая изо рта рыбную кость
осознавая неуместность этой кости
этого супа и обеда

но все это было так неразделимо
справедливо и справедливо неуместно
смерть и одиночество
мертвые люди и рыбы
мужчины и женщины
плачущие за супом из судака.

Если бы у меня было много денег
я бы построила хранилище для старых книг
которые оказались никому не нужны

они бы дотлевали тихо свой век
рассыпаясь на крохотные частицы
все еще несущие на себе прикосновение прошлого

детям бы разрешалось бродить в этих лабиринтах
трогать корешки с выступившим клеем и солью
наблюдать кожеедов и древоточцев
пропустивших через себя столько премудрости
сколько не способен вместить человеческий разум

влюбленные назначали бы там свидания
потому что нет ничего трагичнее уходящего времени
на фоне которого счастье ощущается острее

так я думаю уже в который раз
аккуратно складывая в контейнер для бумаги
книги умершего неизвестного мне эстонца
вынесенные из полуразрушенного дома
которые я опять пыталась спасти
и опять не справилась с этим.

Если бог существует
то неустанно дежурит возле томографа
прощая и милуя всех
и тех кто не молился тоже

ведь он единственный кто знает
сколько их было
не веривших в его существование.

Слишком много любви в этих проклятых вагонах
толпящихся между людьми и потерявшимися собаками
столько любви что они мечутся обезумевшие
бьются друг о друга и не могут двинуться
сжав железные гулкие руки свои у железных невидящих лиц.

Он исчезает
как я исчезаю из собственного страха
исчезновения из этого мира
вне присутствия не существует переживаний
только горизонт растягивается будто на вырост

боковое зрение пытается сохранить пиратскую копию
уходящего за.

Необходимо жить так как будто это последний день
как будто последнее стихотворение
как будто последняя прогулка по улице
сквозь сырой и жесткий воздух убивающий гниющие деревья
сквозь чуть слышный свист капель под вывернутыми облаками
трудно удержаться на ногах не успеваешь за вращением земли
которая зачем-то спешит не придержать но еще получается
ощущать прекрасную боль от невозможности продления происходящего

прогулка в магазин надо купить мороженое
и желе и взбитые сливки и маленькие меренги
детям очень важны ритуалы символы продолжения жизни.

Я думала мои стихи острые звонкие просматриваемые насквозь
пронзающие ледяные зазубренные ранящие смертельные
истончающиеся до камертонового звона
разрезающие воздух разрезающие ткань
вспарывающие пространство
проникающие насквозь
убивающие навывлет

думала мои стихи теплые густые шелковые гладкие
обволакивающие молочные ласковые обнимающие
прощающие осознающие себя протекающие
по чистой влажной коже принимающей прикосновение
как понимание не нуждающееся в словах

думала
а они были как не имеющий формы песок
уплывающий сквозь высохшие пальцы.

Ольга АНИКИНА

БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА, ЧЁРНЫЙ ЭКРАН

Роман

3 марта 2023 г.

...Дзынь! Ку-ку. Дзынь! Ку-ку.

Если в доме на стене висят часы с кукушкой, значит, этому дому много лет. В современных квартирах не бывает таких часов.

Наверное, и время в них течёт совсем по-другому. Гораздо быстрее. А в нашей – медленно.

Кукушка, отсчитав последний положенный коробок, ныряет обратно, в темноту. Представляю себе часы изнутри, вижу тёмный маленький коробок, где ютится гладкое, покрытое тусклым лаком птичье тельце. К нему плотно прижата игрушечная головка, плотно сложены крылья, крепящиеся на кольчатых пружинах. Клюв закрыт, птица неподвижна, она спит или слушает отголоски слабых вибраций собственного крика. Шестерёнки и стрелки отрезают ровные промежутки секунд, секунды сыплются на пол, словно обломки. Мы поднимаем гирыку маятника каждый день в одно и то же время. Чтобы получать секунды, часы и дни, надо кормить кукушку.

Через полчаса мне нужно приготовить еду для другой моей подопечной. Днём – полдник, кисель. Вечером – толчёный картофель и мясное пюре. Утром – каша. Строго по расписанию.

Прохожу на кухню, включаю чайник. Эмалированный, со свистком. Бывает, чайник пересвистывается с кукушкой, и я очень этому рад. Хорошо, когда у тебя есть собеседник. Бывает так, что гудение, свист и кукование – важнее слов. Наполненной, чем слова.

Прохожу обратно в комнату. Звуки: кукушка, чайник, мои шаги. Ещё будет стук клавиш. Так, так, так. Тихий, щёлкающий звук. Печатные машинки перевелись, вымерли – но мне больше нравится, как стучит клавиатура компьютера. На компьютере печатать может кто угодно и текст может быть каким угодно. Дневник, переписка или финансовый отчёт. А могут быть такие записи, которые веду я.

Меня зовут Юра. Юрий Иванович Храмов. Раньше я был врачом, а сейчас работаю сиделкой. Сидельцем. Ухаживаю за тяжёлыми больными. Меняю памперсы, мою своих подопечных, кормлю. Делаю всё, что должен уметь хороший медбрат, и плюс к тому – если больной умирает, оказываю ему экстренную помощь. Работаю в этой сфере всего три года, однако в своей области я спец. Ещё не старик, но ни на какую другую работу уже не соглашусь. Потому что я здесь не случайно, и я буду здесь, пока нужен.

Не подумайте, что я в свои пятьдесят бросил работу по специальности, опустился, деградировал. Всё случилось совсем не так. Я не одинок, хотя старый друг и бывшая жена со мной почти не общаются.

Ольга Аникина – поэт, прозаик, критик. Родилась в Новосибирске, закончила Новосибирский медицинский институт и Литературный институт им. Горького. Публикации в журналах «Сибирские огни», «Новый Мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба Народов», «Новая Юность», «Дети Ра» и др. Автор трёх поэтических сборников. Роман «Тело ниоткуда» (М.: Современная литература, 2014) стал дипломантом премии им. Н.В. Гоголя в номинации «Вий». Шорт-лист (2014), дипломант (2016) Волошинского конкурса. Предыдущая публикация в «Волге» – рассказы (2017, № 3-4).

Ложечка позвякивает о края чашки. Пить несладкий чай так и не научился. Размешиваю в нём пол-ложки мёда. Удивляюсь: сейчас можно выбрать любой сорт. Однажды я попробовал чайное поило со вкусом дыма. Пьёшь его – и кажется, что жуёшь головешку из костра. А в детстве у нас было только два вида чая. Считалось, что в жёлтой пачке со слоном хранится самый лучший и самый душистый чай номер один. Но были ещё зелёные бумажные упаковки, был цейлонский – однако до девяностых в нашем доме он не водился. Я всегда был непривередлив, потому что вырос в семидесятых.

Кисель согрелся, но подопечная спала, и я не стал её будить. «Проснитесь, выпейте снотворное». Когда я работал врачом, всегда морщился, слыша подобные остроты. Нет. Не разбужу. Пусть поспит.

В доме уже несколько дней холод. Что-то с батареями отопления. Для старых домов обычное дело. Звонил в ЖЭУ – сказали, что на первом этаже, в пустующей квартире, прорвало трубу. Нужно утепляться, жечь электричество. От местного обогревателя в комнате сохнет воздух. Ночью подопечная кашляла. Я испугался: может, это вирус? Поставил у изголовья кровати банки с водой. Купил в аптеке морской спрей. Сделал ей две-три ингаляции. Кашлять перестала. Притащил из дома обогреватель, масляный, тяжёлый. Если включить его на полную мощность, другие электроприборы лучше не трогать: вышибет пробки. Вот и греемся как можем. Мне-то ещё ничего. Я могу ходить из комнаты в комнату, закутавшись в одеяло. Могу литрами пить чай с мёдом. Отжаться от пола пятнадцать раз – вполне ещё могу.

Поменял ей грелку, подложил под ноги. Прикоснулся к кончику её носа. Так мы шупали нос Сашке, когда он в младенчестве спал в коляске на улице. Отличный способ проверить, не замёрз ли ребёнок. Вроде бы нос у неё был тёплый, но я притащил из соседней комнаты ещё одно одеяло. Чем хороши квартиры стариков – в них всегда неограниченное количество подушек и одеял.

Ничего, скоро потеплеет. Так я зимой всегда утешаю сам себя. А нынче март. Пусть даже холодный месяц, но март – уже весна. Все, кто доживает до весны, могут чувствовать себя героями. Нет ничего стыдного – чувствовать себя героем. Это не гордыня. Это – предчувствие праздника. «Человек создан для счастья». Я уже совсем по-другому понимаю эту фразу. Я наконец додумался до её смысла. Смысл в том, что человек, появившись на свет, всю жизнь учится быть счастливым. Поначалу кажется: речь – о свободе действий или свободе ощущений. Бывает, приходишь к выводу: дело в количестве вещей, которыми ты можешь управлять. Иногда пытаешься перевести неясное чувство в более материальный эквивалент, например, в деньги. Порой радуешься, когда находишь в себе силы от всего отказаться. Сперва я отождествлял счастье с самим собой: с собственной силой, собственным разумом, с собственной любовью. Набивал своё «я» доверху, пока оно не лопнуло по швам.

Потому что не может быть счастье внутри человека. Всегда оно где-то снаружи. Иначе бы человек не рождался для него.

Мой график работы в последний год – довольно стабильный: два через три. По выходным я тоже целыми днями занят: разбираю архив не кого-нибудь, а профессора В., знаменитого психиатра. Несколько раз в неделю прихожу в квартиру его дочери. Присматриваю за помещением, раз в полгода вызываю уборщицу, Клининг-службу, так теперь принято называть.

Обхожу комнаты. Открываю и закрываю дверцу шкафчика из карельской берёзы. Касаюсь жёлтого абажура с китайскими драконами; он поразительно быстро собирает на себя пыль. Долго стою перед репродукцией картины, знакомой с детства, и каждый раз поражаюсь, как удалось художнику передать структуру полупрозрачной ткани ягод-виноградин, сквозь которые просвечивает южное солнце.

Но основная моя работа – архив. Архив огромен: всё кладовое помещение (Э. Д. называла его «подсобка») забито стоящими друг на друге чемоданами. Архив самого профессора – чемоданы, обшитые драным сукном, или советские, с металлическими заклёпками. Архив дочери – дешёвые тканевые сумки, забитые бумагами картонные ящики из ИКЕА, а ещё – бумажные папки с надписями «Дело №», связанные шнурами.

Моя задача – отделить научные статьи от обычных заметок, дневники – от писем. Разложить по категориям: что-то на продажу, что-то перепечатать и оформить в виде книги. Копии историй болезни самых интересных пациентов я складываю в отдельную стопку. Никто лучше меня не смог бы это сделать. Ведь я – бывший врач и бывший пациент.

Доктора Давыда Осиповича В. называют светилом отечественной психиатрии. Но для меня важно не это. Я очень многим обязан семье профессора и ему самому. Никогда не знал его лично, и так уж получилось, что знакомился я с ним по мере расшифровки его записей. Но теперь, когда архив почти полностью мной разобран и изучен, могу с уверенностью сказать, что вся моя жизнь, как есть, строится на его философии, взглядах и вере. Он дал мне опору, такую, на которую я в своё время и не мог рассчитывать. Она прочнее человеческого разума, она способна противостоять ужасу пережитой вины и грядущему беспросветному одиночеству.

В одной из картонных «икеевских» коробок, год назад ещё я обнаружил собственную историю болезни. Никакой потрясающей информации я там не нашёл: стандартная схема назначения препаратов, дневник наблюдения с пунктуально прописанными цифрами пульса, давления, температуры тела. Копия документа, похожая на многие другие. Но меня повергли в трепет аккуратно сброшюрованные распечатанные листы А4, заполненные мелким текстом, с редкими карандашными пометками на полях. Э. Д., которая делала пометки, относилась к тексту со всей возможной деликатностью, каким бы корявым ни было моё повествование. Э. Д. – человек, которого я уважал и любил.

Листы были напечатаны почти четыре года назад, во время моей болезни. Автор текстов – я сам. Писал я их по заданию Э. Д. Сейчас, переступив определённый временной и духовный рубеж, я даже наедине с самим собой порою испытываю чувство неловкости, вспоминая тот период своей жизни. Но именно такой путь и был мне предназначен. Душевная болезнь – не тот диагноз, которого я сейчас боюсь. Малодушные – это когда у человека мало души. Вот чего я боюсь на самом деле. Мало души, и человек не может заполнить ею всё своё счастье и всё горе. Примерно то же происходит, когда нужно сделать важную покупку, а денег в обрез. И потом оказывается, что по дешёвке ты купил совершенно ненужную вещь.

Я счёл правильным поднять собственные записи и восстановить их последовательность. Я соединил в правильном порядке не только заметки, найденные в архиве семьи доктора В. Довольно много текстов тех лет было скопировано в мемори-банк моего домашнего компьютера и лежало там по сей день. За эти годы я ни разу не возвратился к ним. Не исправил в них ни строчки. Может быть, боялся боли. Но позавчера, когда я перебирал страницы, пробитые дыроколом и скреплённые скобами пластиковой папки, мой взгляд пробежал по знакомым строчкам, и сердцу было легко.

Добавил к заданиям Э. Д. куски из файлов, где записывал мысли, не имеющие отношения непосредственно к истории моей болезни. Или те абзацы, которые я по той или иной причине не захотел показать Э. Д. Может быть, в своё время я счёл их неважными, но всё равно сохранил. Эти страницы дороги мне тем, что в них очень много воспоминаний про маму Надю: пожалуй, именно их я стеснялся раньше. Будучи взрослым мужчиной и отличным специалистом в своём деле, я считал нелепым постоянно возвращаться к детским переживаниям. Но записав их в текстовом редакторе, я как будто от них освободился и многое позабыл. Просматривая эти файлы сейчас, я нахожу там массу интересного.

Представленные здесь заметки нельзя читать, не добавив к ним важную составляющую: наши разговоры с Э. Д. Конечно, я восстанавливал их по памяти. Не приукрашивая, записывал всё, что вспомнилось. А вспомнил я немного. Надеюсь, тогда, когда я пытался воспроизвести её реплики, моя собеседница находилась со мною рядом и правила текст. Даже не надеюсь, а уверен в этом. Некоторым образом, моя история – дань уважения и любви к Э. Д. Она, безусловно, знала обо мне больше, чем я сам.

Мои тексты не являются обычным сборником интересных врачебных историй, притом что почти каждая ситуация, описанная мной, содержит в себе довольно любопытный медицинский

случай. Также я не хочу, чтобы мои небольшие рассказы читались как «записки сумасшедшего». Хотя некоторое время назад я, безусловно, был им. Вернее сказать, моя нервная система надорвалась под тяжестью постоянного ожидания подступающего ко мне ужаса, я был измучен одиночеством и чрезмерной, требующей повышенной ответственности работой. В те годы я пытался брать определённую высоту, и делал это только затем, чтобы приземлившись разбиться насмерть. Моё состояние казалось мне чем-то уникальным.

Но сегодня я знаю, что каждый человек, которого я встречаю на улице, когда-нибудь в жизни переживает такое. Такое или что-то не менее горькое и мучительное. Теряет землю под ногами, хватает воздух посиневшим ртом. А потом делает вдох. В этом вдохе – вся жизнь. Это и есть способ дожить до весны.

5 марта 2023 г.

Когда я познакомился с Э. Д., я работал диагностом, и пусть моё дело было невеликим, но всё-таки оно играло важную роль в необъятном больничном конвейере: от меня требовалось поставить правильный диагноз. Сама профессия диагноста предполагает некое подчинённое положение. Альфа-самцы от медицины, например, хирурги, не считают нас за врачей, ведь мы мало что можем без своей аппаратуры. Мы не назначаем лекарств, не держим в руках скальпель. Но умение видеть стоит того. Даже не видеть, а разглядывать детали, фиксировать малейшие изменения. Например, очень здорово разглядывать кукушку, сидящую внутри настенных часов, когда никто другой её не замечает.

Но в детстве, когда меня спрашивали: «Кем ты хочешь стать?» – я говорил: хозяином музея. У мамы Нади в доме стоял шкаф, снизу забитый разными художественными альбомами, которые сама она пролистывала крайне редко. Там было всё, от тяжёлых талмудов «Всеобщей истории искусств» до бесчисленных каталогов Государственного Эрмитажа и книжек, купленных на маленьких выставках. Много финских открыток и брошюр; наверное, выставки финских художников проходили в Ленинграде чаще других. До сих пор помню отдельные репродукции, и ярче всего – ужасных героев Хуго Симберга, от которых я не мог отвести глаз: злобных мальчишек, похожих на маленьких гробовщиков, и мёртвого ангела на носилках. Помню старуху с круглым брюхом и старым обветренным лицом. Особую лютость её лицу придавала выпяченная нижняя челюсть. Перед старухой сидела кошка, такая же облезлая и старая. Я смотрел и смотрел на них, не отрываясь: вот бабка сейчас наклонится к кошке и свернёт ей шею. Старуха застреля в моей памяти не случайно. Когда мама Надя внезапно и рано постарела, она и старуха стали выглядеть как родные сёстры. Просто удивительно, с какой школярской небрежностью природа перелицовывает людей, которые вдруг становятся отработанным материалом. Может быть, и мамино настоящее лицо, и лицо старухи с выпирающей челюстью – носит сейчас кто-нибудь другой.

Ни в какие музеи я с мамой Надей почти не ходил. Думаю, моё присутствие на экскурсиях сильно ей мешало. Она использовала возможность этих прогулок, по-моему, всего лишь с одной целью: ей очень хотелось с кем-нибудь познакомиться. Но если ей и удавалось подцепить ухажёра, то он сбегал от нас через неделю. От выставки оставался только каталог, и он сразу же получал прописку на полке книжного шкафа, без гарантии быть пролистанным мамы-Надинами руками.

Имелась ещё одна причина, по которой мама Надя предпочитала ходить по музеям без меня. Я очень боялся людных мест, да и сейчас ещё этот страх не изжит. Человеческий термитник вызывает во мне необъяснимую тревогу. Как только мама Надя заметила, что я, попадая в толпу, пугаюсь и перестаю слышать даже собственное имя, она решила запира́ть меня дома.

Сначала, пока мы жили в коммуналке, за мною присматривали соседи. Рядом с нами обитали две старухи и одна семейная пара с ребёнком. В задачу соседней входило заглядывать ко мне в комнату и проверять, чем я занят. В обеденное время появлялась мама Надя. Она кормила меня едой, которую приносила из больничной столовой, и снова исчезала. Больница располагалась в пяти минутах от дома. Еда была невкусной, но разнообразной, и доставалась маме Наде бес-

платно. Я не протестовал, давился и съедал всё, что мне накладывали в тарелку. Оставлять куски не разрешалось.

«В Ленинграде еду не выбрасывают», – говорила наша соседка по коммуналке, и никто ей не возражал, потому что старуха была глухая.

Когда подошла очередь на квартиру, мы перебрались в однокомнатную хрущёвку на улице Верности.

Но в сад я так и не пошёл, поскольку без конца болел. До школы оставался всего год. Мама Надя решила: будет лучше, если я проведу этот год дома.

Уходя на работу, она запирала меня в комнате. Телевизора тогда у нас не было, зато часами я мог пялиться в окно. Жили мы на четвёртом этаже, и зачатки нашего двора просматривались так же отчётливо, как узоры на ковре в маминной комнате. Я наблюдал: вот люди входят в двери парадных и выходят наружу, вот пацаны из дома напротив доламывают старые качели. Вот бабушка моего злейшего врага Ромки кормит приبلудную кошку.

Может, мне было скучно, но я этого не понимал. У одиночества имелся огромный плюс: все богатства маминого шкафа доставались только мне одному. Картины были куда интереснее, чем иллюстрации в детских книжках. Кроме того, в художественных альбомах попадалась даже обнажённая натура, которая уже тогда сильно волновала моё воображение. В общем, я стал настоящим хозяином музея.

Ещё помню альбомы с чёрно-белыми гравюрами. Особо впечатляли «Гротески» и «Тюрьмы» Пиранези. Головокружительные анфилады и полуразрушенные лестницы, перетекающие друг в друга. Сквозные цепями стены, циклопических размеров колонны и потолки, нависающие над пространствами. Казалось, что комнаты, словно каменные рыбы, заглатывают попавшего туда человека. Складчатые желудки раскачивались надо мной даже тогда, когда я отводил взгляд от рисунка.

Я закрывал книгу совершенно измученный.

Гипнотическое воздействие чёрно-белых линий, наверное, и привело меня в УЗИ-диагностику. Когда я работал на сканере, мне казалось порою, что я вижу, как устроено время. Оно серое и колышетя. На самом узком поле экрана своего чёрно-белого УЗИ-сканера я различал мельчайшую градацию серой шкалы, и в тот момент, когда цвет превращался в мысль, мой луч работал точнее, чем самые острые скальпели. Мне казалось, что я вижу объект насквозь – это облекало меня особой властью.

Мне нравилась и моя обособленность, ставшая не только частью работы, но и жизненной привычкой. Никогда меня не тянуло протирать штаны в ординаторских. В большой компании мне становилось тошно, я тупел. Не потому, что я считал других идиотами. Я полагал, что люди, если хотят быть частью общества, вынуждены демонстрировать только самые элементарно устроенные свойства собственной личности. Например, умение есть вкусную пищу с видом знатока. Или болтать о сексе. По молодости мне, как и большинству моих знакомых, приходилось посещать разного толка сборища помимо собственной воли. Прошли годы, и, проведя в людных местах свой срок, я понял, что имею право уйти на воображаемую пенсию и посылать нахрен всех тех, кто меня раздражает.

Именно эта черта передалась от меня Сашке. Его никогда никто насильно не запирали в комнате. Ему было открыто любое помещение. Но меня поражала его привычка самостоятельно закрывать за собой дверь детской, умение отвоёвывать территорию в детсадовской группе, создавать вокруг себя вакуум, сквозь который невозможно было пробиться, если ребёнок не хотел никого видеть. Он с самого рождения умел то, к чему я пришёл годам к тридцати.

Моя первая беседа с Э. Д.

Стукнула дверь. Кто-то вошёл в мою палату.

Я лежал на койке одетый, поджав ноги к животу. Глаза мои были закрыты.

От меня осталась только оболочка. Так бывает, когда в комнате после пожара остаются пустые, обгорелые стены. Любое действие, будь то чистка зубов, дорога в сортир (четыре шага от кровати и четыре обратно) или ответы на вопросы – всё давалось мне путём преодоления мучительной слабости. Чтобы произнести слово, усилием воли я заставлял себя собирать все оставшиеся ресурсы. Люди, приходившие в мою палату до Э. Д., пытались разговаривать со мной. Второй день я ничего не ел. Я чувствовал, как жизнь уходила из меня холодными невидимыми потоками: от ключиц, вдоль по рукам до самых пальцев, она стекала на больничный линолеум.

Но жаловаться было не на что: я содержался в идеальных условиях. Судя по всему, за меня хорошо попросили. Предоставили отдельную палату с удобствами. За окном располагался больничный двор-колодец; противоположная стена была выкрашена, как и положено в нашем печальном городе, в бледный лимонный цвет, на ней виднелись окна, похожие на моё, а между ними – словно издевательство – обозначались элементы декора: облупленный и выкрашенный заново портик, рельефные балюсины. Для Петербурга – вид из окна самый обычный. Если бы не решётки на всех окнах.

Вошедшая в палату пожилая женщина в белом халате поздоровалась со мной, придвинула стул и села.

Седые, убранные назад, волосы. Смуглая морщинистая кожа. Руки с тёмными пятнами на кистях. Жемчужная булавка под воротничком.

Для меня она была ещё одним жандармом. Я не собирался никак её приветствовать.

– Как чувствуете себя?

– Хуже некуда. Упечёте в отделение?

– Андрей Николаевич договорился поддержать вас тут некоторое время, пока не уляжется ситуация.

– Ах да.

– Появляться на работе нельзя. И возможно, вам понадобится медицинское освидетельствование.

– Ну и какой диагноз вы мне ввели?

– Острое обсессивно-компульсивное расстройство.

– И всё?

– Пока всё.

– Накачаете меня каким-нибудь галоперидолом, чтобы я валялся, как этот... как его. Который на грядках... Давайте, давайте. Всё равно мне туда дорога.

– Нет. Обкалывать вас препаратами нет нужды.

– Тогда зачем вы здесь?

– Будем разговаривать.

– Я не верю во все эти штуки. В психологию, в психоанализ. В Бога тоже. Говорю, чтобы у вас было основание меня выводить. Или обколоть.

– Сказать честно, я сама с трудом верю в такие вещи как психоанализ. Тем интереснее моя работа.

– Как можно заниматься тем, во что не веришь?

– А результат?

молчание.

– Так и будете лежать?

молчание.

– Вы хоть бы сели. Всё-таки я вас намного старше, и я женщина.

молчание.

– Вот так-то лучше.

- Давайте прекратим.
 - Не могу.
 - Как вы мне осточертели.
 - Мы с вами коллеги. Мы врачи. И вы не бросаете задачу, пока её не решите.
 - Это моя личная проблема.
 - Теперь и моя.
 - Терпеть не могу чужих.
 - Давайте поговорим, и я уже не буду вам чужой.
 - О чём?
 - Хотя бы про вашего первого пациента.
 - Не помню.
 - Тогда про второго.
 - И того не помню.
 - А того, которого вы лечили лет двадцать назад, помните? У нас у всех со времён ординатуры много занимательных историй и встреч.
 - У нас в ординатуру попадали только... непростые ребята, очень. Или богатые.
 - Моя ординатура досталась мне именно так, по благу. Мои отец и дед были известными психиатрами. А прадед – священник. Так что вы оканчивали?
 - Первый мед, конечно. Был интерном. Потом работал в реанимации.
- молчание.
- Есть какое-то препятствие, которое мешает вам со мной говорить?
 - Кажется, есть.
 - Поясните.
 - Чёрт... Не знаю. Не могу сказать ни точно, ни приблизительно. Куда-то пропадают все слова.
- И всё вокруг – словно через мутное стекло.
- И всё-таки вы довольно точно описываете своё состояние.
 - Это даётся нелегко.
 - Поработайте ещё немного. Можно и не говорить.
 - А что вы от меня хотите, чёрт побери?
 - Напишите.
 - Зачем? У меня нет такого дарования!
 - Будет легче. Запишите – сможете подумать, исправить. Отыскать слово.
- молчание.
- Попробуйте. Всё равно тратите время даром. Лучше записать историю, чем пить препараты.
 - Давно не писал от руки. Уже и забыл, как это.
 - Компьютеры в отделении запрещены. Забываете слова? У меня много словарей. Если хотите, завтра принесу.
 - Ничего у вас не выйдет.
 - А у вас выйдет. Напишите историю. Про вашего первого пациента. Того, которого вспомните, о ком захотите рассказать.
 - Не знаю.

Задание 1. В первый раз
(из коробки № D-47/1-ЮХ)

1995 г.

Наутро в отделении всё уже было как обычно.
Стояла тишина: тревожная, душная, кислородная. Рита ушла в сестринскую и, наверное, спала.

А я не спал. Бродил по палате, собирался выйти покурить на улицу. Не дойдя до лестничной клетки, разворачивался. Возвращался в палату и сел за стол.

К двум койкам возле правой стены я подходил ночью раза три; мониторы показывали, что на этом маленьком островке всё спокойно и планоно. Именно этих больных сегодня отгрузят в первую хирургию, ведь по меркам ОРИТа они считались уже практически здоровыми.

Бабка у окна храпела. Катетер торчал из её бёдер, как стебель из листьев. Всю ночь бабка металась и вопила, словно мозг её был яснее ясного, словно она понимала всё происходящее, – то ли звала кого-то на помощь, то ли прогоняла.

У «моей» пациентки аппарат ИВЛ шаршил будь здоров, поршень ходил вверх-вниз, гармошка растягивалась и сжималась. Сатурация девяносто шесть. Вот то-то же.

После общей летучки заведующий Виктор Семёнович обходил реанимационные палаты. Я передал смену и мог уйти, но болтался в отделении. Я ждал. От нечего делать начал строить башенку из коробочек с ампулами. Неловко повернувшись, нечаянно задел стойку, и флаконы зазвенели. Заведующий обернулся на шум.

– Что, коллега, судя по всему, ночка была образцово-показательная, – чуть улыбаясь губами с синими жилками, сказал он.

Я развёл руками и, кажется, тоже улыбнулся. Виктор Семёнович взял со стола потрёпанную историю болезни и начал её листать.

– Было проведено... Закрытый массаж, ну-ну. Дефибриляция, интубация, атропин, – вслух читал он. – Хм, ну, допустим. Адреналин тебе тогда зачем, если сердце уже завёл? – заведующий оторвался от чтения и поднял на меня глаза.

– Виктор Семёнович, так схема же стандартная... – ответил я быстро, как на уроке.

Он кивнул и снова заглянул в историю.

– Реанимационные мероприятия можно считать результативными, – читал он, водя ручкой по строчкам. – Давление девяносто на шестьдесят, сатурация девяносто восемь, пульс восемьдесят два.

Я молчал.

– Ну что, поздравляю, – сказал заведующий. – Не прошло и полгода, как боевое крещение состоялось.

– Да уж... – пробормотал я.

Заведующий внимательно посмотрел на меня и сел за стол.

– Сделал всё как по писаному, – сказал он, доставая из нагрудного кармана авторучку. – В целом отличная работа.

И замолчал. Мне показалось, что сказано было всё... да не всё.

Я вопросительно смотрел на заведующего, и тот сообщил наконец:

– Старая примета, не обращай внимания. Считается, если первая реанимация в жизни дежуранта прошла без сучка и задоринки, то абстрактный молодой специалист, – заведующий кивнул в мою сторону, – тот, которому повезло в первый раз, неправильно выбрал профессию.

– Почему?

– Ну, вот так, – заведующий махнул рукой. – Не бери в голову, – он кивнул на металлический столик, где возвышалась моя пирамидка из коробочек.

– И убери уже свой зиккурат, – сказал он раздражённо. – Каждый день вижу это безобразие. В детском саду, что ли?

Я постоял посреди палаты. Потом подошёл к своей башенке, посмотрел на неё, подумал и сверху аккуратно водрузил флакон просроченного пенициллина с присохшим к стенкам желтоватым содержимым.

Направился в ординаторскую. Долго там переодевался, перекладывал вещи. Потом вышел и снова вернулся: забыл пейджер в кармане халата.

В дверях столкнулся с Андрюхой. Грачёв только что заступил на дежурство. Он поглядел на меня и присвистнул:

– Ну здоро́во, Исус-христос, воскреситель мёртвых.

Я похлопал его по плечу и попробовал протиснуться наружу. Но не тут-то было.

– Да ладно тебе! Ну вколол и вколол. Всё нормально, Юрка, слышь?

Я кивнул.

– Что, большой косяк? – спросил я, понижая голос и высвобождаясь из огромных грачёвских лап.

Грачёв пожал плечами.

– Да ну, какой косяк... – ответил он тоже тихо.

И добавил монотонно:

– Ты кроме адреналина ещё много всякой ненужной фигни вколол.

Я попытался возразить, но Андрюха отмахнулся.

– Всё равно не парься. Тётка жива? Жива. Победитель всегда прав, – Андрюха включил чайник и достал из тумбочки пачку пакетированного чая. – Чем меньше вмешательство, тем оно правильнее. Меньше вколол – больше помог. Ты ж на неё, беднягу, пол-аптеки угрохал. Лекарств и так нет ни хрена.

Я оставил Грачёва наедине с его завтраком, а сам пошёл по коридору к лифту. «Меньше помог – больше вколол», – повторял я про себя.

Выходя из дверей корпуса, я увидел, что сжимаю в руке дурацкий пейджер. В своё время я был очень доволен, купив его по дешёвке. Прицепил пейджер к ремню на брюках, пошёл вниз по лестнице и выскочил наружу, где на улицах города вовсю уже бушевал шумный, горячий день, один из последних тёплых дней длинной северной осени.

.....
– Меня нет! Ме-е-ня не-е-ет!!

Мама Надя кричала. Я представлял, как она стоит, вцепившись в подоконник, и держится только за собственный крик. Видел её лицо, сморщенное и красное.

– Умерла-а! – вопила она. – Сдо-охла я, а-а-а! Юрка голодом смори-и-ил!

Я слышал её крик, кажется, от самой остановки. А может, ещё и в метро слышал, как она захлёбывается и давится страхом и пустотой, в которой повисла. Когда я вбежал во двор, под нашими окнами уже стояли две вездесущие соседки.

– Вон, бежит, красавец против овец..

– Ты бы, Юра, хоть сиделку ей нанял. В следующий раз милицию вызовем. За нарушение спокойствия.

– Мать одну оставить на ночь! По бабам, что ли, ходишь? Срамота какая!

Я перемахнул через разбитые ступеньки.

Ключ легко повернулся в замке, но дверь не поддалась. Что-то держало её изнутри.

– Ма-ам? – позвал я.

Дверь не ответила.

– Мама Надя! Открой! – я колотил кулаком по дерматиновой обшивке.

Послышался тяжёлый скрип.

– Мама Надя! – я приложил губы к замочной скважине. – Я хлеба купил. Хле-ба!

Хлеба я и правда купил. В подвале дома напротив нашей остановки появилась маленькая пекарня. В начале двухтысячных она закрылась, но во времена моего интернства, на обратном пути с ночных дежурств, я ещё заставал первую партию пористого, пахнущего свежими дрожжами хлеба, такого горячего, что от него даже плавился тонкий полиэтиленовый мешок. Мама очень любила хлеб. Не только этот, из пекарни, а любой. Период, когда за хлебом выстраивались очереди длиной в квартал, для мамы стал самым ужасным: она вспоминала эвакуацию, плакала а иногда даже путалась, не понимала, какие годы стоят на дворе. Одной булки нам с мамой Надей не хватало, и я брал три. Если дома в холодильнике вдруг обнаруживалось масло, его можно было намазать сверху, и оно таяло, протекая внутрь мякиша, в хлебные пещеристые тела, заполняя их жёлтой душистой жидкостью.

Сквозь тряпичную сумку, висящую у меня на плече, хлебный запах проникал наружу, и мне страшно хотелось есть.

Навалился плечом на дверь. Она не поддавалась.

– Ну и зря, – сказал я матери. – Не открываешь, вот и сиди голодная. А я завтракать буду.

Чтобы меня было видно в глазок, я сел на ступеньку спиной к стене, на учебник «Сердечно-лёгочная реанимация». Учебник я знал почти наизусть, но, как говорил наш заведующий, «случаи – они всякие бывают». Вот случай и подвернулся.

Корка хрустнула, слюнные железы с болью выстрелили в небо. Закатив глаза, я шумно зачавкал, демонстрируя, как мне вкусно и хорошо. Над моей головой по стене подъезда, по островкам облупленной краски полз маленький рыжий мураш. Я поставил палец поперёк траектории его движения, но мураш исчез. Наверное, упал.

Прошло время. В коридоре за дверью заскрипело. Я как ни в чём не бывало продолжал насыщаться.

Запивать было чем: молоко мне тоже удалось купить. Правда, в нашем магазине продавалось плохое, порошковое молоко, которое покупалось только для того, чтобы варить маме кашу. Я уминал мягкий хлебный кирпич с чудовищной быстротой. После бессонной ночи аппетит был что надо, и я сдерживал себя, дабы не сожрать булку целиком.

Послышались грохот и оханье, мама Надя двигала какие-то тяжёлые вещи. Наконец дверь качнулась, и в узкой щели появился мамин глаз.

– Юра, ты?

Я легонько помахал ей рукой, сжимавшей уполовиненную бутылку молока.

– А чего на голом полу сидишь?

– Я не на полу. Я на учебнике.

– А чего домой не идёшь? – она уже целиком высунулась на лестничную площадку.

– Ключ потерял.

Лицо её сделалось строгим.

– Иди домой. Соседи придут. А ты тут расселся.

Мама Надя говорила с паузами, но её перебивать было нельзя. Я послушался, встал, подобрал с пола «Сердечно-лёгочную реанимацию». Мама Надя отобрала у меня молоко.

– Всё вылакал? – она расстроилась.

– Не всё – только половину.

Мы проникли в квартиру. Пришлось перешагивать через приваленную к двери баррикаду. Чего там только не было: мой старый велосипед, который мама Надя притащила с балкона, обтрёпаные, дедушкины ещё, чемоданы, коробки с книгами, до которых у меня никак не доходили руки.

– Мама Надя, что это такое? – спросил я.

– Где?

– В коридоре. Вот эти вещи.

– Вещи? – переспросила мама Надя. Она теперь всегда переспрашивала. – Дак чтобы не пришли... Эти.

– Кто?

Она не ответила и молча пошла на кухню.

Вчера я получил зарплату. Очень странную нам в больнице в то время выдавали зарплату. Денег было ровно вполтину меньше того, что мне причиталось. Невыплаченную сумму я взял ноотропными препаратами. Так руководство иногда выходило из бедственного положения. Маму Надю всё равно нужно было чем-то лечить.

Наступила мирная пауза. Мы ели хлеб, который уже почти остыл. Масла не было, но нашлись яйца. Желтки глазуньи лопались и растекались в маминой тарелке, она медленно размазывала их ложкой.

Вот так мы и жили с ней, и все соседские вопли были мне по барабану, и все милиционеры с протоколами шли лесом, а иногда мне даже казалось, будто мама понимает всё, что с ней проис-

ходит. Когда она ругала меня за поздние приходы домой или за то, что я плохо её кормил, приходилось соглашаться.

– Ты своими лекарствами хочешь меня отправить на тот свет, – нередко заявляла мать.

И мне казалось, что это тоже правда. Рано или поздно мама оказывалась права.

День набирал обороты, я смотрел на маму Надю, лежащую с закрытыми глазами под пыльным настенным ковром. Вынимал иголку из её руки, укрывал стёганым одеялом и уходил на свою половину, отгороженную дээспэшным шкафом. Засыпая, прокручивал в голове всё якобы чудесное воскрешение моей первой реанимационной пациентки, но мало-помалу в моей памяти оседала истина: куча ошибок, наивное бахвальство неумехи.

Моя вторая беседа с Э. Д.

– Ну что ж. А говорили, не сможете.

– Так быстро?

– А что тут читать? Пять страниц.

– Текст путаный...

– Да, путаный, немного бессвязный. Тяжело?

– Как будто мешки ворочал.

– Понимаю.

– Я не чувствую себя лучше. Еле-еле подбираю слова. Истрепал все ваши словари.

– Словарям это на пользу. И ещё. Вам нужен старый ноутбук со сломанным модемом? Хотела выбросить за ненадобностью, слишком уж он тормозит.

– Мне?

– Ну да. А кому ещё? Считайте его своей печатной машинкой.

молчание.

– Доктор, выпишите мне другие лекарства. Те, что я пью, – не работают.

– Что вы хотите?

– Транквилизаторы.

– Вам они не показаны, вы ведь знаете.

– Знаю.

– Мы будем работать с тем, что есть. А потом и вовсе уйдём с препаратов.

молчание.

– Всё время мысленно возвращаюсь к ней.

– Это хорошо.

– Чем это хорошо? Сейчас прилетёт старика Фрейда?

– При чём здесь Фрейд? Я думаю о другом. О родителях. Удивительно. Давно умерший человек вдруг может взять и заговорить.

– Вы о моей писанине?

– Скорее о себе. Я тоже дочь своего отца. И знала-то его не очень хорошо. Он дневал и ночевал в клинике. Когда я пошла работать, он меня не опекал. Но мне постоянно приходилось сталкиваться с его авторитетом. Вся жизнь я искала свой стиль, доказывала себе, что я человек самостоятельный... Ну, вы понимаете. Мы оба с отцом пережили тяжёлые времена. Нас ломали. Мы боролись с системой, иногда действовали исподтишка. Мой отец уже давно умер. И вот сейчас я замечаю, что, когда готовлюсь к лекциям для студентов, в конспектах строю фразы так, как это мог делать только он.

– Прекрасное откровение, доктор. Но меня оно не утешает.

– И не собиралась утешать вас.

– Хотите сказать, моя сумасшедшая мама говорит моими словами? Поздравляю вас, коллега, а то я не знал, что ранний Альцгеймер всегда наследуется.

– Никто не знает, что и как наследуется. Даже генетики. Видела ваши опросники. У вас нет болезни Альцгеймера.

– Тем хуже. Значит, даже генетика ничего не объясняет.

– Каждый мнит себя уникальным.

– Вы меня оскорбляете.

– Ничуть. Наоборот, я жду продолжения.

молчание.

– О чём хотите почитать?

– Мы только что говорили о стиле работы. Хотела бы узнать, как вы работаете сегодня.

– Обыкновенно.

– Это правда, чтобы реанимировать больную, вы влили в неё все лекарства, которые были в отделении?

– Помните девяностые? Иногда в отделении имелся только физраствор и самое элементарное: папаверин, атропин...

– Да, конечно. Помню.

– Я действовал наугад.

– Поэтому больше не работаете в реанимации?

– Не верю в приметы. Просто совпало.

– А вы знаете, что в некоторых примитивных племенах, когда проходит инициация мальчиков и они подвергаются жизненно опасным испытаниям, в конце их ждёт самая сложная проверка? Догадываетесь, какая? Проверка безразличием. Вообразите. Мальчик возвращается в племя и ждёт, что его примут с почестями. Он преодолел все преграды! А племя не обращает на него никакого внимания. Никто с ним не общается. И он думает, что не прошёл испытания. Представьте себе, как ему тяжело. И только через три дня шаман разжигает костёр, девушки влетают в волосы цветы, музыканты достают свои барабаны... Но перед этим – три дня позора.

– Недалеко же мы ушли от папуасов.

– О! Ещё как недалеко. Расскажите мне о каком-нибудь недавнем пациенте. Наверняка был тот, кого вы хорошо запомнили. И ещё: вы же понимаете, что тут не на кого производить впечатление.

– Да уж. Рядовому врачу не с руки тягаться с профессором.

– А я думала, вы видите во мне ещё и женщину.

– Пытался скрыть.

– Не пытались. Но речь не об этом. Не описывайте успешный диагностический случай. Я и так знаю, что вы хороший врач. Мне интересны люди. Те, которых вы описываете.

– Сколько писать?

– Сколько хотите. Я читаю быстро.

6 марта 2023 г.

Мама Надя умерла в самом что ни на есть цветущем Альцгеймере, ей было пятьдесят девять. На дворе стояли девяностые годы, я учился в интернатуре и не имел ни денег, ни связей. Своевременное и правильное лечение застарелой гипертонии было упущено, что, пожалуй, только ускорило мамин уход. Слабоумием, судя по рассказам, страдал и дед Сергей, которого я никогда не видел. Прожил он гораздо дольше, но мне кажется, это никому не принесло счастья. Говорили, дескать, я похож на деда: ростом (оба – коротышки), осанкой (лёгкая сутулость) и глазами – не знаю, что в них этакое, но мама, упоминая о нашем сходстве, всегда улыбалась. Да ещё очки: когда я рассматривал фотографии, замечал: они у нас с дедом почти одинаковые и даже сидят так же. С отцом я никогда знаком не был и не могу сказать, чем я на него похож. Может, цветом во-

лос? Может, и мой отец рано поседел? Уже не угадать. Да и вряд ли я стал бы разыскивать чужого человека, чтобы ответить на все эти вопросы.

Будучи ещё в ясном уме, мама работала в клинической лаборатории. Она весь день смотрела в микроскоп и считала количество лейкоцитов в анализах мочи. Тогда она была ещё просто мама, а не мама Надя. Звать маму Надей я начал тогда, когда до меня дошло, что она ничего не помнит: существительные, а среди них имена собственные, первыми пропали из её памяти и речи.

Мама Надя в молодости была красивая, и чудачества сходили ей с рук. Невысокого роста, стройная, со светлыми кудрями, заколотыми кверху: мама раз в три месяца делала химическую завивку. Свои желтоватые в крапинку глаза она подводила по контуру чёрным; кривая линия шла от угла глаза и заканчивалась чуть ли не возле виска. Следуя моде, мама Надя ходила на высоченных каблуках и умудрилась ни разу в жизни не травмировать голеностоп. Она могла прицепиться к незнакомому человеку на улице только потому, что у прохожего, как примеру, был желтоватый цвет лица. Дабы сказать незнакомцу: «У вас гепатит!», она могла идти за ним шаг в шаг целых полчаса или больше. На Новый год мама Надя могла взять в комиссионке костюм Снегурки и ходить так по городу. Она верила в примету: если утром надеть что-нибудь наизнанку, день сложится удачно. И маму Надю нельзя было переубедить, что в народе эта примета трактуется совсем по-другому. Ей ничего не стоило надеть шиворот-навыворот даже платье, если её, конечно, устраивал рисунок изнанки.

А вот ещё был случай. Какой-то поклонник однажды позвал её на море. Мама согласилась и оставила меня с тёткой Леной, которая специально приехала в Ленинград, чтобы приглядывать за мной. Мама приехала к мужику на вокзал и там умудрилась с ним поспорить. Она схватила его чемодан и швырнула на рельсы, под колёса приближавшегося поезда.

Когда мама выбросила чемодан под поезд, ей было немногим меньше, чем мне в тот период, о котором я пытаюсь рассказать. Я не увлекался девушками, не верил в закономерности и не видел связи между событиями и ритуалами. Частью сознания, спрятанной настолько глубоко, что на свете нет такого датчика, который бы доказал её существование, я не исключал: несмотря на все мои старания, природа возьмёт своё и когда-нибудь от меня останется нечто мычачее и немощное. Тогда мои записи будут доказательством, что я такой же человек, как другие, – вернее, недавно был им, что я некогда мыслил и даже кое-как пытался бороться с генетикой.

Глядя на маму, я решил стать настоящим врачом и держаться подальше от лабораторий. Маме Наде оставалось подождать всего лишь чуть-чуть, она бы увидела всё и порадовалась. Хотя, если честно, необходимость несколько лет в одиночку ходить за тяжёлой больной могла кого угодно отвратить от медицины. Меня посещали такие мысли, но к тому времени, когда я собрался послать всё к чертям, в стране случился кризис. Перестраиваться и лихачить было глупо. К тому же больница расширяла отделение лучевой диагностики, и меня, после нескольких лет работы в реанимации, занесло за пульт управления ультразвуковым аппаратом. Теперь мой центр зрения в затылочной доле мозга находится в напряжении более шестнадцати часов в сутки, а центры, отвечающие за память и интеллект, решают заковыристые задачи. А значит, я делаю всё, чтобы не пойти по мамину пути.

Вспоминается наш институтский преподаватель по фамилии Росин. Он вёл у нас фармакологию и носил козлиную бородку, за которую хотелось подёргать. Росин задавал нам клиническую задачку и спрашивал, чем лечить пациента с определёнными симптомами. В ожидании ответа он ходил вдоль притихшей аудитории и кричал в ухо какому-нибудь невезунчику: «Ну же! Наморщи свой головной ганглий!» Все годы работы в клинике я старался, чтобы ганглий морщился.

Друзей в институте у меня не было, а Грачёв появился в моей жизни, только когда я пошёл работать по специальности. Он часто повторял мне, что я «странный», и это всегда меня раздражало: кто бы говорил... Ладно бы моя жена, у которой и правда могли быть основания для такого. Но Грачёв! Тот самый, кто однажды, лет пятнадцать назад, так нажрался на дежурстве, что не удержавшись рухнул в служебном туалете, прямо в промежутке между унитазом и стеной. Если бы не я, Грачёву грозило бы увольнение с занесением, не меньше. Он всегда был такой здоровый,

что в одиночку я бы с ним не справился, и поэтому освобождали мы его вдвоём с медсестрой Ритой. Ну, и кто тут странный?

Чем ближе я придвигался к роковой возрастной черте, тем чаще прислушивался к себе. Понятно же, что со мной произойдёт. Этому невозможно помешать. Я закрывал глаза и видел, как длинные аксоны, похожие на извитые хвосты воздушных змеев, теряют натяжение ветра и управляющую руку. Как будто есть на свете пацан, который держит в кулаках бессчётное количество тонких верёвочек, и все они уходят высоко, под самое небо. Чувак обязательно удержал бы всё своё богатство, и змеи бы не улетали, но верёвок так много, что попробуй уследи. И вот куски разноцветной ткани превращаются в еле подвижные точки, в невидимые небесные пиксели. Другие, вырвавшись из связки, бьются в судороге и тыкаются носом в землю. Запутываются ниткой за провода линий электропередачи; их в скором времени ждёт смерть от удара током. Застревают в ветвях деревьев и там дряхлеют, пока следующая зима не превратит их в ветошь.

Задание 2. Сашка

(из коробки №D-47/Г-ЮХ)

2020 г.

Он появился, как всегда, неожиданно. Сначала в мессенджере:

- Фазер, хочу бросить у тебя кости.
- Надолго?
- Дня на два. А потом как покатит. Можно?
- Приезжай. Буду дома после восьми вечера. У тебя всё окей?
- Расскажу.

Если он просится ко мне пожить, то, скорее всего, в Сашкиной жизни не было никакого «окей». Он и раньше часто ссорился с матерью, моей бывшей женой. Пока Сашка был помладше, мать знала, на какие кнопки нужно надавить, чтобы он учился, а не просиживал сутками возле компьютера. Например, она обрубала ему интернет. Один раз Сашка позвонил и рассказал, что мать сняла с петель дверь в его комнату. Я приехал к ним тайком, измерил проём и заказал новую дверь, а также подкинул Сашке денег на её установку. Бывшая, пусть и догадывалась, что без моей помощи тут не обошлось, ничего не смогла мне предъявить. Когда я спросил Сашку по телефону, как он ладит с матерью после установки двери, сын крикнул мне в трубку:

- Жалкие людишки уничтожены!

Сашка разговаривал слоганами. Фраза означала полную его победу.

После того как я первый раз встал на сторону сына, он начал мне иногда звонить. В последний год Сашкиной учёбы мы с Викторией (так зовут мою бывшую) взяли за него как следует, читали нотации. Но всё равно в институт ребёнок не поступил. В армию его, как и меня когда-то, не взяли по зрению, и Сашка заявил, что собирается зарабатывать на жизнь интернет-бизнесом. Время от времени у него действительно появлялись небольшие суммы. Потратив последние силы на выпускной класс и убедившись, что военная карьера ребёнку не светит, Вика отказалась от борьбы за высшее образование сына. К тому же в тот период у неё только-только наладилась личная жизнь, и её часто не было дома.

– Спасибо тебе, Фазер, за то, что приютил, – сказал ребёнок, стаскивая с ног «конверсы». – Как говорится, «вурдалак вурдалаку друг, товарищ и корм»¹.

Я пододвинул тапки, и он прошёл в комнату.

Сашка был всё таким же. Лицо неровное, поросшее редкой тёмно-русой щетиной. Каждый раз оно выявляет новые черты. Может, просто по-другому падает свет, но бывают моменты, когда Сашка становится как две капли воды похож на свою мать – это сильно меня раздражает – рельефные скулы, треугольное лицо, серые глаза. А потом я вижу клочковатые пучки русых вьющихся волос, торчащих из его подбородка, и выпирающий кадык, и подростковые руки-грабли,

¹ Фраза из популярной сетевой игры «WarCraft».

и вдруг неожиданно для себя улавливаю в его речи мои собственные интонации. И на какое-то время успокаиваюсь. Очки Сашка носит не такие, как у меня, убойно-квадратные, а изящные и почти невесомые, и они очень подходят его узкому лицу. И весь он узкий, высокий – выше меня почти на голову – словно длинная дверная щель.

– Ты хоть сообщил матери, где тебя искать?

Сашка махнул рукой и откинулся на диване.

– Да ну. Тратить ману неохота², – он достал из кармана телефон, потыкал в него и спрятал обратно. – Всё равно она в Москву укатила.

И добавил, кивнув в сторону коридора:

– Еду притащил. Там, в пакете.

Раньше я тоже сыпал медицинскими терминами, даже не пытаюсь подыскать им бытовой аналог. «Медиальный», «латеральный», «динамика положительная», как будто нельзя сказать проще.

Сашка обычно не приходит ко мне бескорыстно. За его визитами всегда кроется немудрёная детская выгода, чаще всего – материальная. Ребёнок или хочет денег, или ему нужен доступ к компьютеру. Но сейчас Вика в отъезде, и никто не ограничивает ему трафик, да и денег, судя по продуктам, Сашке хватает. В пакете я обнаружил коробку зефира, пару бутылок пива и огромный фасованный кусок говядины.

– Ты голодный?

– Не особо. Просто у тебя кроме пельменей, как всегда, ничего нет.

– Колбаса есть.

– Угу.

И он снова уткнулся в телефон.

Мясо готовить я не умею, но Сашкин кусок оказался на удивление удачным, и даже я не смог его испортить. Прожарил его с четырёх сторон на большом огне и, завернув в фольгу, засунул на десять минут в духовку. Таким способом Вика в незапамятные времена делала стейки с кровью, и каждый раз это была лотерея, потому что вкус зависел не от кулинарных способностей повара, а только от качества купленного мяса. Причём жена сама мясо не ела: в последние годы она активно увлеклась вегетарианством и сыроедением.

За стол ребёнок пришёл с первого оклика, даже не пришлось повторять. Он откупорил пиво и отхлебнул прямо из бутылки, резко запрокинув лохматую голову. Три месяца назад парню исполнилось восемнадцать, и теперь попробуй хоть что-нибудь сказать ему поперёк.

– Ты бы в стакан налил.

– И так нормально.

Мы разделили стейк на две половины, и на срезе показалась рыхлая розовая прослойка. Ребёнок отрезал кусок, проглотил его, запил большим глотком из бутылки и произнёс:

– Зачётное мясо. Соуса бы ещё.

Другого соуса, кроме соевого, у меня не нашлось, но в недрах холодильника обнаружился лимон. Сашке он подошёл, а мне лимонный сок с пивом показался жуткой гадостью.

– Слушай, – спросил Сашка как бы невзначай, – а ты не в курсе, как у нас, в России, относительно этого... Относительно донорства? Чёрный рынок существует?

– Донорство? – переспросил я. – Ты имеешь в виду донорство крови?

– Я имею в виду донорство органов.

Моя третья беседа с Э. Д.

– Про вашего сына мне рассказывал Андрей Николаевич. Возможно, я знаю не всё. Но прошу вас пока не дописывать эту историю. Пусть уляжется.

– Вы хотите, чтобы я отвлёкся. Чтобы развеялся.

² Фраза из популярной сетевой игры «WarCraft».

- И да и нет. Думать-то я вам не запрещаю. Но написать прошу про другое.
- Трудно.
- Как и любая работа. Кстати, вы весь день смотрите в экран. И ваш сын тоже.
- Думал об этом. Считаете меня виноватым в том, что случилось?
- Нет, я только о вашем сходстве. О сходстве ваших двух миров.
- В его мире всё защищено. Игра проиграна – начинаешь новую. Игроки бессмертны.
- Но и мы с вами бессмертны.
- Так говорят только церковники.
- Не согласны?
- Вы были когда-нибудь в морге? В анатомичке? Хотя бы на первом курсе?
- Я не об этом.
- А я об этом.
- Можете написать и об этом тоже.

Задание 3. Белая обезьяна

(из коробки N^oD-47/Г-ЮХ)

До 1999 г.

...Помню наперечёт почти все свои ошибки. Наверное, ради этих жестоких преткновений всё так и устроено в нашем мире: обязательно нужно найти свою яму и упасть в неё. Поскольку отсюда, с точки падения, жизнь оказывается совсем другой. И ещё неизвестно, что именно человеку зачитывается в заслугу, – может быть, как раз его поражения.

Пациентка Сивцева. Двадцать пять лет. Принесли с улицы, истощение, озноб. Двухсторонняя пневмония плюс сердечная недостаточность. Руки в синяках. Медсестра, когда искала у пациентки вену, изошла отборным матом: вен не было. Если у пациентки невозможно нащупать вену и у неё исколоты все руки, ведь правда, доктор, больная похожа на наркоманку? Я тоже так подумал.

Поставил ей подключичный катетер. Пациентка молчала как рыба, а я всю смену капал ей цефтриаксон и колол гентамицин. Подопечная умерла к утру, фибрилляция, остановка сердца. Отправили в морг. Ещё одна бомжиха, вы думаете, да? Как бы не так. Через два дня отыскались её родственники.

Пациентка Сивцева не была наркоманкой. Она просто очень долго пролежала в больнице в посёлке Песочный. На борьбу с лимфомой семья угрохала невиданные деньги. Итог – ремиссия более трёх лет. Но две недели назад у больной обнаружили метастазы, и пациентка ушла из дому. Родные не уследили, а врач реанимации оказался идиотом.

Был у нас один доктор, по фамилии Пескарёв. Он работал анестезиологом. Анестезиология – наша смежная специальность. У меня в первом дипломе написано: врач по специальности «анестезиология и реаниматология». Так вот, о Пескарёве.

Когда из операционной пациенты поступают в хирургическую реанимацию, нам всегда передают наркозную карту. Туда анестезиолог записывает все препараты, введённые во время операции. До миллилитра. Я брал дежурства как в хирургическом ОРИТе, так и в кардиологическом, и надо же было такому случиться, что у послеоперационных пациентов выявились осложнения: у одного – инфаркт миокарда, у второй – гипертонический криз. Оба пациента перекочевали из хирургической палаты интенсивной терапии в кардиологическую. То есть от меня – снова ко мне.

Я изучил наркозные карты и поднялся к Пескарёву на этаж.

- Очень низкие дозы анальгетиков во время операции, – сказал я Пескарёву. – Почему?
- Низкие? – он попытался выкрутиться. – Я делал расчёт по массе тела.
- У обоих одна и та же симптоматика, – сказал я. – Болевой шок. Отсюда и осложнения.
- Странно. На операции никто не кричал от боли! – улыбнулся Пескарёв.

– Потому что вы дали им снотворные и миорелаксанты, – меня трясло от злости. – Но не обезболили так, как это нужно было сделать.

– А тебе что, больше всех надо? Лежат они у тебя, тебе и лечить.

– Хорошо. Подниму вопрос на общей пятиминутке.

И собрался уходить.

Пескарёв вскочил с кресла и, схватив меня за локоть, потащил из ординаторской.

– Слушай, умник, – сказал он в коридоре. – Чтобы у пациентов не было болей во время операции, они сами должны постараться.

– В смысле? – бесился я. – Они должны сжать зубы и терпеть?

– Да, – сказал Пескарёв. – Или просто заплатить анестезиологу.

У меня на лице выступил пот.

– Заплатить? – крикнул я. – За что? За ампулу препарата, который и так им положен, по закону?

– Ах ты по закону любишь? – ухмыльнулся Пескарёв. – Хирурги с каждой операции получают кучу бабла, это по закону?

– Откуда бабло у хирургов – меня не касается, – сказал я.

– Всё уже поделено, без тебя, – Пескарёв глядел на меня с некоторым сожалением. – Беру бабки у больных, и наказываю их, если они не платят. Так делаю не я один. И только попробуй поднять шум.

Отпустил мой локоть и исчез за дверью ординаторской.

Я отследил всех его послеоперационных пациентов. Среди них были и шишки, и братки. У этих никогда не было низких доз анальгетиков. Совсем не так обстояло дело с теми, у кого в нужный момент не оказалось денег. Осложнения выявились у каждого второго. Одна пациентка ушла в тяжёлый коллапс, и мы всю смену поднимали ей давление. Я знал, почему это произошло, но ничего никому не сказал. Зато теперь я сразу вводил морфин всем, кто поступал от Пескарёва.

Сейчас я не могу понять, почему я молчал. Наверное, боялся, что в больнице все со всеми связаны. Начну выступать – затравят или действительно вышвырнут.

Я помню своих пациентов, лежавших в реанимации в середине девяностых, когда мы работали без лекарств и шприцов. У нас были только воздух и физраствор. По всей стране творилось чёрт-те что. Но будучи врачом, за своих больных отвечал я. А кто ещё? Ельцин, что ли?

Говорят, врач не должен испытывать чувство вины. Но это всё равно что не думать о белой обезьяне. Помните, как Ходжа Насреддин обхитрил бухарского эмира? Психологи придумали тренинги, где можно научиться ловить белую обезьяну, сажая её в клетку и дрессировать. Но обезьяна очень умная и учится действовать изощрённо. Чудовище знает, что на него объявлена охота, и выходит на свободу только по ночам. Чудовище хочет жрать.

.....

Как известно, лекарства от болезни Альцгеймера нет. Все теории возникновения этой патологии – всего лишь предположения. Журналы писали о многочисленных исследованиях, которые проводились исключительно за рубежом. В девяностые я ходил по библиотекам, находил нужные статьи, но точного ответа в них не находил, а маму нужно было как-то лечить.

Врачи прописывали ей сосудистые препараты в таблетках, вроде церебролизина и глицина, которые мама Надя держала во рту и выплёвывала, когда я выходил из комнаты. Приходилось ставить капельницы и сидеть рядом, пока не прокапает весь флакон. Сначала она ещё понимала, что я её лечу, а не просто делаю больно. Потом она убедила себя, что я хочу её убить.

И тогда я стал делать маме Наде успокоительные уколы. Колоть себе витамины внутримышечно мама Надя разрешала. Но всегда проверяла ампулы.

– Что ты мне уколол? – кричала она, пытаясь рассмотреть ампулу, которую я держу в руках.

– В12 и В6, – говорил я.

И колел В12 и реланиум. Ампулу В6 я предусмотрительно надламывал и вытряхивал в раковину, а потом складывал на тарелку как доказательство произведенной инъекции.

После транквилизаторов и нейролептиков маме становилось легче. Она переставала плакать. Страх того, что я причину ей зло, тоже ушёл. Она не боялась, что в моё отсутствие кто-нибудь вломится в наш дом. Не двигала мебель. И вообще ходила очень мало.

Так тянулось несколько месяцев.

А потом я прочитал в одной свежей зарубежной статье, что приём нейролептиков у больных с болезнью Альцгеймера способствует снижению продолжительности их жизни.

Это значило, что ещё вчера я имел право сделать укол, а сегодня я уже не имел такого права.

По моему дому ночами ходила белая тень. Это был я сам. Человек, который без белого халата превращается в белую обезьяну.

На стене в мамы Надиной половине раньше висел пёстрый ковёр, огромный, от верхнего края дивана до потолка. В восьмидесятые такие ковры были данью повальной моде. Если приглядеться, все они изображали огромный глаз, миндалевидный, с тёмным зрачком и белыми вкраплениями на вычурном узоре тёмно-коричневого цвета. Глаз смотрел на меня всегда, когда я находился дома. Он был мой свидетель и обвинитель.

– Что я теряю? – произносил я вслух. – Я вколот в неё столько психотропных. Одним больше, одним меньше. Уже всё равно.

– Она знает, что ты её убиваешь. – отвечал я сам себе.

И как-то раз я, перед тем как идти на работу, маму Надю не уколол.

Убегая в больницу, я позвонил Алле Ивановне, нашей соседке, которая жила за стеной. Алла Ивановна перезвонила часа в два и сказала, что дома всё тихо. Я набрал маму Надю, та взяла трубку и бросила её обратно на рычаг. «Живая», – подумал я с облегчением.

В этот день вроде бы всё обошлось. И ещё несколько дней выдались на редкость спокойными – мама только отодвинула от стены кухонный стол и вывалила вещи из шкафов. Но это для меня была сущая ерунда. Самый большой сюрприз ждал меня через неделю.

Не могу описать вам, что я застал, придя домой. Не могу, и всё.

Хотя меня предупреждали: что нечто подобное когда-нибудь случается со всеми больными деменцией.

– Кто это сделал? Кто? А? Не слышу!

Мама Надя сидела на диване и пожимала плечами.

– Ну, не знаю. – говорила она. – Я же не могу за всем уследить.

– За чем ты уследить не можешь? За собой ты уследить не можешь?

– Ну почему за собой, – отвечала мама Надя. – За собой мне зачем. А вот другие... Всякие...

Они да. За ними никак.

Она хныкала, как маленькая, когда я мыл ей лицо и голову. Достал из грязного белья её второй халат, который уже неделю как дожидался стирки. Еле-еле всунул в рукава мамы-Надины ватные руки. Халат был гораздо чище чем то, что валялось в раковине.

Мама Надя ничего не говорила. Она просто постанывала и всё повторяла: «м-м-м», «м-м-м». Я усадил её на пол, на своей половине, в уголке возле шкафа. Мама Надя затихла. Задремала. Достал из шкафа одеяло и укрыл её, поймав себя на том, что несколько минут назад я на этого человека кричал, а вот сейчас забочусь о нём.

Я постарался не думать о произошедшем. Просто не думать, и всё. Беречь силы. Покрывала с дивана и тахты я швырнул в стиральную машину, но для того, чтобы ушёл запах, пришлось потратить уйму порошка.

Но пахло не только от вещей. Пахли стены, мебель, потолок. Я развёл хлорку в ведре и тёр обои до умопомрачения. Пока не почувствовал, что перчатки давно порвались и раствор проедает мне пальцы.

На следующий день мама Надя не вставала. Она была смиренная и послушная, обколотая препаратами.

После произошедшего болезнь стала резко прогрессировать. Через месяц мама Надя уже не вставала. Ничего не говорила кроме отдельных случайных слов, вылетавших у неё внезапно и

невпопад. Я мыл и переодевал её. Кормил из ложечки; жидкая каша или кисель текли у мамы Нади по подбородку. Капал ей препараты. И прекрасно понимал, что всё бесполезно. Капал и капал. Капал без конца. Уходил из дома и делал успокоительный укол. Приходил и снова ставил капельницу.

Каждый день дома меня ждал человек с неподвижным лицом, обрамлённым редкими свалывшимися волосишками, потерявшими всякий цвет. Из бесформенного лица удивлённо глядели глаза, такие бесцветные, тусклые. Мне казалось, что этот человек никак не может быть моей мамой, и настоящей маминой сути, как и маминой плоти – в нём уже не осталось.

В последний год перед уходом мамы Нади и на протяжении какого-то времени после – я провалился в кроличью нору, у которой не было дна. Работа казалась мне бессмысленной, а сам я – никчёмным. Данные мамы-Надиного вскрытия повергли меня в шок, от которого я долго не мог оправиться. В желчном пузыре у неё обнаружился конкремент огромных размеров. «Камень бел-горюч». Он-то её и убил, а никакая не деменция. Камень прожёл воспалённую стенку пузыря и вызвал молниеносный перитонит. И я, врач реанимации, не смог распознать, что мама Надя умирает.

– Только не бери в голову, – говорил мне Грачёв. – Как бы ты угадал? Ты же сам сказал, что она не разговаривала. Желтухи не было?

– Не было.

Перед смертью мама Надя несколько месяцев молчала, и общалась со мной, изредка постанывая и мыча. Температура не поднималась, в этом я был уверен. А лёгкую желтушность склер я мог и проглядеть. Мама Надя не любила яркий свет, и в слабом освещении настольной лампы ничего нельзя было рассмотреть наверняка.

Кроме Грачёва, никто в больнице про маму Надю не знал. Пожалуй, так и зародилась наша с ним дружба. Именно ему я смог подробно рассказать о своём несчастье. И после разговора он ко мне, кажется, не стал относиться хуже.

– Сниженный иммунитет, вот её и не лихорадило, – убеждал меня Андрюха. – Молниеносный процесс. Как тут угадать, что человек болен? У тебя же нет личного УЗИ-аппарата.

УЗИ бы всё показало, тут Андрюха был прав. Но так как сделать исследование вовремя я не подумался, вины за мамин уход Андрюха снять с меня не мог. Да он и не пытался.

Отметка карандашом на полях

(рукой Э. Д.)

2020 г.

*Неповинным весь век не прожить никому,
Не прожить и без горькой печали¹.*

Разговаривать отказался. На сеанс не пришёл. Встреча в коридоре. Извинился. Получил задание. Сон удовлетворительный. Появился аппетит.

Поменять нейролептик (три вопросительных знака, один восклицательный).

Срок выписки (три восклицательных знака, один вопросительный).

Наблюдение – под мою ответственность.

Задание 4. Хоккеист

(из коробки №D-47/1-ЮХ)

2014 или 2015 г.

Он пришёл на приём в сопровождении молодой мамыши, которая внешне была похожа на выпечку с маком. В карте я прочёл обычное имя: Дима. На самом деле звали его Ломаный.

¹ Эсхил. Орестея. Хоэфоры, 1018–1019. Пер. Вяч. Иванова.

Направление от спортивного врача. Ох уж эти спортивные врачи. Всё-то им не дают покоя потусторонние шумы. Вот и здесь: в направлении, напротив слов «систолический шум сердца», стояло вопросительное «ВПС?». Клиницист заподозрил у лучшего хоккеиста города, у тринадцатилетней звезды команды юниоров, врождённый порок сердца.

Эхокардиографию, особенно детям, делать люблю. Если ты владеешь ультразвуком, но не умеешь смотреть сердце, ты не спец. Я, например, получаю эстетическое удовольствие, когда наблюдаю, как смыкаются и размыкаются створки митрального и трёхстворчатого клапанов. Как будто в груди в ускоренном режиме сводятся и разводятся мосты.

У Димки-Ломаного был небольшой пролапс (плевать на него, такая штука встречается у шестидесяти процентов здорового населения), а ещё три дополнительные трабекулы, или хорды. Тонкие поперечные фиброзные нити, идущие от одной стенки желудочка к другой. Протянутые, как бельевые верёвки во дворе – от стены к стене. Или как струны на гитаре. Когда в сердце увеличивается скорость кровотока, эти волокна колыхнутся и даже создают звуковые эффекты, но патологию – никогда. Эти шумы мы и называем физиологическими.

Но, кроме всего прочего, у Димки-хоккеиста обнаружилось открытое овальное окно. Остатки эмбрионального кровотока через стенку предсердия, отверстие, доставшееся многим взрослым людям после их девятимесячной жизни в животе женщины. Той самой, которая потом будет их кормить, растить и угнетать.

Обычно дырка зарастает годам к пяти; поток через отверстие природой не предусмотрен, и поэтому такой небольшой сброс является хотя и патологическим, но не смертельным. Всё зависит от размера дыры. Если она большая, то дело плохо: правые отделы сердца неминуемо расширяются – и наступает лёгочная гипертензия. А если отверстие маленькое, то сброс через него не критичен.

У Ломаного отверстие было четыре миллиметра. Ну, хорошо, уточняю – чуть больше. Если честно, такой пробоины вполне хватает, чтобы перегрузить правые отделы. Однако все мои измерения показали, что ничего подобного не происходило. Поток через пятимиллиметровую дырку был минимальным, правое предсердие соответствовало норме, и давление в нём, как и в лёгочных венах, ничего плохого не предвещало.

Ну и как я должен был поступить? Нарисовать в заключении диагноз, с которым первый же спортивный врач, перестраховавшись, отправит парня на скамейку запасных? И спортсмен, подрубленный на самом взлёте, вместо кубка получит в лучшем случае депрессию, а скорее всего – заваленные экзамены в школе и героин в подворотне.

Когда я отрывал глаза от монитора и смотрел на моего пациента, то прекрасно понимал, с кем имею дело. В мои далёкие тринадцать такие парни никогда со мной не дружили. Сбитый, мускулистый, с уже пробивающимся пухом на средней линии живота. Разговаривает лениво, и по речи понятно, что человек в свои невеликие годы уже знает, чего хочет в жизни, а сквозь высокомерную улыбку виднеется криво сколотый передний резец. Крутой перец, без базара. И в спортивной карьере такой пацан будет переть напролом.

Спросил его, не устает ли он после тренировок, и парень вполне интеллигентно сказал, что чувствует себя прекрасно.

Итак, в моём заключении значилось: открытое овальное окно диаметром менее двух миллиметров, в стадии облитерирования. То есть иди, Димка, на лёд и маши клюшкой, как и махал. И приходи на повторный осмотр через год. Желательно – снова ко мне.

Хоккеистов в целом я, честно признаться, не очень жалую. Большая часть моей жизни прошла в доме, где жил пацан, который мечтал стать звездой отечественного хоккея. В выходные по утрам он повадился вставать ни свет ни заря и гонять шайбу по нашей лестничной клетке. Большинству соседей этот грохот казался милой забавой, тогда как на крики мамы Нади сбегалось полдома, чтобы поучить меня уму-разуму. Живя с хоккеистом в одном подъезде, я был готов подкараулить его где-нибудь в укромном уголке и выкрутить ему уши из его башки. Но вместо этого я зачем-то набрал себе на выходные дежурств и перестал замечать своего шумного соседа, а

вскоре, переехав, вообще забыл о его существовании. Вернувшись через десять лет в старую мамину квартиру, никакого хоккеиста в нашем подъезде я больше не встречал, зато на перекрёстке Верности и Бутлерова к тому времени отстроили огромный спорткомплекс «Спартак», с настоящим профессиональным катком.

Так вот, год назад мой пациент ушёл от меня довольный, как Карлсон, с обещанием обязательно вернуться. Как-то на досуге залез в Гугл и набрал его фамилию. И открыл рот. Можно было считать себя причисленным к избранным. Сеть поведала мне: Ломаный (вот когда мне открылось его прозвище) – самый молодой среди подающих надежды петербургских бомбардиров, настоящий вепрь, будущий Харламов. Я уже прикинул про себя, что нашей клинике можно было бы через связи хоккеиста поглубже внедриться в спортивную медицину. Неплохо бы подкинуть такую идею Грачёву, директору и хозяину нашей конторы.

Через год парень вошёл в кабинет уже без мамы. Я видел её в коридоре, но приглашать не стал. Пациенту стукнуло четырнадцать, у него теперь есть паспорт и право на конфиденциальность, которую он, судя по всему, ценил выше, чем мамину опеку.

Отверстие в сердечной перегородке меньше не стало, но выглядел Димка неплохо, вытянулся, повзрослел. Зуб во рту оставался таким же.

– А Ломаный ты из-за зуба?

– Из-за него, – он вытирал остатки геля и натягивал футболку. – С моим сердцем всё в порядке?

У меня не было никаких сомнений.

– Сердце справляется с нагрузками. Размеры камер в норме.

Парень облегчённо вздохнул и направился к двери.

– Слушай, – спросил я его вдогонку, – а чего ты не вылечишь свой зуб?

Он поправил волосы движением, подходящим скорее киноактёру.

– Да ремонтировал я, – сказал Ломаный. – Сделали, и в первый же день после стоматолога мне снова в морду шайба прилетела.

– Не повезло, – сказала я. – Но в запасе есть третья попытка.

– Да ну, чего морочиться? – махнул рукой Ломаный. – Не болит – и ладно.

Он сказал спасибо и вышел. До следующего пациента у меня оставалось свободное время, но тут в кабинет из коридора вкатилась мать. Вид у неё был встревоженный.

– Доктор, у нас всё в порядке с сердцем? – спросила она.

Я пожал плечами.

– Доктор, мой сын задыхается. Нас направили к аллергологу, поставили астму, выписали ингаляторы. Но одышка не прошла.

Мать была абсолютно серьёзна.

– Он никогда вам не скажет. Ещё бы. У него соревнования.

Я кивнул ей на стул, но она замотала головой.

– Нет-нет. Я на минуточку.

Я вышел в коридор, выпустив вперёд себя обеспокоенную мамашу.

– Лена, – обратился я к администраторше, протягивая ей историю, – запишите-ка вот этого пациента к терапевту.

– Я Ира, – обиделась девочка у стойки и обернулась к мамаше:

– У доктора Погодина свободное окно через полчаса. Подождёте?

Погодин поймал меня за пуговицу в ординаторской. Мы не то чтобы не ладили, просто Погодин привык смотреть свысока на всех, кто числится за диагностической службой.

– Хоккеист этот. От вас был?

Я кивнул.

– Странный мальчик.

- Звёздная болезнь, – махнул я рукой.
- Сердце шумит, как Ниагарский водопад.
- Там хорды, балалайка – три струны.
- И открытое овальное окно.
- Это ничего не значит. Перегрузки нет. Вы же видите.
- Ну да, ну да... – протянул Погодин. – Всё-таки странный мальчик.
- Послушайте, – сказал я, – там дело не в сердце.
- Поглядим, поглядим, – Погодин потёр лысину. – Теперь это мой пациент.

Мы сидели у Грачёва, и он бубнил вещи настолько очевидные, словно я был интерном, а он – бывалым врачом. За полчаса я пережил настоящее дежавю.

– Вот не хотел я, Грачёв, идти к тебе в подчинённые. Начальники и друзья – вещи несо-
вместные.

Грачёв крикнул. Он хорошо набрал вес за последние десять лет. Из парня с видом уголовного
брatка превратился во вполне солидного господина, лысого, с брюшком и при галстукe.

– Ты, Храмцов, накосячил. Надо это признать и взяться за хоккеиста как следует.

– Кто накосячил? Я?

– Ну а кто написал, что сброс на перегородке минимальный?

– А он какой? – я вытарашил глаза. – Минимальный и есть.

– Вот заключение из Первого меда, – Грачёв выложил из папки какую-то бумажку. – Диаметр
дефекта пять с половиной миллиметров. И лёгочная гипертензия.

– Ну, во-первых, не пять, а четыре с половиной, – парировал я. – А во-вторых... Если ему
ставят лёгочную гипертензию, то какое они дают давление? Есть цифра?

– Цифры нет, – сказал Грачёв. – Но ты сам виноват. Ты занизил диаметр дефекта.

– Цифры нет, потому что правые отделы не расширены, – я закипал. – И его одышка идёт не
от сердца. Коллега из Первого меда прилепил лёгочную гипертензию потому, что перестраховал-
ся. А я занизил данные потому...

– Ну?

– Ты бы на него, Грачёв, хотя бы посмотрел, – сказал я. – Он гений-бомбардир. Он пропадёт
без спорта.

– Ясно! – сказал Андрюха и прошёлся по кабинету. – И ты решил его спасти. Типа, спасатель
Малибу.

– Типа того, – я тоже встал. – Сделайте спирограмму, рентген лёгких, анализ мокроты...

– Мать против рентгена, – перебил Грачёв. – Не хочет подвергать ребёнка облучению. Боль-
шая вероятность, что они уйдут из нашей клиники.

– Ну и скатертью дорога, – ответил я. – А Погодин твой дерьмо мужик, направил пациента к
другому диагносту у меня за спиной.

– Имеет право, – вздохнул Грачёв.

Я заметил мамашу Ломаного, сидевшую на скамейке возле двери моего кабинета. Она немно-
го осунулась и от этого даже слегка похорошела.

– Здравствуйте, доктор.

– Чем обязан?

Она скользнула следом за мной в кабинет.

– Пришла передать вам от Димы спасибо, – начала она. – Дима сказал, что если и пойдёт к
какому-то врачу, то только к вам.

– Безмерно тронут, – я попытался стусевать злость, колотившую меня после беседы с Грачё-
вым. – Но я всего лишь диагност. Лечение звёздных мальчиков – не моя обязанность.

Мамаша улыбнулась.

– Я знаю, – сказала она.

Женщина подняла глаза и какое-то время рассматривала линию потолка.

– Видите ли, – сказала она, – он стал очень быстро расти. Мужать. И ещё у него сильно изменилось поведение. Он стал совсем... Совсем бешеный.

– Расстройство личности?

– Не знаю... – сказала она. – Он хамит, кричит на меня. Ночами заснуть не могу. Переживаю.

– Может, вы его разбаловали?

– Нет, поверьте мне, у нас в семье особо не разбалуетесь, – в её голосе послышалась обида.

– Вот такой случай был, – продолжала она. – Мы живём с Диминым отчимом. И ещё у Димы есть маленький брат. И я, понятное дело, много занимаюсь с малышом. А Дима не любит, чтобы его обделяли вниманием.

У пацана, оказывается, не такая простая жизнь, как мне представлялось.

– И вот однажды, когда я кормила младшего... Понимаете, нам с Димой нужно было ехать на соревнования в Москву. И тут мой младший сын... Он заболел. Скорая приехала и поставила ротавирусную инфекцию. В общем, ничего страшного... Но я всё равно сдала билеты. Димка не поехал на соревнования.

А тётка-то на самом деле не балует парня, подумал я.

– И вот, я сидела с ребёнком на кухне... А Дима подошёл ко мне сзади, взял нож и ударил меня рукояткой между лопаток.

– Рукояткой?

– Да, – её пальцы принялись быстро-быстро тереть бахрому шерстяного красного шарфа.

– И он заорал во весь голос, что ненавидит меня, и брата ненавидит, и отчима, и что была бы его воля, он бы всех в нашем доме перерезал.

– Он задыхался, когда кричал?

– Вроде бы нет, – сказала женщина. – Дышал тяжело, но спазма не было.

– Хорошо. И вы тогда...

– Вскочила и выбежала на улицу.

– Испугались?

– Очень.

Женщина волновалась, и её даже, кажется, слегка трясло.

– И ещё я позвонила подруге.

– Зачем?

– Она психиатр. Я с ней много раз обсуждала Димкино поведение. Она предложила вызвать бригаду.

Я оторопел.

– И вы вызвали?

– А что мне оставалось? – она вдруг повысила голос. – Идти домой, где сидит человек с ножом?

– Ребёнок с ножом, – поправил я. – Всего лишь тринадцатилетний ребёнок.

– Знаете... – сказала она, подумав. – Ребёнок – это тот, кто был тогда у меня на руках. А в доме засел невменяемый подросток, почти мужчина, с холодным оружием.

Я кивнул, чтобы она продолжала.

– Так вот. Бригада приехала, и я сказала, что её вызвали соседи, услышав крики.

– А Дима?

– Ничего. Оделся и спокойно пошёл с ними, – мать вздохнула. – К вечеру я и сама испугалась того, что сделала. Позвонила подруге. Она сказала: дескать, если я заберу Диму в тот же день, то эффект от всего спектакля пропадёт. И посоветовала мне поддержать Диму в клинике до следующей пятницы.

– Так вы уехали своего сына в психушку? На сколько дней? – выспрашивал я, хотя это уже не имело никакого диагностического значения.

– На пять дней, – ответила она.

– А были ли у ваших родственников или у родственников вашего мужа какие-нибудь психические заболевания?

– Не было.

– Очень жаль, что не было, – сказал я. – Тогда срочно сделайте вашему ребёнку... Вашему старшему ребёнку – рентген лёгких. И томограмму. Иначе я буду считать, что в вашей семье проблемы с головой не только у вашего сына.

.....

– Обязательно нужно было хамить пациентке? – спросил Грачёв. – Она накатала на тебя жалобу.

– А хоть бы и в суд подала, – сказал я. – Зато у нас на руках есть исследования, которые она никогда бы не сделала своему сыну, если бы я на неё не надавил.

Мне было чем гордиться. На рентгенограмме и томограмме кое-что нашлось. И это кое-что полностью переворачивало картину диагноза.

– В правом лёгком обнаружена округлая тень...

– Скорее всего, опухоль, – сказал я. – Если бы абсцесс, в крови были бы лейкоциты.

– То есть никакая у него не астма, – сказал Грачёв.

– Бронхоспазмы связаны с опухолью, – предположил я.

Грачёв выложил передо мной ещё какие-то бумаги.

– Я тут посмотрел, чем его лечили... – он ткнул в какую-то бумажку. – Ему дали препарат с высоким содержанием гормонов. Странно, что аллерголог, который делал назначения, не поменял лечение при отсутствии эффекта.

– Грачёв, – сказал я. – Ты, наверное, забыл. Я давно уже не помню ни одной дозировки. Я ничего не назначаю.

– Да понимаю я... – Грачёв в задумчивости щёлкал авторучкой.

– Слушай... – осенило меня, – а гормональные препараты могли повлиять на надпочечники?

Грачёв развёл руками.

– Ингаляторы? Вряд ли.

– А если парень принимал анаболики?

– В тринадцать лет? – засомневался Андрюха.

– Пошёл и купил в любом магазине спортивного питания какую-нибудь добавку... – рассуждал я. – У него тренировки каждый день, а он ещё и учиться успевает. Откуда силы берёт?

– Логично, – сказал Грачёв. – И если он пил такие препараты, то не факт, что в лёгких у него опухоль.

– Ну да, – сказал я. – Иммуносупрессорный эффект стероидов. Значит, в лёгких может быть и абсцесс. Вот тебе и расстройство личности.

– У кого?

– Да у ребёнка же.

– А я думал, у мамыши, – усмехнулся Грачёв.

– У мамыши синдром ватрушки, – сказал я. – Вместо мозга творог.

Грачёв покачал головой.

– А могли его приступы возникнуть на фоне посттравматического синдрома? – спросил я.

– Психиатры так и записали... – Грачёв снова полез в бумаги. – И мать вроде бы соглашается с написанным. Но парень настаивает на своём. Говорит, ударов по голове у него не было за всю карьеру бомбардира. Ну, разве что шайба дважды выбила зубы.

– Ну-ну, – хмыкнул я. – Отрицая сотрясение, он подтверждает приём стероидов.

Потом я узнал, что с Ломаным всё было именно так. Конечно, пацан баловался белковыми препаратами, содержащими гормоны. Принимал их не системно, но ему хватало, чтобы справляться с нагрузкой и нарастить мышечную массу. А также создать иммуносупрессорный эффект, позволяющий организму не распознать очаг воспаления в бронхе. А ещё вызывать спонтанные психические реакции, подобные той, которая и привела парня вместо московских соревнований в банальную психушку.

Но это только часть истории. Всё остальное мне рассказал сам Ломаный.

Абсцесс удалили, и через полгода после операции Димка снова стал появляться на льду. Понятия не имею, как он справлялся без стероидов, но он, несомненно, был талантлив. А талант вызывает у меня уважение. Не то чтобы я внезапно полюбил хоккей, однако время от времени стал следить за графиком соревнований юниоров. Наверное, так и становятся болельщиками. И к тому же стадион «Спартак» построили чуть ли не под моими окнами.

Выходя с одной их игры, я остановился покурить снаружи спорткомплекса. Игра выдалась слабоватой, противники команды Ломаного передвигались по полю, что шкафы на колёсах.

Дима заметил меня и подошёл вразвалку, протянув мокрую ещё пятерню.

– Здорово, звезда, – сказал я. – Пришёл погреться в лучах твоей славы.

– Неинтересный матч, – нахмурился Ломаный. – Лучше в следующие выходные приходите. Будут ребята из Сибири.

– В следующие выходные работаю. А про сегодняшнее... Ну что ж, победа есть победа. Как ни верти.

– Победы расслабляют, – заметил Димка. – А я вам рад.

Он улыбнулся, и я обратил внимание на его передние зубы – ровные, без сколов.

– С новым зубом тебя!

– Спасибо, Юриванч, – ответил он. – А вы в курсе? Это зуб тогда у меня в бронхе застрял!

– Погоди... Как зуб?

– Ну, после бронхоскопии уже стало понятно. Внутри гнойника был кусок того самого, переднего, который я сломал три года назад.

– Сломал и вдохнул, что ли? И не заметил?

– Ну, игра была... – он пожал плечами. – Не помню, как всё произошло.

– И зуб закупорил очень маленький бронх.

– Наверное, – Дима развёл руками.

Я хотел было спросить, как у него дома, что с мамой, с братом, но ни о чём не спросил.

– Приходи на эхо, – сказал я. – Твоё сердце надо смотреть раз в год.

– Ладно! – сказал он и, отойдя на несколько шагов, крикнул:

– Пока, Юриванч!

Вот, значит, как. Открытое овальное окно здесь вообще ни при чём. Иностранное тело бронха. Надпочечниковые кризы. Рефлекторный бронхоспазм. И пять дней в психиатрической клинике.

Как всё-таки хорошо, что я в своё время развёлся с женой, что мой сын Сашка рос в спокойной семье, а его здоровье всегда находилось под моим контролем, да и детство прошло без криков и истерик, без беготни с ножами и психиатрической бригады. Впрочем, насчёт последнего я не зарекаюсь. С другой стороны, я постараюсь сделать всё, чтобы Сашке никогда не пришлось вызывать по мою душу санитаров. Если мне суждено повторить опыт мамы Нади, пусть рядом будет кто-нибудь другой, а не Сашка.

Кстати, Погодину я отомстил. Нельзя же было оставить его поступок безнаказанным.

Я долго думал, что бы такое преподнести человеку, пренебрегающему коллегиальной этикой и не доверяющему диагнозам специалиста. Мазать суперклеем пол в его кабинете было как-то мелко. Я мог, конечно, навести справки и собрать компромат, который бы весьма невыгодно высвечивал погодинское поведение в свободное от работы время; информация несложно было передать его жене, но при одной мысли о такой банальщине мне становилось стыдно. Я придумал нечто получше.

Понадобились только лазерный принтер, новый картридж и «Снегурочка» А4. Три банки клея, кисточка и несколько свободных часов в тёмное время суток.

И вот, когда все мы приехали утром на работу, двери нашей клиники и арка на въезде во двор, а также дома прилежащего к нему квартала, до самой станции метро, автобусная остановка, стеклянная будка «Цветы» напротив входа в подземку, стены в подземном переходе – все вертикальные поверхности были обклеены листами с качественной фотографией доктора Погодина. На листовках было написано:

«Разыскивается худший доктор города Санкт-Петербурга, Погодин Максим Сергеевич, терапевт и семейный врач. Согласно независимому расследованию, за последние полгода у доктора Погодина умерло четырнадцать пациентов, каждый из которых ежемесячно и регулярно посещал Погодина и своевременно оплачивал лечение. По данным экспертизы, доктор Погодин М.С. упустил четыре случая злокачественных опухолей; терапия была назначена несвоевременно. Погодиным М.С. были допущены ошибки в дозировках и режиме назначения сильнодействующих лекарственных средств. Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Доверяйте своё здоровье профессионалам!»

Грачёв, обнаружив чудовищное содержимое листовки и оценив масштаб поражения, схватился за голову и от греха подальше отправил Погодина в административный отпуск. Пациенты клиники обращались к администраторам и требовали, чтобы врач, упоминавшийся в листовке, не смел подходить к ним на пушечный выстрел. Погодину пришлось залечь на дно, а вскоре и совсем уволиться. Про эту историю даже передавали в местных «Новостях».

Поначалу Грачёв подозревал меня и несколько раз вызывал на разговор, но у него не было никаких доказательств, и вскоре инцидент сошёл на нет.

Четвёртая моя беседа с Э. Д.

– У вас поменялся подход. На свою первую пациентку вы извели всю аптеку отделения, а у хоккеиста – занизили параметры.

– И о чём это говорит? Хотите сказать, об ослаблении моих мозговых функций?

– Нет. Вы придерживаетесь практики врачебного невмешательства.

– Это плохо?

– Почему же. Я тоже так работаю. Да, кстати, сегодня вас выпишут из отделения.

– Что?

– Можете идти домой.

– Но здесь меня даже толком не лечили.

– Вас не нужно лечить. Меньше вколлот – больше помог.

– А если я выйду и... Ну, вы поняли.

– Андрей Николаевич отправил вас в административный отпуск. В ближайшее время вам не следует появляться в его клинике. Ваше резюме – в чёрном списке. Считайте, что вы отстранены от врачебной деятельности. Не беспокойтесь, никакого уголовного дела на вас не заведено. Но вы свободны.

– Бред какой-то.

– Не хотите отсюда уходить?

– Да хоть сейчас бы сбежал.

– Так идите.

– И это называется добиваться результата?

молчание.

– Вы садистка. Вы меня измучили. Отказываетесь меня лечить.

– Не отказываюсь. Просто сказала, что отпускаю вас.

молчание.

– Я не хочу возвращаться домой.

– Съездите куда-нибудь. Путешествуйте. Отдыхайте.

– Самолётами не летаю. А всю Ленобласть давно уже объездил.

– Во времена Гоголя не было самолётов. И всё-таки он умудрился доехать до Рима. На перекладных. Не думали о таком варианте?

- Не хочу никуда ехать.
- Очень зря. Когда-нибудь расскажу вам про Италию. Я была в Риме несколько раз и надеюсь поехать туда следующей весной. Солнце, спагеттерии под зонтиками, Форум, Капитолий. Представьте себе: вы просыпаетесь утром, под звон колоколов, в маленькой студии. Подходите к окну – а там сплошные крыши и купола, залитые солнцем. В Риме можно сесть на поезд и поехать на север, в Венецию. Или на юг, в Неаполь.
- Мне станет плохо в пути. И никто не поможет.
- Выучите итальянский.
- Издеваетесь.
- Нет. Предлагаю подумать. Помечтать.
- А сейчас мне что делать?
- Что хотите. С сегодняшнего дня ваши упражнения в письме – дело абсолютно добровольное.
- Кто же будет читать добровольное моё письмо?
- Вы будете приносить мне написанное, если пожелаете.
- Да.
- Как вы сказали?
- Согласен. Сколько стоит ваша консультация?
- Все расценки – официальные. Не дороже, чем в других клиниках по городу.
- Можно присылать вам тексты по электронной почте?
- Хорошо. Тогда через неделю жду следующую историю.
- Про что?
- Про что захотите. По случаю выхода из больницы хочу дать вам побольше свободы.
- Попробую.
- Надо сказать сестре-хозяйке, она приготовит ваши вещи.
- Вы мне дадите выписку?
- Конечно.

Задание 5. Труп

(из коробки №S-55/2-ЮХ)

приблиз. 2000 г.

Я тогда ещё работал в больнице, но уже в отделении лучевой диагностики.

К общей связке ключей, которые я всегда таскал с собой, у меня был прицеплен и ключ от рабочего кабинета (дубликат, чтобы не заглядывать к старшей сестре).

Однажды я поднялся на этаж и открыл дверь, возле которой с раннего утра толпились мои подопечные. Переоделся в свежий халат, бросил взгляд на список из двадцати двух человек и наконец отодвинул ширму, которой была отгорожена кушетка. На кушетке торжественно и неподвижно лежал труп.

Женщина, крупная, с неаккуратно заколотыми сверху седыми волосами, сползающими к лицу. В полутьме выделялись желтоватые скулы, серые рельефные губы и большой горбатый нос. Труп был одет в весёленький больничный халат синего цвета, а из-под халата торчали плотные кое-как заштопанные чулки. Глаза у трупа были открыты, и левый смотрел непосредственно на меня.

От неожиданности я отпрянул, и ширма, стоящая сзади, грохнулась на пол. Я кинулся её поднимать, но зацепил ногою стул, и тот тоже упал. Труп наблюдал за всем происходящим своим неподвижным левым глазом и делал вид, что он тут ни при чём.

В кабинет постучали. Я кинулся к двери.

За дверь скопилась очередь. Первым был мужик из урологии.

– Доктор, можно? Я на девять.

Это был первый пациент на УЗИ простаты. Конечно же, подготовленный – с полным мочевым пузырём.

Я взял себя в руки и сказал ему, что приём задерживается. Мой голос прозвучал неуверенно. Пока я откашливался, возмущённый мужик попытался проникнуть в кабинет.

– Как задерживается? – сказал он. – Я тут, в коридоре, не выдержу. Подтирать за мной будете. Но я закрыл перед мужиком дверь.

В тусклом глазе труппа промелькнула благодарность.

Я бросился к телефону. По местной линии во всех отделениях мне отвечали только длинные гудки: общая так называемая пятиминутка (которая обычно длилась полчаса или больше) ещё не закончилась, и часть врачей сидела в конференц-зале главного корпуса, а вторая часть принимала смену. Мобильник Мадины Павловны, нашей заведующей, был вообще выключен. Дверь кабинета снова забилась в истерике. Я живо представил себе, что творится снаружи. Наверняка там трое или четверо голодных больных людей, и все они еле-еле добрались на четвёртый этаж. Понятно, что сейчас они меня порвут, и пойдут мои клочки по больничным закоулочкам.

– Я с диабетом! – кто-то кричал, прикинув к замочной скважине. – У меня еда по расписанию!

Я снова бросился обрывать телефон заведующей.

– Какой труп? – послышался наконец в трубке голос Мадины. – У вас что, пациент умер на кушетке?

– На кушетке! – радостно закричал я. – Не у меня! Умер сам по себе, без моего, так сказать, вмешательства.

– Окей, – сказала Мадина. – Подождите, я скоро вернусь с лётки.

– Но я не могу вести приём! – орал я в трубку.

– Почему? – недоумевала начальница.

– Потому что у меня в кабинете! – вопил я. – Лежит! Мёртвый! Человек!

На том конце провода повисло недолгое молчание.

– Ну так сдвиньте его куда-нибудь, – в речи начальницы уже звучало раздражение, – и продолжайте работать.

Она отключилась, а я, зарывав, сунул мобильный в карман халата и снова шагнул к кушетке.

Даже если бы я очень хотел, то никак бы её не сдвинул. Старуха весила килограмм сто двадцать, не меньше, у меня в спине жила нелеченая грыжа. К тому же я оказался единственным свидетелем того, что тётка умерла в моём кабинете без моей непосредственной помощи. Трогать её было нельзя.

В дверь снова заколотили.

– Вот это да! – присвистнул Андрюха. С неожиданным восхищением он рассматривал мою подопечную. Андрюха прибежал из отделения интенсивной терапии, с третьего этажа, потому что дозвониться до меня (ещё бы!) оказалось невозможно.

– Давай-ка я тебе пришлю эскорт, – и мы её, болезную, командирuem в мордор, – сказал он, быстро смекнув, какую может извлечь пользу из происходящего. – А взамен ты посмотришь почки одному моему экстренному. Позарез нужно, брат.

И Андрюха достал из нагрудного кармашка мобильник. Я подпрыгнул к нему и выхватил телефон.

– Охренел, да? – выпучил глаза Андрюха, но я уже вытолкал его наружу и щёлкнул замком.

Минут через десять после того, как я набрал на мобильном «ноль два», в дверь снова постучали.

Это была Мадина.

Про Мадину следует сказать особо. Бывают женщины, на которых одно удовольствие смотреть, но только когда ты находишься на приличном расстоянии. Всё вроде бы при них – и грудь, и фигура: вот у Мадины, например, были тёмные волосы, смуглая кожа и глаза с радужками опалового цвета, но для меня в её красоте скрывалось что-то пугающее, неприятное. Похожий типаж

я видел в одном детском фильме – актриса играла волшебную птицу с женской головой и телом, покрытым перьями. Жуткое зрелище. Примерно такой была и Мадина. Заведующей лучевиками её поставили недавно. По профессии Мадина была рентгенологом, но целила выше: ждала, когда в больнице установят томограф.

– Для чего милицию-то вызвал?! – она стояла посреди кабинета и растерянно хлопала глазами. – Теперь дерьма не оберёмся. Не мог, что ли, на местном уровне всё решить?

– Я пытался на местном, – буркнул я. – Все требуют убрать труп. Только никто из заведующих не признаётся, чей он, кто лечащий врач и с какой стати эта тётка оказалась в моём рабочем кабинете.

Мадина всплеснула руками. Её серебряные перстни звякнули в воздухе.

– Ну уж разобрались бы как-нибудь! Мне главврач уже головомойку устроила.

– Мне тоже.

– В первой кардиологии у одной твоей пациентки фибрилляция началась. Якобы из-за того, что ей вовремя не было сделано эхо.

– Знаете что? – обозлился я. – Лечить надо вовремя, и никакой тогда не будет фибрилляции!

А если в башке пусто, то и в больнице бардак: вон, трупы по углам валяются.

Моя подопечная в халате с васильками довольно слушала наши препирания со своей кушетки. Она, кажется, могла бы мной гордиться. Заведующая посмотрела на неё, потом снова на меня, махнула рукой и уже в дверях сказала, подчёркнуто выкая:

– Ну, как хотите. Всю ответственность теперь понесёте сами.

Может, это она не мне одному сказала, а нам обоим. Ну, то есть мне и трупу.

Мадина ушла, а я опустился на стул возле аппарата. Снова зазвонил телефон, но трубку я не взял. Телефон ещё немного потрезвонил и унялся.

Я сидел и думал о том, о чём вообще-то врачам не принято думать. Ведь существуют такие вещи, которые мы считаем само собой разумеющимися. Труп в кабинете, подумашь. Трупы в анатомичке на первом и третьем курсах нас должны были отучить от любой сентиментальности. А вот я сейчас запер дверь и сижу рядом с чужой мёртвой тёткой, у которой пузо выше подоконника и нос торчит словно телебашня. И пока я не установлю, кому принадлежит этот нос, – дверь я не отопру. Так-то. И будет дух моей товарки по несчастью болтаться в моём маленьком душном кабинете, между полом и потолком, и никаким ультразвуком его отсюда не вытравишь. В том, что я здесь не один и в кабинете присутствует тёткин дух, я был абсолютно уверен. Хотя, возможно, я настолько рьяно защищал неприкосновенность чужого тела, что нехотя сроднился с ним и, в силу обстоятельств, наделил его повторно... Тьфу, что за чушь иногда лезет в голову.

Но рабочий день шёл, а труп никто не увозил. Времени была уйма, и мне ничего не оставалось, кроме как бродить вокруг да около кушетки. Заняться было нечем, одолевали мысли и воспоминания. И ещё меня очень раздражали пегие завитки, выбившиеся из причёски моей подопечной. Я подумал, поглядел так и этак, потом достал из стаканчика с канцелярскими приборами металлические больничные ножницы и машинально – щёлк-щёлк! – отстриг один длинный завиток, сползающий на кушетку дохлой серой змейкой. Он скользнул на пол, а на его место выползла другая прядка, и её я тоже – щёлк! – и отстриг. Прядка упала на пол рядом с предыдущей, свернувшись кольцом.

Я так увлёкся стрижкой, что уже и забыл про милицию. Вспомнил про неё, когда уже выстриг клиентке чуть ли не полголовы. В груди моей похолодело, я заметался и не придумал ничего лучше, чем смести волосы на бумажку, завернуть бумажку в пакет и спрятать его в карман своего пуховика. Выберусь – выброшу.

Когда приехала милиция, в коридоре около моих владений собралась, как говорится, вся королевская конница. В кабинет они вошли друг за другом: чувак в форме, главврач, оба зама и, почему-то, завхоз Николай Николаевич. В узкую щель между завхозом и дверным косяком, поджавшись, протиснулись Мадина и завкардиологией Еремия Ивановна, в просторечье Ереванна, которая, оказывается, наконец-то признала бесхозную пациентку за своим отделением.

– И точно, наша, – сказала Ереванна. – Пациентка Вольф, Марина Степановна. Известная писательница. Мы только сейчас обнаружили пустую палату.

Потряса история болезни и пытаюсь обращаться одновременно к милиционеру и главврачу, Ереванна сумбурно объясняла, что, дескать, лечащий врач пациентки Вольф, как назло, сегодня весь день в отгуле. Если б не отгул, говорила она, в отделении давно бы хватились пострадавшей.

Милицейский чин забрал историю, попросил Ереванну остаться в кабинете, то же самое потребовалось и от меня, а все остальные нехотя удалились. Испуганную докторшу колотило, она тербила пухлыми пальчиками золотой крестик, висевший у неё на шее. Нас о чём-то спрашивали, я рассказал мужику в форме, как было дело, написал бумагу, был осмотрен и отправлен домой до востребования. Я угрюмо кивнул и, уходя, посмотрел на нашу панночку. «Как вы достали меня, идиоты», – говорил весь её измученный вид. Кабинет печатали до послезавтра.

На следующий день, после обеда, меня уже вызвали на работу.

В моём кабинете заседал тот самый милицейский чин.

– Что это? – и лейтенант бросил на стол маленький пакетик, в котором лежали несколько коротких стриженных волосков. Возможно, какое-то количество осталось на полу после вчерашнего. – Чья работа?

Я вздохнул. Деваться мне было некуда.

– Моя, – сказал я.

Лейтенант как-то странно на меня посмотрел, потом тоже вздохнул и сделал запись в своей бумажке.

– С какой целью вы подстригли пострадавшую?

Пришлось говорить правду. Всё равно придумать в своё оправдание я ничего не успел.

– На нервной почве, – сказал я. – Обнаружив пострадавшую утром на своём рабочем месте, я пережил потрясение.

Лейтенант не отводил взгляда.

– У вас, простите, с головой всё в порядке? – спросил он немного погодя и усмехнулся. – Вы некрофил, что ли?

Я замотал головой.

– Никак нет.

– Какое такое потрясение? – давил на меня следователь. – Вы медицинский работник, в институте каждый день трупы вскрывали.

– Не каждый день, – возразил я. – Но да, вскрывал.

– Вот впяю вам глумление над мёртвым телом, – сурово сказал следователь, – и вы сядете.

Я погрузтел.

– Если бы не стрижка, всё было бы просто и ясно.

Он посмотрел на меня. Видимо, у меня был довольно жалкий вид.

– Объясните мне, зачем? – в последний раз спросил он. – Заведующая о вас отзывается хорошо. Главный врач считает работником ответственным. Правда, ваш бывший коллега Грачёв...

Он полистал бумаги.

– Грачёв рассказал, что вы время от времени наливаете ему в тапки озокерит, – следователь ещё раз внимательно поглядел на меня. – И вот сейчас – труп в вашем кабинете. Посмертно стриженный. Как-то всё нехорошо складывается.

Он был молодой, может быть – даже мой ровесник, этот лейтенант. По его красноватым глазам было видно, что ему хочется побыстрее закончить дело за неимением состава преступления, но проклятая стрижка, которую я затеял так некстати, спутала все карты.

– Слушайте... – сказал я и вздохнул. – Я... не знаю, зачем взял ножницы. Втемяшилось в голову – подстричь, вот я и подстриг.

Мы молчали какое-то время. Он ещё раз полистал бумаги и слегка кашлянул.

– Свободны.

Я не верил своему счастью и поэтому стоял возле рабочего места, которое с минуты на минуту грозило стать бывшим, и не мог шагнуть к двери.

Лейтенант глянул на меня исподлобья. В его глазах были усталость и злость.

– Идите. В случае чего – пеняйте на себя. Я вас запомнил.

До сих пор ломаю голову, почему человек в форме никуда меня не упёк и не завёл никакого дела. Может быть, и правда, как говорится, дуракам до поры всё сходит с рук. А может, человек просто устал и ему хотелось побыстрее спихнуть в архив бессмысленную больничную историю.

.....
– И не нужно было устраивать представление, – читала мне нотацию Мадина, когда я пришёл к ней в кабинет. – Сорвал день, увеличил себе нагрузку на неделю.

Со слов Мадины, при осмотре трупа никаких повреждений обнаружено не было. При вскрытии причиной смерти назвали острую коронарную недостаточность, что соответствовало профилю отделения, за которым пациентка и числилась. То есть тут тоже всё оказалось чисто. При осмотре одежды пострадавшей – в кармане халата был обнаружен ключ от кабинета УЗИ, со специальной больничной бирочкой. Именно по этой бирочке в находке опознали оригинальный вариант ключа, висящий обычно на доске в кабинете старшей сестры. Кабинет, где хранились ключи, естественно, никогда не запирался – а разве в вашей больнице всё устроено по-другому? В общем, больная стащила тот самый ключ, который я никогда не беру, чтобы не мелькать перед глазами у старшей, когда (все мы не без греха) опаздываю на работу.

– Но ты одно мне скажи. Какого чёрта ты выстриг ей полголовы? – пилила меня Мадина. – Следователь чуть башку себе не сломал.

Я молчал.

– Парикмахер хренов, – сказала Мадина уже совсем незло и добавила:

– Эта Вольф знаешь что писала? Роман! Как думаешь, о чём?

Я пожал плечами.

– Про больницу она писала, вот про что. Про нас всех. Наговаривала на диктофон, чтобы потом перепечатать. Не знаю, как это у писателей делается, – Мадина засмеялась. – Не суть. Запись прослушали, мы все вне подозрений. И если бы кто-то не вообразил себя цирюльником...

– Ну ладно, – сказал я. Мне надоело постоянно мусолить одну и ту же тему, я хотел разобраться со старухой, поэтому пододвинул стул и сел.

– Допустим, эта Вольф и правда писала свой роман. Но почему она припёрлась именно ко мне?

– Не знаю, – развела руками Мадина, – но ты у неё на диктофоне тоже есть.

Мадина продолжала болтать и переключать бумажки на своём столе.

– Видимо, никак ты у неё не вырисовывался. В смысле – образ. Но думаю, если бы она могла проснуться во время стрижки, ей бы всё с тобой стало предельно ясно.

Я заскрипел зубами. Мадина прыснула.

– Всё-всё-всё, – она замахала руками и продолжала уже серьёзно:

– Мы сегодня у главной в кабинете всё утро слушали эту дурацкую запись. Не полностью, конечно. Кусками. Короче, тётка вечером спустилась из кардиологии на четвёртый этаж, спёрла ключ из сестринской, открыла кабинет, ну и закрылась изнутри. Видимо, писательский приём такой. А дальше – сердечный приступ. Конец.

Я пожал плечами.

– В общем, тебе нужно будет восполнить вчерашний потерянный день и посмотреть всех, кто к тебе не попал. Давай, хорошего дня, Юдашкин доморощенный.

Она прицепила рентгенограмму к негатоскопу и отключилась от меня. Аудиенция могла считаться завершённой. Сейчас я вспоминаю тот день и очень отчётливо вижу Мадину, такую яркую, худую, сидящую за столом, своими длинными пальцами в тяжёлых серебряных кольцах перебирающую бумаги. Я слежу за блестящим ногтем и вижу, как он скользит по поверхности стола, а потом подцепляет полупрозрачную чёрно-серую рентгеновскую плёнку. Я вижу, как обведённый синим карандашом глаз с опаловой радужкой глядит сквозь эту плёнку на свет.

Идя по коридору из кабинета начальства, я всё ещё переживал произошедшее. И я понятия не имел, что через неделю история со стрижкой забудется, словно её и не было. И, конечно, от-

куда мне было знать, что через пять лет я уволюсь из этой больницы, через десять – разведусь с женой, что все эти люди, такие важные сегодня, в скором времени для меня совсем перестанут существовать. Что Андрюха откроет частный медцентр, где я, в свою очередь, наконец-то стану заведующим, большим человеком. Что Мадину примерно одиннадцать лет спустя найдут в её собственной квартире, с несколькими колото-резаными ранениями грудной клетки. И не будет на свете никакой Мадины, ни её колец, ни опаловых радужек, а останется только моя память, которой тоже, впрочем, не стоит слишком-то доверять.

Но когда я приблизился к своему кабинету, я перестал думать про всякие глупости. Напротив двери, как обычно, сидела очередь из десяти-двенадцати человек, а по коридору в мою сторону на всех парах летел Андрюха в развевающемся халате.

– Старик! – крикнул он, чувствуя, что ещё секунда – и я нырну в кабинет. – Возьми одного моего больного по «cito»!¹ На предмет выпота в брюшной полости, срочно!

И я, успокоив пациентов кивком головы, рванул в Андрюхину реанимацию смотреть выпот.

Пятая беседа с Э. Д.

– Порадовали вы меня, порадовали. Жизнерадостных историй я от вас даже не ждала.

– Наверное, свобода повлияла.

– Любое передвижение, любая смена пейзажа вам будет только во благо.

– Не помню, кто сказал. Когда человек путешествует, ничего не меняется. Он повсюду таскает за собой самого себя.

– Но есть и другая мудрость. У народов Крайнего Севера, у эскимосов и саамов, был специальный шаманский обряд. Когда кто-то в племени тяжело болел, шаман собирался в дорогу. Брал бубен или барабан. В руках – посох. Шёл на север, по снегу, через тундру. Ничего не ел. Он мог месяц брести и искать душу больного соплеменника, которую похитили тёмные силы.

– Язычество какое-то.

– Такое же язычество, как у вашего философа, который за собой повсюду таскает себя самого. А знаете, что в русских деревнях были специальные люди, которых звали на ночь посидеть с покойником? Правда, в основном это были женщины.

– Знаю. Рядом с мамой Надей всю ночь сидела соседка.

– Зачем они так делали, знаете?

– Чтобы читать молитвы.

– Чтобы отгонять нечистого.

– Всё это притянуто за уши. Мне просто нужно было защитить себя. Чтобы никто не подумал, что это я её «того».

– Ну конечно, так. Считайте, я просто немного развлекла вас беседой.

Задание 6. Фонарёв

(из коробки №S-55/2-ЮХ)

2003 г.

Никогда в жизни я не видел такого человека, как пациент Фонарёв. Он уже перестал быть моим пациентом, но я всё равно уверен, что Фонарёв до сих пор здоровствует и где-то ходит по нашему большому городу.

Я помню Фонарёва человеком около пятидесяти, невысокого роста, сухощавым, похожим на узловатое, кривоватое деревце. Фонарёвские волосы, растущие вокруг аккуратной лысины, самостоятельно укладывались в классическую францисканскую тонзуру. Черты его лица не отличались выразительностью, и мне, кроме волос, запомнился только крупный, мясистый подбородок.

¹ «cito!» – срочный, экстренный режим.

Работал он то ли страховым агентом, то ли агентом по недвижимости, а может, в разное время и тем и другим.

В характере Фонарёва была, пожалуй, всего одна, зато основополагающая черта. Он готовил себя к тому, чтобы выстоять.

Помню, как он пытал себя бессонницей. Не спал четверо суток подряд – и на пятые сутки, когда испытание завершилось, попал в нашу клинику. Сон был изгнан из его организма добросовестно. Мягкие нейролептики на Фонарёва уже не действовали, а гипноз, который наш невропатолог попытался применить, обернулся тем, что Фонарёв встал со стула, направился в угол неврологического кабинета и принялся биться головой о стену.

Когда Фонарёва привели в порядок, он пришёл ко мне на УЗИ, смотреть щитовидную железу. Я спросил его, зачем ему понадобились эксперименты со сном.

– В застенках НКВД существовала такая пытка, – ответил Фонарёв. – Пытка бессонницей. Я должен быть к ней готов.

Никто из нас не мог понять, откуда в его голове зародилась чёткая уверенность в предстоящих муках, которые не сегодня завтра придётся преодолеть, – но идея, что эти невзгоды нужно вынести гордо, захватила Фонарёва целиком.

Однажды Фонарёв умудрился подвесить себя, привязанного за руки, к дереву – просто закрепил веревку на ветке клёна, а другим её концом затянул себе запястья. Убедившись, что узлы получились надёжные, он зажмурился и прыгнул вниз. Я узнал об этом, когда смотрел Фонарёву травмированный ключично-акромиальный сустав.

– Я очень боюсь физической боли, – продолжал он. – Я слабый человек. Больше всего я боюсь, например, что следователь вгонит мне зубочистку в барабанную перепонку.

– Почему вы думаете, что вас непременно будут пытать?

Фонарёв пожимал плечами и умолкал.

– Вы понимаете, я просто обязан подготовить себя... Я должен, понимаете, – отвечал он.

Нужно ли говорить, что у Фонарёва не было семьи. Поэтому вытаскивать его из передряг, кроме нас, было некому. След от ожога утюгом Фонарёв залечил себе сам. В других случаях требовалась медицинская помощь. Он приходил в нашу перевязочную, и молоденькая медсестра Айгуль, в просторечье – Гуля, лёгкой рукой обрабатывала, заклеивала, а то и зашивала несчастное фонарёвское тело. Каждый раз, выходя из больницы, Фонарёв восполнял потерянное время новыми подвигами. Между собой врачи говорили, что его поведение похоже на любое другое хобби – на коллекционирование, на экстремальный спорт. Приверженность к терапии у Фонарёва была нулевая.

Удивительное свойство его ума – в каждом предмете определять возможность приносить телесные мучения – вскоре перекинулось и на меня. Я настолько проникся мышлением моего больного, что, рассматривая различные предметы, например дырокол, вилку, дверную ручку, сам начинал видеть в них орудия пытки.

Однажды завотделением общей хирургии заметил, что наш Фонарёв подозрительно часто стал мелькать в коридоре возле процедурного кабинета. Медсестра Гуля в ответ на ироничный тон начальника внезапно покраснела и тут же деловито забежала по кабинету, гремя металлическими биксами, которые готовила на автоклав. Так или иначе, но вся больница мало-помалу узнала о том, в каких фантастических условиях иногда произрастает любовь.

Гуленька, родом из Узбекистана, хотя и была чьей-то протеже, устроенной к нам по блату, – оказалась милой, толковой девочкой, которая за несколько лет работы в больнице выросла в профессиональную медсестру. У неё было много дежурств, и я даже предполагал, что она жила в хирургическом отделении, а всё свободное время проводила в нашей же платной клинике, где тоже не хватало сестринских рук. Воспитанная в строгости, она серьёзно воспринимала разные сальные шуточки, столь распространённые во врачебной среде. В ответ на попытки пофлиртовать Гуленька надолго замолкала и обижалась, и поэтому вскоре все наши мужики прекратили с ней заигрывать и стали относиться к ней с отеческим участием и опекой.

И вот наша кукольная Гуля, умелица на все руки, из всего ассортимента предложенных ей мужчин выбирает сутулого, немолодого придурка, да и к тому же ипохондрика, если не сказать больше. Даже я, чего греха таить, не слыхом обрадовался свежей большой сплетне, хотя к Фонарёву относился с явным сочувствием.

Гуленька хорошела прямо на глазах. Она сделала короткую причёску, нацепила каблук.

– Гулька, твой там, в коридоре, топчется, опять без бахил, – говорил ей кто-то из постовых сестёр. – Я не пустила, и завтра не пушу. Иди прямой ему мозги.

Но и на следующий день Фонарёв проходил в отделение в уличной обуви.

Он, как нам всем казалось, был в длительной и крепкой ремиссии по основному заболеванию. Мы полагали, что любовь наконец-то пересилила мучительную власть страха.

Потом Гуля куда-то пропала. Может, уволилась, а может, взяла академический отпуск. Не появлялся и Фонарёв. Я, честно сказать, не особенно интересовался этой историей, да и кабинет мой находится этажом выше бывшего Гулиного места работы. Всё понемногу забылось.

А примерно через год Гуля объявилась на втором этаже, в гинекологии. Прибыла туда уже не в качестве медсестры. Она выглядела настолько неважно, что я никогда бы её не узнал, если бы не фамилия на истории болезни. Казалось, что за время своего отсутствия Гуля пополнила, но на самом деле она исхудала – такое бывает, например, когда на фоне общего истощения возникают почечные отёки и лицо становится серовато-жёлтым, слегка припухлым. Когда я увидел её, то был настолько потрясён, что сел изучать историю болезни.

Гуля попала в гинекологию с маточным кровотечением. То, что мы имеем дело с криминальным абортотом, было видно невооружённым глазом, а уж с помощью моей «Алоки», высветившей в матке остатки плодного яйца, историю почти вывели на чистую воду. И вот тогда Гуля замкнулась, легла на кушетку лицом к стене и вообще перестала отвечать. Что характерно, навещать её никто не приходил. Я спустился к Норе Сергеевне, заведующей гинекологией.

– У меня нет никаких доказательств, что виноват этот подонок, – сказала она.

Из отделения мы с Норой вышли курить на хозяйственный двор больницы. Нора крутила в пальцах ментоловый «Вог». Два окурка с такими же яркими вишнёвыми следами уже валялись в воронкообразном ворончатке оцинкованной урны.

– Но я задницей чувствую, что это он, её хахаль. Девка с обезвоживанием – раз. С гломеруло-нефритом – два. Чем он её травил? Где её родственники?

Я тоже, листая Гулину историю болезни, первым делом подумал о Фонарёве. Нора Сергеевна, огромная, громкая, нависала надо мной и пыхла прямо в ухо.

– Давай потрясём девочку, Юра. Ты не представляешь, с каким удовольствием я упеку эту мразь в ментовку.

Но Гуля оказалась непробиваемой. С ней беседовали психологи, её страшали бывшие товарки по работе. Она смотрела на них невидящими глазами и молчала. Иммунитет у неё был снижен настолько, что пиометра¹ возникала дважды. Несколько раз Гуля приходила ко мне в кабинет, а я снова и снова выдавал лечащим врачам стандартное описание её матки, представлявшей собой мешок, заполненный гноем.

Через некоторое время Гуле стало лучше, и за ней приехал пожилой лысый человек в кожаном пальто, от которого за версту несло тошнотворным дорогим парфюмом. Он оказался её двоюродным дядей, он-то и увёз нашу Гулю. Фонарёв, понятно, не объявлялся. Заявить на него мы тоже не могли.

.....

Однажды, может быть – года через два после той истории, я встретил Фонарёва в автобусе. Он сидел возле окна, лицом ко мне, но меня не видел. Мне повезло, передо мной стояла незнакомая высокая женщина, из-за её спины мне удобно было наблюдать за моим бывшим пациентом. Но даже если бы меня никто не заслонял, думаю, что Фонарёв вряд ли бы меня заметил. Сквозь

¹ Пиометра – гной в полости матки.

полузакрытые веки он смотрел в окно, солнце светило ему прямо в лицо, и потому он время от времени замуривал свои блёклые, невыразительные глаза. Лицо Фонарёва было спокойным и расслабленным, словно он не ехал в общественном транспорте, а, скажем, принимал ванну. Рваная автобусная гармошка шуршала, и улыбка Фонарёва была такой по-детски чистой, что, кажется, звенела в воздухе: динь, динь.

Я вышел. Фонарёв поехал дальше, и мне чудилось, что я всё ещё слышу, как эта улыбка тоненько звенит сквозь шум мотора.

Стояла ранняя осень. В воздухе пахло морем – но на самом деле это был запах преющей травы и листьев. Дворники сгребли их в большие кучи, которые почему-то никто не убрал с городских газонов. Я вспомнил, как в детстве мальчишки во дворе делали из опавших листьев такие же огромные горы и с разбегу прыгали в них. Я тоже прыгнул и напоролся на арматуру, после чего мне зашивали ногу в ближайшем травмпункте. Не помню, было ли мне больно. Воспоминания о боли очень быстро стираются. Боль в жизни вообще не считается чем-то весомым. Она для нас, по сути, обычное дело. Проходя мимо одной из лиственных куч, я переступил через низкий забор, который огораживал газон, и поворошил листья носком ботинка. Ещё сильнее запахло морем.

Я, наверное, тоже шёл и улыбался. Мне кажется, да. Я улыбался. Мне было хорошо тем утром. Несмотря на то, что я шёл на работу, которая уже тогда мне порядком надоела. Несмотря на Фонарёва, встреча с которым отчего-то ошеломила меня. Странно: я, несмотря на то, что всю жизнь работаю с человеческим телом, никак не могу привыкнуть к неписаному закону, по которому самое страшное чувство на свете – боль – всегда забывается самой первой.

Задание 7. Пациентка

(из коробки N^oD-47/2-ЮХ)

2004, 2005 гг.

В то время, о котором я буду рассказывать, я ещё гордился своей профессией и даже был убеждён, что именно медицина сыграла в моей семейной жизни решающую роль: я только-только женился и, кажется, именно тот факт, что я работаю врачом, примирил родителей жены с моим существованием рядом с их дочерью.

Бывшие мои тесть с тещей выглядели в то время настоящими Филемоном и Бавкидой. Тесть, Александр Павлович, был главным архитектором одного института, занимавшегося как гражданским, так, кажется, и военным строительством. Жанна Николаевна когда-то была рядовым конструктором, но вскоре ушла с работы и стала домохозяйкой. Тестя я всегда звал по имени-отчеству, а вот супруга его через некоторое время стала настаивать, чтобы я называл её по-свойски, Жанной. Жанной она была для всех, кто считался своим: никакие «мамы» и «мамочки» в их семье не приветствовались. И всё равно, даже в такой дружелюбной обстановке, в доме родителей жены меня не покидало ощущение неловкости. Казалось, что я, взрослый человек, постоянно что-то должен здесь доказывать, чего-то обязан достигнуть, чтобы быть достойным хозяйской дружбы и благосклонности.

Все мои новые родственники обладали прекрасным вкусом, разбирались в современном искусстве, а Жанна ещё и рисовала. У неё была своя манера, отдалённо напоминавшая мне то, что я видел на картинах Борисова-Мусатова. Такие же бесплотные, похожие на духов, женщины, блуждающие среди развалин. Весенние цветы, как будто бы только что сорванные с кладбища. Руки персонажей, прозрачные, тонкие, с длинными пальцами, с выпуклыми ногтями – словно у хронических лёгочных больных. Но, будучи человеком искусства, Жанна всё равно умудрилась стать хорошей хозяйкой и умела изумительно готовить. Утка в карамели – не знаю, как вы, а я ел такое только у неё дома. Ни в одном ресторане ничего подобного не подают. Хотя, признаться, я не очень-то хожу по ресторанам.

Тесть любил показывать гостям работы жены, акварели и холсты, аккуратно уложенные в специальные папки и тубусы. Жанна категорически отказывалась вешать картины на стены. «Это

не интерьерная живопись», – говорила она, а потом добавляла: «Если честно, это и не живопись вовсе». Только одна её работа висела в кабинете у тестя: он отвоевал у жены право на собственное видение интерьера своей комнаты. Вещь была довольно большой, и тесть повесил её таким образом, что вечером, если кто-то хотел зайти в полуосвещённую просторную комнату – при взгляде, брошенном на картину, создавался оптический эффект ещё одного окна, узкого и светящегося мягким серебристым светом.

Жанна болела часто, но не чаще, чем это обычно бывает в её возрасте. Но зимой 2004-го, после одной из перенесённых на ногах простуд, она долго лежала и не могла встать. Сперва я не придавал происходящему значения, но приблизительно через полгода, не добившись абсолютно-го восстановления сил пациентки, начал волноваться.

– Да брось ты, Юрочка. Вот ещё – думать о всякой ерунде. – говорила Жанна своим высоким девичьим голосом, и переводила разговор на другую тему.

– Мама опять грохнулась в коридоре, – словно бы между делом сказала мне однажды жена. – Хорошо, отец был рядом, подхватил.

– Что значит «опять»? – напрягся я. – Она что, падала и раньше?

Вика нахмурилась, потом шлёпнула себя по лбу.

– Вот чёрт. Я же обещала ничего тебе не рассказывать.

Потом она поджала губы и предупредила:

– Не вздумай сказать маме, что ты всё знаешь.

Я выпучил глаза.

– Ты в уме? У неё мать в коридоре упала, чуть голову не расшибла. А она всё в партизанов играет.

Нужно хорошо знать мою бывшую, чтобы догадаться, что произошло после. В тот вечер дома я не ужинал, а на следующий день всё-таки заехал к Жанне.

Тёща возилась по дому. Мне показалось, что она, и так сухошавая, похудела ещё сильнее, осунулась, поплёкла. Я обратил внимание, что она двигается по кухне медленнее, чем раньше – так, словно каждым движением напряжённо преодолевает пространство. В других обстоятельствах я бы объяснил это задумчивостью и неторопливостью, но сегодня я любую её новую черту складывал в копилку выявленных симптомов. Серо-голубая домашняя кофта придавала Жанне и вовсе нездоровый вид.

Я убеждал её пройти обследование. Жанна аккуратно поставила на блюдце мою любимую чашку, пододвинула ко мне чайник с заваркой и села напротив. Потом сняла очки, стала медленно протирать их. По обе стороны от её переносицы легли зеленоватые тени.

Я говорил с ней так, как обычно разговариваю с пациентами. Недоумевал, почему она что-то скрывает от меня, почему не спрашивает совета, не хочет обратиться за помощью.

– Понятно, когда в глухой деревне живёт старушка, она ходит за гусями и верит в Илью-Пророка! Но мы-то с вами живём в других условиях, в цивилизованной стране...

Жанна слушала меня молча, слегка наклонив голову набок. Углы её упрямого рта напряглись, не предвещая ничего хорошего. Меня несло. И на середине моей фразы она вдруг подняла руку и звонко ударила ладонью по столу.

– Или ты прекратишь, Юра, – сказала она, – или сейчас пойдёшь домой.

Ничего подобного от тихой пожилой женщины я не ожидал. Сидел и смотрел на неё. Лицо её было напряжено, тёмные впалые глаза прищурены, а рука всё ещё лежала на столе, похожая на птичье крыло, сухая, с вытянутыми и сведенными вместе жёсткими пальцами.

– Я никогда не пойду на приём в поликлинику, к вашим бездарным врачам. Я никогда не лягу на обследование.

Я не знал, что сказать в ответ.

Шёл домой и разговаривал сам с собой.

– Мы умные, мы такие уточнённые! – бормотал я на ходу, – Картинки рисуем. Вот шархнет инсульт, вот тогда посмотрим, какие картинки...

Со зла я даже сел в метро не на свою ветку. Потом немного успокоился. «А не всё ли равно?» – подумал я, борясь с усталостью, но кто-то другой внутри меня ответил мне на мой вопрос. И всё стало ясно как дважды два.

Больше Жанна не падала. Или меня просто исключили из списка лиц, допущенных к информации об её здоровье. Первое время я скрипел зубами и обижался. Меня отстранили, мне словно обрубали руки. Я был бессилён хоть на что-то повлиять. Потом понял: мои родственники на самом деле ничего не видят, не понимают. Они – слепые.

Когда мы приходили к родителям в гости, мы вели себя так, словно ничего особенного не происходит. Как и прежде, смеялись, угощались, рассматривали фотографии. Но состояние Жанны, плававшей по квартире всё осторожнее и медленнее, расстраивало меня и пугало. Она уже полгода рисовала одну работу, парную к той, что висела в кабинете мужа, и всё никак не могла её закончить. Раньше я такого никогда за ней не наблюдал. Возможно, рассуждал я, у неё сильно упала работоспособность.

Я советовался с коллегами по больнице, они пожимали плечами. «Привози, посмотрим», – слышал я от каждого. – «Нельзя ставить диагнозы на расстоянии». Отлично, думал я. Молодцы. Все молодцы, и только один я веду себя как идиот.

В конце ноября, то есть месяцев через восемь, я вроде бы немного успокоился. Сделал вид, что здоровье Жанны меня не интересует. Я не расспрашивал её о самочувствии, ничего ни у кого не выпытывал. Всё равно расспросы ни к чему не приводили.

Да, я понимаю. Я знаю, что не обязан ни в чём признаваться или каяться. Я давал клятву врача. Главный принцип «не навреди», нам его крепко вколотили в головы. Но я знаю и другие правила.

Короче, так. Я упёк Жанну в больницу. Первое в моей жизни насилие, совершённое собственноручно. Разве можно было ожидать чего-то подобного от тряпки и подкаблучника, которым я тогда казался? Собственно, на это всё и было рассчитано.

Схема работала для моей пациентки абсолютно безопасно. Могу назвать некоторые составные части коктейля. Например, клофелин. Совсем небольшая дозировка. Клофелин можно незаметно растворить в любом напитке, и реципиент в ближайшие минуты сильно уронит давление. Согласитесь, если человек теряет равновесие и падает на пол в присутствии всей семьи, это производит совсем другой эффект, чем если бы он, к примеру, упал в полном одиночестве или на глазах только одного-единственного человека?

В своё оправдание я могу сказать только то, что я заранее вооружился аптечкой и был всё время начеку. Моя жена уже давно привыкла, что я всегда с собой таскаю какие-то лекарства, и то, что в нужный момент у меня в сумке оказались препараты и даже шприцы, никого не удивило. Когда Жанну привели в чувство, возле подъезда уже парковалась скорая – на этот раз тест мгновенно вызвал бригаду. Жанну затолкали в машину, она не сопротивлялась. Она двигалась покорно и заторможенно. Я никому не сказал, что, ко всему прочему, вогнал ей внутримышечно кубик реланиума.

Я обо всём позаботился. Из приёмного отделения дежурной больницы скорой помощи Жанна попала, благодаря моим связям, к лучшим неврологам города, которые немедленно начали обследование. Я достиг своей цели. И, я надеялся, этим дело и должно было закончиться.

Когда я вернулся домой из больницы, куда только что упёк близкого человека, у меня сильно тряслись руки. Я лёг на диван, и всё, что я запомнил из последующих событий – только колышанье клетчатого верблюжьего одеяла, которое то ли заботливо, то ли машинально набросила на меня жена. Зелёно-жёлтые квадраты, я отчётливо их вижу: нити основы, нити утка, единичные пупырышки посередине.

Вместо ожидаемого триумфа со мной творилось неведь что. Я пытался успокоиться, но даже язык моих оправдательных мыслей становится казённым, словно я снова писал медицинский

протокол: штамп громоздился на штампе, формула напознала на формулу. В итоге я выпил спотворное и заставил себя отключиться.

Когда я проснулся, сразу же позвонил в больницу. Мне сказали, что состояние Жанны стабильное. Что и требовалось доказать, повторил я про себя. Ложная тревога. Я готов был забрать Жанну домой самое позднее через несколько дней.

Я спросил у жены, которая общалась с матерью чаще чем я: хочет ли Жанна, чтобы я навещал её в больнице. Жена сказала: вряд ли. У меня отлегло от сердца. Не знаю, смог бы я посмотреть Жанне в глаза, если б она вдруг пожелала меня видеть.

И хоть никто ничего не заподозрил, я без конца вспоминал разговор, когда Жанна выставила мне условия: никаких больниц, никаких врачей. Никакого вмешательства.

Жанна тогда пролежала в больнице всего трое суток. Она согласилась на МРТ головы и основные тесты, положенные для неврологического пациента. Я почему-то думал выяснить в первую очередь, нет ли у Жанны какой-нибудь патологии ЦНС. Врачи ничего не нашли, назначили полное обследование: УЗИ брюшной полости, малого таза, осмотр гинеколога и много чего ещё. Но Жанна была уже в силах дать отпор и пропустила мимо ушей все врачебные назначения. В один прекрасный день она просто сбежала из больницы.

Через полгода, в феврале, Жанны не стало.

Есть такие области медицины, работников которых пациенты наделяют особым цинизмом – и вот что я на это скажу. Нет у моих коллег никакого цинизма, они себя так ведут, потому что просто вынуждены делать мучительные и бессмысленные вещи. Например, обнаруживать уродливые, иррациональные силы, с которыми в большинстве случаев уже поздно бороться. Назначать паллиативное лечение и говорить родственникам в глаза, что ничего уже нельзя поделать.

Всё случилось ошеломительно быстро. События походили на броуновское движение частиц: непонятно куда направленное, непонятно кем и зачем заведённое.

Жанна ничем себя не выдала. Она уверяла, что четвёртая стадия обнаружилась случайно, при стандартном обследовании.

Но после её смерти мы обнаружили в тумбочке выписку из специализированного диспансера, и дата первого обращения говорила о многом. Выписке было больше чем полтора года. Огромный срок. Вот почему она отказалась пройти тесты.

Жанна умерла дома, как и желала.

Неописанная картина всё ещё стояла в её комнате, забытая, отодвинутая к стене. Именно эту картину я и получил в наследство. Огромное полотно, размерами с половину оконного проёма. Его невозможно было ни продать, ни повесить в нашей ипотечной квартире, ничего не нарушив и не поломав.

Картину я повесил в своём рабочем кабинете. И перевешивал её всякий раз, когда переходил на новое место работы. Когда я только начинал рассказывать историю про Жанну, я этого ещё не знал, а вот теперь понял: картина медленно и верно воздействовала на меня почти два десятилетия. Может быть, именно из-за этого полотна я занизил хоккеисту Ломаному величину патологического потока на МПП.

Я опишу вам коротко эту картину. На полотне нарисованы хаотичные линии, напоминающие то ли занавески, сдвинутые в угол окна, то ли чей-то профиль. Самый низ композиции, как я уже говорил, остался не прорисованным. Но я заслонил это мутное, пустое пятно, придвинув к стене столик, на котором в моём кабинете обычно стоят банки с гелем, жидкость для обработки датчиков и несколько коробок с презервативами для ректовагинальных исследований.

Моя шестая беседа с Э. Д.

- *Недели две, а может, даже три, я не смогу вас принять.*
- *Уезжаете в отпуск?*
- *Нет, ложусь на небольшую плановую операцию.*

- *Что-то серьёзное?*
- *Надеюсь, нет. Не хотелось бы выпасть из рабочего процесса.*
- *Вам что-то понадобится? Я могу вас навещать.*
- *Чего удумали. Нет уж. У меня есть кого попросить. Приходите через две недели, как обычно.*
- *Хорошо.*
- *Как вы устроились?*
- *Никак. Пришлось вернуться в старую квартиру. Всё напоминает о прошлом.*
- *Нужно куда-нибудь съездить, развеяться.*
- *Какие могут быть поездки. Я не заслужил.*
- *Пытаетесь воспитать в себе характер?*
- *Как могу.*
- *Иногда нам кажется, что мы развиваем характер, а оказывается – растим в себе жестокость.*
- *Я просто не способен сейчас воспринимать ничего нового. Всё причиняет мучения. Кажется, мне даже дышать больно. Боюсь, что куплю билет, приеду в Рим и запрусь в гостинице.*
- *Ну, как хотите. Не в моих силах заставить вас поехать.*

Задание 8. Григорьич

(из коробки №D-47/3-ЮХ)

1988, 1999 гг.

Однажды в конце восьмидесятых в Ленинград привалило моё личное счастье. Счастье носило деньги в лифчике и звалось тётя Лена. Тётя Лена была маминной двоюродной сестрой.

Двоюродная тётка жила тогда не то в Туле, не то в Перми и приехала сюда в отпуск. Тётя Лена возвращалась домой рано, с отёкшими ногами и гудящей головой, и была вне себя от радости, когда я уступил ей свой диван на целую неделю. В благодарность за предоставленное ей койко-место тётка взяла на себя обязанности по общению с мамой Надей. Мамины странности к тому времени уже зашкаливали, но я не мог поверить или не желал видеть, что мама, ещё вполне молодая, делает что-то не так, и списывал все её выходки то на эксцентричность, то на справедливую строгость, то на усталость.

Время тёти-Лениного приезда совпало с моим окончанием школы и поступлением в институт. Мне повезло: на экзаменах по всем предметам попались простые вопросы – и меня зачислили в медицинский с минимальным количеством баллов. В общем, я впервые на несколько дней забыл про мамино существование. Как раз в эти дни я узнал, что такое ночная жизнь родного города.

Ленинград в восемьдесят восьмом году, если сравнивать его с сегодняшним, был немногочисленным, облезлым, но сумасшедше прекрасным.

– Валера, – сказал я неуверенно своему товарищу-поэту. – К маме сестра приехала. Можно пожить у тебя недельку?

Валера сурово помотал головой.

– Предки будут против.

Потом помолчал и через несколько шагов ответил:

– Попробую познакомить тебя с людьми. Может, они помогут.

В последние школьные годы я пытался преодолеть свою отчуждённость и пробовал прилепиться к какой-нибудь компании. Во всех компаниях, куда я попадал, нужно было уметь выпивать, и я учился это делать. Бухло обычно смешивали с неизвестной, но качественно бьющей по мозгам дрянью, и я раза два основательно проблевался в обгорелых комнатухах очередной тусовочной «хазы», прежде чем до меня дошло, что такие эксперименты сильно ухудшают жизнь, но не гарантируют мне ничьей дружбы.

Однажды я потащился с незнакомыми парнями в аварийный дом на Лиговке и попробовал там бодягу, купленную в складчину у барыг. Лазил по крышам и шарился по разрушенным стро-

ениям. Городские власти потом отреставрировали некоторые здания, например бывший ликёроводочный завод, построенный в начале двадцатого века. Теперь там торчит очередная тошнотворная «Плаза», а я всё ещё помню, как проскальзывал за огороженную лесами территорию. Вот только не помню, было ли это в школьные годы, или как раз тем достопамятным летом, когда приехала тётя Лена и подарила мне кусочек свободы. Помню ещё здание бывшей общаги на Боровой, с облезло-розовыми стенами, его снесли в двухтысячных. Туда меня притащил Валера пробовать экстази. Помню, как нас чуть не замели, когда я выворачивал содержимое желудка в кучу рваных подушек и ломаных досок, валявшихся на задворках. Кто-то крикнул «атас», все подорвались, и меня рвало уже на бегу.

Так вот, про Валеру. Он учился в параллельном классе и считался поэтом. Что за стихи он писал, я не помню, – возможно, он вовсе не писал стихов. Мы не были близкими друзьями и в конце концов совсем потеряли друг друга из виду, лишь только я поступил в медицинский.

– Если ты не пидарас и не отстойник, у тебя должен быть нормальный ватник, а сверху – что-нибудь лейбловое. Хотя бы хоккейная шапка, – говорил Валера.

Сам он летом ходил в умопомрачительном кожаном пиджаке, а зимой поверх ярко-зелёного ватника туго затягивал солдатский ремень. Ещё он носил кирзовые сапоги, вывернутые голенищами наружу так, что они шоркали по асфальту.

Валера привёл меня на музыкальный сейшен, где все сидели парочками, и единственную свободную девчонку прытко забрал себе он сам. Я чувствовал себя чужаком и, выкурив две самокрутки, поплыл. Пока ребята пели, было ещё терпимо, а вот когда разбрелись по парочкам и спихнули меня с единственного кресла, на котором можно было покемарить, я ушёл. Сперва вышел на улицу подышать, а когда надышался и замёрз, то понял, что забыл, куда возвращаться. Я побрёл домой пешком и явился к утру. Мама к тому времени уже ушла на работу, а тётя Лене было наплевать, где я брожу, лишь бы мой диван пустовал.

– Отсыпайся, гулёна, – сказала она, обуваясь в прихожей. Я промычал в ответ что-то, что должно было означать «до свидания», но тётка, потоптавшись возле двери, внезапно вернулась в комнату.

– Юра, я про мать хочу тебя спросить... – начала наша гостья. – Она у тебя... всегда такая?

– Какая? – не понял я.

– Странная, – тётя Лена задумалась. – Вчера пришла с работы и вроде как меня не узнала.

– Шутит, наверное, – сказал я и лёг на диван.

Голова раскальзывалась, и мне очень хотелось свернуть разговор.

– Мама иногда вообще целыми днями молчит, как воды в рот набрала. Но чаще всё-таки ругается. Ей трудно угодить.

– Позавчера и со мной молчала, точно, – закивала тётя Лена.

Она прошла из коридора в комнату босиком и села на краешек дивана. Её огромные колени выпятились из-под короткой юбки.

– Она такая сама по себе, – нетерпеливо сказал я.

И повернулся лицом к спинке дивана.

– Не знаю... – тётя Лена задумалась. – Раньше она другая была.

Я проспал весь день, часов до четырёх. Потом залез в душ. Голова всё ещё плыла. Когда я вышел из ванной комнаты, мама была уже дома. Я что-то сказал ей, но она снова прошла мимо меня, поджав губы, как будто не замечая моего присутствия. Постарался побыстрее одеться и смыться. В любом случае, у мамы для разговоров имелась тётя Лена.

Я снова стоял в Валериной комнате, и мы собирались на очередную вылазку.

– Джинсы – это нормально, – он критически осмотрел меня со всех сторон. – Но рубашка ваше никакая.

Повернулся и достал из шкафа длиннющий шарф.

– Вот, накинь.

– Так лето же, – удивился я. – Зачем шарф?

– Делай что говорят, – Валера поглядел на меня с сожалением. – Потом вернёшь. Обуви дать не могу.

Я накрутил вокруг шеи трёхметровое кашне и попытался почистить свои китайские кроссовки маленькой щёткой, валявшейся на полу в прихожей.

– Безмозглый, – Валера отобрал у меня щётку. – Просто ноги не высовывай, и всё.

Мы вышли на улицу.

Место, куда меня сегодня привёл Валера, оказалось большой, обшарпанной хатой на последнем этаже одного старого четырёхэтажного дома. Это было не жилое помещение, а галерея-сквот, и здесь снова пахло марихуаной. По стенам комнат были развешены картины, заполненные чёрно-белыми фигурками в полосатых фуфайках. Ещё там имелись портреты, написанные маслом, а кроме всего прочего, на полках и внизу, прислонённые к стене, стояли этюды, изображавшие обнажённую натуру. В углу одной из комнат, на давно не мытом полу, возвышалась целая гора пустых тюбиков из-под краски, наваленных, как мне показалось, не без умысла: пожалуй, эта куча тоже являла собой произведение искусства, и посетители почтительно её обходили. Посетителей было немало, они бродили туда-сюда, что-то обсуждали, появлялись и пропадали в дверном проёме. Некоторые держали в руках стаканы или сигареты. Квартира вызывала у меня стойкую ассоциацию с поминками, когда покойника уже вынесли на кладбище, и вроде бы дело сделано и пора по домам, но люди шатаются по дому, здесь бухают, там рыдают, а до самого покойника уже никому нет дела.

– Выставка, – сказал Валера, кивая на завешанные картинами стены. – Всего один день. Завтра уберут.

Я подошёл к окну. Солнце садилось, но было ещё светло. В одном из окон виднелись купола Спаса. Собирался дождь, в уличном воздухе раскачивалась влага.

– Не по Промыслу! – кто-то запальчиво воскликнул у меня за спиной.

Это был дядька с торчащими во все стороны патлами и сломанной дужкой очков, то и дело соскальзывавшей с уха.

– Творить нужно не по Промыслу, а по охоте!

– Не скажи, Григорьич, – отвечал ему другой товарищ с недельной щетиной на щеках. – Охота есть тоже промысел Божий.

– Деньги развращают, Коля.

– В этом я весь, – собеседник глубоко вздохнул. – Люблю разврат.

Последовало звучное бульканье. Я снова повернулся к окну.

– Молодой человек, подержите стакан.

Я обернулся. Григорьич протягивал мне гранёный стакан, на котором синей масляной краской было выведено: «Прикоснулся – опрокинь». Я опрокинул. Коля удовлетворённо хмыкнул. У Коли лицо было как будто стёртое, смазанное. Словно его нарисовали и попытались подправить, да не получилось. А у Григорьича вид был по-хорошему свирепый, в нём ощущались прямота и справедливая злость. Мне показалось, что именно он тут хозяин.

– Григорьич, – сказал я, неожиданно для самого себя, хриплым наглым голосом. Похоже, водка расшнуровала мой мозг и обожгла связки. – Григорьич! Мне вписаться надо на неделю.

От собственного нахальства я сам оторопел настолько, что стёкла у моих очков неожиданно запотели. Но никто этого, кажется, не заметил. Лохматый Григорьич всего лишь пожал плечами, поправил за ухом сломанную дужку, снова булькнул водкой о стакан и бросил взгляд на диван, стоящий за его спиной:

– Ну, вписывайся. Кто мешает?

Диван был вместительный, с бордовой, кое-где насквозь протёртой обивкой.

– Прямо сюда? – я вытаращил глаза.

– А куда? – Григорьич пожал жёсткими плечами и переглянулся с Колей. Потом он задрал голову вверх, словно что-то там рассматривая. – Если хочешь, ложись на потолок. Но не советую. Неудобно.

Я сказал мужикам спасибо и бросил летнюю куртку на спинку теперь уже своего дивана. Как бы застолбил.

– Эй! – снова окликнули меня.

Я обернулся.

– Эй, парень, а на хрена тебе шерстяной шарф? – в цепких глазах Григорьича светилось искреннее удивление. – Лето же.

– Оставь его, пижона, – протянул разочарованно его собеседник. Они отвернулись от меня и, судя по всему, теперь уже окончательно забыли о моём существовании.

В другой комнате я нашёл Валеру, который сидел на полу, в кругу незнакомых мне людей. Я присел рядом.

– Дай, Маяковский, мне глыбастость, буйство, бас, непримиримость грозную к подонкам!.. – декламировал какой-то человек, сидящий напротив.

– Чувак сам такое написал? – спросил я Валеру шёпотом.

Валера повернулся ко мне, помолчал секунду, скривился и, в свою очередь, прошипел мне на ухо:

– Тёмный ты, Храмцов.

Валера отвернулся, и мне сразу стало неинтересно.

Но тут меня кто-то тронул за плечо.

.....

Девочка была светловолосая, коротко стриженная, одетая в безразмерное синее платье, хотя мне оно показалось огромной футболкой с чужого плеча.

– Пойдём со мной? Поможешь.

Она серьёзно и выжидающе смотрела на меня, и левый глаз её немного косил. Всего лишь чуть-чуть, это совсем не бросалось в глаза: казалось, она обращается не ко мне, а к человеку, стоящему у меня за спиной. Девочка повторила:

– Пойдём.

Я поднялся и пошёл за девочкой.

Моя спутница уверенно пробиравалась между людьми. Одной рукой она придерживала длинный синий подол, а вывернутым вперёд локтем прокладывала себе дорогу. Вторую руку она наконец протянула мне, идущему за ней след в след.

Мы прошли в помещение, которое когда-то было кухней, но на том месте, где в кухне обычно размещается плита, валялись разнокалиберные куски фанеры, а возле окна оживлённо беседовала группа людей. Неподальку от них стояла пыльная и заляпанная присохшей белой краской стремянка. Девочка отпустила мою руку и указала на лестницу.

Я глянул. Над верхним краем развёрнутой стремянки, на потолке, виднелся люк, облезлый, выкрашенный в тускло-бирюзовый цвет. Девочка подошла к лестнице и, крепко сжав пальцами опоры, слегка качнула её.

– Немножко шатается, но на самом деле это крепкая лестница, – сказала она. – Подсади, а то мне роста не хватает. Или залезь первым, а потом подтяни меня.

– Ты хочешь открыть люк?

– Здесь выход наверх, – сказала девочка нетерпеливо. – Давай, ты первый. Залезешь, потом дашь мне руку.

Я ещё раз поднял взгляд к дверце люка, нахмурился и посмотрел на девочку.

– А тебе можно туда?

– Ой, – протянула девочка. – Ну, не хочешь – как хочешь.

И она так разочарованно посмотрела на меня, что я решился, сделал шаг вперёд и поставил ногу на лестницу.

– Постой! – сказал я девочке, которая собралась было уходить. – Но чур, потом со своей мамой разговаривай сама.

Девочка кивнула и сделала вид, что держит опору.

Когда мы залезли наверх, оказалось, что в нашем распоряжении всего лишь маленький горизонтальный пятак, на котором сидя можно было с грехом пополам уместиться, хотя подошвы всё равно сползали по наклонному скату, пыльному и усеянному мучнистым птичьим помётом. Девочка, недолго думая, примостилась на самом краю и спустила ноги на скат.

– Садись, – она шлёпнула ладонью по ржавой поверхности.

Я ещё даже не посмотрел вниз, а во рту у меня от страха появился привкус железа. Вокруг стелились только крыши и торчали кирпичные трубы, а сверху нависало набрякшее, воспалённое небо. До края кровли было ещё метров двадцать; край этот, казалось, напознал на другую крышу, а тот – на следующую, и так создавался эффект бесконечного кровельного ландшафта. Слово мы балансировали на панцире огромной черепахи.

Девчонке всё было словно с гуся вода. Она то зажмуривала глаза, щурясь, как сытый котик, то довольно вертела головой. Я наконец уселся рядом со своей спутницей и спустил ноги вниз.

– Еле уместился, – я попытался скрыть замешательство.

– Был бы ты совсем карликом, было бы лучше, – сказала маленькая нахалка, глядя мимо меня. Потом примирительно улыбнулась.

– Ну и что, что ты маленький. Зато не пьяный.

– Вот ты и ошиблась, – сказал я, счищая с пальцев гуано. – Я немного пьяный.

– Мама говорит, что люди сами не всегда способны себя оценить, – важно произнесла она, тоже отряхивая ладони.

– А кто у тебя мама? – спросил я.

– Моя мама – художник. Но её картины никому не нужны, – сказала девочка, ещё раз отряхнула пальцы и протянула мне растопыренную пятерню. – Привет.

Я пожал сухую, тёплую ладонь.

– Привет, – повторил я. – А сколько тебе лет?

– Девять, – сказала девочка и глянула на меня исподлобья. – А ты тоже художник?

– Нет, – сказал я. – Я студент. Буду врачом.

Девочка присвистнула.

– Вот мне повезло! – воскликнула она. – Если с крыши наверх, будешь делать мне искусственное дыхание? Нос в рот?

– Да ну тебя, – сказал я. – Дурочка.

Мне показалось, что в небе разрядили первую молнию.

– Сам ты дурак, и ещё трусишка, – сказала она. – А живёшь ты где? – девочка забрасывала меня вопросами.

– Ну, пока здесь, – я указал на люк за своей спиной. – У Григорьича.

– Григорьич хороший, – сказала девочка. – Спорим, ты у него не выдержишь?

Я пожал плечами. На мою щёку упала крупная капля. На крыше проступили тёмные гулкие пятна.

Небо недолго раскачивалось. Несколько секунд – и оно хлынуло на нас потоком. Я вдруг сообразил, что забыл спросить, как зовут мою спутницу. Но было поздно – девочка меня уже не слышала.

– Спускай меня немедленно! – закричала она.

Я открыл люк, встал на верхнюю ступеньку и, держась одной рукой за лестницу, протянул другую руку девочке. Она упёрлась коленом в моё плечо, и я, рискуя грохнуться со стремянки, как пьяный матрос со сходни, – спустился вниз с девочкой, сидящей буквально у меня на шее.

– Ставь на пол! – скомандовала она, коснулась пола сандалиями и отряхнула подол.

Я открыл рот, чтобы спросить наконец, как её зовут, но девочка уже развернулась и, засунув руки в глубокие карманы своего огромного платья, прошла в комнату, где в одно мгновение растворилась, как не было.

.....

Ночью я несколько раз просыпался. Свет в квартире не гас ни на минуту. Туда-сюда сновали

люди. Или не люди. Словом, я попал в огромный плацкартный вагон, который ехал к чёрту на рога и увозил меня в своём тошнотном дыму.

Я был уверен, что всю ночь провёл на неудобном диване. Однако наутро проснулся на полу, рядом со стремянкой, укрытый чьим-то ватным спальником с горелой дырой и оплавленным наполнителем. По квартире всё ещё ходили, но никто уже не шумел. Потом я услышал чьё-то тихое пение. Слов не разобрал, но понял, что поёт женщина.

Я поднялся и шатаясь пошёл искать уборную. На обратном пути заглянул в комнаты. На табуретке, придвинутой к дивану, сидел Григорьич, а за его спиной раскачивалась незнакомая светловолосая женщина в белой широкой блузке. Она массировала ему голову и напевала с закрытым ртом однообразную мелодию. Глаза её были закрыты. Седоватые лохмы Григорьича как живые шевелились под её пальцами. Сейчас Григорьич показался мне совсем старым.

Услышав мои шаги, Григорьич дёрнул головой.

– Людмила, хватит, – сказал он женщине. – Не помогает. Лучше дай воды.

Он неловко наклонился вперёд, и я испугался, что хозяин галереи сейчас упадёт на пол, но он удержался.

Людмила зажмурилась, сделала движение, будто умывает руки и стряхивает воду. Потом открыла глаза и босиком прошла на кухню. С кухни раздался звон, плеск воды из-под крана, а потом опять – мелодичное мычание.

Я подошёл к Григорьичу. Дышал он тяжело, руки были холодные. Еле-еле нашёл его пульс и паразил, как слабо и часто колотится артерия под моим пальцем.

Он только мотал головой: дескать, отстань, уйди.

Вернулась Людмила со стаканом воды, но Григорьич, отпив глоток, вернул стакан, встал и с трудом переместился на диван.

Что бы сделал на моём месте настоящий врач? Что?

Я понятия не имел. Мне было просто страшно, и всё.

– Усадите его! – сказал я Людмиле.

Она стояла как вкопанная.

– Я медбрат. Усади его! – крикнул я, хватая Григорьича за плечи.

Я почти не соврал. В девятом и десятом классах, на УПК я работал в больнице. Правда, не медбратом, а санитаром. И всего один день в неделю. Но Людмила послушалась. Григорьич шатался, однако сидел.

– Где болит? – крикнул я, пытаюсь заглянуть ему в глаза

– Не болит, – Григорьич говорил с трудом, медленно и осипло. – Колотится. И дышать трудно.

– Вызывайте скорую! – крикнул я Людмиле.

Но Григорьич замотал головой.

– Не... Не вздумай, – прохрипел он. – Здесь галерея... Нас всех на хрен отсюда... Понял?

До меня дошёл наконец ужас всего произошедшего. Скорую вызывать было нельзя. Где скорая, там и милиция. Он прав. Передо мной сидел умирающий человек с пульсом под двести, а я ничего не мог сделать.

Людмила молчала. У меня в голове блеснула идея.

– Тужься! – крикнул я Григорьичу и потряс его за плечи. – Слышишь меня?

Он помотал головой и попытался лечь, но я поймал его и снова крикнул в ухо:

– Это рефлекс такой! Потужишься – трепыхаться перестанет! Тужься давай. Ну?

Я схватил его запястье. Лицо Григорьича покраснело. Он и в самом деле напрягся. А что ему оставалось? Пульс под моими пальцами отчётливо замедлялся на высоте напряжения, но когда Григорьич выдыхал – возвращался к прежней частоте. Я помнил этот приём, а больше ничего не помнил.

Бросился к своей куртке. Она валялась за диваном, нетронутая. Записная книжка во внутреннем кармане была тоже, по счастью, цела.

Я влетел обратно в комнату. Женщина смотрела на меня удивлённо и растерянно.

– Телефон в квартире есть?

Женщина нахмурилась и в первый раз за всё утро заговорила – низким, неуверенным голосом:

– Нет.

– Я выбегу сейчас. Позвоню себе на работу. Врачам. Они скажут, что делать. Сам я не врач, только медбрат.

Людмила закивала.

– Дайте рубль, – я протянул руку. – Вдруг что купить скажут. У меня нету, дайте!

Обернулся к Григорьичу. Боялся, что он отключится.

– Тужься, слышишь? Работай!

Людмила выбежала в другую комнату и сразу же вернулась, протягивая мне замызганную трёшку и мелочь.

– Где автомат?

– На углу, в сторону Конюшенной.

– Где аптека?

– На Невском.

Выбегая, глянул на номер квартиры. Уже учёный. Больше не потеряюсь.

Какой-то идиот занял телефонную будку и трепался там, кажется, целую вечность.

– Мне срочно! Человек умирает! – крикнул я в лицо очкастому человеку в шляпе.

Он вымелся из будки, и я набрал номер отделения.

Через дежурную сестру, старшую сестру, незнакомого мне интерна и ещё двух-трёх людей я добрался до доктора, с которым мы пару раз беседовали во время перекура, стоя на грязной площадке цокольного этажа кардиологического корпуса. Фамилию доктора я уже не помню, и не уверен, что врач вспомнил школьника-санитара, драившего в его отделении палаты и перестилавшего тяжёлых больных. Но консультацию он мне дал, и даже провёл инструктаж, как выкупить в аптеке атенолол. Я не ошибся в докторе, он оказался действительно крутым. Сейчас-то я понимаю, что врач вовсе не был обязан разжёвывать малознакомому парню порядок действий по купированию пароксизма. А может, просто время было другое, и именно поэтому наша беседа для доктора не выглядела каким-то особенным подвигом.

Через пятнадцать минут я снова был в квартире. В груди у меня болело от бега. Но Григорьич был всё ещё в сознании. Мало того, ему, кажется, стало лучше ещё до приёма моих таблеток.

Часа через полтора, после того как пульс достиг девяносто двух, Григорьич пришёл в себя и засуетился, кинулся снимать со стен картины. Людмила выбежала на улицу звонить. Потом пришли люди, один принёс с собой стетоскоп. Я уже был не нужен.

Когда я уходил, Григорьич спросил меня:

– Когда появишься?

Я пожал плечами. Он зыркнул на меня, как вчера: немного свирепо, но, в общем, добродушно.

– Сегодня приходи, ночуй, – сказал он, подумав. – Людка откроет. Будешь уходить, положишь ключ под половик. Понял?

– Спасибо.

– А вот завтра приходите сюда не надо, – Григорьич поглядел в окно и добавил:

– Потому что вообще чёрт его знает, что будет завтра.

.....

Почему я запомнил всех этих людей, хотя, казалось бы, прошло уже столько времени? Наверное, потому, что в эти дни мир вокруг меня развернулся веером, взорвался салютом, а я стоял разинув варежку и глотал всё, что туда ни попадёт. Я удрал от домашних дел, которые мало-помалу мама Надя сгрузила на меня целиком – от походов в магазин до готовки и мытья полов. Я вдруг понял, что жизнь моя только начинается. Это было круто.

«Для галочки» я позвонил домой, то есть тёте Лене, но трубку никто не взял. Наверное, тётя Лена уже отправилась отрабатывать свою культурную программу, а мама ушла в магазин или на работу. Я завернул в продуктовый. Пересчитав у кассы свои медяки, взял бутылку кефира с

зелёной крышечкой и коржик с ореховой присыпкой за пятнадцать копеек. Пошёл к Фонтанке, пообедал, вымыл кефирную бутылку и тут же, на ступенях, нашёл ещё одну, пивную. Внезапно меня посетила гениальная мысль, и я побрёл вдоль набережной, заглядывая в урны и время от времени выгуживая из них новую добычу. Бутылки я сложил в два рваных пластиковых пакета, которые выстирал тут же, в мутной воде, а потом оттащил своё богатство в ближайший пункт приёма стеклотары. Горстки мелочи, гремящей в кармане брюк, мне оказалось достаточно, чтобы подготовиться к новым событиям.

Влажные мостовые сохли после короткого дождя, навстречу шли люди, кто с работы, а кто просто гулял. Под вечер из-за черепашьих крыш высунулось заспанное длинноволосое солнце, а я сидел на ступеньке и смотрел на него, задрвав голову. Солнце не буянило, оно вышло на улицу ненадолго, как выходят за хлебом. Весело было смотреть на него. Провод, протянутый от одной крыши к другой, лежал у солнца на лбу как хайратник, но постепенно сползал всё выше и наконец соскользнул и остался, а солнце ушло.

Я пришёл в квартиру Григорьяча вечером, около десяти часов. Выставки уже не было. Этюды с обнажённой так же стояли, прислонённые к стенам. Свет горел тускло, почему-то только на кухне. Пол здесь никто, похоже, никогда не мыл, и в пустоте сделался заметным мусор: по углам и возле дивана валялись куски извёстки, окурки, пыль. Людмила, всё в той же светлой рубашке с вышивкой и длинной юбке в пол, открыла мне дверь.

Говорят, что первый раз никогда не забывается, но я запомнил его плохо. Может быть, потому, что стеснялся смотреть на эту самую Людку. На глаза попадались еле освещённые куски картин с обнажённой – до сих пор не очень люблю этот жанр. Когда девушка подошла ко мне сзади и обняла меня, моя спина под её холодной рукой дёрнулась, покрылась гусиной кожей. Я растерялся. Пока Людмила была рядом, пока она смеялась, дышала и шептала мне что-то – всё время я видел солнце, садящееся за крыши. Как дурак, думал про это короткое солнце, и про ступеньки, и про бутылки.

На следующий день я сделал всё, как сказал Григорьяч. Запер дверь и положил ключ под коврик. Больше я никогда не был в сквоте. И никогда с тех пор не поднимался на крыши. Хотя, казалось бы, что мне стоило?.. Но вот нет.

Один раз, лет через десять, я специально хотел заглянуть в тот двор, однако на воротах висел замок. В квартире, скорее всего, уже не было никакой галереи, – впрочем, я просто побоялся проверить.

К тому времени я много боялся. И о многом успел пожалеть.

.....

Когда я вернулся домой, мама, как обычно, лежала в комнате, на своей половине, а неутомимая тётя Лена возилась на кухне. В доме, с самой лестничной площадки, пахло луком, жареным мясным духом и чесночными гренками. Мама давно уже не устраивала подобных пиров. Услышав стук входной двери, тётка выглянула в коридор и махнула рукой: дескать, заходи. Я прошёл в кухню, и тётя Лена поставила передо мной мамы-Надину жёлтую чайную пару. И снова повернулась к плите.

– Шас я, дожарю. Ты пей пока.

– Это не моя чашка, тёть Лен, – сказал я, отодвигая от себя чай. – Мама не любит, когда я беру её вещи.

– Ох ты, господи... – тётя Лена всплеснула руками, открыла дверцу шкафчика, достала стакан и поставила на стол, глянув на меня – быстро и осторожно.

Крупная и одышливая, двигалась она по маленькой кухне весьма уверенно: тем хлопнула, этим звякнула, открыла-закрыла, помешала, тук-тук-тук ножик по доске, ш-ших – сбросила нарезанное на сковородку. Надо отдать должное, еда у неё получалась вкуснее, чем у меня.

– Ещё добавки? – спросила тётя Лена, когда я дочистил тарелку куском хлеба.

Я кивнул.

– В ваш продуктовый сегодня фарш выбросили, – сказала тётя Лена. – Фарш, правда, соевый. Но народ быстро расхватал. Ничего, соя тоже белок.

Только сожрав две порции тёти-Лениных котлет и картошки, я понял, как сильно проголодался за эти дни.

Сидя на табуретке, я оперся спиной о стену и блаженно вытянул ноги, перегородив проход. Меня тянуло в сон, и мне уже было не важно, колени там у тёти Лены или не колени.

– Юра, – сказала она. – Мы с твоей мамой сегодня ходили в поликлинику. И вчера ходили.

Я открыл глаза.

– Заболела?

Тётя Лена поджала губы. Видимо, она не знала, как начать.

– Простыла? – переспросил я.

– Да нет, – сказала она. – Не простыла.

Она протянула мне несколько бумажек. Бумажки оказались маминной медицинской картой.

– Она вообще когда-нибудь к врачу ходила? – спросила тётя Лена.

– Мама в больнице работает, – ответил я. – Если ей что надо, то она...

– Понятно, – сказала тётя Лена. – Мать твоя уже полгода как не работает в своей больнице.

А может, и больше.

Я посмотрел в бумаги.

– Как не работает? Она же ходит на работу? И деньги...

Тётя Лена вздохнула.

– Похоже, мой приезд как-то на неё повлиял. Сместился привычный распорядок. Твоя мама просто выходила из дома и сидела на лавочке в соседнем дворе.

– Зачем?

– В первый день твоя мать сказала мне, что я выгнала её из квартиры. Накричала на меня и ушла. Но потом всё-таки вернулась. На второй день она со мной вообще не разговаривала. Ну, ты знаешь, я тебе говорила.

Я кивнул.

– Я испугалась, вдруг с ней случилось что. По голове, может, на улице ударили... Всякое бывает.

Я смотрел на тётю Лену, открыв рот.

– Мы пошли гулять, и я затащила её в поликлинику, – вдруг глаза тёти Лены заблестели, и она вздохнула, – Пропал мой отпуск! Эх!

Её толстая шея пошла пятнами, подбородок задрожал.

Я листал мамину карту и ничего не понимал.

– Завтра ещё к одному неврологу пойдём. Считаю, тебе нужно идти с нами. Потом всё равно тебе самому её по врачам таскать. Я-то уеду.

Я сглотнул.

– Я... Я пойду с ней в поликлинику, тёть Лен. Сам пойду. А вы погуляйте, в театр сходите, последний день же...

Она вскочила и со всей силы ударила ладонью по столу.

– По-гу-ляйте? Погуляйте! – она вытерла слёзы и крикнула, но крикнула шёпотом, так, чтобы не разбудить спящую в соседней комнате маму Надю.

– Ты это как себе представляешь? Погуляйте! Когда сестра с ума сошла, а сын у неё по блядкам шастает!

– Тёть Лен! – опешил я. – Да я же только чтобы вам диван освободить...

– У него под боком живёт сумасшедшая мать, а он ходит как слепой!

Тётя встала, прошла по кухне. Снова открыла шкафчик и, ничего оттуда не достав, закрыла его. Подошла к окну, потом снова к столу. Села.

– Куда ты смотрел, я тебя спрашиваю?

.....

Тётя Лена уехала, а мама стала мамой Надей.

Я хорошо помню свои мысли тех дней и свои страхи. Мало сказать, что я сильно испугался за маму Надю. Я испугался ещё и за себя.

Врачи спрашивали, был ли у нас в роду кто-нибудь, кто сошёл с ума.

И я сразу вспоминал деда Сергея, которого знал только по фотографиям.

Это означало, что не было никакой мамы-Надиной вины в том, что с ней случилось. И я впервые с ужасом осознал: если слабоумие наследуется, то наверняка внутри меня, где-то глубоко-глубоко уже пробиваются его ростки.

– Да ты подумай, – успокаивали меня неврологи, – что она перенесла за свою жизнь! Люди с хорошей генетикой и то не выдерживали. Ты-то живёшь совсем в других условиях.

Врачи были правы. За свои неполные пятьдесят три года у мамы Нади за плечами был голод, эвакуация в Кулунду, возвращение в послевоенный Ленинград и постоянные мотания по детским домам. Пожалуй, я всегда был ей очень плохим сыном. Я практически ничего не знаю о её жизни до моего рождения. Она никогда ни о чём не рассказывала, а на мои расспросы отвечала, что ничего не помнит. Ничего, кроме историй про дедушку Сергея. Про тот период, когда он «чудил». Как дед пытался своими ключами открыть соседскую квартиру или как ходил в собес и забывал, куда пришёл.

Может быть, мама Надя так намучилась с дедом, что не хотела рассказывать мне плохое. Единственное, что я знаю из её детства, – только песенку про петушка, которую маме в детском доме пела воспитательница.

Знаешь, милый петушок,
есть такие дети,
у которых близких нет
никого на свете.

Только песенка успокаивала маму Надю в её буйный период. Но иногда её нельзя было успокоить даже песней про петушка, и тогда я на неё орал. Крик она воспринимала лучше, чем обычные слова. Были дни, когда я не мог придумать другого способа заставить её слушаться. Скандалами я вымещал на ней своё отчаяние, но это не приносило мне облегчения.

Я пошёл работать в больницу санитаром, а потом медбратом. Примелькавшись в отделении, после института мне удалось получить место в бесплатной интернатуре в отделении кардиореанимации, чем поначалу я даже гордился. Плюс мамина пенсия по инвалидности – в общем, кое-как нам удавалось сводить концы с концами. Статус человека работающего немного повысил меня в собственных глазах, и я, отвечая на чьи-нибудь вопросы о досуге, старался говорить о своей работе с достоинством. Но на самом деле мне как никому другому было понятно, что работа и заработанные деньги ничего, по сути, во мне не изменили и я, как и прежде, оставался маленьким.

В начале девяностых почти все мои приятели-одногруппники, а потом – сослуживцы-интерны, жили весёлой жизнью, играли в КВН, тусовались в клубах. Слушали крутых питерских рокеров в подвалах и на чердаках, оборудованных под студии. Мои же тусовочные подвиги были в прошлом, и меня больше туда не тянуло. Никакого солнца на ступенях, никаких крыш, никаких черепашек. Я сдал весь курс, как говорится, экстерном, и позже, уже в девяностых, попадая в шумную компанию с девчонками и куревом, ощущал, что прежнего запала во мне больше нет. Перегорел какой-то проводок. А ещё в годы перед мамы-Надиной смертью я решил, что постоянная девушка мне не нужна. Не хотелось впустую тратить время, которое – а я взял на себя жёсткое обязательство – при любом раскладе должно было принадлежать только маме Наде.

.....

Интернатура и следующий год работы в реанимации прошли в бесконечных метаниях между отделением и домом – *welcome to hell*, так я называл и то и другое. Я консультировался с врачами, но не отдавал маму Надю в больницу: я ли не знал, какие в наших больницах условия.

А потом необходимость доставать лекарства пропала.

Работа не приносила ни денег, ни радости. Лечить больных было нечем: в качестве гуманитарной помощи два раза в год в отделение поступали просроченные антибиотики и расходный

материал. Остальное покупали сами пациенты, вернее – их родственники. Кого родственники не могли обеспечить лекарствами – те уходили. Не прощаясь. И я ничего не мог с этим поделать.

– Ты помнишь учебник наизусть, но что толку? – говорил мне Андрюха. – Почему у других получается лечить подручными средствами, а тебе вечно требуются какие-то экзотические препараты?

– Экзотические? Всего лишь цефалоспорины, я не прошу чего-то сверхъестественного! – кричал я. – Хочу нормальный антибиотик, а не просроченный гентамицин!

Андрюха разводил руками. У него всегда были в заначке нужные лекарства, и он не разорял склад, как это обычно делал я.

– Откуда у тебя цефтриаксон?

– Родственники притащили, – говорил Андрюха и запирал свой шкафчик на ключ. – Учти, они принесли ровно на один курс и ни флаконом больше.

– И почему мои больные не могут ничего купить самостоятельно?

– Ну, брат, – Грачёв снова разводил руками. – Сам спроси своих больных.

Меня злило грачёвское ко мне отношение, и я мстил ему. Месть была разнообразной: я мог залить ему в тапки горячий озокерит или добавить в кружку магнезию. Мог перед грачёвским дежурством намазать дверные ручки апизатроном: если вы помните, продавалась в аптеках такая жгучая и пахучая мазь. Андрюха ругался, грозился набить мне морду, но антибиотиками всё равно не делился.

Григорьича привезли в Андрюхину смену. Была надежда, что он хоть чем-нибудь его полечил.

Григорьич выглядел как бездомный. Впрочем, все запущенные тяжёлые больные выглядят как бездомные. В те времена полстраны выглядели как бездомные. А многие и жили так, словно у них нет крыши над головой. Ни средств, ни жратвы, ни защиты. Даже те, у кого имелась хоть какая-то работа. Что же говорить о людях, у которых её не было.

На удивление, у Григорьича в паспорте обнаружилась ленинградская (нет, к тому времени уже петербургская!) прописка. И ещё: к нему приходили посетители. Вернее, всего один посетитель за те два дня, которые он честно умирал в нашем трупосборнике. Я помнил битком набитую галерею. И всё равно отвечал девице, обрывавшей наш телефон:

– В отделение вход запрещён.

У Григорьича был целый букет тяжёлых состояний. Отёк лёгких (Андрюхе удалось его купировать), цирроз, миокардиодистрофия, и вот – в мою смену по катетеру отошло всего пятьдесят миллилитров мочи, а значит, пошла почечная недостаточность, из которой, как я понимал, пути нет. Вылечить эту мозаику было невозможно. Только в сказочных сериалах вроде «Доктора Хауса» болезнь с известным диагнозом лечится в два счёта. На самом деле это не так. Природа, или смерть, или Бог – тут как хочешь назови те силы, которые перетягивали наш реанимационный канат, – они оказались хитрее меня и умнее. Температура у Григорьича не поднималась выше тридцати шести, но инфекция бушевала, и не одна, а целый микс. Пароксизмов на ЭКГ он больше не выдавал, возможно потому, что сердечная мышца и так уже еле-еле трепыхалась. Это я понял, когда прикатил в палату портативную «Сигму-1».

Учёбы по УЗИ у меня ещё не было, я просто читал литературу и использовал чужой аппарат в целях экстренной диагностики. Если бы я не спёр тогда эту машину, я не узнал бы, что в нижней базальной стенке у моего пациента развилась акинезия: попросту говоря, стенка не сокращалась. Причиной был инфаркт, который по ЭКГ определить было невозможно из-за нарушений проводимости. Вовремя введённый гепарин продлил старику жизнь на несколько дней. Вот и всё, что я мог для него сделать.

В какой-то момент Григорьич открыл глаза. Вряд ли он помнил меня. Но я-то хорошо его помнил.

И сейчас помню.

Не такого, как в галерее. Жёлтое, высохшее лицо и губы с синеватым налётом. Борода, седая, давно не стриженная. Очки (уже с целыми дужками!) не сидели у Григорьича на носу, а лежали на

тумбочке. Пациент, очнувшись, потянулся к ним. Он сдвинул кислородную маску, и я помог ему поменять положение – Григорьичу хотелось, чтобы подголовник был выше.

Он покосился на аппараты, на капельницу. Закашлялся. Откинулся на подушку и закрыл глаза. Было девять часов вечера, и ожидалась ночь, которая не сулила нам обоим ничего хорошего.

Телефон снова зазвонил. Я поднял трубку. Женщина (та же самая!) беспокоилась о Григорьиче и требовала, чтобы я спустился в приёмный покой. Я позвал сестру.

– Если что, звоните на первый этаж, я там.

В приёмном покое меня ждала девица лет двадцати. Когда я входил, она стояла ко мне спиной. Я увидел только светлые с рыжиной, длинные волосы до середины спины, горевшие яркой вертикальной полосой поверх чёрной кожаной косухи с заклёпками. Джинсы в обтяг и высокие сапоги. Был конец марта, ещё не отступили заморозки, и модная одежда девушки в моих глазах выглядела глупостью и понтами. Она явно не из бездомных, подумал я.

Девица обернулась. У неё был встревоженный вид и красное от волнения лицо. Глаза немужко косили: она смотрела как будто на меня, а словно бы и куда-то за мою спину.

Я отвёл девушку в сторону, чтобы постовая сестра не могла нас подслушать.

– Это вам нужно повидать больного? – спросил я.

Она кивнула.

– Вы же знаете, что днём, пока в больнице полно начальства, ни один врач не запустит вас в реанимацию с улицы.

Я сделал движение, чтобы она следовала за мной. Сестра из приёмного посмотрела на нас, хмыкнула, но ничего не сказала.

Мы зашли в лифт.

– Вы Григорьичу кто будете? – спросил я рыжую. – Родственница?

– Племянница, – сказала девчонка неуверенно, и вдруг её брови собрались на переносице домиком. – Григорьич? Вы сказали, что он Григорьич?

– Ну да.

– То есть получается, вы знаете его? – теперь она рассматривала меня с интересом. – Что он художник и всё такое.

– Получается, знаю, – ответил я.

– Странно, – сказала девчонка.

– Что?

– Я знакома с его друзьями, но вас не помню.

Мы вышли из лифта.

– Вас как зовут? – спросила она.

Её сапоги с высоченными каблуками цокали по больничному коридору.

– Юрий Иванович, – сказал я.

– А я Лёля, – сказала рыжая с радостной улыбкой, – Ольга Александровна.

И протянула мне ладонь с пальцами враспырку.

– Ну-ну, – пробормотал я. – Александровна.

И кивнул, указав на её обувь:

– Сапоги.

– Что?

– Нужно снять, – сказал я, стоя у дверей. – Такие правила.

Она послушно расстегнула молнию на правом сапоге, потом на левом.

– Придётся оставить снаружи.

Сбросила под дверь отделения свои копыта стоимостью в полторы моих зарплаты. Я усмехнулся:

– Да берите с собой. Я пошутил.

– Шутник, тоже мне, – пробурчала под нос и прошла в отделение босиком, держа сапоги подмышкой.

Ладошка с торчащими пальцами. Что-то знакомое. Слишком непросто пожимать подобные ладони. Для этого нужно растопырить пятерню ещё шире и собрать протянутые тебе пальцы, как будто складываешь веер.

– А можно ещё немного с ним побыть? – спросила Лёля.

– Можно, – сказал я. – Но он очень тяжёлый. Боюсь, не дотянет до утра.

Она кивнула.

– Где мне посидеть?

Я отвёл её в ординаторскую и налил чаю в две кружки, себе и госте. В шкафу лежало чьё-то печенье, его я тоже достал. Чай заваривался ещё днём, – возможно, его уже один раз «женили» и он сделался слабым и безвкусным, но другого всё равно не было. Лёля взяла чашку, отпила и ничего не сказала.

– А вы помните, как в галерее у Григорьича тайком на крышу лазили? – спросил я и засмеялся. – Там ещё люк был такой... Светло-зелёный, кажется. Ставишь лестницу, залазаешь, открываешь, и ты уже снаружи. Пятачок на крыше, маленький.

Её глаза округлились.

– Крышу помню, – сказала она. – Я там постоянно околачивалась.

Я спросил, помнит ли она, как таскала на крышу одного парня в очках и чёрном шерстяном шарфе, обмотанном вокруг шеи. Девушка задумалась.

– Нет, не помню, – сказала Лёля, перестав хмуриться. – Вас я не помню точно.

Спросил её про маму, и она снова удивилась, откуда врач отделения интенсивной терапии знает, что из её матери так и не вышел знаменитый художник.

– Мама слишком красивая, – убеждённо сказала Лёля. – Когда художники смотрят на красивую женщину, они больше ничего не видят. Только женщину или модель. Искусство – дело мужчин.

– И Григорьич так считал? – спросил я.

– Нет, – сказала Лёля. – Он маме сочувствовал. Жил как гений. И всем помогал.

– Понятно.

Лёля досидела до утра, она даже немного поспала на общем диване. Два раза звонила домой.

Наутро ушла, и я обещал ей отзваниваться каждые три часа. И был на связи первые сутки.

Григорьич умер не в мою смену и не в смену Андрюхи. Тело из морга забрали без меня.

На похоронах я почти не был. Ну, то есть просто приехал на кладбище и потом убежал на работу. Приходил я туда с непонятно какой целью – то ли повидать Лёлю, то ли вернуться в прошлое.

Ей было не до меня, а мне совсем не хотелось быть лишним. На кладбище сползлась разношерстная толпа. А в больницу приходила только одна Лёля. Мне это говорило о многом.

На кладбище я впервые увидел Лёлиных родителей, и её мама вовсе не показалась мне красивой. Крохотная блондинка, черты довольно мелкие, глаза – широко поставленные, а треугольный подбородок делал её похожей на стрекозу. Ещё у Лёли имелась младшая сестра Вика, которая почти догнала старшую по росту, и все дорогие вещи в этой семье покупались одни на двоих. Косуху сегодня носила Вика, а Лёля была в чёрном ватном пальто и старых замызганных ботинках. А в чём ещё нужно быть ранней весной на кладбище?

Когда Лёля представляла меня отцу, я почувствовал его уважительный взгляд.

– Вы врач? – переспросил он и кивнул своей жене. – Мне кажется, нашей Лёле наконец-то повезло с приятелем.

И его жена вымученно улыбнулась.

Моя седьмая беседа с Э. Д.

– Я всегда плохо знала наш андеграунд. Большое моё упущение.

– Тоже никогда не был фанатом. Хотя в юности слушал русский рок.

- Мне ближе академизм. А вам? Ах да. Вы любите Пиранези.
- В детстве любил.
- Этот художник... Григорьич. Он умер весной.
- Да. На кладбище кое-где ещё лежал снег.
- Если бы можно было выбирать, я бы тоже выбрала весну.
- Считается, что весна – это обновление.
- Смерть тоже обновление.
- Как вы себя чувствуете? Операция прошла успешно?
- Да, всё в порядке. Правда, оказалось, одним вмешательством мою проблему не решить. Не будем больше это обсуждать, хорошо? А с девушкой вы, конечно, начали встречаться.
- С Лёлей?
- Да. С Лёлей. Не хотите рассказывать – не рассказывайте. Будьте ко мне снисходительны, дорогой Юра. Я спрашиваю вас, потому что просто любопытна. Как, впрочем, любая женщина.

.....

Тогда я не рассказал Э. Д. всю историю до конца. Я выслал ей рассказ про Вику, но файл про Лёлю так и остался лежать неотправленным. Судя по записям, найденным в моём домашнем компьютере, я пытался по кускам собрать события более чем двадцатилетней давности. Записи эти показались мне корявыми и почему-то фальшивыми. Нашёл много отрывков, и все они – не то.

Колебался, не знал, как поступить. Решил: рассказать заново. Каким рассказ выйдет, таким и выйдет. Пусть я в чём-то немного ошибусь. Сейчас уже это нестрашно.

(2023 г.)

Задание 9. Виктория

Написано в 2023 г. на основе файлов из папки «2020 год» из домашнего компьютера, а также двух страниц, найденных в коробке №S-49/1-ЮХ

1999 г.

Лёля позвонила на сотовый. Прямо на работу, в воскресенье, когда я в очередной раз тырил УЗИ-аппарат, чтобы тайком от отделения лучевой диагностики провести исследование реанимационному пациенту.

Я стал смотреть животы всем своим больным. Первым делом я научился распознавать калькулёзный холецистит, и всех, у кого обнаруживались камни в пузыре, я записывал на повторный осмотр хирургов. Пару раз отыскал опухоли, которые на деле оказались всего лишь раздутыми петлями кишечника. Однажды верно диагностировал кишечную непроходимость. В общем, я нашёл себе игрушку, и в свободное время, вместо того, чтобы читать профессиональную литературу или просто пить пиво и ходить в кино, я брал дежурства на выходные и, пока никто не видит, нырял в глубокую чёрно-белую муть, такое ночное небо, полное завихрений.

Телефон я таскал в кармане халата: эту простенькую по сегодняшним меркам, а для девятиности девятого года дорогостоящую игрушку по Андрюхиной инициативе мне подарили на день рождения от отделения.

- Привет, – сказала Лёля. – Что делаешь?
- Ташу аппарат УЗИ, – сказал я. – Из хирургии в реанимацию.
- А-а, – сказала она. – Тяжёлый?

До этого дня не задумывался, тяжёлая ли эта проклятая «Сигма», а тут вдруг ощутил, что – да, оказывается, я волоку по коридору не сканер, а настоящую чугунную мортиру.

- Ерунда, – сказал я в трубку.
- Ты всегда работаешь по выходным? – спросила она.
- Почти, – ответил и вдруг понял, что она хотела услышать что-то другое.

– Жалко, – Лёля вздохнула и добавила:

– Когда у тебя отпуск? Летом?

На дворе стоял июнь, но, просиживая целые дни в больнице, я уже потерял счёт месяцам.

– Скоро, – сказал я, просто чтобы сказать хоть что-то.

И тут же получил приглашение к ним на дачу.

– У мамы клубника поспела. Она называет её «Виктория». Приглашает на ягодный пирог.

Вот так, сразу, безо всякого предисловия, без вздохов на скамейке и прогулок при луне – на дачу к родителям. В академический посёлок на берегу Финского залива, в отдельный флигель, пусть маленький, но окнами выходящий на старый хвойный лес, расположенный относительно недалеко от заповедного Щучьего озера.

.....
Прошла уже неделя, а я всё никак не мог собраться с духом и приехать.

– Ну ты и олух! – Андрюха не давал мне проходить с того дня, как я рассказал ему о Лёлином звонке. – Перезвони ей, чудило. Скажи, что прикатишь на выходные, с другом.

Ехать на дачу с Грачёвым было безумием. Нужно было решаться и действовать самому.

Когда Лёля обрадованно крикнула в трубку, что очень ждёт субботы, мне вдруг почудилось, будто жизнь упорядочилась. Первичный бульон закипел, нуклеиновые кислоты, соединились в нужной последовательности. Если такие встречи случаются, думал я, значит, есть шанс, что жизнь – это не царство энтропии. Значит, везде есть какая-то система.

Солнце проклёвывалось, финбан ликовал, в электричке пахло сортиром. У меня имелся целый час, и я пытался отвлечься от мыслей чтением руководства по эзографии. Но лощёная страница учебника бликовала и прыгала в моих руках, и сперва я щурился, а после и вовсе захлопнул книгу: её разворот был слишком большим. Бесцеремонные дачники, заполнившие вагон, отгеснили меня к самому окну. Пришлось глядеть за окно: там мелькали разноцветные крыши, река и леса, и прислушиваться к нарастающему внутри волнению.

На Дачной улице, почти в самом её конце, находился дом Петровских, где меня сегодня ждали.

Тогда я ещё не знал, как сильно люблю эти места. Я пишу сейчас эти строки, а перед моими глазами встаёт сосновый лес, растёт брусника, пестреют крыши знакомых дач. Я помню, как рушили соседний с Петровскими дом – и террасу с высокими перилами и эркерный выступ у входа. Говорят, в начале прошлого века здесь обитал какой-то мануфактурщик. Сейчас в трёхэтажном домище с дорогой аляповатой отделкой, отстроенном на месте старой дачи, будет жить другой мануфактурщик, посовременнее и побогаче. Ещё мне запомнилось, как однажды возле соседского забора вырос одинокий цветок, золотой шар. Он заглядывал на нашу сторону и кивал мне лохматой башкой. Чуть подалее от дома Петровских росли яблони, и я помню, как мы бродили здесь летом, ночами, и мелкие яблоки горели в свете казённого фонаря, холодные, впитавшие дыхание северного сурового лета. Живы ли эти яблони сейчас? Не знаю.

Осели, заветрелись соседские дома, померли хозяева. По дачной улице соседи часто возили на прогулку мальчика-колясочника, длинноголового человечка с оттопыренными ушами – явный признак хромосомной аномалии. Я дистанционно поставил ему диагноз трисомии 8. Сейчас этого мальчика давно уже нет. Его родители продали дачу, приехали другие люди, засадили коноплём дальние полянки.

Одолень-трава заколосилась, зацвела буйным цветом – и да, здесь раньше хорошо знали, что же нужно «настоящему индейцу». Ему нужно совсем немного и почти что ничего. Ему нужно просто «счастье для всех, даром, и чтобы никто не ушёл обиженным». Ему нужны серебряное небо и сосновый ветер, и залив, который к вечеру превращается в раскрытую двустворчатую раковину, горящую перламутровым светом, а к ночи она схлопывается и шумит, пряча в своих недрах золотой шар, тот самый, что так давно ищет бедняга Барбридж.

В академическом посёлке между лесом и заливом всё мне было в новинку: и облупившиеся перила дома Петровских, и сосны, и грядки, и крытая дощатая веранда с диваном, – о, эти пружинные диваны с лягушачьего цвета обивками, прокуренные в хлам. Лёля вела себя так, словно

к моему приезду не имела никакого отношения. Увидев меня, она медленно сползла с крыльца и сунула мне свою ладонь-растопырку. Но напряжённость быстро рассеялась, Лёля улыбнулась, и я сразу почувствовал себя свободнее.

Началась обычная суета: бросьте сумку, почувствуйте себя как дома, ах нет, встаньте отсюда, переседайте сюда, а где майонез, а курицу солили? Лёля тоже суетилась и выкрикивала, теряла чай и сахар, доставала ещё одну тарелку, взамен разбитой, о которой, впрочем, никто не сожалел. Майонез чудесным образом нашёлся: плоский пластмассовый пакет, по счастью – плотно закрытый, случайно бросили на то самое кресло, в которое меня спешно усадили, окатив со всех сторон шумным ликованием.

Лёлина сестра, пообедав, куда-то пропала, отец ушёл на свою половину. Лёля таскала туда-сюда грязную посуду, и помогать ей мне запретили. Жанна предложила посмотреть дом.

Мой приезд, кажется, отвлек Жанну от важного дела: на большом деревянном столе, стоявшем на крытой террасе, выполнявшей роль гостиной, в беспорядке валялись кисти, карандаши, тюбики с краской, банки с грязно-бурой водой для мытья кистей и, самое главное, изрисованные набросками распахнутые альбомы, валявшиеся попеременно с расписанными изрзцами. Изрзцы – это, конечно, громко сказано; правильнее было бы написать, что Жанна разрисовывала обычную белую кафельную плитку. Плитка была закуплена в промышленных масштабах: я заметил в гостиной несколько больших картонных упаковок.

– Хотим сделать кафельный фартук на кухне. А рисунок – так, чепуха, от нечего делать, – вздохнула Жанна.

Я с интересом рассматривал изукрашенный узорами кафель. Жанна работала краской глубокого синего цвета. «Кобальтовая синь», – прочитал я на тюбике. На плитке, лежащей с краю, красовалась тоненько выписанная жар-птица с пышным хвостом из цветов вместо перьев – птица летела по диагонали плитки, роняя целые соцветия. Я хотел было потрогать рисунок пальцем, но Жанна открыла рот, словно собиралась вскрикнуть, и я отдернул руку.

– Аккуратнее! – сказала она взволнованно.

И повернулась к двери, приглашая меня выйти наружу.

Я оставил свои вещи в пристройке, и Лёля потащила меня смотреть посёлок.

Она перечисляла имена знаменитых людей, живших на Лесной стороне, но почти все эти имена оказались мне неизвестными, кроме Стругацких. Стругацкими я в своё время зачитывался. Лёля молчала и кивала, когда я рассказывал ей про Сталкера, Барбриджа, про золотой шар и пришельцев, наваливших возле дачной дорожки целую кучу пластикового дерьма: одноразовых стаканчиков, тарелок, цветных обёрток с иностранными надписями.

– Не люблю фантастику, – говорила Лёля. – Всё, что ты рассказываешь, я тоже читала, но просто так, для общего развития. И поэтому ничего уже не помню.

Со времён института я старался не брать в руки скучных книг – и даже руководство по ультразвуковой диагностике изучал не потому, что хотел достичь какого-то особого развития, а потому, что мои глаза отдыхали, когда я рассматривал чёрно-белые эхограммы, словно дальние отголоски гравюр Пиранези из моего детства.

– Не всё же должно быть в жизни интересным, – между тем говорила Лёля. – Иногда не интересны даже люди, с которыми ты живёшь. И что? Ты ведь всё равно не уходишь из дома.

На какую-то секунду Лёлины глаза встретились с моими. Мы вдруг замолчали. Её кожа была удивительно оттенка – цвета яблочной пастилы. И вот в это мгновение, во время неловкой и внезапной остановки посреди леса, я заметил, как Лёлино лицо медленно заливается розоватым светом.

– И не надо на меня так смотреть! – её глаза вдруг сощурились, а уголок рта дернулся. – Я не люблю, когда на меня смотрят в упор. Понял?

– Понял, – сказал я растерянно.

Она повернулась ко мне спиной и ускорила шаг. Меня вроде как наказали, хотя я не сделал ничего плохого. Хорошо было бы, если б я сразу обратил внимание на незначительный эпизод,

но происшествие скоро забылось, а Лёля через некоторое время как ни в чём не бывало снова зашагала рядом.

Помню ярко-розовый шиповник на побережье и чиркающих по небу грифельных чаек. Поодаль, ближе к дороге, весёлая компания жарила мясо на мангале. Другая компания, без шашлыков, но с пивом, сидела на песке возле воды, а из их приёмника раздавалась популярная песенка «Прощай навеки, последняя любовь».

Мы побрели обратно, в сторону станции. Потом болтались по Лесной стороне и почти дошли до Щучьего озера.

На обратном пути вместо сумерек на лес спустился лёгкий зеленоватый туман. Мы почти ничего не ели, только взяли в магазине чипсы и три «Балтики»: для меня – №9, для Лёли – №3 и ещё одну №7, экспортную. Разговаривали мало, просто дышали духом сосен и сырости, и я понимал, что разговоры для нас ничего не значили.

На обратном пути Лёля потащила меня в один пустующий старый дом, и мы были похожи на Шерлока Холмса и доктора Ватсона, которые забрались в усадьбу Милвертона.

Нас никто не видел. Соседские дачи стояли так, что нужный нам двор полностью ниоткуда не просматривался. Со скрипом поддалось окно в светлой раме, раскрылась створка стеклянного фонаря, и мы нырнули внутрь. Пахнуло плесенью, на полу валялись кучи книг и обломки мебели, но не было ни следа бомжатника – это оказался настоящий заброшенный, ещё никем не присвоенный дом.

Хохоча, Лёля вдруг выхватила пиво из моих рук. Она побежала по лестнице и поднялась на второй, а потом и на третий этаж, где находилась крохотная эркерная терраса – башенка, похожая на стеклянную коробку.

Не дожидаясь меня, она принялась открывать бутылку «Балтики» о выступ подоконника. Я кинулся её догонять, чтобы предотвратить аварию, но не успел: пиво ударило нам в лица фонтаном, залило наши руки и футболки горькой хлебной влагой.

Я целовывал капли с Лёлиного лица. Тихо звенели стёкла.

По стеклянным стенам нашего ненадёжного убежища пробежали отражения фар проезжающих по дороге машин.

То, что я у Лёли не первый, было понятно сразу.

Но всю неделю, до следующих выходных, я медитировал на свой сотовый телефон. Лёля в любой момент могла позвонить. В телефонных разговорах она была, кажется, смелее и остроумнее, чем в жизни. Вспоминая её, стоящую в двух шагах от меня, представляя себе, как она подходит ко мне всё ближе и первая прикасается ко мне, я захлёбывался от счастья и ужаса.

.....

На следующие выходные я попросил Андрюху подменить меня. Я снова приехал к Петровским. Изразцы были ещё не закончены. Они валялись на веранде – даже птица лежала на том же самом месте с края стола.

Лёлина младшая сестра в этот раз меня не встречала; Жанна сказала, что она в городе, сдаёт экзамены. Отец семейства тоже отсутствовал.

Сегодня меня приняли гораздо менее церемонно. Лёля улыбалась и молчала, но я уже не пугался её молчания. Жанна развлекала меня разговорами. Мне были выложены все местные дачные сплетни, и через полчаса я уже знал, кто где и с кем живёт и во сколько раз в этом году выросли взносы за дачный кооператив. Потом она переключилась на меня.

– Какая же у вас, Юрочка, благородная профессия, – говорила она восторженно. – Для меня врачи – всё равно что святые.

То же самое я бы мог сказать про художников.

– Ещё лет десять, и вы будете заведующим вашей реанимации, – продолжала она. – Я прямо вижу это. У вас есть задатки руководителя.

Я возразил ей, что подумываю уйти из ОРИТа в отделение лучевой диагностики.

Жанна нахмурилась.

– А это не вредно для здоровья? Говорят, рентген очень опасен. Я бы вообще запретила рентгенологам иметь детей.

Мысленно я усмехнулся: если бы Жанна знала, что имеет дело с носителем семейного Альцгеймера, то давно бы уже нашла способ выпроводить меня со своей дачи.

Я попытался объяснить ей разницу между ультразвуком, где я буду работать, и рентгеном, но у меня ничего не вышло. Она поняла только то, что ультразвук не влияет на генетику.

– Ну и хорошо, – сказала она. – Здоровье – это главное.

Жанна наконец-то позволила мне помочь ей с посудой, а Лёля, уже не чужая, а моя Лёля, за чаем сообщила матери, что после обеда мы пойдём «побродить», и у меня после этих слов возник лёгкий спазм гортани – я хоть сейчас готов был бежать в наше тайное убежище.

– Только возвращайтесь, пожалуйста, засветло, – произнесла Жанна. Она со значением посмотрела на дочь. В её голосе или взгляде прозвучало что-то такое, от чего Лёля вскочила из-за стола и больше на террасе не появлялась.

Жанна поглядела ей вслед и покачала головой.

– Ну вот опять, – сказала она с досадой. – Спрашивается, что тут такого. Покраснела и покраснела. И нечего убегать, словно тебя ужалили.

И добавила, обращаясь уже ко мне:

– Юра, я вижу, у вас с Лёлочкой доверительные отношения. И к тому же вы врач; так может, попробуете хоть как-нибудь на неё повлиять?

Я неловко кивнул, не понимая, что она имеет в виду. Жанна продолжала вполголоса, постепенно ускоряя речь, – видимо, опасаясь внезапного возвращения дочери.

– Эрейтофобия, – продолжала она. – Вам это говорит о чём-нибудь?

Я кивнул. Жанна оглянулась и ещё раз убедилась, что её никто не слышит.

– Лёля, когда общается с людьми не из круга семьи, может внезапно покраснеть и ужасно этого стесняется. Причём в детстве такого с ней никогда не случалось. А вот несколько лет назад, внезапно как-то, раз – и началось...

– Это проходит, – сказал я. – Считается, что эрейтофобия – преходящее нарушение.

– Дай-то Бог, – сказала Жанна. – Вы знаете, Лёля ведь хотела в кино сниматься. На пробы ходила. Но вот – не сложилось.

Жанна развела руками.

– Не всем суждено заниматься тем, о чём мечтаешь. Я вот, например, хотела стать художником.

– Но вы и так художник, – сказал я. – У вас здорово получается.

Жанна махнула рукой. Но видно было, что ей приятно упоминание о её работе.

– Нет. Я рисую просто так. Убиваю время. – сказала она задумчиво.

И, увидев, что дочь спускается по лестнице, замолчала.

Что-то пряталось в интонации моей будущей тётки. Может, гордость за дочь, а может, затаённое ожидание её неудачи.

.....

Второй раз – не то что первый. Когда у вас ещё ничего не было, в какой-то момент накатывает гадостный страх, и внезапно хочется скорее всё прекратить. Отыграть назад – хотя отлично понимаешь, что отступать бессмысленно и некуда. Но в голове сама собой включается замедленная камера, и ты начинаешь наблюдать со стороны, следить за своими движениями, как будто за чужими. Становится стыдно и неловко, а выключить экран и убежать нельзя, и со съёмочной площадки хода нет. Можно только попытаться спрятать своё напряжение, от себя и от неё, замаскировать его дыханием, словами, ритмом, хоть чем, неважно. Хотелось бы, чтобы у меня в жизни больше никогда не было «первого раза».

Когда мы впервые залезли в пресловутый дом-фонарь, страхи начисто вылетели из моей головы, ведь у меня уже почти три года не было девушки. Зато, вспоминая эркерный стеклянный колпак, внутри которого наконец прервалось моё монашество, я всю неделю мучился и холодел

от счастья и стыда, вспоминая об этом. Мне казалось, что мы стояли там голыми перед целым светом.

Во второй раз всё было по-другому. Мы снова залезли в пустой дом, и нам обоим опять сделалось весело. Лёля вертелась у меня в руках как рыбка-краснопёрка, такая лёгкая и гладкая. Мы то падали на стеллаж, и сверху нам на головы валились книги, то упирались руками в подоконник, и когда нам казалось, будто снаружи кто-то идёт, возникал очередной взрыв смеха. Что бы мы ни делали тогда внутри чужих пыльных комнат, это было настолько глупо, настолько по-дурачки, но я понимал: всё у нас получается сказочно, прекрасно.

На улице снова моросило, трава под окнами стала мокрой. Мы пережидали дождь молча, стоя возле наборного окна с трещиной, идущей через все его стёкла. Я дышал Лёле в макушку, а она оперлась рукой о заляпанную, пыльную раму и замерла, как будто заснула с открытыми глазами. Мы обещали Жанне вернуться засветло – и только лишь количество капель на стёклах поредело, отворили окно и вылезли наружу, прыгнули в мокрую траву и нырнули в наполненный дождевым шумом лес. Земля разбухла и дышала всеми своими порами, сырой дух пропитал её насквозь, и хвоя под ногами слегка пружинила. Лёля снова шла впереди, а я глядел на её спину, на деревья, гружённые холодными каплями, и смотрел, как от моей кожи поднимается слабый пар.

Окно в комнате Жанны горело жёлто-синим светом; его тёмные серебристые шторы были плотно задёрнуты. Я приближался к дому с затаённой благодарностью за то, что нам с Лёлей выпадет ещё несколько часов, которые мы сможем провести только вдвоём. И даже слегка испугался, когда, отворяя калитку, заметил движение на террасе.

Лёлина сестра Вика вернулась на дачу на шестичасовой электричке. Я почти забыл, что у Лёли есть сестра. Вика поджидала нас впотьмах – гиперэгогенное светлое образование в зернистой разрежённой полости. Она сидела на скамейке, закинув ноги на край стола. Вика ничего не делала – ждала нас, и пластиковая миска с ягодой стояла у неё на животе; было ясно, что нужное положение девушка приняла заранее, всего лишь несколько секунд назад – вероятно, в тот момент, когда слышала наши шаги. Завидев нас, помахала нам рукой.

– Паровоз гудит, колёса стёрлись! – спела она тоненьким голосом и ещё раз помахала, уже мне лично. – А это кто, жертва эксперимента?

Лёля оцетинилась.

– Это Юра, – сказала она. – Вика, иди спать.

Я ещё плохо соображал, часть моего сознания осталась в стеклянной башенке дома-фонаря. Я шагнул на террасу, и Вика встала – между джинсами и светлой блузкой в темноте сверкнула полоска голого тела. Она подошла к нам ближе и, за счёт каблуков, оказалась выше сестры почти на голову.

– Ах, какие у нас тут сюси-пуси, – девушка, подняв брови, перевела взгляд на Лёлю, потом на меня и снова на сестру. – Что, тренировка прошла успешно?

– Вика! – со стороны двери раздался голос Жанны. – Не мешай ребятам. Ты ведёшь себя неприлично.

Небось ждала нас под дверью, а свет в окне включила для отвода глаз, подумал я.

Вика склонила голову к плечу и поглядела сестре прямо в лицо.

– Неприлично? – выкрикнула она, всё ещё обращаясь к матери. – А прилично трахаться с парнем только потому, что она хочет краснеть отучиться?

– Заткнись! – почти жалобно крикнула Лёля.

Мать выбежала на террасу и наконец-то включила свет, который больно ударил меня по глазам. Я на секунду ослеп.

– И не подумай! – крикнула Вика. – Это всё Лёлька! Она сама болтала, что спать будет только с теми, кто ей не нравится! Было такое, а? Ну скажи, было?

Лёля секунду стояла, залитая светом, пунцовая, как ягода в миске на столе. Потом вдруг зарычала, бросилась к сестре и, замахнувшись, попыталась дать той пощёчину, но младшая оказалась более проворной и отбила удар.

– Девочки! – закричала испуганная Жанна, пытаясь разнять дочерей. – Вы что! А ну хватит! Хватит!

Я отошёл на два шага в тень, потом вспомнил про свою неразобранную сумку, бросился в комнату с изразцами и выудил вещи из-под стола.

– Юрка! – услышал я голос Лёли. – Блин, Юрка! Ну не так же всё было! Не так!

Говорить я не мог, поскольку не знал, что говорить. Да у меня и не получалось. Я только мотал головой и пытался пробиться к проходу, а Лёля цеплялась за мои плечи, за куртку и говорила, говорила, говорила, что-то про электрички, про сестру, про мать, про чёрт ещё знает что, и на меня сыпалось много-много слов, похожих на пухлые ватные шарики, и ни один из них не пробивал плотную оболочку моей внезапной глухоты. Я ничего не слышал, кроме своего внутреннего шума, и видел только, как губы на Лёлином лице шевелились, как дёргался её подбородок.

.....

– Ну ты, Храм, даё-ошь. Из-за тебя две тёлки подрались? – Андрюха присвистнул и посмотрел на меня с интересом. – Эх, жаль, я не видел.

– Не из-за меня, – возразил я. – Эта стерва эксперимент на мне ставила.

– Да ну, какой там эксперимент, – сказал Андрюха. – Бабы склоки. Младшая хочет позлить старшую, ясен пень.

И добавил, посмеиваясь:

– А младшая-то, кажись, ого-го!

Мне меньше всего хотелось обсуждать то, что случилось на даче Петровских. Но деваться было некуда: электрички той ночью и в самом деле уже не ходили, денег на таксиста, как всегда, не было, и мне пришлось вызванивать приятеля.

– А вообще, – сказал Андрюха, – все бабы манипуляторши.

– Я с самого начала знал, что не надо было туда ехать, – сказал я.

– Ну, знал и знал, – сказал Андрюха и снова полез в холодильник. – Чёрт, даже выпить нечего.

Мы опрокинули по стопке водки – это всё, что удалось отыскать в Андрюхиных закромах. Но Грачёв никак не мог успокоиться. Он было сел и опять подскочил. Распахнул холодильник. Достал какие-то пустые пакеты, переставил что-то на полках.

– Вот блин, – сказал он расстроено.

– Пить не буду. Не хочу. – ответил я.

Подумалось: зря я приехал к Андрюхе.

– А что так? – он поглядел на меня исподлобья. – Лучше хотеть, чем не хотеть.

Я молчал.

– Нет, правда, – Андрюхе посетила новая мысль. Он переключился. – Ты вообще хочешь чего-нибудь по жизни? Ты эту Лёлю с самого начала хотел?

Я встал.

– Ты её любил, что ли? А? Говори. Любил? И сейчас любишь?

И загородил мне выход своей громадной тушей.

Я молчал, не знаю почему. Наверное, потому что устал. Я устал и не знал, что отвечать Грачёву. Любил? Не любил?

– Я н-не знаю, что это такое, – выдавил я наконец, обессилен. – Не могу понять. Может, любил. А может, нет.

Андрюха захохотал и хлопнул меня по плечу.

– Ну, тогда порядок, – сказал он. – Если не любил, то о чём весь сыр-бор.

– Какой же порядок, – сказал я ему. – Мне хреново!

– А тебе точно хреново? – спросил Андрюха, и я запутался ещё сильнее.

– Нет, ты скажи. Тебе вот настолько сильно хреново, как тому чуваку из урологии, с аденомой, его ещё резали по живому?

– А его резали по живому?

Андрюха хохотнул.

– Ну так Пескарёв анестезировал, – ясно дело, по живому. Ну? Я подумал и сказал, что по сравнению с аденомой я ещё ничего.

– Ну, значит, переживёшь, – заключил Андрюха.

– Погоди... – я пытался собраться с мыслями. – А вот то, что было... Там, на даче. Я же почти оглох от криков.

– Ну и что, – невозмутимо сказал Андрюха. – Любой бы оглох.

– То есть ты хочешь сказать...

– Я хочу сказать, – Андрюха со вздохом сгрёб со стола стаканы и смахнул тряпкой на разделочную доску колбасные очистки, – что у тебя ва-аще сегодня ничего не произошло. Ни-че-го! Я молчал.

– Ты раздул какого-то Шекспира, бля, из обычной бабской разборки.

– И что бы ты сделал на моём месте?

Андрюха вывалил в мусорное ведро очистки и швырнул разделочную доску в раковину.

– Я? – спросил он, подумал секунду и произнёс: – Я бы трахнул младшую.

– Да пошёл ты, – сказал я. – Она же мелкая, только школу окончила. И страшная как неизвестно что.

– Ничего, – сказал Андрюха. – Повернёшь её спиной, чтоб на морду не смотреть.

Я открыл было рот, намереваясь возразить, но у меня в куртке вдруг заорал сотовый. На экране высветился неизвестный номер. Я недоумённо смотрел на трубку. Часы показывали около четырёх ночи.

– Какого хрена... – начал было я, но Андрюха выхватил у меня телефон и нажал громкую связь. Трубка теперь лежала между нами, на грязном столе.

– Алло, – сказала трубка незнакомым женским голосом. – Это Юра?

– Я слушаю, – кажется, мой голос был таким пьяным, словно я не стопку водки выпил, а пол-литра, не меньше.

– Это Юра? – ещё раз переспросил голос. – А это Виктория. Я хочу перед вами извиниться.

Грачёв, сидя напротив, весь красный от напряжения, показывал мне всякие знаки, смысла которых я не понимал. Я должен был что-то ответить девушке, но я молчал.

– Вы слышите? – продолжал голос. – Я хочу извиниться. И позвать вас на настоящее свидание. Андрюха сжал кулаки и выставил большие пальцы вверх.

2023 г.

Когда я учился в первом классе, за неделю перед Новым годом грянули морозы. Настоящие, по ночам доходившие до тридцати градусов. Днём на улице стояла стабильная двадцатка, но когда по утрам мама вела меня в школу к первому уроку, ресницы у меня индевели, а шарф, крепко затянутый на затылке, мешал дышать и стоял колом. Мама на морозе начинала кашлять и поэтому тоже закрывала себе рот и нос, а ещё одним шарфом привязывала к голове шапку. И сразу становилась похожей на старуху. Я немного стыдился такой маминой несовременности: она и без того была самой пожилой мамой в классе. В холодные дни я носил валенки, но ходил в них с большим трудом, потому что валенки были не мои: когда ударили холода, мама взяла их у каких-то знакомых, и они оказались размера на два больше, чем требовалось. А может, даже на три, – словом, у меня была не обувь, а целые две комнаты для ног. Мои пальцы могли гулять по этим комнатам туда и сюда. Сумка со сменкой в морозы оставалась дома, но, несмотря на то что по полу дуло, в валенках сидеть оказывалось нестерпимо жарко, и я тихонечко сбрасывал их под партой: ноги сами собой выскальзывали из комнат через печные трубы, и домики валились набок. После урока ноги снова ныряли в твёрдые войлочные голенища, и я ковылял в коридор.

Однажды меня вызвали к доске. Очнувшись, я подскочил с места, но вспомнил, что сижу бо-сиком. Пошарив под столом, я с ужасом обнаружил, что пропал мой левый валенок. Он маячил

далеко, за сумками пацанов, сидевших впереди меня. Я нырнул под стол и прополз вперёд. Пока я настигал беглеца, сверху раздавался визг и хохот; кто-то даже тыкал карандашом мне в спину. Я нащупал пропажу, на радость всему классу, вынырнул из-под первой парты, и оказался прямо около доски, со злосчастным валенком в руках.

Потом за этот случай учительница долго отчитывала маму Надю, словно это не я, а мама проползла под партами и сорвала урок.

Я тогда действительно не понимал, в чём виноват. Злился на учительницу и считал, что она ко мне несправедлива: я и так стал объектом насмешек, а тут ещё и от мамы Нади влетело. И не мог уяснить, почему мне нельзя было проползти под столом, если так гораздо ближе. Зачем обязательно нужно возвращаться на своё место, чтобы пройти вдоль рядов, как положено.

И только гораздо позже я понял: чтобы исправить ошибку – неважно, свою или чужую – нужно прокрутить всё назад. Не лезть напролом, а вернуться в то место и состояние, когда ошибки ещё не было. Во времени путешествовать невозможно – но кто сказал, что нельзя путешествовать в своём собственном времени, расположенном на чётком отмеренном отрезке чёрно-белой шкалы? Только вернувшись на своё место и пройдя вдоль рядов, можно как следует понять, чего ты на самом деле хочешь. Оценить, дорого ли стоит твоя гордость и твоя боль. Вот в этом умении возвращаться, мне кажется, и есть секрет человеческого прощения.

После скандала на террасе в течение долгих лет мне не приходило в голову, что Лёлина история не менее трагична, чем моя. Мало того, Лёля могла стать мне собратом по несчастью: кому как не ей было известно, что такое навязчивые страхи и внезапные психические отклонения. Наверняка об этом она немало передумала, прежде чем выбрать такой жестокий путь самоисцеления. А может быть, какой-нибудь умник подсказал ей верный способ избежать страха и стыда. Воспитать в себе безразличие к людям, близким и далёким.

Наверное, после того случая у Петровских, если бы я немного подождал и начал действовать мудро, обдуманно: приехал на дачу, поговорил с Жанной, добился встречи с Лёлей, – всё сложилось бы иначе, и мы не расстались бы. И как говорит мой любимый герой, «никто бы не ушёл обиженным». Но я так не сделал. Я ушёл с болью, держался за свою обиду крепко. А потом утешился, как мне и было предложено. Самым простым способом.

Задание 10. Конь в небе

(из коробки №S-49/2Б-ЮХ)

1999 г., 2001 г.

Она вытащила меня на первое свидание со всей наглостью существа, никогда не знавшего поражений. Казалось, её вовсе не волновало то, что природа довольно небрежно выбирала для неё внешность. Она пришла с неловко накрашенным лицом и с глазами, горящими от волнения. С новой причёской – стрижкой до плеч.

– Пойдём отсюда! – выпалила она, шлёпнувшись на сиденье напротив. – Есть я не хочу, а там оркестр играет. Я знаю их трубача. Пойдём! Они нам что-нибудь сбациают.

– Не надо, – сказал я. – Расскажи лучше, как дела у вас... с Лёлей.

Я хотел поговорить о том, что произошло на веранде. Я всё ещё надеялся, что девушка пришла исправить свою ошибку и помирить меня с сестрой. Но у Вики были другие цели.

– Да не хочу я про неё говорить! – девушка вскинула брови. – Я уже сказала тебе всё, что надо, по телефону. Лёлин поступок до сих пор меня бесит.

– По-моему, это не твоё дело.

– Моё, – сказала она. – Потому что ты мне нравишься.

Привстала и заглянула мне в чашку.

– Проси счёт, и пойдём скорее.

Я заплатил.

На мостовой Малой Конюшенной, освещённой вечерними фонарями, прямо под памятником русскому классику, играли музыканты: ударник, Викин знакомый трубач и гитарист, все – длинноволосые, одетые в джинсу и кожу. Гитарист, к тому же, ещё и пел, касаясь микрофона губами. Песенка была известная, она звучала тогда из каждого утюга – про комнату с белым потолком. Вокруг собралась толпа двадцати-тридцатилетних ребят с «Балтикой» в жестяных банках, а чуть поодаль, шагов за двадцать, на углу Невского, с ноги на ногу переминались стражи порядка – о да, ещё стояли те счастливые времена, когда можно было хлебать из горла на глазах у копов (я быстро перенимал сленг моих новых друзей).

Вика, притопывая в такт ударным, расстегнула свою кожанку, сунула руку за пазуху и выудила оттуда крохотную фляжку. Потом отвинтила крышечку. Подмигнув, сделала глоток. Зажмурилась, резко выдохнула. По выдоху я понял, что девочка запаслась коньяком.

– Ух! Согрелась.

И протянула фляжку мне.

Я отхлебнул. Коньяк был на удивление качественным.

– Где взяла?

– У отца.

Она потянула меня за рукав и потащила сквозь толпу, поближе к музыкантам. Когда они доиграли композицию, моя спутница подпрыгнула и хлопала в ладоши – как будто стала ловить растопыренными пальцами невидимых комаров.

Я сразу вспомнил Лёлю, и воспоминание слегка понизило градус моего веселья. Где она, Лёля? В городе, в отъезде? В стеклянной башенке заброшенного дома? Трахается с кем-нибудь другим? Я вспомнил её полузакрытые глаза, её волосы, падавшие мне на лицо. И этот взгляд, когда после очередного вздоха она оборачивалась и как-то по-деловому говорила: «Я – всё. А ты?»

Трубач помахал Вике рукой, и девчонка в одну секунду кинулась к нему на шею. Наступила пауза, ребята здоровались, а потом гитарист кивнул в сторону микрофона, и Вика подошла к аппаратуре. Было видно, что с музыкантами она дружит давно.

Вика пела, а гитарист подбирал тональность – касаниями подушечек пальцев, – словно ловил на гитарном грифе маленького сверчка. Наконец сверчок попался, и музыка заиграла в полную силу. Барабанщик с размаху вдарил по басам, и за последним куплетом вступило соло трубы. Мне запомнился ещё длиннющий, красный в крупный горох платок, выскользнувший из-под косухи моей спутницы. Одним краем он касался земли.

Я просто влюблённая женщина.

Я сделаю все, что угодно,

чтоб ты стал частью моего мира

и остался там.

Это мое право, которое я защищаю

снова и снова.

Я помню эту песню Барбары Страйзенд, потому что она, кажется, звучала в каком-то фильме. Я смотрел его в одном из тех тёмных и душных подвалов, которые в начале девяностых назывались видеосалонами. Мелодия была известной, но я никогда не слышал, чтобы эту песню пели так, как Вика – голосом неожиданно низким, с хрипотцой. И от этого тембра мне сделалось не по себе.

Фляжка так и осталась у меня в руках, и я вспомнил об этом, когда Вика спела последний куплет, потому что мне захотелось выпить.

Народ хлопал, топал и прыгал. Когда я открыл глаза, зажмуренные после большого глотка огненной воды, Вика стояла передо мной. Она обняла меня за шею, а я был уже пьяным.

Мы целовались в самом центре огромной толпы, посередине Малой Конюшенной: с одной стороны – Гоголь, с другой – Казанский собор.

После коньяка переходить на пиво было неразумно.

Мы болтались по городу и пили водку. Она пила меньше, я больше. Ели чипсы, а когда мне показалось, что девчонка поплыла, я влил в неё литр минералки и заставил съесть хот-дог.

– Если ты до сих пор всё ещё любишь Лёль-ку, – вдруг сказала пьяная Вика где-то на Васильевском, – то я тебя к ней отведу. Вон её дом. Пятнадцатая квартира.

Мы засмеялись, и я поцеловал её уже почти по-настоящему, если не считать, что оба мы здорово накачались алкоголем.

– Где училась петь? – спросил я её, когда мы подходили к остановке. Троллейбусы уже не ходили, но мы могли хотя бы поймать машину.

– В му-зыкалке.

– Ты можешь голосом деньги зарабатывать.

Она засмеялась, без единой нотки горечи.

– Мне не светит.

– Ну... – протянул я. – Никто не знает.

– Чепуха, – уверенно сказала она. – Певицами мечтают стать только пятиклассницы.

– Ты ж недавно экзамены сдавала? – я вдруг сообразил, что толком так про неё ничего и не узнал. – Поступила?

– Угу. В архитектурный, – сказала Вика. – И я, и Лёлька. Теперь мы все там учимся. По папиным сто-пам. Получу диплом и пойду переучиваться.

– На кого?

Вика пожала плечами.

– Наверное, на психолога. Ты чи-тал Эрика Бёрна?

Я не ответил. К поребрику причалила машина. Что мы делали в такси и о чём говорили, почему-то выпало из моей головы. Но я помню, что от дома Викиных родителей до улицы Верности я добирался долго и с трудом.

.....

Лёлин адрес на удивление чётко впечатался в мою память. В итоге я однажды всё-таки пришёл туда и сломал замок на двери её парадной. Такой примитивный дешёвый замок: домофоны тогда стояли далеко не везде, а подъезды запирались по старинке, с помощью длинного бородчатого ключа.

Сломал замок я сразу после того, как увидел, что Лёля входит в подъезд не одна. Шёл дождь, я стоял под козырьком возле соседней парадной, и они меня не заметили, поскольку были заняты дождём, бородчатым ключом и друг другом.

Лица парня я не разглядел. Он был выше её на голову и одет в серое летнее пальто до колена; раньше такую одежду называли «плащ», а сейчас почему-то называют пальто.

Шёл дождь, у меня болела голова. Внезапно нахлынувшее бешенство, из-за которого пострадал замок на двери парадной, сменилось апатией. Сами по себе возникали мысли, не имеющие никакого отношения ни к Лёле, ни к её сестре.

Я дорабатывал в реанимации последние деньки. Вчера в приёмный покой притащили цыганёнка с судорогами, которого я на свой страх и риск взял в отделение и поставил ему правильный диагноз. Его мать, пожилая усатая цыганка, была мне благодарна настолько, что притащила свёрток, в котором, по её словам, было золото. Свёрток я не взял, а цыганку выпроводил. И вот сейчас, глядя на дождь в Лёлином дворе, я вспомнил пёстрый разворот газеты «Спид-инфо», в который был упакован подарок, и больше ни о чём не думал.

Я долго стоял под навесом из гнилого рубероида, капли падали мне на куртку, но мне было всё равно. Не холодно, не больно. Никак.

Я ушёл и больше никогда сюда не приходил.

Лёля прожила здесь до следующего лета, бросила институт и свалила в Москву. Там она дважды поступала во ВГИК: один раз на актёрское, второй – на факультет экономики. Вторая попытка оказалась более удачной, но училась Лёля на платном отделении. Платить за неё уже было кому: к этому времени у моей бывшей девушки образовался вполне платёжеспособный первый муж.

С тем фактом, что мне досталась не старшая сестра, а младшая, сначала я кое-как смирился, а после и вовсе успокоился. Одно то, что я у неё был первый (однажды ночью это стало для меня полной неожиданностью), не то чтобы накладывало на меня какие-то особые обязательства, но заставляло относиться к ней с особой нежностью и опекой. Может быть, я поначалу не слишком нравился её родителям, но Вика была девушкой резкой и прямолинейной, её сложно было переупрямить, и предки худо-бедно привыкли: к их семье надолго прилепился докторишко без роду, без племени.

.....

С Викой мы встречались целых два года. И всякий раз, когда я подумывал о том, что пора бы прекратить эту тяготию, она улавливала, что чувства наши ослабевают, и выкидывала мне очередной свой фортель. Как тогда, с вокалом на Малой Конюшенной. И жизнь делалась веселее.

Однажды зимой она накачала меня кислотой и отвезла на дачу, в тот самый академический посёлок. Не знаю, зачем ей это было надо, и не имею понятия, пробовала ли кислоту сама Вика, но эффект превзошёл все ожидания. Сейчас, по прошествии времени, я думаю, что это была даже не кислота, а какое-то другое вещество с весьма сомнительным составом, горькое, как анальгин или ампициллин.

Так или иначе, на меня накатил настоящий приступ страха, близкий к тем паническим атакам, что стали приходить гораздо позже. Сердце заколотилось, выступил пот, и отовсюду на меня полезли жирные термиты.

Вика, по-моему, испугалась не меньше, чем я сам, и всячески пыталась мне помочь. Выводила наружу, дышать. Впрочем, это я знаю только с её рассказов. Возможно, на самом деле всё было по-другому.

Во время своего вынужденного трипа я не ощущал рядом с собой присутствие Вики. Я вообще её не помню. Когда я очнулся и вспомнил пережитое, с ужасом подумал: вот именно таким и будет моё безумие, которое не за горами. Я вспомнил маму Надю (она умерла всего два года назад), и представил себе, каким кошмаром была для неё жизнь.

Из тех двух дней, проведённых зимой на даче Петровских, крепко врезались в мою память сосны, утонувшие в снегу. Я старался не смотреть вниз – внизу были термиты – и поэтому смотрел вверх, на небо и на заснеженные кроны. Снег падал с веток и оседал, и я наблюдал, как он медленно-медленно становился рябоватой поверхностью, адсорбируя мелкие древесные частицы, кору и иголки. Иногда с веток скатывались целые белые пласты и упав оставляли вмятины на плотном насте. Слой снега походил на нежный слоёный пирог. Около некоторых сосен образовывались снеговые стаканчики, около других снег лежал ровным слоем.

Я облокотился о стену дома и запрокинул голову. Было много звёзд, у меня прямо дух захватило, сколько их. Звёзды некоторое время оставались неподвижными, а потом тоже начали ёрзать и вертеться.

– Чего ради ты меня накачала? – спросил я Вику, когда пришёл в себя. Я уже сидел на полу, прислонившись спиной к плюшевому креслу, и меня потряхивало, несмотря на то что в комнате было тепло: девчонке пришлось самостоятельно затапливать камин, не прибегая к моей помощи.

– Не знаю. Чтобы весело было, – ответила Вика.

– Повеселилась?

– Ещё как. Твои термиты... Они ушли?

Я молчал. Она слезла с дивана и подседа ко мне.

– Ну кто же знал, что на тебя так подействует. Я и сама уже была не рада. Прости.

– И ты меня прости, – сказал я непонятно почему.

– Знаешь, – прошептала она, – мне кажется, что после сегодняшней ночи я смогу прожить с тобой до самой старости.

– С чего вдруг? – спросил я.

Она поёрзала у меня на плече.

– Если уж я вытерпела тебя такого, какой ты был сегодня...

Вещество подействовало парадоксально. Паническую атаку мы могли ожидать только после окончания действия препарата. А в моём случае страх пришёл сразу, и вместе с ним – холодный пот, тошнота и оцепенение. То есть мой мозг отвечал на воздействие непредсказуемым образом, не так, как у здоровых людей. Вывод напрашивался сам собой: я далеко не в порядке. Процессы, проявления которых я так боялся, запущены на полную катушку.

Обсудить случившееся я мог только с Грачёвым. Он был хотя бы в курсе моего анамнеза.

– И что, тебя так перекосило после одной дозы кислоты? – Грачёв округлил глаза. – Ты серьёзно?

«Ещё бы несерьёзно», – подумал я.

– Давай мы покажем тебя психиатру, – сказал Андрюха. – Чего боишься?

В детстве у меня уже был опыт общения с психиатрами, и ничего хорошего он мне не принёс.

– Никаких психиатров, – отрезал я.

Грачёв пожал плечами.

– Ну тогда забей и отвлекись.

Я сжал зубы и ничего не сказал.

И несколько дней ходил как в воду опущенный.

Перепады моего настроения и окутавшая меня ипохондрия не лучшим образом отразились на отношениях с Викой. Не то чтобы я отгаливал её – просто во мне не было прежнего заряда. Как будто батарейка одновременно выплеснула в окружающее пространство весь свой хилый потенциал и больше не оставила мне ничего кроме тревоги. Вика тоже, не чувствуя от меня ответа, стала светиться тусклее. Насторожилась, от неё исходило напряжение, и мне казалось, что она общается со мной через силу. Однажды жена Грачёва Таня позвала нас с Викторией в гости, но в последний момент я передумал и не пришёл.

На следующий день Андрюха отвёл меня в сторонку.

– Вика у Таньки вчера целый вечер сидела.

– И что?

– Да ничего... – Грачёв потёр шею под воротничком. – Ты хоть понял, что девчонка твоя тогда, на даче, тебе предложение сделала?

Глядя на моё растерянное лицо, Грачёв разочарованно протянул:

– Ну-у, начина-ается. Тебе же ясно было сказано: проживу, говорит, с тобой до самой смерти. Так?

– Ну, так. Я думал, просто болтает.

– А ты что?

– В сортир пошёл.

– Ну и мудила, – Андрюха вскочил с дивана и зашагал по ординаторской. – Тебе судьба, может быть, золотую рыбку подбрасывает.

Мне было не до разговоров, но от Грачёва всегда нелегко отвязаться.

– Ты подумай только, – внушал он мне. – Девчонка из хорошей семьи – это раз. Ты у неё первый – это два. Плюс квартира, дача, и родитель небедный, в случае чего деньжонок подкинет. А что не фотомодель, так и что теперь? Свои плюсы есть: никуда от тебя не денется.

– Чего-о? – я обалдел. – Так она маленькая совсем. Младше меня чёрт знает на сколько.

– На сколько? – Андрюха захохотал. – Двадцать лет ей.

– Двадцать один.

– Ты подумай: дача в таком месте! Там только земля стоит... Эх! Семья с достатком. Лучших психиатров потом можешь себе выписывать.

– Погоди, – сказал я. – Ты имеешь в виду, что со мной всё будет только хуже и хуже?

– Ты чего, Храмов? – сказал Андрюха – Не понимаю тебя.

– А что тут понимать? – крикнул я. – Именно это ты и хотел сказать! Теперь меня будут лечить психиатры!

– Заклинило тебя на этих психиатрах, – равнодушно ответил Грачёв. – Делай как знаешь и отвали от меня.

Он махнул рукой и направился к двери.

И оставил меня в ординаторской одного.

На следующий день я сам подошёл к нему.

– Андрюха, – говорю. – Ты мне всё очень здорово изложил. Но вот я скажу ей... Ну, всё что надо. А она возьмёт и откажет. Что тогда?

– Откажет и откажет, – Грачёв пожал плечами. – Тоже мне, беда. Если бы ты по ней с ума сходил, была бы трагедия. А у тебя же к ней спокойно всё? А?

Я кивнул, хотя до конца не понимал, как оно на самом деле. Наверное, спокойно.

– Ну и забей. Ничего ты не теряешь, – произнёс Андрюха и собрался идти.

– Ты хочешь, чтобы я женился на даче?

– А хоть бы и на даче, – воскликнул Грачёв. – Такими дачами не разбрасываются. Ещё чутка протянешь – ни бабы у тебя не будет, ни фазенды.

Я топтался на месте и не знал, что делать.

– Короче, так. Если зассышь, с тебя тыща.

.....

Когда Вика оставалась у меня в мамы-Надиной квартире на выходных, мы и без того вели себя так, будто были давно женаты. Почти все соседские бабульки поумирали: на нашей лестничной площадке поселились две семейные пары, и Вика водила с ними знакомства.

По выходным она бегала в магазин и приносила продукты, которые покупала непонятно на какие деньги (возможно, на родительские, но вполне вероятно, она тратила на меня свою стипендию). Варила кофе в турке, по собственному рецепту: четыре ложечки молотого, две сахара, несколько крупинок соли и масло на кончике ножа. Мне она доливала чашку молоком, а себе в кофе бросала дольку лимона. Мы забирались на диван, к дивану подкатывали маленький столик на колёсиках (тоже Викин подарок) и включали какой-нибудь фильм. Кассетный видеомаягнитофон появился у меня после первой более-менее крупной зарплаты в лучевом отделении.

Послушать Андрюху, я действительно ничего не терял: никто не отменял разводы, и никакой брак нельзя было назвать делом окончательным. С другой стороны, если я получу от ворот поворот, переживать по такому поводу будет глупо, потому что расставание, о котором я время от времени вяло подумывал весь последний год, случится само собой, без дополнительных потуг.

Но мои тревоги не исчезли, а, наоборот, усилились. Как врач я понимал, что заводить семью при всех моих входящих данных было довольно нечестным делом: генетика есть генетика. Семейный Альцгеймер не должен распространяться; готов признать, что в этом вопросе я, наверное, был шовинистом.

В телефонных разговорах и в субботних встречах, в каждом моём и её движении нарастало дребезжащее, раздражающее недоверие. Вика не могла его не чувствовать. И она не желала с ним мириться. В своё время она проворонила мои хождения налево, в общагу к двум Андрюхиным студенткам с лечфака. Но мои сегодняшние колебания и страх уловила почти моментально, и напряжение между нами росло.

Она сделалась неразговорчивой, и теперь все выходные, проведённые у меня, она валялась на диване с книжкой. В одиночку ходила гулять, редко заговаривала первая. Так тянулось довольно долго: прошли весна и лето. Кое-как мы пережили Викину сессию, после которой она укатила с родителями на целых два месяца, в длительную прогулку по Европе. В августе, когда Вика вернулась, покой ненадолго восстановился, но только для того, чтобы разрушиться снова. И вот однажды Вика сказала, что не приедет. Через несколько дней перезвонила. Предложила погулять и поговорить. Стоял ноябрь, наш разлад длился уже полгода.

Мы встретились на выходе со станции «Гостиный Двор». Было уже поздно – у Вики что-то не срослось по времени, и она перенесла встречу на десять вечера. Народу на Невском поубавилось, улёгся уличный гул. Снег таял на лету и каплями оседал на лицах. Казалось, что прохожие идут и плачут. Вика вынырнула из метро, привычно чмокнула меня в щёку и уцепилась за мой локоть. Прошла так шагов десять, но потом передумала и убрала руку. «Всё понятно», – подумал я и сжал

кулаки. Молча мы повернули направо, в сторону Садовой, и стали кружить по улицам, без цели и смысла. Никто из нас не хотел начинать разговор первым.

Какие слова говорят друг другу, чтобы по-человечески расстаться? Мне было жалко девчонку, ведь я пошлю её на все четыре стороны и скажу ей всё как оно есть по правде. Пока ехал в метро, казалось, нужные фразы у меня под рукой, но мы шли под снежным ветром вот уже пять, десять, двадцать пять минут, а я молчал. Да и то: если я такое долгое время считал её своей собственностью и ни о чём не думал, должна же когда-нибудь наступить расплата?

В эти минуты, наверное, мы были сами собой: каждый думал только о себе. И город тоже был безразличен к нам: и прохожие, и нависающие сверху дома, с их продолговатыми окнами, и хмурые лепные маски с усталыми и бессмысленными глазами. Мы вырулили на Фонтанку, вдоль которой стояли припаркованные на ночь машины. Скорее бы всё уже кончилось и начался новый безрадостный завтрашний день. Мне было немогогу.

На подступах к Аничкову мосту Вика замедлила шаг. Расстегнула сумку и вынула оттуда фляжку – не ту, из которой мы пили летом, напротив Казанского, её она посеяла на пляже под Зеленогорском. Новая фляжка была побольше и вмещала как раз двести пятьдесят, столько, сколько раньше хватало нам двоим на вечер. Вика отхлебнула, выпил и я. Потом снова она, глотнула, ещё и ещё, не морщась, будто поставила себе целью наклюкаться до бесчувствия. Я отобрал у неё фляжку.

– Чего ты всё молчишь и молчишь? – выкрикнула Вика. Голос её был хриплым.

– Не знаю, – сказал я.

Она посмотрела на меня и шмыгнула носом. Снег падал, капюшон слез с её головы, и было заметно, как мутные тающие капли оседают на её волосах.

– Что происходит? – спросила она, сделав несколько глубоких вдохов.

Я шагнул к ней и поправил её капюшон. Он зацепился за шарф, и несколько секунд я доставал шерстяную нитку из металлических жвал застёжки. Викино дыхание было совсем близко, касалось моей руки.

– Зачем я тебе сдался, не пойму никак, – я смотрел на неё и пытался бороться с мыслями.

И вдруг до злости, до боли в подреберье, мне стало жалко отпускать свою, уже почти бывшую, девушку. Будто бы у меня было так много близких людей, чтобы бросаться ими направо и налево.

Вика пожалала плечами.

– Зачем-то нужен, – сказала она. – Поэтому давай, что ли, поженимся наконец. Спокойно во всём разберёмся.

Я оторопел, сперва от услышанного, а после от того, что и здесь меня опередили, обыграли.

– Ты... Уверена, что хочешь именно этого?

– Ну, не получится вместе жить, значит, разведёмся. Делов-то.

Мне показалось, у меня плывёт крыша. Что-то в окружающем меня пространстве шло не так, как нужно.

Дело было в конях. Вернее, в коне.

Прямо перед моими глазами, за плечом у Вики, которая стояла спиной к мосту, на фоне белой взвеси снегопада, качнулся и поплыл по ночному небу собственной персоной бронзовый конь Клодта, вместе с чуваком, крепко держащим его под уздцы.

Я подумал, что у меня снова галлюцинации. Но мои вытарашенные глаза и застывший взгляд заставили Вика обернуться. Она тоже увидела коня и замерла.

– Ух ты!

– Что мы такое пили?

– Виски. У отца стоял, никому не нужный.

– Да? А чего тогда кони летят?

– Да-а-а, – Вика обхватила мою руку и расслабленно повисла на ней. – Значит, к коням в платье фотографироваться не поедем.

Мы двинулись к мосту и, подойдя ближе, разглядели кран и погрузчик. Мост был перекрыт, коня увозили на реконструкцию.

Всё уже решила, почему-то успокоенно подумал я. Ну и ладно. В случае чего – разведёмся, повторял я как попугай. Даже воздух полечал, и его стало проще вдыхать.

Конь медленно приземлился на платформу. Мы подошли настолько близко, что на бронзовых телах стали видны капли тающего снега, похожие на пот. Подъёмный кран опустил на скульптуру огромный деревянный ящик. Мы не остались наблюдать процессию вывоза конского тела, а просто ушли с набережной.

Мы поженились весной две тысячи второго года, в апреле. Свадьба была обычная. Петровские подарили нам на свадьбу машину, и Вика, заранее зная о королевском подарке, первая записалась в автошколу. С моей стороны было только два гостя – Андриуха и Татьяна. Я хотел позвать ещё и тётю Лену, мою единственную оставшуюся в живых родственницу, но в последний момент решил, что без неё будет лучше. И был прав. Мне хватило Андриухи – он нарезался, в разгар веселья рухнул в канал и сломал лучевую кость в типичном месте. Во время медового месяца мне пришлось вырывать друга и брать дежурства в ОРИТе, несмотря на то что числился я уже за другим отделением.

Лёля на свадьбу приехать не смогла. Или не захотела. Наверное, это было правильное решение. По крайней мере, в то время мне казалось именно так.

Письмо

присланное с почты edverch1939@mail.ru (от Э. Д. – мне)

23 января 2021 г.

Дорогой Юра, хочу извиниться перед вами, но сегодняшнюю встречу, которую мы планировали, придётся отложить. Заседание Учёного совета перенесли, а я обязана на нём быть. Надеюсь, вы прочитаете письмо до того, как выйдете из дома. Хотела вам позвонить, но не нашла номера вашего телефона. По правде сказать, не очень люблю телефонные звонки, и формат переписки меня вполне устраивает.

Что касается ваших историй. Продолжайте. Пишите то, что вам захочется. А на следующей нашей встрече, если хотите, я попробую сказать вам, что я думаю по поводу ваших последних текстов.

Планируйте следующий визит ко мне через неделю – в пятницу, приблизительно в пять часов пополудни.

Ваша,

Эсфирь Давыдовна В.

Два листа

(из коробки №S-49/2Б-ЮХ)

зима, 2021 г.

Когда я по заданию Э. Д. вспоминал и записывал нашу с Викторией историю, жизнь моя приобрела определённый ритм: я вставал, завтракал, писал, гулял, обедал, писал.

Отключался от окружающего мира и оставался один на один со своим прошлым, которое, превратившись в буквы на экране, выглядело не таким уж и трагичным. Письмо захватило меня, механика набора текста на компьютере работала во благо. У меня в жизни уже был период, когда я возвращался в пустую мамы-Надины квартиру, брошенный, усталый и больной. Но тогда рядом со мной был мой единственный друг, Грачёв. А в период, когда я писал задания Э. Д., со мной рядом не было никого. И я боялся впускать кого-нибудь в эту тишину.

Сначала я хотел выбросить Викин маленький столик на колёсиках, но он неожиданно пригнулся, когда мне некуда было складывать книги, хранившиеся на балконе со старых времён. За-

бытые коробки с подписными изданиями и журналами достались маме Наде от одной из соседок по коммуналке. Бабка померла, а дети выгнали вещи на помойку, и среди них целый книжный шкаф – по тем временам огромное богатство. Соседи, зная цену книгам, сбегались – кто в бабкину каморку, кто к мусорным бакам. Мама сгружала в угол нашей комнаты целые кучи нужных и ненужных бабкиных вещей. После переезда многое потерялось, но книги так и остались храниться в ящиках и коробках на остеклённой лоджии. Их не разбирали почти сорок лет, если не дольше. Некоторые коробки отсырели, их пришлось выбросить. Но были и такие, которые сохранились. Я отыскал старые, по краям покрытые плесенью, художественные альбомы. Решил не выкидывать, а дождаться лета и высушить их под прямыми лучами солнца. Нашёл там и Пиранини, и Хуго Симберга, и Галлен-Каллела. Может быть, в эти дни, разбирая захламлённый мамы-Надин балкон, я впервые почувствовал азарт искателя древностей.

Я жил в тишине неделю или больше, но потом зачем-то включил мобильник.

И спокойствие кончилось.

Звонила бывшая. Вернее, сперва на экране высветилось несколько пропущенных звонков, и я хотел их проигнорировать, но не тут-то было. МТС действовал как информатор. Он засёк меня в сети и сразу доложил об этом всем, кто в течение последних дней пытался до меня добраться.

– Ты где? – стандартный вопрос без приветствия, словно есть какая-то разница, заперся я дома или восхожу на Джомолунгму. Впрочем, относительно второго Вика могла быть уверена: так далеко без самолётов я не заберусь. А значит – я всегда нахожусь где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки. Удобно контролировать такого мужа. Пусть даже и бывшего.

– В больнице, – соврал я.

– В какой? Я приеду, – сказала она тоном, не терпящим возражений.

– Мне ничего не нужно, – я собирался побыстрее свернуть разговор.

– А мне нужно. Хочу поговорить с твоим врачом.

– Врач против того, чтобы ты ко мне приезжала.

– Вот когда он мне скажет это в глаза, – произнесла она, – тогда я оставлю тебя в покое.

И добавила:

– Ребёнку я всё про тебя рассказала. Он должен знать, что у его отца голова не в порядке.

– Рассказала – и молодец, – я давно уже нажал бы кнопку отбоя, если бы жена не завела разговор про Сашку.

– И ещё. Имей в виду. Любые твои попытки ему потворствовать – бесполезны. Никаких денег он не получит.

– Ваше дело, – сказал я. – Надеюсь, ты за ним уследишь.

– Ты больной на голову! – крикнула она в трубку. – Я буду говорить с твоим врачом! Только посмей что-нибудь сделать, только попробуй! Если я узнаю, что Сашка по твоей милости... Я тебя засужу! Понял меня?

Я дал отбой.

Задание 11. Другой диагноз

(из коробки №S-49/1Б-ЮХ)

2007 г.

И в семье Грачёвых и в нашей семье дети родились почти одновременно: у нас раньше, в июле, у Андрюхи – под Новый год. У обоих пацаны. Жёны к тому времени начали вращаться в отдельном от нас пространстве, заговорили на своём языке, а мы с Андрюхой так и остались вечными товарищами по несчастью. Наш сын появился неожиданно и быстро, а Таня Грачёва несколько лет лечилась от бесплодия, и рождение пацана для неё было настоящим праздником.

Детьми занимались в основном женщины, и потому мы с Андрюхой по полной загрузились работой: Грачёв – дежурствами, а я – платными приёмами. Андрюха сразу же загулял с одной интерншей. Как он объяснял, для снятия напряжения. Потом эта интернша, с пухлыми губами,

исчезла, и появилась другая, с кудрями. Девицы западали на Андрюху сразу же, стоило ему придвинуться поближе и заговорить. Грачёв пил, но, кажется, это придавало ему в глазах девчонок особую ценность. Его запойные чудачества на первых порах сходили за экстравагантность и высвечивали всю сложность Андрюхиной натуры, а когда очередная пассия начинала понимать, что имеет дело с алкоголиком, было уже поздно. Андрюху нельзя было исправить или уговорить пройти лечение. Любые женские претензии заканчивались расставанием.

«Тебе меня не понять, у тебя ребёнок беспроблемный!» – говорил мне Грачёв. И это была правда. В раннем детстве наш Сашка казался просто подарком. Он развивался так, как было написано в учебнике, быстро стал толстым и здоровым, несмотря на то что мы с женой при первой возможности сдали его в ясли-сад. Его подхватывали под мышку и несли куда нужно; он только болтал ногами и удивлённо смотрел по сторонам. Ребёнку можно было включить кассету, и полдня он мог сидеть, загнипнотизированный экраном. Кроме мультфильмов, ему нравились рисование или строительство: он возводил на полу высоченные замки с хитрыми ходами внутри – ни дать ни взять настоящие тюрьмы Пиранези! Свои проекты Сашка всегда доводил до конца, и прерывать его было бесполезно, да Вика и не пыталась. Такая Сашкина покорность, его умение «не отвечивать» и занимать себя самостоятельно, сформировало вокруг него зону ложного спокойствия. Однако нам с женой казалось, что всё так и должно быть и трудности не начнутся никогда. Впрочем, сейчас я хочу рассказать не о Сашке, а о Митьке, ребёнке Грачёвых.

Грачёвский Митька не вылезал из болячек. Он цеплял на себя все инфекции, с ним постоянно случались неприятности из раздела медицинской казуистики. За пузырчаткой новорождённых нагрязнул сепсис, а за ним гемолитическая желтуха как следствие неудачно перелитой крови. В два года проявилась бронхиальная астма, а потом тяжелейший детский колит, из-за которого Грачёвым приходилось ломать голову, чем же пацана кормить. Сразу, как пошёл в садик, Митька упал с качели и сломал руку. Потом, уже дома, разгуливая по комнатам в гипсе, он поскользнулся на мокром полу и сломал ногу. В общем, не Митька, а тридцать три несчастья.

Таня Грачёва – я знал это от жены – вечно таскала Митьку по врачам, и мало-помалу он сделался центром Таниного существования. Таня делала всё, что положено хорошей матери. Я знал её как человека практичного и рассудительного, но после родов Татьяну словно переформатировали. Бледная, измотанная бессонными ночами, она не скрывала своих бед и забот и рассказывала о них с некоторой гордостью. Татьяна как будто обвиняла нас – меня, Андрюху и даже Вику – в том, что мы ведём обычную, не жертвенную жизнь. Я всегда непроизвольно напрягался, когда Татьяна оказывалась рядом. Было понятно, что Таня страшно устала от Митькиных болезней и Андрюхиного блядства. В семье у Андрюхи становилось неладно, но повлиять я ни на что не мог.

– Грачёвы разводятся, – однажды сказала Вика. – Ты в курсе?

Я не был в курсе. Мы с Грачёвым неделю как вернулись из Москвы, с повышения квалификации. В этой московской командировке со мной кое-что случилось. Кое-что серьёзное; всё время учёбы я думал только о себе, поэтому грачёвские заботы поначалу воспринимал более или менее равнодушно.

– У меня не жизнь, а какой-то Дэвид Линч, – сказал мне Андрюха на следующий день, когда мы курили под козырьком входа на цокольный этаж. – Да, конечно. Разводимся. Давно пора.

Никому не пожелаю дружить с семьёй, которая находится на пороге раскола. Двое близких людей бьются в жестокой, потрясающей лихорадке, и эта зараза рано или поздно захватывает всё их окружение. Захватила и нас. Татьяна, неизвестно откуда узнав о многочисленных грачёвских романах, задалась целью отомстить и лишит мужа родительских прав. Именно такая цена за мелкие грачёвские грешки виделась ей приемлемой и справедливой.

Пришлось пообещать Грачёву прийти на суд, однако в итоге до заседания мне дойти было не суждено. Я редко напиваюсь и не умею этого делать, но здесь – наклюкался в зюю, так, что на следующий день не смог выйти на работу из-за жуткого похмелья. Я не нашёл в себе силы даже подняться с кровати. Сашка всё то памятное утро моего позора, слава богу, деликатно просидел в детской. Говорю же, Сашка был идеальным ребёнком.

Но вскоре война в семействе Грачёвых отошла на второй план. Вернее, не отошла, а заслони-лась ещё одним событием.

Заболел Митька. Андрей притащил его ко мне на УЗИ уже совсем жёлтого.

– Судя по клинике, очень похоже, что желтуха механическая, – сказал Андрей. – Но бывают и гепатиты, сам понимаешь.

Печень была увеличена, правда, не сильно. В правой доле, недалеко от общего желчного про-тока, я увидел образование с чёткими ровными контурами.

– Судя по всему, гемангиома¹, – сказал я.

– Давить на проток может? – спросил Андрей.

Я пожал плечами.

– Чисто теоретически всё может быть.

– Понятно, – сказал Андрей.

И на несколько дней он пропал из виду. Даже трубку не брал. Потом появился, взъерошен-ный, злой. От него несло перегаром.

– Как Митька? – спросил я.

У меня ещё не закончился приём, и Грачёв сидел в нашей каморке для переодевания. На нём не было лица.

– Хрен мне, а не Митька, – сказал он. – Увезла.

И заплакал. Я обалдел настолько, что не нашёлся, что сказать. На кушетке меня ждал пациент. Грачёв вытер мокрое лицо, зло поглядел на меня и махнул рукой.

– Вали отсюда, – сказал он. – Больные ждут. Я всё равно сейчас пойду.

И ушёл, не успев я закончить приём.

А случилось вот что. Таня выяснила, что Грачёв ничего никому не сказал и увёз больного ребёнка на обследование. Она мгновенно обратилась в милицию. Когда не нужно, наша мили-ция реагирует молниеносно. Грачёва задержали, и пока с ним разбирались стражи порядка, Таня своими силами определила Митьку в детскую больницу по месту собственной прописки, у чёрта на рогах.

– И понимаешь, брат, – сказал Грачёв в трубку, – я еле-еле добился разговора с врачами... Короче, никакой гемангиомы или другого образования они не подтвердили. Лечат, но, судя по всему, ребёнку не лучше. Рабочий диагноз – токсический гепатит. Отравление.

Я слушал и хмурился. Нет опухоли? Как так? Я же отчётливо видел, ошибки быть не может! Или... может? Я пока ещё не сошёл с ума. Или...

– А ферменты? А клиника? Она разная при механической и при гепатите! – настаивал я.

– В этой педиатрии чёрт ногу сломит, – вздохнул Андрюха. – У детей всё не как у людей.

– А томография? – закричал я в трубку. – МРТ ему делали?

– Какое там, – сказал Андрей. – Это ж детское отделение. Они детей на томограф не посылают.

– А под наркозом? – не унимался я.

Трубка вздохнула.

– Говорю как есть. Лечащий врач считает, что томография нецелесообразна. Буду оказывать давление на персонал – мне не разрешат видетсья с сыном.

И тут я подумал: кто я, в конце концов, такой? За что сражаюсь? Я вполне мог принять за ге-мангиому какое-то постороннее наслоение. Досадно, но что ж, похоже, я ошибся.

Вике дома можно было ни о чём не рассказывать. Она и так всё знала.

Но я психовал.

Не находил себе места. И, кажется, даже не потому, что оплошал. Ошибся и ошибся, ничего, переживу.

Если с Митькой что-то случится, я знал, что этот ужас камнем будет висеть у меня на шее. Мог увидеть, но не увидел. Мог настоять, но не настоял. Мог поддержать...

¹Гемангиома – доброкачественная опухоль, построенная из эндотелиальных клеток сосудов.

Назавтра я позвонил Андрею. Всё утро он был занят, но к вечеру ответил.

Непонятно, какие именно Грачёв задействовал связи, однако уже на следующий день после нашего разговора он беседовал с главным врачом той самой тьмутараканской больнички. После беседы ребёнку сделали повторное УЗИ, и мой неведомый коллега наконец-то, с пятого или с какого там раза, подтвердил «наличие дополнительного образования в печени», а кроме того, и расширенный общий желчный проток, и механическую желтуху. Опухоль нужно было удалять, и Митьку перевели в крупную детскую больницу почти в самом центре города. Таня была в бешенстве, но потом всё поняла и, кажется, успокоилась.

Отпустило и меня.

Вика ходила по дому, поджав губы. Однажды тема Грачёвых всплыла в нашем разговоре после ужина.

– А ты-то и доволен, поди, что прав оказался твой Грачёв, – выдавила жена сквозь зубы.

Я уже мог общаться с Викторией по-человечески, не на повышенных тонах.

– Я первым нашёл образование, – воскликнул я. – И оттого доволен, что не промахнулся.

– Лучше б ты ошибся и у Митьки был всего лишь гепатит, – отрезала Вика. – А Грачёв твой всё равно дерьмо мужик.

Я промолчал. Дерьмо он или не дерьмо, но так уж вышло, что мы вместе, и всё. Что тут было ещё говорить.

После операции, когда Митька очнулся от наркоза, нам обоим на телефоны пришли эсэмэски. Мне Андрюха написал: «Всё успешно. Крови немного. Жить будет». Что Татьяна написала Вике, я не знаю, она не рассказала. Она уже давно почти ничем со мной не делилась.

.....

Вика вошла в комнату и оперлась плечом о дверной косяк.

– Куда ты собрался?

– На работу.

– У тебя же сегодня выходной, – Вика знала моё расписание лучше меня самого.

– Ребёнок Грачёвых – мой пациент, – неловко сказал я. – Я должен притащить в палату аппарат. Посмотреть ему свободную жидкость в животе.

Жена не двигалась.

– Ты же говорил, что Грачёв теперь может обходиться без тебя. Что он в Москве на курсах всему научился. Хотя Татьяна считает, он мог бы тому же самому научиться и в Петербурге.

– Научился – не научился... – меня стало раздражать её присутствие. – Ты имеешь что-то против?

Вика отпустила дверной косяк и подошла ко мне ближе.

– Имею.

Я чуть было не взял её за плечи и не отодвинул с дороги, но глаза её вдруг стали злыми. Она буравила меня ими, как свёрлами.

– По какому праву ты всё время лезешь в их дела?

– Грачёв – мой друг, – сказал я. – А ребёнок на самом деле тяжёлый.

Вика усмехнулась.

– Так, значит, ты полтора года покрывал грачёвские блядки и врал его жене только на том основании, что ты... что ты его друг?

– Кто тебе сказал... – начал я и тут же замолчал.

Не полтора года, подумал я, а четыре. Даже пять.

– Когда ты перестанешь держать всех вокруг за идиотов? – сказала Вика.

– Знаешь что? Давай разборки устроим в другой раз, а сейчас...

– «А сейчас!» – передразнила она. – А сейчас ты лучше попробуй не соваться в их отношения, Храмов. Я тебя прошу. Поведи себя наконец как умный человек.

Это было чересчур.

Я наклонился за ложечкой для обуви, а Вика встала надо мной и заговорила сверху:

– Ты поступал очень подло, Юра. Ты и твой Грачёв обманули Татьяну много, много раз. И ты ещё хотел, чтобы она поверила твоему диагнозу? Ты не слишком самоуверен, нет?

– Если она не идиотка, она обязана была прислушаться ко мне! – я бросил ложечку, поднялся и закричал Вике прямо в лицо: – Твоя Татьяна не видит ничего дальше собственного носа! Поставить правильный диагноз – мой долг, а послушаться меня – её долг, долг матери!

– Ты вообще не имел права делать исследование их ребёнку, – голос моей жены даже не дрогнул, а в глазах промелькнуло что-то похожее на жалость. – И сейчас, если ты хоть немного дорожишь их семьёй, ты останешься дома или покатишься на все четыре стороны, пойдёшь куда угодно, только не в больницу.

Я топтался у двери. Потом плюнул и поплёлся за ней в комнату.

– Я никого не покрывал, я никому не врал.

Она уже сидела в кресле. В руках у неё была маникюрная пилка. Она делала вид, что полирует ногти.

– Никаких блядок не было, – повторил я.

Вика оторвала взгляд от ногтя.

– Знаешь, если у Грачёва, как ты говоришь, никаких блядок не было и его поведение для тебя норма, – сказала она, – то могу представить себе, какие скелеты валяются в нашем с тобой шкафу.

Я смотрел на неё во все глаза.

– И будь уверен, – продолжала она, – когда мне понадобятся доказательства, я обязательно их откопаю.

И она неожиданно улыбнулась, словно знала обо мне всё.

На улице моросило. Телефонная трубка молчала. Грачёв не звонил.

И я понимал, что после такого разговора я уже не позволю ему сегодня. Пусть сами решают. Пусть сами всё решают. По большому счёту Вика права – она всегда права, если рассудить здраво. Может быть, несчастная Татьяна упрятала ребёнка в районный могильник только от страха, от осознания того, что ей все на свете лгут, что больше никому нет веры. И значит, в этой истории с Митькой, в его мотаниях из больницы в больницу опять, некоторым образом, был виноват я. Андрей тоже, но ещё и я. Потому что я встал на сторону Андрея. А ещё – не настоял на собственноручно подтверждённом диагнозе.

«Везде накосячил», – думал я, ютясь под козырьком парадной и глядя на мокрую гадость, растёкшуюся по всему городу. Мне со страшной силой вдруг захотелось позвонить... Позвонить совсем другой женщине. Замкнутой, нервной, бесконечно близкой, позвонить за тридевять земель, в тёмную, огромную и безумную Москву, мне так хотелось, чтобы она взяла трубку и выслушала мою непутёвую исповедь. Чтобы успокоила, сказала: «Юра, всё в порядке. Всё хорошо». Чтобы мне хоть немного, но полегчало. Я почти набрал её номер, но потом нажал на сброс. При чём тут она, подумал я.

Так я стоял и курил, и не мог вернуться домой. Выяснилось, что идти мне некуда. Потому что тянулся проклятый выходной, и потому что я второпях оставил дома зонтик.

Задание 12. Лёля

(из коробки №S-49/1A-ЮХ)

2007 г.

Это была комната с видом на заросший деревьями закуток, до которого ещё не дошли руки дизайнеров. Превратив старый подмосковный санаторий в модный пансионат выходного дня, строители освоили всю территорию вокруг здания, за исключением небольшого куса под окнами трёхэтажного корпуса, где я снял себе номер по дешёвке, дабы не привлекать внимания Лёлиного начальства. И всё равно, оказывается, привлёк.

Начальство проводило тренинг по продажам. Приехать сюда было моей единственной возможностью встретиться с Лёлей. Наши расписания катастрофически не совпадали, плюс ко всему

на ней лежало всё её нехитрое домашнее хозяйство, с маленьким ребёнком до кучи. С ребёнком сидела бывшая Лёлина свекровь, и вариант моего появления в их московской квартире не рассматривался вовсе.

Под окном корпуса росли рябины, их повсюду сажали в конце прошлого века. Деревья торчали на каждом повороте в скверах, разбитых вокруг всех больниц и поликлиник, где мне когда-либо доводилось работать. Не люблю лубочную яркость рябиновых кистей, но в тот вечер, глядя на них в окно, я чувствовал спокойствие.

Лёля захотела воды, и я встал за стаканом. Она опередила меня и шагнула в темноту, ступая босиком по гостиничному линолеуму. Глядя на неё, я почувствовал, какой в комнате холодный пол. Тапочек у Лёли не было, да и ничего не было – ни майки, ни сорочки. Она, наверное, стеснялась ходить голой по комнате: её движения внезапно сделались неуклюжими. Когда Лёля наклонилась над столиком, на её спине под кожей выступили острые позвонки, и линия, соединяющая их, была неровная, С-образная.

Я подошёл сзади, наклонился и провёл ладонью по её спине.

– Лёля, у тебя сколиоз! – радостно шепнул я ей на ухо.

– Дурак ты, Юрка, – она легонько толкнула меня в бок локтем. – Я это знаю с пяти лет.

И обернулась.

У неё было немного припухшее лицо, словно бы с похмелья. Глаза блестели. Губы были уже сухие, потресканные. Я потрогал их пальцем. Лёля, прищурившись, легонько схватила мой палец зубами, как маленький зверёк.

Потом мы закутались в одеяла и вышли на балкон подышать.

– Ты подстриглась.

– Только заметил?

– Жалко твои косы.

– Самое безобидное, что я сделала за последние годы.

– Я приехал сказать... Лёля, нам надо быть вместе.

– Молчи уже.

– Хорошо.

Никогда её не обижу, вечно буду её оберегать. Хотел сказать ей об этом, но любая моя фраза казалась грузной и грубой, а всё, что я делал, было и того хуже.

– Скоро пойду, – произнесла она. – Дай сигарету.

И выпростала руку из одеяльного комка. Сигареты лежали на подоконнике.

– Ты раньше не курила.

– Раньше... – Лёля вдохнула дым. – Да ты меня раньше-то и не знал почти.

– Я тебя узнал, – я снова сказал глупость.

И добавил:

– Ты теперь свободная женщина, можешь ночевать где хочешь. Почему ты уходишь?

Лёля покачала головой.

– Это ты свободный мужчина. Хоть и женатый, правда. Женатый на моей собственной сестре! – сказала она, усмехнувшись, и добавила: – А я сотрудник фирмы.

– И что?

– И то, – Лёля покачала головой. – Нас контролируют, сволочи. Чуть ли не в постель заглядывают.

– Зачем им это нужно? Главное, чтобы вы хорошо работали.

Она закатила глаза.

– Корпоративная этика, тотальная открытость. Тебя и так уже заметил наш региональный менеджер. Спрашивал, не от конкурентов ли ты.

– Как всё запущено.

– В крупных корпорациях всегда так.

– Не жалеешь, что уехала из Питера?

Лёля вздохнула и снова поглядела на меня, не с насмешкой даже, а скорее с терпеливой усталостью.

– Ты спроси ещё, не жалею ли я, что ушла от мужа. Что бросила специальность.

– И спрошу.

– Не знаю.

Она помолчала.

– Ты ведь честно хотел?

Я кивнул. Она ткнула сигаретой в пепельницу.

– Я устала зарабатывать копейки. Я же так и не стала актрисой. Ради чего были мои мучения? – сказала она, глядя вниз, на освещённую фонарями аллею. – А с мужем у нас и так всё развалилось. Зато сейчас у меня зарплата даже больше, чем у него.

Она повернулась ко мне, заглянула мне в глаза и насмешливо добавила:

– И больше, чем у тебя, кстати.

Я сокрушённо развёл руками. Одеядло, в которое я был замотан, упало на пол.

Мы засмеялись. Подняли одеядло.

– Не уходи так быстро. Сколько нам осталось?

– Наверное, час.

Я обнял мягкий комоч, внутри которого пряталась моя Лёля, жёсткая, как железный сердечник.

– Ну вот и всё, что надо, – сказал я. – Больше ничего не надо.

И Лёля ткнулась носом мне в шею. Словно клюнула.

Просто обнимать её. Любые другие движения были уже напрасной тратой времени. Что успели, то успели.

– Когда у тебя свободные выходные?

– Не знаю.

– Напиши, я приеду снова.

– Хорошо, – буркнула она, и было понятно, что не напишет.

Краснеет ли она при встречах с клиентами, спрашивал я себя, но ни разу не задал ей такого вопроса. Строит из себя бизнес-леди, но сама всего лишь бесправная подчинённая, десятая спица в колеснице огромной торговой корпорации. И даже на встречи со мной у неё нет времени.

Я хотел попросить её, чтобы она показала мне фотографию сына. Потом решил, что это глупо, некорректно и вообще не вовремя. Она вот-вот встанет и уйдёт, какой сын, какая фотография?

– Расскажи мне, как ты живёшь в Москве.

– Ничего особенного. Москва и Москва.

Мне кажется, она уже засыпала, но, словно оловянный солдатик, держалась за единственную мысль – уходить, уходить. Несколько раз поглядела на часы.

Но пока время не кончилось, я её не отпускал.

А потом отпустил.

Смотрел, как Лёля натягивает колготки, рыбьим движением ныряет в длинную юбку. Мне хватало малого: просто на неё смотреть. Даже прикоснуться было уже не обязательно.

Ушла.

Я оделся и, выждав десять минут, тоже вышел на улицу.

Было свежо, но ещё не промозгло. Я бы выпил чего-нибудь крепкого, однако в бар идти не хотелось, да и вряд ли он работал в полвторого ночи. А запастись спасительной бутылкой попросту забыл.

Я ходил туда-сюда по дорожкам, между бархатцами и долговязыми поздними розами. Лёлин запах выветривался из меня, тревога поднималась всё выше и выше. Я вдруг понял одну вещь. Лёля не сказала мне ничего, но только дурак бы не догадался.

Она развелась с мужем из-за меня. Из-за нашей встречи в прошлом году. Я вспоминал и ленинградские крыши, и мою первую поездку к родителям на дачу, и скандал на террасе... Всё это

уже не играло никакой роли, но почему-то висело над нами, как своды Пиранезиевых тюрем, которым, кажется, нет и не будет конца. Я должен был сделать то же самое. Оставить всё, Вику, Сашку – и кинуться к ней. К моей Лёле. Тогда, год назад.

А сейчас всё ушло. Я не имею в виду просто встречу на один вечер – вот же доказательство, Лёля пришла, она лежала в моей, вернее – в гостиничной, койке. Я уверен, что прикати я к ней в Москву – всё повторится. Она пробудет со мной долгие три с половиной часа, с девяти до полпервого ночи. Но жить вместе мы уже не будем.

Я втянул в себя воздух – в нём были и запах вянущих цветов, и запах земли, и сырость недавнего прошедшего лёгкого дождя. Всё это была Лёля.

Я написал ей эсэмэску, и она ответила. Смотрел на горящий экран и понимал, что заслужил всё, что имею. Крошки, недоеденные куски, надкушенные плоды. Клюй, воробей. Радуйся.

Задание 13. Мясо в холодильнике

(из коробки №S-49/1А-ЮХ)

с 2005 по 2010 гг.

Если четырёхногому столу подломить две ножки, стол всё равно упадёт, пусть даже оставшиеся ножки целы и невредимы.

Пока наш с Викой «стол» ещё кое-как держался на двух ногах, мы не придумали ничего умнее, чем ввязаться в ипотеку.

Вика не хотела ссориться с сестрой из-за родительской квартиры, которая, судя по всему, теперь предназначалась старшей дочери. О том, что Лёля жила в сплошной череде неудач, говорить у нас было не принято, хотя вот уже несколько лет, после известия про первый, а потом и про второй Лёлин развод, отсутствие наших прав на родительские квадратные метры подразумевалось само собой.

Однокомнатная хрущёвка, доставшаяся мне от мамы, была ужасна, однако первое время наше жильё нас устраивало. Сашка родился, и понадобилось что-то получше. Когда мы взяли ипотеку, мы не слили мамину квартиру в первоначальный взнос, а решили её сдавать – и получать пусть небольшие, но деньги. Мудрость этого решения я оценил во время развода, когда мне пришлось валить туда, откуда пришёл.

Сашка рос сам по себе и никому из нас не мешал заниматься делом. Вика тоже работала, писала какие-то статьи, проводила тренинги. Это не приносило больших доходов, но оба мы считали, что деньги в семье должен зарабатывать мужчина. Вот я и зарабатывал.

С Андрюхой мы общались всё реже. Он вернулся в семью и сразу оказался от меня на значительном расстоянии. Мы уже работали в разных местах, и нам даже разговаривать стало как будто не о чем.

Из больницы я ушёл и устроился в несколько частных медцентров; хороших специалистов в Ленинградской области не хватало. Я колесил из Петербурга в Колпино, оттуда во Всеволожск, а на следующий день передо мной лежало Приморское шоссе и Сестрорецк. Мой безумный график стал моим спасением. Я отработывал смену, садился за руль и проезжал расстояние, достаточное для того, чтобы поддерживать состояние усталости и безразличия, чтобы не думать о себе, о Лёле, о маме Наде и о той пустоте, которая свистела у меня внутри.

Я работал с утра до ночи, и жена не препятствовала мне, а, наоборот, громко радовалась тому, как быстро уменьшалась сумма нашего долга.

– Мы закроем кредит года за полтора! – говорила она. И меня успокаивало, что я могу порадовать её хотя бы этим.

Автомобиль, подаренный родителями на свадьбу, стал мне серьёзной подмогой. Я оказался неплохим водителем. Скорости я не боялся, и даже иногда ловил себя на мысли о том, что хорошо было бы разбиться на трассе и не дожить до мамы Надиного состояния. Но мне везло: от серьёзных аварий судьба меня оберегала.

Летом дорога до работы была мне даже в радость, хотя машин на пригородных шоссе становилось гораздо больше, особенно по выходным. Зимой случались снежные заносы и ледяные дожди. Однажды в дороге у меня лопнул ремень ГРМ, машина встала на однополоске среди заснеженного поля, и четверть дневного заработка мне пришлось потратить на эвакуатор, а потом ещё месяц рассчитываться за ремонт двигателя. Тем не менее долг уменьшался.

На сон уходило совсем мало времени. А потом что-то сломалось, словно во мне тоже лопнул какой-то ремень. Я никак не мог заснуть после тяжёлого рабочего дня. Закапывался в одеяло, закрывал глаза, ворочался. Пялился в заплывшую бензиновыми пятнами темноту и слушал, как ворочается Вика. Она зажмурилась, оборачивала голову подушкой. Её сосредоточенное, напряжённое лицо становилось недобрим. Я вставал и уходил в большую комнату, на гостевой диван, но и там висела всё та же тяжёлая, душная тьма, от которой не было спасения.

Однажды к моему приходу Вика приготовила какое-то особое блюдо. Она ждала меня с ужином, но к тому времени, как дождалась, весь её настрой пропал и мясо остыло. Сашка сидел, запершись в своей комнате. Он уже ходил в школу. Единственная сложность, с которой мы столкнулись в воспитании ребёнка, – затолкать его спать. Он упорно ложился в час ночи, и ничего с этим нельзя было поделать. Никто из нас не видел его микроскопических занятий, но там, за дверью детской комнаты, которую мы назвали Детская Зона, рождалась и формировалась невиданная химера. В те годы она была ещё на стадии морулы. И только в вечерние часы, пытаясь заставить ребёнка умыться и лечь в кровать, мы чувствовали сопротивление и недетскую жёсткость, с которой этот маленький человек выталкивал нас из своей жизни.

Вика пошла к Сашке, а я остался на кухне один. Холодный ужин упал в мой скукоженный желудок и превратился в донную мину, утыканную шипами. Я вышел на лестничную клетку покурить перед сном, предварительно закинувшись но-шпой и антацидом.

Я смотрел на дверь собственной квартиры. Хорошая, добротная дверь, да и лестничная площадка, на которой я сейчас стоял, была достойная, хоть вальсируй на ней. Я прикинул в уме размер долга, принялся считать и сбился. Я занимался этим каждый день, считал и пересчитывал, с бесконечными «а если», «а как бы», «а вот поднажмём». И каждый раз в остатке у меня получалась слишком большая цифра. И сегодня тоже. Нули разбежались, как муравьи в раскученном муравейнике.

Дверь колыхнулась. Из-за неё выглянула Вика.

– Ты чего тут? – сухо спросила она.

Я махнул ей рукой:

– Иди. Я сейчас.

Вика нахмурилась и вышла наружу.

– Еле зачихала спать, – сказала она. – Сашка уже, наверное, забыл, как отец выглядит.

Я молчал.

– Что у тебя на этот раз случилось? – спросила она, глядя за окно.

– Бабка умерла, – сказал я.

В клинике в тот день произошла обычная история, одна из многих, когда пациент выходит на улицу и ему становится плохо. Скорая, звонки родственникам, все дела.

– Ясно, – вздохнула Вика.

Она немного помолчала и сказала:

– А мы выставку делали.

Я кивнул.

– Тебе интересно? – спросила жена.

Я снова кивнул.

Нахмурилась.

– Храмов, ты где? Ты меня как будто не слышишь.

Я отвернулся.

Вика тряхнула головой и вздохнула.

– Ну, так значит так, – сказала она и ушла.

Посмотрел на дверь и достал ещё одну сигарету.

В таком сумбуре прошло несколько лет. Ипотека стала для меня рулеткой, а я всё крутил и крутил воображаемый барабан с чёрными и красными цифрами. Я знал, что в конце концов меня ждёт выигрыш. Мои коллеги-неврологи советовали взять отпуск, но как по мне, так более идиотского совета нельзя было и придумать.

Я знал, что Вика время от времени прикладывает к бутылке коньяка, которая неизменно теперь стояла в нашем кухонном шкафчике. Марки спиртного постоянно менялись, но почти всегда это был недорогой продукт из супермаркета. Я никогда не видел Вику пьяной настолько, чтобы она перестала себя контролировать; но поздно вечером я часто слышал, как стучит шкафчик и звенит посуда.

Я понаблюдал за ней и тоже попробовал пить, уже по-настоящему. Однако ничего, кроме утренней головной боли, возлияния мне не принесли. В состоянии похмелья работать стало гораздо труднее, и я прекратил.

Вполне могу допустить, что за эти годы я сделался абсолютно невыносимым. Мог прервать фразу на середине и замолчать. Не убирал за собой посуду. Оставлял вещи в неожиданных местах, например в ванной или в коридоре. Ставил гель для бритья в холодильник. Забывал вещи в ячейках магазинов. Забытые пакеты мне никто никогда не возвращал, и приходилось покупать новые халаты, брюки, сменную обувь. А денег, как всегда, было в обрез.

Я стал, пожалуй, ужасным мужем и отцом, но тогда я этого не понимал. Ничего не мог объяснить Вике, да она уже и не просила никаких объяснений. Она перестала цепляться – не только с вопросами о моём здоровье, но даже со своими женскими претензиями. Ей уже, похоже, было безразлично, «слышу я её или нет».

Некоторое время она ещё пыталась заботиться: то погладит рубашку, то поменяет бельё там, где я спал, – в зале, на диване. Было в этом что-то механическое, но всё-таки забота есть забота. Потом исчезло и это. Сашка – тот вообще не спрашивал ни о чём. Ему втолковали, что папа целыми днями зарабатывает деньги и поэтому лучше к нему не лезть. Он и не лез.

Зато долг наш таял на глазах.

.....

В мае я пошёл в банк вносить ежемесячный платёж и сумму для частичного досрочного погашения. Каждый раз в банке я брал заверенную печатью выписку по счёту, чтобы точно знать, с какой скоростью мы расплываемся с долгами.

Я не верил своим ушам. Мне сообщили, что кредит полностью погашен. Вносить платежи могли только два человека: я и Вика. У Вики имелась нотариально оформленная доверенность. Чудеса да и только, повторял я сам себе, когда получал выписку. У Вики денег не было, факт. Или всё-таки были?

Я тупо смотрел на дату последнего платежа. Он прошёл около двух недель назад.

Молча доехал до дома. Две тысячи баксов оттягивали мне кошелёк.

Вика возилась на кухне. Там она оборудовала себе рабочее место, поставила компьютер и теперь могла, не отходя от плиты, смотреть фильмы или писать посты в Живом журнале. Для кухонных стульев она купила оранжевые чехлы, и казалось, что стулья распространяли по всей кухне апельсиновое сияние.

– Есть будешь?

Я сел.

– Вика, – сказал я.

И положил на стол выписку из банка.

Вика как-то странно на меня посмотрела, чуть наклонив голову к плечу. В руках её было полотенце, тоже оранжевое, но чуть бледнее, чем стулья.

– Что? – спросила она.

То ли она не понимала меня, то ли издевалась.

– Ипотека выплачена, – сказал я. – Там оставалось целых полтора лимона. Я не понимаю, как... И замолчал.

Вика поджала губы.

– Опомнись, – сказала она. – Я же тебе говорила.

Я смотрел на неё во все глаза.

– Я говорила тебе, что отец продал дачу.

Когда? Я не помнил. Может, и говорила.

Участок у родителей был маленький, на нём умещались домик, яблони да цветник. Заросшие грядки засадили газонной травой, но Викин отец любил выезжать летом на природу. Несмотря на свой возраст, тесть соблюдал имидж азартного рыбака, да и выпить с друзьями никогда не отказывался. Дача летом не пустовала, к тестю всегда кто-нибудь приезжал, а если гостей не было, то Вика сама летом два раза в неделю привозила отцу продукты.

– Так он её всё-таки продал... – сказал я, не вполне осознавая, что за событие произошло.

– Продал. И закрыл наш долг. Я внесла деньги.

– Почему я об этом узнаю только сейчас?

Вика стояла, а я сидел. И было в ней, стоящей на фоне оранжевых пятен, что-то победное.

– Знаешь, Храмцов, – сказала она, – я ведь для тебя пустое место. Вот сейчас до тебя наконец дойдёт, что я чувствовала несколько последних лет.

Я не понимал, при чём тут это. При чём тут обвинения и разборки.

Я даже закрыл глаза и потряс головой.

– Не понял, – сказал я. – Повтори.

Вика дёрнула ртом и села в апельсиновое сияние.

– Ну, хорошо, – сказала она. – Отец заплатил, и я тебе больше ничего не должна. Так понятно?

– А раньше ты что, была должна мне?

– Сперва нет, – сказала Вика. – А потом да.

– И когда... – начал я, но во рту пересохло. Я встал, налил себе в стакан воды из графина и сделал глоток. Вода не шла в горло. – И когда ты мне стала вдруг что-то должна? – спросил я, глядя Вике в глаза.

– Точного дня не помню, – сказала она, словно бы подбирая слова. – Наверное, когда я поняла, что мы с тобой уже никакая не семья.

Сел, пододвинул к себе стакан. Потом отодвинул его.

– А кто мы тогда? – спросил я.

– Не знаю, – сказала Вика. – Кажется, просто соседи по квартире.

Я встал и прошёлся по кухне. Вдруг подумал о том, какая у нас на столе безобразная скатерть. Серо-зелёная, цвета блевотины. Почему я раньше не сообразил, на что она похожа? В жизни бы не сел здесь обедать.

– Долго думала, как тебе сказать, – произнесла Вика. – И вот, сказала. И ничего не случилось. Потолок не рухнул, ничего не взорвалось.

– Это ты верно... – ответил я. – Не рухнул.

Посмотрел на неё. Вика выглядела очень хорошо. Неровность её кожи с возрастом уже не бросалась в глаза, носогубные складки выглядели почти незаметно, зато был замечен небольшой пушок на родинке возле рта, такой знакомый пушок. Хорошо убранные и добротнo покрашенные волосы, теперь они были рыжие, как у Лёли. Ногти горели уверенным алым цветом.

– Ты себе кого-то нашла? – спросил я.

Вика вскинула брови.

– Считаешь меня потаскухой?

– Просто спросил.

– А ты не спрашивай «просто», – сказала она медленно. – Я после твоих поездок в Москву ничего у тебя не спрашивала.

Не отрываясь смотрел на неё, но она выдерживала мой взгляд без единого усилия. Вздохнула.

– Мы очень друг другу надоели, – произнесла она. – Мне так кажется.

– Почему ты об этом не поговорила со мной раньше? – спросил я.

Вика вертела стоящую на столе чашку, и мне почудилось, что от её пальцев во все стороны сыплются красноватые искры.

– Не была уверена.

Я усмехнулся.

– А сейчас уверена.

– Абсолютно.

– Ну ты и... штучка, – сказал я, со злостью глядя на неё. – А ребёнок?

– Вырастет – разберётся, – Вика невозмутимо поднялась со стула, и я понял, что разговор окончен. – Пока ты не съехал, мы можем по очереди спать на диване.

И добавила своим обычным тоном:

– Голодный? Мясо в холодильнике.

.....

Я, конечно, съехал. На следующий день после нашего разговора сообщил жильцам, которым сдавал мамину однокомнатную, что им пора исчезнуть. Те подсустились и освободили жилплощадь.

Поначалу я всё ещё думал, что Вика хочет меня проучить. Напугать. Воспитать, как воспитывают животных и маленьких детей. Но оказалось, она для себя всё давно решила.

– Такие вещи говорятся или один раз, или не говорятся вовсе, – твёрдо повторяла она. – Я хочу быть счастливой.

Если Вика ясно представляла, чего она хочет, то я разрывался между гордостью и отчаянием, слишком сильным, чтобы его скрывать.

– Храмцов, верни мамину картину, – однажды потребовала Вика. – Такую синюю, серебряную. Она всё равно тебе уже не нужна.

Но я не отдал.

Сашка ни о чём не спрашивал. Я обещал ему приходить по воскресеньям. Вика сказала, что это не обязательно. Я не стал спорить. Мы оба не стали ни с чем спорить.

Я переехал в мамину квартиру. Она уже не пахла нашей прежней жизнью – ни мамой, ни тем более Викой. Теперь все углы и половики благоухали метками кота недавно съехавших жильцов.

Бродил ночами по квартире, пил корвалол и таблетки от бессонницы. Побрызгал корвалолом углы в ванной и за шкафом, протёр камфарой деревянные поручни дивана. Купаж получился знатный, и через неделю я разобрал – а где не смог разобрать, там и разломал – мамину старую мебель и отволок её на помойку.

Моя восьмая беседа с Э. Д.

В тот раз Э. Д. снова не смогла принять меня в клинике. Она не распространялась, но было понятно, что у неё неладно со здоровьем. Я написал ей в письме номер своего телефона, и она перезвонила мне на следующий день. Сказала, что будет рада принять меня у себя дома.

Так я впервые попал в её квартиру, в место, которое в скором времени будет значить для меня очень много. Знаю, что психотерапевты часто ведут приём на дому, но в этом приглашении для меня присутствовал особый смысл.

Чай, разлитый в невесомые чашечки из костяного фарфора, жёлтый абажур с драконами и беседа, обычная, домашняя, – это, быть может, имело не менее целительный эффект, нежели все те недели, что я корпел над записями.

– Позвольте полюбопытствовать, чем закончилась история про Грачёвых? Я так и не поняла из вашего рассказа. Они развелись?

– Да. Но потом сошлись снова. Живут вместе до сих пор.

– Теперь понятно. Спасибо.

Она была одета в чёрную вязаную шаль с кистями, накинутую поверх светлой блузки. На ногах – тёмные джинсы. Аккуратно собранные в высокий пучок седые волосы оттеняли темно-ватый, оливковый цвет её кожи. Уже много позже я обнаружил в архиве семьи В. фотографии времён её молодости; я не ошибся, Э. Д. тогда обладала своеобразной красотой: острые скулы, крупный нос и выпирающий подбородок с ямочкой придавали её внешности нечто хищное. А сейчас вся она словно высохла, и внимание притягивали глаза: тёмные, глубоко посаженные, – казалось, они светились на её худом морщинистом лице.

Э. Д. сидела в кресле с резными подлокотниками – точно такое же кресло было предоставлено в моё распоряжение. Она принимала меня в гостиной. Абажур освещал ту часть комнаты, где мы находились. Там же возле окна стоял дубовый стол с бурым сукном; на столе стопками лежали бумаги и книги. В левом углу стола, словно пришелец из другой галактики, стоял плоский монитор компьютера, перед ним – беспроводная клавиатура. Э. Д. проследила за моим взглядом.

– Эклектика, – с улыбкой сказала она. – Но что поделаешь. Время диктует обстановку.

Я перевёл взгляд на чёрно-белую фотографию, стоящую на полке большого старинного буфета, рядом с которым располагалось моё кресло. Фотография, судя по всему, была сделана в начале прошлого века. На меня смотрел человек в рясе, с длинной бородой и длинными волосами, зачёсанными назад и разделёнными прямым пробором. Я помнил, что прадед Э. Д. был священником.

– Ваш родственник? – спросил я.

Моя собеседница сначала не поняла меня, а потом поглядела на фотографию и рассмеялась. Поразительно, насколько молодо звучал её смех.

– Родственник? – она покачала головой, всё ещё улыбаясь. – Ну что ж, пусть будет родственник. Была бы счастлива, если б это было так.

Намного позже я понял причину её веселья. Когда узнал, что на полке стояло изображение Иоанна Кронштадтского.

– Как себя чувствуете после проделанной работы?

Ответил честно:

– По-разному. В целом – полегче. Но до сих пор не понимаю, что мне делать со своей жизнью.

– А чего вам не хватает, Юра? – спросила она. – Что вам нужно? Как сами считаете?

Я подумал и ответил:

– Уверенности. И покоя.

Она снова улыбнулась, пододвинула ко мне блюдечко с печеньем.

– А сейчас вам спокойно? Скажите как есть.

– Да.

– Можете запомнить это состояние навсегда?

Я закрыл глаза и попробовал зафиксировать всё, что вижу: комнату, буфет, заварочный чайник. Открыл глаза и посмотрел на Э. Д.

– Могу. Но сейчас рядом вы. Когда вас не будет рядом, боюсь, я не сумею.

Э. Д. надела очки и пристально на меня посмотрела.

– Вы так хорошо запомнили самые травматичные моменты вашей жизни. Сумели описать их, передать состояние. Значит, и сегодняшнее ощущение вы тоже сможете запомнить.

Я хотел что-то возразить, но у меня не повернулся язык.

– Это насчёт покоя, – продолжала она. – А что касается чувства уверенности... Может, вам нужна вера, а не уверенность?

– Ну какая может быть вера, – сказал я устало. – Я агностик. В Бога не верю. Зато я верю вам как врачу.

Она вздохнула.

– А лучше если бы наоборот.

– Вы лишаете меня последней надежды.

Она сделала ладонью отрицающее движение.

– Нет. Верить тому, что говорят люди, следовать решениям, которые они принимают насчёт вашей жизни, – гибель. И я в этом смысле ничем не отличаюсь от тех, кто делал это с вами рань-

ше. Ваша мама, ваш друг Андрей Николаевич или ваша жена. Потом, может быть, в этот ряд встанет и ваш сын. Все наши слова, все наши решения должны быть вами перепроверены и взвешены.

– На каких весах?

Возникла пауза. На стене в квартире Э. Д. висели, да и до сих пор висят, старые ходики с матником. До сих пор слышу, как они отсчитывают секунды до её ответа.

– Стройте свои веса сами, – сказала она. – Или поставьте в своей душе нечто непоколебимое.

Мне показалось, что она опять говорит о Боге.

– Ничего нет окончательного, – ответил я. – Всё можно опровергнуть. И самое ужасное, нет никакого средства уйти от того, что меня ждёт.

– Ваша бывшая жена. У неё ведь тоже нет средства уйти от того, что её ждёт.

– А при чём тут моя бывшая жена?

– Её мать умерла от рака. Это ничуть не лучше Альцгеймера.

Я молчал. Потом выдавил из себя:

– Да. В их семье есть своя трагедия.

– А знаете, что означает слово «трагедия» на самом деле?

– «Песнь козлов»?

– Нет, это слово означает «жертва».

Задание 14. Какбох

(файл из папки домашнего компьютера «2020. Задания»)

1975 г.

Признаться, я никогда не боялся темноты. Темнота радовала меня, а яркие лампы раздражали, били по глазам. Особенно – люминесцентные светильники, которыми были оснащены все детские учреждения семидесятых-восьмидесятых годов. Их дребезжание утомляло меня. Читал я всегда в темноте, при свете настольной лампы, и быстро посадил зрение.

Я любил фантазировать, придумывать тайны и сказочные истории, но в придуманные вещи я не верил. Не верил в чудовищ, в ночных монстров, в гномов и домовых. Знал, что не бывает ни леших, ни ведьм, ни привидений. Все эти персонажи были нужны для игр, в которые я играл. Но была ещё одна особенность: в моём мире имелся Бог, Его-то я и боялся больше всего на свете.

Бога я боялся так же, как и самолётов, – с приливами дрожи и холода. В детстве я потерял сознание в здании аэровокзала. Приехала скорая и объяснила маме, что с аэрофобией бороться бесполезно. Ей посоветовали не терять времени, а ехать в Крым поездом или на машине.

Страхи сопровождалась приступами паники. Иногда мне казалось, будто я почти ощущаю Божье присутствие, и мне становилось не по себе. Я забивался в тёмный угол и замирал, надеясь, что там меня Бог не увидит. Но спрятаться от Него было невозможно, поскольку Он был везде. Страх охватывал меня неожиданно. Рядом со мной, за моим плечом начинало колыхаться нечто, словно дул ветер и воздух трепетал. Это подрагивание тревожило меня и пугало.

Когда я слышал фразу «Бог тебя накажет!» – я воображал, как Он, например, наказывает Ромку из четырнадцатой квартиры. Ромка был белобрысый, сопливый, а его руки, вечно покрытые цыпками, походили на лапы ящерицы – да и сам он был как земноводное, вёрткое и неприятное на ощупь. Его жёсткие, острые кулаки оставляли на моём теле и лице болезненные синие кровоподтёки, а бить меня Ромка любил и никогда не упускал такой возможности.

Очень хотелось, чтобы Бог оторвал Ромке руку в лифте. Я представлял себе, как Ромкина нога застревает между качелями и перекладиной и с хрустом ломается. Бежал домой и прятал голову в подушку. Бог показывал, каким образом Он расправится с Ромкой, а мне было и мерзко, и приятно, и страшно.

– Какбох! Какбох! – бормотал я, и мои губы становились солёными, а нос не хотел дышать, потому что я плакал.

Подобные ужасные мысли стали ежедневными, и дело кончилось походом к врачу. До сих пор помню фамилию моего детского психиатра – Доктор Тюкова. Сначала мы с мамой долго ехали на автобусе, потом сидели в коридоре. Шла зима, на улице стоял мороз, и в тёплом помещении поликлиники я расслабился и заснул. Очнувшись уже в кабинете – Доктор Тюкова светила мне в лицо фонариком и задавала вопросы.

– Развитие у ребёнка заторможено, – сказала маме Доктор Тюкова.

А мама только кивала ей в ответ.

Потом приступы изменились. Мне стали сниться сны, в которых на меня надвигалось существо, огромное и тяжёлое, оно занимало всё пространство комнаты. Оно наползало на мою кровать со стороны окна; словно в оконный проём вращалась белая скала, она бесшумно проламывала стену, чтобы наконец приблизиться ко мне и раздавить. Сны были настолько яркими, что я помню их до сих пор. Невозможно было вдохнуть, и я с криком просыпался. Подходила мама, и я слышал, как она шепчет что-то про лекарства, которые не действуют.

Снова пошли к Доктору Тюковой.

– Страхи не уменьшились? – строго спросила Доктор у мамы.

Мама заискивающе улыбнулась. Мне стало стыдно за себя и за то, что маме приходилось так унижаться.

Доктор попросила меня выйти из кабинета и подождать в коридоре. Я вышел. Возле кабинета на стене висел цветной плакат о пожарах – на нём в картинках рассказывалось, как девочка зажигает спичку, а потом нарисованные шторы вспыхивают. Этот советский комикс демонстрировал жестокость с таким прямотушием, что можно было беззастенчиво ею наслаждаться. Очередь в коридоре недовольно поглядывала на меня. Но я не меньше, чем они, хотел, чтобы Доктор Тюкова поскорее нас отпустила.

Потом белая дверь открылась, и появилась мама. Она выходила спиной, словно не могла взглянуть на Доктора Тюкову, и всё улыбалась ей, кивая на прощание.

– Ну что ж, Юра, – произнесла она, когда мы после обеда не торопясь пили чай. – Доктор мне кое-что про тебя рассказала.

Тут зазвонил телефон, и мама побежала в прихожую. Кто звонил, не помню. Помню, что выбежал во двор и играл там допоздна. Была уже весна, и вернулся я мокрый до ушей. Дома получил положенную взбучку, за которой последовали горячая ванна и колготочные носки на ноги. Потом меня закрыли в комнате и велели спать.

Очень хотелось узнать, что же обо мне говорила Доктор. Не давали покоя тревога и беспомощность перед тройцей: мама, Бог и Доктор Тюкова. Получалось, что я виноват, но неясно было, почему, в чём, и главное – каким будет наказание. Внутри меня всё замирало, плечи напрягались, а руки пытались обнять друг друга, защитить. Я задерживал дыхание на выдохе, застывал так на несколько секунд, и это приносило недолгое успокоение.

Однажды страх загнал меня в коридор. Спрятавшись в углу между вешалкой и тумбочкой, на которой для красоты лежала салфетка, вышитая красным крестиком, я сидел, обхватив себя руками, и ждал освобождения. Подошла мама. Я разлепил зажмуренные глаза. Она смотрела на меня сверху вниз. Покачала головой и попросила:

– Юра, пожалуйста, перестань.

Страх жил снаружи, а я сам был внутри. Перестать было нельзя. Но она не уходила.

– Доктор Тюкова всё мне объяснила про твои страхи.

Я раскрыл глаза и разжал пальцы. По телу разлилась слабость.

– Никаких страхов у тебя на самом деле нет, – новость прозвучала как-то неубедительно.

Я смотрел на маму во все глаза и не понимал. Потом раскрыл рот, но она продолжала:

– Ты всё придумал. Придумал, чтобы я носилась с тобой по врачам. Чтобы занималась только тобой. Доктор поняла все твои хитрости. Мне было очень стыдно за тебя.

Я снова зажмурился, замотал головой, а мама вдруг закричала:

– А ну-ка вылезай из угла, сейчас же! Сию минуту! И марш прибираться! Врун несчастный!

Она схватила меня за руку и выволокла из укрытия.

Ужас от случившегося был настолько сильным, что он вытеснил даже страх, связанный с Богом. Обманщик, врунишка, а ещё – я подвёл маму.

Стало горячо в животе, потом жар перекинулся на лицо. Я метался по комнате и лихорадочно расставлял по местам разбросанные вещи. Сгребал игрушки в большой ящик, стоявший возле батареи. Складывал кривой стопкой грязные колготки, которые свисали с полочек шкафа как дохлые змеи: Наг и Нагайна. Неуклюже запнулся о краешек паласа, упал и ударился бровью о край табуретки, схватился за ушибленное место – и на ладони отпечатался сукровичный след, хотя боли не было, настолько все ощущения во мне притупились, все, кроме одного: душевной, гадкой вины. Потом я побежал в кухню за веником, вернулся и, как умел, подмёл палас, сгребая мусор на какую-то тонкую детскую книжку. Мне почудилось, что в мусоре копошились маленькие рыжие мураши. Я зажмурился и не смотрел на них. Нёс бумажку к мусорному ведру и не смотрел.

После приборки комната выглядела гораздо чище, и я поспешил на кухню к маме.

Но мамы в квартире не было. Она куда-то ушла. Входная дверь оказалась заперта. Я кричал и колотил в неё кулаками, но понимал: мама снова оставила меня одного.

Я снова забрался в свой угол и сидел там, наверное, целую вечность – закрыв глаза и сжав пальцами плечи. Помню, синяки не проходили несколько дней.

В комнате было тихо. Я слышал, как на кухне в гулкую раковину из крана падают капли: казалось, от их раскатистых ударов подрагивали стены. Словно спрятанный в трубе бомбардировщик прямой наводкой бил в одну и ту же точку, и наша квартира могла в любую минуту взлететь на воздух.

Ба-бах. Ба-бах. Ба-ба-а-х!

Когда мама Надя вернулась из магазина, я бросился к ней. Она сказала: «С врунами общаться не хочу». Выложила покупки, а потом закрылась в комнате.

Перед маминым гневом гнев Божий показался смешным и мелким. До меня дошло, что Бог ничего не решает.

У меня перед глазами стояла твёрдая, обклеенная обоями стена, и даже биться в неё лбом было бессмысленно.

Когда мама открыла дверь, я уже остыл, стал частью моей стены.

Меня всё-таки простили. Всё кончилось хорошо.

Что сказать ещё? После того дня страхи мои не исчезли. Бог продолжал являться. Он пугал меня, как прежде, – мне приходилось надолго задерживать дыхание и сжимать пальцами плечи. Рассказывать об этом маме я уже не мог. Нужно было научиться переживать свой ужас и свою вину в одиночку. Как это, наверное, делает Бог.

Два листа из коробки №S-49/2F-ЮХ

(исправленные и дополненные в 2023 году)

2021, 2023 гг.

Я вспомнил эту историю, потому что Э. Д. заговорила про Бога. Хотел понять, почему я всегда с ней спорю. Начал писать про рефлексы Павлова, потом про концлагеря, убиенных младенцев, потом всё стёр и написал вот такой текст.

Я перечитывал написанное. Было как-то паршиво.

И даже сейчас, когда я сижу в квартире Э. Д., и среди разложенных на столе папок и пронумерованных коробок читаю, разложив по страницам, эту заново распечатанную на принтере главу, мне хочется поскорее сгрести листы в кучу, подколоть их к остальным и никогда больше к ним не возвращаться.

За сорок лет Моисей провёл людей через пустыню, а я всё топтался возле той стены, где меня, шестилетнего, обнаружила мама Надя, в психической сохранности которой даже в то далёкое время никто не мог быть уверенным.

Написав текст в качестве очередного задания, я долго думал, нужно ли посылать Э. Д. эту историю. Решил не посылать. Она осталась в недрах моего домашнего компьютера. Именно оттуда я достал её в 2023 году и распечатал.

Зато в те дни, когда я кропал свои последние рассказы для Э. Д., я ради эксперимента зашёл в церковь. Сразу после того, как закрыл Вордовый файл про Бога.

Детских страхов у меня давно уже не было. Зажжённые свечи горели, воздух над ними колыхался, но никакой ужас не рождался во мне. Я застал кусок службы и наблюдал, как одни люди в длинных расшитых золотом одеждах поют красивыми низкими голосами, а другие люди крестятся и кланяются.

Безусловно, что-то в этом помещении происходило. Я и сам почувствовал тогда, как поддаюсь влиянию толпы: стоять столбом среди народа, кладущего поклоны, было неловко, и я несколько раз перекрестился вместе со всеми. Действие походило на коллективную истерию, о которой на пятом курсе нам рассказывал профессор Балашов с кафедры психических болезней. Потом на экзамене мне как раз попался билет с таким вопросом, и отвечать нужно было с приведением цитат из марксизма-ленинизма, несмотря на то, что на дворе стояли уже девяностые годы.

Я вышел из церкви. На улице морок развеялся. Покорная и, как мне показалось, зомбированная толпа ни в чём меня не убедила. Осталось чувство необъяснимой тоски.

Я прошёл по улице – стояла зима, самое унылое время года. Зимой в наших широтах резко увеличивается количество самоубийств.

Я достал телефон. Включил его и позвонил Грачёву.

После происшествия, из-за которого я оказался в ведомстве Э. Д., прошло уже несколько месяцев. «Пока не уляжется прецедент», – говорила Э. Д. в самом начале. Я надеялся, что прецедент улегся и Грачёв вернётся в мою жизнь. Он ведь мой единственный друг.

Он дважды отбил вызов. Потом, после долгого молчания, взял трубку.

– Алё.

– Привет.

– Храмцов... – было слышно, как он перемещается по какому-то помещению, возможно выходит из кабинета на лестницу. – Я всё передал Эсфири Давыдовне. Не звони мне больше и не появляйся.

– Андрюха, давай встретимся.

– Не хочу, – ответил Грачёв. – Скажи спасибо, что я ради тебя всё замял, насколько это было возможно.

– Спасибо, Грачёв, – сказал я. – Поговори со мной.

– Поверь на слово, мне пришлось не только побегать по инстанциям, но ещё и раскошелиться, – ответил Грачёв. В его интонации мне послышалась злоба. – Если хочешь говорить, приходи с деньгами.

Я молчал.

– Аппарат стоит почти два миллиона рублей. Не говоря уже обо всём остальном...

Грачёв помолчал немного и продолжил, уже более мягко, но всё равно решительно.

– Храмцов... Я не то хотел сказать. Возьми в голову раз и навсегда. На самом деле ты мне уже не должен ни копейки. Я разобрался с родственниками пациентки, разобрался с юристами. Я всё сделал, я достал деньги. Просто, пока я разгребал то дерьмо, которое ты после себя оставил, я понял, что ты мне никто. Ник-то. Ясно тебе?

– А я думал... – сказал я.

– Храм, ты всегда был придурок! – закричал Грачёв. – Болтались мы с тобой от скуки, от нечего делать. Я взял тебя на работу, потому что хотел вытащить из той задницы, в которой ты очутился. Я всегда тебя выручал. Но никогда не думал, что у тебя так скоро поедет башка! Из-за тебя я залез в такие долги, что просто мама не горюй!

– Грачёв, давай я приеду.

На том конце провода раздалось сдавленное рычание.

– Только попробуй! – чётко и членораздельно сказал Грачёв, и было слышно, как его слова раздуваются и спадают в телефонном эхе.

– Где ты сейчас?

– Только приедь, – продолжал Грачёв. – И не успеешь ты войти в дверь, как я вызову наряд, и тебя так отметелят, и упекут в такие е***, что ты, б***, не только дорогу ко мне позабудешь, но и своё имя в паспорте. Ты понял?

– Понял, – сказал я и добавил: – Прости, я не хотел.

Было слышно, как Андрюха ещё раз выматерился и нажал отбой.

Задание 15. Грачёв

(из коробки N^oD-49/2-ЮХ)

1999 г., 2011 г. и многие другие

Пожалуй, я не совсем верно сосчитал своих друзей. Правильнее было бы сказать, что у меня два друга: Андрюха трезвый и Андрюха пьяный, два разных человека с одинаковыми лицами. Андрюха трезвый возник в моей жизни закономерно, как старший коллега. Прошло время, и он стал товарищем, а не просто парнем, который работает в моём отделении.

С Андрюхой трезвым к тому времени нас связывала целая куча приключений. Вспомнилось: в гостях у одной коллеги я сослепу наступил на маленькую черепашку, и Андрюха вместе со мной бегал по зоологическим магазинам, искал замену покалеченному животному. Мы часто выручали друг друга по работе. Пока не появилась Вика, Андрюха с Татьяной пытались то и дело познакомиться со всякими симпатичными девицами, но из этого ничего хорошего не выходило. Татьяна путала дружбу с игрой в куклы; ей казалось, что друзей разного пола очень просто между собой переженить: сначала нужно посадить их за стол, потом отправить в магазин, а там уж и до свадьбы недалеко. В общем, я сбега́л, Татьяна дулась, а Грачёв хохотал.

Насколько весел и жизнелюбив был трезвый Грачёв, настолько безобразен был его теневой двойник. Тень появлялась после третьей рюмки водки или после второй пол-литры пива. Тень была человеком, способным на многое. Например, однажды Андрюха-Тень, ни слова не говоря, вышел из кафе и пошёл на мост вешаться. Все подумали, что он идёт в туалет, а Грачёв через всю Петроградку прошёл до Биржевого моста, где принялся прилаживать галстук к ораде, примеряя на шею неумелую петлю. Спасли его два прохожих мужика. Вместо благодарности за спасение один из них получил в челюсть, а другой под дых. В милиции Андрюха пытался объяснить, что он человек серьёзный, семьянин и врач. Протрезвевший Грачёв недоумевал: он здоров и счастлив, и поэтому – какого ляда ему было вешаться на Биржевом мосту? Пресловутый галстук с места драки таинственно исчез.

Однажды он напился в гостях у своих финских знакомых, встал из-за стола и перепутал сортир со стенным шкафом. Его не смутила даже одежда, висящая в шкафу. Тень спустила штаны, и французское пальто хозяйки пропало ни за грош. После того как нас прогнали из гостеприимной квартиры, я довёл Андрюху до автобусной станции, усадил на сиденье и довёз его, спящего, до дому.

Перед самым кризисом девяносто восьмого года Андрюху позвали работать в частную контору, где такие же, как мы, реаниматологи выводили нариков из ломки. Грачёв организовал мне собеседование. Клиника платила врачам хорошие деньги, но там нужно было дневать и ночевать. Я колебался: полностью бросать больницу я тогда не хотел, а совмещать две работы при живой маме Наде – не мог. Я отказался. А потом мама Надя умерла, в стране случился кризис, и меня уже никто никуда не приглашал. Все затаились и держались за свой клочок малого счастья: маленькая зарплата, маленькая квартира и полное отсутствие сбережений.

Андрюха рассказывал, как в его наркологической клинике один парень послушал новости и сиганул в окошко. Но меня кризис почти никак не коснулся – одним крахом больше, одним мень-

ше. Сначала я следил за происходящим в стране, а потом перестал. Кризис воспринимался легче, нежели предыдущий, пережитый вместе с мамой Надей.

Выяснилось, однако, что перед самым дефолтом наша больница умудрилась купить ещё один УЗИ-аппарат, большую стационарную «Алоку».

– Подойди к Мадине, – говорил мне Андрюха. – Ты и так уже почти диагност. Пойдёшь на курсы, будешь брать у них подработки. Диагности богатые, они в карман берут.

– Я не умею брать в карман, – сказал я.

– Ага, – сказал Андрюха. – А вот запасы отделения под ноль ты подчищать умеешь.

Я собрался с духом и подошёл к Мадине Павловне, заведующей отделением лучевой диагностики.

– Переходите к нам на постоянной основе, – сказала Мадина. – Не люблю гостевые браки.

Когда я вернулся сообщить новость, Андрюха разбирался с новой программой, которую садмины установили на компьютер ординаторской.

– И что ты решил? – спросил Грачёв, тыкая курсором в столбец какой-то таблицы.

– А что тут решать, – сказал я. – Нужно или уходить к ней насовсем, или оставаться тут с тобой и твоими жмуриками.

Грачёв щёлкал мышкой, но маленькие песочные часы всё так же медленно крутились на экране.

– С другой стороны, – сказал я, – ты же сам говорил мне, что я дерьмовый клиницист.

– Это когда я такое говорил? – удивился Грачёв, не отрывая глаз от экрана.

– Да постоянно, – я ходил по ординаторской и рассматривал её словно в первый раз. – То я препараты зря трачу, то пациентов зря жалею.

Грачёв отбросил мышку и сказал, наморщив лоб:

– Говорил? Не помню. Может, и говорил, – он задумался. – Но всё фигня. Всё, что я говорю.

Я так не считал. Хотя знал, что никогда этого ему не скажу. Он был единственным человеком в моём окружении, чьё мнение для меня сделалось особенно важным.

– Ты можешь уходить, если хочешь, – Андрюха говорил так, словно ему всё равно. – Ты же не увольняешься из больницы. Уйдёшь к лучевикам, буду тебе пациентов подсовывать вне очереди. По старой дружбе.

.....

Через несколько лет работы в реанимации Андрюхе удалось совершить прорыв: он открыл своё дело. Думаю, что бизнес даётся в руки особой категории людей. Тем, кто не замораживается оттенками чёрно-белой шкалы.

В период, когда у Грачёва дела пошли в гору, мы с ним почти не общались. Он был занят исключительно денежными вопросами и вращался в кругах, далёких от медицины. А я по иронии судьбы пересекал другой рубеж: мы с Викой разводились.

Разъезжались тихо, без скандала, не втягивая в процесс близких и друзей. Может быть, Вика, дружившая с Андрюхиной женой, делилась наболевшим с подругой, но сам Андрюха в тот непростой для меня период ни разу не появился в эфире. Я тоже ему не звонил. Слишком уж часто раньше я просил у него поддержки. Было неловко тревожить его снова и снова.

А когда Грачёв набирал в свою новую клинику персонал, он вдруг объявился и предложил выпить пива.

Я глядел на друга, которого не видел почти год. А он говорил и говорил. Всё о себе и о себе.

– И клиентура уже наработанная, и название тоже. Бренд наш, местный, питерский. И достался за гроши, веришь или нет. Короче, я теперь, хе-хе, капиталист. Я и сам не верил поначалу. А вот как поверил, – он посмотрел на меня, – так и людей пошёл собирать.

– То есть ты меня сейчас... – я подыскивал слово, но так и не подыскал. – Ты меня сейчас собираешь, так?

Грачёв кивнул.

– Собираю.

– И ты уверен, что я всё брошу и побегу к тебе работать?

Было видно, что Грачёв опешил.

– Ну да. Я же говорю: зарплата будет, аппарат тебе хороший купим...

Злоба нахлынула на меня, и я сжал кулаки.

– Ну вот как купите аппарат, так и приходи.

Встал и вышел из паба.

– Эй, Храм, ты чего? – Грачёв выскочил за мной на улицу.

– Да пошёл ты...

Он хотел было снова потрепать меня по плечу, но я дёрнулся. Я давно уже отвык от любых прикосновений. И от Грачёва я тоже отвык.

Я побрёл по улице. Андрюха присвистнул и двинул за мной.

– Ну, брат, если ты на меня орёшь, то, значит, не всё так плохо, как я думал.

Я не ответил. Добрёл до спуска к Неве возле маньчжурских львов. Сел на ступеньку возле самой границы с водой. На противоположном берегу светились огни; они сливались в непрерывную линию. Неподальку жужжал мост, по набережной пробегали машины. Какие-то пацаны хлели из горла, сидя прямо на гранитном постаменте.

– Ща, погоди, отойду. А ты как раз проветришься, – сказал Грачёв у меня за спиной. – Если будем драться, сперва надо отлить.

И исчез.

Я усмехнулся. Вспомнил, как лет десять назад мы так же болтались по набережной и, когда Грачёву приспичило, он пристроился прямо подо львом-лягушкой. А теперь вон оно что. Капиталисты в Неву не мочатся.

Вода качалась. Потом на гранитный пяточок пришёл незнакомый мужик с собакой. Собака была очень молодая, не то просто дурная. Она с бешеной скоростью скатилась по лестнице – мимо меня лихим вихрем мелькнуло что-то рыжее и квадратное – и с разбегу плюхнулась в воду.

Над водой торчала мокрая морда с высунутым языком, а вокруг колыхались громкие маленькие волны – собака, казалось, была вечным моторчиком радости. Псиная гребла от одного льва к другому и обратно со всей яростью простого животного счастья. Я наблюдал заплыв и понемногу успокаивался.

Подошёл Грачёв.

– Во шпарит, – присвистнул он, насчитав тридцать собачьих кругов.

Я ничего не ответил.

Похоже, хозяин собаки замёрз – на нём были только футболка и шорты, а ночи стояли сырые. Раздался свист, потом ещё и ещё. Наконец лохматая животиная выскочила из воды и, устроив нам с Грачёвым холодный душ, рванула за удаляющейся фигурой.

– Искупались, бля, – констатировал Грачёв, вытирая лицо рукавом.

Совместные водные процедуры всегда считались полезным атрибутом в деловых разговорах. Римляне, например, ходили в бани.

– Ты мне что-то предлагаешь? – спросил я Грачёва. – А то я не понял.

– Ну, я хотел, – сказал Андрей. – Но я мудака, конечно. Явился, понимаешь, не запылится.

– Ну, явился же.

– Это да.

Мы поднялись. Время стояло позднее. Пора было расходиться по домам.

Грачёв повернулся, взмахнул рукой, и – как всегда у него бывает – словно по волшебству, к нашему поребрику причалило такси.

– На Гражданку довезёшь? – спросил он водителя, и когда тот пробубнил что-то в ответ, Грачёв кивнул мне:

– Давай, чувак. Залазь.

Я замотал башкой, но Грачёв вздохнул и, открыв заднюю дверцу, сказал:

– Храмцов, слушай сюда. Сейчас мы едем к тебе, а завтра посмотрим, что у тебя с хатой. Может, ремонт какой нужен.

Я сел, и машина тронулась. Я ехал домой. А Грачёв собирался ремонтировать мою хату, но по правде – меня самого.

И я уже видел, что сегодня до бухла дело не дойдёт. Андрюха ввалится в квартиру, упадёт на диван и, пока я ставлю чайник и ищу чистые рюмки, уснёт как убитый. Но это неважно. Меньше вколлот – больше помог, подумал я.

И мне, впервые за долгое время, стало спокойно.

Задание 16. Валентина

(из коробки №D-49/2-ЮХ)

2017 г.

Вся моя жизнь после развода вертелась исключительно вокруг работы, как луна вокруг земли. Больше в ней почти ничего не было. Сашка появлялся редко, Вика и вовсе перестала звонить. Грачёв заправлял делами, в которых я был не нужен. Я стал чаще ошибаться в диагнозах (или просто начал это наконец замечать?). Если нужно, менял в заключениях величины жизненно важных параметров, подгонял их под норму или рисовал пациентам нужное заключение, миокардит или стеноз. Я не видел в этом ничего плохого: у каждого человека, болен он или здоров, должен быть выбор. И хорошо, что я могу человеку в этом помочь.

Я давно привык: пациенты платной клиники считают врача обслуживающим персоналом и полагают: за деньги доктор готов вытерпеть всё, даже враньё и хамство. С грубиянами и подонками я научился общаться ещё тогда, когда работал у Мадины. Помню, как один мажорик в присутствии больных и врачей выматерил её за какую-то мелочь. Помню, как я подкараулил грубияна и выволок его на лестничную клетку, где курили его соседи по отделению. В их присутствии я ткнул мужика пару раз в солнечное сплетение, и к следующему утру он приполз к Мадине извиняться. Ни один больной тогда меня не заложил.

С грубиянами я веду себя просто, с наркоманами тоже просто, но по-другому. У нариков блестящие глаза и пластика, словно у змеи перед броском. Я стараюсь уходить в другой ритм, чтобы не раскачиваться под музыку этой змеи. А одну мою коллегу такие пациенты доводят до слёз. Однажды она рассказывала, как на приём к ней пришёл обколотый красавец. Улыбаясь красивыми искусственными зубами, парень громко сказал: «Работка у вас – полное дерьмо. Но вам подходит».

Скажу честно: у меня тоже случаются неожиданные проколы, и бывает, что я не знаю, как себя с пациентом вести.

Однажды ко мне пришла миловидная высокая шатенка – выше меня на две головы, не меньше. Записалась на исследование малого таза. Гинекология не вполне мой профиль, но, если больше некому, я беру и таких больных. Ничего особенного. Осмотр и осмотр.

Пациентка, судя по всему, считала себя беременной. Но экран показывал, что никакой беременности нет. Ровный и тонкий эндометрий, маленькие яичники, в одном из них – растущая яйцеклетка, фолликул.

– А задержка-то была? – спросил я.

– Если бы не было, я бы не пришла, – обиженно сказала девушка.

– Большая задержка?

Девушка сжалась, поглядела на экран.

– Вы видите ребёнка?

Я сместил датчик вправо, потом влево.

Девушка замотала головой и потребовала повернуть экран.

– Где ребёнок?

Картина была мне ясна.

– Ребёнка нет, – сказал я как можно мягче. – Вы не беременны.

– Вы просто не видите! – сказала она с укором. – Не видите! А я вижу его!

– Где? – машинально повернулся я к экрану.

– Здесь! – она ткнула в чёрно-белые разводы. – Вот голова, вот руки. Ноги – вот!

Она смотрела на мелькающие сигналы и тянулась к ним, как будто пыталась поймать повисшего в пустоте придуманного малыша.

– Он повернулся!

Я убрал датчик и попросил пациентку одеться. Она схватила меня за полу халата.

– Мой ребёнок, он... мальчик, да?

– Он не мальчик.

– Я так и знала, что девочка. А на каком я месяце?

Она стояла передо мной босиком.

– Валентина... Сергеевна! – умоляющим голосом сказал я. – Вам обязательно нужно одеться.

Она отпустила мой халат и бросилась натягивать юбку.

– На левую сторону надеваете, – сказал я, отворачиваясь.

Она выскользнула из юбки. С горем пополам оделась.

– Куда мне записаться? – спросила она.

– Идите к гинекологу.

Валентина ушла и унесла с собой большую часть моих сил. Чёрт знает что, подумал я. Голова, ноги.

Монитор насмешливо мигал.

.....

Так в моей жизни началась Валентина. Мои будни, к тому времени довольно однообразные, она сделала гораздо веселее.

Валентина ходила ко мне полгода подряд, на все исследования, которые я умею делать. Сначала я исследовал её брюшную полость. Потом – отдельно – мы смотрели почки. В сердце у Валентины нашёлся маленький пролапс. В щитовидной железе, к моему удивлению, было всё в порядке.

Потом мы снова искали ребёнка и, как вы понимаете, ничего не отыскали.

«Странно, – сказала Валентина задумчиво. – Куда он делся?»

Я тоже не знал.

Вся клиника покатывалась надо мной со смеху, но Валентина исправно платила, и никаких претензий к ней не было и быть не могло.

Однажды она записалась на нейросонографию.

– Это исследование не для вас, – пытался объяснить я. – Это для маленьких, понимаете? Младенцам смотрят мозг через большой родничок.

И похлопал себя по голове.

– Давайте тогда посмотрим мозг моему младенцу, – предложила Валентина.

– Сейчас нельзя, – сокрушённо ответил я, – Только когда родится.

Валентина погрузстнела. Я посмотрел на часы. До следующего пациента, к сожалению, было ещё целых полчаса. Не успел я ничего сказать, как Валентина вдруг встала со стула и, немного наклонив набок голову со своей кривой стрижкой, выдохнула:

– Доктор, вы такой замечательный.

Её глаза говорили сами за себя. В них светилось счастье.

Через две недели я обнаружил Валентину возле парадной моего дома.

Я шёл с утренней смены и порядочно устал. Солнце светило, глаза слезились. Стоял октябрь, утром выпал снег, один из первых в этом году. Предыдущий растаял неделю назад, а сегодняшний застыл на листьях, торчащих из травы.

Она бродила возле входа в парадную. Возле выкрашенной в бурый цвет грязной скамейки чернел асфальт – вон сколько снегу Валентина вытоптала. Но я не сразу её заметил. Я глядел только под ноги. Ну и просто – не ожидал.

– Юрий Иванович! – сказала она очень грустно.
– Нашли меня.
– Нашла.
– Жену мою встретить не боитесь? – припугнул я.
– Нету жены, – сказала она и достала из кармана сложенную в несколько раз замызганную бумажку. – Мне на запрос ответили, тут всё про вас есть.

Я смотрел на неё, чуть задрал голову, и молчал. Глаза болели. На голове моей неожиданной гостьи красовалась шляпка-таблетка, миниатюрная, с отогнутой старомодной вуалькой. Нос у Валентины был красный: видимо, долго ждала.

– Ничего не получится, да? – спросила она в последний раз.

Я никак не мог построить нужную фразу. Открыл рот, чтобы сказать, но не сказал.

Она кивнула мне несколько раз. Зачем-то полезла в сумку, пошарилась в ней, замерла и нахмурилась. Закрыла ридикюль на молнию и снова кивнула. Поглядела.

– Жалко-то как, – вздохнула она.

А что я могу? Валентина в тот день ушла от меня и даже в клинике больше не появлялась. Никогда, ни разу.

Вы не подумайте ничего такого. Я просто рассказываю, что за больные к нам приходят. Каким бы я ни был хорошим диагностом, не всегда у меня получается вести себя правильно. Как бы я не старался.

Задание 17. Сны

(из коробки №D-50/1-ЮХ)

2020 г.

Когда я снова начал работать без выходных, чтобы добыть деньги для Сашки, со мной начали происходить странные вещи.

Сейчас мне довольно легко об этом говорить – столько времени прошло. А тогда я не на шутку испугался.

Сначала мне приснился мужик, и в правой доле печени у него сидела гемангиома, доброкачественная сосудистая опухоль, напоминающая по форме трилистник.

И ещё пацан с нарушением оттока мочи. Причиной такому состоянию чаще всего бывает камень или опухоль. Во сне я сместил датчик в малый таз, где обнаружил увеличенное, оплетённое венами, воспалённое яичко: видимо, в своё время оно не спустилось в мошонку и теперь сдавливало мочеточник.

Потом приснилась женщина с выпотом в брюшной полости. Выпота было много, и внутренние органы плавали в животе, словно в бочке. Датчик нырнул в плевральную полость – интересно, кто его просил туда нырять? – и высветил неоднородную, рыхлую хрень, разросшуюся там, как цветная капуста, и понятно было, что с ней уже ничего не сделаешь.

Наутро все эти картинки почти забылись, и я поехал на Обводный, в один из филиалов Андрюхиной клиники.

У первого же моего пациента в правой доле печени высветилась гемангиома в форме трилистника.

От волнения я почувствовал жжение в груди, как будто бы в вену только что впрыснули хлористый кальций. Сфотографировал трилистник и положил фотографию под стекло рабочего стола.

У следующего пациента ничего особенного не обнаружилось. Вариант нормы. Меня почти отпустило, но трилистник под стеклом светился слабым белым светом и не давал мне покоя.

Под конец смены мамаша привела мальчика шести лет. Того самого, с яичком в малом тазу.

Обедать после всего этого мне расхотелось. Я заглянул в соседний кабинет и попросил у коллеги выписать мне успокоительное. Он выписал, но сказал, что его нельзя принимать, когда я сажусь за руль.

Я вышел на улицу, расстроенный (за каким чёртом тратить деньги на таблетки, которые мешают водить машину?). Крупными хлопьями с неба валил снег. Я щёлкнул сигнализацией и достал из багажника длинную щётку. Раскопав свою старенькую «Киа», я поехал на Петроградку; с четырёх до десяти я закрывал там вечерний приём. Трилистник я захватил с собой.

Закопался в описания стенозов и шунтов, обложился снимками и бумажками, на которых во время исследования привык записывать карандашом численные значения показателей. Почти уже забыл сегодняшние происшествия, однако рано я успокоился.

На кушетке передо мной лежала пожилая женщина с асцитом. Всё как по нотам: в брюшной полости – свободная жидкость, а в левой плевральной – огромная опухоль. В форме цветной капусты.

Пациенты снились мне с завидной регулярностью, сначала по трое, а к концу месяца их число достигало пяти за ночь. Во сне мне являлись те виды патологии, которые относят к редким случаям, достойным научной статьи. Но иногда сон выдавал мне просто яркий визуальный объект, подобно тому случаю с цветной капустой. Картинка отпечатывалась в памяти и наутро у меня уже имелась целая подборка.

Например, однажды мне приснился шунт для ликворооттока у ребёнка с гидроцефалией. На экране было видно трубку, а на кушетке, вырываясь из рук несчастной матери, вертелся ребёнок с бессмысленными глазами и удлинённой, грушевидной головой. Он кричал тоненько и хрипло, и крик походил на голос какой-то экзотической птицы. Снился ребёнок, а потом я увидел разноцветные крылья, и высокая трава колыхалась перед моими глазами, а там, за травой, я точно это знал, текла мутная, залитая солнцем река. На следующий день такого ребёнка привели ко мне на приём. Он был одет в пёструю футболку и ярко-розовые колготки.

Снились и прежние знакомцы. Например, Фонарёв. Он больше десяти лет не появлялся на моём горизонте – с тех самых пор, как я уволился из государственной медицины. А вот после моего странного сна о нём он взял и явился. Он носил другое имя и немного изменил внешность. Но Фонарёв остался Фонарёвым, и не узнать его было невозможно. Мой бывший пациент умирал от рака простаты, он еле-еле мочился и повсюду таскал за собой пластиковый мочеприёмник. Лечь на кушетку и подняться с неё ему помогала маленькая женщина восточного вида – я, при внимательном рассмотрении, признал в ней бывшую медсестру Гулю, слишком уж похожим движением убирала она волосы за ухо. Однако в силу врачебной этики я не посчитал нужным показать ей, что мы знакомы. Думаю, Гуля была мне за это благодарна.

Пришла мать Ломаного, женщина-булочка. В карте у неё значилась совсем другая фамилия, но я уже ничему не удивлялся. Духи пациентки пахли ванилью, женщина улыбалась мне и послушно выгибала шею, когда я смотрел ей сосуды. В голове у неё, на уровне передней мозговой артерии, трепыхалась пухлая, S-образная аневризма.

Когда ко мне явилась пациентка с фамилией Вольф, я тоже не удивился.

Выдал ей прямо с порога: прекрасная стрижка! Она поглядела на меня и засмеялась.

.....

Когда я, по возможности коротко, рассказал Грачёву про то, что со мной происходит, он устал поглядел на меня и предложил выпить.

Выпить я никогда не отказывался, но знал, что сегодняшнее предложение Грачёва было формальным. Андрюха завязал: то ли зашился, то ли принимал тетурам, – в общем, отношения его с алкоголем перешли на официальный уровень, и пить мне предлагалось в одиночку.

– Храмцов, – раздражённо сказал мне Грачёв, когда я отказался принять спасительную стопку, – ты задолбал.

Я встал с кресла и собрался уходить. У Андрюхи за несколько лет руководства клиникой выработались привычки, с которыми приходилось считаться. Если начальник сказал, что ты не вовремя, то будь добр, выметись из кабинета.

– Ну правда, – крикнул Грачёв мне вслед, не вставая с места. – Сколько можно, а?

Он был прав. Моя ипохондрия могла достать кого угодно. Меня самого раздражали мои жалобы.

Как мог, я замаял тему и больше к ней не возвращался. Мы говорили с Грачёвым о чём угодно, только не о моих снах. Грачёв был нужен мне, пусть он даже сильно изменился с тех пор, как мы перестали работать вместе. Я к нему привык и не хотел его потерять.

Я решил оставить всё как есть и прописал сам себе нейролептики.

Моя девятая беседа с Э. Д.

– Любопытный эксперимент! – Э. Д. улыбалась, улыбнулся и я. – Вы говорите, в храме происходило нечто. Интересно, что вы увидите, когда не будет толпы.

– Не уверен, что в ближайшее время сделаю это.

– Мне было бы очень интересно обсудить результат.

За окном раздался крик: «По-шэ-ёл!», и за ним сразу последовал грохот. Это рабочие сбрасывали снег с крыши. Э. Д. встала с кресла, подошла к окну и закрыла фрамугу. Потом вернулась к нашему столику.

– После той попытки вы больше не звонили Андрею Николаевичу, так?

– Да. Мне кажется, он уже не считает меня своим другом.

– Хм. Вы больше не Орест и Пилад.

– Пожалуй.

– А как ваши записи?

– Всё так же. Иногда заглядываю в Сеть, чтобы подобрать нужное слово. Мама тоже в какой-то момент растеряла все слова.

– Но вы такой не один. Когда люди рассказывают о сокровенном, всегда трудно найти слово. Прочитайте Феофана Затворника, Антония Сурожского.

Я не хотел с ней спорить. Но и соглашаться тоже не хотел. Для первого у меня не было аргументов: в некоторых вопросах я оказался невеждой. Для второго у меня не было причин. Клиническое мышление, элементы диалектики, научное сомнение – всё, чем была забита моя голова, не позволяло мне безоговорочно верить вещам, которые нельзя ни объяснить, ни потрогать. Э. Д. словно прочитала мои мысли.

– В отделение лучевой диагностики вы пришли по одной только причине: вам нужно быть уверенным в материальном источнике болезни. Моя специальность не менее серьёзна. Разница вот в чём: когда я лечу пациента, чаще всего я не вижу причину. Я не могу рассмотреть её на фотографии. Получается, я работаю с вещами нематериальными. Так?

Я сделал неопределённый жест. Э. Д. покачала головой.

– Вы сейчас почти согласились с тем, что я шарлатанка, – она заметила на моём лице тревогу и снова улыбнулась. – Ну, полно, полно.

Я молчал. Она кивнула на листы бумаги с чёрными строчками текста и карандашными пометками, сделанными её рукой. Это были мои собственные записи, распечатанные на принтере.

– Ваша история – не про страх и уж тем более не про сумасшествие. Это история о любви. А вам казалось иначе?

Я не сводил глаз с бумаг и ничего не говорил.

– Люди, когда говорят слова, всегда путают смыслы. И здесь тоже всё перепутано. А ведь любовь – это не самая сложная категория. Но она из разряда невидимого. Вот у людей в головах и возникает неразбериха.

– А мои сны?

Э. Д. махнула рукой.

– И ваши сны. И ваши страхи. Они – не то, чем казались вам. Представьте, что в вашем мозгу живёт переводчик. Незвестная переводчику идея никогда не будет передана нужным словом. Поимаете?

Тут она, конечно, была права. Я понимал, что Э. Д. просто хочет меня утешить, развлечь беседой. Но я был ей благодарен и за это тоже.

Я смотрел на неё. Края чёрной накидки были сколоты под воротничком потемневшей от времени серебряной булавкой с маленькой розой посередине. Заметил выглядывающий из-под накидки аккуратный хлопчатобумажный манжет, украшенный шитьём.

Я повторил попытку запомнить состояние покоя. Закрыв глаза, открыл их. Почувствовал, что улыбаюсь.

— Когда эскимосам переводили Евангелие, богословы столкнулись с проблемой. На Севере не было овец, и выражение «Агнец Божий» им было непонятно. Знаете, как его перевели?

— Оленёнок? — предположил я.

— Нет. У оленей гордый характер, они бывают строптивы. Нужен кто-то нежный. Доверчивый. Правильный ответ — тюлень. Смеётся? Смейтесь, смейтесь. Юный тюлень Божий — как вам?

Посмеялись. Э. Д. всплеснула руками.

— Обещала напоить вас чаем, а сама сижу.

Встала, прошла на кухню. Крикнула оттуда:

— Вам какой?

— Любой.

Вернулась с заварочным чайником.

— Пока заваривается, пойдёте, покажу вам комнаты. Обратите внимание: литография середины восемнадцатого века. Дедушка нашёл её у какого-то лавочника, когда был ещё студентом. Заплатил, кажется, сорок копеек. Помните у Гоголя рассказ про художника, который купил портрет? Когда читала, представляла себе нашего дедушку. Вот здесь кабинет моего мужа. Он умер уже давно. У нас с мужем большая разница в возрасте. В тридцатые годы эбэшники разменяли его родителей ни за грош. Мальчика спас дядя, да и то случайно. В общем, он много ездил по стране, от одних родственников к другим. Когда вернулся в Ленинград, ему было двадцать пять. Стал искать вещи родителей. Кое-что нашёл. Копия Брюллова. Узнаёте? «Итальянский полдень», верно. Кресло. Резные драконы на спинке. Муж выкупил эти вещи у бывшей соседки. Есть ещё канцелярский прибор. Поможете достать с полки? Благодарю. Морёный дуб. Мне очень нравится вот этот вырезанный из дерева человек. Присел и рассматривает что-то на дороге. Как будто нашёл монету. А вам кто приглянулся?

— Глаза разбегаются. Не могу выбрать. Может быть, эта... обезьянка? У неё ваше выражение лица.

— Обезьянка? Выглядит как настоящая старая ведьма. Хорошего же вы мнения обо мне. Давайте поставим прибор на место. Спасибо. Пойдёмте. Есть ещё одна комната, моя спальня. Но там ничего интересного, только зеркальный шкаф с короной. Дамские штучки. О! Чай почти остыл. Не можете включить чайник?

— Когда выходите на работу?

— К сожалению, не выхожу. Готовлюсь к следующей операции. Но мы ещё успеем увидеться. Ровно через неделю, если ничего не случится, я в вашем распоряжении.

— Ваши родные знают, что вы снова ложитесь в больницу?

— Знают. Дочь в Америке, у неё там клиника. Но есть скайп. По скайпу можно болтать за ужином, праздновать Новый год... Пьянствовать по скайпу, говорят, очень забавно.

— Можно я... навещу вас?

— Не дай бог. Буду выглядеть страшней атомной войны. Вы уже и забыли, что я, ко всем прочему, ещё и женщина.

— Не забыл.

— Как выйду из больницы, жду вас у себя. Хочу быть уверена, что вы в стойкой ремиссии.

— Обязательно позвоню.

— Позвоните. Ещё не знаю, вернусь ли я в клинику и на кафедру. Может быть, мне тоже, как и вам, придётся уйти на отдых.

— Чем займётся?

— Трудно начинать что-то новое... Я не рассказывала вам, как принялась коллекционировать старые вещи? Представьте себе, хожу по антикварным лавкам! Там всё такое же старое, как я

сама. Покупаю только то, что напоминает мне обстановку отцовского кабинета. Знаете, после войны от наших вещей почти ничего не осталось. Иногда мне кажется, что я вижу ту самую мебель, которая стояла у нас дома, когда я была совсем маленькая. Начала собирать коллекцию. Хочу обставить квартиру так, как это было при отце. Подумываю устроить здесь его музей. Недавно видела один красивый стеллаж и витрину с бархатом под стеклом. Туда можно поместить его записи. Разбираю архивы. Если наступит день, когда я пойму, что никогда больше не выйду на работу, – моим единственным делом будут бумаги отца и его музей.

– Звучит впечатляюще.

– Вы тоже найдите себе какое-нибудь простое занятие. Если на первых порах уделите ему чуть больше времени, то не заметите, как оно разрастётся в вашей жизни до невероятных размеров. Словно укроп на грядке. Знаете, как он растёт? Будто сорняк, хотя на самом деле благородное растение. Лесбийские девушки в Греции украшали друг другу головы венками из укропа.

Я кивнул. Представил себе эту картину и улыбнулся.

– Нет, не то. Забудьте про Грецию, – сказала она. – Бросьте всё и езжайте в Рим. Уверена, вы не пожалеете.

Задание 18. Операция

(файл из папки домашнего компьютера «2020. Задания»)

2020 г.

– Донорство? – переспросил я. – Ты имеешь в виду донорство крови?

– Донорство органов.

Я напрягся, но ответил со всей небрежностью, какую только мог изобразить.

– Может, где-то и существует, – плеснул себе пива в стакан, но пить не стал. – А что Интернет говорит?

– Интернет... – Сашка проглотил кусок. – Пишут, что в России с этим делом сплошное надира-лово. Человек, например, отдаёт почку, а все деньги получают посредники.

– Дело криминальное, да и для здоровья опасное, – сказал я, стараясь выдерживать прежнюю интонацию. – Донор всегда оказывается в минусе.

– То есть... – сказал Сашка хмуро, – всё это только для лохов. Понятно.

И открыл вторую бутылку.

У меня пропало желание есть, но я заставил себя дожевать то, что было во рту. Попытался отрезать ещё один кусок. Мягкое мясо проминалось под вилкой, коричневый сок стекал на тарелку.

– Так, – я отложил нож. – Давай так. Мы шлёпнем эту бутылку и, если хочешь, сгоняем ещё.

По дороге ты мне расскажешь, что у тебя за дела.

Сашка поморщился, и глаза у него забегали.

– Да какие дела... Нет никаких дел, не парься.

– Ладно, не парюсь, – я хлебнул ещё пива и встал.

Прошёлся по кухне, включил чайник. Наблюдал искоса, как моё детище, торопясь побыстрее доесть, суетливо стучит ножом по тарелке. Сейчас прожует – и дверца закроется. Как лучше? Отстать от него? Надавить? Подождать, когда расколется сам? В ушах колотился пульс, а дыхание сделалось предательски шумным.

– Колись давай, – сказал я, усаживаясь рядом и отодвигая подальше тарелку с недоеденным стейком. – Даю слово, мать ничего не узнает.

Ребёнок молча ковырялся в зубах. Вика терпеть не могла, когда он это делал. Я вытащил из шкафа зубочистки.

– Ты кому-то должен бабло, – сказал я.

– Ну... – Сашка вытащил зубочистку и опрокинул пластиковую баночку. Зубочистки рассыпались по столу веером. – Ну, в целом...

– В целом – должен, – я старался говорить как можно спокойнее.

– Не то чтобы должен... – сказал Сашка, рассматривая зубочистку на свет. – Но, как говорится, «нужно больше золота»¹. Вопрос чести.

– Сколько этого самого... золота тебе нужно?

Сашка нахмурился и потёр лицо руками.

– Много. Реально – много.

Я смотрел на него, стараясь не упустить ни единого движения. Идиот, пронеслось у меня в голове. Поздно же ты хватился, он уже не твой ребёнок, он не ребёнок вовсе. Чужой, малознакомый, неопрятный молодой мужик, его жизнь проходит среди картинок. Среди чёртовых картинок на экране компьютера.

Сколько лет Сашка играл в свои игры? Лет с трёх, как только смог словами выразить своё первое «хочу», столько он и играл. Зелёные монстры с крюками вместо лап, монахи-убийцы, летающие с крыши на крышу, заселённое кадаврами московское метро, и даже Зона с гуляющими по ней сталкерами – все эти фантомы значили для Сашки больше, чем родители, друзья и девушки. Он совсем исчез из реального мира, стал щелью, пустотой. Его взгляд с каждым годом делался всё безразличнее, и наконец стал совсем потусторонним, почти как у мамы Нади.

Я давно ждал, когда же Сашка наконец вернётся в реальный мир. И вот он, б***, в него вернулся.

Сиди и смотри, папаша хренов, как он распродаёт себя на органы, и молчи в тряпочку.

– Но я, – он растягивал слова и говорил медленно, – я не хочу никого напрягать.

– Понятно.

– А тебя тем более.

Я молчал.

– Ты вообще не смыслишь в этих вещах.

Зубы сжались, но за выбросом адреналина нахлынула слабость.

– Я смыслю в другом, – сказал я. – Я хороший врач и знаю, что такое почка.

Теперь настала Сашкина очередь молчать.

– И что такое наркоз, я знаю получше многих.

– Ой, наркоз... – протянул он. – Не меши. Как будто мне не вырезали аппендицит и я не помню, как это происходит.

– Я не то хотел сказать, – мне нужно было объясниться, но Сашка перебил меня.

– Да знаю, – сказал он. – Здоровье не купишь, бла-бла-бла. Зато когда я в больнице торчал, ты болтался чёрт-те где.

Это была правда. Когда двенадцатилетний Сашка попал в хирургию, Вика даже не поставила меня в известность.

– За это скажи спасибо своей мамочке, – вырвалось у меня.

Сашка сгрёб зубочистки в коробку.

– Начинается.

Он поморщился, встал и пошёл в комнату.

Я вскочил и последовал за ним.

Сашка выключал компьютер и сворачивал наушники.

Я побродил по кухне и услышал возню в коридоре.

– Это не разговор, – сказал я – Куда ты на ночь глядя?

Однако Сашка сопел и застёгивал ветровку.

– Не... – сказал сын. Молнию заело, и он нервно дёргал бегунок вверх и вниз. – Не. Пойду.

В окно хлынул ветер. Створки распахнулись. В подоконник застучали дождевые капли.

– Дождь на улице! – крикнул я сыну.

Было заметно, что он колеблется.

– Чёрт с тобой. Иди в комнату. Есть у меня связи с чёрным рынком. Есть!

¹ Фраза из популярной сетевой игры «WarCraft».

Сын повернулся ко мне.

– Есть связи! Только... так дела не делаются. Детский сад какой-то.

Он клонул наживку, и в его глазах что-то изменилось. Наверное, в них появилась надежда. А может, это была обыкновенная усталость.

.....

Кроме меня, больше некому было заработать эти деньги. Я решил для себя: ничего, устройюсь ещё на одну работу, ликвидирую все выходные и начну впахивать, как тогда, когда закрывал ипотеку. Уже был такой опыт, почему бы не повторить?

Пускай частями, а он свой долг отдаст, говорил я себе.

Порылся по сайтам, где обсуждалось донорство. У меня шевелились волосы, на что идут люди от долгов и нищеты. Какой-то парень продавал почку, чтобы устроить свадьбу «не хуже, чем у людей». Замученная коллекторами тётка, страшная как смерть, пыталась выплатить ипотечный долг, но после операции получила на руки только сто пятьдесят тысяч. Остальное забрали посредники и врачи.

Я знал, что тыщ сто смогу заработать довольно быстро. Сашка просто так деньги не возьмёт, он гордый, но у меня уже был план, как его перехитрить, – главное, я должен был выиграть время. Месяца за три, если прижать собственные интересы и сэкономить на еде, можно было добыть сумму в четыреста тысяч. На карте лежало ещё примерно столько же. Остальное – кредит. Получится лимона два. Если Сашке этого хватит на первое время, то и ладно. Если же его долг исчисляется суммой гораздо большей, чем та, которую я мог достать... Главное – выиграть время. Оставалась ещё мамы-Надина квартира.

Я перебрал и другие варианты. Вспомнил даже, как давным-давно, работая в реанимации, лечил сына местного цыганского барона. Вспомнил маму мальчика, грузную, усатую цыганку с серьгами, похожими на мормышки из спортивного отдела магазина «Хозяйственные товары». Зелёные рукава цыганки и свёрток в её руках – что-то завернутое в целлофан, обмотанное скотчем и упакованное в разворот газеты «СПИД-Инфо». Она притащила мне этот свёрток в подарок «за то, что вылечил сыночка». Говорила, что внутри – золото. Наверняка там была наркота, и я, испугавшись, отказался от подарка. Как бы мне сегодня пригодился тот свёрток. Золото там было или героин, не важно. Хоть сейчас вставай, езжай в Осельки и разыскивай дарительницу.

Я набрал огромное количество рабочих часов в двух клиниках Грачёва. Тайно от всех, три дня в неделю работал у конкурентов. Сократил время приёма каждого пациента почти вдвое – специалист моей квалификации мог пойти на такое без потери для качества исследования. Зарплата за первый месяц такой работы превзошла все ожидания.

Сашка поначалу ходил смурной и, кажется, догадывался, что я хочу обвести его вокруг пальца, но после того, как я отвёл его на УЗИ, МРТ и устроил целую кучу исследований («стандартный набор для всех доноров»), он вроде бы немного успокоился.

– Ты толкаешь меня на уголовное дело, – внушал я ему. – О какой срочности ты говоришь? Мы же все под колпаком.

Сашка уныло кивал.

Можно было договориться с ребятами из хирургии и устроить Сашке представление: операционная, наркоз, все дела. Зафигачить ему шрам на боку. Почку, понятно, никто трогать не собирался. Наврать Сашке, что у него, к примеру, изъят кусок печени. Проверить он всё равно не сможет, а деньги я бы ему сунул в конверте, сразу после выведения из наркоза.

Хорошо придумано.

От усталости меня охватывало оцепенение. Я мог часами сидеть неподвижно и наблюдать, как пространство заполняется темнотой. Мог на протяжении суток ни разу не вспомнить о еде. Наползала апатия, стабильная предвестница панических атак. Нарушился сон.

Ночами, когда я приезжал домой и ложился спать, мне удавалось какое-то время лежать без движения, но в моём мозгу то и дело включался чёрный экран, и это был монитор ультразвукового сканера. Я глядел в него, не отрываясь, и следил, как по нему медленно движется белая фигура.

Вот тогда-то мне и начали сниться пациенты. Тот самый, с гемангиомой в виде листка клевера, был первым. Потом мальчик с крипторхизмом. Тётка с опухолью в плевральной полости, и опухоль эта походила на цветную капусту.

.....
Позвонил Сашка и сказал, что дальше тянуть нельзя. Деньги были нужны срочно.

Я ответил «окей» и спросил его, хватит ли двух миллионов. Он подумал и согласился. Мне очень не хотелось брать кредит, но я взял. Собирался вернуть эту сумму быстрее чем через год.

– Ты совсем чокнулся? – спросил меня Грачёв. – Хочешь меня под монастырь подвести?

– Андрюха, ты же понимаешь. С криминальными структурами я не связан. Мне просто нужна операционная. В твоём присутствии сделаю разрез в правом подреберье – и сразу же зашью. Подержим его на пропופоле. И разбудим.

– Храмцов, ты всегда был придурком, – грачёвское круглое лицо покраснело от злости, а голос срывался на крик. – Но по молодости это простительно. А сейчас... Ты на что меня толкаешь?

– Блин, Андрюха, – я пытался его урезонить, – ни один орган во время операции не пострадает.

– Да? Не пострадает? – Грачёв уже орал на меня во весь голос. – Это ты считаешь, что никто не пострадает. А Сашка твой небось поверит, что у него изъяли... Что? Почку?

– Кусок печени, – сказал я. – Он считает, что через меня можно продать кусок печени.

– Тем более! – визгливо выкрикнул Грачёв. – Ребёнку ты устроишь театрализованное представление. Окей. А потом, когда он выплатит долги и скажет своим друзьям-задротам, где взял бабло, он прямой наводкой притащит их в мою клинику. В мою, б***, клинику, Храмцов!

– Андрюха, – сказал я, – что мне делать? Мы всегда друг друга выручали.

– Что делать? – бушевал Грачёв. – Снять штаны и бегать! Выдать ему бабки просто так или отправить в армию! К чёрту на рога и коленом под зад!

– Я не могу так, – вздохнул я. – Он же сорвётся с крючка. Ударится в бега. Ты тоже отец, Андрей. Представляешь себе, что в башке у этих желторотов?! Выйдет на реальные криминальные структуры, и вот тогда...

– И тогда твоего сына искалечат на всю жизнь, – констатировал Грачёв.

– Ты понимаешь! – воскликнул я.

– Б***! – выкрикнул Грачёв. – Я понимаю! Но так, как ты это делаешь, такие вещи не решаются!

– А как они решаются? – крикнул я. – Как?

– Я не знаю, как решаются такие дела, – прошипел Грачёв. – Но в моей клинике операцию делать запрещаю. Да, да, и даже поверхностный разрез – запрещаю. Ты слышал?

Мы стояли и молча глядели друг на друга. Грачёв сказал:

– Придурки. Семья придурков. Чёрт меня дёрнул с тобой связаться.

На том наш разговор и закончился.

Я ушёл к больным, меня колотило. Я ведь уже обещал Сашке. Нужно было найти какой-то выход.

Пациенты шли, первый, второй, пятнадцатый. Они входили в мою дверь как зомби, все на одно лицо.

Под конец дня еле-еле дошёл до метро.

На выходе из подземки завопил телефон. Взял трубку: Сашка.

– Фаз, завтра всё в силе?

– Да, конечно.

– Хорошо.

– Боишься?

– Немного.

– Не переживай. Всё будет как надо. Три месяца готовились.

Ребёнок замолчал и положил трубку.

Я должен был убедить его взять деньги просто так, без операции. Не знал, получится ли. Не понимал, какие слова сработают. И всё равно я считал удачей, что в тот вечер Сашка приехал за помощью именно ко мне. А я не спугнул его, не принялся читать нотации.

На двенадцать была заказана операционная. Я снял с приёма пять человек, предупредил всех администраторов, что в моём сегодняшнем расписании есть «окно» с двенадцати до двух. За это время я рассчитывал уснуть.

Предстоял тяжёлый разговор. Но того, что случится на самом деле, я не мог и предполагать.

.....

За полчаса до предполагаемой «операции» я заметил, что свободный промежуток в расписании исчез. Пациенты были записаны плотно, один за другим. Две эхокардиографии, три дуплексных исследования сосудов нижних конечностей. Бросился к стойке администраторов. Изменения были внесены главным врачом, Грачёвым Андреем Николаевичем.

Кинулся к Андрюхе за разъяснениями. Ворвавшись в приёмную, оторопел. Там сидели Вика и Сашка.

Сашка, сгорбившись, утонул в кресле и устался в свой гаджет. Судя по всему, он был спокоен и его больше ничто не волновало. Вика, напряжённая, с прямой спиной, одной рукой оперлась на подлокотник, а другой держала сумку. Она снова изменила цвет волос, превратившись в брюнетку. С густо накрашенными глазами и бледными губами она напоминала девочек-эмо. Я не видел Викторию всего несколько месяцев, а было такое ощущение, что мы не встречались годами.

Бывшая прищурилась.

– Ну-ну, – сказала она вместо приветствия. – Явился, значит. Вот теперь оба два, в присутствии главного врача, будете мне объяснять, что за дурдом вы тут устроили.

Сашка поднял на меня глаза, но быстро опустил их и снова занялся гаджетом.

Я сжал зубы и встал возле стены.

Появился Грачёв. По-дружески кивнул Вике. Протянул руку Сашке, тот волчком глянул на него из-под включенных волос и протянул свою. На меня Грачёв словно бы внимания не обратил.

– Проходите, садитесь, – сказал он, открывая дверь кабинета. – Разговор будет недолгим. У Юрия Ивановича идёт приём.

Грачёв пододвинул Вике стул, и она села. Сашка потоптался и тоже сел. Грачёв прошёл к своему креслу и устроился, положив широкие локти на деревянную столешницу. Справа от него висел монитор, слева – флаг России на тоненькой ножке.

Я остался стоять.

– Андрей... Николаевич, – начала Вика. Понятно было, что отчество добавлено специально для Сашки. – Спасибо, что поставили меня в известность относительно того, что эти двое собирались сегодня предпринять.

– Хватит уже выкать, – отозвался я. – Слушать тошно.

– Это мне тошно слушать. Что вы хотели устроить? – выкрикнула Вика, но Грачёв сделал ей знак, и она умолкла.

– В чём проблема? – спросил я. – В том, что я достал для твоего сына деньги? В том, что не знал, как их ему всучить?

Сашка снова поднял на меня глаза, и я увидел, что в них нет ни страха, ни вины, ничего. Как будто ему всё было безразлично.

– Значит, так?! – выкрикнула Вика. – А меня – меня! – нельзя было поставить в известность? Я тут что, посторонняя?

– Не знаю, посторонняя ты или нет, – сказал я. – Но ты понятия не имеешь, что происходит в жизни твоего сына.

– Да? – Вика снова сощурилась. – И что же в ней происходит?

– А то! – я тоже срывался на крик. – То и происходит! Твой сын попал на бабло, ты в курсе? У него долги, тебе и не снились! Ребёнок отчаялся настолько, что чуть не пошёл продавать себя на органы!

И тут в кабинете повисла тишина, и стало понятно, что ору на всех только я один. Но успокаиваться было поздно.

– Знаешь, что такое долг? – я глядел на Вику, а она молчала, поджав губы. – Ты хотя бы в книжках читала? Или в твоей жизни всё просто? Папочка ипотеку заплатил, ты и живёшь счастливо? Да сейчас даже за десять тыщ зарезать могут!

Я орал, а трое людей напротив не говорили ни слова. Только Грачёв щёлкал авторучкой по столу.

Щёлк-щёлк. Щёлк-щёлк.

Щёлк.

Хрясь! – Ручка сломалась.

Я замолчал. Сашка вдруг как ни в чём не бывало достал из кармана свой гаджет и снова уткнулся в него.

– О господи! – опять выкрикнула Вика. Но в голосе её не было ни ужаса, ни безысходности, только раздражение. – Спрячь свои игры! Хотя сейчас-то!

Сашка выключил экран, положил телефон перед собой, но в сумку не убрал. Сидел и смотрел в стол.

– Всё это, конечно, романтично. Прямо как в кино, – сказала Вика. – Вот только долга-то никакого нет.

Снова повисла тишина.

– Как... Как – нет долга? – я бросился к Сашке. – Скажи сам! Сашка, скажи: долг... есть?

И Сашка поднял голову от стола. Бородка в три волосины торчала у него из подбородка.

– Нету долга, Фаз.

– И не было? – я вцепился в его плечо и, видимо, сжал его с такой силой, что Сашка поморщился.

– Не было, не было никакого долга, – прогнусавил он.

– Но... – я не понимал, что происходит. – Зачем же тогда... Зачем ты узнавал у меня о донорстве? И деньги. Зачем тебе деньги?

– Вот с этого и надо было начинать, – сказала Вика. Она тоже психовала: её острые, крашеные в зелёный цвет ногти впились в тонкую кожу рук. На шее от напряжения отчётливо выделялась вся передняя группа мышц.

– Ну же, говори, зачем тебе нужны были деньги? – крикнула Вика и, не дождавшись от Сашки ни слова, ответила сама. – Пушку он себе хотел купить виртуальную. Какую-то очень крутую. Пушку!!! Да ведь? А?

И обернулась к Сашке.

Тот замотал головой.

– Не пушку. Несколько дорогих скинов¹. А ещё хотел разработать новую игру. Чтобы была как «Дота»², только отечественная. Нужна команда, нужны сервера. Нужен начальный капитал.

– Вот! – победно выкрикнула Вика, глядя на меня, и в её взгляде были и обвинение, и жалость. – Начальный капитал и крутая пушка!

Я молчал.

– И вот ради... – Вика наконец расцепила руки, сжала кулаки и стукнула ими по столу, – ради этого ты хотел, чтобы отец вырезал у тебя почку?

– Не почку, – сказал Сашка. – Кусок печени. Печень быстро восстанавливается.

Вика схватилась за голову.

– А я... – сказал я растерянно, – кредит взял.

¹ Скин – облик героя онлайн-игры, обладающий определёнными возможностями.

² «Дота» (DotA, сокращение от «Defense of the Ancients» – «Оборона Древних») – компьютерная стратегия игры «WarCraft III». Игра, набравшая огромную популярность во всём мире и представляющая одно из наиболее ярких направлений киберспорта.

– Идиот, – бросила мне Вика.

Я не нашёлся, что ей ответить, и вышел из кабинета, хлопнув дверью.

.....

Собственно, вот и всё, что случилось в тот день. Я задержал приём. Очень сильно задержал приём, почти на час.

Пациентка, записанная на эхокардиографию ровно в двенадцать, зашла в мой кабинет на пятьдесят минут позже.

Она лежала на кушетке и выговаривала, как я дурно и бесчеловечно с ней поступил.

Она, записываясь в платную клинику, отдаёт свои деньги, чтобы получить комфорт и профессиональный подход, а сегодня её целый час мариновали в коридоре.

Она уже обо всём написала в жалобную книгу и обязательно, как только выйдет отсюда, напишет отрицательный отзыв на сайте.

Она говорила и говорила.

Сказала, что я выгляжу агрессивно и лучше бы её смотрел другой врач.

Нет, она не уйдёт, она получит услугу.

Когда я попросил у неё данные предыдущих исследований, она сказала, что никаких бумаг мне не покажет. Потому что «врач должен думать своей головой».

Что было потом, вы знаете.

Я схватил датчик.

Датчик стоимостью около десяти тысяч долларов.

Заглянул в чёрный монитор стоимостью в пятьдесят тысяч долларов.

Я готов был залепить пациентке в лоб и проломить эту наглуемую, брызжущую ядом башку. Клянусь, я чуть этого не сделал. Ещё немного – и у меня на кушетке лежал бы труп.

Но я замахнулся и со всей силы саданул датчиком по монитору.

Моё письмо Э. Д. №1

(из ящика Yuhramtsov69@mail.ru - edverch1939@mail.ru)

2021 г.

Дорогая Эсфирь Давыдовна, я пишу вам, хотя знаю прекрасно, что свой почтовый ящик вы не открываете. По крайней мере, в ближайшние дни.

Я долго ждал вашего освобождения из больницы. Часто вспоминал старый канцелярский прибор с обезьянкой и абажур с китайскими драконами.

Все эти недели звонил в отделение. Иногда заходил. Узнал, что операция прошла не так удачно, как мы ожидали. Говорят, нейрохирурги сделали невозможное, но, видимо, что-то было упущено в послеоперационный период. За счёт чего развился отёк, почему подскочило внутричерепное давление? Никто ничего не говорит – оно и понятно, ведь я вам даже не родственник, а всего лишь пациент. Приезжала ваша дочь, потом она уехала. Пока она была в городе, я мог, конечно, с ней встретиться и узнать у неё хоть что-нибудь. Но мне показалось, что для вас моё вмешательство было бы бесполезным, а для вашей дочери – только лишним поводом для беспокойства.

Послеоперационная дислокация моза – это казуистика! С кем угодно такое могло случиться, но только не с вами. Я плохо разбираюсь в нейрохирургии. Оно и к лучшему. Чем меньше у меня знаний, тем больше надежды. ИВЛ работает, и никто не знает остального. Буду считать, что пока вы дышите – вы существуете.

Вам было нужно, чтобы я помнил вас яркой, ухоженной, стройной, с хорошей причёской, в жакете с жемужной брошью на воротничке, которая здорово подходила к белому халату. Или в чёрной шали с кистями, той самой, что вы носили дома. И никак не с трубкой в глотке. Вы не хотели, чтобы я навещал вас в больнице. Я и не зашёл в вашу палату. Сделал как обещал.

Я – одна из последних ваших удач, дорогая доктор Эсфирь. Никакие антидепрессанты, противосудорожные и прочие препараты не дали мне того эффекта, который я наблюдаю сейчас. Мне

кажется, хороший врач должен быть именно таким, как вы. Потому что врач лечит прежде всего тем, что исходит из него самого, частицами выдыхаемого воздуха.

С помощью записей я медленно и верно складывал своё собственное отражение, так же, как складываю с помощью 4D-датчика объёмное изображение плода в утробе. Беременным очень нравятся смотреть, как цифровой мозг аппарата обрабатывает разрозненные сигналы и, наконец, на экране, из околородной пустоты выплывает серо-золотое лицо маленького человечка, того, кто ещё не родился, но обязательно скоро появится на свет. Я прочитал недавно, что в греческом театре был один фокус, и назывался он «бог из машины». Так вот, у меня в кабинете фокус этот превращался в реальность, о которой раньше никто не мог и помыслить. На экране монитора появлялся если не бог, то нечто очень на него похожее. Я работал с 4D-методикой много лет, но когда мне удавалось вывести портрет плода и остановить изображение в нужной точке, я на несколько секунд даже переставал дышать, чтобы не спугнуть момент странного и важного понимания. Трудно зафиксировать это понимание словами, но оно искрит и светится где-то внутри меня.

Я мог быть вашим сыном. Часто об этом думаю. Моя юность пришла на буйное время перемен. Наблюдатели не были нужны моей эпохе. Истории нужны пассионарии, люди, умеющие действовать. А у меня не получалось. Жизнь выныривала у меня из рук, словно рыба или цыганский свёрток. Единжды потеряв его, невозможно было вернуть всё назад и наконец-то развернуть проклятую газету, разлепить скотч и понять, что же там лежит на самом деле – а вдруг и правда золото?

Люди дрались и спорили, выигрывали и торговали, наживали состояния и создавали себе имена, а я только и делал, что смотрел картинки. Парни клеили девчонок, торчали в клубах, кричали: «Перемен!»; а я всё глядел, как движется чёрно-белое изображение. Только градиции серой шкалы – и, по сути, всё происходящее вокруг меня располагалось на разных её уровнях, чуть поближе к чёрному или чуть поближе к белому. И почему-то мне кажется, что я такой не один.

В истории с собственным сыном я повёл себя глупее некуда. Всё, что меня тревожило и пугало, происходило только в моей голове – и этим я, пожалуй, ничем не отличаюсь от Сашки, живущего среди чудовищ в доспехах или ассасинов в капюшонах. Чем же я тогда лучше его?

Да ничем не лучше. Ни мне, ни ему не избежать того, что предписано нам природой, и впереди у обоих медленная, неизбежная деградация. Антидепрессанты притупляют страх, но не замедляют процессов распада. Поэтому я не знаю, сколько ещё протяну: три года, пять? Что случится потом?

Я понимаю, дорогая Эсфирь Давыдовна, что вовсе не такого эффекта вы ожидали от назначенного мне лечения. Будьте уверены: то, о чём я сейчас вам пишу, есть итог долгих раздумий, а не следствие действия прописанных вами лекарств. Я додумался до всего сам, и, как говорится, пасьянс лёг.

У меня осталась квартира. Недвижимость – это деньги. Деньги должны отойти Сашке. Если он хочет купить себе крутую виртуальную пушку или начать интернет-бизнес, велком. Пусть начинает, покупает. Если ему настолько сильно хочется иметь пушку... Это знак. У меня таких желаний никогда не было. В этом, скорее всего, Сашкино основное человеческое преимущество. Его главный козырь.

Электронная пушка говорит «бу-бух!», и мой сын счастлив, а я освобождён из мучительного чёрно-белого заточения. Одним махом.

Моё письмо Э. Д. №2

(из ящика Yuhramtsov69@mail.ru - edverch1939@mail.ru)

2021 г.

Эсфирь Давыдовна!

Пишу и понимаю, что всё-таки, пусть не сию секунду и не на бумаге, но вы обязательно прочтёте то, что я пишу. Как вы это делаете – не важно. Но то, что читаете – факт.

...Рассуждал я примерно так. Высоты я боюсь, электричество может подвести в последний момент. Вскрыть вены в тёплой воде – и люди через месяц отыщут распухший от воды труп. Буду

плавать в гнили и собственных испражнениях. Верёвка – можно. Но очень страшно. Значит, препараты.

Рассчитал дозировки. Именно этот способ, самый трусливый из всех. Просто заснуть и не проснуться.

И не смог. Вы бы только видели меня. Алкоголь не добавил смелости. Наоборот. Появились пошлые сентиментальные мысли.

Высыпал на стол всю пачку снотворных, всю пачку нейролептиков, достал из заначки трамал, не забыл про миорелаксанты. Построил из таблеток ровненький белый зиккурат.

Пялился на белую таблеточную пирамидку.

Кричал во весь голос и бился лбом о край ванной.

Заснул. Прямо на полу.

Проснулся!

Проснулся от аспирации рвотных масс – именно эта фраза колотилась в болотистой гуще сознания: аспирация, рвотные массы. Мозг автоматически выдал термин. Меня рвало, я захлёбывался. Нет, ни слова в простоте, «аспирация» – и всё тут.

Но анализировать я стал уже потом.

А тогда я задыхался. Кашлял. Мутило. В глазах растекались бордовые круги. И ужас. Тот самый смертный страх.

Бежать, вырваться, вдохнуть.

Вдохнуть, вырвать из темноты зубами хотя бы маленький кусочек воздуха.

Выкашлял темноту. Вдохнул.

«Зачем вдохнул, дурак? Ты же сдохнуть хотел?»

Встал. Пол грязный, на столе мусор. Сгрёб таблетки в ведро. Подумал. Ночью без снотворного не засну. Опрокинул ведро. Достал оттуда несколько штук. Положил на край стола. Пошёл в ванную.

Остаток дня прошёл ужасно. Если вы об этом знаете – то и так знаете. Что уж говорить.

Простите меня.

Примечание к письму

(написано при подготовке материала в 2023 г.)

На следующий день я пришёл к Э. Д. домой. Не знаю, на что надеялся. Просто пришёл.

Потоптался возле ворот. Последовательность цифр дверного кода я не помнил. Начался дождь. Мартовский дождь – в радость. Целую зиму люди не выгуливали зонтики. Я свой и вовсе дома оставил, не предполагал, что польёт с неба. А прохожие тётеньки и девицы р-раз – и раскрыли. Розовые, жёлтые. Яркие. Идут женщины, шлёпают по оттаявшим улицам. Зонтами толкаются.

К воротам подошла бабулька в капюшоне. Достала брелок. Раздался писк, ворота отворились. Я вошёл за ней.

– А вы к кому?

Тяжёлая, с одышкой и пастозным лицом.

– К доктору В., в третью парадную.

– А-а.

Снова нахмурилась, голову наклонила. Поковыляла через двор по диагонали. Бдительница.

Думал, придётся топтаться под дождём возле парадной. Но и эта дверь открылась под протяжный писк замка. Из дома вышла ещё одна женщина. Помоложе, но с похожим выражением лица. Тяжёлый лоб, напряжённые губы, усталость в каждой черте. Подумалось: все живут на пределе. Как они справляются, откуда берут силы?

Прошёл до лифта, обходя нагромождённые у входа малярные вёдра. Поднялся. Ткнул в кнопку звонка. Ни на что не надеялся, просто нажал. Знал же, что никого там нет. Готов был развернуться. Пришёл попрощаться, больше ничего.

А дверь взяла и открылась.

.....

Дочь Э. Д. я представлял себе совсем не такой. Решительная, энергичная. Выше ростом, крупнее. Говорит совсем без акцента. Мне сложно сказать, сколько ей лет, но если она и старше меня, то ненамного. И всё при ней: улыбка, прямая спина. Короткая стрижка, платиновый цвет волос, яркие брови.

– Вы по объявлению?

– Я? Нет... Я узнать про Эсфирь Давыдовну.

Вот и всё. И меня впустили. И сразу же, ничего не говоря, новая хозяйка метнулась из коридора в комнату, чтобы ответить на телефонный звонок. Оставила меня одного, рядом с вешалкой, где висели куртки. Возле двери, где в замочной скважине торчал ключ.

Перетаптываюсь с ноги на ногу. Она принимает меня на кухне. Мне неловко. Хоть бы спросила сначала, кто я такой. Но нет. Никакой осторожности. Как будто у себя дома, в Америке.

– Чаю хотите? Кофе?

Она поменяла местами тарелки в шкафу. На стол водрузила хрустальную вазу с виноградом. На подоконнике – коробка с хлопьями. А раньше там была упаковка из-под «Арарата». Была ли внутри бутылка – я не знал, но упаковку помню. И ещё мелочи. Кое-что переставлено. Свет горит по-другому. Но пусть. Мелочи – не важны.

– Зовите меня Анна. Там, на холодильнике, карточки.

– Юра.

Протягиваю руку к стопке белых прямоугольников. На белом фоне синие с серебром буквы: «Anne J. Paley-Verchoyansky. MD. Family Medicine».

– Так вы её пациент? Или коллега?

– И то и другое.

– Понимаю, – Анна в который раз жестом приглашает меня сесть. – Так чай вам или кофе?

– Кофе, если можно.

Обернулась к кофеварке. Налила. Пододвинула тарелку с бутербродами.

– Вы восьмой.

Заметила на моём лице вопрос и пояснила:

– Уже семь человек справились о мамином здоровье.

– Когда вы уезжаете? – спросил я.

Анна вздохнула.

– Завтра самолёт.

– Она всё так же?

– Ей трубку вынули. Вы уже знаете?

Я не знал. И даже замер от радостной новости.

– Трубку... Дышит сама?

Она кивнула.

– Когда?

– Вчера утром. Скоро перевезу её домой.

– Слава богу, – вырвалось. – Значит, есть шанс?

– Шанс? – произнесла она, поглядела на меня и снова вздохнула. – Да нет никакого шанса.

Мозг давно умер.

Помолчали. Потом Анна спросила:

– Вы какой врач?

– Функциональная диагностика. Был.

– Ушли из больницы?

– Да. Не практикую.

– Чем занимаетесь? – Анна поглядела на меня с интересом.

– Проедаю старые запасы. Ищу работу.

Я сказал ещё что-то незначительное. О себе, о службе в клинике. О том, что мой психиатрический диагноз не опасен для окружающих. Отхлебнул из чашки.

Она снова пододвинула тарелку.

– Бутерброды.

– Спасибо.

Повисла пауза. Анна стояла спиной к подоконнику. Смотрела на меня. Задумчиво обвела взглядом кухню. Потом её лицо посветлело.

– Так это вы тот самый «мальчик Юра», который писал ей письма? – вдруг произнесла она с улыбкой. – Она рассказывала, был такой пациент.

– Я? – от волнения у меня перехватило дыхание. – Мальчик?

Анна улыбнулась. Когда она улыбалась, она всё сильнее становилась похожей на мать.

– Не обращайтесь внимания, – сказала Анна. – Мама всех своих пациентов за глаза называла мальчиками и девочками.

Наклонилась ко мне и погладила меня по руке.

– Не переживайте вы так. Мама говорила про вас что-то хорошее. Но я сейчас уже не помню, что. Так значит, это вы.

Тревожно заёрзал на столе телефон. Анна взяла трубку и ушла в комнату.

– Оу, Майкл, хау а ю?

Английская речь совсем мне не мешала.

Мальчик Юра.

Э. Д. рассказала про меня дочери. Но это ничего. Даже хорошо, что рассказала. Но главное – другое.

Главное – трубка! Дыхание! А то, что умер мозг... Чёрта с два, как это может быть? Такой мозг не умирает.

Убрали трубку вчера утром. А что я в это время делал?

Задыхался в блевотине.

Ай да доктор мне достался.

Анна закончила свой английский разговор и вернулась на кухню.

– Пациенты, – сказала она, словно оправдываясь. – Практика, муж, внучка. И всё – там.

Анна похожа на Э. Д. в профиль. Только сейчас заметил. Лицо её шире и сработано грубее, чем у матери, но кровное родство не скроешь: ямочка на подбородке и нос. Поворот головы – тоже знакомое движение. Светлые волосы Анну сильно портят, но подкрашенные брови, наоборот, добавляют молодости.

Я отмечал их сходство и несходство, и чему-то тихонько радовался.

– Вчера я дала в Интернете объявление. В Америке сиделку легко найти. Ответственную, качественную хоматенду¹. А здесь на удивление – затишье!.. Обычно договариваются двенадцать через двенадцать. Но можно трое суток через трое. У меня пока есть только один человек. Посоветовали мамы коллеги. Марина, бывшая беженка. С Украины.

До меня не сразу дошло.

– Анна, – сказал я, ощутив, что она ждёт от меня какого-то ответа. – Я не расслышал. Повторите, пожалуйста.

Она снова улыбнулась. Она меня о чём-то просила. Меня, человека, которого и видит-то впервые!

– Это очень важно. Вы должны мне помочь, Юра. Сегодня вечером мы перевозим маму домой. Я и Марина. А до завтрашнего вечера мне нужно найти второго человека. На постоянный уход. Я предлагаю вам это, скорее, от отчаяния, но, может быть, так мы хотя бы на время сможем быть спокойными за неё.

¹ Хоматенда (сленг), от слов home tender, invalid tender – сиделка, человек, который ухаживает за лежащими больными.

Посмотрела на меня с надеждой.

– Нужен мужчина. Сами понимаете. Принести – унести. Поднять, перекатить. Женщине одной справиться будет тяжело. Притом у вас есть опыт работы с лежащими больными... Соглашайтесь, Юра.

Моё письмо Э. Д. №3

(из ящика Yuhramtsov69@mail.ru - edverch1939@mail.ru)

2021 г.

Дорогая Эсфирь Давыдовна, я так давно вам ничего не писал. Но я часто вижу вас. И у меня есть работа. Три дня через три.

Теперь я хранитель музея. Скоро будет полгода, как я при деле. Вот такой у меня замечательный музей – на зависть всем вокруг. Ваш писчий прибор, ваши японские чашки. И вы сама. Спите. Смотрите за нами. Чтобы мы чего-нибудь не учудили.

Я вспоминаю маму Надю, как я оставлял её одну. Как она оставляла меня одного. Но вы не будете лежать тут в одиночестве. Я выхожу только на кухню или за продуктами в магазин. Это занимает не долгие десяти минут. Остальное время я здесь. Не волнуйтесь.

Когда нужно, я вас переворачиваю. Меняю всё, что необходимо. Бельё тоже, раз в три дня. Приходит Марина, приносит свежее, глаженое. Марина хорошо гладит бельё. Она добрая, эта Марина.

Сашка всё так же. Играет. Совсем не рассказывает мне про свою жизнь. Наверное, ему ещё неловко за тот случай. А я думаю, что тогда всё получилось так, как надо. Хорошо, что он на самом деле не наделал долгов. Это главное.

У меня сын, а у Марины, которая сидит с вами всё остальное время, – дочка с маленьким ребёнком. И дочка тоже совсем молодая, ей даже двадцати не исполнилось. Дочка однажды заходила сюда, если вы помните. Стояли друг напротив друга – обе темноглазые, темноволосые, у обеих круглые плечи. Певучая речь. Разговаривают быстро, на итальянок похожи. Но не итальянки они никакие, а беженки. В разгар войны умудрились спастись и приехали сюда. Здесь Марина училась в юности. Фамилия у неё – Луковище. Я случайно узнал. Смешная фамилия, правда?

Грачёв ответил на поздравительную эсэмэску. В мае у него был день рождения. Я купил ему в подарок антикварное пресс-папье. Но подарить не решился. Так и стоит у меня дома.

Обратно, в медицину, меня не тянет. Как подумаю об этом – так сразу не нахожу себе места. Говорят же: как не со мной было. Вот и мне кажется, что все мои медицинские истории случились как будто с кем-то другим. Недавно я хотел вспомнить, чему в норме равен максимальный конечный диастолический объём левого желудочка. Не вспомнил. Линейный размер знаю: пять и пять, толщину стенок помню, давление в лёгочной артерии тоже. Разброс массы миокарда помню приблизительно. Не точно. В Гугл не полез. Зачем? Устал от цифр.

Анна разрешила мне разобрать архивы вашего отца, профессора Давыда Осиповича В. И я на досуге читаю его записи. Их тут целые чемоданы! За год точно не управиться. Вот откуда вы, Эсфирь Давыдовна, взяли свой метод – заставлять пациентов писать. Расписывать если не каждый свой день, то ключевые события. Подробно, обстоятельно. Я снова набираю в ворде бесконечный текст. Эта работа не даёт мне расслабиться и падать духом. Иногда я читаю вам вслух выдержки – вы, конечно же, всё слышите. У вас был замечательный отец.

Приходит Марина, мы вдвоём переворачиваем вас с боку на бок, чтобы не было пролежней. Иногда я и ей что-нибудь зачитываю. Из записей профессора. Несколько раз, когда я приходил сменить её, она побыла со мной чуть подольше. Мы сидели и разговаривали. И она не торопилась к своей дочери. И я тоже не хотел, чтобы она уходила.

Я хочу спросить вас, Эсфирь Давыдовна, про Марину. Как она вам? По-моему, она очень хорошая.

Сегодня Марина принесла на работу бутылку вина, помянуть отца. Он умер ещё до войны. Мы выпили. Она рассказывала про свой маленький город, которого уже нет на карте. У них в одну зиму вдруг вымерзли яблони, а тем же летом обмелело озеро. И ещё ветром с приусадебного участка сорвало парник и унесло «прямо по небу, неведомо куда».

– И мы всей семьёй переживали, а мама-то как плакала... Что мы будем есть, говорила. Она же на продажу по два урожая собирала за сезон. Какой-никакой, а заработок. Несколько лет подряд мы ту теплицу поминали. Кто бы знал тогда, что парник этот – всё равно что пылинка. Что и дома придётся оставить, и вещи. А мы: парник... Такие дураки были, господи...

Она говорит «господи» – и крестится.

Марине я пока ничего не рассказывал о своем прошлом. Мне трудно: вроде бы вам я уже всё рассказал, зачем же по второму разу? Да ей это тоже сейчас ни к чему.

Когда Марина говорила про свою старую дачу – про теплицу с погибшими огурцами, про цветник, разбитый возле крыльца, – в голове у меня щёлкнуло и я вспомнил, что когда я был совсем маленьким, мы с мамой тоже жили на даче. Воспоминание пришло само собой, и для меня это был настоящий подарок.

Оцинкованный тазик с мыльным раствором, налитым почти до краёв. В сероватой воде с пузырями отмокают всякие вещи. Вот кусок вялой фланели с жёлто-синими грушами, у меня когда-то была маленькая рубашка из такой ткани. Рука вытягивает эти груши из мыльной воды – и к ней по воздуху слетает вторая рука. Рубашка выныривает, как будто она не рубашка, а рыба или маленький дельфин. Вот он шлёпает по мыльной поверхности цветным хвостом.

Мама сидит перед тазом на корточках. На ней длинный – выцветший, а может, линялый – розовый сарафан. Подол завязан узлом, и ляжки у него тонкие. Рыбы взлетают и выкручиваются винтом. Потом ложатся на траву. Мамино лицо нахмурено, брови сцеплены несколькими продольными морщинками-перекладами. И я тоже хмурюсь, потому что так надо.

Мама поднимается, и узел подола, до этого сидевший у неё на колене, как птичка с торчащим хвостом, сползает вниз. Мама берётся за ручки таза, приподнимает его и, раскачав, выплёскивает воду под куст смородины. Вода делает громкое «А-ах!», и смородиновые листья покрываются серыми каплями. Мама берёт алюминиевый ковшик с гнутым боком и черпает чистую воду из высокой-превысокой бочки. Она снова наполняет таз и выпускает в него выкрученных рыбок. Хвосты разворачиваются – и вот уже в тазу плавают рубашки, штаны, маленькие разноцветные футболки.

И тут мама поворачивается ко мне:

– Ну что? Что?

Протягиваю руку, и она не отталкивает меня, а разрешает ухватить в воде мокрый кусок ткани и мотать им туда-сюда. Поднимаются сперва маленькие, а затем и большие волны. В тазу уже настоящее водотрясение, и мама смеётся. Поворачиваюсь к ней и вижу, что забор между бровей исчез. И вот уже меня обнимает мокрая и скользкая, шершавая мамина рука.

Ещё вспомнились маргаритки. Не те цветы, которые принято так называть сейчас, – большие хризантемы на длинном стебле, – а самые настоящие, розовые с жёлтой серёдкой, крошечные и такие прекрасные. Они росли на чьей-то даче, где мы с мамой жили, когда я был совсем маленький. Не могу вспомнить ни хозяев, ни самого дома: скорее всего, это была маленькая одноэтажная коробка. А вот крыльцо и дорожку к нему, идущую между газоном, заросшим розово-белыми цветами, помню очень хорошо. В жаркие дни мама бросала подстилку прямо на эти маргаритки. И ложилась сверху – загорать. А потом, когда она поднималась, оставались длинный примятый прямоугольник травы и вжатые в землю лохматые головки.

Эпилог

(далее записи обрываются...)

21 марта 2023 г.

Я больше никому не пишу пространных писем. Не делаю заметок, похожих на рассказы. Я просто собрал воедино всё, что у меня было. Мои личные записи, конечно, не имеют такого веса, как труды профессора В. И всё-таки я знаю: сколь бы мизерным ни было моё дело, оно не должно прерваться и пропасть только потому, что автор осознал свой масштаб и смирился с ним. Смирение, как сказал профессор В., – не в отречении от себя самого. Оно в готовности дойти до конца и в смелости, если нужно, пройти ещё раз свой путь, и ещё раз, и ещё – ни с кем себя не сравнивая, ничем не хвалясь.

Э. Д. скончалась в разгар лета. Было столько цветов, сколько я никогда в своей жизни не видел.

Её похоронили на Северном кладбище, рядом с её отцом, знаменитым профессором В. Их могилы нетрудно отыскать: почти в самом центре, (номерной участок XIII-6а), и там – направо, рядом с тремя небольшими берёзами. На этом кладбище растут деревья. В прошлом году я видел там бурундука, бегущего по дорожке. А у мамы Нади, на Ковалёвском – унылое открытое пространство, поросшее сорной травой; его называют «полигон». Мамино место (1 кв., 29 уч., 1Б) находится уже не на самой окраине, но захоронения там натканы плотно, и проходы между ними узкие, грязные. Когда идёшь, нужно обогнуть могилу одного известного рок-музыканта; он умер совсем молодым, выбросился из окна. В ветреную погоду оттуда всегда слышится звон маленьких колокольчиков.

Прах Жанны стоит в стене городского колумбария (12-25-сХ), вверху слева. Её муж до сих пор держится, хотя и сильно сдал в последнее время.

Все мои близкие живут, как жили.

Сашка, наконец, примкнул к сообществу каких-то программистов, разработчиков новых игровых платформ.

Лёля в третий раз вышла замуж. У неё, кажется, непорядок со здоровьем, но мне, как всегда, никто не сообщает никаких подробностей. Грачёв, к примеру, про Лёлю знает теперь гораздо больше, чем я. Надеюсь, она в надёжных руках. Надеюсь, она позвонит или напишет мне, если я ей действительно буду нужен.

Грачёв открыл новый филиал и процветает.

У Вики постоянный бойфренд. Или как правильно? Друг? Но друг – это иное. Трудно разобраться. Никто ни на ком не женится, но вроде бы они ведут себя почти как семья. Моя бывшая жена пыталась даже познакомить нас и устроить что-то вроде семейного ужина. Но в то время я разбираю важные для меня коробки из подсобки Э. Д. и не хотел ни на что отвлекаться.

– Сидишь в своей келье, – выговаривала мне Вика по телефону. – Выходи к людям, общайся!

Но я и так в любой момент могу поговорить с теми, кто мне дорог и необходим. Мне этого хватает. Когда я занят своим делом и не трачу силы на суету, мои тревоги забываются, а сны становятся спокойными. Я высыпаюсь, даже если сплю в общей сложности менее пяти часов в сутки.

На машине я больше не езжу – отдал Сашке.

После Э. Д. у меня было ещё двое подопечных. Они немного похожи друг на друга, на Э. Д. и на маму Надю. Иногда мне кажется, что это один и тот же человек. А может, так оно и есть на самом деле.

Пока я разбираю архив, Анна не продаёт квартиру. Когда закончу, она, наверное, решится. Спрашивала, не соглашусь ли я показывать покупателям комнаты. Для того, чтобы городские власти согласились сделать здесь музей профессора В., должно произойти чудо. Но я не теряю надежды.

В Рим я так и не съездил. Первое время не мог оставить Э. Д., а сейчас не еду из-за Марины. Понял, что без неё мне будет там грустно. Нужно, чтобы Маринина внучка немного подросла и перестала болеть. Они с дочерью так и снимают квартиру; купить нет никакой возможности, а помочь им заработать у меня не хватает здоровья.

В дневниках профессора В. я нашёл такую фразу: «Чтобы любить, нужно быть больше, чем ты есть: когда любишь в полную силу, ты выходишь за свои границы – ты наг и щедр. Но человек вправе так любить только тогда, когда видит внутренним оком, что этот шаг ответен. Иначе погибнут оба. Один – от истощения, второй – от алчности. Как трудно научиться видеть внутренним оком! Как болезненны ошибки».

Он писал для себя, и, наверное, в его мыслях нет ничего оригинального. Может быть, он хотел обозначить словами невидимое. То, что выражается только лишь каким-то зыбким подрагиванием воздуха.

Он, конечно, не предполагал, что я буду читать эти строки и ощущать, как проясняется мой взгляд – словно передо мной на стол поставили свечу.

То же самое я пережил, когда Э. Д. учила меня спокойствию. Я собираю такие минуты своей жизни словно драгоценности, и, наверное, это главное, чему я научился.

За окном прозвенел трамвай.

Дзы-ы-ынь!.. Дзынь!

Пробудил меня от моих мыслей.

Я вспомнил, что сегодня днём на улице светило холодное мартовское солнце. По пути в квартиру Э. Д. я захватил несколько минут скупого солнечного света. И свет возвестил мне, что зима прошла. Но затем вдруг повалил снег. Он сыпал весь вечер не переставая. Замело детскую площадку, автомобили, крышу трансформаторной будки.

Люди ходят по улицам в пуховиках, жмурятся от летящего снега. Однако весна всё равно наступает, хотя пока никто её не видит. Под землёй течёт её горячий сок. И однажды утром прогретый солнцем воздух хлынет мне в лицо, и глаза увидят яснее ясного: холода отступили, а под ногами глубокими вздохами дышит земля, нагая, щедрая и безжалостная.

Юрий ГУДУМАК

АМЕРИКАНСКИЙ ФРОНТИР

«Ты живой?» – «Да, я живой»

«Ты живой?» – «Да, я живой», –
отвечает вождю приветствием его же портрет,
кивающий головой
золоченого дятла.

Способность быть одновременно в двух местах –
свойство мертвого. Старый индеец знает об этом,
но, сраженный сходством с таким соседом,
делает вид, будто бы дело обстояло как раз не так.

Кэтлин, величайший колдун мира,
преподнес ему самый дорогой, какой только мог,
подарок. Но такое как раз богатство –
что оспа и виски. Манданы его боятся.
Манданы знают, сколько в книгу свою бизонов он уложил.
С тех пор нет у них больше бизонов.

Того ли хотят друзья?
Сколько красок – и разных – ушло на это его
колдовство! Знай манданы язык европейцев,
они бы сказали: онтология цвета. А именно: желтый жир,
черная жженая кость, охра свернувшейся крови,
синяя жидкость желчного пузыря.

Циммерманн

Пчела отыскивает цветок в координатах солнца и улья.
В прямоугольной системе разверстки сердца
жертву находит пуля.

Какой-нибудь мувер* Мёрдок
(известно, впрочем, что он взрастил
вообще собой американский фронтир) –
* *mover*, то естьдвигающийся с места на место, –
знает: письмо к нему не дойдет.

Между тем не его, а письмо нужно причислить
к разряду мертвых.

Юрий Гудумак родился в 1964 году в селе Яблони Глодянского района Молдавии. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор поэтических книг «Метафизические гимны» (1995), «Принцип пейзажа. Прологомены» (1997), «Почтамтская кругосветка вспугнутой бабочки» (1999), «Дельфиниумы, анемоны и т.д.» (2004), «Песнь чибиса» (2008), «Разновидность солнца» (2012), «Дифирамб весне (bis)» (2017). Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи переводились на английский и румынский языки. Публикации в литературных изданиях «Волга», «Новая Юность», «Литература», «TextOnly», «Воздух», «Цирк «Олимп» +TV», «L5», «Полутона», «Новый Берег», «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки» и др.

Другой вариант истории был бы просто немислим.
О широком развитии здешней корреспонденции –
на печатях оттиснуты: лепешка краски с королевским
гербом, анна, пол-анны,
американская золотая монета (и это меняет планы) –
можно было судить уже по тому,
что количество мертвых писем
увеличивалось.

Когда наш Циммерманн находился, кстати,
там же, на диком Западе, в еще только будущем штате,
количество это достигло четырех миллионов в год –
но было бы на порядок больше, смей
он думать, что письмо, адресованное ему, –
как поддельный чек, как фальшивый вексель –
тоже «бумажный змей».

Змеиная

Сформулированный, говорят, Бюффоном
(но, конечно же, не впервые) закон относительно
змеевидной формы всех нормальных речных
долин (излучине одного берега соответствует
мыс другого, но и наоборот)
сильно подыгрывает Хогартовой линии привлекательности
(змеевидной линии). Неизвестно еще, кто у кого берет.
*Snake-River** – высшая школа топографов, Бехлер –
один из них.

Название реки – *Змеиная – так же, как, впрочем, Гремучая
или Степной Удавчик –

вполне из числа удачных.

И хотя выходящий угол горной цепи, образуя холм,
соответствует совершенно такому же входящему углу цепи
противоположной, течение Змеиной
еще не вполне исследовано.

Новоизобретенный геодезический инструмент, понятно,
полезен лишь в единственном случае: если он – трансформ
орла-змеяда.

Бехлеру, говорят, будто бы удалось
нанести на карту этот ее участок.

Счастливейшему из несчастных.

Она продолжала скользить на запад, потом на юг, шурша
меж трахитовых скал... чтобы сбросить кожу,
лишь только ее коснется грифель карандаша.

Самый большой космополит

Самый большой космополит
все-таки деньги. На что в позапрошлом веке

еще не мог полагаться Торо. По этому поводу он молчит.
То есть – неслышно прокрадывается, полагаясь скорее
на след калужницы, на запах
лесной герани,
пересекая дорогу лишь в тех местах,
где переходят ее лиса или горностаи,
глядя, как солнце спешит на запад.

Но всего нагляднее неприятие Торо границ –
в представлении о свободном странствии птичьих стай:
дикий гусь завтракает в Канаде, а обедает
на Саскуэханне,
на ночь он чистит перышки
уже где-нибудь в речных затоках Луизианы; голубь
переносит в зобе опалый желудь
от владений короля Голландии
до линии Мейсона-Диксона...

О чем в дневнике у Торо, увы, не написано?
О том, что от нашествия холодов
еще тоже нет никакой гарантии?

Но навряд ли осень вот так и закончилась,
если бы не смогла
поселиться в сердце синицы или шегла.

Медуница

Прогнать дичь индейцев, –
говорит автор *Демократии в Америке*, –
все равно что сделать неурожайными поля земледельцев.
Положившиеся в выборе новой родины кто на бобра,
кто на стук топора,
где они все теперь? –
В глухой чаще виргинского леса
одичавшая европейская пчела пребывает в поисках
медуницы.
И как лучшая в мире порука равенства между людьми
из его темницы
распускают листья тысячи шепчущих вещей уст.

Со времен Токвиля частокол превратился в живую
изгородь, хижина – в куст.
На месте мучнистых плодов Цереры,
за которыми ты перемещался, положившись на них
в выборе новой родины, как дикарь – на зайца,
цветет медуница – сначала розовым,
затем фиолетовым, а еще позже – синим
колокольчиком прокаженного: не прикасайся!

РАССКАЗЫ ИЗ КНИГИ «ТУМАННЫЕ АЛЛЕИ»

Один день Ильи Денисова

«сегодня начала читать книгу того же слаповского «день денег». затем, когда бежала на обратном пути с работы, мозг сгенерировал (сказанула такое выражение, так как не хочется употреблять много раз слова «дума, мысль»): вот в книге описываются образы мыслей разных героев, с разными судьбами... и они же постоянно думают, как оказывается, то есть пытаются думать... только почему этого не видно на обычных людях, которых видишь ежедневно в метро, улице, работе? может я тоже кажусь таким эфемерным существом без мысли на лице, а тем более в голове?»

Из читательского форума. Орфография и пунктуация сохранены.

Зазвенел будильник, и Илья Денисов проснулся.

Шесть часов, еще темно. Но уже сереет за окном. Конец февраля, утро наступает раньше, чем раньше. Чем в январе и декабре. А в марте будет еще раньше. А летом уже совсем будет светло в это время.

Илья встал и пошел в туалет.

Потом он пошел на кухню и включил чайник.

Пока закипал чайник, Илья смотрел новости по кухонному телевизору.

Чайник вскипел, Илья бросил в чашку полторы ложки растворимого кофе и две ложки сахара. Сел за стол и стал пить кофе, чтобы после закурить, потому что натошак курить вредно.

Попив кофе и покурив, он пошел в комнату и спросил:

– Ты встаешь?

Это он спросил жену, которая открыла глаза и глядела.

Она сказала:

– Нет еще.

Он спросил:

– Чего там есть поесть?

Она сказала:

– Там котлеты со вчера. В микроволновку их.

Илья вернулся в кухню.

Открыл холодильник, увидел там глубокую тарелку, накрытую мелкой тарелкой. Он снял мелкую тарелку и увидел котлеты. Их было пять. Он взял вилку и переложил три котлеты в другую тарелку, накрыл еще одной тарелкой и поставил в микроволновку. А сам пошел одеваться.

Надел носки, джинсы, футболку.

Свитер наденет потом, а то будет жарко.

Микроволновка засигналила, он пошел в кухню.

Алексей Слаповский родился в 1957 году в селе Чкаловское Саратовской области. Окончил филологический факультет Саратовского университета. Автор тридцати книг прозы, десятков пьес и сценариев, множества публикаций в журналах. Предыдущая публикация в «Волге» – поэтический отклик на книгу «Саратов 13/13» (2017, № 1-2). Живет в Москве.

Ел котлеты с хлебом. Запил их кофе. Кофе был слабее, чем первый, одна ложка. Чтобы не перетрудить сердце.

После этого он закурил сигарету и пошел в туалет.

Посидел там, глядя на дверь. Дверь была деревянная и полированная, он ее сам полировал. На нее было приятно смотреть.

Сделав дело и докурив, вышел и пошел надевать свитер.

Сказал жене:

– Я пошел.

Она ответила:

– Ага.

Илья пошел в прихожую.

Там он обулся и надел куртку. Взял ключи от квартиры и машины. Сунул руку в карман, чтобы проверить бумажник и документы. Вынул и посмотрел. Засунул обратно.

После этого он вышел из квартиры и запер нижний замок на один оборот.

Спустился на лифте, вышел из дома.

Машина стояла удобно, напротив подъезда. Илья сел в нее. Было холодно. Илья завел машину для прогрева, а сам вышел и счистил щеткой снег с лобового стекла. Снег падал ночью. Но теперь не падает. Да и ночью было немного. Пошел и перестал. А то было бы больше на стекле. Но было немного. Минутная работа.

Илья сел и поехал.

Он выехал со двора мимо соседнего дома на улицу, где уже было густое движение. Включил радио. Медленно ехал в общем потоке. Если бы опаздывал, было бы неприятно. Но он всегда выезжает с запасом. Бережет нервы.

Через полчаса Илья въехал во двор, огороженный зеленым металлическим забором, над воротами была надпись: «Автосервис».

Он вышел из машины и пошел в одноэтажное здание офиса. Там уже был Дима.

– Привет, – сказал Илья.

– Привет. У тебя что?

– Кузов доделываю.

– Уже сколько?

– Пять дней. А хотел за три.

– Ты возьми с него.

– Если даст.

– Да даст.

– Посмотрим.

Илья снял куртку и повесил в шкафчик, а оттуда достал рабочий халат. Он надел его и пошел в ремонтный бокс. Там стояла не дочиненная машина. Владелец пригнал ее с помятым левым крылом и деформированным капотом, ему сказали прийти через пять дней. Сегодня вечером должен появиться. Илья рассчитывал уложиться в три дня, пять дней назначили, как обычно, для видимости большой работы. Но не получилось, вышло как раз пять дней, потому что капот перекосило сильнее, чем казалось. Вечером хозяин заплатит за ремонт через кассу и сколько-то даст Илье, если не жадный. Тысячу было бы правильно. Но вряд ли, максимум даст пятьсот. А то и ничего. Есть такие, платят только официально, а людям шиш.

Илья начал осторожно постукивать по металлу уже выправленного в целом капота.

Прошла Лариса, Илья посмотрел на нее. У Ларисы красивая фигура, но сейчас этого не видно, она в широкой куртке. Видно летом. До лета еще далеко.

Илья работал до часа, но все еще не было готово.

Он пошел в офис, снял халат, повесил в шкафчик, взял куртку.

Лариса смотрела в компьютер, Дима говорил по телефону.

Илья сказал:

– Пойду поем.

Лариса сказала:

- Давай.
- Не хочешь тоже?
- Нет.

Илья пошел в кафе, где с часа до трех был бизнес-ланч, то есть дешево.

Там ему дали витаминный салат из капусты и яблок, суп из курицы и бифштекс с яйцом.

И компот.

Салат был ничего, суп теплый и пресный, Илья его присолил. Бифштекс был с жилками, Илья их выплевывал. Компот тоже оказался неудачный, какой-то прогорклый. Илья отпил и сплюнул обратно в стакан. Можно предъявить претензии, но скажут – а чего ты хотел за такие деньги?

Он вернулся в сервис и продолжил работу.

Он старался. Минимум пятьсот владелец должен дать.

Но лучше бы тысячу. Это было бы приятней.

Вечером пришел владелец.

Он посмотрел работу, погладил везде руками.

– Не идеально.

– Идеально с завода, – возразил Илья. – Да и то если не вглядываться. Нет ничего идеального вообще. А работы больше оказалось, чем казалось.

Владелец пошел в офис и там заплатил.

Вернулся.

Илья стоял рядом с машиной, вытирая руки.

– С двух шагов не видно, – похвалил он свою работу.

Владелец посмотрел:

– Да нет, видно.

– А вы хотели бы, чтобы совсем не видно? Так не бывает. Но кто не знает, не увидит.

– Да?

Владелец полез за бумажником. Вынул две сотни и дал Илье.

Илья взял, но не поблагодарил. Потому что мало. Лучше, конечно, чем ничего. Но он-то считывал на пятьсот. И даже на тысячу. Но двести тоже годится. Сегодня двести, завтра двести. Тоже деньги. Лучше, чем ничего.

Илья зашел в офис, переоделся и сказал Диме:

– Пока.

– Пока, – сказал Дима.

– Пока, – сказал Иван Ларисе.

– Пока, – сказала Лариса.

Илья поехал домой.

Дома был сын Вадим.

– Привет, – сказал Илья. – Мамы нет?

– Нет.

Вадим одевался.

– Куда? – спросил Иван.

– Погулять.

– Не поздно давай.

– Ладно.

Илья вскипятил чайник, взял пакетик чая и заварил. Вечером он кофе не пил.

Отрезал от батона кусок, намазал его маслом и джемом. Выпил чаю с бутербродом и закурил.

Потом пошел в комнату, снял джинсы, свитер, надел домашние штаны и сел смотреть телевизор.

В половине девятого пришла жена, которая работала в магазине, который работал до восьми. Она принесла курицу и стала ее жарить.

Вскоре курица была готова. Они ели ее и салат из помидор.

– У парниковых нет никакого вкуса, – сказал Иван.

– Само собой, – сказала жена.

Потом она стала мыть посуду, а Илья сел смотреть телевизор.

Пришла жена и тоже села смотреть телевизор.

Они сидели и смотрели телевизор.

Было уже около одиннадцати.

– Стели, что ли, уже, – сказал Илья.

Жена постелила.

Они легли и лежа еще посмотрели телевизор, а потом выключили.

Жена отвернулась к стене, но Илья положил на нее руку.

– Ты чего? – спросила она.

– Того, – сказал он.

– А, – догадалась жена и легла на спину.

Прозрачный мир

Татьян увидел эту девушку в подводном коко-шоке, куда заплыл с приятелями. Он настроился на ее сигнал и тут же узнал все, что хотел: возраст, рост, вес, вкусы, пристрастия и т.п. Имя – Бориса.

Бориса, увидев, что ее сканируют, оглянулась на Татьяна. Не улыбнулась, просто посмотрела, но Татьян счел это достаточным основанием для того, чтобы подплыть к ней.

– Хочу я и ты познакомиться, – транслировал он ей.

Девушка вместо прямой реакции на прямое желание, положительной или отрицательной, вдруг спросила:

– Твой смысл жизни искать девушку лучше, чем раньше, и никогда не остановиться никак?

– Это глупо спросить, когда я просто хочу познакомиться. Ты хочешь узнать теоретически мою будущую жизнь, но ее не знаю я сам.

– У тебя, Татьян, будут проблемы, – возник голос Глобал-Сети. – Эта девушка страдает инфофобией.

– Это правда есть? – спросил Татьян. – В твоих досьях этого не обозначено.

– Все обозначено, ты просто смотрел по верхам, – упрекнул голос.

– Да, это правда, – призналась Бориса.

Татьян с сочувствием посмотрел на девушку.

Инфофобия – грустная и редкая болезнь. Индивидуумы, страдающие ею, начинают тяготиться обычными условиями жизни – тем, что о тебе во все стороны каждую секунду распространяется информация. Ты можешь лишиться себя устройств, посылающих и принимающих сигналы, но как избавиться от собственного электромагнитного поля, излучаемого тобой тепла, импульсов мозга и всего прочего? Даже смерть, пока ты не истлел до последнего атома, не избавляет тебя от возможности идентификации в любой момент кем угодно. Такова эра прозрачности. Землю окружает неисчислимое количество сканирующих устройств, отсоединиться от них не представляется возможным. Инфофобы не могут этого изменить, но всячески пытаются закрыться, особенно когда дело касается тех сторон жизни, которые в старину называли интимными.

Такая красивая девушка и калека, сожалеет Татьян.

Но, наверное, хочет вылечиться, если на свободе. Большинство инфофобов, читал Татьян текст на внутреннем дисплее, стремятся попасть в изоляторы, чего им, конечно, никто не может воспрепятствовать, хотя изолятор – средство для преступников. Вернее, для сумасшедших: в здравом уме и не крикнутой памяти никто преступлений не совершает. Дело не в повышении совести, а в тотальном контроле: невозможно убить или ограбить, зная, что тебя видят в режиме реального времени десятки тысяч людей и ты будешь немедленно схвачен.

– Я все о тебе понял, Бориса, – сказал Татьян. – Если я тебе взаимно дико нравлюсь, давай сделаем шаг к твоему излечению вместе. У тебя не было друга почти год, пусть я прямо сейчас стану твоим другом во всех смыслах?

– Я была бы рада, что это хорошо, – ответила Бориса, – но мне надо шаги свои делать постепенно. Сначала бы я хотела самое начало: контакт с тобой. Но для первого раза в изолириуме.

Изолириум, в отличие изолятора, место более комфортное. Оно тоже специальным образом отгорожено и ограничено от инфо-пространства, но там ты можешь сам регулировать степень защиты или вовсе убрать ее.

Татьян заказал в кредит мобильный изолириум, который прибыл через несколько минут и известил о себе.

Молодые люди вынырнули к нему.

Бориса огляделась.

– Здесь так много людей и строений. Хорошо бы он стоял где-то, где нет никого и ничего. Или хотя бы мало.

– Там все устроено консервно, ты даже не будешь слышать звуков и голосов из вовне, – успокоил ее Татьяна.

– Но я буду все равно знать, представлять и воображать, что все это есть прямо рядом.

– А ты представляй, знай и воображай, будто это нет.

– Мне будет легче это сделать там, где и в самом деле нет.

Какая упрямястая, подумал Татьяна. Вряд ли у нас будет далекое будущее хотя бы на два-три месяца, но, может быть, две-три недели удастся продержаться.

И он уступил, переаказал изолириум в другое место, где они и сами оказались через несколько минут. Тут было тихо и пустынно: всего лишь пара сотен людей неподалеку совершали какой-то праздник по профессиональному признаку.

Они вошли.

Татьян впервые оказался в изолириуме. У него возникло ощущение, что он ослеп и оглох. Прекратились все трансляции на внутренний дисплей, исчезли голоса и шумы. Он напрягся. А Бориса, наоборот, расслабилась и улыбнулась.

– Ты часто бывала в таких местах? – спросил Татьяна.

– Два-три раза. Или три-четыре.

В открытом пространстве Татьяна тут же проверил бы и понял, правду ли говорит Бориса. Но тут, в отсутствие коммуникаций, он не мог этого сделать. Это было непривычно, дико, даже страшновато. Как общаться с человеком, если не знаешь правду его мыслей и слов? А по лицу и глазам он даже не пытался: не верил, что это действенный способ.

Татьян осмотрелся. Обычная обстановка обычного жилья: еднаной шкафчик, лежальное место, просторное, не для одного, еще какие-то мелочи. Возможно, в этом есть какой-то дизайн, но Татьяна не понимал, какой. Обычно он в любой обстановке получал тут же сотни комментариев и сообразовывался с ними, это помогало понять, нравится ему окружающее или нет. Теперь, брошенный на произвол собственных ощущений, он этого не понимал.

Даже взгляд на Борису изменился. Она понравилась ему в коко-шоке не только потому, что она ему понравилась, но и потому, что она понравилась его друзьям. При контакте он намеревался утвердиться в своих чувствах, оценив красоту и стройность Борисы. Но сейчас он смотрел и не мог сообразить, так ли она красива и стройна, как ему показалась. Десяток-другой комментариев помог бы ему это сделать, но сейчас – глухо, как в могиле.

– Ты великолепна и у тебя все замечательное, – сказал Татьяна, чтобы услышать хотя бы свой комментарий.

– Спасибо, – ответила Бориса.

И опять Татьяна не понял, от души она это говорит или из вежливости.

Чувствуя, что стынет, будто айс-пай положили ему за шиворот, Татьяна поторопил события:

– Пожалуйста, раздевайся, и я тоже, чтобы не умереть от нашего нетерпения.

– Да, наверное, сделать это нужно так, – сказала Бориса и выключила свет.

Татьян чуть не заорал от ужаса.

То есть он заорал, но гораздо тише, чем хотелось бы – сказало хорошее воспитание:

– Что ты делаешь и зачем?!

– Я буду стесняться, если видеть. Ты забыл? У меня инфофобия, я давно это не делала и надо постепенно.

– Как мы будем это делать, если я тебя не вижу? И никто другие тоже вообще?

– Есть наши голоса и осязание. Это много, если люди нравятся друг другу.

– Чепуха какая-то, – проворчал Татьян.

Но куда не денешься, начатое надо завершить во избежание психологического дискомфорта, да и девушку жалко.

Он слышал звуки девушки, снимающей одежду, но это его не воспаляло, а почему-то даже настораживало. Торопливо раздевшись, Татьян сел на лежальник и протянул руку:

– Где ты?

Что-то прикоснулось.

Татьян невольно отдернул руку.

Обычно он, касаясь чего-то женского, слышал тут же голоса, оценивающие стать и формы того, чего касался. Сейчас ничего этого не было.

– Чудак, – прошептала Бориса, – это мои пальцы.

Татьян, преодолевая страх, дотронулся до пальцев, а потом еще до чего-то. Кажется, дальнейшая рука до локтя. Довольно гладко и приятно. Может быть. Скорее всего. Наверное. А может, и нет. Как это понять, если не видишь – причем не только своими глазами, но и в отражающих, сканирующих, телепередающих устройствах? Плюс глаза и голоса наблюдающих и комментирующих.

Очень странно, очень.

И тут что-то влажное и горячее прыгнуло на рот Татьяна и вцепилось в него.

Он отскочил, втянулся в стенку, упал и закричал:

– Что это?!

Бориса что-то прошептала, он не понял.

– Не слышу!

– Я поцеловала тебя.

– Предупреждать надо!

Успокоившись и уняв нервную дрожь, Татьян сказал:

– Вот что. Никаких больше инициатив с твоей стороны. Я сам буду всё действовать.

И начал действовать, угадывая и привыкая. Постепенно он пришел в себя, но при этом чувствовал себя не готовым приступить к любви. Тишина и темнота угнетали.

– Можно я хоть чуть-чуть рассветлю? – попросил он.

Молчание было знаком отказа, как всегда у девушек.

– Тогда хотя бы два-три канала трансляции?

– Что ты собираешься транслировать? Я тебе разонравилась?

Татьяна всегда раздражало, когда предлагали одним махом ответить на два разнородных вопроса.

Он хотел уже сдаться, но привычка к самоуважению не позволила отступить. В конце концов, есть воображение. Он может представить – и Борису в полном свете, и комментарии наблюдающих, и все остальное.

Татьян закрыл глаза и попробовал. Стало получаться. Он торопливо приник к Борису.

Она задышала благодарно и нежно, это подстегнуло Татьяна.

Процесс пошел.

Обычно в таких случаях сразу же раздавалось со всех сторон:

– Давай, давай, парень!

– Сделай ее!

– Обработай ее!

– Люби ее нежно!

Ну, и прочее, включая откровенные оценки деталей и частностей.

Татьян делал все, что надо, но не понимал, хорошо он это делает или нет. Без комментариев он не мог сориентироваться, никто не кричит: «она задыхается!», «она глазки закатаила!», «она в восторге!» Или, напротив: «ей по фигу!», «ты лох!», «потренируйся на резине!» – что вызывало бодрящее желание доказать, показать и продемонстрировать искусство и мощь.

Сейчас – полное недоумение и ума, и организма.

– Ты как там? – спросил Татьяна, уловив в собственном голосе нотку раздражения. Послышался мокрый звук.

– Ты плачешь, что ли?

Да, она плакала.

Но отчего? От счастья, от разочарования, от наслаждения или отвращения?

И с Татьяно произошло то, чего никогда не случилось: он сник.

Он сдался.

Вскочил, включил свет, торопливо оделся и выбежал, не оглянувшись на Борису.

Знакомая, родная стихия голосов и звуков охватила его. Посыпались вопросы:

– Ну как, ну как, ну как?

И, удаляясь от изолирума, Татьяна на ходу начал рассказывать, получая тут же сотни комментариев, в том числе язвительных, но они его не огорчали, наоборот, он чувствовал себя наконец опять живущим и понимающим, что к чему.

– Теперь ты оценился? Ты доволен? – это был знакомый голос, это была девушка Ливень, которая, в противоположность Борису, страдала инфофилией. Впрочем, не страдала, какое же это страдание, если получают удовольствие? А именно: она любила любить лишь тогда, когда вокруг имелось не меньше тысячи наблюдателей. Иначе скучала. Татьяна провел с ней недавно два бурных месяца, но устал. И вот – возникла в самый нужный момент.

– Что скажешь теперь за отношение ко мне? – лукаво спросила Ливень.

– Я тебя обожаю! – завопил Татьяна и устремился в направлении сигнала, который направила эта честолюбивая девушка.

– Надо же, как бежит! – оценил кто-то.

А ведь и впрямь бегу, подумал Татьяна. И стал окончательно счастливым: он точно знал, что именно теперь делает. Бежит.

А в крошечной темноте рыдала безутешная Бориса. Но этого никто не видел и не слышал, поэтому можно с полным основанием считать, что этого не было. В конце концов, сама виновата.

Молния

– Ну и жара, – сказал Андрей Авдеев, полулежа перед телевизором на диване в одних трусах, с бутылкой пива в руке.

– А кто виноват? – спросила жена Мария, лежавшая рядом и тоже, как и муж, отдыхавшая после трудового дня. – Сам же и виноват. Кондиционер давно поставил бы.

– Это искусственный воздух, – сказал Авдеев. – Не люблю.

Он и в самом деле предпочитал все естественное, простое и ясное. И работа у него была такая: на строительном рынке продавал доски, фанеру, рейки и планки. Меряешь, пилишь, режешь, получаешь деньги, вечером сдаешь выручку хозяину – и свободен душой и мыслями до завтрашнего утра. У Марии работа была еще проще: она трудилась на станции метро, что неподалеку, должность ее называлась – «оператор поломоечной машины».

– Есть хорошие кондиционеры, – сказала Мария. – Они воздух и охлаждают, и чистят заодно.

– Вранье, – возразил Авдеев. – Им лишь бы деньги содрать.

– А тебе лишь бы ничего не делать. Придешь и валишься сразу.

– А ты не валишься?

– Я сейчас встану вам ужин готовить, между прочим, – защитилась Мария. – А ты дома вообще ничего не делаешь. Не говоря уж о чем-то. Как я с тобой живу вообще? – пожалла плечами Мария, удивляясь.

– Действительно. А как я с тобой живу? – в свою очередь спросил Авдеев.

Поскольку этот вопрос ни с той, ни с другой стороны не имел ответа, они продолжили лежать и смотреть телевизор.

В открытую дверь балкона повеяло ветерком, приподнимая тюль, за окном сгустилась приятная прохладная темень.

– Сейчас хлынет, – сказала Мария.

– Хорошо бы.

Но не хлынуло и даже не заморосило, даже не капнуло. В природе, видимо, тоже бывают незаконченные процессы, как в человеке: хочешь, например, чихнуть, вот-вот чихнешь, уже в носу чешется, глаза слезятся, лицо все сморщилось – и... И ничего, только досада организма, который ждал веселого сотрясения, а получил вялую неудовлетворенность.

Только бесплодные молнии беззвучно вспыхивали, а вслед за ними сваливался с неба гром, будто гряда кирпичей на жесть.

– Закрой, – кивнула Мария на балконную дверь. – Боюсь с детства этих молний.

– Ага. Миллионы квартир по Москве, и обязательно она к нам попадет?

– Тебе лень? Ты с краю лежишь, а мне через тебя лезть? Имей совесть!

Авдеев нехотя встал, пошел к двери.

И тут в тишине и сумраке появился сначала свет, а потом возник круглый сияющий шар. Он завис перед дверью, словно раздумывал, куда двинуться.

– Ничего себе, – сказал Авдеев. И закрыл дверь.

Но шар беззвучно прошел сквозь стекло, не было ни шипения, ни треска, только появилась оплавленная дыра. И опять шар завис, как бы молча хвастался: вы закрылись, а я вот он, тут.

– Андрей, я боюсь, сделай что-нибудь! – закричала Мария.

– Молчи! – сквозь зубы прошипел Авдеев. – И не шевелись!

Авдеев слышал когда-то по телевизору, что шаровые молнии реагируют на движение. Поэтому застыл. И Мария на диване замерла, не сводя с шара испуганных глаз.

Шар качнулся в направлении Андрея, тот не выдержал, начал отступать в сторону двери. Шар за ним. Андрей, держась руками за стенки узкого коридора, медленно отходил в кухню. Шар плыл следом. Авдеев уткнулся спиной в стену между окном и холодильником. Дальше отступать было некогда.

И тут Авдееву показалось, что шар пролетел через его голову. Его ослепило, он закрыл глаза руками.

Через некоторое время вошла Мария. Шара не было, наверное, вылетел в форточку, утянуло его сквозняком. А муж стоял, закрыв глаза ладонями. Мария подошла, убрала его руки:

– Все, нет ее. Ты цел? Андрей? Что с тобой? – Мария глядела мужу в глаза, не понимая, что с ним.

– Ауэрэлзоны, – примерно так сказал Авдеев. В действительности еще чуднее, но многие звуки просто невозможно передать с помощью алфавита.

– Сядь, – сказала Мария. – Сядь и успокойся.

Авдеев смотрел на нее, будто не узнавал. Садиться не хотел. Как стоял у стены, так и остался.

Мария совсем испугалась. Она позвонила в скорую помощь и сказала, что ее мужа обожгло шаровой молнией. Ей не сразу поверили, но потом все-таки приняли вызов и через час приехали. Врач и медсестра. Врач осмотрел Авдеева. Начал задавать вопросы.

– Вы меня слышите? Что с вами случилось? Вы не оглохли? Алё! – пощелкал он пальцами перед глазами Авдеева.

Тот поднял руку и поводит ею перед собой таким жестом, будто что-то протирал. Еще так машут, когда прощаются. Один глаз у него странно расширился, а другой, наоборот, сузился в щелочку. Он медленно повернул голову, осматривая Марию, медсестру, а заодно все окружающее.

– Отошел! – обрадовалась Мария.

– Иройатооо, – сказал Авдеев. И сказал не так, как говорят все люди, не на выдохе, а на вдохе, отчего голос получился хриплым и глухим. Если вы, земляне, читающие эту историю, попробуете

произнести это слово, одновременно сильно вдыхая воздух, то узнаете, как оно прозвучало, и поймете, насколько странным показалось. Но произносить надо, не включая голосовые связки, иначе не получится. Шумным таким шепотом.

– Тяжелый случай, – покачал головой врач. – Если его куда везти, то в психушку.

– Ничего подобного! – сказала Мария. – Еще чего, в психушку! Он там совсем с ума сойдет!

Ничего, он немного отдохнет, и все будет в порядке. Какая психушка, если ему завтра на работу?

– А мы будем ждать тут? У нас вызовов куча еще.

– Ну и езжайте. Он же здоровый, в смысле физически?

– Физически здоровый. Вроде, – осторожно сказал врач.

– Ну и все. А остальное мы наладим.

Врач и медсестра уехали.

Мария опять пыталась уговорить Андрея сесть или лечь, но он не слышал или не понимал. Помучившись так какое-то время, она догадалась действовать не уговорами, а конкретно. Взяла мужа за руку и попробовала его повести. Он пошел. Она привела его в комнату.

– Ложись.

Ложиться Авдеев не стал.

Мария попробовала его уложить руками, но, как ни упиралась, Андрей оставался в вертикальном положении. Накренить его оказалось так же трудно, как столб. Он вообще стал каким-то твердым, жестким, будто окаменел. При этом чувствовалось, что где-то в нем есть сопротивляющаяся сила. Тот же столб, если он не врытый, подумала Мария, он упадет от толчка, а Андрей не падает. Значит, в нем все живое, если он равновесие держит, только как-то изменившееся.

– Ладно, – сказала она. – Хочешь постоять, стой. И я рядом постою. Или посижу. Телевизор посмотрим. Ты чего хочешь?

Она переключала каналы, но Авдеев не смотрел на экран телевизора, а смотрел прямо перед собой.

Пришла десятилетняя дочь Роксана с занятий танцевальной студии, Мария накормила ее, хотела отправить к себе учить уроки, но Роксана сказала:

– Еще чего. Я устала до смерти, я у вас телевизор посмотрю.

И пошла в родительскую комнату, легла на диван. Полежав, спросила:

– Мам, а что это с папой?

– Ничего страшного. Его молнией ударило.

– Правда? – Роксана с интересом осматривала отца. – И что теперь?

– Ничего. Жду вот, когда отойдет.

– А он живой вообще?

– Типун тебе на язык. Конечно, живой. Иди уроки делать, сказано.

Авдеев простоял всю ночь, при этом не ходил в туалет, несмотря на выпитое накануне пиво. И ничего не ел, хотя Мария предлагала и даже всовывала ему в рот. И не курил.

Мария не сомкнула глаз, утром поняла: так не пойдет, что-то надо делать. Но что? Опять вызывать скорую, чтобы опять предложили психушку?

Тут она вспомнила, что этажом выше живет врач, чуть ли не профессор, жаль только, неизвестно, как его зовут.

Она поднялась, позвонила, открыла пожилая жена профессора, сказала, что муж еще спит.

– Прямо не знаю, что делать, – сказала Мария. – У меня мужа вчера молнией ударило Шаровой.

Жена профессора посмотрела на озабоченное лицо Марии и поверила, пригласила в прихожую, пошла будить своего профессора. Через несколько минут он появился: на голове взъерошенный седой пух, сам весь худой и высохший, еще более пожилой, чем жена, сказать просто – старый.

– Чепуха какая-то, – сказал он. – Я не специалист по этим штукам, но если бы вашего мужа ударило шаровой молнией или, верней сказать, пронзило, он уже был бы мертвый, извините.

– А он и так как мертвый. Но живой.

– Хорошо, сейчас умоюсь, приду.

Умывшись, профессор явился, осмотрел Авдеева и сказал своей жене, которая пришла вместе с ним:

– Ни о чем подобном никогда не слышал.

– Еще он говорит непонятно, – пожаловалась Мария. – Скажи что-нибудь, – попросила она Авдеева.

Тот смотрел в сторону.

Мария помахала рукой и пощелкала пальцами перед его лицом, как это делал доктор скорой помощи.

– Рэонафиным, – сказал Авдеев.

Мария заплакала:

– Страшно слышать, ужас какой! Андрей, очнись! Что с ним, доктор?

– Не знаю, но в любом случае он наш, – сказал профессор.

– Это как?

– Тридцатую клинику знаете? Я там отделением неврологии заведу. Надо положить вашего мужа к нам, исследовать.

– Даже не знаю... Извините, забыла ваше имя отчество...

– Олег Ильич.

– Олег Ильич, а польза будет?

– Если останется дома, пользы точно не будет.

– А может, массаж какой-нибудь? Или иголки поставить. У меня было, я руку сильно ушибла. Рука прямо ничего не чувствовала. Я пошла в поликлинику нашу районную, мне там женщина в коридоре, пока сидели, посоветовала в одну частную клинику пойти, где иголки ставят. Я пошла, пять сеансов мне сделали, дорого взяли, конечно, но что вы думаете? Прошло!

– Вряд ли здесь иголки помогут, – сказала жена профессора. – Я сама рефлексотерапевт, я аналогов этому случаю не знаю. Без стационара не обойтись.

Что делать, Мария согласилась.

Профессор хотел отвезти Авдеева на своей машине, но возникли проблемы. Вниз Авдеев спустился, ему помогли идти Мария и жена профессора, а сесть не мог, потому что не мог или не хотел согнуться. Профессор вызвал служебную машину с большим кузовом, где Авдеев мог поместиться стоя. Санитары подняли Авдеева, поставили, сами встали рядом. Мария тоже полезла в кузов.

– Вы-то зачем? – спросил Олег Ильич.

– А как же? Надо же узнать, куда его определяют, что ему привезти...

С дороги Мария позвонила Роксане, велела самостоятельно собраться, пойти в школу. И чтобы без фокусов, учитывая, что папа заболел.

В клинике Авдеева завели в лифт, подняли на четвертый этаж, в неврологию, увели куда-то в кабинеты.

Мария долго ждала, наконец вышел Олег Ильич и сказал:

– Мы, конечно, оставляем его у себя.

– А что с ним?

– Пока неясно. К нам скоро из Академии наук специалисты приедут. Хотя я и сам член-корреспондент.

– Так все серьезно? – напугалась Мария.

– Не столько серьезно, сколько, я бы сказал, своеобразно. Вы вот что, идите-ка домой и отдохните.

Мария ушла. Она отправилась сначала на строительный рынок и объяснила там, что Авдеев заболел, чтобы его не ждали в ближайшие дни. Затем пошла на свою работу, взяла отпуск за свой счет – на других условиях не отпускали. Потом сняла энную сумму наличности с карточки – может понадобится для медсестер, для врачей, чтобы отблагодарить и стимулировать. Собрала

дома чистое белье для Андрея – чтобы была смена. дождалась Роксану, накормила ее обедом, велела сидеть дома.

И поехала в клинику.

Олег Ильич поделился с ней новыми наблюдениями и соображениями. Авдееву не делается лучше, но не делается и хуже, что по врачебным меркам уже хорошо. Он не любит помещений без солнечного света, передвигается поближе к окну. Пищу не принимает, при этом не заметно признаков голода. Не исключено, что источником питания для него служит солнечный свет.

– Вот бы всем так! – засмеялся профессор. – Исчезла бы проблема пищевых ресурсов! Просто рай земной!

Мария его веселья не разделила.

– А лечите его как? – спросила она.

– Ну... Вообще-то пока наблюдаем.

– То есть никак?

Мария хорошо знала реальную жизнь и ее правила. Нахмурившись и глядя в сторону, стесняясь, но понимая, что надо, она сунула профессору в потном кулаке три тысячные бумажки. Деньги немалые, но он все-таки профессор, а не кто-нибудь.

– Это что?

Мария разжала кулак.

– Олег Юрьевич... Пожалуйста... Все, что можно... Один он у меня... Дочь маленькая... Помогите...

– Уберите, – строго сказал профессор. – И Олег Ильич я.

– Извините...

– Это мы вам платить должны, – сказал Олег Ильич, смягчившись, деликатно укоряя интонацией Марию. – Мы весь интернет обшарили уже, таких случаев нигде не зафиксировано. Нигде в мире. Понимаете? Мы хотим его сегодня к вечеру перевезти в научный центр неврологии РАМН.

– РАМН? – не поняла Мария.

– Российская Академия медицинских наук! – торжественно произнес Олег Ильич. – Его там будут изучать.

– Это еще зачем? Он лягушка или кролик разве? Его не изучать, а лечить надо!

– Надо. Но в этом и фокус – если не изучить, что с ним происходит, нельзя и вылечить. Понимаете?

Мария, помолчав и обдумав, сказала:

– Ладно. Но я поеду с ним.

– Зачем? Вы не доверяете нам?

– Доверяю, не доверяю, а понимаю, что он сейчас без сознания и все, что вы с ним будете делать, можно только с моего согласия, будучи его женой! – твердо сказала Мария.

– Как вы четко, однако! – хмыкнул профессор. – Вы не юрист, случайно?

– Я уборщица. Но телевизор смотрю и права свои знаю. Как раз недавно передача была про параличного человека насчет того, умертвить его или нет. Черным по белому сказали: решают ближайшие родственники.

– Не знаю, – сказал Олег Ильич, – согласятся ли коллеги.

– А куда они денутся? – спросила Мария.

И Олег Ильич ничего ей не ответил – он понимал, что, пожалуй, коллегам, в самом деле, деваться некуда, если они хотят изучить феномен Авдеева.

И Андрея перевезли в этот самый Центр, который оказался аж на Волоколамском шоссе, то есть Марии тащиться ровно через весь город от своего Выхино. Но, правда, тащиться она и не собиралась, попросила приехать за Роксаной свою мать из Подольска – все равно до начала каникул осталась неделя с небольшим, а сама поставила руководству Центра условие: либо она лежит в палате вместе с мужем, либо – никаких исследований.

И, судя по тому, что руководство даже не особенно торговалось, оно не хотело упустить такой ценный научный случай.

Марии страшновато было ночевать с мужем. Он по-прежнему оставался стоячим. Несколько человек пробовали уложить его, но он тут же поднимался. Пытались (с разрешения Марии, конечно) привязать его к кровати, он без всякого усилия рвал ремни и поднимался. В чем дело, понять не могли. Мария не спала, лежала в полудреме, глядя на Андрея, который неподвижно торчал перед ее глазами. Она понимала: бояться нечего, это ее муж, родной, свой человек, а все-таки как-то не по себе. Но терпела, ночевать отдельно не соглашалась.

Постоянно спрашивала:

– Ну, что с ним?

Довольно молодой руководитель исследований, Никита Ефремович Варобеев, симпатичный брюнет, высокий, широкоплечий, кареглазый, если увидишь в другом месте, ни за что не подумаешь, что ученый, отвечал Марии, улыбаясь краешком рта с видом мужчины, которого обожают все женщины, но Мария эти фокусы с девичества хорошо знала и пропускала мимо внимания:

– Я бы тоже очень хотел знать, что с ним.

– Так узнавайте!

– Так узнаем!

И уходил спортивной походкой.

Иногда ученые собирались по трое-четверо, обсуждали, Мария слушала, не понимая и четверти слов, но кое-что все-таки доскальзывало до ее разума.

Они говорили, что пульс у Андрея сорок, но стабильный и без видимого ущерба здоровью. Мария щупала свой пульс, считала. У нее было за семьдесят, но хорошо это или плохо, она не знала, потому что ни разу в жизни этим не интересовалась – не надо было.

Андрей реагировал глазами на движения и звуки, но человеческая речь для него была невнятна. Один исследователь попробовал говорить, как Андрей, то есть втягивая в себя воздух – какую-то бессмыслицу. Марии показалось, что Андрей взглянул на него с удивлением. Ученые это тоже зафиксировали и оживленно забормотали между собой.

На основе наблюдений они сделали вывод, что ночью Андрей впадает фактически в анабиоз. Слово повторялось часто, Мария его запомнила. Спросила у Олега Ильича, когда он зашел, тот объяснил:

– Анабиоз – это что-то вроде очень крепкого сна.

Появлялись и какие-то совсем новые люди. Разные. И даже военные.

Через примерно неделю Варобеев сказал Марии:

– Значится, что мы таперича имеем?

Мария, находясь тут, не раз уже сталкивалась с этой забавой образованных людей коверкать язык – когда знаешь, как правильно, можно и ошибаться.

– Мы таперича имеем следующую картинку, – продолжал выгибать слова Варобеев. – Что есть шаровая молния, ежели спросить у физиков? Ежели спросить, они ответят, что сами не знают. Кумекают они только, что эта, значится, молния, похожа на маненькое такое как бы Солнце. Огромная сконцентрированная, маете ли, энергия. А еще они догадываются, что тама, в етой молнии-то, моге́т быть куча информации. Терабайты, зеттабайты, даже йоттабайты, не поймите меня правильно, как говорит один мой товарищ.

– Вы говорите, пожалуйста, без этих, – попросила Мария.

– Без йоттабайтов?

– Нет. Без маете ли и таперича. Мне это понимать мешает.

– Да? Тогда извините. В самом деле, что за шутовство! – Варобеев стал серьезным, улыбочка спорхнула с лица. – Простым языком говоря, не исключено, что эта молния вобрала в себя информацию, к примеру, даже с другой планеты. Зародилась молния там, в космосе, или появилась на Земле и сработала как приемник далеких космических волн, неизвестно. И часть этой информации передала вашему мужу. В частности, он говорит на каком-то неизвестном языке. Лингвисты ломают головы, расшифровать пока не могут. Возможно, на той планете, где живут люди, которые говорят на этом языке, другая атмосфера, там по-другому передается звук. Поэтому у них все произносится на вдохе. Да еще тональная система, как у китайцев. И звуки, каких у нас

не существует. В распространенных языках, по крайней мере. А вот у индейцев, унаследовавших остатки языков цивилизации майя...

– Это что же, он инопланетянин? – перебила Мария.

– Мы тоже задали этот вопрос себе и нашим коллегам. Нет, вряд ли он инопланетянин. То есть в чем-то инопланетные признаки у него проявляются, но при этом в основном ваш муж остается человеком. Он просто стал трансформатором информации. Медиумом. Посредником. Коллеги-космологи считают, что, если мы поймем его речь, то имеем шанс продвинуться в наших знаниях сразу очень далеко. Настолько далеко, что трудно представить.

– Я не знаю, куда вы продвинетесь, – сказала Мария, – а только я поняла, что лечить вы его не хотите. Он вам такой нужен, как есть, инопланетный. А мне нужен нормальный человеческий муж, ясно? Муж, а немышь подопытная! Все, забираю его у вас!

И Мария тут же начала звонить близким знакомым и дальним родственникам, имеющимся в Москве, с просьбой подъехать и подогнать машину, пригодную для перевозки стоячего человека.

Они приехали.

Но вызвал и Варобеев подмогу – упомянутых им космологов, а также физиков, астрономов, лингвистов, а в качестве решающего аргумента появился генерал, очень важная птица, судя по обилию золотого шитья, из-за которого было почти не видно ткани мундира. Все принялись уговаривать Марию, но она уперлась и грозила, что, если ее сейчас же не отпустят с мужем, вызовет полицию. Будто с неба свалился, тут же оказался перед ней полицейский генерал:

– Вот вам и полиция, – сказал он, приятно улыбаясь.

– Мне нужна полиция не такая, а нормальная, – ответила Мария, вспоминая тех патрульных, которых видела каждый день в метро – трудовых, не без того, чтобы вытрясти из приезжих душу и деньги, но, если явное безобразие, все-таки иногда могут помочь, навести порядок.

Короче говоря, повода для задержания Марии и мужа не нашлось, силу применить не решились – да и кто бы решился, глянув на лицо Марии и увидев ее пронзающие глаза.

Отпустили.

Андрей повезли не домой, а в Подольск. Там у матери Марии Ольги Павловны была знакомая бабка. Эта бабка лечила наговоренной водой, травами, бумажными иконками, которые она заворачивала в тряпицу вместе с какими-то корешками, приговаривая:

– От праха его прах веками веков и ныне, и присно, на исцеление праха прахом, иже еси имя твое, благослови всяко разное, что есть, а чего нет, избавь, Боже славный, святительница троеручица, мать твоя, и веками веков!

И вылечила она, между прочим, Ольгу Павловну водой, травами и иконками, от рожистого заболевания, которое врачи до этого одолеть были бессильны. Вот на эту бабку и надеялась Мария.

Привезли Авдеева, поставили в углу возле окна, чтобы был свет, а со стороны комнаты Ольга Павловна отгородила зятя занавесью, прицепленной наискосок от серванта к портьерному карнизу: ей слишком боязно было видеть Андрея таким странным.

Пришла чудодейственная бабка Нина Петровна, одетая так, как никто уже не одевается: цветастый платок, ватник-телогрейка, черная юбка, на ногах оголовки резиновых сапог, обувь на шерстяные носки саморучной вязки. Этой одеждой она, показалось Марии, как бы привирала о себе что-то, а если человек привирает в одном, то может соврать и в другом. Нина Петровна ходила вокруг Андрея, долго шептала, заглядывала ему в глаза, потом достала из сумки бутылку с водой и пузырек с настойкой.

– Настоечку по ложечке чайной ему давайте, а потом водички запить по две столовых ложечки, – велела она.

Взяла пятьсот рублей и ушла.

Но как ему дашь настоечку и водичку, если изо рта у Андрея все выливается? Бились, бились, вызвали бабку опять. Она применила самое верное: напихала иконок Андрею за пазуху и в карманы. И ушла. С пятисоткой, естественно.

День прошел, два.

Нина Петровна приходила утром и вечером, шептала, брызгала водой, заменяла иконки свежими, унося каждый раз полтысячи. А толку – ноль.

- Она нас разорит так, – сказала Мария. – Не по силам ей это.
- Судя по всему, да, – согласилась Ольга Павловна. – А что делать?
- Домой повезу. Есть у меня одна мысль.

Мария привезла Андрея домой и на следующий день потихоньку, по шажку отвела его на рынок. Там сказала его хозяину и товарищам по работе:

– Вот что. Он, сами видите, заболел, давайте ему поможем. Начнет привычную работу и, кто знает, вдруг оживет?

Хозяин и товарищи отнеслись сердечно, допустили Андрея. Мария была тут же, смотрела. Но Андрей не понимал покупателей, не знал, как чего мерить и резать. Ему покажут, дадут в руки ножовку, тогда отпилит. Или, если положат на плечо доску и покажут, куда нести, отнесет. Постепенно тело Авдеева все больше вспоминало, как и что делать, но разум его словно спал. Он был как бы тут, а как бы и не тут.

– Нет, – сказал хозяин. – Извини, Маша, но не получится. Клиенты к нам перестают ходить. Что за продавец такой, если с ним пошутить нельзя, выпить нельзя, поторговаться нельзя? Люди в другие павильоны от нас идут, Маша. А некоторые боятся. Если честно тебе сказать, Маша, я сам боюсь, он у тебя как зомби из фильмов ужасов. Отвернешься, а он тебя доской по голове. Мне это не надо, Маша. Так что давай до свидания, без обид.

Маша отвела Авдеева домой. Ставила перед телевизором, включала любимые передачи Андрея – без результата. Наливала перед его глазами в стакан пенное холодное пиво из запотевшей бутылки – никакого интереса. Пыталась использовать эротическо-интимный способ воздействия, о котором из скромности умолчим – не подействовало.

Ежедневно заходил Олег Ильич, уговаривал Марию вернуть Андрея в Центр.

Она сопротивлялась, на что-то надеялась. Но вот однажды позвонили в дверь. Мария, погруженная в свои грустные мысли, открыла, даже не глянув в глазок – и тут же, как танк с дулом, попер на нее человек с кинокамерой, а рядом терся юноша, барабана в микрофон:

– Мы с вами находимся в квартире Андрея Авдеева, который испытал на себе воздействие шаровой молнии...

И еще кто-то лез сзади, с боков и чуть ли не из-под ног.

Мария всех выгнала.

Вышла на балкон: стоят внизу, числом не меньше двух десятков, задрали головы, как собаки на подачку, ждут.

Ничего удивительного: слишком много людей узнали о том, что произошло с Андреем – и близкие знакомые, и дальние родственники, и товарищи Андрея по работе, и посетители рынка. Вот и разнеслось.

Пришел Олег Ильич. Спросил:

- Ну, и чего вы добились? Так и будут теперь вас терзать. Везем обратно в Центр?
- Везем.

Повезли ночью, разогнав всех журналистов, хотя несколько вспышек все-таки озарило темноту – фотографы-папарацци снимали с деревьев и с крыш соседних домов.

Снимки, комментарии, интервью с Марией, которых она не давала, и даже интервью с самим Авдеевым, которых он тем более не давал, разошлись по газетам, по телеканалам, по интернету.

Через неделю Андрея перевезли из Центра неврологии в другое место, в здание на окраине Москвы, обнесенное высоким бетонным забором. У входа и даже на каждом этаже – охранники. Марии это не понравилось, Варобеев успокаивал, сказал, что им оказали честь, доставили в секретный институт, исследующий аномальные явления, связанные с космосом. Здесь ее мужа будет осматривать расширенная международная комиссия.

И действительно, приехали ученые из многих стран, специалисты по космическим сигналам и межпланетным контактам. Все они были приверженцы теории, что какие-то внеземные цивилизации пытаются различными способами дать о себе знать. В Канаде, например, вот уже

двенадцать лет изучают радиоприемник, извлеченный из упавшей в пропасть машины: он весь разбит, батарейки давно не работают, микросхемы разрушены, но он, тем не менее, без подзарядки и подключения к сети, продолжает транслировать различные звуки: свист, шипение, что-то похожее на азбуку Морзе; источник сигналов пока определить не могут. Немецкий ученый сам стал участником необъяснимых явлений: его жена регулярно пропадает на два, три дня, а то и на неделю, а потом вдруг возникает – бледная, изможденная, и не может объяснить, где была, что с ней произошло, все стирается из памяти. Терпеливый немец не теряет надежды докопаться до истины – он уверен, что супругу регулярно похищают и изучают инопланетяне. Жена тоже склоняется к этой версии. А французский профессор в течение многих лет анализировал рассказы астронавтов и пилотов высотных военных самолетов, которые признавались, что не раз произносили фразы на неизвестном языке, сами себя не понимая, или вдруг начинали чертить какие-то схемы и формулы.

Именно этот ученый обратил внимание коллег на то, что Авдеев иногда пошевеливает пальцами. Предложил вложить в них карандаш и поднести руку к большому листу бумаги, закрепленному на доске. Мария, естественно, присутствовала при этом: это было ее обязательное условие. Иначе грозила забрать мужа домой в один момент.

И вот дали Андрею карандаш, поднесли руку к листу. Он провел линию, другую. Чтобы не мешать, все отошли, Авдеев рисовал без посторонней помощи, причем с закрытыми глазами. Все ясное проступало изображение человека. Вытянутая горизонтально голова, как шляпка гриба, покатые плечи, выступы на груди, напоминающие большие молочные железы, то есть женскую грудь, очень широкие бедра и очень длинные, в две трети всего тела, ноги.

Мария ахнула:

– Он же ведь нашу соседку Аньку рисует! Знала я, что он на нее поглядывает! А почему? Потому что она сама на всех мужиков смотрит, как щука на карасей, гадина непотребная! Конечно, одна живет, вот и плясает на чужих! И не мечтай! – сказала Мария Андрею. – А вам стыдно! – обратилась она к присутствующим. – Заставляете нормального человека порнографию рисовать! Нет, если до этого дошло, все, хватит! Дома я покажу ему такую Аньку...

Ученые наперебой стали объяснять Марии, что соседки Аньки на рисунке быть не может, это вообще не человек, вы посмотрите, такой головы ни у кого не бывает! И такой груди, извините, таких бедер и ног!

Насчет головы Мария согласилась, а касательного остального предложила кому угодно поехать и убедиться – у Аньки все это имеется, и даже побольше.

Меж тем Авдеев продолжал рисовать. Вот что-то заостренное, похожее на ракету. Вот мост, соединяющий две вершины, но под таким углом, что ни один земной автомобиль не удержался бы на нем. Вот странное существо, похожее на черепаху, но с четырьмя головами по сторонам. И с шестью лапами. Потом появились странные конструкции, потом какие-то значки. А потом Авдеев вдруг застыл, карандаш выпал из его руки.

– Ему надо отдохнуть, – сказал Варобеев.

С ним согласились.

На следующий день в большой комнате собралось около ста ученых. Авдеев стоял в центре, Мария бдительно сидела рядом. Варобеев обратился к Марии со следующей речью:

– Мария Сергеевна! Перед вами лучшие умы человечества. И эти умы хотят обратиться к вам с просьбой. Дело в том, что мы уже многое знаем о вашем муже. То есть о том, что в нем заложено. Он живет за счет световой энергии. Он умеет, присутствуя здесь, каким-то образом присутствовать где-то еще. Он – человек будущего. Вернее, в нем находится информация о том будущем, какое у нас может быть. И о тех опасностях, которых мы можем избежать. Мы пытались побудить вашего мужа поделиться информацией, достучаться до его разума. И уже стало получаться, вы сами видели. Но ни звуков, ни рисунков мы расшифровать не можем. И вряд ли это получится – нет зацепки, нет ключей. Однако изучение внешних проявлений – архаика. Есть новейшие методы, позволяющие проникнуть в сознание человека. Но для этого нужно разрешение. Если не самого объекта, то тех, кто имеет право.

– Значит, от меня все зависит?

– Увы. То есть – к счастью.

– А что будете делать? Электроды какие-нибудь в голову вставлять? Облучать?

– Ну, не вставлять, и не облучать... Вернее, в абсолютных безопасных пределах... Это трудно объяснить, понимаете? Я и сам, если честно, в этой аппаратуре не разбираюсь.

– Вы вот что скажите, только в глаза глядите мне: ему может стать хуже?

Глядеть в глаза женщинам для Варобеева было привычным делом. Десятки, а то и сотни женщин были ведены в заблуждение его виртуозно честным взглядом. Но Марию он обмануть не смог. Она лишь горько усмехнулась, видя его старания. И сказала:

– Ясно, гарантии не даете.

– А что вы имеете в виду? – стал изворачиваться Варобеев.

– Я имею в виду: он помереть может от этого?

– Нет! – по-солдатски быстро ответил Варобеев.

Мария недоверчиво хмыкнула. Кто-то из сидящих сердито кашлянул. Варобеев, оглянувшись, исправился:

– Один процент вероятности. Один. Понимаете? Девяносто девять процентов, что все будет нормально. Даже при операции на аппендиксе не дают такой гарантии. Даже при гриппе! А мы еще заодно, возможно, вернем его в исходное состояние.

Все закивали, только французский ученый потупился. Дело в том, что один из астронавтов согласился на подобные исследования. Слишком его замучили собственные неадекватные поступки, он признавался в агрессивном настрое против жены и детей, которых до полета в космос обожал. Увы, после экспериментов подопытный почувствовал такой прилив необъяснимой ненависти, что начал гоняться за домочадцами с кухонным ножом. Когда его схватили, он без тени смущения признался, что хотел сначала зарезать жену и детей, а потом истребить всех землян, недостойных проживать на своей планете.

Но, как истинный француз, профессор не мог позволить себе огорчить женщину, поэтому промолчал.

– Один процент! – повторял Варобеев. – Соглашайтесь!

– Хоть один, да есть. Я рисковать не хочу.

– Послушайте! – внушительно сказал один из сидящих, солидный человек, абсолютно лысый, с чертовски умными глазами, глядевшими сквозь очки. – Мы могли бы пообещать сто процентов, потому что на самом деле так оно и есть. Один процент – это учет случайности. Невероятной, но возможной. Это просто страховка, это научная честность. На самом деле этого одного процента не будет, даю вам личную гарантию.

Мария выслушала и ответила ему:

– А какая была вероятность, что шаровая молния залетит в нашу квартиру?

– Близкая к нулю, – без лукавства ответил солидный человек.

– Вот. А залетела.

Тут вступил премьер или президент.

– Мария Сергеевна, вы смотрите на всё со своей стороны. А я вам предлагаю посмотреть со стороны человечества. Миллиарды людей недоедают, у них нет нормальной питьевой воды, крыши над головой. А почему? Энергия – вот ключевая проблема. Будет энергия – будут счастливы все! Все человечество.

– Да уж. Человечеству сколько ни дай, ему все мало будет, – не согласилась Мария.

– Какие философские рассуждения! – сказал некто, судя по напряженному голосу, начальственно раздраженный, но сдерживающийся.

– А как надо рассуждать?

– Рассуждать надо просто, – сказал Варобеев. – Цивилизация, Мария Сергеевна, имеет шанс сделать сразу огромный шаг вперед!

– А зачем впереди самих себя бежать?

– Опять философствует, – пробормотал раздраженный.

– Я не философствую, – повернулась в его сторону Мария. – Речь о моем муже идет. Вот и вся философия. Человечество ваше, оно без моего мужа обходилось и дальше обойдется. А я нет.

Долго уговаривали, убеждали, улещивали Марию. Начали обещать разные блага: поместье в Подмосковье, гарантированное высшее образование для дочери в любом университете мира, пожизненный ежемесячный доход семье размером в пять тысяч долларов. Но она была, как и Андрей, нечувствительна, ничего не хотела слышать. Требовала, чтобы ее опять вернули домой вместе с мужем.

И их, что ж делать, вернули – ночью, тайком.

Обнаружив утром внизу и на деревьях людей с кинокамерами и фотоаппаратами, Мария вышла на балкон и выплеснула на них ведро воды.

– Будете надоедать, я и стрелять начну, – пообещала Мария.

И они все постепенно разбрелись.

А вскоре про этот случай забыли – новость затерлась другими новостями, интерес потребителей информации угас, а потом и вовсе иссяк. Ученые и исследователи тоже смирились с фактом невозможности использовать таящуюся в Авдееве информацию. Мелькнул слух, что иностранная разведка пыталась выкрасть Авдеева, но засланную группу захвата обезвредила ФСБ. Скорее всего, это было досужей выдумкой.

Проходило лето. Мария работала, не боясь уже оставлять Андрея, хотя запирала его на три замка. А сам он, на каком месте оставишь, на таком и оставался. Какая-то жизнь, возможно, в нем происходила, но внутри, а снаружи ничего не заметно было: стоит и стоит. Но Мария общалась с ним, рассказывала о работе, о новостях жизни, вспоминала прежнюю жизнь. Иногда плакала.

Однажды вечером было так же сумрачно, как тогда, когда к ним залетела шаровая молния. И так же дождь собирался, но не пошел, так же молнии польхали и впустую гремел гром. Мария хоть и боялась, но не стала закрывать балконную дверь. Парусом надувался тюль, прохладный ветер гулял по комнате, предвещая неминуемую осень. Мария смотрела за окно и вдруг, сложив руки, заговорила:

– Ну, прилети! Только ты поможешь! Прилети и сделай что-нибудь! Пожалуйста!

Она умоляла, она всякими словами уговаривала шаровую молнию прилететь еще раз и сделать обратное дело, вернуть ей мужа.

Но, конечно, никакая молния не прилетела, потому что это было бы слишком невероятно.

Мария выбилась из сил и пошла на кухню приготовить себе чаю, потому что у нее пересохло в горле, и вдруг услышала:

– А у нас пиво есть еще? Что-то жажда у меня сегодня, будто целый день не пил.

Так Андрей Авдеев без видимых причин пришел в себя. Мария рыдала, смеялась, опять рыдала, опять смеялась, он недоумевал. Кое-как она успокоилась и рассказала ему все. Андрей сначала не поверил. Заставил еще рассказать. Опять не поверил. Мария рассказала в третий раз. Так подробно, с такими деталями, что Андрей наконец понял: она не обманывает. Да и зачем?

Уже через пару недель они жили так, будто ничего не произошло, потому что Марии не хотелось ничего вспоминать, а Андрею нечего было вспоминать. А чего ты не помнишь, считал он, того для тебя и не было.

Во время непогоды, когда возможны молния и гром, они плотно закрывают все окна, дополнительно еще их занавешивая, словно давая знать напугавшему их космосу, что их нет дома.

Но когда Андрей остается в квартире один, он берет лист бумаги, карандаш, закрывает глаза и рисует. Потом открывает глаза, смотрит на причудливые непонятные изображения, начертанные будто и не его рукой – слишком искусно и красиво, морщится, трет лоб... А потом комкает лист и швыряет его в мусорное ведро.

Настя ЗАПОЕВА

Я скажу тебе с последней прямой...

Осип Манделъштам

нас накрывает тьмой
как жёстким одеялом
а помнишь с прямой
последнею бренчалю

под окнами «Кино»
пока не надоело
бетона торжество
над нами костенело

дыханием земли
с её песком и глиной
нам некого простить
а жизнь не будет длинной

играй в своё бо-бо
лечи щегла зелёной
всё будет как в кино
порвётся там где тонко

Яне Дягилевой

девка платья под водой просила
той же ночью платье поседело
на все нитки за ночь отсырело
жидкий хлеб усопшему не пара

что ж ты девка платья не примеришь
или нечем плакать или поздно
только нитки редкие седые
выдают повадки воровские

гибель только гибнущим не пара
рыбы ходят косяком за хлебом
жидким хлебом плоти поминают
и далось ей платье под водою

Настя Запоева родилась в 1976 году в Абакане. Училась в Томском университете. Живёт в США, в Калифорнии, в город Ирвайн. Публиковалась в сетевом журнале TextOnly, «Крещатике». В «Волге» (2016, № 7-8) рецензировалась книга «Почти красиво» (М.:Воймега, 2016).

так уже давно никто не носит
носят только пули заводские
как письмо под сердцем у русалки
как отрез на платье пусть поносит

здесь дети точно с букваря
подкармливают птиц
нам умирать уже нельзя
мы только родились

прохладно жить мерси боку
за этот птичий грай
пищит сквозняк в твоём боку
но ты не умирай

но ты и с дырочкой в боку
от булки покроши
никто не мука никому
спокойны малыши

им дух лукавый и пустой
не помешает спать
он крутит шарик голубой
и скоро всем вставать

мерси боку за эту жизнь
с тик-таканьем глухим
здесь и оладьи удались
и вкусно пахнет дым

за это песенка моя
мерси без дураков
и дети точно с букваря
ушли кормить щенков

Но я иду по шаткой пене моря...

Афанасий Фет

по шаткой пене моря
кораблики бегут
здесь пена от мотора
и на воде мазут

здесь божия коровка
по суше семенит
ей улетать неловко
но некому ловить

и отпустить за хлебом
завяла лебеда
а ей лететь на небо
за хлебом навсегда
уже не нужно плакать
нет слёз когда вода
одна сплошная слякоть
и снежная крупа

Владу Колчигину

если воздух буквы зряч
самолётику легко
он летает навсегда
ходит за руку с тобой

вот и холод наступил
неожиданно и вдруг
если сядешь у окна
из окурков выйдет сад

самолётник выходи
надо садик прополоть
там из всякой ерунды
буквы тянутся к теплу

к тучке выдоха твоей
к ручке садика дверной
просят кошек покормить
в садик просятся пойдём

вот воробей не разобравший нот
и снегири от смерти убегают
по снегу семенит домашний кот
и на ходу уже не замечает

весь этот бесполезный страшный мир
в котором мы чужим теплом согреты
а человек несёт в пакете сыр
и прочие полезные предметы

здесь будем незаметно умирать
и вспоминать пакет с халвой и сыром
трамвай на остановке догонять
и о семье беседовать с кассиром

На приход весны

*...лети мне в клювике цветок,
волнуясь, чибис!*

Владимир Гандельсман

неси мне в клювике своё
продлёнку мая
не пенье подлинное но
не подражая

разлуке в общем-то с землёй
и с ней прощанье
как в песне пелось так и пой
своё незнанье

слов извиняя речью как
игрой пластинку
не песенку а так пустяк
цветок травинку

по пустякам и вспомнят нас
ах если вспомнят
и сделают потише газ
на кухне комнат

качая как бы полумрак
огнём неярким
и удивится чибис как
каким подарком

мы извиняем тишину
что покачнулась
лети мне в клювике весну
она вернулась

приходит тупая усталость
от дёрганой рыбки в пруду
она надавила на жалось
да так что уже не смогу

смотреть как разводит губами
по воздуху тихо скорбя
животное но с плавниками
похожее столь на меня

что леска впивается в пальцы
крючок застревает в губах
мы видимо с ней постояльцы
и страшен размолвки размах

что нас примиряет с друг другом
но не избывает вины
труда нескончаемым блюдом
с предчувствием скорой беды

Песня Эвридики (2)

это белочка просто была
Андрей Чемоданов

это белочка а не Вергилий
повредившись немного ку-ку
я за нею хожу без усилий
с тесной дырочкой в правом боку

всё колышется как на прищепках
и совсем стекленеют глаза
потому что в руках её цепких
пойло держит свои тормоза

от улыбки её бессердечной
мне становится даже светлей
когда я выхожу на конечной
навестить неженатых друзей

в её лапках пушистых и цепких
тормоза от водяры лежат
всё колышется как на прищепках
и нельзя оглянуться назад

тебе говна ещё и ложку
мне папа в детстве говорил
меня катают в неотложке
он часто прав с полочки был

что жизнь катается с мигалкой
трясёт с устатку потолок
и никому тебя не жалко
а про Христа он не волок

теперь пельмени внутривенно
на поворотах вводят мне
и жизнь продолжится мгновенно
чтоб не начаться в этой тьме

она катается с мигалкой
должно быть разгоняет мглу
и мне отца бывает жалко
не знаю даже почему

Джунгарский Алатау

За окном трепещет на ледяном ветру то, что осталось от цветущей акации – немного сухих листьев и узкие сумочки с семенами-фасолинками.

Еще вчера они трепетали от знойного ветерка, зеленые и живые, роняли белый цвет.

На Рождество ветки покрывал иней, как дождик из фольги.

Дереву это все равно. Его жизнь сосредоточена глубоко внутри, куда она отступила временно, как муравьи в свой муравейник.

Деревья не замечают человека, им плевать на него, хотя он и старается делать для них побольше зла.

Никто не любит человека, всем бы сразу полегчало, если бы люди исчезли или вымерли. Одни собаки возлагают на человека надежды, эти глупые, жалкие, обманом выманенные из леса создания.

Один директор велел рабочему спилить бензопилой два дерева – липу и акацию.

После этого у него разбухло колено и ему сделали операцию.

Тогда он дал команду спилить высокие стройные тополя – и попал в больницу с грыжей.

Тогда он взял и порезал яблочный сад, и пни плакали сладким соком. Теперь ему уже не выйти из больнички, но нет сомнения, что дай ему волю, он вернулся бы и довел дело до конца.

Если деревья не трогать, они живут долго, иногда вечно. Люди живут мало, но как для них тоже прилично. Древние греки полагали пределом человеческой жизни 70 лет. Для Украины это и сейчас остается справедливым. Хотя и здесь встречаются исключения.

На автобусной остановке стояли и спорили о политике два старика. С ними были старые пузатые портфели, вроде того, с каким выступал Жванецкий.

Из портфелей выглядывали ручки банных веников, что придавало старикам забытый советский лоск. Старший скривил лицо и презрительно воскликнул:

– Двадцать пятого года? Да ты еще писюн!

«Черт поberi!» – подумал я.

Моя бабушка Катя с Кубани родилась в 20-м, а в 1974-м уже умерла. А дед Василий Михайлович был с 13-го и дожил до 1973-го.

А у одного моего друга по фамилии Лях на это Рождество умерла мама. Она была с 1924-го; ей было 93.

Лях в душе обрадовался, т.к. совершенно не представлял, что бы делал с ней дальше. Денег на сиделку или на дом престарелых у него не было. Маму привезли из села, где она жила последние тридцать лет, и Лях поселил ее в детской комнате. Она сидела дома одна по полдня, и Бог знает, чем она занималась. Например, она могла поджечь квартиру, ведь старье – как малые.

А так она побыла два месяца и умерла.

Чего она только не видела в своей жизни – и голодомор, и раскулачку; в войну 41-го ей уже было 17, и ее чуть не угнали в Германию. Еще хорошо, что она была не еврейка, а полька – в Житомире убили всех евреев.

А моей бабушке Кате в 41-м было 21, и было двое детей – моя мама Галя и дядя Юра. Они жили под Майкопом в станице Ярославской, и у них в доме стояли гитлеровские кавалеристы,

Сергей Зельдин родился в 1962 году в станице Ярославская Краснодарского края. Жил в г. Волжском, с 1974 года в Житомире (Украина). Публиковался в журналах «Волга», «Крещатик», «Новый берег».

наверное, целый эскадрон. В детстве меня всегда мучил вопрос, почему это фашисты не убили деда Васю. Он к тому времени уже вернулся с фронта, без пальцев на руке и весь в осколках. Мне это казалось нечистым делом.

Я несколько раз допытывался у бабушки, не была ли она, случайно, юной связной у партизан, и ужасно удивлялся, что нет.

А эта покойная мать жила здесь, в Житомире, без мужа, работала в торговле и вывела Люха в люди, но все же, видимо, не до конца, если не оказалось денег на дом престарелых.

Если бы я хотел сострить, я бы сказал, что все пережила она, лишь не пережила Революцию достоинства.

Но это уже будет плагиатом из «Золотого тельца»:

– Такой печальный факт, граждане...

Вообще, политика – это, конечно, сплошная грязь. Когда спартанцы были с визитом у афинян, в тот редкий промежуток, что они не воевали друг с другом, они поинтересовались, отчего у столь великого народа доблестными, достойными мужами управляют какие-то засранцы, без ума и совести? Что могли им ответить афиняне? Конечно, ничего. Мудрые, честные, благородные люди в политику не идут. Платон предлагал в своих «Законах» заставлять их принудительно, под страхом изгнания и даже смертной казни.

Слава Богу, в Украине нет таких насилий над личностью, и ей управляют только те, кто сам этого очень хочет.

Городской голова обратился к населению с просьбой быть людьми и не взрывать на Новый год петард и фейерверков, чтобы не волновать и не травмировать ветеранов войны на Донбассе.

Но все взрывали. Удивительно, как равнодушна жизнь к указаниям бургомистров.

Жить стало намного забавнее, хотя и тяжелее.

В одной песне, попавшей в радиозэфир согласно «мовной» квоте, певец пел о том, «як солодко співають в нэби соловьи». Надо было кому-нибудь его предупредить, что соловьи не поют в небе, как какие-то жаворонки, а поют, сидя на дереве.

Я лежу и смотрю в окно, где сгущаются январские сумерки. Я закладываю ногу на ногу и грущу, что я уже не молодой, а старый, что я 25 лет не был в кино, не надевал ни разу картонных очков и даже не представляю, что в них видно. Так, наверное и помру, не увидав этого чуда.

Лезут и другие грустные мысли – о несчастных раках, сваренных заживо и съеденных на Волге пятьдесят лет назад. Раками до краев была полна ванна; сверху они были прикрыты мокрым мешком и потрескивали, как горящий валежник.

...Горькие мысли о кошке, ободранной и худой, замученной мальчишками лет триста тому назад...

И, конечно, как всегда, я думаю о Джунгарском Алатау.

Всю свою жизнь, с тех самых пор, как трещали, лезли из ванны и падали на пол раки, я мечтаю об этом райском уголке. Но райских уголков в мире много, а такой – только один.

Я долго не знал, что это Джунгарский Алатау; у нас в семье его называли: «там, в Казахстане», или – «в Айна-Булаке».

Разумеется, детская память все переврала и изукрасила. Наверное и горы там были не такие уж и снежные, и пустыня с черными палками саксаула не такая и желтая, и речка с забытым названием не такая уж голубая и быстрая...

В 68-м папу, начальника электроцеха огромного химкомбината на Волге, в городе Волжском, призвали в армию. Папе было 28 лет, и по законам того времени он обязан был отслужить два года лейтенантом куда пошлют.

Он взял с собой свою семью, меня и маму, и нас послали в Южный Казахстан, на китайскую границу, в место, красивее которого невозможно придумать. Папа командовал зенитной ракетой, а может, несколькими ракетами.

Наш военный городок прятался в эдемской долине, окруженной горами, речкой, пустыней с барханами и цветущей как сад степью, протянувшейся до самого конца Евразии.

А где прятались ракеты, было военной тайной, о которой не знала даже мама.

Ближайший аул, где я пошел в первый класс, назывался Айна-Булак, а ближайший город, вернее, туземный городишко с караван-сараями – Талды-Курган.

Это уже потом, когда мне было уже сорок пять лет, я разглядывал карту в Малом атласе мира и узнал название этого места – Джунгарский Алатау. Название мне так понравилось, что я запомнил его наизусть.

Дальше, по всем законам описательного жанра, должны были бы последовать описания бездонного, нигде больше не виданного неба; и как горы покрывались сначала подснежниками, потом тюльпанами – от белых до фиолетово-черных, а под конец становились алыми от маков; рассказать о рыбке маринке, живущей в горной речке, рыбке белой и гладкой, которой нужно отрубать ядовитую головку – это, впрочем, не достоверно; о стадах мохнатых пони, которых пасли древние чабаны; о странных лесах и горах; вспомнить солдатский клуб, где я был потрясен до глубины своего детского сердца ужасами «Призрака замка Моррисвилль», веселой «Трембитой» и не до конца понятым «Золотым теленком».

Мы, кучка октябрят, выступали перед солдатами и офицерским составом и пели со сцены:

Поедешь на север, поедешь на юг,
Везде тебя встретит товарищ и друг;
Моя Москва-а, ты-ы всем близка-а;
Будь смелым и честным в работе своей
И всюду ты встретишь друзей!

А когда привозили кино, мы сидели в первом ряду, и когда посреди ленты вдруг ревела сирена, все вскакивали и убегали, и оставались только мы и молодые лейтенантские жены.

Впрочем, что касается «Золотого теленка», то однажды, когда мы с папой шли ночью домой, в который раз посмотрев этот фильм, он приоткрыл передо мной завесу тайны, задумчиво сказав: – Вот видишь, Серега, Бендер – хороший ведь парень, а как любит деньги...

И мне все стало ясно.

А когда мы в другой раз шли с кинофильма, где в финальной сцене узников концлагеря обмывают под душем, я спросил папу:

– А вода была холодная?

И он сурово ответил:

– Ледяная...

Итак, я должен бы был написать целую повесть о красоте Джунгарского Алатау, который снился мне до сорока лет, но, к счастью, я совершенно на это не способен.

И все же, друзья, когда судьба забросит вас на юг Казахстана и вы будете бродить в окрестностях Талды-Кургана, не зная чем себя занять, то поднимитесь вверх по течению горной речки до аула Айна-Булак и, если там уже нет ракет, вы увидите зачарованную долину такой красоты, перед которой бледнеет хваленый Ривердейл из «Властелина колец»!

Ковбои Дикого Востока

Уличное движение в украинских городах напоминает не то штурм Кракова запорожским войском, не то гонки колесниц в Древнем Риме, не то американский Дикий Запад.

Пожалуй, все же Дикий Запад тех времен, когда законы еще не были писаны и их заменяли меткий кольт и быстрый томагавк.

Каждый украинский водитель имеет в машине набор инструментов, необходимых для езды по диким прериям: молотки, отвертки, разводные ключи, монтировки, бейсбольные биты, газовые пистолеты, винчестеры, гранаты.

Возвращаясь к бейсбольным битам, не будет преувеличением сказать, что по количеству бит на душу населения Украина стоит в одном ряду с США, Мексикой и Кубой, хотя бейсбол как вид спорта у нас пока не развит.

Что касается мачете, то эта принадлежность рубщиков сахарного тростника (мачетейрос) особенно полюбилась велосипедистам. Я сам видел из окна трамвая, как один велосипедист

жестом Конана-варвара достал большое мачете из ножен за спиной и показал его водителю «Ландкрузера», после чего участники движения разъехались, исчерпав инцидент в самом его зародыше.

Поэтому нет ничего удивительного в сценке, которую я недавно наблюдал, уже не из окна трамвая, а из-за столба на автобусной остановке.

Вдруг дико взвизгнули тормоза, пешеходы бросились врассыпную, из двух машин, маленьких легковушек, изрыгая проклятия, вылезли водители – маленький старичок с профессорской бородой и тучная дама в высоком шиньоне. Визгливо обложив друг друга матом, отчего суть дела не стала яснее, они, не говоря больше ни слова, ринулись к багажникам своих железных пони и принялись в них лихорадочно рыться. Время от времени они выглядывали из-за поднятых крышек багажников и кричали друг другу: «Одну минуточку!.. Погодите!.. Сейчас я вам покажу!.. Уже достаю!..»

Наконец, враги сошлись в рукопашной и, не доходя метра четыре один до другого, остановились и оглядели оружие соперника. Профессор держал в слабых старческих руках деревянный молоток-киянку, запятнанный чем-то похожим на засохшую кровь, а барыня с разметавшимся шиньоном – зловещего вида кусок шланга с явно заделанной в него свинчаткой.

Постояв друг против друга, как коты, которые раздумали драться, но и не решаются первыми оставить поле боя, они, наконец, отступили задом, обменялись последними угрозами, залезли в кабины своих малолитражек, хлопнули дверками и разлетелись.

Нет сомнения, что когда Украина преодолет этап Дикого Запада, и его сменит эпоха железных дорог и пароходов, все потихоньку наладится и дело обойдется без гражданской войны и линчеваний по языковому признаку.

Эдуард Эдуардыч и царизм

– Украина летит на всех парах в тартарары! – воскликнул Эдуард Эдуардыч и, нервно хохоча, упал на постель. – Да! – крикнул он. – На всех парусах – в задницу!

Он поймал насмешливый взгляд Брюса Ли и сказал Брюсу:

– Сейчас бздэньки и мадьяры с мясом оторвут Закарпатье, Путин оттяпает Новороссию, оставят нам Киевское княжество, и будем мы как японцы в «Гибели Японии»!

И слезы брызнули у него из глаз.

Эдуард Эдуардыч был образованным человеком – у него было два образования. В разные годы он окончил кооперативный техникум и Шведский институт международных отношений, открывшийся на базе детского садика «Золотой Петушок». Но то ли второе образование стало перебором, то ли по каким-то философским причинам, но последние восемь лет Эдуард Эдуардыч служил сторожем. «Ночной сторож при заброшенной автобазе!» – говорил он с юмором, когда кто-то его спрашивал: «А вы кем?» Конечно, это была шутка – ни к каким автобазам Эдуард Эдуардыч отношения не имел, а сторожил по ночам гастроном «Нептун» на Восточной.

Тем не менее вы сразу видели перед собой непростого человека, мужчину нелегкой судьбы, сложного, изломанного, вроде Франца Кафки. Сходство с Кафкой усугублялось еще и тем, что в молодости Эдуард Эдуардыч тоже классно писал, и в «Полесском комсомольце» были опубликованы два его рассказа: «Чернобыль – быть и небыть» и «Цыганская вольница». Окрыленный Эдуард Эдуардыч написал еще штук десять, но их уже не напечатали. Так его мечты и не сбылись. Но долго еще потом, кадрия девушек, он говорил: «Мой юный друг, позволь мне тебе представиться: Эдуард Колодницкий, писатель, пишу и – печатаюсь!..» – и дарил на память газету со своим «Чернобылем» или «Вольницей».

Не сложилась и семейная жизнь Эдуарда Эдуардыча. Трижды он обменивался кольцами и все три раза неудачно. Ему так и не удалось встретить ту единственную, которая смогла бы его оценить и полюбить как следует.

Однажды Эдуард Эдуардыч лежал, смотрел по телевизору документальный фильм о буднях американских джи-ай. Толстененькая низенькая афроамериканка, похожая на Колобка в

камуфляже, на вопрос журналиста, что заставило ее заняться таким тяжелым, неженским делом, ответила:

– Мне нужно содержать своего мужчину.

– Но, может быть, – осторожно спросил журналист, – вашему мужчине стоило бы поискать работу?

– Нет! – сказала афроамериканка. – Мой ниггер не для этого! Он работает в моей постели!

К сожалению, Эдуард Эдуардыч не встретил такую женщину, сколько ни искал.

Он бы с удовольствием женился и в четвертый раз, так как очень любил секс («сэкс» – говорил он), но в 59 это уже было проблематичным.

Эдуард Эдуардыч поерзал и лег поперек кровати, а ноги задрал на стенку, на ковер с ленинградскими арабесками.

Взгляд его упал на носки, и он в который раз подумал, что нужно постричь ногти на ногах.

Эдуард Эдуардыч поиграл пальцами, отчего в воздухе запахло пошехонским сыром, и вновь отдался течению своих мыслей.

«Отчего это с нами происходит, и чем мы, хохлы, хуже турок, эстонцев или румын? И когда это началось?» – думал он. Почему-то ему казалось, что все дело в царизме. Неизвестно, откуда это стукнуло ему в голову, но только он заладил – царизм да царизм. Ему казалось, что лишь при царизме Украине и жилось хорошо. Веселые сценки из «За двумя зайцами» мешались у него с кузнцом Вакулой и Куравлевым в «Вие».

– Как упоителен жаркий полдень в Малороссии! – растроганно сказал Эдуард Эдуардыч, и опять по его щеке скатилась слеза. – Да! да! В Малороссии! В стране, где текли реки молока и меда, а теперь – крови и дерьма!..

Положительно, Эдуарду Эдуардычу стоило опять начать писать.

Эдуард Эдуардыч слез с кровати и, шатаясь, рыгая и икая, отправился на кухню. Он допил перцовку и доел зеленый творог из холодильника.

В черном квадрате форточки он увидел луну и сказал ей:

– Царизм!.. Был бы царизм, было бы чики-пики...

Куриные пупочки

Коля постучал в кабинет. За дверью всхрапнула лошадь.

Он подождал и постучал снова. За дверью негромко застонали.

Коля отошел и сел на подоконник.

Наконец клацнул замок.

– Ком цумир! – крикнул голос Руслана Петровича. – Войдите!

Коля зашел в кабинет. Директор Руслан Петрович, молодой человек с бородой, сидел за столом и писал, а на кожаном диване сидела бухгалтер Лида Жоржевна и читала «Правительственный курьер».

– Купил, Руслан Петрович, – сказал Коля, подошел и положил на стол пачку «Мальборо-лайт».

– Молоток! – сказал Руслан Петрович и вышел из-за стола. Ширинка у него была расстегнута. – Денег хватило?

– Да, конечно! – спохватился Коля и достал сдачу.

– Это тебе, за ноги, – сказал директор и махнул рукой.

– Да не надо! – сказал Коля и положил сдачу, пятьдесят две гривны, назад в карман.

– Иди, и чтобы у меня не пьянствовать! – сказал Руслан Петрович, мановением руки отпуская Колю.

Утром Коля подмел сторожку, погасил фонари, дождался сменщика и побегал на Житный рынок, в куриный павильон. Он спешил захватить куриные пупочки, пока их не расхватали. Пупочки стоили тридцать девять девяносто и были славным мясцом. Конечно, свиные обрезки

были еще лучше, но они стоили намного дороже – шестьдесят гривен. К тому же качество обрезков оставляло желать лучшего, и теперешние обрезки были уже совсем не те, что вы покупали три года назад. Дешевле пупочков были только гузки – волосатые курины задницы, но там было нечего есть.

Коля встал за пупочками. Собственно, научное название этого субпродукта было «куриные желудки», но «пупочки» звучало намного аппетитнее. Пупочки навевали воспоминания о прошлых жизнях, о книге «О вкусной и здоровой пище» 1937 года издания, об угаре нэпа, о царизме. Ах, вспомните – в трактире Тестова балалайки грянули «Боже, Царя храни!», желто вспыхнули лампочки, и вы сказали:

– Ну-с, Кузьма, сооруди-ка сперва водочки... К закуске чего-нибудь.

И половой Кузьма, старик в шелковой косоворотке и в пенсне, похожий на профессора Преображенского, склонил голову: – Слушаю-с.

И между вами пошел такой разговор:

– Сказывай, чем угостишь.

– Балычок получен с Дона янтаристый...С Кучугура. Так степным ветерком и пахнет... Белорыбка с огурчиком, манность небесная, а не белорыбка... Икорка белужья парная... Паусная анчувская... Поросеночек с хреном... корочка розовая, хрустящая...

– Так, а чем покормишь?

– Селяночку с осетриной, со стерлядкой, живенькая, как золото желтая...

– Расстегайчики закрась налимьими печенками.

– Натуральные котлетки а-ля Жардиньер, телятина как снег белая, лососинка Грилье... Зеленцы пощоботить прикажете? Спаржа как масло.

– Ладно, Кузьма, остальное все на твой вкус. Ведь не забудешь?

– Помилуйте, сколько лет служу!..

И уже курится селянка, и розовеют круглые расстегаи с вязигой и осетриной...*

Расстегаи...

Конечно, ничего подобного Коля помнить не мог – в той жизни он был не человеком. И все же пупочки затрагивали какую-то таинственную, дребезжащую струну Колиного сердца.

Он потолкался в колбасных рядах, поглазел на живую рыбу, молчаливыми косяками стоявшую в грязных эмалированных ваннах, вышел с рынка и пошел домой. Идти было далеко, но Коля обожал ходить пешком. Он шел, высматривал в толпе полненьких школьниц, ощущал приятную тяжесть пупочков, легкость своего худого, закаленного, собачьего тела. Да и какие наши годы – всего-то пятьдесят девять! Коля с полным основанием надеялся дожить до пенсии, а тогда – ох, что будет тогда! Он в который раз сложил в уме пенсию, 1500, со своей зарплатой, 1600, и опять получил такую цифру, что зажмурился, как от солнца. Вот когда заживем! Тогда можно будет и курить снова, и жарить селедку, и шкварить яичню с колбасой и салом! А уж где взять под это дело сто грамм, Коля был в курсе. Есть одна точка, где за полторачку паленки возьмут всего шестьдесят, даже пятьдесят пять! Три поллитры по восемнадцать тридцать три! Это же можно жить как у Христа за пазухой!

Коля разулыбался и надал ходу. Во все стороны катились и ревели сигналами, будто переругивались матом, машины – джипы, джипы, одни только джипы. На улице имени Второго Майдана в мусорных баках рылись бомжи, похожие на воробьев в навозной куче. Хотя, пожалуй, не на воробьев, а на крыс, мокрых и грязных.

Коля вбежал в свой Малый Бандеровский и одним духом взлетел на пятый этаж старинной, красного кирпича, хрущевки.

Коля поставил пупочки на плиту и пошел прилег. Он стал смотреть новости, переключая со «112-го» на «Новыны Житомира» и с «Ньюс ван» на «ЧП».

Сутки прошли вхолостую – никто из депутатов, прокуроров, бизнесменов не был убит, подорван или хотя бы искалечен. Коля наморщил нос и разочарованно выпустил воздух через сложенные трубочкой губы. Разве что вот – «в Киеве возле ночного клуба “Тики-так”

изнасилована девушка-снайпер, прибывшая с фронта на побывку. Аналитики сходятся на том, что за этим стояла рука Москвы».

– Р-рука Москвы-ы!.. – пропел Коля и засмеялся.

С кухни уже доносился соблазнительный аромат куриных пупочков. Коля пошел и наложил себе целую тарелку.

*Все названия блюд и продуктов подлинны. См.: Гиляровский В.А. Московские трактиры, 1897. – *Прим. автора.*

Два друга, Люфик и Серега

Сначала друзья отрывались в ресторане грузинской кухни «Пиросмани».

Там было круто, хотя грузинскую кухню представляли лишь пирожки с творогом, выдаваемые за хачапури, и коньяк «Шабо».

Пьяные друзья танцевали лезгинку – вставали на цыпочки, семеня ногами и взмахивали руками, как орлы.

Две симпатичные телки улыбались и кидали им маяки, очевидно, приняв за гостей из солнечного Азербайджана.

– Кр-р-рошки! – взревел в упоении Люфик, но тут из сортира вернулся их кавалер, похожий на Джека-потрошителя, и Люфик сразу отвял.

Они допили «Шабо» под последний хачапури, Люфик расплатился, и друзья весело вышли на улицу. Была середина марта, но было минус пятнадцать.

Два друга постояли, соображая, куда теперь. Быстро темнело, вдоль улицы мел снег.

Они пошли к Сенному рынку, чтобы ветер дул в спину, и вскоре увидели красные буквы: «Зин-Дан».

Они вошли и сели за столик в маленьком зале.

Серега никогда еще не бывал в стрип-баре, а Люфик был тертый пацан и ходил сюда сто раз.

Зал был пустой, только в углу сидели две тетки и влюблено глядели друг на друга.

На эстраде танцевала восточная девушка, «работала арабику», сказал Люфик.

Люфик знал все. В городе было училище культуры – «кулек» – и лучшие выпускники этого «кулька» ездили в Турцию танцевать танец живота и так далее. А те, кто плохо учился, «работали арабику» в «Зин-Дане».

Восточная красавица в блестящем лифчике, прозрачных шальварах и в тапочках спустилась с эстрады и в танце подошла к ним. Половину ее лица скрывала занавесочка, как у Анжелики в «Анжелике и султана». Глаза прекрасной пери загадочно косили, как будто она курнула гашиша из кальяна.

– Здорово, Люфик! – сипло сказала она, уселась к нему на руки и потерлась.

– Привет-буфет, Натанчик! – сказал Люфик и плотоядно ощерился.

Он достал из кармана двадцать гривен, которые положил туда заранее и, грязно смеясь, стал засовывать их девушке за резинку ее шаровар.

Сереге почему-то стало очень обидно за Наташу и стыдно за товарища. Он не был ханжой, не раз видал порнуху и очень любил заниматься любовью с женщинами, если ему выпадала такая возможность, но сейчас ему было не по себе.

Танцовщица пересела на руки к нему и потерлась так, что у Сереги глаза полезли на лоб. Его мужское естество мучительно возстало. Запах подмышек, духов, леденцов чупа-чупс сводил его с ума. Пахло женщиной, сексом и смертью.

Серега умоляюще посмотрел на Люфика. Тот украдкой за спиной Наташи передал другу деньги, и Серега неверной рукой стал совать купюру в шаровары, промахнулся и десятка упала на пол.

Стриптизерша шаловливо взъерошила его седую шевелюру, так что посыпалась перхоть. Она подобрала с полу десять гривен и протанцевала обратно к эстраде. Играла веселая арабская музыка.

На улице была ночь.

– Будешь? – спросил Люфик. – Я договорюсь.

– Она мне во внучки годится! – сказал Серега.

Люфик цинично заржал как жеребец.

Старость

– Брови стрихты будем? – спросила девочка-парикмахер.

– В смысле? – хохотнул Арсений Ильич, думая, что она с ним шутит.

– Пора стрихты начинать, – рассудительно сказала девочка. – Торчат как у старика, – она выдала розовый шарик «жуйки» и втянула его назад. – И уши побрить.

– Давай, – сказал Арсений Ильич и почему-то обиделся.

Парикмахерша включила машинку и стала быстро, как барана, стричь.

Скосив глаза, Арсений Ильич наблюдал, как срезанные локоны усыпают простынку на груди и плечах, и вдруг поразился, до чего же они мертвого, серого колеру.

Арсений Ильич посмотрел на себя в зеркало. Насколько он помнил, там должен был отражаться моложавый, интересный мужчина, похожий на Стинга. Но он увидел совсем другого человека – из парикмахерского зеркала на него, скривившись, глядел какой-то незнакомый сивый мерин, морщинистый урка из «Калины красной». У этого типа брови и впрямь торчали как у Бармалея, а уши поросли седым пухом...

Скучный и грустный брел Арсений Ильич по улице. У него было непонятное настроение.

Но июнь стоял такой шикарный, так пахла акация, девушки и женщины так энергично крутили задницами, что Арсений Ильич скоро позабыл о своих невзгодах и повеселел. Обменявшись долгим взглядом с одной дамой, он молодым тигриным движением втиснулся в троллейбус.

Его поносило и прибило к сидению, на котором, закинув ногу на ногу, ехала милая белокурая девушка, совсем еще дитя. Арсений Ильич с удовольствием оглядел ее большую грудь, шоколадные ляжки, белые трусики, доверчиво выглядывавшие из-под юбочки, приосанился и напряг бицепс руки, которой держался за поручень. Прелестное дитя поглядело на бицепс, на античный полубокс, поднялось и прижалось к Арсению Ильичу. Было очень тесно. По лицу Арсения Ильича скользнул кобелиный зайчик. Юная фея протянула свои губки к его бритому уху. Арсений Ильич прижмурился...

– Падай, дед, а то не доедешь, – сказала юная фея.

Несколько секунд Арсений Ильич стоял с удивительным лицом, глядя на эту вонючку, потом сел, строго посмотрел в окно и больше никогда уже не был молодым.

Троллейбус №6

Это был древний троллейбус, купленный в Европе для обновления парка. Может, он и не застал советских танков в Праге в 1968 году, но уж отделение Чехии от Словакии видел точно.

Иван Соломонович ехал на этом троллейбусе по делам. Он ехал и думал о всякой всячине.

Сначала он подумал о том, что какая же это гадость – секс между престарелыми супругами. Чудовищно, в сущности, когда старая жена делает минет своему старому мужу, и эта процедура уже не облагорожена ни алкоголем, ни бурлением гормонов, а осталась только привычка и чувство супружеского, почти материнского, долга.

Или вот, шахматы. Когда-то это была игра. Вся страна знала, что где-то там, в далекой холодной Швейцарии, играет Карпов и Корчной и что наш, конечно, обыграет этого предателя.

О, Карпов, это был Карпов! Иван Соломонович помнил один документальный фильм. Там, значит, Анатолий Карпов плавает в бассейне. Входит делегация ФИДЕ и спрашивает:

– Вы не видели, где сейчас господин Карпов?

– А вон он плавает.

– Господин Карпов, можно вас на минутку?

– Пожалуйста, пожалуйста!
– Вам просили передать, что гениальный Бобби Фишер куда-то пропал и теперь вы чемпион мира по шахматам!

Карпов заулыбался и сказал:

– Повезло вашему Фишеру.

И как же все радовались, как торжествовали, что древняя корона шахматных королей очутилась на голове нашего Толи!

А сейчас всем наплевать на шахматы и на шахматистов. Кто чемпион мира? Жив еще Карпов или уже нет? Где Майя Чибурданидзе? Что с Ноной Гаприндашвили?

Неизвестно.

– ...Остановка «Майдан имени Второго Майдана», – сказал механический голос.

Иван Соломонович поморщился.

А болезни? Раньше столько не болели. Может, советская власть кому-то и не нравится, но это тем, кто при ней не жил.

Классно тогда жилось, толково. Только тогда и пожили. Ну, правда, под конец было уже так себе, но при Брежневе жили чудесно. Дают тебе бесплатную квартиру, а ты носом крутишь: «Вот суки, первый этаж сунули, чтоб вы сдохли!..» А главное, душа у народа была на месте, не было этой зависти, этого контраста между богатыми и бедными. Поэтому и болели меньше и дети родились здоровенькими.

А в какой дурдом упрятали бы человека, предсказывающего войну между РСФСР и УССР? Да его бы в психушке сгноили!

Тут грубый толчок в плечо вывел Ивана Соломоновича из задумчивости. Он скосил глаза.

На Малой Бандеровской влезла мерзкая старушонка и теперь зависала над ним, вздыхая и крихтя. «Пошла ты, бабушка, в жопу, – подумал Иван Соломонович. – У меня сердце больное – могу я раз в жизни проехаться сидя?»

Иван Соломонович начал было обдумывать последствия глобального потепления на планете, но тут пришлось вставать и выходить на своей остановке.

Возле гастронома «Спутник» стояли его два друга и махали ему рукой.

Дела сердечные

Петр Алексеевич лежал на диване с сердечным приступом.

Он смотрел телевизор, по которому показывали фильм «Пассажир с “Экватора”», и иногда, не в силах сдержаться, стонал:

– О-о-о... о-о-о!..

В дверь заглянула супруга Зинаида и раздраженно сказала:

– Заткнись!

Она ушла, а Петр Алексеевич назо ей простонал:

– Господи! Сдохнуть бы поскорее!..

Сердце в его груди ныло, болело и мелко, вразнобой, частило.

Петр Алексеевич был сердечником со стажем, он страдал от сердца уже седьмой год.

Только сердечные больные знают, как это тяжело – иметь большое сердце, быть, так сказать, обрученным со смертью, или, говоря другими словами, быть со смертью на ты.

Конечно, сейчас многие лезут в больные, но больной с язвой желудка или, допустим, с вырезанной щитовидкой не думает всерьез о смерти. Она им кажется чем-то далеким, не имеющим к ним прямого отношения. И только сердечники ежеминутно ощущают всю эфемерность своего бытия, всю тонкость нити, на которой висит их жизнь, и когда мотор начинает барахлить, ложатся на диван и смиренно ожидают конца.

Правда, у Петра Алексеевича был еще не самый худший вариант – у него была всего лишь мерцательная аритмия, так, пустяк. В принципе, ее можно было вылечить, просто у него не было

денег. Надо было ехать в Киев, в институт Амосова, а там цены такие, что можно остаться без штанов.

– С вашей аритмией, батенька, до девяноста живут! – успокоил Петра Алексеевича доктор, узнав, что денег нет.

Петра Алексеевича это здорово поддержало. Он и сам так думал. Он уже столько раз собирался умирать, а сам не умер, что мало-помалу перестал бояться; перестали тревожиться и звонить родственники; перестала жалеть жена.

Правда, он немного похудел и побледнел, но от этого стал только интереснее. Плохо только, что пришлось бросить любимую работу кондуктора и пойти в ночные сторожа, а так ничего.

«В общем, – думал Петр Алексеевич, – мы еще повоюем!» И, непонятно к кому обращаясь, добавлял: «Не дождетесь!»

«Пассажир с «Экватора» закончился, начались «Акваланги на дне», тоже про шпионов. Петр Алексеевич в последнее время полюбил канал «Детский мир», а политику, которую раньше обожал, совсем забросил.

– О-о-о!.. – громко простонал он и, поглядывая на экран, стал думать свою неотступную горькую думу.

Давно уже беспокоило его здоровье жены, особенно это ее покашливание, сухое и, видимо, ставшее для нее привычным. А ведь ее мама, теща Петра Алексеевича, умерла от альвеолита. Так называется заболевание, когда легкие постепенно ссыхаются, удушья больного. Это долгая, мучительная смерть. Не передать, как горевал Петр Алексеевич на похоронах любимой тещи. Какие вареники она лепила! А какие пекла струделя – ой-ей-ей-ей!

На кладбище рабочие уронили гроб головой вниз, и пришлось доставать его из могилы, раскручивать и заново укладывать в большом гробу маленькую, усохшую тещу. Петр Алексеевич плакал как ребенок, а жене и ее сестре Анжеле Евсеевне давали нюхать нашатырь.

Петр Алексеевич не решался обращаться к супруге со своими мыслями относительно ее кашля, зная ее характер, неблагодарный и мстительный. Что ж, чему быть, того не миновать, он готов ко всему – придется, видно, доживать свой век одиноком стариком, дряхлым и никому не нужным!

Петр Алексеевич так растравил себе душу, что начал шмыгать носом. Немного успокоившись, он продолжил смотреть фильм «Акваланги на дне», совершенно испорченный украинским дубляжем.

Время от времени он машинально стонал.

В маленькой комнате Зинаида Евсеевна перекладывала вещи в шкаф.

В коробке из-под гэдэровских сапог она нашла то, что искала – свадебные брюки Петра Алексеевича. Они были еще совсем новыми, он и надел-то их всего два или три раза – ему казалось, что в них у него большая задница. «Аполлон нашелся! – раздраженно подумала Зинаида Евсеевна. – Бельведерский! Зато сейчас – ни задницы, ни рожи!» На вешалке, одетые одна на другую, висели рубашки Петра Алексеевича. Была одна очень приличная кремовая тенниска, но с коротким рукавом было нельзя. Белая рубашка была тоже приличная, только чуть-чуть пожелтел воротник.

На ноги же она планировала бежевые полусандалии в дырочку, фирмы «Саламандра». Их она купила у фарцовщика за сорок пять рублей, тех, советских. Любила она этого вурдалака, этого засранца, Петьку, ох и любила, дура!.. Сандалии он тоже почти не носил, потому что кто-то сказал, что они бабские.

На дверке шкафа висел галстук Петра Алексеевича, постиранный и выглаженный. Зинаида Евсеевна сняла галстук с крючка, задумчиво покрутила в руках, представила его на белой груди лежащего в гробу Петра Алексеевича и повесила галстук на место.

Иван СТАРИКОВ

Занимательная палеонтология

кто-нибудь конечно заявит
мол ваша поэзия вторична
пожалуй придётся разочаровать
разве что третична и четвертична
но как геологические периоды
google если что в помощь
сквозь которые слоями иногда проступают
панцирные рыбы силлабики
большие морские лилии золотого века
древовидные папоротники серебряного
гигантские футуристические стрекозы
динозавры соцреализма
постмодернистские зубастые птицы
и прочая и прочая и прочая
интереснейшая флора и фауна
бывшая когда-то живой

студентка филфака
изучает набокова
бережно расправляет крылья
стряхивает чешуйки смыслов

переводит с английского на гугловский
отрывает лапку

и спустился к нам с небес
бедный бледный белый бог
да ещё и мелкий к тому же
символизируя децентрацию субъекта
и обманутые ожидания от нарратива
то ли златокудрый
то ли тот который с дефисом
то ли вообще по name
тут собаку не выпустишь за порог

Иван Стариков родился в 1983 году в Санкт-Петербурге (тогда – Ленинград). Окончил биолого-почвенный факультет СПбГУ и магистратуру Университета Экс-Марсель. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Кольцо А», на сайте «Полутона», переводы поэзии – в журналах «Воздух», TextOnly. Участник поэтических фестивалей в России, Бельгии и Финляндии, член Союза писателей Москвы. Живет в Германии.

не то что бога оставишь
вынесли ему молочка
сидит не уходит

сократите ваш текст на четверть а лучше на треть
а вообще лучше бы нам на него в принципе не смотреть

ибо запомните видно тому лишь кто смотрит из-за руля
зачеркните же лишнее что вы себе позволя

.....

.....

ничего ничего мы на верных уже дорожк
воздух густеет от захлопнутых овертона окошк

это уже
настолько банально
что не то что в стихи взять
но и произносить лишний раз
не стоит

вот и не будем

Размышления об эффекте некоторых текстов Ивана Ахметьева

окраска
некрасовым¹

сушка
фетом

в тамбуре
бывшего плацкартного вагона
поезда канаш – чебоксары
нарастал снег
будто его мало было снаружи
где на одной из остановок
нагруженная лошадь
повезла сани

¹ всеволодом николаевичем

удаляющимся тире –
сопряжением смыслов
в стихе айги

Brahmaputra Mail¹

по железной реке против течения
мимо тэски из аш-два-о
или почтой с посылками из спящих голов
иди
по вагонам
как
по кастам
в самом последнем
место и для тебя найдётся

а может быть это кухури²
режет на две неравные части
индийский пирог
то жёлто-зелёный, то тёмно-серый
чуть-чуть покрытый сливками Гималаев
и, чтобы не вспоминать об отечестве
нет той, что вечно дребезжит в стакане
chai здесь приносят
а он уже
приятен и сладок

Rhein

оставив главного героя на берегу
этом ли разница не очевидна
в первой же главе
(беженец? политэмигрант?)
состояние не было существенно
в здешней речи реки не несут
корней тех что в его славянской равно
как нет тут и той же паронимии
но именно эта в праиндоевропейском
видимо и называлась просто Река

многозвёздная еврореальность предполагает
упреждение каждого называния (спрямлением
избавление от меандров
тальвег как госграница)
каждый блик сроднясь
с ещё одной проходящей секундой

¹ пассажирский поезд Гувахати – Дели

² боевой нож гуркхов

неподалёку во время следственных действий
спускались жёлтые водолазы
(например артелью имени гераклита
искушение упомянуть о стиксе
(кстати эта река никогда не замёрзнет
как минимум в его/
их картине мира
(предлагая всё те же
смайлики по воде
)))

вот мост железный над рекой
опять по-бунински промчался
мстинский мост
ложно тавтологичен

под стеклом соколиным
освещён кулич областной новгородский
разноцветной присыпкой дома
над бисквитной землей ещё глазурь

под солнцем в окне
было и детство на пасху

под стёкла неба

Пропуская навстречу легко идущих,
синеватый холод высказать как?
Согревай собой глянцевого полдень.
Уминать снега – назад на тропу.

Что на той стороне щурится хвойно?
Прослезится око, недвижна Ока.
Чёрные свечи и зубы дракона,
это пока всё на выбор тебе.

Это пока часть реки и часть речи.
Не убраться окружающее – белый слон,
окружаемый против света взглядом.
Туда и отсюда, всё наискосок.

Не за тем запнуться о цвет поля,
не сделав ход не смоги перейти.
Лёд посерединке весенний синий.
Руку дай, назад не смотри, идём.

Explosio et floreo

К.Г.

что заставляет нас
хорошо тебя
и меня хоть гораздо реже
возвращаться на пригородную платформу
которая в лучшем виде
осталась в цифре
с изморозью на ржавых перилах?

тандемных повторов достаточно
наподобие дождя
вроде tagtcatatatatat
мышинных и прочих жизней ради науки
вспомнился мифический памятник
на петроградской
существовавший ли нет не искал
и иного не искал а нашёл
так что достаточно
их просто назвать

взрыв и цветение

Между морем и лесом

Между морем и лесом неочевидна суша.
Лучше на мёртвом живущим дать шанс, называя.
По чью душу собрались, кричат, хоть не слушай,
Haematopus ostralegus, *Corvus corax* и *Parus major*¹.

Шелестят, мол, вас тут ещё не бывало,
двигаясь к созданному от того, что неидеально,
луг из *Juncaginaceae*², дальше *Salix spp.*³, на скалах
они же с *Betula*⁴, в подросте *Frangula alnus*⁵.

Не присягнув тому и другому миру на самом деле
понимание, что больше нигде не были дома.
Вот поменьше дома, растрескались и побелели
бывшие *Littorina*, *Mytilus edulis*, *Macoma*⁶.

¹ Кулик-сорока, ворон, большая синица (здесь и ниже – лат.)

² Ситниковые

³ «Саликс специес», виды рода Ива

⁴ Берёза

⁵ Крушина ломкая

⁶ Литорина, съедобная мидия, макама

к северу через северо-восток
ни при чём здесь кервуд ни при чём хичкок

*пробирка микроцентрифужная 1,5 мл без делений
вот что меня волнует*

*предназначена для обработки проб в центрифуге
кроме этого изделие может применяться
для многих целей
для хранения и транспортировки небольших количеств
химического вещества образцов
посевного материала и т. п.*

о да

*изделие изготовлено из полипропилена
пробирка из прозрачного пробка из цветного
полипропилен нейтрален к физиологическим жидкостям
поэтому такие пробирки
часто используют в биологических исследованиях*

истинно так

отзывы пока нет отзывов + добавить

но и это ещё не всё

*пробирку можно стерилизовать в автоклаве
паром или горячим воздухом
при температуре +120°С
не более 15 минут
а также химическими веществами например спиртом
регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11857*

вот теперь всё
ясно

здравствуйте мытищи
давайте пожалуй 300 штук

что-нибудь ещё
выйдете обойдёте справа
до синего строительного забора
за воротами склад №5

конура бима пуста
комплектовщики справок не дают
зато насыпают серыми рукавицами
до свидания мытищи

следующая остановка
северянин
так бы не написал

вместо заглавия
перепись белого

назвать город
как говорят коренные
просто городом

ибо имя уже присвоено многими
золото озвученное сотню раз

застоявшийся воздух в колодцах
рыбы возвращаются к истокам

занесённые маршруты
повороты опасны
rale ale fige
крафтовое понимание

от это же всё не по-настоящему правда
до лучшего места на земле

что с собою набрать
в немногословии

разъятость и заполнение светом

снег
и
снег

в одну реку не войти и однажды
носить решетом текущее мимо не лень тем
кто обитает по двум берегам ничего не дашь ты
сам очень лёгкий в кротиловом эквиваленте

не догоняет ахилл черепаху и что происходит
та обернувшись бабочкой подтвердит не догонит
назову себя зенон-цзы говорите со мной о природе
веществ под аплодисменты одной ладони

Владимир ТУЧКОВ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Рассказ

– Отец, с праздником...

Это мне. Я давно уже отец для такой вот публики, у которой трубы горят, а купить не на что. Стал таковым еще тогда, когда могли бы и братом называть. Но «отец», считают они, более уважительно. А потому и больше шансов получить какое-то количество жизненно необходимых рублей.

Сижу на скамейке рядом с деревенским магазином, куда пришел с дачи за продуктами. Ранний вечер, на небе ни облачка, птички, ласковое августовское солнышко, тепленько... Короче, все это располагает перед обратной четырехкилометровой дорогой присесть в теньке под тополем, достать из рюкзака банку пива и, неторопливо отхлебывая, наблюдать деревенскую жизнь. Сравнивая увиденное с тем, что показывают в нарядных телерепортажах...

Но:

– Отец, с праздником!

Лет пятидесяти. Или сорока. Может, даже и меньше. Поскольку сильно износил себя человек. Неполный комплект зубов. Землистое лицо. Начинаящая седесть щетина.

– Это с каким же? – спрашиваю, прекрасно понимая, что это поздравление – топор, из которого человек намеревается сварить кашу. И понимаю, что это ему в полной мере удастся.

– Ну как же – спас, яблочный. И это еще... ну, как его...

– Преображение Господне, – подсказываю.

– Да, точно! – оживает мой собеседник.

И тут же, сделав скорбное лицо:

– А я как нехристь какой...

– Что так? – продолжаю следовать в русле сюжета, который нам с ним прекрасно известен.

– В Воздвиженское на службу не попал?

– Да не с моим здоровьем. Пять кэмэ туда, пять сюда. А на автобус денег нету...

– А чего тогда нехристь-то?

– Да не выпил в честь праздника-то. Все выпили, а я нет... Вот и есть самый настоящий нехристь, – скорбно, по-настоящему скорбно. Видимо, роль прекрасно знакома, отрепетированная и отточенная до совершенства. Поскольку по системе Станиславского.

Ну, больше нельзя человека истязать. А то сам стану нехристом.

Выясняю, что чекушка стоит восемьдесят рублей. И это ненамного дороже, чем моя банка пива.

Даю сотню.

Берет без суеты. Можно сказать, с достоинством. Поскольку на богоугодное дело.

Владимир Тучков родился в 1949 году в Подмосковье. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Стихи и проза публиковались в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух сборников стихов и двенадцати книг прозы. Ряд рассказов был включен в «Антологию русского XX века. 50 авторов», вышедшую в издательстве Academic Studies Press, США. Предыдущая публикация в «Волге»: «В парке Чаир наступают морозы. Шесть скелетов, найденных в славянском шкафу» (2017, № 7-8).

Возвращается быстро. Помимо четвертинки и пятнадцати рублей сдачи еще и пара пластмассовых стаканчиков. Поскольку у русских не принято пить, когда рядом человек не пьет.

Тут уж мне приходится изворачиваться, чтобы не оскорбить человека. И не предстать нехристом.

– Спасибо, – говорю, – я бы с удовольствием. Да вот только врачи категорически запретили. Пиво можно, а водку – ни при каких обстоятельствах!

К медицине Саня – он так назвался – относится с уважением. Поэтому не настаивает. Да и не такая уж большая для него радость делиться своей водкой со случайным человеком.

От яблока не отказываюсь. Все-таки яблочный спас.

Первые семьдесят граммов он выпивает стремительно. Поскольку все уже, а он пока еще не.

После чего процесс замедляется. Потому что надо выговориться. О своей нелегкой судьбе. А здесь, в деревне, видно, его история у всех давно навязала на зубах. Да, наверно, она не столько и уникальна.

Саня живет с матерью. Отец умер. От водки. В девяностые, когда половину водки в стране делали специально отравленной. Потому что бюджета на всех не хватало.

Жена ушла. И не только ушла, но и уехала в другой город. С сыном. Которого не видел уже лет десять. Сейчас, наверно, уже школу кончает. А может, и в армии.

Саня не работает. Не может работать. Хоть и бульдозерист. Что-то случилось с позвоночником. Наверно, можно вылечить. Но для этого нужны деньги. Которых нет. Потому и не работает.

На мой вопрос о том, нельзя ли подыскать работу полегче, Саня почти оскорбляется. И говорит про то, что он класный бульдозерист. И ничем другим заниматься не хочет. Это для него уничижительно, что в его интерпретации звучит как «западло». С жаром произносит: «Мы – бульдозеристы!»

Живут вдвоем на пенсию матери. От огорода большая подмога. Еще грибы мать в сезон возит в Сергиев посад продавать. Хотя грибов все меньше из года в год рождается. Экология. Ну, или у матери зрение портится. Не железная ведь. Жалко маму.

Приходится во всем себе отказывать. Не хватает даже на курево. Самосад в огороде выращивает, рубит, самокрутки крутит.

И вот так это все с обидой. Нет, к судьбе, конечно, у Сани претензий никаких. Претензии к начальству. Всех мастей – от местного до кремлевского. Более всего, конечно, к кремлевскому. Вот батя при советской власти поле пахал. Потом цеплял к трактору саялку и засеивал пшеницей. Осенью на комбайн пересаживался, урожаем собирал. Мать в коровнике. Все при деле. Не шиковали. Но и не хуже других. И пили тогда меньше, не так, как сейчас...

А потом, суки, взяли и всё поломали.

И жизнь пошла под откос.

Ну, и потом Саня начал повторяться, зайдя на второй круг описания своей жизни и своих несчастий. Которые начались, как я понял по достижении им совершеннолетия и завершению советской власти, случившиеся почти одновременно. Соответственно, Саня уже подбирался к сроку пяти.

Я начал сопоставлять «первоначальную историю» с повторами. Убеждаясь, что в голове у Сани от выпитого начинается путаница. Сын внезапно повзрослел. Армию отслужил уже давно, лет десять назад. И не исчез на бескрайних просторах России, навсегда вычеркнув из сердца своего непутевого отца, но иногда, пусть и нечасто, присылает письма. У него все хорошо. Женился. И даже успел сделать Саню дедом. Открыл бизнес. Живет припеваючи. И это «припеваючи» было произнесено одновременно с издевкой и с обидой. Потому что не хочет отцу, ставшему инвалидом труда, помогать. А ведь мог бы. Сане и пяти тысяч в месяц хватило бы. На первых порах. А потом, когда сын свой бизнес расширит, то мог бы и побольше отцу родному отстегивать.

Потом выяснилось, что у Сани с матерью не такое уж и плачевное положение. Мать у него, оказывается, ветеран труда. А потому имеет всякие льготы – и на квартплату, и на бесплатные лекарства. Да и огород у них не только для подножного корма, но и для заработка. Половину уро-

жая Санина матушка, еще крепкая пенсионерка, отнюдь не преклонных лет, выносит на шоссе, где продает проезжим.

А отец, перед тем как воскреснуть – а он, действительно, воскрес самым чудесным образом! – стал не трактористом, а фрезеровщиком на загорском секретном заводе, где делали ракеты для Советской армии. По квалификации с ним никто не мог сравниться. Помнится, как однажды, когда отец загрипповал, приезжал домой сам Генеральный конструктор, чтобы посоветоваться, с какого конца надо начинать делать новое изделие.

А умер, естественно, не от водки. Послали в командировку на полигон на испытания ракеты. А она возьми да взорвись. Но не по вине отца, по фрезеровочной части все было тютелька в тютельку. Электромонтажники со схемами напортачили.

Ну а потом – да, потом, когда в четвертинке оставалось совсем на донышке, – отец воскрес. Собственно, в Саниной интерпретации он и не умирал. Сейчас, на пенсии, увлекся рыбалкой. Из Вори таскает здоровенных щук. Бывает, что и голавли попадаются...

Надо сказать, что по мере развития этого сюжета, по мере фантастической трансформации его персонажей, мне становилось все более неудобно. Нарастала тревога. Куда совсем скоро выведет бредовая мысль Саню? На какие прозрения? Не распознает ли он во мне врага рода человеческого, который искушает православных водкой, от которой в России столько бед и несчастий?

Надо было сворачивать общение.

И подаваться обратно, на дачу.

Тем более что совсем скоро стемнеет.

И узбек, охраняющий два гектара чистого поля, на котором уже не один год собираются строить коттеджный поселок, выпустит размяться на воле своих волкодавов.

Там волкодавы.

Здесь Саня, который вполне может вытащить из-за голенища ножик. Фигурально, конечно, выражаясь. Вполне может пригодиться и половинка кирпича. В руках сражающего с дьяволом и простая доска может оказаться смертельно опасным оружием.

– Ну, – начал я, чтобы продолжить фразу как-то примерно так: «засиделись мы, скоро стемнеет, пора и честь знать, со спасом, хорошо посидели, пойду, что ли...»

И тут Саня рассмеялся.

«Вот, – подумал я, – начинается. А у меня в рюкзаке лишь чисто декоративный ножичек со штопором и открывашкой, сувенир, привезенный из Венгрии. Да и не успею вытащить...»

– Отец, да не напрягайся ты так, – сказал Саня, отсмеявшись. – Нет у меня никакой белой горячки. Все нормально.

И, вытащив из кармана тысячерублевку, протянул ее мне.

– Что это? – спросил я ошалело.

– Тысяча, возьми.

– Да как же так?! Ведь ты же!..

– Ну, извини, отец, – сказал Саня как ни в чем ни бывало. – Считай, что это была шутка.

– Хороша шутка! – возмутился я.

– Так тебе же прибыток. Возьми.

– Да не возьму я!

– Возьми отец, от чистого сердца. Не ворованные. Сам заработал.

Довольно долго пререкались по поводу возьми!/не возьму!

В конце концов взял, поскольку было понятно, что еще совсем немного, и Саня сочтет мой отказ оскорблением.

Я потребовал объяснений.

И они последовали.

Но уже совсем от другого человека.

То есть Саня внезапно преобразился. То есть внешне, как я ни вглядывался, в нем уже не прочитывалось ничего из того, что я декодировал вначале как следствие алкоголизма, помноженного на придавленность беспросветностью жизни.

– Я, понимаешь, – начал он, – как тот самый Диоген. Хожу с лампой и ищу человека. Ну, то есть ищу тех, кто не откажет страждущему в такой малости как четвертинка водки. Ну, или еще что-нибудь. По обстоятельствам.

– Находишь?

– По-разному. По большей части, конечно, дают. Но как-то довольно подло дают, тем самым унижая.

– Это как же?

– Очень редко, когда дадут сотню. В основном сунут рублей двадцать-тридцать и ходу. Дело в том, что дать – это не главное.

– А что же главное-то, – изумился я такой привередливости.

– Главное – выслушать. И при этом – слушать. А не просто кивать головой.

– Да зачем тебе это надо?

– Как это зачем? – изумился уже Саня. – Хочу знать, сколько в человеке человека осталось?

– Ну, и как узнал?

– Убывает.

– Кто?

– В человеке человек. Вот ты, например, слушал меня с сочувствием. Мне показалось даже, что с состраданием.

«Господи, откуда в его лексиконе “сострадание”, – подумал я. – Да и Диоген как затесался?»

– Оттуда, – сказал Саня. И рассмеялся.

Мне опять стало не по себе.

– А как все же тебя зовут?

– Саня, – ответил Саня, улыбнувшись.

– Да, – добавил он, – ты уж извини, отец, что я к концу на тебя оторопи нагнал. Просто захотелось слегка похулиганить.

Закурили. Некоторое время помолчали.

О чем думал он, сказать не берусь.

Не берусь даже сказать, о чем думал я. Поскольку было слишком много всяческих неизвестных, и составить из них хоть какую-нибудь формулу, соотносящуюся с реальностью, не представлялось возможным.

Потом он немного порассказывал про то, что есть у него и жена, и сын. И что с сыном они неплохо зарабатывают, строя дачникам дома, починяя крыши и печки. Продают дрова и торф, развозя их по участкам на «зилке». А жена плетет из ивовых прутьев сувениры, которые пользуются большим успехом у туристов, приезжающих в Троице-Сергиеву лавру. Было понятно, что таких биографий у Сани вагон и маленькая тележка.

– Ну, да это, отец, смотрю, тебе не интересно, – спохватился Саня.

– Так тебе ведь тоже. И тебе в первую очередь, поскольку тут сострадать нечему.

– Типа того... Да, постой, яблочков, своих...

И скрылся за углом магазина.

Через пять минут вернулся с пакетом яблок.

Красных, как закатное небо.

– Ну, с праздником, брат!

– С праздником!

Пройдя метров двадцать, я обернулся, чтобы на прощание помахать рукой.

Его уже не было.

Лишь на скамейке стояла пустая четвертинка, сияющая в лучах заходящего солнца.

Андрей ТОРОПОВ

Едет, едет шанхайский экспресс,
В главной роли Такеши Китано,
Пуаро потерял интерес
К старым фильмам, где много обмана.

И уже не стремится попасть
Тетя Грета под бешеный поезд,
Новый год или старая власть
Будут править, и я успокоюсь.

Едет, едет шанхайский экспресс
Или нервно трясется на месте,
Гена Шкалик в шкафчик не влез,
На крючок его сбоку повесьте.

Ты сиди потихоньку в углу
И читай Эдуарда Мендосу,
Зря ты в детстве смотрел про иглу
И пытался убиться без спроса.

Едет, едет шанхайский экспресс –
Смесь маньчжурского с неоанглийским,
Он резиновый, всем хватит мест,
Гена Шкалик пьет свое виски.

Едет, едет шанхайский экспресс,
Не доедет никак до Китая,
За окошком таинственный лес –
Настоящая жизнь, не такая.

«Я не переживу эту осень!» –
Сколько раз закатывал я такое...

Андрей Торопов родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил исторический факультет, аспирантуру Уральского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», «Артикль», «Крещатик», «Волга», «Новая юность», в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор трех поэтических книг. Живет в Екатеринбурге. Работает главным специалистом в Управлении архивами Свердловской области.

Но зима приходила – седая проседь
С ощущением старческого покоя.
И пора надеть дырявые латы,
И обуться в верные россиньолы,
Дотянули мы до своей зарплаты,
Трепещите, скаченные монголы.

И еще не взята вторая башня,
Отбиваем орды пернатых галлов,
Безнадежно жить, умирать не страшно,
И от первой башни не ждать сигналов.

Один станет великим поэтом,
Выпьет сам поэтический мед,
А другим не хрена, даже летом,
К ним на праздник никто не придет.

Приходите на мой скучный вечер,
Пожалейте меня просто так,
Подарите мне сладкие речи,
Положите в фуражку пятак.

Никогда я в стихах не старался,
Этот стих точно так же пишу.
Почему же я здесь оказался
И у вас подаянья прошу?

Может быть, потому что мне сорок,
Кризис среднего возраста в месть,
Хлеб изгнания нынче не дорог,
Прозябания блин горче есть.

Д. Рябоконю

Джамуха был побратимом Тэмуджина, а не Чингисхана.
Давно уже нет в живых никого из героев того романа.
Исай Калашников был не прав, жестокий век – это двадцать первый.
А через сто лет в живых останется одна стерва.
Ромео погибнет в годы второй мировой на самолете.
А Ретта Батлера сведет в могилу Мэрилин Монро, и он в пролете.
Леди Гамильтон слишком много пила свой любимый виски.
И только Арабелла Бишоп до сих пор живет в каком-нибудь Сан-Франциско.
Не стал я тут рифмовать, ограничившись лишь цезурой.
Пишу о чем интересно мне, хотя это и халтура.

Любимый мужчина был Гаврилов, а не Потапов.
И он никогда не играл с детьми в никакое гестапо.
Инстинкт это или рефлекс, но я сердобольный папа.
Остапа не понесло, не понесло Остапа.

Китайцы меняют
рис на лапшу,
кому-то уже
показали ушу,

кому-то уже
показали кунг-фу
чемпионы мира
по пряткам в шкафу.

Мне нечем больше
дышать, Гермоген,
у меня остался
один катрен,

состоящий из двух
суицидных строк,
потому что мир
так жесток, жесток.

Мы знакомы с тобою с прошлого века,
Мы писали стихи и травились редко,
Мы писали, как Бродский, писали как евтух,
Доросли до признаний седых и ветхих,
Но не будем пока уходить в корифеи,
Потому что можем писать, как феи,
Фей не любят при жизни за их причуды,
На кострах сжигают плохие люди,
И неважно даже с какого века,
И какого ..., какого Эко.

На кино тридцатых годов, на зеркало, на свекровь,
В телефоне барышня самых рассветных лет,
Не пеняй, покуда ты выбросила любовь,
У тебя ничего святого на свете нет.

А он – меньшиков, дымба, луцик и фантомас,
Перечислить можно, нельзя повторить эффект,

Мы затем изучали движенье народных масс,
Чтобы выбросить свой булыжник на ваш проспект.

Но попробовать можно с завистью подражать,
В этом пазле нет никаких подводных камней,
Двадцать лет придется после кому-то ждать,
Чтоб увидеть место собственное видней.

Доведенные до победы сидят в кино,
Где включают внезапно им черно-белый звук,
Кавалера барышня, дети сидят давно,
Раздается радостно пламенный стук-стук-стук.

А потом мы сыграем в футбол,
Словно в шведском просроченном фильме,
Я забью изумительный гол
И я очень люблю тебя сильно.

Каждый день для меня – это ад,
Не умею я жить по-другому,
Но я вытащил собственный клад
В виде этого взрослого дома.

Это я не тебя упрекал,
Я себя упрекал за бессилье,
Я таким снисходительным стал,
Потому что люблю тебя сильно.

После матча так ноги болят,
Но уходят без нас пароходы,
Каждый день – это маленький ад,
Каждый гол – это капля свободы.

Мы переехали из Абердина,
Полные брюки и трубы трубят,
Ариведерчи, отель Сан-Мартино,
Счастье свое мы нашли вне тебя.

Так ли оно составляется, счастье,
И в нем замешан какой-то отель?
Мы стали целого нужные части –
Квентин и Дорвард срединных земель.

Были нам лужею воды италий,
Стали приемлемым наши плевки,

Мы заржавели дамасскою сталью,
Мы перешли со стишков на смешки.

Утром проснулся – отель Сан-Мартино,
Скач на скакалке под песню Кар-мен,
На тренировке боксерской трясина,
Скачем и скачем под вой перемен.

Бой безнадежный с загадочной тенью
Мы проиграли, но счастье нашли,
Ариведерчи, скакалка смятенья,
Дикие вепри заморской земли.

Карло Гольдони сидит в гондоле,
Он не родится, не состоится.

Он не напишет о турандотке
И не залезет в мой стих короткий.

Так получилось и так попался.
Не состоялся, не состоялся.

Каждому поэту
должно выдать монету,
чтобы на что-то кушал
и никого не слушал.

После сытый поэт
будет обут и одет,
чтобы в стихах морозили
каверзными вопросами.

Также нужно пииту
решить в раз проблемы с бытом:
машина, домик с террасой,
чтоб мнил себя средним классом.

А чтоб не хандрил без причины,
найти ему половину,
чтоб вместе с ней в огороде,
работал он на свободе.

Тогда поэт разовьется,
разинет рот и заткнется.

Городецкий цикл

1.
Вдоль Оки, вдоль Оки, вдоль Оки
Расположена ветка метро...
По Покровской дойти до Реки,
Чтобы вылить плохое ведро.

Пусть плохое уйдет по Реке
И останется нам пустота,
Мы поедem в метро по Оке,
Начинаем с другого листа.

Счастье в душу вливали ведром,
Но с рождения я – решето,
Не помогут тебе, гореном,
Ни Кусто, ни Кокто, ни в пальто.

Сколько можно уже начинать?
Можно так и отбросить коньки.
Будет снова метро убежать
От тебя вдоль Оки, вдоль Оки...

2.
Строчка пробивается сквозь коряги,
Сквозь овраги на чистом листе бумаги,
Маяковский пишет про кубик «Магги»
И безумству храбрых поет в отваге.

Я купил себе оранжевый свитер,
Выступил в нем пару раз со стихами,
В Новый год хлебнул кока-колы литр,
А потом гулял, свечки ставил в храме.

Юрий Всеволодович (основатель)
Полюбился в детстве у Соловьева,
В Нижнем Новгороде на кровати
О своем, о древнем пишу я слово.

Потому и ехал я в этот город,
И с женой приехал и младшей дочкой,
Мы доехали даже до славного Бора
Через Волгу в какой-то канатной бочке.

После липецкой неудачной битвы
В Городец поеду как будто в ссылку,
Чтобы там растратить свои молитвы,
Набивая ими свою копилку.

3.
Я хочу посмотреть этот мир,
Посильнее его рассмотреть,
Я родился в него, долго жил,
И мне в нем предстоит умереть.

А затем мир другой меня ждет,
Чтобы тоже его посмотрел,
Почему я – такой идиот,
Умирать здесь и жить не хотел.

4.
Олухи царя небесного
Едут в город Городец,
Будет много интересного,
Продолжается процесс.

Ницше прав – все возвращается,
По ушедшему печаль
К нам напрасно прижимается,
Ничего уже не жаль.

Буревестник – птица местная,
Кафка никогда не прав,
Олухи царя небесного
Погружаются в состав.

Глупый пингвин прогибается,
Буревестник в воду бах,
К нам обратно возвращается
Море Горького во льдах.

Михаил ОКУНЬ

РАССКАЗЫ

Коллекционер

Незадолго до окончания вечера поэта С. в Доме актера в зале появился молодой человек с огромной кипой книг. Худой, бледный, с бородкой, в роговых очках.

Как только объявили окончание вечера, он бросился ко мне: «Вы – Окунь?!» Это было весьма неожиданно. Я вяло и нехотя промямлил «да»...

Вот, думаю, что сейчас будет? – может, плюнет в меня (это при благоприятном исходе) за какие-нибудь старые грехи – литературного или нелитературного характера.

Но молодой человек явно обрадовался и стал торопливо перебирать свои книги, оказавшиеся коллективными сборниками 80–90-х годов. Нашел «Молодые Ленинграды» за 1983, 1984 годы, где я присутствовал, и попросил: «Подпишите! Роману!» А там, смотрю, уже множество автографов собрано.

На душе сделалось хорошо и спокойно. Понятна стала эта порывистость коллекционера – нигде не поймать человека, а тут подвернулся. Подписал с удовольствием.

Зонт

В местной забегаловке на Тухачевского я сидел за столиком с Валерием Николаевичем. Его я уважал за то, что он окончил Ленинградский институт киноинженеров – ЛИКИ.

Это был уникальный институт. Однажды в нашей школе, находящейся неподалеку от ЛИКИ (школа – на Социалистической, ЛИКИ – на ул. Правды), перед нами, старшекласниками, выступал профессор этого института. Он долго рассказывал об уникальности ЛИКИ, а закончил неожиданным советом: к ним документы ни в коем случае не подавать. Мол, ребята, всё равно по конкурсу не пройдете.

А вот Валерий Николаевич и поступил, и закончил.

В этот день передо мной стояла проблема – найти пульт для телевизора «Рубин». Везде продаются универсальные пульта, но они раза в три-четыре дороже и требуют специальной настройки.

Валерий Николаевич сказал, что через дом есть подвальный магазинчик, в котором продают

Михаил Окунь родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина). Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор восьми сборников стихов и трех книг прозы. Публикации в журналах «Звезда», «Урал», «Нева», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Зинзивер», а также в альманахах, антологиях в России, Германии, США, Финляндии, Бельгии. Лауреат премии журнала «Урал» (2006) в номинации «Поэзия». Золотая медаль конкурса «Лучшая книга года – 2010» (Берлин) в номинации «Малая проза», премия журнала «Зинзивер» в номинации «Проза» (2014). С 2002 года живет в Германии. Предыдущая публикация в «Волге» – «Сестрорецкие рассказы» (2017, № 1-2).

всякую дребедень, и пульта для «Рубина» вполне могут там быть. Я поблагодарил его и пошел в этот магазинчик.

Пульты для «Рубина» там, конечно, не оказалось, только навязшие на зубах универсальные. Я вышел на воздух, и тут меня стукнуло. А зонт?! Где мой прекрасный длинный зонт (не какой-нибудь паршивый складной зонтик), в темно-коричневую клетку, с деревянной полированной ручкой, с блестящей медной бляшкой, к ручке присобаченной, и надписью на ней «Port Luis», говорящей о таинственных портах южных морей и тропических ливнях? Я бросился обратно в забегаловку.

Народу у стойки было немного. За столиком над рюмкой зубровки гнулся Валерий Николаевич. Моё место перед ним пока никто не успел занять. А рядом со столиком в уголке, где я его и оставил, стоял мой замечательный зонт!

Я потянул его к себе. Валерий Николаевич встрепенулся, быстро всё осмыслил и схватился за голову:

– Господи, как же я не заметил?! Сейчас был бы с чудесным заграничным подарочком!

– Но зато, Валерий Николаевич, – с некоторым удивлением и даже сочувствием к его горю сказал я, – вы сохранили честное имя студента уникального института ЛИКИ! И потом, вдруг кто-нибудь мне подсказал бы, кто спёр зонт, или я увидел его у вас...

– Мне глубоко плевать на честное имя студента уникального ЛИКИ! – ответил, не моргнув глазом, Валерий Николаевич. – И кто тут что подскажет? – не смеши. Кроме того, ты сам говорил, что через несколько дней отваливаешь в свою Германию. Отсиделся бы я дома, тем более что перед приездом жены с дачи надо порядок наводить. А где я живу, ты не знаешь. Ну а к следующему твоему приезду зонта у меня наверняка уже не было бы – посеял бы где-нибудь...

Вот что значит выпускник уникального института – целый сценарий наплел, хоть детектив снимай. (Впрочем, актерско-сценарные дела возникли на коммерческой основе в этом вузе много позже, а до того была голая техника. Но тем не менее...)

Я крепче сжал ручку зонта и вышел на улицу. Как раз начался дождь.

Крокодиловы слезы

В разгар корпоративной вечеринки заиграла восточная музыка, и на подиуме появился голый по пояс человек в чалме и шароварах. На голове он нес круглую металлическую лохань с крышечкой. Поставив лохань на помост, он извлек из нее внушительных размеров питона и вступил с ним в борьбу.

Публика, особенно ее женская часть, притихла. Однако питон явно уклонялся от схватки. Скорее всего, был он недавно изъят из холодильника, и как животное нетеплокровное чувствовал себя весьма вяло. Настолько, что один молодой азартный сотрудник громко предложил налить питону стопку водки для ободрения.

Наконец номер завершился, безногий-безрукий артист (я о питоне – прозвали же газетчики цирковых собачек, медведей, лошадей «четвероногими артистами») отмутился и был снова водворен в лохань. На сцене между тем появился новый «предмет изумления» – небольшой крокодил размером около полутора метров.

Человек в чалме принялся хищно мять несчастную рептилию. Он раскрывал ей пасть, растягивал передние лапы и, наконец, уселся на нее верхом своим обширным задом.

Затем носитель чалмы пошел дальше: придав пресмыкающемуся артисту изломанную позу в виде латинского «Z», он стал обходить зал и предьявлять его каждому столику. Некоторые дамы взвизгивали, мужчины натянуто улыбались.

Внезапно крокодил заплакал – настоящими, а не крокодиловыми слезами. В его круглых глазах с красными точками читалось подлинное человеческое страдание...

На молодого человека, предложившего угостить питона, крокодиловы слёзы произвели тяжкое впечатление. Он с кристальной ясностью понял, что в жизненной борьбе мы сплошь и рядом поставлены в слишком неравные условия. Ни питону, ни крокодилу никогда не осилить человека в чалме. Да и зачем, спрашивается? – как ни крути, а ведь он их кормилец.

Бархатный кабинет

Когда дедушку в сороковом году посадили, бабушка вняла чьему-то совету и поехала в Москву давать взятку. В итоге она дошла до кабинета, который поразил ее воображение. Был он весь обит малиновым бархатом – и пол, и стены, и потолок.

Хозяин кабинета принял бабушку благосклонно, деньги принял и твердо обещал похлопотать. Но вскоре началась война, и всех разметало: дедушка через год умер где-то в лагерях в Потьме, бабушка во время блокады была из Ленинграда эвакуирована. Фамилии и должности хозяина бархатного кабинета она не запомнила, поэтому куда делся он – было нипочем не разузнать.

А кабинет, наверное, сохранился и по сию пору – что кабинетам делается?..

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ

НАБЕРЕЖНАЯ

update

Просматривая трейлер апокалипсиса,
NN остановился на деепричастии: просматривая.
Прервал. И снова запустил. Восстали
тела. Трон Судии сверкал
чертогом Клеопатры,
плач и стон;
стенографы сбегались, капая слюной –
блаженные, что оказались вовремя на месте;
свет пробивался далеко, в тоннеле,
на присных протокольные улыбки
сияли, осветитель суетился
у реостатов, фармацевт менял
тарифы анальгетиков, спеша,
не догоняя распряженных першеронов.
Шёл снег. Катилось колесо. Щит Ахиллеса
гудел и бормотал: сюжет украден;
в генштабе, фокусируя проектор,
мечтал о сигарете референт –
и выскочить в сортир.
Решались судьбы.
Но вот NN нажал
на «паузу». И пауза случилась.

французская защита

полевой госпиталь в саду Тюильри, 13 ноября 2015 года

У вас дебют. И у нас сегодня дебют.
За одного дебютного двух недебютных дают,
Так говорил Тартаковер – и Тарраш зудел из угла,
Что классическая эпоха прошла.

Рафаэль Шустерович родился под Москвой, жил, учился и работал в Саратове, с 1993 года в Израиле. По профессии инженер-физик. Поэт, переводчик стихов с английского и других языков. Публиковался в журналах «Крещатик», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Зарубежные записки». Публикации в журнале «Волга» с 2010 года.

Филидор, под скрипки: пешку вперёд на шаг,
На полшага – лишь бы не разгневался шах,
Придержи коней, придержи боевых слонов.
Так учил Квинт Фабий, этот метод не нов.

На плато Веркор среди маков кровавых стою,
Здесь святых, как в раю – и Каинов, как в раю,
И таинственный ландыш веет духом весны
Из-под медитерранской сосны.

Из каких шатров добрался сюда шатрандж?
Из каких пустынь соперник впадает в раж?
Там, у нас на равнинах, взлелеян особый уют,
За одного добитого тысячу недобитых дают.

В этом старом саду, где столиков ставят ряды –
Щиплют корпию, плачут, кто-то стонет – воды,
И бесстыдная Дина патину стирает с плеча.
Ни к чему палача, врача зовите, врача.

из переписки

Шелли – мадам де Сталь: Дорогая Жермена,
в истории намечается перемена,
народы восстают против гнёта,
предстоит вдохновляющая работа.

Мадам – поэту: Бесценный Перси,
история имеет много версий,
но не гарантирует воздаяния тирану,
который дотошно укрепляет охрану

государственных границ и собственного тела –
хоть бы общественность и хотела
противоположного. Друг ваш, Джордж,
плавает и ныряет, как морж,

он решителен, богат, умён,
сентиментом не обременён,
но его надежды на доблесть толпы,
извините, глупы.

Деньги, потраченные на бунт,
бунтовщики по карманам сгребут –
и разбегутся. Их корабли
не увидят желанной земли.

Если вас удручает тиран –
бегите в одну из далёких стран,

где правит экзотический царь,
где вы диковинка, а не бунтарь.

Пишите письма и мемуары,
вовлекайтесь в местные свары,
но осторожно: закон жесток
и пишется между строк.

И берегите себя. В волнах
жителей моря да храни вас страх
привести свой хрупкий челнок
туда, где человек окончательно одинок.

реабилитация

Ладанник на пожарищах,
Не отступайся, пожалуйста –
Затягивай раны,
Затмевая экраны.

Ладанник белый, розовый,
Гордый, не одноразовый,
Креповый, розовый, белый –
Мир укрывай погорелый.

Вслед за тобой без промашки
Сосны придут и фисташки,
Сети эфедры, лавры –
Во всей средиземной славе.

От сотворения мира
Это не первая миля,
Жаждай, злись, пробивайся,
Всё излечить пытайся.

Реймс, октябрь

Вот улыбающийся ангел,
Взирающий на ад желаний,
Вот подымающийся Авель –
С годами он ещё жеманней,

Вот дева Жанна, всё верхами,
Всё держит стяг пречистых лилий,
Вот осень реймская, и пламя
Неразгорающихся былей.

Откуда, ангел? С кем ты, Абель?
Мы розу рёбрами скрепили,
Мы возвели паучий штабель
Из праха и небесной пыли,

Мы рассадили сонм чудовищ,
Для сладких ужасов пригодный,
И утвердили нашу доблесть
И холод ревностный природный.

набережная

Пей кофе, комиссар Мегрэ –
одну, вторую,
я не участвую в игре –
я здесь ворую
то локон воздуха, то плеск
норманнской Сены,
то пляску рыболовных леск –
до субпоэны.

Столетие – не со вчера –
впивает рьяно
упорный рыболов Сёра
пятно тумана.
Он сам туман, и всё туман –
не взять, не выдать.
Изменник, отставной тиран,
не ищет выгод.

Цеди, Мегрэ, аперитив
перед обедом,
привычный насморк прихватив
за сплином следом,
и в будущее не смотри
без ясной цели, –
в затылке у Консьержери
и Сент-Шапели.

Представь: выходишь поутру –
и исчезаешь,
не возвращаешься в игру,
не вылезает
на свет, на слух, на звон церковей,
на нюх соседей.
Поёт беспечно соловей
в аду усердий.

Пей пиво, пиво, комиссар,
со всей оравой –
и слушай шорох колеса
судьбы корявой.
Вдохни, схвати, беги, молчок –
рантье, помещик...
Подкормка, удочка, крючок,
наживка, лещик.

Regent's Canal, London

Утомлённая лодка «Моя вина»
в обводном канале не ищет дна,
чуть подрагивает на чужой волне,
принайтованная к стене,

рядом дремлют борта «Кочевой» и «Марс» –
приключилось: так стасовалась масть,
что стоишь теперь, лапидарной строкой
искушая весенний покой.

Хмурый лебедь белым вопросом плывёт,
бередя пучину туземных вод,
сладкий дым сочится из кабачка,
соблазняющий новичка.

Моцион, цветение, куст за кустом,
мост сворачивается за мостом;
«Mea Culpa» – что-то из древних книг,
бормотание или крик,

«Mea Culpa» – бронзою по корме
сообщение льющейся бахроме
ив, у вод разбросанных наугад –
утешать беспутных наяд.

с подлинным верно

Серов и Ерофеев в коммунальном коридоре
играют в королевскую игру,
Серов и Ерофеев в экзистенциальном споре
терзают папиросы ввечеру.

Три табуретки и доска из черно-белых клеток
рельефно оттеняют хронотоп;

Серов примерно вдумчив, но и Ерофеев меток –
и потирает лысоватый лоб.

Сошлись волна и камень, фрезеровщик и нефтяник,
бухгалтер и скрипач, спортсмен и бич;
таинственных расчётов в головах цветёт кустарник –
кто взялся – тот борись, не верь, не хнычь.

Ползут ладьи, и пешки мельтешат, зажаты кони
в щепотях полководцев, и в дыму
Серов и Ерофеев свои вахты на кордоне
несут, не уступая никому.

Серов и Ерофеев, ваша доля коридора –
пусть временный, но сладостный феодал –
не скоро опустеет и расселится. Не скоро
распустится каперс, созреет плод,

свершится рокировка, рухнет век, и пол второго
осядет – и в младенческих ушах,
уже натруженных разбойным шумом зла земного,
послышится торжественное: «Шах!»

ВАЛЬС ЦВЕТОВ

вальс цветов сказала возлюбленная вальс цветов
завтра день сказала возлюбленная ты не готов
чёрный диск смолистый диск фуэте до ля си
раскрутись зазвучи захрипи заиграй спаси

над катком где горбится серый разрытый лёд
вальс цветов для нелюбимых поёт плывёт
отпусти мою руку исчезни сокройся плачь
всё ушло это значит ушло ничего не знач

Дмитрий КОЛИСНИЧЕНКО

МЕТЕЛЬ

Рассказ

Всё случилось из-за метели. Наверное. Во всяком случае, именно из-за неё Олег не взял машину и отправился в офис на метро, а потом пошёл пешком. Если бы не метель, всё было бы иначе. Это точно. Олег просто сел бы в свою десятилетнюю Honda и поехал бы в офис. Это заняло бы минут пятнадцать, не больше.

Машину он успел купить за наличку весной 2008 года. Конечно, год спустя он бы наверняка приобрёл что-то попроще. Но он не жаловался и всегда говорил, что его Honda – это вещь. И все вокруг уважительно соглашались: да, вещь!

Олег не жаловался, но из-за снегопада он решил отказаться от машины. Ехать на метро было всего ничего – пару станций, а потом ещё остановку на маршрутке. Или пешком.

Он застегнул рубашку под горло и принялся возиться со свитером. Олег посмотрел в окно – там мело.

«Можно пройти и пешком, одна остановка – пятьсот метров», – принялся по привычке вычислять он. Весной он доходил до офиса всего за пять минут. Идти, правда, приходилось через гаражи и СТО, прямо по проезжей части – тротуаров тут, по сути, никогда и не было. Сюда сразу ехали на своём авто. Прогулки по здешним краям не доставляли удовольствия, но Олег предпочитал ходить пешком, считая, что это полезно. К тому же он экономил на проезде. Мелочь, а приятно. Он прикинул, что в снег дорога от метро до офиса займёт минут десять. Но трястись в переполненной маршрутке хотелось ещё меньше.

Олег ещё раз нехотя глянул в окно: их двор-колодец был практически под завязку заставлен автомобилями. Был уже десятый час утра, Олег всегда выезжал одним из последних. Значит, подумал он, все жители их элитных многоэтажек, выстроившихся кругом, закрывая друг от друга солнечный свет, вняли советам синоптиков и властей города и пересели на общественный транспорт. Олег подумал, что если все оставили машины, значит – проезды пусты. Перспектива прокатиться по свободной дороге вдоль набережной казалась заманчивой.

Но о машине можно было забыть. Он до последнего тянул с покупкой зимней резины, надеясь взять что-то под Новый год со скидкой. Однако из-за резкого скачка курса доллара под праздники подорожали и колёса. К счастью, поначалу зима выдалась бесснежной, и почти два зимних месяца Олег преспокойно передвигался на летней резине, утешая себя тем, что она была французской и почти новой – всего второй-то год. Он надеялся дотянуть до весны, но обманулся.

В такой снег было преступно думать о том, чтобы выезжать на летней резине даже на дорогу, свободную от баранов, норвежских взять тебя на рога при первом же повороте или смене ряда. А он старался быть добропорядочный гражданином.

Наверное, если бы не метель, он остался бы живым. И всё сложилось бы иначе. Гипотетически это было так. Но ни знать о грядущем фатуме, ни как-то предвидеть его Олег не мог, поэтому был вынужден подчиниться обстоятельствам.

Даже в последние секунды своей короткой жизни он не вспомнил о Боге. Умирая, Олег ни о чём не думал, был лишь страх. И, пытаясь вылезти из заснеженной пелены, в его тухнувшем сознании всплывали лишь обрывки воспоминаний из детства.

Дмитрий Колисниченко родился в Киеве в 1982 году. Публиковался в журналах «Нева», Ното Legens, «Урал», автор романа «На струе» (М.: Кислород, 2007).

Когда он жил дома – в родном селе, с родителями, бабушкой и дедом. Старики ему казались очень старыми ещё тогда. Малышом он боялся, что бабушка или дед внезапно умрут ночью, а утром их обнаружат. Найти их должна была мать, и она обязательно закричит. Он был уверен в этом.

Этот утренний крик на некоторое время стал для Олега навязчивой идеей. В дошкольном возрасте, ещё не влившись в коллектив и не почувствовав тягу к учёбе и хорошим оценкам, за которые родители давали ему карманные деньги, он был достаточно впечатлительным ребёнком. В школе Олег быстро понял преимущество материальных ценностей и прилежания перед ненужными сентиментальностями. Пойдя в школу, с первого класса он начал выдавливать их из себя по капле.

Но тогда, шестилетним малышом, Олег всё ещё был очень впечатлительным. Несколько недель кряду, осенью, когда уже поздно рассветало и ветер пугающе гудел за стенами кирпичного дома, казавшегося в такие предрассветные часы не крепче соломенной хатки, он просыпался раньше всех и ждал. Когда проснётся мать, чтобы будить его в школу, и закричит, найдя в соседней комнате мёртвым кого-то из стариков. Бабушка и дед вставали раньше всех, но в то утро кто-то из них должен был не встать и остаться лежать. А другой, представлял себе едва не трясущийся от кажущегося неизбежным надвигающегося ужаса Олег, в это время всё так же продолжал бы лежать рядом. В считанных сантиметрах, на огромной двуспальной кровати с ржавыми стальными пружинами и двумя пуховыми перинами. Съездившись и уткнувшись навсегда потухшим взором в противоположную от всё ещё тёплого трупa стену.

Но мать не кричала. И со временем мальчик почти перестал бояться.

Мысли о смерти первые пришли в его голову прошлым летом, на пруду, когда он рассматривал себя в зеленоватой воде, где так беззаботно кружились возле брошенной им корки хлеба головастики. Олег махал руками и ногами и внимательно смотрел на своё отражение.

– Вот он я! – говорил он громко вслух, но не верил самому себе. Ему казалось, что руки и ноги – это всего лишь руки и ноги. Бренная плоть, как однажды сказали в церкви. А он – внутри. Он – это он. А руки и ноги – это руки и ноги.

Чем больше Олег вглядывался в воду, тем больше убеждался, что смотрит на себя изнутри. Он поднёс к глазам ладони, и ощущение того, что его пальцы – не более чем пальцы, показалось ему до того убедительным, что ему даже захотелось испугаться. Он вдруг подумал, что когда умрёт, то не просто не увидит ничего. Просто ничего и не будет.

– Ни-че-го, – повторил он, пробуя буквы на вкус, тщательно перебирая их языком и губами. В летнем зное повеяло холодком – Олег на секунду почувствовал его всем телом, и даже короткостриженные выцветшие рыжие волосы на голове, казалось, зашевелились.

Хотя, вспоминая тот свой ужас впоследствии, он всё же не мог ручаться за последнее наверняка. Самой омерзительной ему показалась мысль, что его тело будет жрать черви. Или какие-нибудь насекомые. Ни червей, ни насекомых он не боялся, тем более в шесть лет, нередко подвергая их всевозможным экзекуциям, но всё равно – это было, мягко говоря, неприятно. «Лучше уж пускай меня сожгут», – решительно подумал Олег. Мысль о превращении в прах показалась ему несколько успокаивающей.

Но главный вопрос оставался неразрешённым: что будет после смерти? Если бы всё ограничилось крошечной тьмой и гробовой тишиной, это было бы ещё ничего – не так уж и плохо, размышлял он. Но умирало не только тело, не только руки и ноги – это было бы ещё полбеды. Олег понял, что прекратит мыслить. И это было страшнее всего. Он не мог понять: как это – не думать. Совершенно, а не в отдельные минуты, как это делают живые люди.

Мальчик снова посмотрел на себя в пруд. «Может быть – это душа?» – вдруг подумал он о том себе, который сидел где-то глубоко внутри и смотрел на мир вокруг и своё отражение в воде с нарастающей тревогой.

В церкви всегда говорили о душе, да и бабушка о ней постоянно твердила. А душа не могла умереть. Это он знал наверняка. От этой мысли ему стало легче, и уже почти не было страшно.

Лето прошло, минула и осень, но он продолжал бояться смерти. Бояться, что кто-то умрёт.

Даже когда Олег уже больше не просыпался по утрам в ожидании крика матери, он всё равно иногда возвращался к этой мысли, с возрастом воспринимая чью-то смерть не просто как абстрактную потерю близкого человека, а как конкретную проблему.

Хуже всего было бы, конечно, если бы умер отец. Тот работал водителем на сахарном заводе, был человеком уважаемым и ещё крепким. Но водители тоже умирали. Отец зарабатывал деньги, и без них их семье пришлось бы очень нелегко. Олег понимал это уже ребёнком. С другой стороны, размышляя он, умри мать, можно представить, как ударило бы это по отцу, подкосило его.

Легче всего было с бабушкой и дедом: их смерть, конечно, огорчила бы всех без исключения и мать в первую очередь. Отец Олега лишился своих стариков ещё лет двадцать назад, а вот ей только предстояло всё это пережить. Но это, как ни крути, прикидывал мальчик, была бы меньшая из потерь.

Видеть покойниками бабушку или деда, которые, как он для себя решил, стояли первыми на очередь на тот свет, Олегу не хотелось. Вплоть до своего отъезда в Киев, видя, как дряхлеют старики, он думал об этом хоть и не так часто, как в детстве, но с не меньшим содроганием.

К счастью для Олега, в его случае Господь был милосердным. И оба старика ушли, когда у него была сессия в Киеве, поэтому он даже не смог приехать в село на похороны.

Бабушку разбил инсульт, и она умерла через месяц в районной больнице. Потеряв жену, дед начал, как и его старик, сходить с ума: он совершенно всё забывал и часто выходил за пределы двора. Все говорили, что это – наследственное, и лишь пожимали плечами.

Однажды, говоря с матерью по телефону, Олег предложил сводить деда к доктору или положить его в клинику для душевнобольных, но та лишь разозлилась в ответ и кричала, что это будет позором перед людьми. Запирать его в доме тоже было неприлично – однажды, когда родители Олега попробовали ограничить передвижение деда, тот поднял такой крик, что к ним сбежались все соседи. Потом его несколько раз ловили в полях за селом, пока дед однажды вечером не исчез, не вернулся ночевать. После недолгих поисков поутру его нашли в болоте. Мать тогда сказала Олегу, тоже по телефону, что лицо деда было умиротворённым. От этого всем было как-то легче, говорила она.

Несмотря на посещение церкви и верующую строгую бабушку Олег вырос совершенно нерелигиозным. Ещё в школе их учили, что человек произошёл от обезьяны. Олегу нравилось учиться, нравилось получать пятёрки. Школу он закончил с золотой медалью. Родители были рады, а бабушка – больше всех. Дед уже тогда начал терять рассудок и поэтому воспринял происходящее скорее равнодушно. Впрочем, Олег был так увлечён грядущим переездом в Киев, что не заметил этого.

Отец и мать, как и все, ходили в церковь по праздникам. Дед тоже ходил, но с молчаливым равнодушием. Он дважды крестился – при входе и выходе, а внутри просто стоял истуканом, понунив голову, ни на кого не глядя. Со стороны казалось, что он молится.

По-настоящему религиозной была лишь бабушка. В детстве, когда в церкви Олег вертел по сторонам головой или пытался украдкой переговариваться о чём-то своём и очень важном со знакомым мальчишкой, бабушка могла и подзатыльник отвесить. Когда Олег подрос, подзатыльники прекратились.

Переехав в Киев, сначала он лишь изредка посещал церковь на Пасху. Пока не женился и не купил квартиру. Рядом с их домом был католический храм. Олег посудил, что особой разницы, собственно, нет. Его жене, Оле, тоже было всё равно. Ближайшая православная церковь находилась в соседнем микрорайоне, доехать туда можно было только с пересадками или на авто. «Какая разница?» – рассудили они, и уже двенадцать лет были прихожанами католической церкви.

Конечно, их храм сильно уступал костёлу в центре города. Оля всегда им восхищалась.

– Ну почему православные церкви не такие красивые? – удивлялась она, и Олег лишь многозначительно качал головой, тут было не поспорить – костёл был превосходным. Их храм,

увы, мало на него походил – построили его не так давно из стекла и бетона, и издалека дом божий можно было спутать с госпиталем или супермаркетом.

Рядом, на территории за высоким забором, находились административные и жилые корпуса. Ещё тут был очень милый садик, спускающийся прямо к берегу Днепра, от которого католики тоже предусмотрительно отгородились забором. В любую погоду, даже сейчас, под снегом, по другую сторону у реки жгли небольшие костры и распивали спиртное местные жители, или, что случалось чаще, – залётные рабочие с ближайших строек, тянущихся вдоль всего левого берега реки. Будущие дома торчали угрожающими скелетами на фоне затягивающейся льдом помутневшей воды и чёрных древних холмов, из которых тусклым золотом в зимнем солнце мерцала миражом Лавра.

В новом храме Олег и Оля вели себя тихо, продолжая чувствовать себя скованно даже сейчас, годы спустя. Они будто приходили в чужой дом. Люди вокруг казались им незнакомыми, а святые отцы хоть и говорили на государственном языке, но смотрели как-то холодно и отстранённо, сквозь прихожан. Сквозь них. Ещё тут не было привычных с детства икон – чёрных, хмурых, переливающихся золотом и самоцветами. На первых порах они даже боялись присаживаться на лавочки, думая, что они – для истинных католиков, пока не увидели, что так делаю почти все, даже их соседи. Стесняясь, за все годы жизни в столице Олег с Олей не зашли ни в одну из киевских синагог, будучи стопроцентно уверенными, что их туда попросту не пропустят.

В храм, если не считать прогулок по садику, который почему-то воспринимался ими как нечто отдельное, едва имеющее к нему отношение, они ходили почти на все праздники – по расписанию.

Свою дочь, Полину, они решили не крестить. Совершать таинство по католическому обряду они всё же побаивались и даже не пытались это обсуждать. Тут и так всё было понятно, без слов. Когда Полина был годик, по телевизору выступал один умный усатый доктор-психолог, Олег запомнил его фамилию, но мужик явно был неглупым, и утверждал, что крестить грудного ребёнка, как это делали наши предки испокон веков, – неправильно и дикость. Это лишало ребёнка права выбора, утверждал он. Они рассудили, что звучало это здраво.

Недавно возле церкви разразился строительный скандал. Католики, видимо, имели свои виды на пустырь возле реки, потихоньку расширяя неприступным забором владения божьи метр за метром. Но один крупный киевский застройщик подсутился быстрее: оформив все документы у чиновников за выходные дни, он залил на месте вчерашней пыли и карликовых диких кустов бетон и вбил первые сваи.

Соседи-католики тут же устроили акцию протеста, собрав несколько десятков местных жителей и заручившись поддержкой одного из киевских батальонов в числе пятидесяти человек. Компания, решившая воздвигнуть согласно проекту пару многоэтажных «свечек», тоже оказалась не промах и привезла своих бойцов, добровольцев из нескольких батальонов, причём сразу две сотни человек. Первоначальный план снести строительный забор церковникам пришлось отложить. Назревающее столкновение зашло в тупик. Молодые святые отцы в чёрных пуховиках зывали к совести и Господу, кому-то таинственно звоня и предрекая страшные кары. Бойцы с разных сторон на повышенных тонах обсуждали, кто и где служил.

Олег как раз возвращался домой, и только оставил машину на парковке. Он спешил. Несмотря на всё ещё бесснежную зиму, было холодно. Порывы ветра со стороны Днепра пронизывали до костей. Он не собирался вмешиваться в происходящее, потому что всегда старался избегать митингов и вообще – подобных сборищ, резонно считая, что в таких вопросах уж точно разберутся и без него. Он даже на выборы не ходил.

Олег с радостью обошёл бы это столпотворение стороной, но, вопреки своему желанию, оказался в самой гуще событий, увлечённый разгорячённой кричащей толпой, даже сам того не заметив.

Какая-то женщина в преклонных годах истошно выкрикивала в мегафон противоположной стороне, уверяя, что стройка законна и вот они – все документы! Так вышло, что вещала она прямо ему в правое ухо. Олегу хотелось попросить её не кричать. Разговаривать тише. У неё же

был мегафон! Зачем так надрываться? Но за её спиной стояли ребята в балаклавах. И он сдержался.

Активистка размахивала в морозном воздухе картонной папочкой с какими-то бумагами, выглядывающими из неё.

– Вот они! Вот! Все бумаги тут! – уже почти одержимо хрипела она.

Но собравшаяся от католиков толпа ей не верила. Один из присутствовавших – седой, но ещё бодрый старик, в сердцах обозвал оппонентку старой проституткой. Справедливости ради стоит сказать, что она была моложе его лет на двадцать. Кто-то за её спиной рассмеялся в ответ, и дед, недолго раздумывая, двинул костлявым кулаком по мегафону, цепко схватив его. Оппонентка не сдавалась, сжимая своё оружие не менее крепко, принявшись кричать с ещё большим надрывом. Раздался мат, и кто-то ударил деду в ухо. Группа защиты в лице киевского батальона слегка надела, и Олег почувствовал, что теряет равновесие. Противоборствующие группы бойцов действовали хоть и с напором, но в рамках приличия – всё ещё не распуская рук. Но Олегу от этого было не легче. Когда он увидел, как рядом с ним, пропустив контратаку защитников стройки, рухнул в морозную пыль молодой святой отец, его почти охватила паника. Рядом уже замелькали кулаки – удары были обоюдными, поэтому ему равномерно пару раз прилетело с обеих сторон. Отвечать он боялся, но и подставлять вторую щеку тоже не собирался.

Олег понял, что пора бежать. Но легко сказать – бежать от народного бунта. На деле это оказалось не так-то и просто. Больше всего Олег переживал за свою новую куртку – Оля подарила её буквально пару дней назад, на Новый год, и он, чтобы сделать приятно жене, сразу же надел её в офис, чтобы похвастаться перед ребятами. Хотя у всех были свои проблемы и всем было как-то всё равно.

Новую куртку в первый день так никто и не заметил, зато он оказался в ней тут – среди драки разгорячённых людей с боевым опытом, которые в своём порыве не собирались размениваться на такие мелочи. «Чего доброго, они её ещё порвут», – подумал он испуганно, предприняв попытки вырваться из кольца дерущихся, для чего сложился почти пополам и, прижимая окаменевшими ладонями подол куртки, принялся тыкаться головой в щели между телами.

Он пару раз безуспешно ударился о неприступную стену, да так, что чуть не рухнул. Кто-то с досады попытался зарядить ему тяжёлым армейским ботинком прямо в лицо, но промахнулся. Воспользовавшись освободившимся пространством, Олег юркнул в него и был таков.

За прошедшие несколько недель активность вокруг стройки несколько спала. Олег не верил, что католическая церковь сдалась. Наверняка там, в храме, просто выжидали. Сама же стройка росла – тут успели возвести фундамент и пару первых этажей. Укрепили забор. Строители явно спешили. Католики и их бойцы чего-то тихо и зловеще ждали.

На всякий случай Олег предпочитал миновать это место стороной, и теперь ходил со стоянки через задний двор супермаркета. Здешние работяги – хмурые и явно не местные – тоже не внушали своим видом доверия. Но они были полностью увлечены перетаскиванием ящиков и мешков, работая с сосредоточенностью муравьёв, прерываясь лишь на короткие молчаливые перекуры, так что никто не обращал на проходящего по их территории Олега никакого внимания.

В понедельник, после вполне приятных выходных, после выпивки и секса с Олей ехать в офис не хотелось. Секс у них случался не так уж и часто, в последний раз – ещё на православное Рождество. В этом году они впервые решили праздновать Рождество дважды. Но их секс со светлым праздником связан никак не был – они просто изрядно выпили. Как накануне, из-за чего секс случился сразу два раза за уик-энд. Просто так совпало.

Он с отвращением посмотрел на настенные электронные часы: за полторы минуты ничего не изменилось. Олег подумал, что настенные часы сегодня – это бред. Он, например, предпочитал узнавать время просто глядя на экран смартфона. Так все делали. Он сам видел. В конце концов, люди полжизни торчат перед мониторами или планшетами, где в правом нижнем углу безжалостно отсчитывается одна уходящая минута за другой. Время и так уходило чересчур быстро и бессмысленно, чтобы ещё и пялиться на настенные часы.

Тем более сейчас, когда казалось, что бизнес впал в спячку. Приезжать в офис раньше десяти утра уже не было смысла. Первые звонки раздавались не раньше одиннадцати. Да и клиенты предпочитали, чтобы их не беспокоили с утра пораньше, а само понятие утра незаметно сдвинулось на час вперёд.

Все вконец обленились. Да и работы, по сравнению с прежними годами, было не так уж и много. Несмотря на сокращение персонала. В январе они даже ушли почти на весь месяц в отпуск и уехали в горы – кататься на лыжах.

Отдых сильно ударил по бюджету, поэтому нужно было работать. Олег пытался хоть как-то мотивировать себя, продолжая рассматривать занесённые снегом машины на парковке, зная, что никаких особых дел в офисе сегодня всё равно не будет. Он даже не ждал никаких звонков. Казалось, что большинство клиентов ещё не вышли из отпуска. Наверное, злился он, у них просто было больше денег и они всё ещё катались на лыжах.

Вообще-то, Олег должен был встать в семь утра, чтобы отвезти Полину в школу, но когда на ещё одном необязательном и нервующем анахронизме – электронных часах на прикроватной тумбочке – сработал будильник, они с Олей, с трудом едва раскрыв глаза, не сговариваясь решили, что Полине лучше остаться сегодня дома.

– Пускай посидит со мной, – сказала Оля, не поворачиваясь, продолжая лежать к мужу спиной.

– Я бы ещё поспал, – задумчиво сказал он, глядя в потолок, постепенно прикрывая глаза.

Сон накрыл Олега. Перед тем как снова уснуть, он лишь услышал слова жены:

– Всё равно сегодня такая метель.

В восемь утра, не дождавись родителей, Полина разбудила их сама. В комнате царил полумрак. Тревожно скрипнула открывающаяся дверь. Лишний час сна, казалось, ничего не решил.

– Я опоздаю в школу, – сказала Полина робко, не переступая порог спальни.

Она была взрослой девочкой, у неё была своя комната. Оля приучала её к порядку.

– Посидишь сегодня дома, – сказала ей мать, выдавливая улыбку.

– Почему? – спросила Полина.

– Корь, лучше побыть дома. Помнишь, мы по телевизору смотрели? – Оля встала и накинула на ночную рубашку халат.

Она быстро расчесала спутавшиеся во время секса и сна волосы. Олег тоже нехотя поднялся с кровати и озирался в поисках брошенной ночью впотьмах одежды – джинсы и свитер нашлись там, где он ожидал увидеть их в последнюю очередь – аккуратно сложенными в шкафу.

– У нас в школе нет кори, – насупилась Полина.

Ответ матери её явно не удовлетворил.

– Лучше перестраховаться, – сказала Оля.

– А разве Боженька нас не защитит? – спросила девочка.

– Тебе лучше просто побыть дома, со мной, – попыталась улыбнуться ей мать.

– Я хочу кушать, – сказала Полина.

Оля быстро вышла вслед за дочерью, прикрыв дверь. Олег остался один.

Сейчас он даже немного злился на жену. Хотя реальных поводов у него всё так же не было. Но она его нервировала. Олег уверял себя, что это только похмелье, но раздражение не проходило.

Например, думал он, взять ту же школу для Полины – они платили за неё почти двенадцать тысяч в месяц, и ездить нужно было в другой район, больше получаса на машине. Или на такси. Оля считала, что их дочери ещё рано ездить на общественном транспорте. Да и вряд ли стоит начинать. Денег на Полину ему, конечно, было не жаль. Олег гнал от себя эту мысль прочь, ещё больше злясь на жену за то, что она навязывает ему этот комплекс вины, каждый раз, когда речь заходит о деньгах, выставляя всё так, будто он жлоб – в прямом и фигуральном смысле. Будто он не только зажимает деньги для родной дочери, но и не понимает всю важность хорошего образования. А ведь кто, как не они, – вырвавшиеся в отличие от большинства одноклассников

из своих сёл сюда, в столицу, и не просто обосновавшиеся тут, а открывшие новую страницу в истории их семьи, – должны были это понимать. Олег и понимал, но Оля продолжала выставлять его жлобом. Пару раз она даже произносила это слово вслух. И эти воспоминания уже трудно было списать только на похмелье.

А ведь Олег платил деньги всегда, но когда Полина только закончила первый класс, два года назад, он настоял на своём и уговорил Олю перевести дочь в школу чуть попроще – всего на пять тысяч в месяц дешевле. Сейчас он понимал, что вопрос не стоил этих денег. И дело не в том, что новая школа была хуже – определить это вряд ли было возможно. Школа была такой же навороченной. Но в последние два года Оля получила психологическое преимущество, и при каждом удобном для себя случае напоминала Олегу о его крохоборстве.

Хотя она прекрасно знала, что денег стало меньше. Намного меньше.

Оля всегда зарабатывала немного. По сравнению с ним, тем более в докризисные времена. Можно считать, что она почти ничего и не зарабатывала, и её работа – переводы на немецкий язык и с него – была скорее хобби. Всё это нужно было лишь для того, чтобы она хоть чем-то занималась. Работала Оля медленно, брала за свои труды недорого. Но Олег всегда молчал, продолжая сдерживаться даже сейчас.

Если бы не похмелье, он вряд ли стал бы обо всём этом вспоминать. За время, когда Полина ещё ходила в детский сад, Олег лишь однажды заикнулся о том, что, в общем-то, Полина может воспитываться и дома, под присмотром жены. В детском саду постоянно болели какие-то дети.

– Но болеют чужие дети, – холодно ответила Оля.

– Ну и хорошо, что чужие, – он попытался улыбнуться.

– Если денег жалко – так и скажи, – не сбавляла обороты она.

Это злило его больше всего, потому что проблем с деньгами в те времена точно не было. Он просто пытался думать рационально. Например, о том, что Оля всё равно постоянно сидит дома, а он, в общем-то, зарабатывает деньги. Но он благоразумно не решался поднимать эту взрывоопасную тему. Потому что Оля тут же ответила бы, что на ней лежит всё домашнее хозяйство. Хотя готовила она так себе, и Олег часто заказывал в офис суши или пиццу. Но она об этом, к своему счастью, не знала. Это был один из его немногочисленных секретов, скелетов в шкафу.

– Детский сад – это пережитки прошлого. Мы с тобой в домашних условиях воспитывались, – уверял Олег.

– И это плохо. Полине нужно социализироваться, – отвечала Оля.

– Игр во дворе для этого не достаточно? – спросил он.

– Ты хоть знаешь имена её подружек? – снова начала заводиться она.

– София, Христина, – принялся вспоминать Олег.

По правде говоря, они тоже думали назвать дочь Софией или Христиной, но Софий и Христин в их районе среди детворы было до того чересчур, что от этой идеи пришлось отказаться.

Олег даже не решался сказать Оле, что если хозяйство и так лежит на ней, то она, как мать, чтобы проводить больше времени с Полиной, могла бы сама отвозить её в детский сад. И в школу. У них было две машины. Продавать всё чаще простаивавший на парковке под окном Mini Cooper, которому только в прошлом году дважды скрутили по два диска, Оля категорически отказывалась. Она не стала бы его слушать. Он снова сдался.

Конечно, снять офис можно было в месте и попримичнее, на правом берегу. Ему, после пятого курса, пятнадцать лет назад, когда они с двумя однокурсниками открыли бизнес по продаже стройматериалов, многие так и советовали. Но ребята решили сразу оптимизировать бюджет и вложить деньги по максимум в дело – чтобы покупать как можно больше и продавать в том же духе. Как оказалось, большинство клиентов как раз жили на левом берегу, и добираться сюда, несмотря на невзрачные пейзажи, им было даже удобнее.

В центре, возможно, всего этого и не случилось бы. Но кто знает? Кто может говорить об этом наверняка? Их район тоже считался тихим: тут и грабили всего-то пару-тройку раз, и то – в

последние годы. У всех были надёжные сигнализации и высокие ворота. Они арендовали свой офис на территории одной из СТО и были под двойной защитой. К ним бы никто и не сунулся.

До 2008 года их бизнес процветал, и Олег, как и его партнёры, успел заработать на нехитрых схемах покупок и перепродаж себе на квартиру. Они всегда любили математику, и она им пригодилась. В городе тогда был бум строительства, материалы закупались в Польше и Китае и реализовывались, едва успев попасть на склад. Сперва, до первого кризиса, они могли позволить себе нанимать трёх грузчиков и ещё столько же менеджеров по продажам. После 2008 года по одной позиции пришлось сократить. Четыре года назад они остались втроем, как и начинали.

Но ни Олег, ни его товарищи не унывали. Собравшись летом с жёнами и детьми на шашлыки, они ещё рассуждали, что курс доллара 12-13 гривен экономически не обоснован, и к осени он откатится к 10,50-11 гривен за доллар. «Тем более после выборов в Киеве сформируют новый проевропейский горсовет», – сказал тогда кто-то. Несмотря на то что стало и становилось всё хуже, строительство в городе часто замораживали и заказов оттого было всё меньше, они всё равно не впадали в уныние. У них не было иного выхода. Как вспоминал Олег, бабушка всегда твердила, что уныние – это грех.

Оля позвала завтракать. Завтраком это можно было назвать разве что из уважения к жене, и то с натяжкой – наскоро запаренная овсянка да колбасно-сырная нарезка из супермаркета. Всё это он мог бы приготовить себе и сам. Олег подумал, что, наверное, она могла бы постараться чуточку больше. Но, видимо, не в понедельник утром. Оля снова заставляла его сомневаться и оттого чувствовать себя виноватым.

Есть не хотелось. Он просто сделал себе в кофе-машине двойной эспрессо. Оля вяло жевала овсянку.

Было непривычно тихо. Полина, уплетая бутерброды, смотрела какой-то странный заграничный мультик: бесполье разноцветные существа неопределённого, скорее всего инопланетного вида, наносили друг другу удары и о чём-то шутили. Олег прислушался: парочка шуток показалась ему отнюдь не детскими и даже с сексуальным подтекстом.

«Они что, пропагандируют среди детей инопланетный секс?» – подумал он, отхлёбывая горячий кофе. Олег пристальнее всмотрелся в мультяшных героев: половых признаков у них не было. Сейчас он не знал, радоваться этому или наоборот – насторожиться ещё больше.

– Ты бы хоть радио включила, – сказал Олег, отрываясь от экрана и глядя на Олю, желая хоть как-то оборвать монотонную муть, льющуюся из уст рисованных уродцев.

– Не работает, – буркнула жена.

– Прогноз погоды бы послушать, – пожал он плечами.

– Глянь за окно – вот и вся тебе погода, – она отгёрла его от кофе-машины.

Олег отошёл в противоположный угол кухни.

– Полина, дай пульт, я новости включу, – сказал он дочери.

– Я мультик хочу досмотреть, – ответила девочка, не отрываясь от экрана.

Она была настолько увлечена происходящим там, что даже забыла о еде.

– Дурацкие мультики, – сказал Олег, жалобно глядя на жену в поисках поддержки.

– Не ругайся при ребёнке, – ответила она.

– В этих мультиках она и не такое услышит. Я всего-то и хотел посмотреть новости! – разолился он, быстро допил кофе и, демонстративно выйдя в прихожую, принялся одеваться.

– По каналам с утра всё равно профилактика, – крикнула Оля.

Через полминуты она вышла к нему. Разбираясь со шнуровкой ботинок, Олег украдкой глянул на жену: выглядела она всё такой же рассерженной.

– Интернета тоже нет, – сказала она.

Олег достал смартфон: сеть была, но интернет, действительно, отсутствовал. Он попытался подключиться к домашнему wi-fi – всё так же безрезультатно.

– Наверное, что-то случилось, – рассудил он, застёгивая куртку.

Олег пожалел, что надел подарок жены. «Нужно было достать что-то из старого, чтобы позлить её», – думал он.

– Ты бы мог позвонить куда надо, чтобы со всем этим разобраться, – сказала Оля.

Это едва ли прозвучало как просьба.

– Я опаздываю в офис, – сказал он, стараясь, чтобы его тон звучал как можно более сухо.

– Ты говорил, что у вас не очень много работы, – парировала она.

– Ты тоже, – ответил Олег.

– На мне осталась Полина, по твоей вине, между прочим, – ухмыльнулась Оля.

– Не начинай, – он взялся за ручку двери.

– Я собиралась записаться на танцы, – злобно напомнила она.

Оля собиралась танцевать ещё несколько лет назад, когда они отдали едва подростковую Полину в безумно элитные и не менее дорогие ясли в соседнем доме. Там малышей учили этикету и французскому языку. Олег сомневался, нужен ли Полине в Киеве французский язык, не говоря уже о правилах поедания устриц, но возражать не стал.

Тогда затеи Оли с танцами так и остались нереализованными мечтами. После родов она начала быстро полнеть и оттого ещё больше злиться. С рождением ребёнка характер жены вопреки уверениям психологов, видеороликами которых Олег успокаивал себя во время её беременности, стремительно портился.

Сначала он даже притворялся, что её полнота ему нравится. Но когда однажды пауза в их постельных отношениях затянулась на целый месяц, Оля закатила ему скандал и, сделав вид, что делает это назло, принялась активно худеть. К первоначальному весу за все прошедшие годы она так и не вернулась, но она хотя бы делала вид, что старается.

О танцах она действительно что-то говорила ему на выходных, но он не придавал её словам значения. Они даже умудрились поругаться.

– Моё тело теряет эластичность, – пожаловалась она.

– Тебе ведь уже тридцать три года, возраст Христа. А ты чего хотела? – попытался пошутить Олег, но жена лишь надулась.

– Ты могла бы заниматься и дома. Например, гимнастикой, – предложил Олег.

– Я хочу танцевать, – не уступала Оля.

– Ты и так неплохо танцуешь, – соврал он.

– Это не то. Нужно научиться делать все движения правильно, – огрызнулась жена.

– Не всё ли равно, как двигать туда-сюда руками и ногами? – не выдержал Олег.

– Ты ничего не понимаешь! – возмутилась она.

– Ерунда какая-то, – сказал он.

– У тебя всё, что связано со мной, – ерунда, – Оля уже почти не шутила, и Олег сдался, предложив ей поступать так, как она считает нужным.

Сейчас, стоя у порога, ему страстно захотелось проучить её.

– Позвони провайдеру сама, а потом можешь идти на танцы, – бросил Олег и скрылся за дверью.

Он решил спуститься по лестнице. Лифт не работал с прошлой недели. И, казалось, несмотря на заоблачные тарифы местной обслуживающей коммунальной компании, на случившееся всем было плевать.

Спускаться с шестого этажа было не сложно, другое дело – подниматься вверх. Олег успокаивал себя, что всё это – неплохая зарядка. И ему вообще нужно больше ходить пешком и наконец-то вернуться в заброшенный лет пять назад спортзал. Потому что офисная жизнь его когда-нибудь наверняка доконает. Этим пугали отовсюду – мужские журналы, врачи и Оля.

Но пока Олег просто решил, что будет неплохо спуститься вниз по лестнице и, отказавшись от машины, преодолеть путь до офиса на своих двоих через метро. «Конечно, это не десять тысяч шагов, но тоже неплохо», – рассуждал он.

Олег всё ждал, что Оля ему позвонит и начнёт ругаться, но она не звонила. Спустившись в холл, он увидел, что клетушка, где ютился перед телевизором охранник, пуста. Он вышел во двор. Несмотря на то что было уже почти десять часов, тут было сумрачно. Солнечный свет и так с

трудом достигал дна каменного колодца, сейчас же небо беспросветно заволокло грязно-серыми снежными тучами.

Метель усиливалась. Снег бил в лицо. Спрятав голову в капюшоне, Олег вышел через арку на улицу. Длинные вереницы припаркованных запорошенных машин тянулись вдоль домов к реке. Вдалеке растворился чёрным пятном грузовик.

Олег перешёл дорогу, не дожидаясь зелёного сигнала светофора, и направился к супермаркету, чтобы пройти к метро через его территорию. Как и обычно.

Справа, ближе к реке, возвышалась стройка: несмотря на снег, там продолжали работать люди и техника. Олег заметил, что ворота находящейся рядом церкви открыты, и из них выходят люди. Сначала их было немного – несколько человек, но потом они превратились в толпу, вырывающуюся наружу плотными группами по несколько десятков человек.

Ему захотелось остановиться. Ближе он бы вряд ли стал подходить. Просто посмотреть, что произойдёт дальше. Возле стройки не было видно охраны, но, подумал Олег, скорее всего, бойцы скрываются за забором и, несмотря на кажущуюся компактность работ, там может скрываться и сотня крупных ребят. Стройка вполне могла оказаться троянским конём.

Толпа у ворот храма разрасталась, но не шевелилась. Она просто росла под снегом бесформенной тучей.

Олег прервал свои раздумья и, не став испытывать судьбу и обстоятельства, свернул влево к супермаркету.

На заднем дворе, где обычно сновали рабочие и грузчики, было пусто. И вряд ли они все поголовно спрятались внутри от снега. Проблема в том и заключалась, что вокруг не было никого. Ни души. Супермаркет казался вымершим. Олег с радостью зашёл бы внутрь. Так на дорогу до метро ушло бы чуть больше времени, всего на несколько минут, но он оказался бы среди людей.

Но попасть отсюда в супермаркет было невозможно. Он даже не мог заглянуть туда, чтобы убедиться – внутри кипит жизнь. Что там светло и тепло и не так мерзко, как снаружи, в одиночестве, среди железных контейнеров и брошенных машин. Но на него лишь смотрели наглухо закрытые изнутри огромные металлические двери служебных ангаров с табличками «Служебный вход». Для верности он попытался дёрнуть одну из них за длинную трубу, приваренную сюда в качестве ручки, но дверь даже не скрипнула.

Стараясь не смотреть по сторонам, будто в детстве, проходя вечером через пустырь за селом, где на лето останавливался цыганский табор, дрожа от страха, он побежал вперёд. Старшие пацаны рассказывали, что цыгане утягивают к себе в кибитки такую вот мелюзгу и творят там с ней разные непотребства.

– Вот так и исчезают дети, – говорили малышам взрослые ребята на полном серьёзе.

Несмотря на то что у маленького Олега не было ни одного знакомого, пропавшего за последние несколько лет, то есть за все годы, что он себя помнил, он всё равно верил и боялся.

Выйдя на парковку перед супермаркетом, он отдышался. Тут тоже было безлюдно. Только брошенные автомобили. Тонированные двери супермаркета ни разу не открылись, чтобы впустить или выпустить хоть кого-нибудь живого. Не оборачиваясь, Олег бросился к метро.

На площади, где обычно в это время толпы трудящихся штурмовали маршрутки, тоже никого не было. Табачный киоск был закрыт. Один из жёлтых автобусов стоял чуть поодаль от остановки. Олегу показалось, что у него были выбиты стёкла. Но вместо того чтобы подойти и уточнить это, он поспешил в пролёт, где находились магазины, торгующие всякой мелочью, тоже закрытые, – к входу в метро.

У стеклянных дверей станции стояли несколько человек в масках. Пытаясь шагать уверенно и непринуждённо, Олег двинулся через них.

– Метро в центр не ходит, – остановил его крупный мужик с грустными глазами в разрезе балаклавы.

– Мне в другую сторону, – проямлил Олег, смутившись.

– Что ж, попробуй. А въезд в центр до вечера закрыт, – сказал он важно.

– А что случилось? – спросил Олег.

– Вечером в новостях узнаешь, – усмехнулся мужик.

Олег достал смартфон: вслед за интернетом исчезла и мобильная сеть. «Нужно подняться на открытую платформу», – подумал Олег, втайне желая вернуться домой, ведь в офис действительно ехать было совсем не обязательно, как и не обязательно было делать многие вещи, которые он упорно делал каждый день, несмотря на отсутствие в этом хоть какого-то смысла.

Но он зашёл в вестибюль. Тут тоже стояли люди в масках. На этот раз на Олега не обратили никакого внимания. Кассы были разбиты и темны, турникеты отключили. Он решил, что платить в таких условиях, в общем-то, необязательно, и уже хотел подниматься к поездам, когда услышал шум снаружи. К входу в метро подъехала полицейская машина, из которой выскочили два молодых копа.

– Что тут происходит? Вы кто такие? – крикнул один из них, направляясь к мужикам в балаклавах.

Рука полицейского потянулась к табельному оружию.

– Тебя должны были предупредить. Шёл бы ты отсюда, хлопчик, – сказал ему кто-то.

В ответ второй полицейский выхватил пистолет и что-то истерично закричал. Олег почувствовал, как его бесцеремонно отталкивают, и он едва не рухнул на каменный пол. Мимо пробежали какие-то ребята, они оттолкнули двери и сразу открыли огонь. Олег не разобрался, из чего они палили – из травматов или всё было по-настоящему, но полицейские, вместо того чтобы отстреливаться, явно сдрейфили и бросились к своему автомобилю.

Но было поздно. Полицейскую машину взяли в плотное кольцо.

– Сдавайтесь, – крикнул им мужик, остановивший Олега, и проворно размахнувшись припасённым куском арматуры, обрушил мощный удар на лобовое стекло.

Удары по машине посыпались со всех сторон.

– Выходите, уроды! – кричали мужики.

Потом кто-то скомандовал переворачивать, и дюжина крепких рук опрокинула полицейское авто на бок. Самые резвые из бойцов тут же забрались на машину и принялись выбивать стёкла ногами.

Его снова толкнули. Он услышал, как шумит со стороны Днепра прибывающий поезд. Олег бросился через турникеты на лестницу и вверх по ней – на платформу.

В вагоне, куда он успел вскочить в последний момент, остановив рукой закрывающуюся дверь, не считая двух стариков в другом конце, никого не было. Попутчики вышли на следующей станции. Он остался один. Олегу стало страшно. Конечно, в киевском метро, в отличие от американского, как это показывают в фильмах, опасный незнакомец не может внезапно появиться из соседнего вагона. Но всё равно: ехать в пустом вагоне было непривычно. В пустых вагонах он не ездил даже в юности, возвращаясь в общежитие с очередной студенческой попойки. Даже тогда, посреди ночи, на сидениях рядом дремали или, наоборот, о чём-то весело спорили такие же пьяные молодые ребята. Но сейчас всё было иначе – было утро и никого не было.

Чтобы отвлечься, Олег начал смотреть в окно. Метель почти заволокла собой всё пространство, но сквозь её белую пелену угадывались, пропадая в снегу, очертания проносящихся прочь высоток и километровых линий гаражей вдоль рельс – уцелевших осколков одноэтажного прошлого.

Неожиданно включилась внутренняя связь и он услышал угрюмый голос машиниста:

– Поезд следует без остановок до конечной станции.

– Но мне нужно выйти! – возмутился Олег, однако связь оборвалась.

Он увидел, что поезд подходит к его станции. За окном замелькали знакомые мрачные пейзажи. Где-то там, среди всего этого ужаса, наверное, он смог бы даже найти улицу, на которой располагался их офис.

Олег запаниковал и принялся жать на кнопку вызова машиниста, но связи не было. Он жал снова и снова, пока запавшая кнопка вдруг не заработала, загоревшись весёлым зелёным светом.

– Мне нужно выйти! – истошно крикнул Олег.

Поезд резко затормозил, двери открылись, и он буквально вылетел на заснеженную платформу. Издав торжественный гудок, поезд умчался прочь и быстро растворился вдалеке.

Олег встал и отряхнулся. Надевать новую куртку сегодня явно было не лучшей идеей.

Вокруг снова никого не было. Во всяком случае, рассудил он, это было лучше, чем то, что случилось несколько минут назад с полицейскими, и он до сих пор не мог понять, что там, чёрт побери, произошло.

Он достал смартфон: связи так и не было. Выйдя из метро, Олег замер от поразившей его тишины. В это время тут уже всюду гремела работа десятков мастерских, а сама дорога, по которой ещё в недалёком прошлом ездили запряженные лошадьми телеги местных колхозников, задыхалась от ползущих в обоих направлениях автомобилей. Но сейчас тут не было ничего, лишь тишина и метущий снег.

Видимость упала до нескольких метров. Штормовой ветер остервенело пытался сорвать с него капюшон и сбить с ног. Он пошёл по своей улице. Тротуаров тут и так никогда не было, сейчас же снега намело столько, что ему приходилось идти едва ли не посредине проезжей части, где ещё виднелась достаточно широкая колея от транспорта, на которой, впрочем, вряд ли смогли бы свободно разминуться даже автомобиль и пешеход.

Олег постоянно оглядывался, чтобы не угодить под колёса едущей сзади машины, но тишину ничего не нарушало. Лишь резкие порывы ветра, которые уже откровенно пытались опрокинуть его на землю. Несколько раз метель брала вверх, и, поскользываясь, он падал в сугроб.

Олег уже не пытался отряхнуться от снега, лишь иногда протирая оковеневшей рукой слипающиеся глаза. Из-за Оли, думалось ему теперь, он забыл взять перчатки.

Он просто шёл вперёд. Олег не знал, сколько прошло времени – пять минут или целый час, – счёт ему окончательно потерялся, но он понимал, что не прошёл ещё и малую толику своего пути.

Когда он уже был готов сдаться и окончательно рухнуть в манящий сугроб возле очередной наглухо закрытой СТО, впереди показались автомобильные огни. Он энергично замахал руками, чувствуя что-то вроде прилива радости.

– Стойте! – закричал он.

Машина остановилась в десятке метров. Из-за метели Олег даже не смог разглядеть её марку. Из салона вышли две фигуры и быстро направились к нему.

– Что происходит? – крикнул Олег, стараясь, чтобы его голос звучал приветливо.

Фигуры были уже совсем близко. На расстоянии вытянутой руки. Метель скрывала их до последней секунды, пока не последовал удар и Олег не почувствовал, как левую половину его лица обожгло. В то же мгновение земля ушла у него из-под ног, и он увидел взмывшее вверх небо, после чего больно грохнулся на спину, ударившись головой об обледенелую землю. Если бы не капюшон, он бы сразу отключился, но у Олега всего лишь на секунду потемнело в глазах.

– У-у, мразота! – закричал над ним грубый злой голос.

Олега обдало алкоголем. Его подняли за ворот куртки, словно ребёнка, и снова больно ударили. Он опять упал. Потом другие руки – тонкие и цепкие – принялись расстёгивать его куртку и через секунду стянули её. Из его парализованных страхом и холодом пальцев вырвали смартфон.

– Отдайте, – жалобно подал голос Олег.

В ответ его ударили ногой по голове. Первый удар сломал Олегу нос. Он даже успел подумать, что это, в общем-то, и не страшно. Второй удар пришёлся в висок, Олег начал терять сознание. Когда автомобиль уехал, он ещё пару раз пытался открывать глаза и даже прополз с метр. Через час его тело занесло снегом.

Февраль 2018

Сергей БОРОВИКОВ

ИЗ ДНЕВНИКА (1994–1999)

1994

1994, июнь

Дважды на Волге – по делам Лёньки Алексеева¹ по покупке лодки. Первый раз – смотреть. Плутания вдоль берега: ст. Князевка, Увек, везде совершеннейший Юг, начиная с оврага у завода Крекинг, бледно-зеленых склонов, кущ, крыш над волжским простором. Особую, словно бы морскую, прелесть пейзажу придают волноломы, образующие бухту у ж.д. моста. Пропитанная нефтью земля. Лодочная база «Локомотив-2», матершинник «председатель базы», о чем оповещает гигантская вывеска на его крошечном домике. Поездка в старинный краснокирпичный дом на горе к владельцу зелёной гулянки по фамилии Дубовицкий, которого здесь прозвали Деревянным за дурь и пьянство.

Второй раз – перегоняли на «Абхазию» уже купленную Лёнькой тяжёлую, с высокими бортами, неуклюжую, но очень устойчивую гулянку.

Я – с крутого похмелья и уже полечившись. Данила², Ая³, Лёня, хозяин гулянки Сергеич и друг его Саша. Обоим лет под шестьдесят, с пропитыми и прокуренными лицами. Возня с мотором, уборка лодки, вынос барахла, торговля вокруг того, что оставлять, что нет. Мат. Данила, на моё предложение посмотреть, много ли в баке бензина, отвечает: «До х...ща! – Сколько?! – Сказал же – до х...ща!»

Я играл в ухаля-парня, наполовину им и был, грозил утопить Сергеича за херовую работу двигателя. За дорогу с Увека до «Абхазии» мы с Ленькой, Айкой и Сашкой (Сергеич в завязке) выпили литр «Кремлевской лимонной», я садился за румпель, багор на штоке, сладко. Пустая Волга, Саратов под солнцем. На «Абхазии» мои ебуки в адрес окружающих, возня с карбюратором, тяжкий жар. Я собрался на берег за добавкой.

Подтягивая за трос лодку к дебаркадеру, Данька отпустил его на миг в том момент, когда я туда перешагивал, и я оказался в воде, одетый, с сумкой, которая всплыла рядом со мною, в которой деньги и бумажник.

Переоделся в Лёнькино и по жаре в гору, мимо общежития юридического института на пл. Фрунзе. Жара, зной, тяжело, вторичное, пьяное похмелье. От ларька к ларьку – разливного пива нет, переливал из бутылок в пластмассовые полторашки, колбаса, лук, водка, хлеб, – всё у лоточников. Назад. У сходен Саша и Сергеич, едва меня завидя, поспешили доложить: «Серый, всё в порядке». Пока я ходил, они заменили карбюратор. На «Абхазии» из-за высоты борта этой бывшей баржи к лодке приходится спускаться и подниматься по цирковому вертикальному, с веревочными ступенями, трапу.

Знакомство с вахтенным, я его узнал – Саня Мангушев, красномордый амбал, когда-то пловец. Валерка Виноградский, в юности занимавшийся плаванием, рассказывал, как на каких-то соревнованиях Саня на спор, пьяный, запустил в бассейн гуся. Мы (я) ему щедро водки, колбасы.

Решили прокатиться до Казачьего. На руле по дороге счастливый Данила. Купанье в холодной (14 градусов) воде.

¹ Мой друг. (Здесь и далее – прим. автора, сделаны в марте 2018 года.)

² Мой младший сын.

³ Аида, жена Лёньки.

Июнь

Встреча с П. Сапрыкиным¹ – дома у него приятно. Полумрак, он и Альвина закусывают. Курят. Потом – уже смазано – с ними в мастерскую к Толе Учаеву² с их знакомой девочкой показывать её работы. Я в его новой мастерской, недоделанной, стал к нему придирается, выпивка. Я приставал к этой девочке, совсем молоденькой, с круглым лицом.

12 июня

На гребной базе у Маркелова³ в дальнем Затоне. Тихо, ласковый вечер, пустынный, пахнущий хорошим чердаком, элинг, блестящие корпуса распашных парных и четвёрок. Игорь Боровиков⁴, Юрий Сисикин⁵ причалил на маленькой шлюпке с «Ветерком» – чинить его – с дачи. Спокойствие.

Вчера ходили с Данькой купаться в Затон по тяжкой жаре, в шестом часу. Всё то же: небогатый народ и стриженные в цветастых трусах на «девятках» с блядами.

Данька весь в моторах, лодках, машинах. Мне всё верится, что найду хороший заработок и кушлю и лодку и машину – ему, конечно, а не себе.

Тяжелые душные ночи, особенно позавчера – глухая, воробьиная, а так как я все это время, хоть и в меру, выпивал, особенно пиво – тяжесть, липкий пот, похоть.

По дороге из Затона видел двух парней и одну девушку, с мольбертами; фантазия написать рассказ, как много лет спустя она, брошенная одним из двоих, наковыренная, одинокая, вспоминает этот июньский вечер, как пили воду из колонки у пыльных заборов и лопухов Затона – вода желтоватая, с душным запахом, и ощущение счастья, молодого тела, голых ног, будущей профессии.

20.11.94

Надо делать регулярные записи, их мне не хватает. Не хватает и сейчас, и не хватает *потом*. Дневник меня по-прежнему не скажу пугает, скорее отторгает опыт прошлого дневника: слишком там много однообразных жалоб и записей.

Ходил сейчас недолго, час, по Валовой и др. Вязкий, сырой, промозглый день, очень тихо и в природе и в людях, потому что магазины не работают. Незыблемое удовольствие от старых улочек и домов, дворов, куда обычно стесняюсь заходить, прежде всего потому, что забредают господа типа меня с целью помочиться. Везде родные саратовцы – родные те, кто летом на лавочках, а сейчас у «парадных» чешет язык. Говорить о том, сколько богатых и бедных, нелепо, лишь очень уж заметны роющиеся в мусорках и пролетающие мимо в иномарках.

Давно читаю и нарочно медленно, с еще большим вкусом, чем прежде, «Бесов». А из нового ничего читать не мог. Кроме увлекательного для меня Войновича в «Знамени» – «Замысел», о себе он пишет лучше всего.

Надо писать две статьи и никак – предисловие к Слаповскому и статью «Провинция и литература» для Жоржа Нива.

Выпиваю почти ежедневно, но хорошо, в одиночестве, с приготовлением слюнотечивой закуски – селедка, свёкла, картошка. Завтрашнюю неделю буду дома за счёт недели из отпуска, которую проболел. Надеюсь дописать должное и что-то сделать по дому.

¹ Профессор, зав. кафедрой глазных болезней мединститута, Альвина Ибрагимова, его пятая жена, режиссёр документального кино.

² Художник.

³ Мой приятель.

⁴ Тренер по гребле.

⁵ Фехтовальщик, чемпион Олимпийских игр.

Позавчерашняя нелепая беготня на свидание с Ильей⁶, который по телефону предложил отдать вручённую ему пациентом бутылку, чтобы не оставлять на работе и не нести домой (Вера!⁷), Сырой, в мгlistых огнях вечер, Данила должен уже прийти домой, а я бегаю между двумя аптеками на довольно большом расстоянии – неточно договорились.

Моя необщительность почему-то распространяется не на то, что надо: недавно, в течение нескольких часов находясь рядом с Войновичем в Доме учёных и даже обменявшись с ним словами, не познакомился, хотя он единственный из старых писателей, который меня как писатель интересуется.

25.11.94

24-го ноября всё та же сырая и тёплая погода, как бы вечная, как вечным, казалось, было солнце августа-сентября-октября. Прошёл медленно за три часа по Полицейской, Армянской, Липками, по Б.Кострижной, М.Кострижной, Вольской, Крапивной, Ильинской, Угодниковской, Камышинской, Царицынской, Вольской, Немецкой, Соборной, Царицынской, Полицейской к дому. Приятно всё же писать и произносить старые, русские, а не советские, названия.

Дел сделал два: узнал в ателье головных уборов, что кепки они не растягивают (купил малу), а в Доме книги, что нет ничего из того, что меня интересуется, зато есть новый хозяин – книготорг купил саратовский богач Родионов.

В магазине дочери писателя В.Казакова видел и не взял вождеденный трёхтомник Георгия Иванова – 34 тысячи!

Цены почти все очень подскочили и если прошлым летом, заходя в магазины, я мог благодушно предполагать и располагать, то теперь практически недоступно всё. Даже водка хорошая – не «Смирнофф», не «Абсолют», а самарская или кристалловская – 7-8 тыс., т.е. больше моего дневного заработка; перешёл на саратовскую, а эту неделю вообще не пью. Пишу и почти закончил статью для Жоржа Нива, и еще написал несколько всяких страничек, читаю «Бесов» и вокруг «Бесов».

1995

3 февраля

Вчера звонила Нина Георгиевна Рунич⁸. Второй раз просит принести ей «Мы». С ней – о возрасте, о смертях (Ормели, Стасик, Сашка-Гулька). Ей в этом году 89. Она сказала, что стирает, но ходить не может. Предлагала заниматься с Данилой (имя помнит). «Я к холодильнику подойду и забуду зачем, а ночью разбуди – кого хочешь научу правилам». Всю жизнь курила. Сказала, что жив и Александр Евгеньевич⁹. Я вспомнил, как ходил к Жене¹⁰ заниматься: «Ты в математике полный нуль». Папиросы он держал в нагрудном кармане пиджака: зеленые торцы набитых гильз. А.Е. всегда пил чай и читал, куря при этом. Они все курили. Пошли требовать квартиру в гороно: 6 педагогов в одной семье – там не поверили сначала. Я к ним ходил еще на Челюскинцев. Бывало, что почти у всех одновременно занимались ученики.

Ходил 2 дня в научку – сначала неловкость – отвык. Библиотекарши молодые. Старая еврейка в периодике меня узнала: как вы давно не были.

⁶ И. Петрусенко, мой друг.

⁷ Его жена.

⁸ Моя учительница русского языка и литературы.

⁹ Её муж, преподаватель математики.

¹⁰ Её сын, преподаватель математики, приятель моего старшего брата.

Встретил на входе Дедюхина¹. Как и во всю жизнь – хвастает. Двухтомники в Саратове, в Москве. Столько заказов (жизнеописания царей), что за один «усадил Ольгу²». Игорь Книгин³ в периодике, где я читал «Крокодил» за 47 год и далее. Нет уже обаяния воспоминаний, крайне плоско, противоядие по вздохам о сталинской эпохе. Собрал библиографию для «Парохода»⁴.

Из библиотеки пешком разными путями. Позавчера по наколке Книгина купил на углу Вольской и Бахметьева дешёвого (1800) бахчисарайского белого сухого 2 бут. в пандан к ежедневной (но не более 150-200) водке.

Взял на абонементе 1-й том Дневника Чуковского (2-го, как и вообще книг после 91 года, нет) и «Воспоминания» Айседоры, которые ужасны, а Чуковского третий день читаю.

Сегодня не удалось попасть в библиотеку – большая разгрузка привезенных в редакцию книг. Снег, сугробы, лёд – под теплом превратились в ужас. Сосульки.

Чечня, т.е. вторая чеченская позорная война.

Коты.

Сегодня купил «Негру де Пуркаръ» – три тысячи.

6 февраля

Опять мороз – 15. Вчера с Данилой были вечером у мамы – 60 лет Стасику⁵.

Днем в бассейне.

Читаю Дневник Чук. Не дает писать Катька⁶ – лезет с ласками.

Иду на работу.

15 февраля

Прошлую неделю работал в редакции. Выходные дни: купил на 71 тысячу, полученную из «Нового мира», себе водку «Самарскую» и селёдку, Томе⁷ бананы, Даньке шоколад и мороженое.

Вчера с Томой и Наташей Каган⁸ в «Пионер». Фильм «Подмосковные вечера». Мастеровито, но холодно, сухо, без радости.

Через неделю надо отмечать день рождения.

Шульпиной⁹ нравится директорствовать, в телефон: «У меня бумага, Я пошлю, Дай мне» и т.д. Голос стал громче, и уж ко мне утром первая не заходит.

Тепло, слякоть.

Вчера-позавчера Данька был уличен в прогуливании школы, объяснив: «Этот план созрел у меня в понедельник утром».

1 марта

Тома затеяла ремонт, но работает, то есть кормлю рабочих и проч. я.

У Кати течка, воет день и ночь.

Ноль гр. Все серо-мокро.

Сегодня Андрей Шундик¹⁰ рассказывал о похоронах отца.

¹ Саратовский писатель.

² О. Гладышева, писательница, жена Дедюхина.

³ Доцент филфака университета.

⁴ Мой несостоявшийся проект: книга-альбом о пароходе в русской литературе.

⁵ Мой покойный брат.

⁶ Кошка.

⁷ Моя жена.

⁸ Саратовский киновед.

⁹ Отв. секретарь «Волги», которой я уступил место директора нашего предприятия.

¹⁰ Сын первого главного редактора «Волги».

4 марта

Всё и все эти дни – об убийстве Влада Листьева. Конечно, истерика и всегдашняя жажда святого на Руси, но главное – его популярность. Даже старушки в хлебом о нём. Бессмысленно угрожающая речь Ельцина на митинге в Останкино.

А у нас ремонт. Вчера заключительно выпивал с мастерами Славой и Витей, которые, напортив кое в чем, сделали-таки работу быстро. Я с ними за эти дни даже сжился. Слава, бригадир, угрюмый со следами ходок на пальчиках, тоже объяснился мне в любви после второй бутылки водки. Тому они побаивались.

Вчера же прошелся за колбасой к 8-му марта по весеннему солнечному центру. Торжище на площади.

А в редакции долгожданный КамАЗ с Мишей¹¹. Его рассказ об аварии, столкновении с иномаркой у Вышнего Волочка. Хозяин иномарки, «шеф», погиб его соратник, привёз местное ГАИ. Наши перепугались. Но тех интересовало – была ли авария случайно – не убийство ли. Шофер нашего КамАЗа сказал, что продаст дачу и заплатит, мафиози сказали, что им его деньги не нужны.

Сегодня с Томой смотрели ботинки мне. Распрощались на Московской и Горького. Оттуда за присмотренной вчера «Золотой рожью». Прав Похлебкин: ржаная водка выше пшеничной. Варил неудачный борщ из свиной косточки. Селедку купил. Встреча с Володей Яценко¹², отказался с ним и неким Олегом из налоговой полиции пойти выпить.

Воздух как бы апрельский – обвал тепла, сейчас около 10, выпил полбутылки и бутылку пензенского пива. Пошел на оставшиеся 3 с пол. тысячи за пивом. Ларьки горят дявольскими гирляндами. Алкаш что-то (не разглядел что, было совестно) предлагал купить продавцу: «15 тысяч стоит, а я за бутылку». Взял 2 бутылки пензенского. На углу стриженные бандиты и бляди. Даже на улице у кафе «Айсберг» пахнет французскими духами и марихуаной.

Эти дни почти не писал – немного Зошенко. Хорошо, но он (за кадром) мне слишком уж ясен.

Умение быть в одиночестве – трудное. Я им, кажется, овладел в высокой степени. Только обратная сторона: когда кто-то ко мне является – он мне не нужен. Раздражение от общения. Я должен быть один.

Спасение и мука.

12 марта

Вчера вдруг воротилась зима в самом суровом облике – дикий ветер и минус 13 с утра.

Прошлая неделя: диковатое гулевание в редакции с Витиным¹³ магнитофоном и чьим-то блёвком. 8 марта несколько разгрузок-погрузок, моё постоянное алкогольное (но не допьяна) погружение. В Пт (особенно дикий день) многочисленные торговые редакционные дела, звонки (вроде всегда неуместного Бойко¹⁴ – теперь уж и «Земли саратовской» сотрудника) плюс срочное, по моему настоянию, приобретение «кухни» для кухни с продажей долларов, машиной и т.п.

Тихий благостный вечер, в ТВ «Председатель» с моими слезами плюс графинчик. Спал с кошками, к вечеру, гордясь собой, водку не допил, а ел картошку с молоком.

Сегодня был в бассейне, унылом, потом обед с «Председателем» (2-я серия) и водкой, потом мучительные раздвоенья, которые кончились приобретением 2-й бутылки, сочинением письма Немзерам¹⁵, игрием на пианино. Слезливость перед ТВ и всем, где «справедливость».

¹¹ Экспедитор, который ездил за книгами для продажи.

¹² Саратовский киновед, приятель А. Слаповского.

¹³ Головлёв, коммерческий директор «Волги».

¹⁴ Саратовский поэт.

¹⁵ Друзья – Андрей Немзер и его жена Катя.

15 марта

В Пн с Даней студеным утром в 1-ю Советскую – минус 17 с очень сильным ветром, а я зачем-то в осеннем пальто. У Даньки подростковый мастит, режут титьку.

Сегодня тем же с ним занялась Тома.

Вчера с ней на радостях по моей зарплате купили скумбрию две штуки на 10 тысяч и на столь же пензенского пива. До этого днем шел пешком из библиотеки – всё оживленно, но безрадостно. Покупают последнее время мало, хотя магазины забиты и всё новые и новые открываются.

19 марта

На неделе приобретение плиты и холодильника, то есть погрузка, машины, продажа долларов¹. Квартира в разоренном виде – мастеров опять нет!

Вчера и позавчера выпивал. Позавчера поддельный «Наполеон» – ароматизированная самогонка, вчера «Емельян Пугачев» – пугачевского завода, очень приличная водка, но и её не следует пить по 800 грамм, как я вчера сделал.

На улице двое трезвых пьянчуг с напряженными взорами, вдруг одного осенило: «Идем к Кольке, а потом видно будет!» Последняя фраза – есть кредо русского человека.

23 марта

В радио придушенный голос Алана Чумака. Сколько ходу дали чудодеям-жуликам. Сейчас скандал с японской изуверской сектой. В Токио они запустили зарин в метро. А у нас по радио, ТВ они выступают. Не люблю наших попов, но они наши, а гладкие в галстуках проповедники из США гнусны.

Все эти дни по хозяйству. Разобрал кладовку. Перенёс туда из кухни буфет, предварительно развинтив и укрепив его и т.д. Мастеров все еще, 3-ю неделю, нет. Тома не хочет звонить их шефу.

Живём в разоре. Сегодня же занимался обустройством аквариума в редакции.

Позавчера с Томой повторили «пензенское» под скумбрию – жирную и нежную.

Не пишу совсем и почти не читаю. Только газеты. Сажу у радио. Выпил грамм 200 «Золотой ржи». Похлебкин прав.

Очень давно ходил нестриженным, сегодня постригся за 6 тысяч (самая дешевая стрижка).

2 апреля

Позавчера с Ильей сначала под дождиком пиво с воблой у ларька на углу Шелковичной и Рахова. Потом в подвальной кафедральной комнате среди приборов и плакатов. Боря Файн, Колесов, хирурги². Пили поддельный болгарский и греческий коньяки. Потом с Ильей там же вдвоем водку «Асланов». Илья захорошел, я провожал его домой. Вечером Вера в телефон:

– Проявил себя твой товарищ...

– Коньяк поддельный, – предположил я.

– Не коньяк, а натура...

Вчера с Томою гуляли по хозделам. Потом я обедал с водкой и пивом, провожал её, гуляли.

Потом домой.

А в Чт была большая погрузка³ и опять-таки выпивали в редакции. Каждый день получается.

Данька промаялся 3 дня и ушел опять в Пентагон⁴, где двор и компания.

Дни серые, с дождичком, 5-го тепла.

Звонок из «Знамени» на днях. Дама по имени Ольга Ильинична по поручению Степаняна – нужен номер «Волги». В конце: что вы можете предложить? – Я: Свои заметки, сейчас к 100-ле-

¹ Я получал доллары как член Букеровского комитета.

² Врачи Первой городской больницы, где работал мой друг.

³ Постоянная тема: тогда мы, т.е. редакция «Волги», занимались не только изданием, но и книготорговлей.

⁴ Т.е. к матери.

тию Есенина. Она (с неадекватным смехом): Не знаю, не знаю, будем ли мы отмечать 100-летие Есенина. Посоветуюсь со Степаняном.

12 апреля

«Презентация»⁵ в научке. Хамство авторов и «спонсоров». Сказал им об этом, что не помешало затем за столом пить с одним из них и даже на ты. Стол хорош. В кабинете 87-летней Артисевич⁶, которая выступала раз пять. «Абсолют», бутерброды с красной икрой, бальком, копченым мясом, что-то сладкое. Наши ели, я крепко взялся за «Абсолют», и одну из двух литровых бутылок прикончили вдвоём с Олегом⁷, который напился так, что после я тащил его по коридорам библиотеки, ловил машину. Доставив его туда, куда он просил, идя пешком по проспекту, зашел в «Волгу»⁸. Там Таня⁹ за столом в пустом зале с компанией ресторанный главбуха и какой-то пары. Главбух дирижировала послушным скучающим оркестром. К «Абсолюту» и поддельному греческому коньяку в научке добавил сколько-то водки. Выходил чёрным ходом через кухню на Яблочкова. Одна глупость влечет за собой другую: у родного дома встретил Машку¹⁰ и о чем-то долго с ней беседовал. Домой шел трудно, но дошел.

На следующий день, грамотно подлечившись и проведив Тамару, поспал и вечером думал вести здоровую жизнь. Но пришли Денис с Леной¹¹ и опять была водка-пиво, их кормление – т.е. приготовление второго обеда за день.

Они женятся 28-го, просят деньги на путевку в Сочи. (1,5 млн+одна дорога). Должны сложиться мать Лены, мать Дениса и мы. Тома сегодня достала 0,5 млн.

Следующим утром в Вс не оставалось ничего другого, как на остатные деньги купить 2 бутылки «Изабеллы» с этикеткой «Анапы» (Анны Павловны) и вместо дома зачем-то позвонить Илье.

День был поначалу благостный. Илья, «Абсолют-курант», унесённый из дома от запившей и побитой им Веры. На Яблочкова в 13-й двор, где на фоне Владькиных¹² окон трехчасовое стояние, откровения, ссанье на забор. Солнце, весна, потом ещё водка в «Кишке»¹³ и сиденье на ступенях бывшей партшколы на Революционной, где Илья раскис, и я увел его домой плачущего.

Вечер один дома, в норме.

В Пн утром разбужен был Данилой: «Меня из школы исключают».

За дело взялась Тома – разговоры с завучем, учителями. Я тоже раз сходил.

Тепло до жары и огненные батареи – это коммунальные бандиты сжигают топливо. Даня ездил в Энгельс на базу гребную. Очень доволен.

Сегодня еле добрался до библиотеки из-за манифестации дураков, делающих хуже себе, жителям, а не правящей сволочи. В ТВ уже не опухший, а затекший Ельцин, который приехал в Нальчик, чтобы сказать, попробовав воды: «А мы зачем-то французскую покупаем, зачем?» и получить в подарок красавца жеребца. В газетах о том, как готовили для его встречи железную дорогу до Рязани и прочее. Скандал с японской сектой, которую пригрел Кремль.

Постоянное ощущение гадости.

1 мая

Сейчас в радио Паустовский – «Старик в станционном буфете». Почему я так не люблю его? Выработанный, вымученный, морализованный, аккуратный сочинитель.

⁵ Кажется, изданной нами книги бр. Семёновых «Саратов купеческий».

⁶ В.А. Артисевич, директор научной библиотеки СГУ.

⁷ Работник «Волги».

⁸ Ресторан.

⁹ Буфетчица.

¹⁰ Моя племянница.

¹¹ Мой старший сын и его невеста.

¹² Владик Сладков, сосед по дому, где я в детстве жил.

¹³ Вытянутый и узкий гастронорм на улице Радищева.

Сейчас думал о Фассбиндере – моем одногодке. Его «феномен» – десятки фильмов, пьянство, любой секс – никакой не феномен. Это профессия, в которой, возможно, и я мог бы выразить себя. Лишь тонко чувствующий алкаш может мгновенно выражать сознание и ощущения многих людей. Правда – кинопроизводство? Каков был бы я его организатор, слишком мягок для этого и маловато себя люблю, чтобы быть лидером.

Было: ремонт, бардак и мусор в квартире. Выезд на шашлыки в Тяньзинь с редакцией.

«Сочетание» Дениса и Лены, куда я пришёл на следующий день после шашлыков. Какие-то люди у здания бывшего Волжского райкома КПСС, где мы когда-то с Валеркой Виноградским хором драли Томку К. Увидев проходившего Льва Горелика¹, я зачем-то подозвал его, решив, что собравшимся присутствие известного актёра будет приятно, но, кажется, его никто и не узнал. Убожество обращения ведущей «сударь Денис» и «сударыня Лена» – всё это усугублялось жалостью к Денису, бледному, растерянному до того, что ухитрился потерять паспорт со свежим штампом. Оттуда к маме, давно и трогательно собиравшей этот стол: шампанское, ананас, виноград, бананы, московские конфеты.

Ежедневная водка и калининское оранжеевое, очень свежее пиво². Эти дни с Томой занимались благоустройством. Сейчас вместе до Провиантской, где я зарядился «калининским», она в троллейбус – к бабушке. Читаю обретенный наконец 2-й том дневников Чуковского. Андрей прав: книга страшная.

2 мая

Мой образ жизни в последний год и ощущение жизни напоминают мне себя 15-летнего, когда не выходил из дома, читал, валялся, переживал из-за прыщей, хотел и мечтал.

Сейчас я не мечтаю и нет прыщей, а хочу пуще прежнего. Но блуд требует организации и каких-никаких усилий, мысль о которых навеивает скуку.

Не пишу давно. И потому что не пишется, и потому что не платится. За публикацию я максимум получу 50 тысяч, а в «Волге» так и 20, тогда как за апрель я заработал службою более миллиона.

Останавливает и всеобщее равнодушие к литературе.

Данила 2-ю неделю в Пентагоне.

После ремонта почти всё мы подделали, остановка в смене плиты. Надо идти в Горгаз. А после установки плиты можно ставить мебель и холодильник.

Страшно похолодало. Ледяной ветер.

Все эти дни читаю 2-ю часть Дневника Чуковского, который, как раньше дневник отца, заставляет понять, как стыдно жаловаться бумаге на возраст, тоску, непонимание.

12 мая

Сегодня звонил Илья: новый Верин запой лёг на приезд и соответственно запой Гольда³. Илья едва ли не на грани самоубийства. Веру отвезли на Алтынку⁴. Гольд у него в больнице под капельницей. Вера только что вышла из одного запоя, поехала в другой.

Вчера с Виноградским пропили его гонорар в «Волге» – 97 тысяч, исключительно пивом «Медведь» – как бы хорошим, но страшно дурным, выпил 8 бутылочек и был пьян.

Всю неделю у нас Даня – на 8 и 9 мая Тома выдала полтинник, мы с ним посадили его на фисташки, чипсы, пиво, колу, лодку в парке и проч.

Неуместная пышность Дня Победы, когда фронтовикам кроме медалек и цветов ничего не досталось. Бенефис Клинтона и вообще стыдно. Со слезой говорилось о жертвах той войны и ценности мира, а продолжается война в Чечне.

¹ Л.Г. Горелик – эстрадный актёр.

² Любимое мной тогда разливное пиво, производимое в райцентре Калининск (бывш. Баланда).

³ А. Гольдфефер, друг Ильи.

⁴ Саратовская психлечебница.

Никак не доделаем ремонт – вчера поставили плиту. Осталась мойка, и тогда на кухне установится мебель.

Тома уезжает в командировку – Пугачев, Духовниccione и проч.

26 мая

Жара +30. С утра ездил на кладбище насчет завалившегося памятника. На автобусе. Всё то же – пыль, машины и бесконечная торговля. Впечатление, что все живут, чтобы продавать и покупать пиво, ситро и консервы.

В прошлый Чт был на юбилее Прозорова⁵. 10-я аудитория филфака, водки немного, но молодые мужчины, и я в том числе, напились. Юра Борисов⁶ ложился на стол и тоненьким голосом хохотал, как женщина, которую щекочут.

На следующий день лечился так сильно, что спал до прихода Даньки из школы. В Сб приехала из командировки Тома, и Даня, пользуясь моей атрофированной волей, уговорил вечером поехать на Шумейку с якорями, кормушками и проч. и бутылкой водки для Славы⁷.

От пристани пройти к базе нельзя – все залито. Стало темнеть, комары даже не комары, а тёмное стонущее облако. Сыро так, что гасла зажженная газета и костра я так и не развел. Легли спать на железных мостках над водой. Холод. Я – даже без носков. Если бы не водка – сбесился. Данила мужественно терпел до утра. Искусали до отеков. Слава Богу, в 6 пришел первый «омик».

На неделе много погрузок и разгрузок⁸. Каждый день пиво на Провиантской. Данька в Вс или Пн ушел в Пентагон, перед тем устроив пожарик – поджег на столе одеколон, в него упал коробок спичек, и от него занялась синтетическая тюль. Бог уберет самого дурака от ожогов.

15 июня

Неделю с Данькой под Пугачевым⁹. Тома неожиданно взяла путевки. Сперва загрустил, но опомнился. Надо выключиться из саратовского колеса. Вдруг сыграло роль перечитывание «Карамазовых», то место в первой части, где о Зосиме – т.е. настроение покоя.

Здесь много детей. Данька к ним и с ними. До удивления дети те же, что и всегда. Даже игры с хороводами и поцелуями. Только что узнал, что вчера чеченцы диверсией захватили Буденновск и держат весь город заложником.

Жара здесь много легче, чем в Саратове.

Раки. Данька с маской ловит их десятками, размеров чудовищных. Вспоминал неизбежных Алёшиных¹⁰ раков. Он ведь здесь родился. Вчера ездил в Пугачев, обошел центр. Везде виден старый уездный Николаевск. Даже полумодерн есть. Крепкие старые магазины, лабазы, засовы, ставни, выложенные кирпичом годá постройки и инициалы то ли владельцев, то ли фирм.

Памятник Алёше в полтуловища – очень хорош, работы Меркурова, но установили в 59-м – его уже не было в живых?

Рынок – уменьшенная копия Саратова, кавказцы, тряпье, мясом торгуют одни казахи.

Пустынная площадь перед зданием властей. Рядом краеведческий музей. Отдал туда свою книгу о Толстом. Директор: на смену советской экспозиции не дали денег – все как было, революционные деятели и проч.

Маленькая деревянная походная раскольничья церковь – метра в полтора. Впервые, глядя на неё, ощутил раскольников.

⁵ Декан филфака СГУ.

⁶ Доцент филфака.

⁷ Начальник базы отдыха «Факел» на Шумейском острове.

⁸ Мы привозили КамАЗами книги из Москвы для продажи.

⁹ В доме отдыха на р. Иргиз.

¹⁰ Имеется в виду А. Н. Толстой.

13 июня (письмо жене из-под Пугачева)

К середине сего дня Данила поймал 67 раков. Есть такие огромные, что не поместятся на этой стороне. В прокате взяты маска и котелок. Украдена соль. Варим. Ест Даня и угощает избранных. Что делаю, кроме разведения костра? 3 дня купался, а вчера вечером-ночью страшно разболелось правое ухо, в котором меня несколько раз уже был отит. Мочил ватку водкой (ну и внутрь конечно). Утром стало хорошо, но пошел к врачу. Врач – одна пенсионерка, и у неё сестра. Она посмотрела и сказала, что дырочка в перепонке и воспаление, но антибиотиков не дала. Налила сестра чего-то, и, по-моему, стало хуже. М.б. уже ничего не надо было делать? Старушка каждый день меряет мне давление, в первый день 140 на 100, потом 130 на 90.

Грязи здесь нет, подводного массажа тоже, а на массаж после черемшанской костоломки¹ ходить боюсь. Развлечением было то, что директор дала мне ключ от сауны, куда мы пригласили соседей по столу – молодую пару. Парились и охлаждались в бассейне (вероятно, там ухо и простудил), пили пиво и газировку, играли в карты. Ребята вчера уехали. Вообще здесь как правило живут несколько дней, максимум 12. Как тебя и меня угораздило на 24 дня вляпаться? А теперь? Деньги уплочены. Ох! Один корпус здесь занимают беженцы из Чечни, один престарелые, два пионеры, один – «отдыхающие», все с маленькими детьми.

Сейчас вечер, Данька играет в бадминтон, я отчитываюсь, напившись чая. Как ты из чажечки с чайниками во рту. Если не разболеюсь (М. Эд.² не говори про ухо), то сколько-то вытерплю, но вряд ли полный срок.

Привет котам.

14 июня (Письмо из-под Пугачева)

А сегодня не спали вовсе до 5. Комары пошли тучей, как на Шумейке, а после рассвета муха, злая, словно осенью. Закрыли двери, но духота. К тому же мне разнесло щеку и шею как при свинке. Это, наверное, от отека лимфоузлы увеличились. Пойду к врачу просить уколов, а если их у них нет? Данька сошелся с компанией и уезжать не хочет. Теперь, лишенный даже купанья, я вовсе на стену полезу.

Завтра с Данькой собираемся в Пугачев для развлечения. Городок пыльный и вымерший. Красивый собор, впрочем, ты здесь была.

20 октября

Алкаш под окнами жжет мусор и сучья – дым до неба. Скорее всего, это директор столовой водников его наняла за бутылку, чтобы не вывезить мусор.

21 декабря

Люди живут в разлуке с семьей, уезжая, а я живу в разлуке с семьей, не покидая дома.

В Вс звонила Ирина Войнович³ перед Германией. Звонил Рейтблат⁴ из НЛЮ: нужны рецензии. А где в Саратове для них взять книги?

Все еще тепло.

1996

3 марта 1996

Март такой же классический, как и зима – ночью сильный мороз, днем ветер, горячее солнце, сосульки. В этом году снег до весны пролежал белый и снега очень много, и поэтому чаще вспоминал детство.

¹ За год пред тем мы с Даней были в доме отдыха в Хвалынске, где зверствовала массажистка, после сеансов которой у меня отнимались ноги.

² Мария Эдуардовна, моя мать.

³ Жена Владимира Войновича, с которым к тому времени я познакомился.

⁴ Редактор журнала «Новое литературное обозрение».

Дома: Данила всю четверть с каникул новогодних безвылазно у нас. Тома по химии, я по другим – вытаскивали его из двоек.

6 апреля

Сегодня покупал кока-колу в фирменных бутылках и подумал: 2 т. 100 р. – чуть больше двух трамвайных билетов. Он стоил 3 копейки. Пепси (советское) – 60 копеек – т.е. 20 билетов.

Вчера стригся – 15 тысяч. Хороший коньяк молдавский «Белый Аист» – 18 тысяч.

В советское время стрижка – 20 копеек, такой же коньяк – 9 рублей.

Удивление же в том, что мы за какие-то 5 лет нормально все это восприняли. Вчера (выпив в «Рыбе» коньяку) был на коммунистической тусовке у памятника Ленину. Бабушки доказывали, что ножки Буша в Америке обрабатывают «ну, тем, как покойников. – Формалином? – Да! – А зачем? – Чтобы мы дохли!»

Сегодня разгружали машину с книгообменом.

Потом больше 3-х часов стояли с Ильей на Провиантской у Калининского ларька. В ТВ вечером вечер Ростроповичей, потом Суходрев с воспоминаниями, как он переводил Хрущеву, Брежневу. Потом «Они» Невзорова с мрачными пророчествами Жириновского: все друг друга поубивают, а мы выйдем к власти чистенькими, из бань, где отсидимся, пригласил Невзорова на 50-летие. «Можете снимать и снизу, пусть видят, если верхняя головка не работает, то нижняя в порядке».

Умом понимаю, что все это не шутки, хоть и бред, а внутри спокойствие или равнодушие.

Читаю «Войну и мир».

20 июня

Сегодня подумал о себе: меня все меньше интересует литература, но всё больше жизнь. Музыка действует сильнее, а ИЗО вовсе перестало интересовать. Намерен вести записи в деревне.

За последние месяцы написал одну рецензию (Берберова) и «В русском жанре – 10».

В «Волге» дела очень туго, до сих пор вышел лишь 1-й номер.

28 августа

Водку стали разливать в одноразовые пластиковые стаканчики с надписью «За президента! Реформы – новый курс».

Купаюсь с 6 мая по утрам на Бабушкином взвозе. У стариков и старух там свой клуб.

Безумие своего существования (кухня, водка, имитация работы) то чувствую остро, то смиряюсь.

Шера, Шера, Шера!⁵

Тамара у бабушки третью неделю, потому что её родственники отдыхают в Испании.

Обилие, нашествие помидоров в этом году.

НЕогорчение от финансового краха журнала. Мне надоело.

Предполагаемый визит в Саратов сэра Майкла.

Вахханалия в прессе об Аяцкове⁶. Столько не писали в Саратове ни о Брежневе, ни о другом. Палькин⁷ читал по радио поэму о нём.

Не то что не пишу, но и не читаю. С Данилой вдвоём всё лето.

24 декабря

Были с Томой в Москве на Букеровском обеде. Гостиница «Арбат», бывшая упраделами ЦК КПСС.

⁵ Наша собака.

⁶ Саратовский губернатор.

⁷ Саратовский поэт.

С поезда – мотовство. Тома пила в Москве джин с тоником, мой любимый напиток.

Данила остался дома один, то есть вдвоем с Шерой.

В Москве мокрый снег. «Вольво» из правительственного гаража за 56 тысяч от Арбата до Гранатного переулка – что, не удивясь, оплатили англичане.

До этого – сэр Майкл¹ с дочерью в Саратове (сентябрь). Всё время – много алкоголя преимущественно дома. Совсем не хочу компаний.

Трубка.

Поздно легла зима, но, тьфу-тьфу, настоящая. 10-15, снег. Весь ноябрь и начало декабря даже без дождей.

Кормушка для синичек, толстеющих на глазах.

Приглашение в Германию на 6-10 февраля.

Кроме перечитывания – свежие журналы (вяло) и вспышка чтения – Богомолов о М. Кузми-не. Ещё более понял личность человека т.н. Серебряного века, выстраивающую и берегущую себя для искусства. Гадко это.

1997

3 января

Встречали Новый год вдвоём с Тamarой. До этого приводили маму. Она очень одряхла в последнее время, но по-прежнему все делает сама.

Почему-то не делаю записей, когда жизнь более-менее бурная. Как говорит Чичиков Манилову: не сделал привычки.

По-прежнему маятник выпивки то помогает, то мешает жить.

Возможно, 6 февраля поеду в Германию.

Зима пушкинская, словно бы на тему «Русская зима».

Купили новый телевизор.

Шера.

Члены русского ПЕН-клуба написали письмо Аяцкову.

И я написал.

А он приблизил вечного Палькина. Тот все пишет, даже и о его детстве, словно о детстве Ленина, и всё бегаёт, бегаёт по местам присутственным.

Я становлюсь всё нелюдимее. За последнее время не пошел на два юбилея – АТХ² и газеты «Саратов».

Выпиваю почти всегда один. Если не преступаю, не намешиваю, то чувствую себя наутро прекрасно.

4 января

Метель настоящая, пыльно-снежная.

Вчера все-таки выпил, гуляя, наелся жареного минтая, спал до вечера.

Везде распивочные. На расстоянии руки: «Тельняшка»³, «Лакомка»⁴, гастроном, окошко на Приютской, гастроном в «Антее»⁵.

Как-то играя во время выпивки в одиночестве на пианино, я вдруг понял, что напоминаю себе отца из фильма «Анна на шее».

Вчера читал начало 2-го тома «Мертвых душ».

¹ Сэр Майкл Кейн, шеф британской премии Букер и основатель Русского Букера.

² Саратовский театр.

³ Так называли столовую водников.

⁴ Бывшее детское кафе на Набережной.

⁵ Универсам.

Надо сделать для Архангельского «Университет» и выступление в Германии, а я все тяну. Данила вчера приходил гулять с Шерой, а сегодня в телефон – все плохо, надоело, настроение для его возраста естественное.

7 января

В полседьмого гулял с Шерой. Снег скрипит, сверкает, мороз ночью 20-25, днем 10-15.

Все эти дни зима рождественская. Один (Тома у бабушки). Работал. Давно не писал.

С Нового года не пил.

Читаю второй том «Мертвых душ».

В телевизоре дивный старый мультик «Ночь перед Рождеством».

Ельцин уже напоминает Черненко. А что его дела?

16 января

Тамара сегодня к бабушке, а потом в Волгоград, у неё всё ещё отпуск.

Болел непонятно около трёх суток – 11, 12, 13. Началось с головкружения под темечком, как при гриппе. Но так как два дня пред тем я крепко выпивал – не реагировал. К вечеру (были Маркеловы) температура стала расти до 39, ночью рвало и потом начался понос, какого в жизни еще не было – около 30 раз за день. Похудел так, что даже смешно, ослаб, 14-го весь день пролежал. Вчера вышел на работу.

Грипп свирепствует. М.б. и у меня была такая форма гриппа. Купил билеты в Мюнхен и обратно. 2.300 (деньги взял в редакции и у мамы). Немцы должны вернуть.

В редакции множатся долги, налезает какие-то новые гадости, а мы набираем 1-й номер. Женя Попов организовал письмо ПЕНа Аяцкову, и я ему написал. Тишина. Но он дал 1 миллиард 300 миллионов фаворитке Таньке Артёмовой – «Саратовским вестям». Вечный Палькин, написав поэму о его детстве, выдвинут администрацией на Госпремию. Поразительный даже в нашей блядской истории проходимец – всем наверху всегда лижет и все с удовольствием принимают.

Оттепель, что неприятно, много снега растаивает.

Мама молодцом, почти всё сама – Тома изредка что-нибудь подкупит, а я захожу реже, чем надо бы.

Не курю.

17 января

Захолодало и с ветром без снега, крайне неприятно. Не мог до пяти вырваться домой, но Шера терпела. Только совсем истерично и со своими сарабернардовскими взвизгами кинулась мне на грудь. С Головлёвым сегодня у Артисевич по поводу нашего киоска в вестибюле, она разрешила, а через час позвонила: сотрудники возражают.

5-й корпус. Пошёл узнать для эссе данные о современном состоянии университета. Не дали – пишите отношение к ректору. Столкнулся с Л. От её изыщества ни следа, вся расширела, челюсти грубые, разве что цвет лица её, особенный.

В давке ехал во 2-ом троллейбусе. На передней площадке хулиганил профессор Аскин⁶. Визжал, входя, кричал, сидя на переднем сидении – и дрянь, и сволочь, ты мне ногу поцарапала – на старушку с ребенком. И все в троллейбусе посмеивались и никому не пришло в голову что-нибудь сказать. Фейс у него суперсемитский: а ещё считается, что русские – антисемиты.

20 января

Совсем растепелилось – гнусно. А так как я теперь минимум 2 часа провожу на улице из-за Шеры, то все погодные перемены замечаю близко.

Из-за того, что не пью и один пребываю, стал-таки закрывать долги – рецензии, очерк об Университете.

⁶ Я.Ф. Аскин, профессор, завкафедрой философии СГУ.

Читал с большим увлечением как бы посредственного, но очень американского писателя Дж. О'Хара. Сейчас новый номер «Знамени» – новое имя И. Тарасевич.

Надо прочитать статью Андрея в этом же номере не бегло, как уже сделал, а чтобы написать ему – он просил.

Несколько дней не ел мяса, и конечно его отсутствие освежает. Впрочем, сейчас вечером поелпельменей. Но мы много едим мяса от бедности – будь у меня дома рыба, фрукты – я бы не стал жратьпельмени.

С водкой – не терплю, а культивирую в себе радость от трезвости. Уж слишком я квасил прошлый год. Но сложности со сном, стал принимать снотворное. Встреча с Наташкой Лозовой¹. Неужто Катька покончила с собой?

В редакции очень плохи дела. А так как Томе зарплату не платят, чем жить?

А сколько я пропил за прошлый год! Теперь совестно.

21 января

Гнусная липкая оттепель сменилась к вечеру ледяным ветром. Во дворе редакции злой Андрей Шундик меняет колесо и моет коврики. Разговоры все о том же. Но и впрямь: вчера показывали в ТВ, как Аяцков сдавал кандидатский минимум по истории. Герман в пиджачке бежал перед ним задом с миской. А ведь был первым секретарём райкома. Принимали доктора наук Динес и Воротников², многолетний бездарнейший собкор «Правды» в Саратове. Работаю, в смысле пишу – только бы выходила «Волга». Пока очень хреново.

Среди тех вещей, которые мне, несмотря ни на что (семья, пьянство, лень, служба), позволили сохраниться, то, что я не мог жить запасом, как большинство взрослых людей. Едва я чувствовал, что начинаю повторять и повторяться изнутри себя, меня охватывал страх и повышенное чувство опасности. Возможно, отсюда всё большая нелюдимость – на людях неизбежно тратишься, а без пополнения начинаешь рыть уже открытое, пользоваться использованным – меня тогда от себя тошнит.

24 января

Вчера вечером неприятность – споткнулся в темноте о лежащую на полу и, естественно, невидимую мне Шеру, лежащую поперёк двери. Она завизжала, я обругался и лёг, а в четвёртом часу проснулся от сильной боли в большом пальце левой ноги. Разнесло, ступить не могу, в ботинок не лезет.

Кое-как в старых сапогах дополз до редакции. Был день рождения Мих. Ник. Посидел с полчаса (в носке), выпил минералки, съел яблоко – и без ноги не хочется ни пить, ни мяса.

Данька сегодня записался в клуб «Богатырь». Дай Бог, чтобы не бросил.

Он подтвердил со слов матери, что Катька Лозовая удавилась. Какая она была красивая! Я всегда при встрече говорил: Катя, был бы я моложе! Не помню, чтобы молодая девушка так мне нравилась. Унаследовала, значит, материну дурь.

Чем меньше ешь, уж не говорю про водку, тем лучше голова работает.

Денис с Леной купили дачу в Шалово за 15 млн, оставленных её покойной матерью.

26 января

Пришёл из бассейна. Парился, плавал. –8, снежок. Не пил с рождества. Не курю. Приехала Тома из Волгограда, довольная – город ее детских поездок, у меня такого нет, и город этот не люблю.

Экономлю деньги против пьяного расточительства прошлого года.

¹ Подруга моей первой жены.

² Профессора экономического института.

28 января

У Данилы объявили карантин из-за гриппа на неделю – умотал в Пентагон.

Мороз –14, ветер, метель. Сейчас на ночь выведу Шеру. Вчера-сегодня чуть заколебался в отношении водки, но справился.

Читаю (в который раз начинаю) «Подросток» и ранние повести, «Хозяйка» и еще что-то. Бодрость.

30 января

Звонила Л. Палькина³ (минпечати) – наверное, ни хрена администрация нам не даст, стало быть выпуск в этом году почти невозможен. Только Филясу⁴ мы должны 35 млн.

А чего еще было от них ожидать?

Рецензию, и хорошую, написал. Набрали 1-й номер. Но – на что печатать? Метель, мороз. Начал читать Архангельского об Александре Первом. Он еще очень молод и такая наработанная уверенность мысли и слова.

На что будем жить в этом году, неужто только на Томину зарплату? Печататься? Где: всё забито. Слаповский предложил дать что-то по просьбе немецкого журнала. Дай Бог! Пребываю в ясности и бодрости.

31 января

Мороз, а на солнце сегодня на подоконнике капель.

В редакции уныние, но не тяжкое. Все-таки уверенность, что как-то мы сохранимся.

Жрём чеснок из-за гриппа, но он мне стал нравиться. Сейчас почитаю «Подросток» и лягу. 10 часов.

За выходные надо что-то сочинить для Германии.

Говорил сегодня с Андрюшей Немзером. Он бодр.

Тома – к бабушке.

2 февраля

Воскресенье. Бассейн. Данила второй день хандрит – то ли симуляция ввиду завтрашней школы, то ли правда. Жалуетса на головную боль, лежит. Так что с Шерой все гуляния мои. Тома у бабушки. Читаю (урывками – собака, Даня, кухня) Архангельского (писать) и «Подросток». Взял почти нечитанного Баратынского.

Потеплело, что – плохо.

Маркелов в троллейбусе предъявляет билет УВД Инны. А я панически боюсь безбилетного проезда. Люська Вирич⁵ всегда ездит без билета: «это выгодно – редко ловят и штраф получается в несколько раз меньше платы за проезд».

9 ноября 1997

Жара на солнце 15, не меньше, вылезла зелёная трава, на улице ожили мухи. Небо, солнце – мартовские. Ходил с Шерой по Чернышевской до магазина «Ликсар», где взял маленькую. Сразу несколько пар моего возраста покупали водку ящиками. Показалось, что на свадьбу, а не на поминки. На улицах пустовато: отходит от двух дней празднования.

Почему-то, пока ходил, все мысли о том, почему всё же мне уютней в бедности. Т.е. в богатстве и не жил, но всегда удобнее себя чувствовал с «простыми» людьми, с теми, кто ничего не имеет. Почему мне нравится сознание того, что у меня нет и не будет дачи, машины, почему в период моего социального взлета в главные редакторы, привыкши к отдельному номеру в «России»,

³ Дочь поэта Н. Палькина.

⁴ Директор Полиграфкомбината.

⁵ Дальняя родственница.

буднично сидя в Кремлевском дворце, общаясь с сильными мира сего, я никогда не радовался этому? Почему вообще русский человек так охотно опускается? «Полюбил, пойми, Костя, полюбил унижение!» – объяснял Саврасов Коровину. Откуда странное удовлетворение, когда вокруг плохо, откуда коронная наша фраза: «а пошло всё на х..!» Я не подымался очень высоко и не падал донизу. Не жил в роскоши, но и в подвале гнилом тоже не жил. И почему даже поношенная одежда как бы позволяет ей гордиться, а новое платье стесняет и стыдишься его?

Почему прячусь от общества? Таков я был от рождения, залезая под стол, когда приходили гости: как сейчас вижу ботинки и туфли гостей, вызывающих меня из-под стола. Но потом, и долгое время я выступал с высоких трибун, ходил в театры, выставки, объяснялся в разных кабинетах, а к старости вновь возвращаюсь под стол.

Где тут моё, а где общее глубинное, русское?

1998

5 января

Я первый раз делал гуся с яблоками. Хорошо, но очень уж жира много. Все четыре дня валялся, смотрел ТВ, похмелялся, играл с Томой в дурака. Данька 2-го ушел в Пентагон.

Сейчас сумерки, надо сделать рецензию в №1.

Сегодня звонки по поводу моего кандидата на премию Ап. Григорьева – Костырко¹, Архангельский. Читал в праздники почему-то «Гекельберри Финна».

6 января

Вчера написал рецензии на «Новый журнал» и «Акмэ» Тани Бек.

Лёгкий мороз, чуть снежок.

Арест Женьки Малякина² якобы по жалобе жены, а на деле решил порезвиться, написав в своей газете, как Аяцков с Мароном³ в Индию ездили на слонах кататься.

Трогать власть можно только всерьез на это решившись, и имея цель. В противном случае глупость.

Завтра Рождество. Я вырос, никогда его не зная и не чувствуя.

10 января

Все эти дни – мокрота, слякоть, скользкий снег, +2.

В р-ции собирали⁴ №9/10 – очень трудоемко. Звонок Ю. Никитина⁵ с предложением подписать открытое письмо Кузьмину⁶. Я отказался. Юра чувствует себя героем.

Не пил. Сегодня выпью.

16 января

Салимон⁷ принял «В русском жанре» и хвалил.

Неделя в редакции: сам собой сложился «Волжский архив»: жигулевский завод, ректоры, художественное училище и проч. Уже и 2-й готов, а мы еще 11/12 не печатали. Машина печатает быстро, но подборка листов, склейка блока – крайне медленно вручную. И выхода не видно. Бывать в редакции тягостно за исключением собирания номеров.

¹ С.П. Костырко – критик.

² Саратовский журналист.

³ Саратовский вице-губернатор.

⁴ Мы уже печатали журнал в редакции и собирали-клеили вручную.

⁵ Саратовский писатель.

⁶ Министр не то печати, не то культуры.

⁷ Владимир Салимон – поэт, издатель журнала «Золотой век».

Написал все письма по подписке на 2-е полугодие, но мы не только не войдем в норму, но и останем. 9/10 номер Андрей⁸ очень хвалил.

Каждый день вплоть до вчера выпивал – от поллитра до 200 вчера. Устаю от водки, и денег потом становится жалко.

Мороз –10. Наконец-то ровная зима.

Немного писал Чехова⁹.

22 января

Когда я не курю и не выпиваю, прекрасные пробуждения первые дни, работоспособность и одновременно рассеянность, раздражительность, шум в ушах.

Тома позавчера еле приползла от бабушки, а послезавтра собирается в Волгоград. Данила собирается уходить. В выходные выпивал, в Вс жарил гуся с редкостным каберне, думаю списанным, ибо по вкусу и надписи – какой-то резерв, Золотой фонд урожая 1992, оно не может стоить 18 тыс.

Деноминация, пока не врубились в монеты. Морозы 20-25. Тихо, солнце.

На Крещение на Бабушкином сделали прорубь, на берегу армейская палатка, там баня, оттуда ковровая дорожка до проруби, корреспонденты. Аяцков, Марон и проч. ныряли.

31 января, Сб

Прошлые выходные до вт ежедневно выпивал не менее гр. 600 + сухое + пиво. Сердце заболело особенно после того, как за сутки выкурил 10 сигар. Притом не был пьяным, занимался с Данилой, но очень ослаб. Не ходил в р-цию. К среде пришел в себя, но тут Данила заболел гриппом. 2 дня температура к 39, снимется аспирином и опять. К тому же он отказывается принимать лекарство, да и я не больно знаю, что надо и можно. Врача из п-ки вызвать нельзя, из нашей его открепили, после того как мать ходила ругаться к гл. врачу из-за прививки. Она вчера приходила с апельсином и лимоном в норковой шубе и шляпе, что очень смешно.

Сегодня до 5 не спал. Кашель Даньки снимали молоком с содой, но безуспешно, а в 7 с Шерой гулять.

Естественно, всю неделю, кроме газет, не читал ничего. Вчера попытался читать не читанного «Рвача». Оказалось похоже на Леонова. Данила целые дни лежит у ТВ. Тома с 23 в Волгограде.

Пропил (+ сода, консервы, огурцы и прочее, чего в трезвом виде не покупаю) более 100 тыс., к тому же вся неделя без зарплаты, к тому же в бухгалтерии не вычли из меня алименты.

«Саратов» предложил прокомментировать донос Озёрного¹⁰ на Григория Федоровича¹¹.

3 февраля

В бодрости. Дома приятно холодно, в р-ции адски. Сделал о папе для «Саратова». Сегодня был М.Пророков¹². Сдал его «Саратову», Роме, Слаповскому. Выпивать не стали, болтать скучно. Мороз хороший –15. Скрипучий снег и проч.

С утра возбужденный как обычно Ю. Никитин. Ты знаешь, что я вышел из Союза? О своем письме и проч. Ему 62 года! Купил снотворного. Не хочу гасить возбуждение водкой, а вчера через неделю трезвости уже плохо спал. Не курю. Данила в Пентагоне, выздоравливает.

4 февраля

В редакции невыносимый хлад, пришел в 11 домой. Крупный снег, –14. Такая зима, что хочется, чтобы не кончалась. Поставил «Картинки с выставки», сижу за письменным столом.

⁸ Немзер.

⁹ «В русском жанре – 12».

¹⁰ Борис Озёрный (наст. фамилия Дурнов) – саратовский поэт.

¹¹ Мой отец.

¹² Автор романа, напечатанного в «Волге».

Взял у Сафроновой¹ воспоминания Пяста. Нужны рецензии во 2-й номер. Попробую Пяста + воспоминания Ардова в «Новом мире».

Надо оживлять Чехова. Лежит. Впервые при долгом безрадостном состоянии вдруг о себе помыслил хорошо. При весьма средних способностях я сделал дело, которое останется: «Волга» времен моего редакторства.

7 февраля

За два с половиною дня, ходя в редакцию, сделал «В рус. жанре – 14», начал не раздумывая и вышло вроде бы не хуже, а м.б. и лучше прежних.

Отремонтировал ВЭФ. Теперь не выпускают таких приёмников. Одни магнитолы.

Вчера все-таки выпил. Купил четвертинку, потом к курице розового сухого. И, увы, покурил, правда «Данхилл».

Но выпил не по крайней жажде, а как бы по-хорошему. Не пил 10 дней.

Вчера, выпивши, долго гулял с Шерой по совершенно пустой набережной.

Купил, что делаю крайне редко, Смелянского о Булгакове в МХАТе и 5 том Андреева. Очень жаль, что не купил 1 том Чуковского в Москве. Всё время нужен.

Данила в Пентагоне, в школу не ходит, грипп.

Тома – вдруг – опять на ВСО². С бабушкой что-то, а что? Это десять лет длится.

9 февраля

Сегодня весь день перепечатаваю «В русском жанре». Звонил Костырке. 26-го собрание Академии³, но как мне ехать? На билеты минимум 300 тыс. Кроме пропоя, за что себя клянц, все деньги откладываваю на лодку.

Рецензию решил писать на публикации в «Октябре» (Рошин, Басинский) и Ардова («Знамя»). У них говно, у него искусство.

Мороз под 20. Сегодня заходил в редакцию счастливый Данька: 1-й день после болезни пошел в школу, а там карантин.

Сейчас звонил Горелик, приглашал в Оперный на 70 лет. Тома отказалась, позвонил Даньке, может сходим.

10 февраля

Оттепель. Противная.

В ТВ весь день о покушении на Шеварднадзе. СМИ всегда нужна жертва – Собчак, Диана...

Послал сегодня «В русском жанре» Костырке.

«Новый мир» уже 2-й пришел. Плоский Кублановский.

Писал о Басинском+Рошин, завтра добавлю Ардова, который мне нравится более, чем прежние публикации его. Спал плохо. Опять принял реланиум. Когда не выпиваю, приходится принимать таблетки, куда деваться? Данька читает «Тихий Дон» с восторгом.

11 февраля

Вчера вечером и сегодня утром ничего не написал, правда, писал до полшестого в редакции. Встал в 6, думал писать, но дурашливое настроение, сходил с бидончиком за молоком, сварил манную кашу. Секрет – меньше крупы и очень долго варить.

С 10 до 12 в р-ции переписал вчерашнее и окончил рецензию. И в слякоть отправился, что теперь уже редко случается, пройтись. Повод: флюорография в 7-й поликлинике, которая опять не работает по тех. причинам. А там рядом кафе под «Россией», где пришлось взять дорогой «Хру-

¹ А.Е. Сафронова – зав. отделом критики «Волги».

² Прозвание места в Ленинском районе по имени воинской части.

³ Академия российской словесности.

стальной» по 7 т. 100 гр. Горячие пирожки с картошкой по 3 тыс. Прошел по проспекту. Еще 50 р. и пирог с картошкой (хуже) из кулинарии рядом с кафе «Огонёк» на Чапаева, посмотрел, как вяло достраивают вряд ли кому нужное в таком объеме здание ТЮЗа. Слякоть. Опять ощущение чужого города с бесконечными странными «офисами» по услугам, мне неизвестными.

Взял на обратном пути там же в «России» 6 пирожков с картошкой и холодец, настоящий стю-день с чесноком, который теперь у них, как в столице, в пластмассовом контейнере. Цена почти прежняя – пять с полтиной за полкило.

В подвале по дороге к дому 17.200 бутылка водки балашовской «Хопёр».

Сегодня в редакцию приходил пьяный Сашка Андреев⁴. Прелесть в том, что год или более он при встречах объяснял, как хорошо не пить. Вчера умер его свояк кондитер Прачкин. Рассказал про порядки в его кондитерской: обязательный минет всеми сотрудницами. Я вспомнил рассказ официанток из «Волги», как директор ресторана Зубанов лизал им у себя в кабинете.

Звонил Рейну по поводу его прекрасной поэмы во втором номере «Нового мира». Он искренне обрадовался: «Спасибо, что не поленился позвонить. У меня была трудная зима». Дай ему Бог! У Натальи идея переиздать составленный мной сборник нот, они хорошо были раскуплены.

Сдуру зашел к Томе, когда после работы пошел в магазин «Мелодия». В поликлинике регистраторша: Т.И. еще с адресов не приезжала, а к ней уже 10 человек сидит. Мне: (на ты) иди готовь ужин! Я: лучше жену другую приготовлю. Тома домой пришла со словами: все больные тебя цитируют. Слякоть, грязь.

13 февраля

Второй день читаю мало: Жуковский и Словарь писателей 19 века.

Резко похолодало. Я очень обносился – осеннее пальто рваное, ботинки осенние старые. Бог даст, лодку куплю и тогда приоденусь. Пальту уже лет 10, пиджак рваный.

14 февраля

Под 30 мороз. В 6 встал, а ничего не сделал ещё. Варил манную кашу, ходил за почтой, читал газеты, большое письмо от Андриюши Немзера. 11-й час, а ничего еще не сделал. Сейчас заставлю себя сесть за Чехова.

Три дня горит очень красивый дом Морфлота.

Саратов, кажется, задавлен, заморожен новой властью. Что будет? Но у меня – книжечки, водочка. Только бы Даньку устроить на дело, на профессию.

31 марта 1998

В половине первого встретился с Ильёй у памятника Чернышевскому, и пошли. Долго стояли в «Аисте». Рыжая Люська В. в зелёном берете. Шера с точкой, к ней в магазин тут же вбежал маленький грязный до ужаса кобелек. Татарин-грузчик, катающий тележку мимо нас и злящийся на Шеру. В конце концов я вышел, на улице разговаривал с Люской, ко мне привязалась тоже рыжая синеглазка с полным стаканом в руке. Вышел Илья звать меня назад, когда я отгонял синеглазку. Он – Люське: вот теперь только такие дамы нами интересуются. Она (радостно): врите! Потом «Аист» себя изжил и мы пошли бродить, купив по пути четвертинки (всего три или четыре) в гастрономе напротив Суворовского⁵.

Сперва пили в необъятном дворе Суворовского. Зашли за трансформаторную будку, возле которой валялось множество обгорелых пластмассовых кукол. Илья: «Вот тебе и Вайда, и Тарковский». Рядом голос: «Отойдите, девчонки ссать хотят». Два парня Данькиного возраста с двумя блядешками – облик Заводского района. Девки ссали за ржавым баком, на крышке которого стояли четвертинка водки, банка маринованных венгерских огурцов и два пластиковых стакана.

⁴ Режиссёр документального кино.

⁵ Т.е. бывшего Суворовского училища.

Парень – девкам про нас: «Не бойтесь – они профессора». Вскоре мимо прошествовал наряд милиции, которому я очень боюсь. Мы пошли из двора вниз по Радищевской к оврагу.

Я помню, что по дороге немного спустился пописать по лестнице в закрытую полуподвальную пивную. То есть выше плеч я был наружи, головой на уровне тротуара, возле которой проходили разные люди, а я вспоминал, что позавчера мою рожу можно было видеть в газете «Саратов» в компании Янковского, Табакова и Слаповского, как земляков, попавших в справочник «Кто есть кто в России».

Потом, уже на углу Радищева и Нижней (которая стала впоследствии Татарской – прим. 10.02.10), ссал уже Илья, прямо на стену одноэтажного углового дома. Я пугал его татарами, он медленно объяснял, что у него тоже весь дом обоссанный. Потом мы пристроились на Кузнечной, на какой-то заброшенной стройке, среди падающего мокрого снега, бетонных плит, кирпича. Разговор шел все более о семейной жизни Илюшки, о разводе, который он задумал. Почему-то дружно ругали Ахматову. Наконец Шера не выдержала и стала скулить – мокрый снег, ноль градусов. На обратном пути, несмотря на мои слабые протесты, Илюшка взял-таки еще одну четвертинку, которую приканчивали, кажется, опять во дворе Суворовского.

Стало смеркаться, с Ильей мы расстались у Радищевского музея, по дороге домой я взял зачем-то пива, и дальше, как говорится, тишина.

3 сентября

Вчера закончил сегодня на работе рецензию на Палей. Все-таки разогрелся, хотя и с трудом, но вчера-сегодня написал по 4-5 страниц.

Похолодало, пасмурно. Если в Сб не будет дождя, с Томой собираемся за грибами.

Вчера закатывали помидоры с огурцами + сок (Томина родня угостила). Ругались из-за блюющей «кровью» Шеры (сожрала пакет Red-Slim Tea). Сегодня пришел №8 «Знамени» с моей рецензией на Гурского.

5 сентября

Вчера еще дописывал рецензию. Плохо, что сразу надо отсылать. Большим трудом далась, могут быть заметны следы усилий.

Вчера получил 120 р., голодный, купил охотничью колбаску (дрянную) и поллитру. После долгого (для меня) перерыва долго не хочется спать от водки. Жарил котлеты, варил бульон, смотрел в ТВ «В городе Сочи темные ночи», смешное начало, потом жестокость.

Книга Андрея¹. Надо дать в «Волге» несколько рецензий.

С утра ходил в магазин и к маме. И в редакцию. Развиднелось, а мы за грибами не поехали.

Паника. Скупают макароны, растительное масло. Сегодня ходил за маслом. У бочки очередь. Масло кончается. Цена 8-13 рублей. На Пешке пустые прилавки, там, где были куры, рыба, селедки и проч. – то ли раскупили, то ли не торгуют. Все разговоры о том, что где дешевле видели – сахар, крупы, масло. Сливочное масло исчезло и почти весь импорт. Илья (заходил за № с Фаликовым²) говорил, что гречка у рынка чуть ли не 12 против обычных 4.

За себя, естественно, уже не боюсь, но за Даньку.

6 сентября

Ездил с Данькой за грибами. Плохо, ведра не набрали. Хотя были на том же острове у нового моста.

На Волге тишина, как бы предзимняя, хотя всего лишь начало сентября.

Вокруг все то же – непрерывно в ТВ паника у пустых прилавков.

С утра перепечатал страницу, пришел домой в 5, ванна, выпил, поел, поспал, 11-й час, работать не буду, опять ложусь.

¹ А. Немзер.

² Боря Фаликов, наш с Ильей одноклассник, роман которого напечатали в «Волге».

8 сентября

Всех занимает одно: цены. Вчера куры 19 (13), сахар 10 (4), шпроты 8 (4) чай 10 (5) – и нет. Чай смели и т. д.

Перепечатал наконец и сейчас утром отправил рецензию в «Новый мир».

Теплеет, ясно.

В ТВ хоровод одних и тех же рыл: Черномырдин-Жирик-Явлинский-Зюганов-Селезнёв – и т. д. Иногда совершенно маразматическая харя Ельцина.

Теперь надо делать материал в НЗ.

Вчера закупил мяса (по старой цене) на 121 р., тушёнки на 50, шпроты – 20, чай – 25, сегодня крупу. Спасибо всем.

9 сентября 1998

Под нашими окнами опять скандалит алкашка из общежития, которую все зовут то Валею, то Надею. Когда к ночи сильно напивается, то объявляет на весь двор, что идет топиться на Бабушкин взвоз. Сейчас она орет на своего одноногого (ногу он потерял недавно, попав под трамвай) всегда улыбающегося сожителя, отбирает у него костыль и лупит по голове. На ней желтая майка с израильским флагом и надписью на иврите.

14 сентября

Вчера весь день на Волге с Илюшиными³. Семья понравилась, только он на удивление быстро напился. Вплоть до Генеральского много раз приставали. Они собрали неполное ведро, мы с Данилой – каплю. Жарко, до 27. Купались в воде 16 градусов.

К сожалению, неделю прожил нелучшим образом. Отправил рецензию и на радостях каждый день, то Гога⁴ с девицей на «Сергее Есенине», то поспать после обеда не сумел, стал переходить за бутылку в день, да еще добавлять 72-м портвейном. Вчера утром было совсем херово. Спал очень крепко. Сегодня пока в норме. Звонок Роднянской – рецензию еще не получили.

Вчера заснул рано и не посмотрел по ТВ свежую «Лолиту».

15 сентября

Вчера Роднянская. Сказала, что у меня самое верное суждение о Палей. И что рецензия не выстроена. Это верно. Роднянская подруга матери Палей, описанной в «Поминовании».

Надо делать текст в «Неприкосновенный запас», и всё-то отвлекает, то водка, то палец, то редакция. Жара мерзкая, неестественная +27.

17 сентября

Завтра 30 лет Денису. Не видел его больше года. Сегодня дал поздравительную телеграмму ему на работу.

Печатали, тьфу-тьфу, 9-й, из-за поломки машины почти месяц.

Вчера обсудили 10-й.

Читаю (в туалете – это зависит от книги, я бы не прочь, чтобы меня там читали) Смелянского. В связи с ним – «Багровый остров», «Бег». Правил, то есть почти переписал, рецензию на Андрея. Никак не возьмусь как следует за заказ НЗ.

Мерзкая, отвратительная, неестественная жара (до 30) + солнце. Где дождик милый?

Сегодня жарил печенку, а Данька не пришел.

19 сентября

Вчера чудной вечер. Сначала звонок от Носова из НЗ. А я с Данькой сижу над заданным со-

³ Родители одноклассника Данилы. Мы были уже на купленной мной лодке.

⁴ Мой приятель Г.Анджапаридзе сопровождал теплоходы с англоязычными туристами.

чинением о Булгакове. Тут же звонит Айка: нужно сочинение Ромке «России славные сыны». А у меня МПН¹ и, замечая, от голода дурею – видимо, сахар. Плюс перезвонки Даньки с матерью по поводу дня рождения Дениса.

Айка приехала за планом. А Ленька опять на рыбалку уехал. Более балованного человека трудно найти. Сегодня Данька с классом едет в лес.

21 сентября

Жара. Вся радость от сентября испорчена.

Позавчера Данила, выпив, повествовал о своих подвигах. Вчера он весь день дома: сочинения о Пилате и Печорине.

Звонок от Джона². С премией неясно, т.е. кто финансирует. Я звонил Алле в Андел³, она холодно, что нет денег. Если поеду, то 29-го.

Тома в Волгограде. Сейчас звонила – приехали.

Солнце раскаленное, боже, что с природой?

2 октября

Сегодня приехал из Москвы.

Был там 30 и 1-го. До этого неделю пил, последние дни похмелялся утром, не выходя на работу. В Сб и Вс ужасно болел. В Пн решил не ездить (что было бы правильно). Но оклемался, надавила Тома – поехал. Перепечатал статью в НЗ в день отъезда.

В Москве безобразное отношение баб из Андела. Деньги – вокзал-деньги-гостиница – никак не давали полностью. После фуршета был еще и у Андрея. В гостиницу приехал поздно, пил пиво, долго не мог заснуть. Мокрый снег. Поменял билеты с 8 вечера на 3 дня. Дикие цены. Очень теплая женская семья Немзера.

Меня обосрал в НГ Золотуский. Но я еще не читал.

В Вс надо ехать на базу.

5 октября

Потеплело еще вчера, когда были на базе. Немного плавали (мотор завелся сразу холодный). 50 р. – Анатолию Ивановичу⁴. Пришлось лезть в воду, когда выехали на мелкое. Воздух +3, вода +12. С Данькой несколько раз пылили друг на друга, но беззлобно. Золотой был день. Жаль, не пристали к острову за грибами.

Данька вроде приходит в себя. Жаль, я в Сб на него и Томку орал ни за что.

Сейчас 7-й час вечера. Данька ушел в Пентагон, собирается в среду прийти жить. Ночью обещают заморозки. Сейчас +10.

Все в ожидании 7-го.

6 октября

Под утро звуки дождя, забытого счастья.

Плохо, что нет целых ботинок. А зимой сапог. Въехала Личман⁵ со своими оценщиками. Вынуждены для них освободить две комнаты почти задаром. Заходила – широкая, расплывшаяся, полупьяная.

¹ Аббревиатура слов снохи Нины на похмельные жалобы мужа: МеньшеПитьНадо».

² Джон Кроуфот, секретарь Букеровской премии.

³ Вроде бы английская контора, ведавшая финансами премии Букера.

⁴ Начальник лодочной базы «Рассвет».

⁵ Одноклассница, ставшая риэлтором.

10 октября, сб.

Стало было холодать. Но вновь потеплело +10. Завтра надо ехать поднимать лодку. Как справимся?

В редакции сломана машина, лежит 10-й номер. Читал (немного) «1000 душ». Отослал ответы на вопросник о двух культурах в «Знамя». Чехова буду доделывать в 1 номер Волги, потому что: 1) В «Волгу», потому что в «Новом мире» о Чехове текст Солженицына (напишу рецензию в «Знамя») 2) В «Знамя» крайне сомнительно – 2 листа о Чехове! 3) «Вопли» почти не выходят 4) В «Волге» дам полностью и под контролем. В НЗ взяли «Я сам». Надо читать. Данила здесь, хороший. Собирается поступать в школу милиции. Дай Бог!

17 октября

Вся неделя: служба, кормление себя и Данилы, писание на работе Чехова (таскаю с собой в сумке 6 томов – Данька случайно поднял – что это?!). Напечатал до 50 страниц. Слабость в невыдержанности личного, рассеянности жанра, есть куски дорогие мне, как впервые наблюдаемые у АП.

Сегодня ездил на базу. Лебедка развалилась. Чудовищный вездеход Анатолия Ивановича порвал трос. Лодка лишь чуть вылезла из воды. Надо будет еще ехать, нужны только деньги.

В редакцию – не хочу!!!

Все еще тепло.

20 октября

Доделываю Чехова. Вчера вёрстка Палей. В телефон с Роднянской о Солженицыне. Она: слабо он о Чехове, но обязались всю его литколлекцию напечатать. С Кареном⁶ не говорил. Говорил с Чуприниным по другим делам, о Чехове не сказал. Все-таки хоть денег и надо, но разумнее в «Волге». Однако ж наша машинка стоит, что еще будет с «Волгой»? А тут нам попёрла хорошая проза: Зарубин, Хафизов, неведомый одессит.

25 октября, Вс

С утра с 9-ти до 2 был на базе. Лодку (корму) залило из-за того, что поднялась вода, а она уже лежала на дне, а не на плаву. Отчерпывал, очень устал, а затем с Ан. Иван. вытаскивали лебедкой вдвоем. Руки и ноги стали дрожать.

Вчера выпивал зачем-то от одиночества. До этого как-то плохо вёл себя со своими, капризничал и проч. В Чт звонили из Компечати: дайте сведения. Я сперва нагрубил, потом согласился. Звонки каждый час. Оказывается, Саша Архангельский прошёлся насчёт положения «Волги» в «Известиях».

Надо заканчивать Чехова для 1-го. Все еще сломана машина. Чупринин не захотел брать рецензию на Солженицына.

Из ДН звонила Наташа⁷ – приглашала в круглый стол. Сказал, что попробую, но думать не хочу. Тема – 10-летие. Одно и то же. ДН пренебрегала мною и журнал не нравится.

Вчера ездил к Тамариной больной: помидоры, яблоки, варенье и проч.

Тепло очень и солнце.

27 октября

Остался с утра дома доделывать Чехова. Тамара – бабка, поликлиника, дежурства и проч.

9 часов, +14, солнце. Купил у Ани⁸ книгу об «убийстве» Есенина Кузнецова. Много документов. Еще ей привезли «Русскую эпиграмму» в БП и кое-что еще, да нет денег.

⁶ К. Степанян – завотделом критики журнала «Знамя».

⁷ Н. Игрунова.

⁸ А. Сафронова занялась самостоятельной книготорговлей.

30 октября

Дописал Чехова только вчера, кажется, удачно. Потом в редакции очередная куриная сцена – обсуждение нового страха Шульпиной и О. Дм.¹ перед коммерческими затеями Головлёва. Выпил дома за обедом и шатался до 6. За это время 4 раза зашел по 50: «Кишка» – 45-я столовая – водочный на Чапаева – и уже у дома в рюмочной на Чернышевского.

Домой шел благостный, но застал разлад: Тома вопреки обещанию не стала заниматься с Данькой по химии. Я вмешался, слово за слово наехал на Томку. Данька на каникулы ушел к матери. Я дома до ночи правил Чехова, затем ремонтируюсь-закусываю. Сейчас 4 утра. Дождь. Счастье. Тепло +12.

2 ноября

Выходные, один, т. е. с Шерой, много шатался, правил Чехова и выпивал. Дождь – сладость души.

Пил зубровку, Ликсар и немного коньяка (Томе подарили) армянско-саратовского. Отвык от коньяка вовсе. У Данилы каникулы. Кормлю синичек. Читаю (медленно) чудовищную «Гибель Есенина» Кузнецова.

3 ноября

С утра спускался к Волге – очень хороший шторм. Внизу шквалистый ветер, сплошь беляки. Волны крупные, как летом не бывало, били новые мостки от плавучего магазина, превращенного в кабак, где я, естественно, не бывал. Веером высокие брызги.

Ночью проснулся: дождь, и вспомнил, что не заткнул клюз на носу лодки, и огорчился.

В редакции разговор с пришедшим Слаповским (Чехов и проч.), дочитывание второй повести Каткевича о Греции. После обеда тяжесть в затылке. Встречал Тому. Принял душ – отпустило.

+5-7 градусов.

5 ноября

Вчера от беготни в Комитет с письмами по поводу возможной нам помощи так осквернился, что – после раздумий – в кафе ли? – купил на Томкин тридцатник селедку (16 р. против 20-22) за 3 рубля, бутылку «Иргиза» в другой «Рыбе» за 20 (везде прибавили на водку рубль-два) и дома сварил картошки и проч.

Утром ходил смотреть на хороший шторм.

К вечеру тихо. Встречал вчера Тому, был злобен. Ел тушёнку, пил водку, потом пиво.

Сегодня редколлегия. Полное (кроме Шульпиной, всё более идущей в сторону) единодушие. Прозы на полгода, а машинка всё стоит.

Пустота после сдачи Чехова, а в писание впрягся. Взял посмотреть заметки к «Войне и миру».

С утра туман. Волга как какао в чашке. +15..

7 ноября

Дни словно бы в тумане. Так как не писал, ежедневно выпивал за обедом вечером. Томе подарили саратовский коньяк, один сорт неплохой, но я отвык от коньяка и выпил литровую бутылку «Родника».

Истерика Натальи с печатанием чудовищного по содержанию в нарядной обложке альманаха саратовских писателей, за что они нам платят деньгами, выданными им саратовской администрацией. Вчера наконец шестеренки добыли, печатали накладные на заказ для заработка.

Вчера смотрел взятые у Анны Евг. фильмы Пазолини «1001 ночь» и «Сто дней Содома».

Читал эти дни (чуть-чуть) Островского, Ключевского. Хочу начать заметки к «Войне и миру» или о плавающих.

¹ Ольга Дмитриевна, главный бухгалтер «Волги».

Сегодня похолодало, а вчера было +15.

10 ноября

Вчера первый снег, сухой, резкий. Мороз –5-10.

Весь день в редакции – печатаем №10.

Сегодня должен вернуться Данька с каникул от матери.

На балконе синицы, которых кормлю салом и семечками.

13 ноября, сб.

Вчера начал идти снег, сегодня метель, но как всегда потеплело и того гляди развезёт.

Ольга Дмитриевна была по велению комитета в правительстве с документами. Якобы что-то обещается. Дай Бог!

Я конечно или уже с диабетом, или на пути, с голоду трясет, в ушах шумит. В промежности мокрая ссадина. Вчера выпил под селедку-картошку.

Набрали «Чехова» в №1. Не только не писал, но и не читал эту неделю.

За окном снег, я с Шерой. Славно!

16 ноября

С ночи пропал голос, осип, ушел по этому поводу из редакции от гнущих графоманских обложек и проч. Труд этот меня всерьез отупил.

Снег, подморозило до –7.

Деньги (100 р.) потратил за пт-вс на колбасу, сосиски, сыр, хлеб, селедку и водку, а ещё надо Дане за школу, на учебник по истории. Тома зарплату не получает.

Радует зато снег и пасмурное небо. Сейчас пожарил печенку, скоро придет Данька из школы.

17 ноября

Вчера взял больничный, хоть температуры нет, очень уж остро<.....>ла редакция с типографской работой и проч.

Читал вокруг «Войны и мира» и немного (не мог удержаться) опять «Бесы». Ни одна книгу не возбуждает меня так литературно, как «Бесы».

Данила в военкомате. Я сделал винегрет, сбросил снег с балкона, наткнул на шнурок сала синичкам, сел пока за стол. 11-й час. Снег не идет, но небо низкое, снежное. Как и в дождь – бодрость.

Виктор ІВАНІВ

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ПИСЬМА

Подготовка текста и комментарий Алексея Дьячкова и Елены Горшиковой

В катафалке сна моего
Ах зачем же в шестнадцать лет
Август снова первого августа
Ты про утро писал которого нет

Спят с полузакрытыми
А кто и с открытыми погляди
В них в глаза убитого
Лошади лошади

Лошади да господи
Почему же в обморок в шестнадцать лет
Выйди к магазину а лучше не выходи
И на стрелках глазами скелет

В море желтое или кружится
И в газетку пихни изволь
Если синенький обнаружится
Да на отмель чтоб пнуть ногой

Отлетали вы прошлой осенью
Как листочки висели кошмарною сеткой
И глазами сверкали музейщицы
С запрокинутою беседкой

И казалось живыми живыми
Вы были
А теперь забыли
Как же так забыли вы забыли

Виктор Іванів (Виктор Германович Иванов) родился 11 апреля 1977 года в Новосибирске, трагически погиб 25 февраля 2015 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Премии Андрея Белого (2012). Публикации в «Волге»: «Тетрактнижие пения» (2013, № 3-4, рец. на книгу Наталии Черных «Из писем заложника»), «Петли шарфа» (2013, № 5-6, рец. на книгу Сергея Соколовского «Гипноглиф»), «Па*рыжки головкниного когито» (2013, № 9-10, рец. на книгу Дениса Ларионова «Смерть студента»), «Остановка Апокалипсиса» (2014, № 1-2, рец. на книгу Алексея А. Шепелёва «Настоящая любовь»), «Войаджер II» (2014, № 5-6, стихи), «Конец Покемаря» (2014, № 7-8, повесть).

Как мы проводим жизнь у прошлого в раю
 Давай проводим жизнь проводим жизнь свою
 И те кто вдруг на проводы придут
 С подводы сваятся и молча пропоют

Как мы проводим жизнь все в будущем раю
 Как мы проводим жизнь давай проводим жизнь свою
 И тем к то к ней на проводы с подводы упадут
 Им наши голоса тихонько пропоют

Твой бычий глаз освобожденье рас
 Твоя чума на наши все дома
 И твой план Норе как магия фигуры
 И ты шатаешься как нищенка как дура

В твои глаза глядит больной как прошлый или рай
 Иль будущий с колесиками гроб
 Спускается а с виду кажется трамвай
 Несется тебе в лоб чумной больной нигроид

Комментарий

К письму, отправленному Виктором Иванівым накануне смерти (Среда, 25 февраля 2015, 7:22 +03:00 от desnos8) А. Дьячкову, приложено несколько файлов, два из них содержат публикуемые стихотворения.

Файл со стихотворением «В катафалке сна моего...» датирован 1 августа 2014 года. Тогда же стихотворение было размещено писателем на странице его аккаунта на facebook.com. Там же, тем же днем за ним следует стихотворение «Как мы проводим жизнь у прошлого в раю...», однако файл из письма с этим стихотворением датирован 24 февраля 2015 года, 20:53. Доступная на facebook.com функция просмотра истории редактирований позволяет выяснить, что в размещенном 1 августа в 18:59 списке стихотворения через минуту было сделано единственное исправление: в первой редакции стихотворение заканчивалось словом «нигроид», во второй – «нигроу» (в аккаунте этот вариант окончательный). В высланном файле «нигроид» восстановлен. Двукратно подтвержденное употребление заведомо грамматической словоформы дает основание считать ее не случайной опечаткой, а частью авторского замысла в его последней редакции.

Мотив особого выделения писателем именно этих двух стихотворений понятен не до конца. Приложением к последнему письму их статус формально уравниен с проектами поэтического и прозаического сборников, приложенных к нему же. По свидетельству Е. Горшковой, в день, когда были написаны публикуемые стихотворения, Виктор Иванів, находясь в подавленном состоянии, в переписке касался темы самоубийства. Но, видимо, был еще неясный «план Норе» – надежда (а здесь именно норе – слово набрано латиницей, и прочитанное по-английски [hɔʊr], согласуется с метрическим ожиданием в строфе), может быть, возникшая в связи с написанием этих стихов или ими поддержанная, в тот день писателя еще не оставила. Так или иначе, в свое последнее утро 25 февраля 2015 года Виктор Иванів снова обратился к текстам полугодовой давности – то ли в очередной раз «делая колдовство по продлению жизни»¹, то ли приводя предмет к ранее зафиксированной интенции.

¹ См. Иванів В. Конец Покемаря. – М.: Коровакниги, 2017. С. 388.

Михаил БАРУ

СТО ПЯТЬДЕСЯТ ПУДОВ БУЛАВОК

Скопин

В Скопин приехал я под вечер второго января и поселился в новой гостинице под незатейливым названием «Гостинный двор». Ни кафе, ни ресторана при гостинице еще не устроили, но женщина, сидящая за стойкой, посоветовала поужинать в лучшем городском ресторане под названием «Метрополь». Дойдете, сказала до первого поворота направо, потом свернете, потом пройдете вдоль длинного глухого забора и упретесь в памятник Ленину. Повернитесь к нему спиной и увидите «Метрополь». Там рядом есть еще ресторан «Скопин» – не ходите в него. Плохо там готовят. Хуже только в пиццерии, которая в соседнем с рестораном доме. Только ради бога, смотрите под ноги – улицы у нас от снега и льда не чистят. И близко к домам не ходите – с крыш падают сосульки.

Я пошел. Оказалось, что ко всем этим наледям и сосулькам нужно было добавить еще и плохое освещение. Пробираясь вдоль забора, дошел до памятника вождю мирового пролетариата, с удовольствием повернулся к нему спиной и увидел сияющую вывеску закрытого на замок кафе «Метрополь»¹. Ресторан «Скопин» тоже был закрыт. Оставалась только пиццерия...² Она была приветливо освещена, и это нам понравилось больше всего, поскольку из подзаборной темноты вдруг вынырнули два шкафа с антресолями, и один из них, в спортивной шапочке, которую в народе называют «петушок», сказал другому:

– Априори известно, что эта железа секретитует...

– Черт бы тебя побрал вместе с этой железой, – подумал я с огромным облегчением. – Секретитует железа. Еще как секретитует. Я от этого секрета вспотел, как...

Впрочем, все это было лишь предисловие, из которого мы возьмем только забор, за которым теперь находится городской стадион. Стадион мы тоже не возьмем, а возьмем лишь то место, на котором его построили. Именно здесь четыреста двадцать лет назад поставили маленький деревянный острожек, который назвали Скопиным. До острожка приблизительно на этом же месте было городище, которое археологи назвали Лихаревским, а до городища здесь, в болотистых лесах бассейна реки Прони, жили сами по себе тихие вятичи, а до вятичей еще более тихие и робкие финно-угорские племена, которых вятичи частью ассимилировали, а частью вытеснили к северу. Сами вятичи, может, и не стали бы теснить финно-угров, кабы их самих не потеснили воинственные степняки-половцы. К концу десятого века вятичи заселили все эти места, обжились настолько, что стали даже закапывать монетные клады в своих укрепленных поселениях. Задолго до археологов любили эти клады раскапывать половцы. Набегут, все пожгут, разграбят, перекопают все огороды в поисках кладов, и обратно к себе в половецкую степь ускачут. Ну, а вятичам ничего не остается, раз уж все перекопано и пеплом удобрено, снова сеять то, что они сеяли. Чего, спрашивается, не сеять, если в этих местах только одного чернозема целых три сорта, а всяких суглинков, песков, торфяников и вовсе без счета. Вот только все надо было делать быстро, чтобы успеть разбогатеть до следующего набега половцев. Крутились как могли – добывали меха, ловили и вялили рыбу, выращивали отличные яблоки, которые покупали даже иностранные купцы, собирали дикий мед, а местные малютки-медовары варили из него такую медовуху... Лучше бы не варили. Прослышали о хорошей жизни вятичей славяне. И пришли они в эти места из Киева под водительством своего князя Святослава в девятьсот шестьдесят шестом году³. Вынесли все. Даже

яблоки, которые не смогли увезти, понадкусывали. Половцы, которые пришли на пустое после славян место, просто рвали и металы. Даже не стали все перекапывать, как обычно, в поисках кладов. А уж как все это не понравилось самим вятичам...

Через полтора десятка лет славяне пожаловали во второй раз. На сей раз привел их князь Владимир. От него было не так просто отвертеться. Вятичи вместе со всеми своими яблоками, медом, рыбой, пшеницей и тремя сортами чернозема оказались в составе Киевской Руси.

Как ни крути, а от киевлян, особенно тогда, когда они свою продразверстку заменили продралогом, была польза. Половцы прекратили свои набеги. Почти весь одиннадцатый век прошел спокойно. «Почти» потому, что к концу века в Киеве начались междоусобицы. Киевские князья перегрызлись между собой, и от ослабевшей Киевской Руси отделилось большое Муромо-Рязанское княжество. Оно состояло, в свою очередь, из трех уделов, трех княжеств – Муромского, Рязанского и Пронского. Муромский, Рязанский и Пронские князья, понятное дело, тоже грызлись между собой и, конечно, догрызлись бы до мышей, кабы не пришли татары с монголами. Но еще до того, как они успели прийти, муромские, рязанские и пронские князья успели повоевать с московскими и владимирскими князьями. Иногда и пахать приходилось с оружием. Городища окружали уже не только земляными валами, но и рублеными крепостными стенами с бойницами. Как раз около современного Скопина в начале прошлого века раскопали такое городище. Крестьяне, несмотря на хорошо прожитый одиннадцатый век, в двенадцатом веке все еще жили в полуземлянках, обложенных деревянными плахами. Зато имелись у них глинобитные печи. Вообще глина в этих местах была, и аборигены научились из нее делать и посуду, и печи, и множество других полезных вещей. В одной из печей археологи нашли железный шлак. Вот так они, скорее всего, и жили – сварят на первое кашу из полбы или овса, а на второе и компот выплавят железа для серпов или мечей.

Все эти непрерывные войны всех против всех криминогенную обстановку, понятное дело, не улучшали. По окрестным лесам шныряли шайки лихих людей. И шаек этих становилось все больше и больше. Другими словами – они скапливались. Третьими словами, у них было в окрестных лесах скопище. От существительного скопище проведем извилистую кривую к городу Скопин и... Самим скопинцам такое объяснение не нравится ни разу, и они утверждают, что название городу дала хищная птица скопа, издавна селившаяся на лето в этих краях. Есть и еще одна гипотеза происхождения названия города. Поставили городок на холме, а верхушку холма при этом срыли. Иными словами скопали. Вот он и получился скопанным. Признаться, так себе гипотеза. Кто же на герб поместит лопату и кучу срытой земли? Говорят, что название могло произойти от глагола «скопить». Жили, мол, в этих местах такие не то чтобы скопидомы, а хозяйственные, рачительные люди, которые все копили, копили, и скопили... Нет, уж лучше разбойники. Хотя в какой-нибудь Германии такая версия, наверное, устроила бы всех. Так или иначе, а на городской герб попала скопа. Впрочем, до города было еще очень далеко. Была крепость, которая назвалась Острожком и входила в Засечную черту.

Земли, на которых стоял Острожек, когда-то входили в состав Пронского княжества. Вместе с Пронском они и перешли к Москве, когда татары с монголами ослабили настолько, что московские князья стали мало-помалу прибирать к рукам земли вокруг и не только вокруг своей столицы. С вхождением в состав Московского княжества надобность в такой крепости не только не ослабла, но усилилась. Постоянно беспокоили крымские и ногайские татары. На вольных разбойничьих хлебах расплодились, как кролики, казаки, которые жили грабежом и тащили все, до чего дотягивались их руки с зажатými в них саблями, кистенями и булавами. С одной стороны они защищали Придонскую Украину от набегов кочевников, а с другой грабили и кочевников и крестьян. С третьей стороны – а как же иначе, если казаки нигде отродясь не работали и умели только рубить лозу, капусту и головы.

Принадлежала крепость боярам Романовым – сначала Федору Никитичу (отцу Михаила Федоровича), потом его брату Ивану Никитичу, а затем его сыну – Никите Ивановичу. После того как бездетный Никита Иванович умер, то Скопин-острожок, как его называли в документах первой четверти семнадцатого века, стал вотчиной царской династии Романовых.

Три стены у крепости были вооружены, а четвертая, обращенная к протекавшей в черте города реке Вёрде, деревянной, с восемью башнями. Девятая башня была земляной. Ворота имелись всего одни. Простенькая, надо сказать, была крепостца. Постоянно обитало в ней начальство и те, кого содержали под стражей за различные правонарушения. Стрельцы, пушкеры и воротники (сторожа при воротах) жили в рядом с крепостью в своих слободах. Неподалеку от этих слобод селились крестьяне, которые в случае опасности прятались за крепостные стены. Расположение крепости было удачным – стояла она на холме высотой в семьдесят сажень, с одной стороны болото, с другой стороны река Вёрда, с третьей стороны река Вослебка⁴, с четвертой стороны река Песоченка, а с пятой – река Калика. Теперь аккуратно на этом месте находится городской стадион и памятник вождю мирового пролетариата.

К концу семнадцатого века вооружена была эта крепость достаточно серьезно – дубовые стены на земляных валах, восемь башен и две калитки. По описи 1688 года было в крепости восемнадцать пушек, три кованых пищали, полторы сотни мушкетов на вооружении у стрельцов и казаков, еще немногим более сотни в амбарах, а сверх того рогатины, бердыши, правда, ветхие, пороха больше сотни пудов, полсотни пудов свинца, полтысячи крупных ядер, сотня средних, еще мелкие, еще четыре багра и десять пудов фитилей. При таком количестве фитилей их можно было вставлять... Не стоит, однако, думать, что скопинский воевода только и развлекался тем, что вставлял кому хотел фитили, проводил из пищалей учебные стрельбы и заставлял пушкарей, чтобы служба им медом не казалась, на учениях переносить ядра с места на место и складывать из них разной высоты пирамиды. Романовым принадлежало вокруг Скопина около десяти тысяч гектаров плодородных земель. И на этих землях хозяйственные Романовы предписали устроить скопинскому воеводе настоящий агропромышленный комплекс, чтобы снабжать Москву и армию продовольствием. И хлеб пришлось сеять, и коневодством заниматься, и гусей разводить, и свиней, и овец, и даже кур. Воевода оказался исполнительный и в свободное от размахивания саблей время устроил на вверенных ему землях такой образцовый свиначник, курятник и гусятник, что из Москвы ему 11 января 1689 года прислали похвальную грамоту, с перечислением всех его производственных заслуг. Среди прочего в ней перечислялись отосланные в столицу столовые припасы: «тысяча пять сот сорок один пуд с полу пудом мяса свиных, тысяча гусей, две тысячи уток с потрохами, тысяча четыреста сорок две курицы колотых». И это не считая пшеницы, гречихи и овса, которых запасалось в год на пять тысяч рублей. И денег. Что воевода сделал с этой грамотой, доподлинно неизвестно – то ли положил в сундук, к медалям и кафтану с царского плеча, то ли повесил на стену съезжей избы, то ли запил от расстройства из-за того, что вместо денег прислали хоть и похвальную, хоть и с красивой висячей печатью, но все же бумагу.

Само собой, строились в Скопине и церкви. При одной них, Пятницкой, по указу из Москвы в 1688 году на Торговой площади построили две богадельни – мужскую и женскую. В каждой из них обитало по три десятка человек. Недолго, надо сказать, обитало, поскольку от «безстыдных людей и их слов жить было нельзя». Отчего-то скопинцы так невзлюбили старушек, обитавших в богадельне, что те искали защиты даже в Москве. И нашли. Пришлось местному стольнику Аврааму Пасынкову строить на отшибе, на пустующем конюшенном дворе, сначала церковь, а затем и целый монастырь, который просуществовал до екатерининских времен.

Не надо думать, что кроме войны со старушками из богадельни или выращивания свиней с утками к царскому столу у скопинцев других развлечений не было. На дворе стоял семнадцатый, «бунташный» век, и скучно не было никому – то придут поляки с Самозванцем, то Болотников, то разинские атаманы, то казаки с Дона, то просто разбойники с большой дороги, то беглые крестьяне вместе с донскими казаками так жгут и грабят помещичьи усадьбы, что и разбойники позавидуют, то рязанские помещики во главе с героем Смутного времени Прокопием Ляпуновым жгут деревни и села, а крестьян и казаков секут, бьют батогами, кнутом, вешают и снова секут, бьют батогами... А то, как принесет злым и пыльным ветром из-за Дикого поля крымских татар с ногайцами, как начнут они грабить и резать всех без разбору, как станут уводить в полон...

В промежутках между всеми этими безобразиями скопинцы умудрялись торговать хлебом, скотом, выделывать кожи, вытапливать сало, ковать гвозди, подковы, все это вывозить возами на

север и продавать. Особенно хорошо получалась у них глиняная посуда. Сначала обычная, потом обливная, потом просто красивая. Продавали ее и в Рязани, и Москве, и в Нижнем, и в Туле, и во Пскове. Самое удивительное, что гончарное искусство (у скопинских мастеров именно искусство, а не ремесло) не захирело, не умерло, как это часто у нас случается, не осталось в виде пяти или десяти пыльных кувшинов на музейной полке, а процветает и сейчас.

Не будем, однако, забегать вперед. Вернемся в семнадцатый век. Было и еще одно ремесло, которое скопинцы освоили так успешно, что власть их за это начала наказывать рублем, а тех, кто не вразумлялся большими штрафами, тех и кнутом потчевали. Курили скопинцы вино. Ох, и курили... Воевода Василий Даудов в конце семнадцатого века снарядил семь стрельцов и четырех посадских людей, чтобы ходили они по домам, как заправские советские дружинники, и... у одного подьячего конфисковали три винных котла, у второго – два, а у третьего – железный котел для варки браги. Не просто так ходили и во все без разборку дома стучались, а кто-то заранее, мягко говоря, просигнализировал...⁵

На восьмом году восемнадцатого века Петр Первый приписал Скопин к Азовской губернии по корабельным делам. Петр Первый мог кого угодно и что угодно по корабельным делам приписать к кому угодно. Скопин приписал к Азову, который от него был дальше, чем Москва, не говоря о Рязани. И все из-за того, что в окрестностях Скопина были дубовые и сосновые леса. После того как все дубовые и сосновые леса повыврубили, после того как начали, вследствие вырубki, мелеть реки, ненужный более корабельным делам Скопин отписали от Азова и приписали к Елецкому уезду Воронежской губернии⁶. В двадцать первом году Петр Алексеевич повелел все российские города разделить по количеству дворов на пять категорий. Скопин попал в четвертую – от двухсот до пятистот дворов. Если сравнивать с категориями яиц, то получают почти перепелиные, а между тем в городе было четыреста купцов. В пересчете на общее количество жителей, включая женщин и детей, выходит, что каждый десятый или даже девятый. К тому времени Скопин практически потерял свое военное значение. Гарнизон в нем уже не стоял, офицеров и солдат не было, а жили отставные стрельцы, пушкари и воеводы. Да еще ржавели закотившиеся по темным углам ядра от пищалей и фальконетов.

Не успел Скопин прийти в себя от корабельных дел, как его, вместе с прилегающими к нему селами, приписали к ведомству Конюшенного приказа, и всех бывших служилых людей перевели в разряд конохов или крестьян дворцовой конюшенной канцелярии. К тому времени как Скопин приписали к Конюшенному приказу, коневодство, как на грех, в нем стало понемногу умирать. И вообще это был уже четвертый приказ, к которому приписывали Скопин за последние семьдесят лет – после Тайного, Хлебного и Стрелецкого. Впрочем, к какому бы приказу Скопин не приписывали, а оставался он все время городом хлебным. Пшеница на окрестных полях росла так хорошо, что «в хорошие годы сам десять иногда бывает и сеется рожь, пшеница, овес, греча, горох, конопля, лен и мак, а по пространству пашут весьма много, так что для збирания хлеба приходят туда наемщики из других губерний и уездов в числе не малом».

В 1779 году Скопин по указу Екатерины Второй стал городом. Утвердили план, состоящий из одинаковых квадратиков, как в Петербурге. Деревянный Скопин горел так часто, что и носить почти ничего не пришлось. Для новыхстроек всегда находились новые пустыри.

Надо сказать, что новое «городское платье» пришлось ему в самый раз. Торговля в руках предприимчивых скопинских купцов и мещан процветала. Торговали «разного рода хлебом и плодами, шелком и бумажной материей; сукнами и иным шерстяным товаром; серебряною, медною, оловянною и железною посудой, обувью, сшитым платьем, конской упряжью, кожами, салом, свечами, дехтем, деревянною посудой, водками, виноградными напитками, чаем, сахаром, кофею, медом, мясом, рыбой, пенькой и табаком». Было, значит, кому в Скопине разрядиться в шелка, сукна, иной шерстяной товар и пить кофий, виноградные напитки и чай с сахаром из серебряной посуды. Не говоря о разных водках. Торговых лавок, включая винные, имелось в городе около сотни – по одной на каждые шестьдесят жителей. Не только в нынешнем Скопине такого нет и в помине, но и в самой Москве... Ну, да что теперь говорить о Москве, в которой снесли не

только торговые лавки, но даже и на обычные лавочки нагнали такого страха, что у тех ножки дрожат от страха за свое будущее.

К концу восемнадцатого века в Скопинском уезде проживало без малого девяносто тысяч человек. Эта цифра, понятное дело, нам ни о чем не говорит. Чтобы она заговорила и даже закричала, сравним ее с цифрой двадцать пять с половиной тысяч. Это именно то количество человек, которое проживает в Скопинском районе сегодня. Об этих же жителях (уездных, а не районных) в географическом словаре Щекатова, вышедшем на рубеже семнадцатого и восемнадцатого веков, написано: «...люди вообще нрава тихого, смиренны, послушны к начальникам, усердны и прилежны к земледелию, выключая однодворцев, которые в праздные от хлебопашества время упражняются в ловле зверей и птиц. Живут же не весьма чисто, и в зимнее время по малолесию, не имея других изб, пускают скот свой для корму в те же самые, где живут сами и они. Избы во всех их селениях черные и за неимением дров крестьяне и однодворцы топят их соломой. Дворы свои огораживают плетнями, кроют соломой, а гумны и огороды огораживают рвом и валом из навоза». Отчего так бывает, что люди работящие, нрава тихого и послушные к начальникам часто живут нечисто, без дров и огораживаются валом из навоза... Бог весть. С другой стороны, ведь и флот был нужен молодой империи. Как же мы без флота показали бы кузькину мать шведам и туркам... С третьей стороны ничего не скажешь, а только плюнешь в сердцах.

Конец восемнадцатого и начало девятнадцатого века в Скопине ознаменовались строительством Троицкого собора, опустошительным пожаром, строительством первой городской больницы, уездного и духовного училищ, а также грандиозным, не только в масштабе уезда, но и губернии, скандалом – был арестован и отдан под суд городничий, надворный советник и отставной секунд-майор Сергей Николаевич Дубовицкий. То есть сначала-то его хотели наградить орденом Св. Владимира за усердную службу и взыскание «немалых недоимок», но... не наградили. Неизвестно по какой причине. То ли нашли другую достойную кандидатуру, то ли передумали, то ли просто какая-то несмазанная должным образом шестеренка в аппарате рязанского губернатора зацепилась зубом за другую, и все застопорилось. Другой бы погоревал и наградил бы себя чем-нибудь другим, тем более что должность городничего, как известно, из комедии Гоголя, к этому располагает, но отставной секунд-майор, служивший при Екатерине Алексеевне в лейб-гвардии Семеновском полку, решил жаловаться на рязанского губернатора. В жалобах (а их было множество) красочно описывал притеснения, которые чинил ему рязанский губернатор. Сенат его жалобы рассмотрел, и оказалось, что притеснений... не было. Никаких. Мало того, «Сенат определил просить ему Дубовицкому у губернатора прощение». Городничий закусил удила и стал писать царю, коего своими прошениями так утомил, что сенатский генерал-прокурор объявил о том, что «за неоднократные прошения, коими он неоднократно Его Величество утруждал, посадить под стражу...» и дело Дубовицкого как можно скорее закончить.

Правду говоря, рязанский губернатор был тот еще поросенок с хреном. За семь лет до скандала со скопинским городничим его отставили от службы с формулировкой «за воровство и грабеж», но через четыре года... назначили по протекции рязанским губернатором. В те времена по хорошей протекции можно было получить хоть губернаторское место, хоть... Впрочем, как и сейчас. Самое удивительное, что жалоба Дубовицкого возымела действие. Павел Первый губернатора со службы прогнал. Александр Первый назначил нового, и тут Дубовицкому... небо показалося с овчинку. Он, видимо, полагал, что со сменой губернатора все изменится, и все те чиновники, которые так долго препятствовали награждению, немедленно решат дело к его пользе и наградят вождеденным орденом, а то и двумя, но не тут-то было.

Вдруг выяснилось, что городничий виновен «в притеснении скопинских граждан, в пренебрежении своей должностью, в неповиновении начальству, в похищении казенного интереса при покупке для штатной команды провианта и для драгунских лошадей фуража; в фальшивом представлении вспомогательному банку не принадлежавшего ему имения; в краже из земского суда о долгах его рапорта... в прелюбодействе с крестьянскою женкою». Последнее было очень обидно. Добро бы еще увез губернаторскую дочку, но с крестьянскою женкою...

Рязанская палата суда и расправы⁷, рассмотрев все вины городничего, представила на утверждение Сената: «лишить его Дубовицкого чинов и дворянства, наказать кнутом и сослать на поселение». Сенат доложил государю, тот на сенатском докладе начертал: «Быть по сему, кроме кнута» и поехал бывший городничий в Иркутск, на поселение...

Через год, в результате настойчивых просьб сына Дубовицкого, сосланного городничего вернули «в настоящем его положении, в дом свой на жительство», где он и тихо и незаметно жил восемь лет до самой своей смерти⁸. Вечерами и особенно ночью, когда не спалось, бывший городничий ходил из угла в угол своего кабинета и все думал – в чем же он просчитался? В том, что жаловался на губернатора, или в том, что обольщался насчет чиновников... Или все же в том, что с крестьянскою женкою... Или при покупке фуража для драгунских лошадей...

Вернемся в Скопине начала девятнадцатого века⁹. В 1816 году через город проезжал император. Останавливался он в доме богатого и хлебосольного купца Плетникова, у которого была жена красавица. Александр Павлович долго гулял с ней по саду и подарил, как это было у него заведено в таких случаях, бриллиантовый перстень¹⁰. После того как царь уехал, супруги Плетниковы решились на смелый поступок – они вырядились по самой последней московской моде. На самом Плетникове вместо общепринятого у скопинских купцов долгополого синего зипуна и полосатого кушака был короткий сюртук, а вместо бараньей шапки – поярковая шляпа. На его жене вместо китайчатой душегрейки и шерстяной юбки «ничего, кроме шелка и бархата, надето не было». Ох, и досталось же Плетниковым от скопинских кумушек за свои московские наряды... Особенно купеческой жене. Как только ее, бедную богатую, не называли...¹¹

Жизнь, между тем, не стояла на месте. Предприимчивые скопинские купцы стали вкладывать деньги в кожевенные, суконные и мыловаренные заводы, в мастерские по ремонту самых разных механических агрегатов вроде маслобоек, крупорушек, сеялок, веялок и всего того, что с трубами, на колесах и даже с кривошипно-шатунными механизмами. Завелся в городе заводик по отливке почтовых колокольчиков. Больше других в Скопине проживало горшечников Целый квартал. Горшки возами вывозили на продажу в разные города и особенно в земли Войска Донского. Казачки расходовали глиняные горшки в неимоверных количествах. По статистике каждый третий, а то и каждый второй горшок разбивался ими о голову казака, а поскольку головы у казаков по шкале твердости Роквелла... или Бринелля... Не помню точно цифры, но они очень большие.

К середине девятнадцатого века мыловаренные заводы трех скопинских купцов Афонасова, Поялкова и Алферова ежегодно производили шесть с половиной тысяч пудов мыла на сумму в двадцать тысяч рублей. Этим мылом можно было намылить шеи не только крестьянам скопинского уезда, но и всей Рязанской губернии. Если, конечно, крестьяне захотели бы ходить с намыленными шеями. Продукты стоили копейки не в переносном, а в буквальном смысле. Килограмм ржаной муки – полторы копейки, килограмм пшеничной – десять, килограмм гречневой крупы – копейку, а килограмм овса и вовсе меньше копейки. Скопинцы выращивали сами, покупали и продавали огромное количество скота, и потому килограмм говядины стоил меньше гривенника. И только дрова, благодаря Петру Великому, в этом степном, безлесном краю стоили дороже говядины.

Процветание торговли и промышленности привело к зарождению в Скопине искусств. По официальным данным, в середине века в Скопине зародилось два живописца и один цирюльник. Появились еще и часовщики в количестве двух штук, но не очень понятно, куда их отнести – к искусству или к промышленности... И это при том, что количество купцов к тому времени уже перевалило за тысячу.

Жить стало если и не веселей, то определенно лучше. В 1859 году в Скопине проживало около одиннадцати тысяч жителей. На каждого жителя, включая стариков и малых детишек, согласно статистическим данным, приходилось по одной десятой лошади, по две десятых коровы и почти по четыре десятых свиньи. Это мы еще не берем в расчет овец и коз. Навоза от всех этих домашних животных было огромное количество, в огородах все росло как на дрожжах, горох колосился, капуста капустилась, но... скука смертная. Новостей не было решительно никаких. Бог знает по какому разу вспоминали, как городничий бодался с дубом рязанским губернатором. Ну не об-

суждать же в самом деле квартального надзирателя Успенского, который неправильно арестовал купца Гублина, или бывшего исправника Ушакова, которого выгнали со службы за то, что он злоупотребил своим служебным положением во время строительства мостов в уезде и ложно доносил комиссии о том, что все мосты находятся в лучшем виде. Было бы странно, если бы он донес обратное, поскольку взявший строительный подряд купец... Одним словом, тоска. Даже большой пожар, в результате которого сгорело полгорода, даже упорные слухи о том, что это дело рук скопинской инвалидной команды, даже отсылка ее в соседний Спасск от греха подальше не помогли.

В 1863 году в городе открывается банк, председателем правления которого становится купец Иван Гаврилович Рыков, и вот тут-то в Скопине становится так весело... Впрочем, все по порядку. Порядок требует обстоятельного рассказа о Рыкове, который на самом деле по фамилии был Оводов, родился в мящанской семье, но рано остался сиротой и воспитывался у богатого скопинского купца Рыкова, который приходился ему двоюродным дедушкой. Когда Ивану исполнилось семнадцать, его двоюродный дедушка, к тому времени усыновивший Рыкова, умер и оставил ему большое, а по меркам Скопина и вовсе огромное, состояние – двести тысяч рублей. И это не считая недвижимости и земли в Тамбовской губернии. Больших барышей молодой Рыков с этого капитала не нажил. Он вообще по части наживать был не очень. Он был по части проживать, прожигать и проматывать. К тому времени как Рыков стал директором банка, все наследство он спустил, но успел побывать и скопинским бургомистром, и городским головой. На деньги покойного дедушки он так отъел себе харизму, что сумел заговорить местных купцов до полубессознательного состояния, и они внесли уставной капитал и назначили Ивана Гавриловича директором банка. Надо сказать, что уже в должности городского головы Рыков успел побывать под судом и следствием за вырубку общественного леса. Уже его успел снять с должности рязанский губернатор, но... Рыков сумел завести связи даже в одном из департаментов Сената, и постановление рязанского губернатора было отменено. Земляки Рыкова, после того как он оставил в дураках губернатора, зауважали.

На должности директора банка поначалу он не проявил себя ничем. Да и сложно было проявить. За деятельностью банка строго присматривал новый городской голова купец Леонов. Тогда Рыков, дождавшись следующих выборов городского головы, сам принял в них участие и победил. И тут же отказался от должности, передав ее своему хорошему знакомому купцу Афонасову. Вот теперь, когда правая рука не только не ведала, что делает левая, но и не пыталась этого сделать, можно было начинать действовать. Рыков развернул грандиозную рекламную кампанию по привлечению вкладчиков. Первый русский Мавроди стал обещать семь и даже семь с половиной процентов по вкладам вместо обычных трех, которые предлагали остальные. Реклама заполнила газеты обеих столиц. Газеты Центральной России, Урала и Сибири наперебой писали о финансовых чудесах, которые происходят со вкладами в банке маленького уездного городка под названием Скопин. И только в газетах рязанской губернии не было об этом ни слова. Слишком близко был скопинский банк к потенциальным рязанским вкладчикам. Не дай Бог придут да сунут нос не туда, куда нужно...

Первыми на щедрые рыковские посулы клюнули служители культа, вытащили свои кубышки и полотняные мешочки, спрятанные за киотами, и понесли их в банк. За священниками, монастырями и старцами, алчущими высоких процентов по вкладам, потянулись миряне. Миряне потянулись со всей России и более всего из Сибири. Дошло до того, что банк в Томске даже выдавал ссуды под залог обязательств скопинского банка. Первые несколько лет все шло так хорошо, как и представить себе было невозможно даже в самых радужных мечтах. Через восемь лет после открытия банк, при уставном капитале в десять тысяч, привлек средств почти на семь миллионов рублей. Москва еще не превратилась в Старый Скопин, а в Скопине уже мостили камнем улицы, устанавливали газовые фонари, выделяли средства на приданое бедным скопинским девицам, строили церкви, заменяли соломенные крыши деревянными, открывали приюты и бесплатную публичную библиотеку на средства, выделенные из прибыли банка, который к тому времени обещал уже сто процентов прибыли на каждый вложенный рубль. Сам великий комбинатор построил себе в Скопине дворец, у дверей которого день и ночь дежурил швейцар в ливрее, заказал рас-

шитый золотом мундир, белые генеральские штаны и нацепил на грудь ордена, которые каким-то образом уже успел получить.

Правду говоря, на общегородские нужды шла лишь небольшая часть банковского капитала. Основная же часть попросту разворовывалась. Для этого была придумана не очень сложная схема. В скобках замечу, что Рыков и не мог придумать сложной – он не имел никакого образования. Подельники его, то бишь члены правления банка, сложной схемы и не поняли бы. Некто, хотя бы и городской нищий, но непременно хороший знакомый или доверенное лицо Ивана Гавриловича, брал в банке кредит. И не отдавал. То есть совсем. То есть банку не отдавал, а Рыкову, конечно, отдавал. Само собой, не без выгоды для себя. Рыков нищих не обижал. Особенно тех, с которыми имел общие дела. Вообще ссуды (часто беспроцентные) выдавались не только друзьям и знакомым Рыкова, но и просто нужным людям вроде исправника, квартального надзирателя, гласным городской Думы, губернским чиновникам... Список длинный – в краткий очерк об истории Скопина он просто не поместится. Иногда было достаточно записки или даже устного распоряжения Ивана Гавриловича, чтобы «выдать подателю сего» деньги, или выписывали векселя на подставных лиц. Могли фиктивно покупать ценные бумаги и деньги на покупку этих бумаг взять из банка, могли фиктивно их продать и полученные деньги... могли фиктивно учесть векселя, могли... все что хотели, то и могли. Сам Рыков не то чтобы запускал руку в кассу банка, но влез в нее с ногами. Судите сами – дом содержать надо, приемы для нужных гостей устраивать надо, балерин из самого Санкт-Петербурга на эти приемы привозить надо, икру и шампанское подавать к столу надо, взятки рязанским, московским и петербургским чиновникам давать и думать не могли, чтобы не дать, портреты свои в полный рост в белых генеральских штанах заказать живописцам надо... Вот вам и еще один список, который не помещается в историю Скопина.

Мало-помалу Рыков из директора банка стал человеком, который совратил целый город. Пусть небольшой, пусть уездный, пусть дремучий, но город. Все были у него на крючке, все брали кредиты в банке, а были и такие, у которых этих кредитов был не один и не два. Были и те, кому скопинский губернатор (так его все называли) просто платил жалованье за различного рода услуги. К примеру, местному почтмейстеру платил за то, чтобы он вскрывал письма и проверял – не затеивает ли кто против Рыкова интриг и не пишет ли ненужное в Рязань или даже в Петербург. Полицейским чинам платил за то, чтобы к тем, кто пишет ненужное... Ну, всякий знает, за что у нас платят полицейским чинам. Судейским он платил за это же самое. Мировой судья Александров навсегда остался должен банку сто тысяч рублей. Кстати, Рыков и сам состоял почетным мировым судьей и потомственным почетным гражданином. Платил губернскому секретарю. Дьякону Попову платил за то, что тот ходил по городу, собирал о Рыкове сплетни и пересказывал их своему работодателю. Для этой же цели нанял судебного пристава Изумрудова. И недорого – всего за двадцать пять рублей в месяц. Платил даже станционному телеграфисту, чтобы ни одна ненужная Рыкову телеграмма, ни одна несогласная точка или тире не улетели из Скопина.

Веровочка, однако, вилась, вилась... Поначалу пришлось, чтобы скрыть истинное положение дел в банке, писать липовые годовые отчеты. Чем хуже дела шли у банка – тем красивее выглядели его балансы. Балансы балансировали, балансировали, да не выבל... Тьфу. Бухгалтеры не хотели подписывать балансы и норовили в конце года уйти в отпуск, а те, которые все же не могли отказать и подписывали, после подписания надолго зашивали. Тут уж Рыков пустился во все тяжкие. Выпускал ценные бумаги и пытался их продавать, покупал ценные бумаги, к примеру, железных дорог, и продавал их, но с большими убытками, поскольку мало что смыслил во всем, что не касалось махинаций. А еще надо было платить проценты по вкладам... И были этих вкладчиков тысячи, и жили они по всей России...

Не все, однако, скопинцы были замешаны в рыковских махинациях. Вот эти-то незамешанные стали бить тревогу, стали писать начальству, но... скопинский Шпекин был на страже, потому что за пятьдесят рублей в месяц... И телеграмму тоже не отобьешь, потому что телеграфист... Хотя бы и отбили, хотя бы и письмо дошло, к примеру, в Рязань. К тому времени рязанский губернатор был почетным гражданином Скопина. Ну, хорошо, предположим, что не в Рязань, а в Петербург. Так ведь и министр финансов Михаил Христофорович Рейтерн тоже был почетным гражданином

Скопина. Конечно, подношений он от Рыкова не брал, упаси Господь, но благосклонно принял сообщение о том, что в Санкт-Петербургском университете была учреждена стипендия имени его самого сроком на двадцать лет. И деньги для этой стипендии выделил не кто иной, как...

Правдоискатели не унимались. К тому времени из карманов вкладчиков было вытаскано более двенадцати миллионов рублей. От этой суммы, если пересчитать ее на наши деньги, можно с ума сойти. От этой суммы к началу суда уцелело всего восемьсот тысяч. Впрочем, до суда еще были несколько лет попыток обратить внимание начальства на финансовую пирамиду, которую построил Рыков. В конце концов обратились к газетчикам. В 1882 году, спустя девятнадцать лет после открытия скопинского банка, петербургская газета «Русский курьер» напечатала серию статей, которые вызвали страшную панику среди вкладчиков банка. Вкладчиков были тысячи – из Томска, Иркутска, Смоленска, Нижнего, Москвы и Петербурга. И только два десятка вкладчиков были из Рязани. Скопин наводнили кредиторы. Все ринулись забирать свои деньги, но забирать было уже нечего. Кто-то остроумно заметил, что если даже для покрытия долгов банка продать весь Скопин вместе с фонарями, домами и даже собаками, то все равно вернуть можно будет лишь двадцать восемь копеек с рубля.

Следствие и суд длились два года. Суд проходил в Москве. Вместе с Рыковым на скамью подсудимых уселись еще два с лишним десятка его поделщиков. Газетчиков было едва ли не больше, чем подсудимых. Рыков был признан виновным по всем пятидесяти пяти пунктам обвинения. Удивительно то, что у подсудимых не нашлось ни денег, ни золота, ни ценных бумаг. Почти все украденное непосильным трудом было прожито. Сам Рыков был гол, как сокол. Он лично взял себе миллион и еще пять, чтобы оплатить этими деньгами молчание тех, кто мог встать у него на пути. Все деньги ушли, как писал Антон Павлович Чехов, писавший отчеты о судебных заседаниях для «Петербургской газеты», на то, чтобы есть раков-борделез, пить настоящее бургонское и ездить в каретах. Все кончилось для Рыкова Сибирью¹². Туда он и отправился на поселение поближе к своим сибирским вкладчикам. Бывшим, конечно, вкладчикам. Ходили слухи, правда, непроверенные, что там, в Сибири, его эти вкладчики на тот свет и отправили.

Не могу удержаться, чтобы не привести слова Салтыкова-Щедрина, между прочим, в те поры управляющего рязанской Казенной палатой, хорошо знакомого с делом Рыкова. «У нас и сплошь так бывает: лежит куча навоза, и вдруг в ней человек зародится и начнет вертеть. Вертит-вертит – смотришь, начал-то он с покупки для города новой пожарной трубы, а кончил банком! Вот ты его и понимай!» Понимаем. Как не понять. У нас в навозных кучах и теперь, слава Богу, недостатка нет. И в каждой, если присмотреться, кто-то зарождается и вертит. Ох, и вертит...

В скопинском краеведческом музее могут о Рыкове рассказывать долго. Не без тайной, как мне показалось, гордости. Экскурсовод после экскурсии по музею повез меня смотреть здание скопинского банка, который теперь давно уже не банк, а просто старый облупившийся дом, принадлежащий скопинскому территориальному отделу социальной защиты. У входа в дом висит большая мраморная памятная доска, на которой выбито, что здесь, в девяностых годах позапрошлого века работал предводитель уездного дворянства Сергей Николаевич Худков. Рядом с доской притулись две небольших таблички – одна местного отделения коммунистов, а вторая такая же, но единокоросов. Экскурсовод рассказал мне, что еще в детстве приходил сюда к маме, которая работала в этом здании, и видел огромные сейфовые комнаты. Впрочем, к тому времени в них была только пыль и паутина по углам.

Вернемся, наконец, в Скопин второй половины девятнадцатого века. Вот что пишет Салтыков-Щедрин о Скопине в своих «Письмах о провинции». «Те же бревенчатые домики, покрытые соломой, тот же навоз, те же покочнувшиеся столбы, и вдруг ряд каких-то странных построек, не то будок, не то шалашей. Это центр города, это средоточие его торговли. Тут вы можете во всякое время найти веревку, несколько аршин ситцу, заржавевшую от времени колбасу, связку окаменелых баранок, пару лаптей и проч. ...Едва вы въехали в город, как уже видите конец его...». Во многом, как утверждают местные краеведы, Скопин явился прообразом города Глухова. С одной стороны оно, конечно, лестно, а с другой...

И все же постепенно Скопин все более и более становился городом. Скопинцы, хоть и держали еще в домах скотину, но уже в гораздо меньших количествах. Помните две десятых коровы и четыре десятых свиньи на каждого жителя города? Так вот, к 1868 году их стало гораздо меньше – всего по три сотых коровы и две сотых свиньи соответственно. На весь город приходилось четыреста коров и двести пятьдесят свиней. Это, считай, почти что ничего – по одному коровьему уху и свиному пятачку на каждого. На самом деле в этой шутке лишь доля шутки. Печальной, кстати сказать. Оборотистые скопинские купцы арендовали в соседней Тамбовской губернии обширные луга, на которых разводили и растили принадлежащий им скот. Как только этот скот достигал молочной и мясной спелости – так его немедля гнали в Скопин, где он отдыхал, отъедался после дороги и шел уже дальше, в Москву. Кто своими ногами, а кто уже в виде разделанных туш. В самом городе мясо стоило дорого. Там все было по большому, как мы сказали бы теперь, московским ценам – аукнулись скопинцам шальные рыковские деньги. Были-то они, конечно, далеко не у всех, но аукнулись всем.

Зато количество живописцев возросло с двух до семи. Одних портных в городе стало почти семь десятков, и даже появились модистки. Скопинские ремесленники и всегда-то были мастера на все руки, а тут еще и освоили огранку алмазов для резки стекла. Купцы, которых в городе было уже семьсот, почти все записывались во вторую и в третью гильдии и налоги платили соответственно, а сами проводили торговые операции на миллионы, как первогильдейские. Честно говоря, про остальные ремесла и местную промышленность рассказывать не очень интересно – ну кожевенные заводи, ну салотопенные, ну мыловаренные, ну маслобойни, ну крупорушки, ну подковы с ухватами, ну кружева на коклюшках... У купца Брежнева на его кожевенном заводе была механическая толчея. Зачем, спрашивается, я вам буду рассказывать про механическую толчею, когда вы и ручной, поди, ни разу в жизни не видели. Да и я, признаться, тоже. Фамилия Брежнев определенно мне и вам тоже знакома, но механическая толчея...¹³ Кстати, у купца Барабанова тоже была... Да вы не спите, не спите! Читайте дальше.

В последней четверти девятнадцатого века в окрестностях Скопина началась интенсивная разработка месторождений бурого угля. Уголь нашли здесь гораздо раньше, но теперь, когда уезд пересекла Сызрано-Вяземская и Рязано-Уральская железные дороги, вывозить его стало гораздо удобнее. Быстро подтянулись в эти места бельгийские и французские промышленники, и к концу века в уезде уже работало около двадцати шахт, принадлежавших франко-бельгийскому акционерному обществу Макса Ганкара. Не хотелось вспоминать, но из песни слов не выкинешь, с угольными шахтами была связана и очередная афера Рыкова. Он организовал «Общество каменноугольной промышленности московского бассейна», даже закупил какое-то оборудование, развернул широкую рекламную компанию, его агенты на бирже продавали и покупали сами у себя акции этого треста, который вот-вот лопнет, добился от министра финансов разрешения на прием акций своего общества по цене семьдесят пять рублей за сто... Короче говоря, стоило это вкладчикам банка в потерянный безвозвратно миллион рублей.

На шахтах, принадлежащих Ганкару, такого не было. Там кипела работа, и туда потянулись на заработки окрестные крестьяне. Спускались они в шахты еще крестьянами, а поднимались наверх уже пролетариями. Платили им за их труд, мягко говоря, мало (за двенадцатичасовой рабочий день забойщик получал от восьмидесяти копеек до рубля), и потому первые забастовки шахтеров не заставили себя ждать.

Начиная с этого места можно было бы уже понемногу переходить к событиям, которые привели к тому, в чем мы на долгие десятилетия оказались, но мы все же немного задержимся и обернемся назад, чтобы не было впечатления, что вторая половина позапрошлого века прошла в Скопине исключительно под вывеской городского банка и его нечистого на руку председателя.

В то самое время, когда возводилась и с таким грохотом рухнула рыковская пирамида, скопинским мировым судьей был Петр Михайлович Боклевский – замечательный художник и книжный иллюстратор, прославившийся иллюстрациями к гоголевским «Мертвым душам». Это его глазами смотрели мы на Манилова, Ноздрева и Чичикова (прототипы этих портретов жили, между прочим в Скопине и уезде) в школьном учебнике литературы. Это его портрет Манило-

ва, не прочитав, понятное дело, дома нужную главу из поэмы, я пересказывал своими словами учительнице. И ведь не я один... Петр Михайлович был похоронен по его желанию в Скопине, в роще, на территории Свято-Троицкого монастыря. На его могиле был установлен памятник в виде скорбящего ангела. В двадцатые годы его разрушили революционно настроенные сукины дети. Восстановить так и не собрались.

И последнее о позапрошлом веке. В конце его произошло событие малозаметное с точки зрения мировой революции, но для скопинцев исключительно важное. Вернее для тех, кто занимался гончарным делом. Скопинская керамика стала художественной. Местные мастера освоили производство глазурованных изделий. Подсмотрел скопинский мастер Оводов в Липецке состав глазури и привез домой. Вредный был состав – свинцовый порошок, окислы меди, марганца, железа. Как начнут обжигать такую посуду – так и травятся. О вентиляции тогда мало кто думал. Обжигали посуду чуть ли не в той же печи, в которой щи варили. Болели глазами, легкими, кашляли, но глазурь не бросили. Не могли уже от нее оторваться. И стала скопинская посуда на российских ярмарках и выставках на равных с липецкой и украинской. Но это только поначалу на равных, а потом... потом и посудой быть перестала. Стала искусством. Стали ее покупать коллекционеры, стала она попадать в музеи Москвы и Петербурга. Даже на выставке в Париже была в девятисотом году.

У скопинского мастера Михаила Андреевича Жолобова дом был крыт глазурованной черепицей. И все черепички разные – на одной рыбка, на другой белка, на третьей воробей, на четвертой заяц, на пятой дракон, на шестой кентавр, которого в народе называли Полканом, на седьмой... Говорят, он умел выдумывать зверей из головы. Большая, должно быть, была у мастера голова.

Тут бы надо уж точно перейти к двадцатому веку, но мы еще буквально на минутку задержимся, чтобы рассказать о мастере Одове, который глиняное тесто пропустил сквозь сито и из полученной таким образом тончайшей глиняной вермишели сделал гриву льва. Покрыв льва глазурью... Да что там лев. Оводов пригласил на свадьбу своей дочери друзей гончаров, напоил их чаем из самовара и разбил самовар на счастье. Только тогда гости и увидели, что самовар был глиняный.

И еще. Буквально за пять лет до двадцатого века в Скопине открылся музей русского оружия. Открылся он на средства купца первой гильдии Черкасова. Там была собрана большая коллекция оружия, начиная с каменных топоров и кремниевых наконечников стрел. Медали, знамена, мушкетеры, кольчуги, алебарды... В нынешнем краеведческом музее от того музея осталась всего одна витрина, да и та выглядит бедно – два ружья и две самых простых сабли, одна из которых полумана. Главным экспонатом музея оружия были серебряные Георгиевские трубы сто сорокового Зарайского пехотного полка, несколько лет стоявшего в Скопине¹⁴. Трубы эти полк получил за участие в русско-японской войне. Когда в феврале семнадцатого года скопинский музей оружия разграбили, труб этих и след пропал.

Начало двадцатого века Скопин встретил настоящим городом. Промышленных предприятий, среди которых имелась даже табачная фабрика, в нем работало несколько десятков. Больше в губернии было только в Рязани. Точно так же дело обстояло с церквями. По их количеству Скопин был вторым в губернии. Потому и называли его рязанским Суздалем¹⁵. Не следует, однако, думать, что скопинцы только работали, молились и снова работали. Они еще и читали. Работала библиотека и две читальни. В городе действовало одиннадцать учебных заведений, самым крупным из которых было реальное училище, открытое еще в 1876 году благодаря хлопотам Петра Михайловича Боклевского (правда, и здесь не обошлось без участия Рыкова). Еще больница, еще три аптеки, еще духовой оркестр Зарайского пехотного полка, играющий в Летнем саду по выходным дням «Амурские волны» и «Осенний сон», еще танцевальные вечера, еще благотворительные спектакли в пользу недостаточных студентов С.-Петербургского Политехнического института, окончивших Скопинское реальное училище, еще электротئاتр «Луч», в котором показывали фильмы и кинохронику¹⁶, еще обычный театр¹⁷, еще крестьяне-отходники, возвращающиеся из Москвы с большевистскими листовками, еще бастующие в девятьсот пятом году шахтеры, еще рота солдат, стреляющая в них, еще отчаянная телеграмма уездного и губернского предводителей дворянства министру внутренних дел с просьбой о присылке войск.

В девятьсот пятом году хватило роты солдат, а через двенадцать лет, в феврале семнадцатого... солдаты запасного полка, расквартированного в Скопине, сами выступили против власти – упряднили местную администрацию и разоружили всех жандармов. Уже в марте семнадцатого в городе появились первые Советы рабочих депутатов и избрали своим председателем забойщика одной из местных шахт. В запасном пехотном полку появились Советы солдатских депутатов, в сентябре требования этих советов поддержали солдаты рязанского гарнизона, в декабре состоялся уездный съезд советов и выбран Совет Советов, а через два года, в девятнадцатом, крестьяне уезда послали ходоков в Москву, упрашивать власть не мобилизовать последних лошадей и особенно коров в Красную армию. В уезде свирепствовал тиф, испанка, и единственной пищей, которая помогала выходить больных, было молоко. В том же году через Скопин на агитпоезде «Октябрьская революция» проезжал Калинин и произнес зажигательную речь на городском вокзале, но молока от него было, как от...

Посреди этого тифа, мобилизованных в Красную Армию коров и лошадей, продразверстки и голода в Скопине в восемнадцатом году открывается театр «Труд». Открылся он в здании, где сейчас кафе «Метрополь». Одно время на нем даже была мемориальная доска, но куда-то потерялась¹⁸. Работали в этом театре три молодых человека, которых сейчас уже, наверное, никто и не вспомнит. Одним из них был будущий композитор Анатолий Новиков. Тот самый, который потом написал песни «Смуглянка», «Эх, дороги», «Марш коммунистических бригад» и «Гимн демократической молодежи», из которого в моей памяти осталась только мелодия и строчка из стихотворения Бродского «Что попишешь? Молодежь. Не задушишь, не убьешь». Еще я помню «Марш коммунистических бригад», который в моем детстве всегда в первом отделении любого праздничного концерта исполнял какой-нибудь краснознаменный или народный хор, и это было как ложка рыбьего жира перед обедом в детском саду.

Вторым в этой компании был будущий кинорежиссер Иван Лукинский. Тот самый, который потом снял фильмы про Чука и Гека, про Ивана Бровкина и про детектива Анискина. В моем детстве мы даже бросали все самые срочные дела во дворе и прибегали домой, чтобы посмотреть эти фильмы. Сколько фильмов осталось в нашем детстве. Даже удивительно, как они все в нем помешались.

Третьим был будущий драматург Александр Николаевич Афиногенов, тот самый, который... Нет, теперь его пьес не ставят и помнят его только театроведы. Он и погиб рано – в тридцать семь лет, в сорок первом, от случайного осколка во время бомбежки. Мог бы погибнуть в тридцать шестом, когда его исключили из партии и запретили к показу все его пьесы, но уцелел и жил в Переделкине. Сначала-то он был один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей и главным редактором журнала «Театр и драматургия», а потом вдруг написал пьесу «Ложь», которая не понравилась Сталину. С Александром Николаевичем в Переделкине никто не общался, кроме Бориса Пастернака, которому нравилась афиногеновская пьеса «Машенька», и которую после смерти Афиногенова сыграли несколько тысяч раз в советских театрах и даже сняли фильм, который забыт точно так же, как и пьеса, а если кто и вспомнит, то наверняка перепутает с «Машенькой» Набокова, который и вовсе не пьеса, а роман. Осталась только дружба Афиногенова с Пастернаком. Не так мало, если разобраться.

Вернемся, однако, в Скопин. Через год после открытия театра «Труд» в городе заработало сразу два музея – краеведческий и санитарный. Первый просуществовал до пятидесяти шестого года, пока при Хрущеве музеи не стали укрупнять, а второй до сорок первого, когда его закрыли из-за недостатка средств.

Все, что в Скопине было не театр, не музеи, не горный техникум, открытый в тридцать втором, не учительский институт, открытый в тридцать девятом, и не гончарное дело, которое превратилось за первые два десятилетия новой власти в изготовление обычной глиняной посуды, называлось добыча угля. В тридцать шестом году скопинские шахтеры добыли почти полмиллиона тонн топлива. Расцвело огородничество. По обе стороны Вёрды рос сладкий скопинский лук. В год, бывало, собирали до двух с половиной тысяч тонн этого лука, который отправляли

в Москву, в Ленинград и даже за границу. И это все при том, что в Скопине никогда не было ни одного корейца.

В тридцатые скопинские гончары объединились в артель «Красный кустарь», хотя и продолжали работать каждый сам по себе. Перед войной, в тридцать девятом, стали строить современную гончарную мастерскую, чтобы делать не только посуду, но и художественную керамику. Надо было торопиться со стройкой, пока живы были старые мастера. Посуда получалась очень прочная. Испытывали ее просто – бросали об пол с двухметровой высоты. Районная газета писала, что по прочности скопинская посуда не уступала чугуну.

В ноябре сорок первого Скопин стал прифронтовым городом. Немцы смогли взять его всего на два дня. Отбили город морпехи. Фактически Скопин был одним из первых городов, которые освободили еще до наступления под Москвой. Потом были еще четыре года войны, танковая колонна на средства шахтеров, двенадцатичасовой, а то и четырнадцатичасовой рабочий день, двадцать семь скопинцев героев Советского Союза, шесть полных кавалеров орденов Славы и больше половины не вернувшихся с фронта.

После войны снова добывали уголь. Добывали, добывали, добывали до тех пор, пока он не стал кончатся. Геологи поскребли по сусекам и нашли еще. Пока добывали, построили стекольный завод. Варили на нем силикатное стекло для получения стеклоблоков. Тех самых стеклоблоков, которыми так любили пользоваться советские архитекторы и которые так любили разбивать хулиганы. Их использовали и при строительстве стадиона в Лужниках, и при строительстве санаториев в Сочи. Где их только, к сожалению, не использовали. И все же главными в городе были шахтеры. Они зарабатывали больше всех. К примеру, в пятьдесят шестом году в Скопине продали сто одиннадцать тонн колбасы и сосисок. Это получается, если пересчитать на все население... почти по семь килограмм на брата. Не Бог весть что, конечно, но если исключить младенцев, то килограмм по десять все же будет. Почти по семьсот грамм в месяц. Такая цифра и сейчас неплохо смотрится. Ведь еще столько же и даже чуть больше приходилось на каждого рыбы, сливочного масла и кондитерских изделий.

В пятидесятые снова вернулись к гончарам. Пока думали и гадали, как возродить это искусство, а не просто изготовление глиняной посуды, мастеров, из тех, что могли передать свой опыт, осталось всего двое, один из которых работал на шахте. Глину месили ногами, обжигали в дровяной печи, и глазурь делали все также из свинца. В пятидесятых построили новый керамический цех. Проще говоря, барак, в котором установили новые большие печи для обжига и наконец-то стали вращать гончарные круги с помощью электромоторов. Появились литейщики, глазуровщики, шлифовщики, ученики, главный инженер, директор и план, который нужно было выполнить и перевыполнить. Стали изделия скопинских мастеров появляться не только в посудных магазинах, но и на всемирной выставке в Брюсселе.

Шахтеры тем временем без устали добывали уголь, наращивая ее добычу – точно хотели поскорее добыть все до конца. Стекольщики освоили выпуск цветных стеклоблоков. Их выпускали миллионами. Не было у нас на заводах и в конторах курилки или сортира, которые не были бы отгорожены этими стеклоблоками. В семидесятых стекольщики освоили выпуск хрустала. Простого советского хрустала, без которого ни один сервант, ни одна горка были у нас немислимы. Все эти вазочки, вазы, конфетницы и фужеры. Все то, чего теперь принято стесняться людям интеллигентным. У нас дома стояла скопинская ваза на пианино. Украшала его. В ней ничего нельзя было хранить. Только время от времени осторожно протирать пыль. По праздникам или к приходу гостей в нее осторожно клали фрукты и осторожно их оттуда брали. Мама всем говорила, что это чешский хрусталь, богемское стекло¹⁹. И все смотрели на вазу и на маму уважительно.

Шахтеры тем временем рубили, рубили уголь и, наконец, в шестидесятые дорубились до того, что он кончился. Часть шахтеров, не желавших терять высокие заработки, уехала в Донбасс, а оставшиеся стали переучиваться и работать на других предприятиях. Машиностроительный завод делал запчасти к автомобильным амортизаторам, потом сами амортизаторы, подвески, дверные упоры и какие-то еще пружинки, которые мы не будем здесь даже и вспоминать. Теперь это отдельное предприятие, которое называется автоагрегатным заводом. Оно самое большое в горо-

де. Как и все большое – рыхлое и не очень здоровое. Еще бы ему таким не быть, если делает оно запчасти к тольяттинским автомобилям. Есть еще завод горно-шахтного оборудования, который упорно продолжает выпускать ленточные и скребковые конвейеры для транспортировки угля при добыче... Не знаю, кто их покупает теперь, в двадцать первом веке, эти конвейеры.

Нет, я не буду тебе, читатель, рассказывать, как все в одночасье рухнуло и теперь медленно поднимается с колен. Об этом ты и без меня знаешь. Небось колени-то не казенные, свои. Лучше я расскажу тебе про керамику. Она по-прежнему хороша и радует глаз. В Скопине даже проходил международный фестиваль гончарного искусства. Там надеются, что не последний. Там дети приходят в музей, чтобы сесть за длинный стол, взять в руки комок глины и начать из него лепить... да что хочешь, то и лепить. Хочешь рыбку, хочешь птичку, хочешь дракона, хочешь Полкана, хочешь мышку, а хочешь лягушку. Кстати, о лягушках. В местном музее гончарного дела я купил такую веселую и такую красивую лягушку... даже пожалел о том, что я не Иван-царевич.

¹ А я-то уж предвкушал, как буду иронически сравнивать его с московским рестораном при гостинице «Метрополь», в котором, между нами говоря, ни разу и не был.

² Удивительное меню было в этой пиццерии. Пицца с копченым салом, пицца «Кальционе-Аль-Верде» со шпротами и крабовыми палочками, пицца «Аля рус» с картошкой, мясом и зеленью. Удивительно, что не с винегретом или оливье. Сама пицца – обычный открытый пирог с картошкой, курицей, сыром и укропом. Очень сытная, надо сказать. Если заплатить еще десять рублей, то тебе дадут коробочку, чтобы ты мог унести остатки домой и покормить ими жену или кошку.

³ Славяне пили много. Не потому, что любили выпить, совсем наоборот, а потому, что носили длинные усы, по которым все время текло, а в рот не попадало. Приходилось пить раза в три или даже в четыре больше, против обычной нормы, чтобы хоть немного опьянеть. Им бы усы сбрить, да и напиться в стельку, но в те времена усов и бороды не брили. Мучились ужасно.

⁴ Сначала эта речка называлась Вослебедью, потом Вослебой, потом Вослебкой, а теперь и вовсе ее называют Жабкой.

⁵ Между прочим, это все несколько не выдуманная история – стрельцы и посадские люди о результатах «винных выемок» доложили воеводе пятнадцатого мая 1688 года, и весь их доклад был аккуратно записан. Каким-нибудь четвертым подьячим. Может быть даже тем, который на первых трех и...

⁶ Увы, дубовые леса с тех пор так и не выросли. И сосновые тоже. Зато в скопинском краеведческом музее есть прижизненная гипсовая маска Петра Великого, снятая Бартоломео Растрелли. Образца 1723 года. Страшная, как говорят, редкость. Уж и не знаю, как она попала в музей*. Может, Петр Алексеевич подарил ее скопинцам взамен лесов, чтобы сильно они не расстраивались, а может, и наоборот, в том же смысле, в котором Гоголь писал в известной своей поэме: «капитан исправник, хоть и сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз...». А тут не картуз, а целая прижизненная маска. Тут и буян испугается, а уж законопослушные обыватели и вовсе... Раньше эта маска находилась в скопинской городской управе. Теперь-то все больше фотографии в кабинетах у начальства принято вешать. Толку от этих фотографий, хоть бы и цветных...

** Узнал я потом эту историю. Скучная до ужаса. Оказалось, что это и не оригинал вовсе, а копия и подарена музею каким-то писателем в двадцатом веке. Подумал я, подумал и решил сочинить свою.*

⁷ Именно так она и называлась. Честнее названия и не придумаешь.

⁸ О сыне Дубовицкого долго рассказывать нечего – за три года до войны с французами он вышел в отставку «за ранами полковником, с мундиром и пенсионом полного жалованья», но как только Наполеон со своим войском перешел русскую границу, вступил в Рязанское дворянское ополчение и командовал егерским полком, с которым дошел до Парижа, вернулся, был чиновником для особых поручений при рязанском генерал-губернаторе, окончательно вышел в отставку и от скуки перевел французский роман «Маска, или приключения графа Д...».

Другое дело родной племянник Сергея Николаевича – Александр Петрович, линия жизни которого была куда как извилистее. В 1809 году он был отправлен в отставку в чине подполковника,

вернулся в родовое имение в Скопинском уезде и вместо того, чтобы прожить немалое состояние, травить зайцев борзыми, заставляя дворовых девок перед сном чесать себе пятки и таскать за бороду бурмистра, создал религиозную секту «Истинные внутренние поклонники Христа». Эти самые внутренние поклонники терпеть не могли, когда их путали с внешними, и сами себя называли себя духовными скопцами*. Завлек Александр Петрович в свою секту какого-то штабс-капитан, потом солдата, потом крестьян из разных сел скопинского уезда, потом... на него, понятное дело, донесли. Сначала рязанскому архиепископу, а потом и самому императору. Александр Петрович помчался в Петербург оправдываться, но там его уже ждали и по приказу графа Аракчеева арестовали. После долгих разбирательств отправили в «Кирило-Белозерский монастырь на покаяние и на испытание на срок, который духовное начальство признает за благо». Высокое духовное начальство признало за благо много лет переводить его из монастыря в монастырь под надзор духовного начальства по мельче. Видимо с покаянием у Александра Петровича все обстояло не так хорошо, как хотелось начальству. В конце концов, уже состарившийся, но не оставивший своих убеждений Дубовицкий был отдан на поруки сыну, и тихо, незаметно жил у него в Петербурге, почти до самой смерти.

Секта, которую основал Александр Петрович, после его ареста не только не распалась, но стала еще многочисленнее. Духовные скопцы, несмотря на преследования властей, сохранились в уезде и в Скопине и через двадцать лет после смерти основателя секты. Мельников-Печерский в своем романе «На горах» вывел отца и сына Дубовицких под фамилией Луповицкие. Ну, а кроме романа, остались нам портреты Петра Николаевича и Александра Петровича Дубовицких кисти Боровиковского, который вместе с ними состоял в секте «Братья во Христе» еще в Петербурге, задолго до всех событий в Скопинском уезде. Александр Петрович на портрете молод, хорош собой, волосы завиты, белый жилет, кружевное жабо, шейный платок завязан на затейливый бантик, и только глаза выдают... Впрочем, это только кажется. Ничего и никого они не выдают и не выдали. Ни тогда, ни после.

** Не будем здесь обсуждать источники и составные части духовного скопчества. Те, кто обсуждают, доходят до того, что скопчество связывают с названием города Скопин... а мы не будем, и все.*

⁹ Хотя и неловко говорить, но местные дворяне в войну двенадцатого года пожертвовали на ополчение всего шестьсот рублей и... предпочли, в массе своей, уклониться от участия в боевых действиях. Кто-то уехал в другие губернии, а кто-то и просто исчез на время войны. Пусть эти сведения будут в примечаниях. Авось их не все прочтут.

¹⁰ Вообще жители небольших уездных городков любили, когда мимо них проезжал Александр Благословенный. Человек он был тихий, деликатный – откушает чаю или кофею со сливками в доме самого именитого купца, поговорит с его женой, подарит ей бриллиантовый перстень, отстоит обедню и дальше покатит. Еще и ручкой из коляски помашет*. Жители тотчас же после того, как разогнут-ся после прощальных поклонов Государю и пыль от его коляски осядет, убранный к его приезду мусор вытащат, снова по улицам разбросают, подпертые заборы повалят, в осушенные перед приездом лужи воды нальют, грязи набросают, свиней туда запустят, чтобы валялись, и живут себе как жили. Это вам не приезд Петра Алексеевича, после которого можно было и бороды лишиться, и кулаком в рыло, и батогами, и в Сибирь, и на войну со шведами простым матросом или даже каким-нибудь грот-брам-стен-стакселем пойти.

* Чтобы сказать народу, мол, денег нет, а вы тут держитесь – это у него и в заводе не было. Хоть рубль на водку, но давал всегда. Бывало, что и золотой.

¹¹ Историю о купеческих нарядах я вычитал в одной краеведческой книжке о Скопине. Как она туда попала, не знаю. Может, сохранились письма скопинских обывателей, в которых был описан весь этот скандал с переодеванием в московскую одежду, или в альбоме какой-нибудь чувствительной купеческой девицы... еще и с рисунками... Конечно, было бы куда полезнее занести в этот альбом статистические данные о развитии в городе торговли и промышленности, вместо того чтобы описывать всякую ерунду и, тем более, ее иллюстрировать, но...

¹² Нашел я в сети фотографию Ивана Гавриловича. Увы, отвратительного, качества. Видимо, уже последних, сибирских времен. Шапка «пирожок» на голове, папироска в зубах,

уху правое торчит, но глаза, но усы, но глаза... выдают в нем такого... Воля ваша, но достаточно одного взгляда на это лицо, чтобы на всякий случай перепрятать деньги поглубже, в самый потайной карман и немедленно его зашить.

¹³ В сети, конечно, все можно найти. Нашел я и про механическую толчею. Оказывается, ею толкли предварительно высушенную дубовую кору, которой потом перекаладывали слои кожи при дублении в чанах. Я же предупреждал – ничего интересного.

¹⁴ Скопинский пехотный полк был сформирован в Скопине, но квартировал на Украине. Красивых подвигов за ним не числилось. В историю он вошел только тем, что первым попал под немецкую газовую атаку.

¹⁵ Увы, и следа не осталось от того Суздаля. Своими руками его уничтожили.

¹⁶ В электро-театре «Луч» в августе пятнадцатого года показывали «Лучший боевик русской серии "Чайка"». Сильная бытовая драма в четырех частях с участием лучших артистов И.И. Мозжухина и Л.Д. Рындиной. Первая часть – «Две чайки». Вторая часть – «Сердце счастья просит». Третья часть – «Игрушка брошена». Четвертая часть – «Нет жизни без счастья». «Беззаботно и привольно, как чайке прелестной, живет красавице Вере в родном гнездышке. Ее любит молодой рыбак на радость и счастье старика отца. Солнце ласкает ее. Любовь и природа дают ей счастье. Однажды встречает Вера молодого охотника Бельского... Он скучает в имении своей тетки Рюлиной, куда он приехал поправить свое здоровье и материальные дела... От безделья он развлекается охотой... Встретив хорошенькую рыbachку, столичный сердцеед постарался не терять времени... и эта встреча оказалась роковой для Веры... Судьбе было угодно еще раз столкнуть их. Однажды проводив своих рыбаков на ночную ловлю, она нашла Бельского в лесу, с вывихнутой ногой. Она помогла ему встать, довела до своей избы... Ее юное сердце забилося сильнее, и она полюбила его всем своим существом... Еще несколько встреч и ласк скучающего повесы, и заботы, жених, честь и дом... Все, все отдала она ему, слепая в своем чувстве, она не замечает, что он шутя и играя развлекается ею... Но вот приехала Лида – кузина Бельского... И Вера забыта... Новый флирт отвлек его навсегда от бедной рыbachки. И она, совладев со своим чувством, пробирается в барский сад, где украдкой следит за Бельским и Лидой... Убедившись в его коварстве и боясь быть замеченной счастливыми влюбленными она прячется в старую беседку... К этой же беседке направились и Бельский с Лидой, для стрельбы в цель... И первый выстрел Бельского покончил навсегда жизнь бедной чайки». О, эти провинциальные до-революционные кинотеатры, которые так любили показывать в своих фильмах советские режиссеры! Непременный тапер, играющий на расстроенном вконец, дребезжащем пианино, заплеванной подсолнечной шелухой пол, чувствительные дамы, прижимающие багрящие платочки к глазам в самые трагические моменты фильма, невоспитанные мальчишки из престопадаря, свистящие и на чем свет стоит ругающие киномеханика, оглушительный в темноте шорох чьих-то юбок в заднем ряду и шепот «Подпоручик, прекратите немедленно! Вы что себе...»

¹⁷ Театральная жизнь в городе бурлила. Скопинский литературно-драматический кружок в зале скопинского благородного собрания ставил то драматический этюд «Вечность в мгновении», то водевиль «Простушка и воспитанная», то пьесу «Склеп» из репертуара московского театра Корфа. И непременно после спектаклей танцы, играет оркестр Зарайского пехотного полка, бой конфетти и фейерверк. В июле двенадцатого года на благотворительном детском празднике представили сцены из «Русалки» и «Бориса Годунова», басни в лицах «Стрекоза и муравей», «Две сабаки», «Любопытный», «Кот и повар». После басен представляли живые картины – «Цыганский табор» и «Апофеоз». Живые картины сопровождал оркестр балалаечников. Вы только представьте себе на мгновение – скопинский апофеоз в сопровождении оркестра балалаечников... К примеру, апофеоз Наполеона, в котором роль императора исполняет скопинский исправник или квартальный надзиратель с толстыми, как сосиски, закрученными вверх усами. Или апофеоз квартального надзирателя при получении им должности частного пристава... Все исчезло, все. Остались только хрупкие пожелтевшие театральные афиши в краеведческом музее, с которых я списывал названия пьес, цены на билеты и все эти подробности про то, что будет запущен воздушный шар, устроен фейерверк и то, что учащимся будут продавать билеты только в том случае, если они придут в форме.

¹⁸ Потерялась она, когда новые хозяева здания облицевали его пластиковым сайдингом. Вообще надо сказать, что исторический центр города выглядит, мягко говоря, не очень. Где старинные кирпичные здания обшили сайдингом, где просто давно не штукатурили и все стоит облупленное, где между купеческими особняками втиснуты особняки новых хозяев жизни... И глупо спрашивать, почему так. Понятно почему – денег нет, денег нет, денег нет. Или они были, но срочно надо было истратить их на что-то другое. Куда более важное, чем отвалившаяся штукатурка со здания реального училища. А сохранились бы все церкви, которые успели разрушить в советские времена? Представляете, какой огромной суммы не хватало бы сейчас на их реставрацию? Какие бы сейчас начались крики о том, что гибнет рязанский Суздаль? Так что... Зато тихо. Провинция. Не то чтобы глухая, но туговатая на ухо.

¹⁹ Я бы и теперь думал, что наша ваза была из богемского стекла, кабы не увидел точно такую же на фотографии в одной краеведческой книжке про Скопин.

Пронск

Если ехать в поселок Пронск не с севера из Рязани, а с юга из Скопина, то как раз перед переездом через реку Проню будет указатель на сельское поселение Октябрьское. Оно уже сто лет как Октябрьское, а до этого еще не одну сотню лет называлось Дурным. Назвали его так то ли по фамилии начальника сторожевой вышки Дурнова, который еще во времена Ивана Грозного служил в этих местах и громче всех кричал «Татары! Крымские!», то ли потому, что через эти места проезжал какой-то большой барин и, когда его тарантас утонул в тине на берегу реки Керди, воскликнул: «О, какое дурное место!» Ну, версия про дурное место, как мне кажется, не выдерживает никакой критики. Какой же русский барин будет так витиевато восклицать, когда у него тарантас... Впрочем, я не о том. После октябрьского переворота жители села поняли, что настал момент, когда название села можно легко поменять, и поменяли. С тех самых пор жителей села... Нет, не зовут октябрятами. Как звали дурнашами – так и продолжают звать. В краеведческом музее Пронска мне сказали, что дурнаши... Ну, что с них взять, когда даже язык у дурнашей отличается от нормального. К примеру, мы говорим жмурки, а дурнаши – кулочки, мы – классики, а дурнаши – сигушки, мы – прятки, а дурнаши – хоронилочки. И это только детские слова, а если говорить о взрослых...

Все это, однако, было предисловие, которое к предмету моего рассказа не имеет отношения, а просто лежит рядом, в десятке километров от Пронска. В Октябрьское я не поехал, а повернул направо и поехал в пронский краеведческий музей, который стоит в самом центре Пронска. Сам Пронск стоит на реке Проне, в которую впадают реки Мокрая Молва, Сухая Молва и Галина. В Сухую Молву впадает река Марина, чтобы Галине не было так одиноко среди двух молв. Или молвей. Есть еще у Прони приток под названием Ранова, а у Рановы, в свою очередь, два притока – Полотебна и Сухая Полотебна. Сухую Молву я себе еще могу представить. Это молва без подробностей. Просто молва. Попробуйте представить себе Сухую Полотебну... Да хотя бы просто Полотебну. То-то и оно... И это все вокруг крошечного Пронска, в котором населения около пяти тысяч человек. Это по переписи, а на самом деле в три раза меньше. Если не больше. Правду говоря, Пронск и всегда был маленьким – все без малого девятьсот лет своей долгой и бурной истории, которая напоминает давно потухший вулкан в океане – на поверхности остался только крошечный островок, а все остальное скрыто под темной водой прошлого.

Люди селились в этих местах с незапамятных времен. Пронск, если говорить о названии, является двоюродным братом Брянска. И первое и второе название родственники слову «дебри», которые, как известно, густой лес. С другой стороны, гидроним Проня в переводе с языка вятичей, как говорят нам одни ученые, означает болотистое место. Другие ученые говорят, что Проня, а за ней и Пронск – производные от мордовского «пря», что значит голова. Оставим ученых – им интересно спорить, а не выяснить, как оно было на самом деле. Заберемся на крутой берег Прони, на Покровский бугор, на высоту сто метров, на то место, где был заложен Пронск или Пронеск, или Прынск, или Пронь, как называли его в русских летописях. Впервые он был в них упомянут

под 1137 годом, а до этого жил в безвестности – сначала как поселение вятичей, а до них волжских финнов, а до финнов – предков муромы и мешеры, а до них, еще в железном веке, каких-то безвестных людей в звериных шкурах, собиравших по окрестным лесам грибы, ягоды, ловившим в Проне рыбу и умевшим быстро убежать от медведей.

Строго говоря, известный нам Пронск строился на Покровском бугре тогда, когда внутри этого бугра уже лежали и ждали будущих археологов несколько городищ. Если говорить еще строже, то Никоновская летопись пишет в 1131 году «Того же лета князи резанстии и пронстии и муромстии половець побиша». Тут о собственно Пронске ни слова, а только о его князьях, которые, скорее всего, зародились на этой земле еще раньше своей столицы. Ученые спорят... и пусть их. Через тридцать лет Пронск вновь упоминается в летописи и вновь по такому же поводу, но уже в 1186 году летопись сообщает, что рязанские князья Роман, Игорь и Владимир попытались подчинить себе пронских князей Святослава и Глеба, которые в ответ на происки своих старших братьев «почаша град твердити и ко обороне приготавливаться». Те, кому Пронск безразличен и для кого он является просто точкой на карте, и начинают историю города с этого года, а сами прончане ее начинают, понятное дело, с 1136 года.

Жизнь пронского княжества и его столицы до того, как в эти места в тринадцатом веке пришли полчища татарских завоевателей, делилась на несколько частей. Во-первых, непрерывная междоусобная и братоубийственная война с рязанскими князьями, во-вторых, война с половцами и печенегами, в-третьих, непрерывное лавирование между рязанскими и владими́ро-суздальскими князьями, которых хлебом не корми, а дай повоевать между собой с помощью прончан, и только в-четвертых – собственно жизнь.

Она была простой, поскольку на сложную времени не было, и все же, кроме того что пахали землю, растили хлеб, пасли скот, солили рыбу, выплавляли железо¹, плели лапти и ткали холсты, прончане успевали делать красивые разноцветные стеклянные бусы, занимались ювелирным делом и торговали, торговали, торговали. На территории Пронска археологи находили арабские дирхемы, кипарисовые крестики, кусочки янтаря, обрывки византийских тканей, обломки причерноморских амфор, кувшины из Хорезма... Короче говоря, представлять себе Пронск в виде нескольких деревянных избушек, топившихся по-черному, в которых жили дикие, бородастые, пропахшие дымом и кислой овчиной сиволапые мужики, хлебавшие лаптем щи, не стоит. Между прочим, некоторые историки полагают, что в Пронске вплоть до начала двенадцатого века действовало вече – общее собрание свободных горожан. Представляете себе ряд – Великий Новгород, Псков и Пронск? Практически Гомер, Мильтон и Паниковский

Кстати, во второй половине позапрошлого века на одном из склонов Покровского бугра нашли клад из почти двух десятков серебряных киевских гривен и нескольких золотых пластин. Понятное дело, что не такой большой, какие находили в Москве или в Рязани, но девять килограмм серебра и почти сто грамм золота кто-то из пронских купцов все же скопил и закопал на черный день.

Увы, черные дни у Пронска и его князей были регулярными. В уже упоминавшемся 1186 году рязанские князья задумали хитростью известить своих младших братьев и позвали их на съезд, чтобы зарезать, или отравить, или задушить, или... Пока рязанцы мучились выбором, пронские князья, узнав от верных людей повестку дня этого съезда, вместо того чтобы приехать в Рязань и принять участие в собственных похоронах, начали срочно укреплять свою столицу. Пронск был, по нынешним меркам, городком крошечным – он занимал площадь в семь гектаров. Старая Рязань, к примеру, в то же самое время была почти в восемь раз больше. Несмотря на то что место, которое занимал Пронск на Покровском бугре, было неприступным, было у города уязвимое место – на вершине бугра не было источников воды. Оборонять Пронск можно было успешно, но недолго. Пронские князья об этом, мягко говоря, догадывались и потому заранее пригласили к себе на подмогу триста владими́ро-суздальцев из дружины великого князя Всеволода Большое Гнездо. Рязанцы, узнав о том, что на помощь Пронску идет подмога, сняли осаду и пошли домой. Пронский князь Всеволод на радостях отправился в Коломну, где был в те поры Всеволод Большое Гнездо, сообщить о снятии осады. Пронск он оставил на попечение своего брата Святослава.

Рязанцы, узнав об этом от верных людей, быстро повернули обратно, осадили Пронск и отрезали осажденных от воды. Пришлось Святославу и его боярам сдаваться. Если бы не войско Всеволода, их бы всех и... но угроза новой войны с Владимиро-Суздальским княжеством Рязани не улыбалась ни разу. Пришлось пленников выпустить и сесть за стол переговоров, которые кончились новой войной. На стук мечей, свист стрел и запах крови с юга пришли половцы и напали на рязанское княжество. Рязанские князья от бессильной злости скрипели зубами так, что слышно было в Пронске. Пришлось им признать вассальную зависимость от Всеволода Большое Гнездо и оставить в покое пронских князей Святослава и Глеба... на двадцать один год. Больше они не вытерпели.

Новая война началась с ложного доноса Всеволоду на пронских князей. Всеволод разбираться не стал, быстро их взял в плен и отправился в поход на Рязань, а по пути решил навеститься в Пронск. Молодой пронский князь по имени Кир-Михаил, как только узнал, что на подходе дружина Всеволода, ускакал в Чернигов к своему тестю, тоже князю и тоже Всеволоду, но Черному. Жители Пронска, узнав о том, что их князя и след простыл, собрались на вече и, после того как стихли крики «пора валить», пригласили княжить Изяслава Владимировича, который был сыном одного из рязанских князей Владимира Глебовича и который приходился им всем племянником, но это ничего не значило, поскольку все воевали против всех. Собственно его и приглашать-то не надо было – он вместе со всеми был осажден в Пронске. Изяслав стал руководить обороной города, осажденного Всеволодом Большое Гнездо. Воды, понятное дело, не хватало, но отважные прончане совершали за ней вылазки. Летопись по этому поводу сообщает: «Они же бьяхутся излазящи из града не брани деля, но жажды ради водныя. Измираху бо мнози людье в граде...» Совершали они вылазки, совершали...

...слушаешь, как неторопливо рассказывает тебе экскурсовод об осаде Пронска в маленьком, со скрипучими полами, краеведческом музее, смотришь в высокое окно на тихий, безмятежный поселок, на засыпанные снегом сады и огороды, на лежащую подо льдом Проню, на чернеющие точки рыбаков, сидящих у своих лунок, представляешь себе дым пожарищ, тучи стрел, камни, летящие в лезущих на стены дружинников Всеволода Большое Гнездо, крик, вой, ругань и думаешь – нет, этого и быть здесь не могло. Вот так годами и десятилетиями воевать за горсть разбросанных по склону холма одноэтажных домиков, продуктовый магазин, автозаправку, шиномонтаж и районную больницу на несколько десятков коек...

...и через три недели сдались. Пить хотелось очень. Может, они бы и не сдались, но рязанский князь Роман, которому жители Пронска в этой войне были невольные союзники, потерпел неудачу, напав на лабды, подвозившие по Оке продовольствие Всеволоду. Как только последний накормил войско и взял Пронск – так сразу и двинул его на Рязань, оставив в городе княжить Муромского князя. Воевали еще три года, сожгли дотла Рязань и замирились. В Пронск из Чернигова вернулся Кир-Михаил, о котором горожане стали уже и забывать.

Мира хватило ровно на шесть лет. Умерли старшие Глебовичи, и снова надо было распределять уделы в великом княжестве Рязанском. Какое же распределение без интриг, скандалов, кубков с отравленным медом и кинжалов за спиной. Рязанские князья Глеб и Константин Владимировичи пригласили пронских князей и всех своих двоюродных братьев в село Исады, в семи километрах от Старой Рязани, на съезд. На этот раз готовились к съезду серьезно. Ни одна муха не вылетела из Исад и не долетела до Пронска, чтобы рассказать о приготовлениях Глеба и Константина к приему братьев. В конце июня 1207 года братья приехали в гости к братьям. Шесть князей и сопровождавшие их бояре и дворяне. Во время пира в княжеском шатре их всех и убили приглашенные для этого половцы. Уцелел только один – Ингварь Игоревич, опоздавший явиться к назначенному времени. Он-то и сумел в ходе последующих боевых действий разбить Глеба, Константина и половцев, которых они призвали на помощь.

В Пронске стал княжить Кир-Михайлович, сын Кир-Михаила, который и управлял Пронском до того момента, как под городскими стенами появились татары и монголы под водительством Батыея. Понятно, что рязанскими князьям никто не помог – ни из Владимира, ни из Чернигова. Понятно, что все думали: а нас-то за что. Понятно, что все думали, что за ними не придут. По-

нятно, что ни к рязанским, ни к Пронским, ни к Муромским князьям никто никаких симпатий не испытывал.

Сначала объединенную рязанскую дружину полчища Батыя разбили в поле, а потом, когда князя с остатками своих дружин разбежались по своим городам, татары подошли к Пронску, который был южными воротами рязанского княжества. Татарам понадобилось ровно три дня, чтобы взять город, разграбить его и сжечь дотла. Князь Кир-Михайлович вместе с ближними людьми успел убежать в Суздаль, где, выпучив круглые от страха глаза, рассказывал об осаде владимирскому князю Юрию Всеволодовичу. Тех же прончан, кто убежать не успел, татары, кроме уведенных в плен ремесленников, убили.

Через два года, в 1239 году, ордынцы пришли снова и снова сожгли и разграбили только начавшие оправляться после прошлого разграбления и пожара Пронск, Рязань и Муром. Еще через восемнадцать лет ханские баскаки переписали все население Рязанского княжества. В том числе было переписано и население Пронского княжества. Началась жизнь под Золотой Ордой. Она была сложной. Нелегко пришлось Пронским князьям – с одной стороны Орда, с другой стороны Рязанские князья, с третьей стороны появились (и, как оказалось, навсегда) московские князья, а с четырнадцатого века ко всем бедам прибавилась и четвертая сторона – литовцы. Вот и крутись тут как хочешь... С одной стороны у Орды надо ярлык на княжение получить. С другой стороны надо дань собрать и в Орду отвезти. С третьей стороны ненависть рязанских князей к пронским и наоборот никто не отменял. Татары с монголами отменяли ее не собирались, а тоже наоборот.

В 1339 году рязанский князь Иван Иванович по прозвищу Коротопол² перехватил по дороге в Орду пронского князя Александра Михайловича, который вез туда собранные подати. Вез самостоятельно, а не передал через Ивана Ивановича, которому все это настолько не понравилось, что он отнял у Пронского князя все то, что было нажито непосильным трудом пронских смердов, отвел князя в Переяславль-Рязанский и там велел убить. Не прошло и трех лет, как сын убитого пронского князя Ярослав Александрович добился в Орде ярлыка на рязанское княжение³. Подъехал он к Переяславлю-Рязанскому и осадил его. Да не один, а с ханским послом Киндяком, который тоже был не один, а с военным отрядом. Князь Коротопол затворился в городе и целый день отважно сражался, а ночью взял ноги в руки и ускакал куда глаза глядят. Новоназначенный князь вместе с Киндяком вошли в город и, как водится, устроили погром, а часть жителей ордынцы увели в неволю.

Вся эта чехарда с рязанским столом длилась долго – то рязанские князья одолеют пронских, то пронские рязанских. Несмотря на постоянную грызню с рязанцами, несмотря на ежегодную выплату дани Орде, Пронское княжество во второй половине четырнадцатого века так усилилось, что в конце четырнадцатого и начале пятнадцатого веков там стали чеканить собственную монету, и в летописях Пронское княжество даже именовалось великим⁴.

Кончилась вся эта борьба рязанских князей тем, что победили московские. За несколько лет до Куликовской битвы пронский князь Владимир Дмитриевич попал в вассальную зависимость от московского князя Дмитрия Ивановича, который тогда еще не был Донским...

...стоит только на минуту представить себе, что Москва промахнулась бы, как Акела, что пронские князья, как не раз бывало, одолели бы рязанских, а потом, уже двумя княжескими столами – пронским и рязанским – наехали бы в восемь ног на московский стол, и тогда Пронск мог бы стать... но не стал, и мы теперь не катаемся в него из Москвы работать охранниками или штукатурами, не роем в Покровском холме туннели метро, не загрязняем до смерти Проню, в которой до сих пор водится рыба, не коптим дочерна небо над садами и огородами...

...но уже успел разгромить мурзу Бегича в битве на реке Воже при самом активном участии пронского князя Даниила Дмитриевича, возглавлявшего полк левой руки. Через два года почти семь десятков пронских и рязанских бояр со своими дружинами принимают участие в Куликовской битве.

Пока летописцы и поэты описывают подвиги русского воинства в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище», неутомимые пронские и рязанские князья... опять берутся за старое. В самом начале пятнадцатого века пронский князь Иван Владимирович, получив ярлык на кня-

жение в Орде, исхитрился прогнать великого князя рязанского Федора Ольговича и сесть на обоих стульях – пронском и рязанском. Это напугало московского князя Василия Дмитриевича, и он замирил обоих князей, а слишком активного Ивана Владимировича отправил княжить к себе домой в Пронск. Тот княжил, княжил, да и умер в 1430 году. Его сыновья Федор, Иван Нелюб и Андрей Сухорук правили в Пронске еще четверть века. В 1455 году рязанский князь Иван Федорович навсегда присоединил Пронское княжество к Рязанскому, а сами пронские князья собрали личные вещи, сели на коней и отправились на службу к Московскому князю⁵.

Еще через восемьдесят лет и Рязанское княжество вместе с Пронском отошло к Москве. В договорной грамоте Юрия Дмитриевича Московского и Ивана Федоровича Рязанского было записано «Тебе, великому князю Юрию Дмитриевичу, отчины моей княженья Резанского, Переяславля и Пронска по реку Оку блюсти подо мною...А со князем еси с Пронским и с его братиею любовь взял; а что ся промеж нас учинить, ино меж нас управить тебе Великому князю».

Вот так закончились несколько сот лет нелюбви – взятием любви с князем и с его братиею... И попробуй только ее не взять, когда за тобой зорко присматривают из Москвы.

К середине шестнадцатого века оказался Пронск крайним. В том смысле крайним, что стоял на самой южной границе Московского государства. Ну, а раз на границе, то и служба ему выпала пограничная. Золотая Орда к тому времени приказала долго жить, но остались крымские татары и ногайцы, которые регулярно набежали и быстро отбегали, унося в своих загребущих руках все, что было найдено непосильным крестьянским трудом, и увозя самих наживателей на невольничий рынок в Кафе. В 1535 году из Москвы приехали в Пронск два князя – Кашин-Оболенский и Туренин, назначенные пронскими воеводами. Два потому, что один воевода всегда оставался в крепости и руководил, в случае нужды, обороной, а второй выступал с частью гарнизона в поход на помощь другим городам Засечной черты, в которую входил Пронск, или для наступления на пятки убегающим татарам и ногайцам.

Для начала надо было пронскую крепость привести в порядок. Привели в порядок так – а практически построили заново, – что в течение двух столетий ее и взять никто не смог. Одних бойниц в стенах было больше пяти сотен. Из них выглядывали пятьдесят шесть пушек и сорок две пищали. Стены толщиной в пять метров, десять башен, ров вокруг крепости шириной двенадцать метров и глубиной шесть, заполненный водой и ядовитыми южноамериканскими жабами, купленными за несусветные деньги у испанского короля, да за рвом надолбы, которые представляли собой заостренные бревна, вкопанные под острым углом к атакующим, да еще три с половиной тысячи железных ядер к обычным пищалям и восемь пудов ядер к легким, затинным пищалям, да сто пятнадцать стрельцов, да три сотни городовых казаков, да дюжина пушкарей, да два с лишним десятка защитников, живших в специальной Защитниковой слободе, да тридцать два плотника, постоянно что-то подтесывающих, подстругивающих и подпиливающих во всех этих башнях, стенах и воротах. И еще. Не прошло и пяти сотен лет, как решили вырыть колодец и накрыть его Тайницкой башней.

Если же говорить собственно о городе Пронске, то он тоже был, но напоминал месячного детеныша кенгуру в сумке матери. Все городское в нем было подчинено военному. Понятное дело, что в крепости была церковь. Под ней, кстати, в глубоком подвале, хранились запасы пороха и ядер, а кроме церкви шестьдесят дворов, принадлежащих разным начальникам из дворян и детей боярских. Понятное дело, что был царев кабак, в котором пушкари после удачного выстрела могли выпить меда или пива, приказная и таможенные избы и торг с сорока девятью лавками и одной полувлавкой⁶. Весь этот торговый и развлекательный центр принадлежал казакам, стрельцам и затинщикам, которые большей частью жили в слободах вокруг крепости.

Как все приготовили – так стали ждать татар и ногайцев. Собственно говоря, даже и не успели толком их подождать, как они явились и появлялись на протяжении только шестнадцатого века в этих местах тридцать шесть раз, то есть каждые два с половиной года. Это в составе крупных, многотысячных бандформирований, а в составе мелких, с целью угнать козу или корову, постиранные порты, висающие на заборе, обожраться на огородах горохом и выхлебать все щи из горшка, который не успели спрятать, приходили, почитай, каждый божий день.

В 1541 году крымский хан Сагиб-Гирей во главе стотысячного войска, в составе которого были и турки и поляки, дошел до Зарайска, где был настолько неприветливо встречен зарайским воеводой и своевременно подошедшим полком под командованием князя Турунтая-Пронского, что вынужден был повернуть назад. Просто так, не солоно хлебавши, ему уходить не хотелось, и он осадил Пронск. Вернее, сначала предложил городу сдаться. Пронский воевода Василий Жулебин был человеком набожным и во всем полагался на волю Божью. Потому и ответил Сагиб-Гирею «Божией волею ставится город, и никто не возьмет его без воли Божией», а чтобы воля Божья поскорее исполнилась, приказал гарнизону крепости и всем, кто в ней был, стрелять в наступающих татар из всех пушек, пищалей и поливать их кипятком. И делали они так двое суток без передышки, до тех пор пока Сагиб-Гирею разведка не донесла, что на подходе русские полки, идущие на выручку осажденным. Тут татары решили не испытывать судьбу, сняли осаду и отступили на юг.

Через девять лет после этой осады татары снова... и еще через девять лет... и через четыре года... и через три... и так до самой Смуты, когда они стали приходить еще чаще и даже в 1613 году исхитрились сжечь дотла пронский посад, хотя город так и не смогли взять. В 1626 году пронская крепость пострадала... от собственных защитников. Так пострадала, что пришлось писать челобитную в Москву, в Разрядный приказ. На Святой неделе, в понедельник, пронские стрельцы вместе с пронскими же пушкарями, воротниками, плотниками, дворниками с одной стороны и пронские казаки с другой устроили кулачный бой. Сначала бились кулаками под городской стеной. Потом кто-то кинул со стены камень, потом еще три, потом много, потом казаки стали выламывать бревна из стены, потом городские тоже выломали бревна из той же стены, но сверху, и стали на казаков бросать, потом кто-то трезвый догадался послать за воеводой Федором Киселевым и казацким головой Дмитрием Левоновым, потом «...они к нам выехав, тово лесу городовому ломанова смотрели с нами вместе. И мы, холопи твои, о том Фёдору Киселёву говорили, что делается не гораздо... И Фёдор начал с нами говорить, станем де мы тех людей сыскивать, которые так своровали. И апреля, государь, в 14 день приезжал к нам... в съезжую избу Фёдорка Селев и привёл с собою, сыскав, стрельца Оношку Желонина и нам его отдал. И мы... тово Оношку расспрашивали, ддя чего город ломал. И он перед нами повинился, сделал де я то под хмелью».

В 1630 году, после целого ряда просьб и челобитных, порядком обветшавшую от частого употребления пронскую крепость, а заодно и сам город, решено было перестроить. И вовремя, поскольку через три года Пронск осадил тридцатитысячный отряд крымских татар. Штурмовали они Пронск, штурмовали... и ушли не солоно хлебавши. Больше неприятеля под своими стенами Пронск не видел.

Вообще говоря, пронские служилые люди повоевать умели. Отряд пронских казаков-добровольцев под командой атамана Петруши Пронца принимал участие в Ливонской войне и отличился при взятии крепости Смелтина, за что был пожалован царем. И атаман и казаки. Пронские ратники «вольными охочими людьми» в составе большого войска ходили воевать крымских татар в низовья Дона, записывались во вновь создаваемые полки в качестве рейтаров, драгун и просто солдат. В Москве прончане были на хорошем счету. Их представителей даже приглашали на Земские соборы. Выбирали они и Бориса Годунова на царство, и в годы Смуты принимали участие в создании Первого и Второго Земских ополчений. С ними советовались и тогда, когда обсуждали вопросы пограничной службы.

С ополчениями, правда, не все было просто. Поначалу Пронск принял сторону Самозванца и в нем в большом количестве завелись поляки, но потом город одумался, выгнал их и даже выдержал польскую осаду, правда, не без помощи прибывшей на помощь дружины князя Пожарского. Во время этой осады в Пронске укрывался Прокопий Ляпунов. То есть сначала Пронск захватили призванные поляками малороссийские казаки, которые захватывали все, что захватывается, потом Ляпунов отбил у них город, чтобы отдать его в руки королевича Владислава, призванного на царство Московской Боярской Думой, а уж потом, когда королевич стал медлить с приездом, когда Ляпунов передумал отдавать ему Пронск, когда уже все вокруг перестали понимать, против кого надо дружить и кому присягать, пришлось отбиваться и от поляков, и от сторонников

Тушинского вора, и от малороссийских казаков. Тот момент, когда Ляпунов разговаривает с осведомившим его Пожарским, изображен на центральной части триптиха рязанского художника Евгения Борисова. Триптих огромный и занимает всю стену одного из залов пронского краеведческого музея. Правая часть картины изображает суровую ~~родину-мать~~ жену художника с суровым лицом родины-матери в дорогой собольей душегрейке, в парчовой на маковке кичке, рядом с ней, наряженный в желтый кафтан с прорезными рукавами, стоит ~~молодой боярин~~ то ли племянник то ли более дальний родственник художника, рядом с более дальним родственником стоит на задних лапах вовсе не родственник и держит в зубах обломок стрелы... Чья собака, не знаю. Экскурсовод, как я его ни пытал, про собаку не сказал ничего. Сказал только, что вокруг жены художника, изображая священника, первого, второго и третьего стрельцов, стоят родственники художника по линии жены.

Вернемся, однако в Пронск Смутного времени. После того, как распалось Первое ополчение, Пронск был на два года захвачен сторонниками атамана Ивана Заруцкого, который поставил в крепости своего воеводу. В 1613 году Пронск осадил отряд Второго ополчения под водительством князя Волконского. Как только ополченцы захватили посад, сторонники Заруцкого сдались и пронский воевода был взят под арест. Никто тогда, в марте 1613 года, и подумать не мог, что перевернута, говоря языком литературных штампов, последняя страница, бурной, полной драматических событий военной истории Пронска.

В последней четверти семнадцатого века мы застаем пронскую крепость сильно обветшавшей. Тайницкая башня, в которой был драгоценный колодец на случай осады, во время пожара горела и обвалилась. Если сравнивать с тем, что было сто с лишним лет назад, то количество стрельцов уменьшилось в два раза, а казаков и вовсе в семь раз. Зато прибавились беглые стрельцы и казаки с Дона. Дошло до того, что пронский воевода писал и писал челобитные в Москву, в которых просил и просил прислать в Пронск вестовой колокол, а из Москвы ему... Пронский вестовой колокол, пришедший в негодность после пожара 1681 года, был отправлен в Пушкарский приказ, а в городе «По вестям и в пожарное время бить не во что, и градским людям ведомости вскоре подать непочему. А пожары в Пронску чинятся почасту, а посады, государи, градских всяких чинов жителей отдалены, а без вестового колокола в городе Пронску быть невозможно...». Что же касается самого города, то про него отписано, что «сгорел и после пожарного времени зачат да вновь...».

При Петре Великом Пронск в результате нового административного деления стал уездным центром Переяславль-Рязанской провинции Московской губернии. Да, именно так все называлось – сложно и неудобнопроизносимо. Простые времена кончились. Простые в административном смысле. Командовал уездом земский комиссар. Все посадское население перестало подчиняться воеводе и получило права самоуправления. Нужно было из своей среды выбрать бурмистров, которые решали все дела в земской избе. Был еще и президент земской избы, должность которого по очереди исполняли бурмистры. И все это было бы прекрасно, кабы в Пронске было посадское население – купцы, мещане, ремесленники. Но его почти не было. Были пушкарки, были стрельцы, были затинщики, были казаки, а купцов... Конечно, жены стрельцов, пушкарей и казаков торговали излишками укропа и репы, выращенных на своих огородах, но купчихами их называть было бы неправильно. Понятное дело, что Петра Алексеевича все эти житейские мелочи, совершенно не различимые из Петербурга даже в сильную подозрную трубу, не волновали. Когда купцов было велено разделить на гильдии, когда бурмистерские избы, только начавшие работать, были заменены городским магистратом... тогда в Пронске поняли, что новый царь не отвяжется, и наскребли у себя по сусекам чуть больше трех десятков посадских людей. Магистрат в городе был такой, меньше которого нельзя было устроить – он состоял из одного бургомистра и одного ратмана. При магистрате устроили канцелярию писцов, и тут... император приказал долго жить. Через три года после его смерти все нововведения были отменены, и единственным органом управления и суда в уездах вновь стал воевода.

И все же. Хотя и мало было в Пронске посадских людей, а один из них «Яков Козьмин сын Рюмин» в августе семьсот тринадцатого года подал царю челобитную с просьбой разрешить ему

строительство чугуноплавильного завода в уезде на реке Истье. Все для того, чтобы устроить здесь такой завод было – и болотная руда, которую здесь находили еще со времен вятичей, и залежи каменного угля. Петр так любил подобного рода челобитные, что подписывал их незамедлительно. Мало того, царь от щедрот приписал к заводу несколько сот крестьянских душ. Уже в октябре того же года, что по тем временам было третьей космической скоростью, начали строить завод, а через год он был построен. Тут бюрократическая машина дала сбой, и пришлось ждать еще год, чтобы получить от Рязанского губернского правления разрешение начать выплавлять чугун и продавать его. В семьсот шестнадцатом году уже повсюду выплавляли чугун и ковали железо, а еще через год неподалеку от завода, в соседних селах открываются игольные фабрики, учредителями которых были купцы Рюмин, Томилин и англичанин Боленс. Петр Алексеевич не оставил своим почетом и эти фабрики. В семьсот девятнадцатом году он подписал, как сказали бы теперь, протекционистский указ о таможенных пошлинах на иностранные иголки. Редкой, надо сказать, откровенности документ. В нем так и было написано: «а продавать иглы во всем Российском государстве те, которые делаются на заводах Российских купецких людей Сидора Томилина и Панкрата Рюмина».

Стоило построить игольные фабрики – сразу потребовалась в большом количестве проволока для изготовления иголок. Тут же и построили еще две фабрики для вытягивания проволоки и одну катальню. С одной стороны, ничего особенного, даже по тогдашним европейским меркам, тут нет, а с другой... Вот так, чтобы от болотной руды до готовых иголок, у нас еще не было. Не в пронском уезде не было, не в Рязанской губернии, а во всей Российской империи. Пятьдесят шесть лет семья Рюминых и их партнеры владели всеми этими заводами и фабриками. И все это время иголки исправно выпускались. Первые сто лет существования заводы Рюмина и Томилина и вовсе были единственными в России по выпуску иголок. В 1773 году заводы перешли к богатому помещику генералу Кириллу Петровичу Хлебникову, потом, как приданое за его дочерью Анной, к Дмитрию Полторацкому, а от него в 1842 году к его сыну Сергею, который завез паровые машины и новое оборудование из Англии, Бельгии и Германии, выписал оттуда специалистов, выстроил новую домну, которая давала пятьсот пудов чугуна в сутки и мягкое железо, из которого тянули проволоку для изготовления игл. И все это время иголки продолжали исправно выпускать. К 1857 году игольная фабрика в селе Коленцы производила от ста двадцати до ста пятидесяти миллионов иголок в год и 150 пудов булавок. Фабрика, расположенная в соседнем селе Столпцы, выпускала семьдесят пять миллионов иголок. Тут, правда, есть одна тонкость. Дело в том, что для иголок высшего сорта привозили проволоку из Англии⁷.

Увы, экономический кризис восьмидесятых годов девятнадцатого века обрушил производство иголок. Игольные фабрики закрылись, но к тому времени заводы, успевшие три года побыть собственностью надворного советника Христиана Мейена, принадлежали «Акционерному обществу русского рельсового производства».

Мы, однако, слишком забежали вперед. Вернемся в восемнадцатый век, в третьей четверти которого Пронск стал уездным городом Рязанского наместничества, получил герб и регулярный план, утвержденные Екатериной Второй. Герб, если честно, получился почти издевательский «в серебряном поле стоящий старый дуб, означающий изобилие дубовых лесов в окрестностях сего города». Ко времени получения герба дубовые леса в «окрестностях сего города» сильно поредели, а то и вовсе были сведены на нет неутомимым строителем российского флота Петром Первым. В «Экономических примечаниях» к планам генерального межевания Пронского уезда было написано: «В том городе публичных строений: городская крепость деревянная, едва вид имеет, именуется кремль». И эти полусгнившие бревна, эти жалкие остатки стен и башен, «едва имеющие вид», и было тем, что осталось... Впрочем, пронские купцы, торговавшие шелковыми и гарусными материями, холстами, медом, пенькой, хлебом, сидельцы в лавках, мещане, державшие постоялые дворы и продававшие сено и овес, женщины, занимавшиеся домашним рукоделием, вряд ли вспоминали те времена, когда приходилось со стен поливать кипятком крымских татар с ногайцами или поляков, когда от грохота пушек и пищалей закладывало уши и когда, чтобы напиться, приходилось с боем прорываться к воде. Что же касается детей, то в школах тогда

историю не преподавали. Правду говоря, в Пронске и школ-то никаких не было. Лишь в феврале 1787 года в городе открылось первое двухклассное малое народное училище. Тогда в Пронске проживало, если считать вместе с пригородными слободами, почти восемь тысяч человек, а если без слобод, то раза в четыре меньше. Слободское население пахало землю и уваживало огорода. Стрельцы и казаки были теперь без надобности. Описание Пронска начала девятнадцатого века практически не отличается от описания в конце восемнадцатого. Дворцов не построено, моста через Прону тоже. Пристани под городом не было, судоходства не было, лесослава не было, но рыба в Проне была, и разная. Вот только мелкая. Еще и написал какой-то проезжающий, что «... в городе Пронске есть строения, особенно питейные дома, совершенно ветхие, близкие к разрушению и безобразные». Правда, в уезде, у местных помещиков, имелись замечательные фруктовые сады, достигавшие порой огромных размеров. Коломенские и зарайские купцы скупали большую часть урожая этих садов. Между прочим, в одном из этих садов и зародился в середине девятнадцатого века Иван Владимирович Мичурин.

Ну, да это все в уезде, а в самом Пронске скука была такая, что количество сдохших от нее мух давно превысило количество жителей города, включая кур, кошек и собак. На этом фоне организация в 1760 году Пронске, как и в тридцати других российских городах, инвалидной команды для солдат и офицеров «за старостью, ранами, увечьем и другими причинами сделавшимися неспособными к службе» была событием. Через пятнадцать лет организовали штатную воинскую команду, за год до войны с французами ее упразднили и передали ее функции инвалидной команде. Жаль, конечно... Офицеры воинской команды носили красные однобортные кафтаны с палевым подбоем и камзолом, с воротником и косыми обшлагами из бледно-зеленого бархата, с косыми карманными клапанами на кафтане и желтыми пуговицами. Плюс белые суконные брюки, плюс треуголки, плюс лихо закрученные вверх усы... Пронские девицы... У них даже сны после такой реорганизации из цветных превратились в черно-белые.

В войне двенадцатого года пронское дворянство приняло самое деятельное участие как в Рязанском ополчении, так и в регулярных частях. Между прочим, среди тех, кто отличился на этой войне, был прадед Ивана Владимировича Мичурина Иван Наумович, который уже до войны успел прослужить в армии тридцать семь лет и дослужиться до майора. В двенадцатом году он вернулся в действующую армию из отставки, пошел воевать и провоевал еще пять лет. Его сын – дед Ивана Владимировича – в чине подпоручика сражался и под Смоленском, и под Тарутинным, и в Бородинском сражении, брал Лейпциг, Дрезден, был награжден орденом Св. Анны и тоже вышел в отставку майором. Разве мог дед подумать, что его внук Иван, вместо того чтобы вести в атаку конных егерей или драгун, будет заниматься выведением яблок ренет красносламенный или слив ренклад колхозный...

Вообще говоря, Пронск и уезд дали российской армии и флоту огромное, если соотносить с размером города и уезда, количество военачальников. Разве не удивительно, что из пронского уезда, сухопутнее которого и представить себе невозможно, уезда, в котором глубина большинства рек и речушек не позволяет пожелать не то что семи, но и трех футов под килем, родом пять адмиралов российского флота, из которых, пожалуй, известнее всех вице-адмирал Василий Михайлович Головин, руководивший двумя кругосветными экспедициями и пробывший два года в японском плену. А полный адмирал Иван Саввич Сульменев, прослуживший во флоте шестьдесят четыре года, прошедший двадцать девять морских кампаний и вырастивший рано осиротевшего младшего брата своей жены, будущего адмирала Федора Петровича Литке, создателя Русского Географического Общества и президента Российской Академии Наук... А вице-адмирал Обезьянинов, отличившийся при обороне Севастополя... А полный адмирал Яков Ананьевич Шихманов оборонявший Свеаборг от англичан и французов... А капитан генерал-майорского ранга (по нашему контр-адмирал) Георгиевский кавалер Михаил Гаврилович Кожухов, в 1773 году осаждавший Бейрут и взявший приз в триста тысяч пиастров и две полугалеры...⁸

И это только адмиралы, а уж сколько генералов...

К середине девятнадцатого века в городе Пронске проживало немногим более двух тысяч жителей. Это без слобод, а вместе со слободами, в которых фактически проживали сельские жи-

тели, занимавшиеся земледелием, шесть тысяч. Как ни крути, а получается, что по сравнению с серединой восемнадцатого века жителей в городе стало меньше. В описании Пронска за 1860 год сказано: «Небольшой город Пронск заключается в одной только улице, которая оканчивается квадратной площадью. Он весь в горах и вид с высокой террасы нагорного берега Прони на противоположный, низменный берег, по которому раскинуты слободы, отменно хорош. В полу воду Проня страшно опустошает подгородные слободы, но жители из уважения к месту, на котором жили их предки, с терпением переносят несчастья, причиняемые наводнением, и не соглашались переселиться на указанные им более высокие места. Важное неудобство города заключается в недостатке воды. Колодцев там нет, а вода получается из Прони, к которой ведут высокие и крутые спуски, в гололедицу едва доступные даже пешком».

Вот так... Как говаривали глуповские мужики: «Мы люди привышные!.. Мы претерпеть можем». Слободские не хотели переселяться выше, чтобы не страдать от наводнений, а городские не желали спускаться с холма, чтобы не таскать воду из Прони. И все терпели из уважения к месту. И сейчас терпят. И это касается не только воды. И не только Пронска, чего уж там...

И все же прогресс неумолимо вторгался даже в сонный Пронск. Судя по статистическим данным, в 1868 году в Пронске появились башмачники. Столетиями здесь были только сапожники, а тут к четырнадцати сапожникам прибавилось два башмачника. Чуть больше, чем по одной тысячной башмачника на каждого жителя. Исключая, конечно, слободских⁹. Куда им в башмаках-то ходить. А в городе улица. Ничего, что одна. И площадь. Шесть десятков лавок, восемнадцать магазинов, семь церквей, библиотека, почтовая станция, три ресторации, тюрьма, больница. Пока все обойдешь, надо новые подметки заказывать.

И это не все новое. В феврале 1869 года по инициативе земства была учреждена «земско-сельская почта» для удобства жителей уезда. Раньше из Пронской почтовой конторы в уезд и наоборот письма присылали с оказией. А тут после трехлетней переписки министра почт и телеграфов графа Толстого, рязанского губернатора и пронского полицейского управления земству разрешили развозить почту самостоятельно. За свои, конечно, деньги.

Кажется, я забыл упомянуть кожевенный завод, или мыловаренный завод, или мыловаренный завод, или одного купца первой гильдии... Бог с ними. Воля ваша, но на фоне этих двух башмачников, мыловаров, мелочной торговли, трех рестораций, тюрьмы и почтовой станции пьяная драка слободских казаков со стрельцами и пушкарями, случившаяся в 1626 году, представляется большим культурным событием. В соседнем Скопине уже трещал по всем швам банк, уже понаехали со всей России обманутые вкладчики, требующие вернуть свои деньги, уже председателя банка, укравшего миллионы, собирались отдать под суд вместе двумя десятками поделщиков, а в Пронске и трещать было нечему – не было никакого банка. Железные дороги, несмотря на все усилия помещика пронского уезда Павла Павловича фон Дервиза, сына железнодорожного короля Павла Григорьевича фон Дервиза, прошли мимо города. Купцы боялись конкуренции и не хотели железных дорог. Все эти мыловаренные, кожевенные и маслобойные магнаты, все эти оптовые продавцы капусты, валенок, скобяного товара, конской сбруи и окуней с карасями, выловленных в Проне. Истьянские заводы, выплавлявшие чугун, делавшие рельсы, иголки и булавки, дышали, дышали на ладан и в восьмидесятых годах задохнулись из-за кризиса.

Посреди всей этой безнадеги в пронском уездном училище в шестидесятых годах учился мальчик Ваня Мичурин. Родился он в поместье Вершина, близ деревни Долгое Пронского уезда. Училище окончил в 1869 году и поступил в гимназию. В пронском краеведческом музее есть витрина, посвященная учебе Мичурина в Пронске. В ней под стеклом, среди фотографий и документов лежит веточка черешни. Листики у нее из зеленой пластмассы, а ягоды из красивого белого с красными прожилками стекла. Очень похожи на гибрид черешни и редиски. Ивану Владимировичу понравилось бы. Не знаю как он, а я бы назвал этот гибрид чередиской¹⁰.

В 1872 году Мичурина из гимназии исключили за то, что он поздоровался с директором, не сняв при этом шапку. То есть он снял, но было уже поздно. Или он вовсе ее не снял из-за сильного мороза и болезни уха. Или его дядя Лев Иванович не дал взятку директору гимназии. Так или иначе, в том же году Мичурин уехал в Козлов Тамбовской губернии. Теперь Козлов называется

Мичуринском. Если бы не шапка и большое ухо, то Мичуринском мог бы стать Пронск. Росли бы теперь... но не растут. Впрочем, был в Пронском уезде и еще один любитель экспериментировать с плодово-ягодными культурами. Отставной флотский офицер Лаврентий Алексеевич Загоскин. Исследователь Аляски, проплывший по реке Юкон на байдарке, открывший горный хребет и неизвестное поселение эскимосов, первый из европейцев, впервые попробовавший настоящее эскиммо из взбитого оленьего молока, тюленьего жира, тертого сушеного ягеля и льда с солью, автор книги «Пешеходная опись русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Лаврентием Загоскиным», был почетным мировым судьей и жил в имении жены в селе Абакумово как раз в то самое время, когда Мичурин учился в училище и в гимназии. Он создал в имении образцовый яблоневый сад, его яблоки славились по всему уезду и отмечались медалями в Рязани и в Москве. Вряд ли в России был человек, который расстроился больше него, узнав о продаже Аляски.

И снова описание Пронска, но уже конца девятнадцатого века. «Пронск лежит чрезвычайно высоко и крутом левом берегу реки Прони и находится в двадцати пяти верстах от станции Хрущево Рязанско-Уральской железной дороги и в тридцати верстах от станции Скопин Сызранско-Вяземской¹¹. В настоящее время это самый небольшой и беднейший город в губернии, к особенностям которого относятся только прекрасные виды, открывающиеся с высоты, на которой он расположен, и отсутствие воды по временам, так как к реке Проне, находящейся на значительной глубине, ведут такие отвесные спуски, пользование которыми в гололедицу, например, представляется не только затруднительным, но прямо невозможным. Весь город заключается почти в одной улице, имеющей небольшое протяжение с севера на юг... Промышленная деятельность населения Пронска занимает последнее место в губернии; здесь имеются одна красильня, одно скорняжное заведение, пять железоделочных, три кирпичных завода и две маслобойни, всего двенадцать заведений с числом рабочих в двадцать один человек... Торговля ничтожная (последнее место в губернии)...».

Такое ощущение, что все описания Пронска в девятнадцатом веке писались под копирку. Возьмут старое, спишут про прекрасные виды, отсутствие воды и опасные спуски к Проне, добавят какую-нибудь маслобойню или кирпичный завод с двумя рабочими и все. И все! Ни тебе театрального кружка, организованного преподавателями уездного училища, ни народного хора, ни духового оркестра пожарной части, ни городского сада, где он мог бы играть, ни самой пожарной части, ни аптеки, ни кукольного балагана с Петрушкой. Пронск нельзя было даже назвать медвежьим углом – лесов вокруг было мало, да и какой медведь, хотя бы он и пришел, ползет на холм, где и воды напиться негде. Оно, конечно, виды чудесные, но медведи до них не большие охотники. Умей пронские кожевенники и скорняки наладить выпуск крыльев, пусть бы и не очень больших, способных долететь хотя бы до станции Хрущево Рязанско-Уральской железной дороги, – их бы отрывали у них с руками.

На рубеже веков внутри Пронска, в самой его глубине какие-то заржавленные шестеренки вдруг заскрежетали и сделали не то чтобы полный оборот, но половину или даже четверть оборота. В девятьсот пятом году в городе уже три площади, три десятка керосиновых фонарей, земская больница на полтора десятка коек, аптека, пять учебных заведений, среди которых новая, с иголки, женская гимназия, построенная на средства П. П. фон Дервиза, четыре городских пожарных, у которых три пожарных трубы, четыре бочки и столько же лошадей. Но водопровода и городского сада все равно нет. Играть в нем тоже некому. Не могут же это делать четыре пожарных, у которых всего три трубы, да и те предназначены не для того, чтобы в них дуть. В описании Пронска за этот год написано «Торгово-промышленное значение города совершенно ничтожно. В самом городе нет ни заводов, ни фабрик». На благоустройство города в девятьсот пятом году отводилось пятьсот рублей. Из них на освещение полторы сотни, на медицинскую и санитарную часть сорок рублей. Выходило около двух копеек на человека. В уезде и то тратили на эти же цели двадцать семь копеек в год¹². Зато на расходы, вызванные войной с Японией, было ассигновано сто рублей. На что они пошли... Может, на молебен о даровании победы нашему воинству, может, на посылку телеграмм с проклятиями японскому императору, а может, просто завалились в чей-то карман, поскольку в сентябре девятьсот пятого война уже кончилась.

Уже открылась в Пронске публичная библиотека с читальней для внешкольного образования, фотография, детский приют, открылась еще одна бесплатная читальня при чайной «Попечительства о народной трезвости», начальная школа, но... в «Атласе Рязанской губернии» все равно написано «По своей безжизненности можно считать самым худшим из уездных городов губернии». Или вот еще в сборнике «Города России в 1910 году» сосчитано, что Пронск освещается пятью керосиновыми фонарями. Как же так?! Ведь еще пять лет назад их было тридцать...

Еще через пять лет в городе открылась типография. Настала пора печатать листовки и большевистские прокламации. Семнадцатый год не внес каких-либо существенных изменений в жизнь Пронска. После февральской революции в городе создали «Комитет общественных организаций» во главе с комиссаром Временного правительства, которым стал глава земской управы. Демонстраций и шествий не было. Во всяком случае, я не нашел в краеведческой литературе никакого о них упоминания. И то сказать – какие шествия в городе с одной улицей длиной в один километр? Скорее всего, постояли на одной из трех площадей и разошлись засветло.

В декабре в Пронске объявился большевик Чебарин, присланный установить в городе и уезде Советскую власть. Он провел в городе совещание сторонников новой власти. Таковых набралось около двух десятков – пять большевиков, один левый эсер и остальные просто сочувствующие. Избрали Пронский ревком в составе пяти человек, и уже ревком вызвал отряд красногвардейцев и объявил о ликвидации уездного земства, о переходе Пронска на военное положение и о том, что жители должны сдать все имеющееся у них огнестрельное оружие. Немедленно после объявления заняли почту, телеграф, здание земской управы, тюрьму, казначейство и помещения воинского и милицейского начальников. Заняли бы и банк с мостом, но их не было. Разослали уполномоченных по волостям, чтобы те организовали волостные съезды Советов. Уже в январе восемнадцатого такой съезд состоялся в актовом зале женской гимназии. Приехало полсотни делегатов, которые и приняли резолюцию о признании новой власти. Новых советских чиновников не было, и взять их было тоже неоткуда, а потому работать стали старые.

Еще в начале ноября семнадцатого года прошли выборы в Учредительное собрание и тут большевиков ждал неприятный сюрприз. В Пронском уезде победили эсеры, набравшие 57% голосов. Большевики набрали всего 38%. Кадеты, земельные собственники, старообрядцы и меньшевики набрали вместе около пяти процентов. Результаты выборов во всей Рязанской губернии были примерно такими же.

В январе восемнадцатого, через два дня после Съезда советов, на пронском базаре появился некто Шутов – правый эсер и поручик. Устроил вместе со своими товарищами митинг и призывал защитить Учредительное собрание. Уездные крестьяне, приехавшие на базар, долго уговаривать себя не заставили – всей толпой пошли к зданию Совета, караул разогнали, канцелярию разгромили, тюрьму открыли, всех, кто там содержался, выпустили и... довольные собой разъехались по своим деревням. Эсеры власть удержать не смогли. Большевики не растерялись, собрали своих сторонников и объявили в Пронске военное положение, арестовали нескольких эсеров и вызвали из Рязани подкрепление. Пока подкрепление в виде отряда революционных матросов и красногвардейцев шло из Рязани, поручик Шутов успел скрыться. К тому времени как отряд появился в Пронске, все было тихо. Советская власть уже успела наложить контрибуцию на городское купечество и зажиточных крестьян одной из городских слобод. Отряд развернулся и ушел обратно в Рязань. Правда, оставил местному Совету на всякий случай пулемет для ответов на вопросы эсеров и крестьян, если такие, конечно, появятся.

Всяких случаев было довольно много. Крестьяне, после того как с гиканьем и свистом разграбили обобщественные помещичьи усадьбы, вдруг обнаружили, что новая власть приказывает им становиться в ряды Красной Армии. Этот приказ крестьян, мягко говоря, не обрадовал. Особенно тех, кто перед этим успел настояться в рядах царской армии на фронтах Первой мировой. Первая попытка мобилизации в Красную Армию была сделана в феврале восемнадцатого и провалилась. Начались волнения. Пришлось буквально чрез несколько дней отменять приказ и распускать мобилизованных по домам. Весной объявили запись добровольцев. Записалось ровно пять человек. И это при том, что в уезде в то время проживало больше пятидесяти тысяч

мужчин. К концу лета восемнадцатого года записалось в добровольцы сто восемьдесят человек. Пришлось мобилизовать людей, а заодно и лошадей принудительно. Дезертиров было огромное количество. Власти даже объявляли специальные недели для добровольной явки дезертиров. В Пронском уезде добровольно сдалось семь десятков дезертиров. Еще тысячу поймали специальные отряды. В девятнадцатом году было проведено почти полсотни мобилизаций. И понятно почему – передовые отряды кавалерийского корпуса Мамонтова подошли к Рязску. Впрочем, до Пронска они не добрались. Весной того же года в пронском уезде в селе Старожилово были организованы Рязанские кавалерийские командные курсы. Не бог весть какое событие, и к истории Пронска оно имеет косвенное отношение. Мы бы и упоминать его не стали, если бы одним из курсантов этих курсов не был Г.К. Жуков.

Пока шла война большевики, как кукушата, выбрасывали из гнезда все остальные политические партии, еще не понявшие, что в дивном новом мире будет место только для одной. До лета восемнадцатого года в Рязанской губернии и в Пронском уезде у власти была коалиция большевиков и левых эсеров, но только до лета...

Потом комбеды, выступления крестьян, продразверстка, военный коммунизм, брюшной тиф, испанка, выступления крестьян, продотряды, голод, лебеда, щавель, выступления крестьян, бронепоезд из Рязани, отряд чекистов и латышских стрелков из соседнего Скопина, расстрел агитаторов выступлений.... Все расходуется по домам.

В это время в Пронске... первый уездный учительский съезд, создание центральной городской библиотеки с фондом в пять тысяч томов, создание библиотек для обслуживания волостей, открытие кинотеатра, начало работы театрального кружка, открытие Пронского советского театра в девятнадцатом году, первый спектакль по пьесе Евтихия Карпова «Рабочая слободка», организация театрально-инструкторских курсов в помощь сельским и деревенским театральным кружкам. Их в девятнадцатом году насчитывалось больше сотни. В девятнадцатом году, среди крестьянских выступлений, брюшного тифа, испанки, лебеды и продразверстки.

В двадцатом году, в учебной мастерской при отделе народного образования была выпущена микроскопическим тиражом первая книга, написанная в Пронске. Называлась она «Культурное строительство по Пронскому уезду в области просвещения». Я ее не видел, но могу себе представить – никакая не книга, а тонкая брошюра, напечатанная на отвратительного качества серой газетной бумаге. Опечатки (наверняка их было много) исправлены чернильным карандашом. И все же. Первая книга через семьсот восемьдесят три года после первого упоминания Пронска в Никоновской летописи. В сущности и не книга вовсе, а спутник, который летал вокруг крошечного глобуса Пронска и его уезда¹³.

Весной двадцать первого года начался НЭП. У губернских и уездных властей появилась желание перенести уездный центр поближе к железной дороге. После двух лет споров куда переносить и как переносить, в двадцать третьем году собрали гербовые печати, папки-скоросшиватели, чернильницы, нарукавники, бухгалтерские гроссбухи, книги учета всего, что учитывается, и переехали в село Старожилово, которое с того дня стало называться Новым Пронском, а Пронск переименовали в Старый Пронск. Жителям Старого Пронска велено было называться старыми прончанами. Даже молодым. После этого переименования административный зуд у губернских властей не прошел, а даже усилился, и они расчесали Пронский уезд до того, что его упразднили. Центральную часть уезда под названием Пронская волость включили в состав соседнего Скопинского уезда, еще одну часть в состав укрупненного Рязанского уезда и еще одну часть в состав Спасского уезда. И это не все. Самому Пронску, который и без того теперь был Старым Пронском, был нанесено то, что называется *coup de grâce* – его разжаловали из городов в села.

Когда музыканты расселись на новые места, выяснилось, что жать все равно приходится серпом, удобрений нет и урожай таков, что крестьянин не в состоянии содержать в хозяйстве лошадь. Чтобы не голодать, крестьяне стали валять валенки. Работали бродячими артелями. Придут в какую-нибудь деревню, арендуют избу, наберут заказов на валенки и шерсти – и давай валять. Больше всех валяльщиков было в селе Дурном, тот самом, в котором жмурки называют кулючками.

В двадцать восьмом году стали строить электростанцию и через три года ее построили. Она дала первый ток, а второй не захотела. Сломалась. Дело в том, что оборудование на ней было списанное, взятое на одной из московских электростанций. Электростанцию починили. Она дала второй ток, а третий... но ее починили еще раз. Так и работала. В двадцать девятом озаботились устройством водопровода. Не прошло и восемьсот лет со дня... Короче говоря, вырыли колодец, проложили шестьсот метров труб и... не хватило денег на строительство водонапорной башни и покупку насоса. Зато построили баню, гостиницу и механический завод. В тридцать втором провели радио, завели несколько детских садов, столовых, чайную и три буфета. В тридцать восьмом Пронск перестал быть селом и превратился в поселок городского типа. Райцентром он стал еще раньше, когда вернули часть волостей, отданных другим районам. Перед тем, как Пронску стать поселком, в тридцать седьмом, арестовали все районное руководство по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Потом война, танки Гудериана, не дошедшие до Пронска всего ничего, прифронтовая жизнь, потом тыловая, потом голод, эпидемия ящура, падеж и без того отощавшего скота, сбор средств на танковую колонну «Рязанский колхозник», пронский учитель Михаил Миронов, ушедший добровольцем на войну вместе со своим десятым классом, голод, стакан зерна и одна картофелина на один трудодень, победа и семь Героев Советского Союза.

После войны, в пятьдесят пятом, разбирают Казанский собор, через год в поселке устанавливают первых пять телевизоров, в пятьдесят восьмом Пронск из поселка городского типа превращается в рабочий поселок, в шестидесятом между Пронском и Рязанью начинают курсировать два автобуса, в девяносто втором году открывается краеведческий музей, куда пронские бабушки приносят иконы и церковную утварь, спрятанные ими после разрушения Казанского собора, в двухтысячном умирает пронский механический завод, выпускавший водяные насосы «Гном», количество школ в районе сокращается с девятнадцати до шести, и только два карьера по добыче щебня работают день и ночь. Официально, по переписи, в Пронске проживает почти пять тысяч человек, а на самом деле, как сказал мне экскурсовод в краеведческом музее, не больше тысячи. Все потому, что в свое время Пронск попал в зону поражения чернобыльского облака. В этой самой зоне пособия по уходу за ребенком до тех лет выплачивают в двойном размере. В Пронск прописываются и беременные мамы и мамы с малыми детьми. Из соседнего Новомичуринска ужас сколько прописано. Говорят, что даже из Рязани и Москвы прописываются. А на самом деле живут здесь одни бабушки и дедушки, ожидающие внуков на летние каникулы. Или бабушки и дедушки, которым нечего ожидать. Или дачники. Все остальные даже водку не стали пить, а быстро разъехались в Рязань и в Москву в поисках работы. Работа в Пронске только на огородах, продавцами в магазинах, учителями в школе, и в музее. Администрация уже не первый год думает устроить здесь туристический маршрут. Как ни крути, а город старше Москвы. Есть что вспомнить. Правда, показать, кроме замечательных видов, почти и нечего. И это почти нечего продолжают ломать. Сломали недавно старинный двухэтажный купеческий дом. На этом месте будет кафе для туристов, которые приедут посмотреть старинный Пронск. Так говорит администрация, но пока там пустырь. Когда в двухтысячном году ломали гимназию, построенную еще сто лет назад Павлом фон Дервизом, администрация ничего не говорила. Ломала молча. Гимназия, однако, ломаться не хотела. Она думала, что еще лет двести простоит. Тогда ее взорвали. Теперь там пустырь. Никто не знает, почему администрация так невзлюбила здание гимназии. Может быть, потому, что построила новое здание школы. Может, не поэтому. Может, нипочему и все. Почему молчат прончане? Потому что старые, потому что претерпеть могут. Из уважению к месту, на котором селились их предки. И претерпевают. Плохо только, что зимой улицы не чистят, а рельеф сложный – скорой не дожидаться. Экскурсовод в музее сказал мне – это все это из-за того, что глава администрации города и района приезжие украинцы. Не с Украины, конечно, и может быть даже и не приезжие вовсе, но все равно украинцы. Если бы они были просто членами партия Единая Россия, то оно, может, и обошлось бы, а тут минус на минус...

В газете «Пронский рабочий», которой уже восемьдесят пять лет и которая за эти годы успела побывать и «Пронским колхозником», и «Зарей коммунизма», и которой меня снабдили в музее, я сначала прочел статью под названием «Не пей лосьон», а потом материал о том, что Пронский районный суд рассмотрел дело двух злоумышленников, которые откручивали гайки и болты на железнодорожных путях возле станции Чемодановка. Открутили шестьдесят болтов и столько же гаек. Не для того, чтобы делать из них грузила, а просто сдать в металлолом. Несмотря на то, что в Проне есть и шилишпер, и голавль, и пещарь.

Зимой в Пронске надо иметь большую силу воли, чтобы не завывать волком. Не все это могут. Некоторые, пусть и тихонько, пусть и в подушку, но подвывают. Ну, а летом, когда рыбалка, грибы, ягоды и огороды, оно как-то отступает, становится легче. Еще и виды. Они, если смотреть с высоты Покровского холма на безмятежный Пронск и на красиво изогнувшуюся под городом Проню, завораживают¹⁴.

¹ В окрестностях Пронска довольно много болотной руды. Ее так много, что в некоторых местных ручьях и речушках вода рыжая от содержащихся в ней окислов железа. У четырех рек даже есть притоки с однотипным названием Ржавец.

² Не знаю, почему Коротопол. Быть может потому, что у его одежды полы были короткие и вечно из-под фериши торчал кафтан. Или из-под епанчи охабень. Короче говоря, неприлично он смотрелся.

³ Пусть к теме моего рассказа о Пронске это и не имеет отношения, но интересно – кто надоумил товарищество «Эйнем» в 1908 году дать шоколаду и какао-порошку названия «Золотой ярлык» и «Серебряный ярлык»? Думаю, ордынцам такая шутка понравилась бы, а вот насчет русских князей не уверен. Они бы такой шоколад в рот не взяли бы.

⁴ В книге И.Н. Юхиной «Пронская земля» я вычитал, что «При дворе пронских князей ведется летописание: исследователям известно о существовании “Летописца Пронского”». Смутил меня оборот «исследователям известно о существовании», и стал я искать в сети упоминания об этой летописи. И нашел. В коллективной монографии «В поисках истины: ученые и его школа» написано, что «Пронский летописец» был упомянут в каталоге рукописей из библиотеки Александра Ивановича Сулакадзева – известного в девятнадцатом веке фальсификатора древних рукописей*. Сулакадзев даже приписал, что «Пронский летописец» содержал в себе 172 листа. Понятное дело, что в руках «Пронского летописца» никто никогда не держал. С другой стороны – пусть хотя бы так, в каталоге Сулакадзева, чем вообще никак.

**Того самого Сулакадзева, который придумал красивую историю о никогда не существовавшем первом русском воздухоплателе Крякутном.*

⁵ Род Пронских князей угас в Москве в середине семнадцатого века.

⁶ Полулавкой она называлась не потому, что в ней сиделец был не муж, но мальчик, и не потому, что торговали в ней только по четным дням, и не потому, что обсчитывали лишь каждого второго. Вовсе нет. И торговали каждый день, и обсчитывали всех подряд. Просто лавки были длиной в две сажени, а полулавки в одну. То есть двухметровые.

⁷ Взял я сто пятьдесят миллионов иглол одной фабрики и прибавил к ним семьдесят пять миллионов иглол другой, и получилось у меня, что на каждого жителя Российской империи в 1857 году приходилось почти по три швейных иглолки из Пронского уезда. Стало мне интересно – сколько же иглолок сейчас приходится на каждого жителя Российской Федерации? Искал я, искал и наткнулся на статью, в которой рассказывается о маленьком заводике по производству иглолок в поселке Арти в Свердловской области. Оказалось, что этот заводик в нашей стране единственный. Больше швейные иглы не выпускает у нас никто. Его во время войны эвакуировали из Подольска. Он и прижился на Урале. Оборудование у него старое, полувековой давности, но все же работает. Выпускает этот завод размером с два или три школьных кабинета труда десять миллионов игл в год. Пишут, что эти иглы занимают около пятнадцати процентов российского рынка игл. Еще десять процентов продают у нас немцы, а остальные семьдесят пять процентов выпускает страна, которая выпускает все

на свете. У нее иглы хоть и хуже качеством, но зато дешевле в пять раз. Издать указ, в котором было бы написано «а продавать иглы во всем Российском государстве те, которые делаются на заводах Российских купецких людей...» наверное можно, но некому. И неизвестно, нужно ли. Получается, что на каждого из нас приходится вместе с китайскими и немецкими иголками примерно по половине иголки. Тут, правда, есть одна тонкость. Дело в том, что проволоку для наших российских иголок... привозят, как и триста лет назад, из Англии. Правда, по другой причине. Необходимую для производства иголок сталь, после года экспериментов, сварили в Белорецке. Сварили и сказали, что меньше вагона им смысла делать ее нет. Покупаете сразу вагон – тогда варим, но меньше вагона никак. В советское время в Белорецке тоже варили такую сталь, но тогда и речи не было, чтобы... Не было и все. Варили молча, потому что план, приказ и прогрессивка*. Купить вагон дорогой стали заводик в Артях не может. Он может купить немножко, понаделать иголок, продать их и снова купить немножко стали. На таких условиях, чтобы купить немножко, чтобы проволока отличного качества, чтобы не по грабительской цене... согласны только английские капиталистические акулы.

** Правда, тогда выпускали триста миллионов игл в год.*

⁸ Представляю себе, как они приезжали на побывку в имения к родителям в свой родной пронский уезд, как облачались к обеду, с приглашенными по такому случаю соседями, в парадные мундиры со сверкающими эполетами и орденами, как ловко щелкали каблуками, представляясь дамам, как уже за кофе с наливками, пуская густые клубы дыма из трубок, говорили громовым адмиральским голосом: «А вот ежели корабль лежит бейдевинд правым галсом под всеми парусами и надо сделать через фордевинд. Как надо командовать? А вот как: свистать всех наверх, поворот через фордевинд!», как сладко вздрагивали при этом не только уездные барышни, но даже их мамашы...

⁹ Слободы тогда считались отдельными населенными пунктами.

¹⁰ Мичурин во время своей недолгой учебы в гимназии снимал комнату у пронской мещанки Пелагеи Ильиничны Чмутовой. Бабка Пелагея очень мучилась, когда у нее распухали колени. Ваня, видя ее страдания, жалился над ней и после нескольких неудачных экспериментов с черенками и подвоем смог привить ей копулировкой к обеим голеням корни лопухов. Конечно, это было не очень удобно, поскольку Пелагее Ильиничне приходилось держать юбку чуть-чуть поверх колен, чтобы не препятствовать фотосинтезу в листьях лопуха, и часто держать ступни в тазу с разведенным теплым куриным пометом, но оно того стоило. Буквально через месяц после прививки колени совершенно перестали распухать даже к дождю, и бабка не ходила, а просто летала. Ивану, которого Пелагея Ильинична теперь уважительно называла Иваном Владимировичем, она снизила плату за комнату почти вдвое и даже стала его кормить бесплатными обедами. Да что там обеда... Ведь Пелагее было едва за сорок и она, пробегая мимо жильца из комнат в кухню, так порой на него взглядывала и так приподнимала юбку над коленями...

¹¹ Пронские купцы и промышленники добились своего – ни паровозов, ни пассажиров, ни конкurreнции, ни товаров, ничего. Только телеги, только лошади, только навоз. Никакого угля и машинного масла.

¹² При этом в уезде один врач приходился на сорок восемь тысяч человек, а одна церковь на две тысячи.

¹³ Да, не «Пронский летописец», но ведь того и не существовало вовсе.

¹⁴ Пусть к истории Пронска это отношения и не имеет, но все же. В музее мне показали выставку детских и семейных поделок, принесенных на конкурс, устроенный местным батюшкой. Более всего мне запомнились прекрасной работы церкви и часовни из тонких раскрашенных макарон, а от пасхального яйца, сделанного из макаронных бантиков и выкрашенного золотистой краской, просто глаз не оторвать.

Сергей СОЛОВЬЕВ

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И ЗАПИСЬЮ

некоторые фрагменты из фб

Первая любовь

История такая. 1981 год, мне 22. Только что в Москве с предисловием Андрея Вознесенского опубликован роман в стихах «На фоне неба и во всю длину», первая моя публикация. Поток писем со всей страны. Радость сменяется сомнениями и депрессией, решаю бросить писать, ухажу в двухлетний разгул, перемежаемый дальними одиночными странствиями (Байкал, пустыня, Заполярье...). В августе с друзьями отправляюсь в Крым, в Понизовку (рядом с Симеизом), наряжаемся в трико для штангистов, угоняем трактор, стаскиваем этим трактором строительный вагончик с горы на дикий пляж, обустроиваемся, весело живем. В один из дней вижу на пирсе ее, она прыгает и летит – так невозможно долго, что тело и ноги ее скрываются под водой лишь с последними лучами солнца. Знакомимся. Она белошвейка из Ясной поляны (под Мисхором), зовут N., ей 19. Пару дней спустя мы с друзьями идем на танцы, где я должен увидеть ее, идем в приличном хмелю. Там сталкиваемся с молодцами из харьковского танкового училища, они приезжают ежегодно – поразмяться в рукопашной. Их около полусотни. Кто-то из них уже волочит за руку N. Вступаем в бой. Дальше я помню только следующий день: сидим у моря, пьем чачу, у меня три перелома челюсти, рот зашит, зубы стянуты проволокой, цежу сквозь нее чачу. Чувство к N росло и терзало, это было впервые так остро, хотелось обнять ее, сказать, как люблю ее, впервые сказать эти слова, и – я был лишен речи. Не говоря уж об одутловатом лице, боли и запахе изо рта. Поэт, трубадур – с зашитым ртом. И как раз в тот час, который бывает единственным в жизни. Плыл горизонт и выл туда о любви. Друзья разъехались, я остался, пришла осень, перебрался в полуразрушенный дворец Водарского (над Ялтой), там еще бомжевала милая пара – он, сбежавший из тюрьмы, и она – юная декабристка, с ними еще была такса и полутораметровый варан, который эту таксу то и дело игриво заглатывал и слевывал – в детской песочнице. А я спускался к морю, брал по пути в библиотеке очередной том Достоевского, пару яиц (чтоб взболтать их в стакане и цедить) и считал дни, когда снимут эти зубные вериги. Месяц спустя их сняли, я приделся и поехал в Симферополь, где она училась...

Ясно, что это осталось со мной навсегда, и в Гурзуфе у меня на стене до сих пор висит ее портрет, нарисованный. И под сердцем я ношу крест, прорезанный кухонным ножом и залитый тушью в Симферополе. Удивительно другое. Я знал, что она вскоре вышла замуж за какого-то геолога, что у нее трое детей, что она живет в придорожном поселке Чистенькое (!), под Симферополем, в частном доме с водой на улице, что, наверное, руки ее от бесконечных зимних постирушек стали похожи на варежки, что прошли годы, а потом и много лет, что ее – той N – уже давно нет, что теперь это какая-то раздобревшая и обветшавшая тетка с геологической фамилией, и все же время от времени оказываясь в Крыму, я пытался найти ее, и однажды, спустя двадцать лет, я дозволился в соседний к ней дом (у нее телефона не было) и ждал, пока ее позвуют, пока она придет (придет ли?), так долго – как тогда, когда она летела с пирса, пока не зашло солнце. И вдруг услышал ее голос – родной, девятнадцатилетний, будто и не было этих лет и жизнь не прошла. И как тогда, но уже по-другому – слова сказать не мог. Но договорились, что она придет – по дороге к родственникам в Ясную поляну, я ее буду ждать на трассе. Не мог уснуть накануне, воображая варианты возможного и не. И, обессилив, сморился под утро в кресле. Звонок – в дверь. Она – на пороге – совсем не изменившаяся, та же девочка, с той же милой, чуть заторможенной,

как из дальней дали улыбкой. И весь день потом мы ходили с ней, взявшись за руки, как дети, и я совершенного не помню ничего из этого дня, кроме ее ладони в моей руке, волшебного света и тихого счастья. А потом мы зашли в какое-то кафе, и она, чуть виновато взглянув на меня, спросила: можно ли взять ей этот остаток пиццы домой – для детей? А потом я все искал тот телефон соседнего домика, но его нигде не было.

На волоске

Смотрел вчера фильм о самовосстановлении клеток, о ДНК. Конечно, я знал, что жизнь требует ежесекундных усилий, но не думал, что до такой кромешной степени. То есть естественное состояние органики – не быть. И каждую долю секунды в нас (и во всем живом) происходит слом, подмена, клетка перестраивается в сторону небытия, и только искусственными изощреннейшими усилиями клеточного же «спецназа» клетка чинится, возвращаясь к жизни. И в следующую долю секунды происходит следующий слом. Это как если бы река, неизъяснимыми силами самой реки, текла не вниз, а вверх. То есть еще раз: ДНК, основа жизни, не просто не хочет жить, но ежесекундно пытается покончить с собой, и лишь невероятными усилиями этого спец. отряда возвращается к жизни. С Седьмого дня на божьем волоске всё висит.

Взятие Азова

К концу 70-х нам с моим другом Валиком Добровольским было около двадцати. К этому времени мы вместе и порознь уже исколесили на товарняках от Карпат до Байкала, сходили в несколько сотен походов, сбегали в комнатных тапках на Эльбрус, налетались «зайцами» на самолетах, затерялись в пустыне и заполярье... Но не хватало чего-то этакого – «цветка в петлицу». И вот купил я в киевском универмаге резиновую лодку – из тех, на которых сидят в камышах, высота борта над водой – 15 см., стоила она 120 рублей. И решили мы переплыть на ней океан.

Главной неразрешимой задачей был для нас не «железный занавес», а железная мачта: как ее изготовить и установить на надувной лодке? Друг мой работал на заводе и был тем еще кулибиным, а я работал реставратором настенной живописи в монастырях Украины и был тем еще... тут трудно сказать.

В общем, мачта была изобретена и установлена. Дальше мы пошли в магазин «Тканыны» и долго выбирали подкладочный материал для штанов, пиджаков... ну то есть для паруса, и остановились на ярко-желтом, чтобы в пути радовал. И еще купили метров десять квадратных клеенчатой скатерти, со сдержанно веселым узором – это чтобы шить чехол для лодки, который бы стягивался под ней, как корсет, а мы бы сидели сухие в воде, во всяком случае, по грудь. Прострочили все это на «зингере» у меня на кухне, потом на каком-то военном складе достали тяжелые прорезиненные костюмы ОЗКа, распилили байдарочное весло на два и дорастили трубками от пылесоса, надули лодку посреди комнаты, поставили мачту и начали осваиваться, а на ночь ложились в нее спать.

Чесать языком мы с ним могли не смолкая сутками, но в то же время могли и сутками не замечать друг друга, то есть буквально, находясь в одной квартире, понятия не иметь о взаимном присутствии. Похоже, совместимость у нас была идеальная. Ждали лета. А пока доводили дизайн и пудами начитывали все, что находили по морскому делу. После испытаний на киевском водохранилище, где нас под утро на фарватере чуть не раздавила какая-та баржа, мы отправились на Черное море.

Подняв парусок в Коктебеле, нас шустро понесло в открытое. Разморенные от жары и переезда, мы задремали. Очнулись, когда в нескольких милях от нейтральных вод нас настиг пограничный катер. Выловили, привезли в часть. Допрос и досмотр явно свидетельствовал о незаурядном для пограничных будней улове. Тем более, что мы не только не отпирались от плана перехода границы, но и, войдя во вкус, всячески подыгрывали этой версии.

Ни документов, ни денег у нас не было. (А зачем? Мы давно уже научились обходиться в походах без них.) Атлас автомобильный дорог СССР (правда, с захватом прилегающих заграничных территорий), военный бинокль, морской компас, не помню сейчас, что там было еще в наших рюкзаках, что так воодушевляло этих погранцов в их догадках. На корме лодки было написано «Папа», а ниже: «сиротский приют №9». Да, – кивали мы, склонив головы, – Стамбул, Дарданеллы, Гибралтар, Атлантика...

Наконец, нас вышвырнули, но – с двумя конвойными, которые должны были проследить, чтобы мы сели на автобус и уматывали восвояси. Сели. И, выйдя на первом же повороте, пробрались на Карадаг, по пути прихватив овцу из стада на выпасе, и спустились в любимую нашу Разбойничью бухту. Там мы пробыли месяц, лодка демонстрировала чудеса стойкости. Вернулись, предъявив липовые большие. И в августе выехали в Бердянск.

Да, не океан, – Азов. А жаль. Потому что океан переплыть не сложнее, – всего лишь вопрос времени. А в этом стиральном корыте даже при небольшом шторме волны идут вразброд и едва ли не со всех сторон, не говоря об отмелях и «банках», и волна резкая, как забор. Океан в этом смысле – санаторное плаванье. Так мы думали, еще не представляя, какой «подарок» нас ожидает.

Вышли в ночь. Накачали лодку, надели ОЗКа, подхватили на руки нашего «Папу» и ухнули в пену. Был приличный прибрежный накат, лодку тут же всю залило. Отгребли, поставили парус. Ветер усилился, береговые огни исчезли. Темень, звезды, полулежим валеком, только «бюсты» в кашпонах горчат из лодки. Молчим. А о чем, собственно? Подремываем. Светает. Вдруг вижу: из предутренного тумана растет нос сухогруза – громадный, до неба, и прямо над нами уже. Схватились за весла, а он уже стеной скользит мимо нас, и сверху, где-то там, чуть левее звезды, человек: «Помощь нужна?» И вниз в бинокль смотрит на нас с палубы. На нас – в бинокль! Хватаю наш бинокль и смотрю на него, запрокинув голову: «А вам?» И разошлись – как в море корабли.

Наступивший день был чудесен, расчехлили лодку, разделись, купались, сделали несколько снимков, отплыв на надувном матраце (том узеньком, советском, от которого наша лодка не сильно отличалась), перекусили (а взяли мы с собой килограмм сала и пятилитровую канистру воды, больше ничего, т.е. ничего лишнего). Собственно, эти несколько снимков были первыми и последними.

К середине дня небо начало затягивать, пошла волна. К вечеру уже все вокруг польхало зарницами. Гребни наворачивались и рушились в лодку со всех сторон. Мачту с парусом, как игрушку, вырвало ветром и, подкинув в небо, отшвырнуло в сторону. Все последующие трое суток мы лишь успевали ловить воздух ртом и уходили вместе с лодкой под воду, и снова всплывали – успеть вдохнуть... Это только потом мы узнали, что под Евпаторией прошел какой-то дикий смерч – из тех, какие случаются раз в десятки лет, и, вильнув через перешеек, опрокинулся в Азов этой ураганной круговертью. Нас несло в западную, не судоходную часть моря, чудом пронося мимо «банок», где схлесты волн взвивались метров на десять ввысь – пеной, моросью. И под, и над нами все шло ходуном.

А тем временем моему отцу в гостиничном номере Феодосии, куда он поехал в командировку, снится сон: мое хохочущее лицо, через которое с грохотом перекачываются волны. Проснувшись, он бежит в районную газету «Победа», по дороге коря себя за то, что поверил мне – мол, плаванье наше будет детским, вдоль берега. Газета связывается с Бердянском, Керчью, там поднимают на ноги всю округу: рыбаки, пограничники... Вертолеты начинают прочесывать акваторию. Безуспешно. (К этому времени нас отнесло далеко уже в западную часть моря, где почему-то нас не искали.) Единственным обнаруженным свидетельством оказалась запись в судовом журнале сухогруза «Днепр».

Зарницы все еще полосовали горизонт. Весь день в этом зловещем сумраке мы плыли на нашей качеле-лодочке – то под, то над водой. Перекидываясь веселыми репликами, когда замечали друг друга. К вечеру шторм стал понемногу стихать. Кажется, мы даже поужинали и запили глотком воды, хотя пить уже не моглось – куда? – как вода воду хлеба́ла бы. Кожа наша, после того как мы здорово обгорели в первый день, а потом сутки проморили ее под водой, напоминала уже лохмотья. Всю ночь под лодкой пыхтел и терся о днище, подталкивая ее, дельфин.

Наутро, открыв глаза, я не увидел ни моря, ни друга, ни лодки. На голову был надет какой-то рябой мешок. Попробовал шевельнуться. Мешок нехотя подобрал крыло, покрывшее мое лицо, и взлетел. К тому времени мы, похоже, подавали уже небольшие признаки жизни.

Прислушался: откуда-то рядом доносилось тихое шипение, легонький свист. Там, где крепилась мачта, из крохотной дырочки сочился воздух. Которого и так в лодке было с гулькин нос (может, потому нас и не опрокидывало во время шторма, что она тогда уже была почти как тряпка, полоскавшаяся в воде). И вот теперь она испускала последний дух. Времени, я прикинул, у нас оставалось около получаса.

Это были веселые полчаса. Просто захлебывались от смеха: вспомнили тот совет Алена Бомбара в его книге, ставшей для нас настольной, «За бортом по своей воле», где он говорит, что единственный способ в подобных условиях заклеить дырку – сперма. Но достать теперь то, что когда-то было известно чем, то есть просто найти это жалкое и униженное, где-то там, в трюме комбинезона, не говоря уже восстать с ним – задача из страшных волшебных сказок.

Ждали, поглаживая лодку, поглядывая по сторонам, поддразнивая этот свист. Думали ли, что это конец? Да, но как-то дружелюбно, без надрыва. Да и, видно, слишком изнурены были для подобных эмоций. И слишком молоды.

Ни через полчаса, ни через час лодка не затонула, что-то там произошло между воздухом и водой: после некоторых препирательств они как-то помирились мизинцами. Правда, над водой теперь возвышались только наши погрудные изображения. И в какой части моря и как далеко от берега мы находились, у нас уже не было никакого представления. Нас тихо куда-то несло, подгоняя волной.

И вдруг мы его увидели – берег, совсем призрачный. Это, как оказалось, была Арабатская стрелка, ее южная сторона. То есть, выходит, мы все же его переплыли.

А когда подошли к берегу, уже почти к линии буйков какого-то санатория, до нас донесся голос, оравший в рупор: «Эй там, на матрасе, кому говорю, не заплывать за буйки!»

Вышли, легли в песок. Домой возвращались товарняками. А потом созвали друзей, приготовили гуся с яблоками, украсили стол портвейном, ждали, надеясь поведать свою одиссею. Напрасно. Гости наяривали гуся, запивая стаканами. Героем стал гусь.

Дача Чехова

Находится она, как известно, в Гурзуфе, под генуэзской скалой, в маленькой бухте у самого моря. Прикупил он ее к ялтинскому дому, не совсем понимая, зачем, за какие-то баснословные деньги, на которые его развели татары. Там он писал «Трех сестер», сажал бамбук и умирал от тоски.

Теперь там музей, на зиму все экспонаты вместе с кроватью, в которую он не помещался, отправляют в Ялту. А летом, купив билет в музей, можно весь день проводить на диком чеховском пляже.

К тому времени (лет пятнадцать назад) было у меня две дочки. От двух замужних мам. О существовании первой дочки я узнал лишь пять лет спустя. О второй знал, но немного сомневался, что она моя. С обеими – и мамами, и дочками – отношения были ладными.

Семье старшей, жившей в Москве, я отдавал свою гурзуфскую квартиру на лето, а с младшей время от времени встречался в Крыму, они были из Севастополя.

В тот год старшей было, кажется, 10, младшей – 5. Обе не знали, что я их отец. И вообще, кто и что знал и не знал в этом пятиугольнике – ни я уже не мог ответить, ни кто-либо из его сторон.

Однажды летом я приехал на несколько дней в Гурзуф, там в это время гостила старшая с мамой. А мама младшей позвонила, сказав, что подъедет на полдня – повидаться. И пошли мы, чтобы не пересекаться, в эту укромную чеховскую бухту.

В тот день штормило, и с каждым часом шторм усиливался, заливая бухту. И вот сидим мы троим на последней сухой пяди и разговариваем. У нее, у младшей, в этот день все вертелось вокруг слова «кажется». Это тебе только кажется, говорила она, что это волны, и они заливают

нас. А мама, спрашиваю, а ты, а я – есть? Нет, повторяла она, это тебе только кажется, что мама, что я, ты – есть.

И тут вижу: волны гонят в бухту водный велосипед, на котором старшая с мамой, у них сломалась руль, машут мне. Причалили, выбрались, стоим на этом клочке суши, все пятеро, на одной ноге, прижавшись друг другу, окатываемые брызгами. И кто кому кто – бог весть, у каждого свой Чехов. Или это только кажется...

На полях

Восприятие Западом восточной практики жизни в настоящем времени (здесь и сейчас) сильно перекошено в буквальную сторону. Вне контекста прошлого и будущего ничто полноценно не работает. Кто такая мать, например? Палка-палка, огуречик? Просто речь идет о практике исправления некоторых перекосов – как позвоночника в привычно отсиженных позах – в нашей порою чрезмерной фиксации на прошлом или будущем.

85

Мамочка моя чудесная, Майя, 85 ей сегодня. Просилась в Индию ко мне в этом году, ждала, коротала ночи, перечитывая Даррелла и Набокова. Сходили сейчас к китайцам, навернули всё, что было в Поднебесной, запивая коньячком из фляжки. Живи, мое счастье, живи долго, живи изо всех своих светлых сил, и знай, что пока ты есть – я бессмертен.

Октябрь

Вспомнил, как где-то в 80-х снимал комнату в Москве. Надо было перекантоваться несколько недель. Пришел по объявлению. Хозяину под 50, зовут Октябрь. Двушка на Юго-Западной. За копейки. Не успел оглядеться, спешил. Вернулся ночью, проскользнул в темноте в свою дальнюю, лег, уснул. Просыпаюсь от тихого вкрадчивого голоса: «Сука, порешу...» Приближается, но на полпути замирает и движется к окну. «На правый борт, на правый, говорю, закладывай, сука!» – напевно так, в трусах до колен, майке и руки подняты, что-то держит в них. Свет лунный меж занавесок. Пригляделся: ба! – с топором идет. И не идет, а как-то плывет пританцовывая. И – переходя вдруг на высокий (у царских врат): «Детей в шлюпки, детей в шлююююпки!» И уплывает в свою комнату. И тишь.

Наутро он, конечно, ничего не помнил. К полудню со всего района к нему начали стекаться кореша. На кухне самогонный аппарат. К концу этих недель примерно такой дневной и ночной жизни мы обнялись и расстались. Я оставил ему свои сапоги, поскольку в носках на улицу он выходить не решался.

Улитка

Вчера происходило странное. Улитка взобралась на стол на веранде, куда вползти просто невозможно – поверьте на слово, чтоб долго не объяснять (стол на одной ноге, покрыт эфемерной скатертью со свисающими краями). Мало того, что взошла, так еще и оказалась на краю пепельницы, вытянувшись лицом к самому пеплу и исполняя над ним какой-то танец. Когда я приблизился к ней с камерой (расстояние – 10 см), она обернулась, глядя на меня и продолжая раскачиваться в воздухе. Я перенес ее на траву, она свернулась там в безжизненную нашлепку... такой климтовский куполок тусклого золота, без креста. И всё. Казалось бы, ну улитка, их тьмы тут. А весь вечер и сегодня тоже – как-то муторно на душе, что-то она хотела... а я не понял, сделал что-то не то, не так. А главное – вот это – не услышал, не понял, вошел в жизнь, в событие «через голову» происходящего, с самонадеянной чуткостью. Которая вроде бы прежде не подводила. Черта с два. Вся жизнь искалечена этой самонадеянной чуткостью.

Про Ерему (семь тысяч лет)

Москва, январь 2005-го, вхожу в гастроном, иду вдоль рыбного прилавка, остановился в задумчивости, о Введенском думаю. А продавщица мне: «Возьмите ангела». – «Что?» – «Ангела, – говорит. – Морского ангела. Легкой заморозки». Взял я ангела, домой иду, думаю, разморозить его не успею до «Речевых ландшафтов», в семь они.

Захожу в кафе. Смотрю меню. «Египетские блюда». Так и написано: «египетские». Под номером 3: «Семь тысяч лет». Это название. «Что это?» – спрашиваю. – «Закуска такая, горячая». – «Какая – такая?» – «На хлеб, – говорит, – мазать». Намазал я семь тысяч лет на хлеб и съел.

Прихожу домой с полным кулечком ангелов, телефон звонит: Саша Еременко.

– Серега, – говорит, – можешь приехать? Нужен бинт и портвейн три семерки. Кортик, – говорит, – у меня в животе. Кровь – есть. А портвейна нет. И болванку возьми. Перепишу Введенского тебе. Умрешь. Знаешь, как он читает? Голос – в пиджаке и с галстуком. Как Заболоцкий.

Купил бинт, портвейн, еду на Патриаршие. Бред, думаю, не может этого быть, и еду.

– Портвейн, – говорит Еременко, – потом Введенский, – и зубами бинт рвет. А пробка в бутылке немислимая какая-то, уже и сквородкой по напильнику, всунутому в ее горло лупим, пробка раскрошена, брызги в лицо при каждом ударе, а все никак... Ставь, говорю, Введенского. И тут голос – филармонически-ангельский:

Так сочинилась мной элегия
о том, как ехал на телеге я.

– Так это же голос Ровнера, – говорю, – Аркадия.

– Какого такого ровнера? – протолкнув, наконец, пробку, подымает голову Еременко. Да, думаю, глядя на него: семь тысяч лет, семь тысяч.

Марина

Нет, еще не пора. Не к концу сентября, когда местность, как после соитья, лежит разметавшись во все края и всё в ней чуть под углом друг к другу – море к берегу, небо к поселку, горы к горам, чуть отвернувшись, с тем же чутким зазором вины и родства. С тем же взглядом, косящим чуть в сторону, – как по холодному полу идешь босиком, поджимая пальцы, чуть в сторону, как после близости. И повсюду этот стыдливый зазор с пустотой неумелой – меж землею и небом, дорогой и домом, водой и губами. Эта тяга родства и обратная тяга – к его отторженью. Только спайки тоски с этой ноющей сладковатой виной.

Это потом только он стал различать: худенькая, размашисто легкие ноги, танцующий ветерок меж ними, родное, с утренним щебетом и волновым восходящим светом тело ее, и лицо – весеннее, к небу поднятое, и веселье волосы чуть набекрень, из-под челки – две голубые тайны, одна чуть блажит в прищуре. Это потом – губы с чуть приподнятыми уголками детства, теплые нежные, почти как воздух, когда его осторожно пьешь...

Маленький, свернувшийся калачиком, заснеженный городок. Он подходит к ее дому, она смотрит на него из окна и не видит – во тьму со света. Входит, берет ее на руки, улица безжизненна, только одна вывеска мигает, заметаемая снегом: З...ГС. И он опускает ее на землю лишь после того, как выносит ее на руках из этого ЗГС, и она все никак не может собрать свои губы в это щекотное слово: жена, жжжена, а он дышит в ее вздрагивающую шею за меховым воротником: мууж, муужжж...

Пока заживают зазоры, оставляя рубцы между людьми, словами. Пока догорает вина, помнящая о родстве. Пока остывает земля, уже протравленная к утру проступившим инеем. Не сразу, но к ноябрю.

Центрифуга

Есть события в жизни, которые однажды случившись уже никогда не кончатся. И тебя развихривает эта бесшумная центрифуга внутренних колец ада и вышвыривает за свои пределы,

и снова втягивает, не проронив ни звука. И всё это происходит как бы не в тебе, а в белесой стороне – той, где ничто не кончается.

Чёс

Проснулся я в своем крымском наполпутидомике над морем от неизъяснимой песни под окном. Пел ее Чёс – последний барбос на земле, он же – Кузя и Рыжий Кадмон. Нет такого запаса воздуха, чтобы так долго длить эту фонетическую одиссею на одном выдохе (или вдохе – как волки?). Он ветвил и лелеял, и мучил ее, эту немисливо высокую (девочка пела в церковном хоре...) ноту, нисходящую к сердцу и вновь набирающую высоту. Песнь его замерла, казалось, лишь когда, изогнувшись над морем, коснулась Константинополя.

Я вышел. Он уже лежал, положив голову на лапу, глядя вдаль, поверх поселка. Вчера он совершенно отчетливо произнес: мама! И чтобы у меня не оставалось сомнений, повторил еще дважды. Лола? – переспросил я его, имея в виду ту великую суку, обвешанную всеми псами округи, она отбивалась от них, заняв позицию в гроте, здесь, за спиной этого наполпутидомика, пока один не прыгнул с пятиметровой скалы вниз, в сквозную дыру в своде этого грота, так были зачаты двое – Чёс и Нечёс.

Мааама, повторил он, и завалился на спину, обхватив лапами голову.

Это вчера. А сегодня, вернувшись в домик, я увидел в умывальнике сверчка, что-то неладное с ним творилось – видно, он хотел покончить с собой – после той песни за окном, по профнепригодности. Вынес его, полубоморочного, в сад. Сварил кофе, смотрел на море – тихоня. И горы стоят, как ни в чем. Поселок чуден – ни одной людской помехи, один я. И два кота – лежат свастикой, греются.

Вернулся. Посмотрел на ютубе 20-минутную речь Саши Скидана о книге Аркадия Драгомощенко «Исключение неизвестного». Рад очень – обоим. Такая редкость по нынешним временам – не мандельштамовых разговоров о Данте.

Пойду Гешу будить – завтракать. А потом пойдем с Чёсом прогуляться по Пушкинским местам. Или Чеховским.

Программа

За последние полвека уничтожено 55% животного мира Земли.

Не пора ли ввести Всемирное Чрезвычайное Положение?

Но совсем не то, что вы думаете. Никакой «защиты природы» и пр. – на этом пути бед от людей едва ли не больше, чем добра.

Нет, чрезвычайное, то есть с (по возможности) полным освобождением от людей оставшихся природных территорий, с мораторием на вторжение – лет на 100.

Да, вот с такой жертвой и повинностью. Жесткая, планетарная программа с исполнением в ближайшие 10 лет, большего времени у нас нет.

И хватит уже циклиться на себе любимых и богоизбранных.

Соснора

Лет семь назад приехал к нему, думая записать разговор о том, о сем, преимущественно о творчестве, о литературе... И вот мы в его крохотной однушке на выселках Питера уже третий час, я пишу ему вопросы на бумаге, а он – небесный всадник – сидит на кушетке, прижав колени к груди – маленькие белые ладони ребенка-гения – и говорит о своем детстве, глядя в окно, и мы прерываемся на перекур (ему нельзя), запираясь в тесной хрущевской ванной, и возвращаемся, и он продолжает рассказывать о детстве, о детстве и только о нем, и голос его, себя не слышащий, доносится будто из ассирийских далей, хотя и звучит рядом.

Люба

Божечки-боже, неужели 30 лет прошло? Вчера показывали фильм о Чернобыле по «Культуре». Не совсем на том пути фильм, но не в этом дело. Там лейтмотивом на экране появлялся человек лет сорока, в камуфляже, бродил по пустынной зоне, по руинам Припяти, перебирал брошенные остатки жизни в ДК «Энергетик», говорил о маме – очень красивой женщине, ставшей в свои 35 инвалидом, живущей в Киеве, с тех пор почти не выходя из дому...

Той самой, что так любила меня тогда. Приезжала в Киев ко мне. С этим мальчиком. И без. И имя у нее было – кто б мог подумать тогда, что до такой степени – Любовь Сирота.

Работала она в этом ДК художественным руководителем, ставила спектакли, по Цветаевой, например. Я помню, как горячо она обсуждала это со мной. А я смотрел на ее волосы и думал: когда волнуется желтеющая нива...

Что я помню? Почти ничего. Кажется, о шумерах я помню больше и вижу ясней, и, главное, более цельно, чем свою жизнь. Даже не руины, а какие-то разрозненные полуфразы, которые уже никогда не сложить.

Я приезжал в Припять. Выступал там, немножко жил, дружил. Может быть, был последним из приезжих, кто ходил по тому самому четвертому блоку незадолго до взрыва, и еще, кажется, пошутил, глядя на эти приутопленные стержни в полу: а что если рванет, и полетят они журавлиным клином над полями-лесами...

А потом, когда рвануло, мы возвращались с поэтом Ильей Кутиком на попутках из Питера, куда поехали с ним и Алешей Парщиковым на вручение Белого, кажется... И как раз, миновав станцию Дно, мы с Ильей приблизились к Гомелю с заволоченным небом, заночевали в кювете, в лесопосадке, просто притрусив себя сверху валежником, умывались в озере – как раз на следующий день после аварии, когда всё это волокно ветром на Гомель.

А потом, в Киеве, уже наполненном беженцами, я отдал свою квартиру двум Любам – Сироте и еще одной... Как же ее звали и где она теперь, жива ли? А сам перебрался в Глеваха – опустевший поселок в пригороде, где писал «Станцию Дно» и ходил в высоких сапогах и плащ-палатке по полю, глядя на ворон, промахивающихся мимо своих очертаний.

А потом в Германию пригласили чернобыльских детей на отдых и лечение, первую группу, и родители очень волновались их отдавать незнакомым сопровождающим, и попросили меня поехать с этой группой. А приглашение было от очень богатого Ротари-клуба из предгорья Альп, не миллионеров даже, реявших над деревнями на своих самолетах и очень старавшихся искренне перешеголять друг друга в опеке детей и подарках им. С явным перебором, и мне приходилось как-то настраивать баланс меж ними.

Эти милые магнаты и меня хотели всячески облагодетельствовать, за пару минут, так сказать, решить судьбу, но я сказал, что я тут никакой не писатель, а с детьми, и вообще мне ничего на свете не нужно, всё есть, так оно и было. Вернулись, поездка для детей оказалась на удивление светлой и полезной. А я вытряхивал отовсюду эти ворохи визиток банкиров, министров и др.

А потом, это было уже начало 90-х, меня попросили поехать с первой группой, отправляемой в Штаты, где было уже более ста детей. В выданный мне мидовский паспорт вклеили около 20 детских фотографий – на каждой странице по ребенку, дали как руководителю 20 долларов на месяц, построили сто с лишним детей и отправили. В никуда.

И вот это уже никак не расскажешь. Похоже на безудержный триллер, который память держит в каких-то темных погребках и давно замела туда дорогу.

Приглашающей стороной оказалась Церковь Четвероевангелия из штата Орегон. Эти жулики во главе с нашим бывшим выходцем отыграли какую-то рекламную кампанию по этому публичному жесту и уже умыли руки перед нашим приездом. В Нью-Йорке, где нас должны были встретить и посадить на самолет до Портланда, никто не встречал – ни людей, ни билетов, ни денег, ничего, ночь. И это были только цветочки. Потом, когда мы добрались, детей вмиг разобрали по машинам какие-то посыльные и увезли во тьму. Меня тоже.

Я оказался далеко за городом, в детской каморке, один, с фосфоресцирующим потолком в виде звездного неба и многодетной семьей, которой меня сбагрили. Наутро я добрался до города, нашел этого главаря «евангелиста» и на вопрос о детях, получил ответ – не соваться не в свое дело, пока цел. Пошел в ближайшую газету. И тут все началось уже по-настоящему.

Месяц я, то есть эта все более накалявшаяся история, не сходила с первой полосы, наряду с войной в Бенгальском заливе и Бушем. Меня выкрадывали, бросали на безлюдном океане, я добирался оттуда на частном самолете, прилетевшем за мной из Канады и нашедшем меня по костру на берегу, потом мы кружили над городом и я давал интервью ТВ, а камеры отслеживали нас, кружащих. Потом приезжали какие-то переговорщики из Конгресса, сулили туманно многое. Потом я находил поутру надписи на доме, в котором жил: остановись, плохо кончишь. К тому времени меня уже узнавали на улицах, окружали, совали визитки, вообще «простые американцы» были горячо на моей стороне, следя за событиями, предлагая всяческую помощь. Я давно уже переселился к одному дядьке – владельцу автоколонны, которая, как он сказал «если что – в твоём распоряжении». Звонили с атомной станции – предложили бесплатное обследование детей у них, автобусный парк дал бесплатно автобусы, детям сделали это дорожущее обследование, и вообще – уйма всего успелось, не говоря о веренице моих выступлений – в университетах, колледжах и различных организациях – о Чернобыле, с объявленным сбором средств, собраны были несколько миллионов долларов, отправлен корабль в Питер с мед. оборудованием и медикаментами... Вот пишу сейчас, и трудно поверить во все это...

А возвращались мы на тяжелом бомбардировщике с военного аэродрома, откуда позвонили после очередного моего интервью в газете и предложили решить эту проблему нашего перелета в Нью-Йорк. Я помню, как подсаживал детей в этот люк на брюхе бомбардировщика и руки американских десантников, подхватывающих их из тьмы этого люка... В аэропорту Кеннеди выделили и оцепили посадочную полосу для нас.

Что я помню? Память выселена, как та чернобыльская зона, кто-то там бродит еще, живет... Ничего не понять, не успеть, не совладать, не собрать... И как это все соотносится с вот этой, например, моей Индией, со вчерашним же приглашением в рай... Как это и где живет в одном человеке?

Здравствуй, Люба... Любушка Сирота. У тебя вырос хороший настоящий сын.

Вопрос

Есть вопрос, на который вроде бы есть совершенно очевидный ответ. При этом факты ему противоречат. Понятно что, природа не просто первична по отношению к культуре, можно думать и говорить что угодно, но без дыхания речь не получится. Реальный опыт связи с миром первородных вещей – у единиц, большинство, в том числе, большинство крупнейших писателей и поэтов, похоже, довольно далеки от такого опыта. Который не книжное знание, не генетическая память, а личный – не из вторых, третьих рук – проживаемый опыт, знание кожей, родство зверя с джунглями. И никакой гений не способен покрыть это зияние, поскольку здесь затронута не периферия, а основа живой ткани, сердце жизни, способ ее существования. Когда тигрица выходит на охоту, вся пластика ее движений, интонация «хода», вся партитура ее чувств опирается на это «знание». Любая ошибка, неожиданный хруст ветки под лапой, ломает карту дня, охоты, жизни. Ровно такой же «ход» лежит в основе движения любой строки, связи слов, повадки развертывания. Да, понятно, с поправкой на особую местность, среду – культуру, искусство, в данном случае – текст. Но в основе – те же универсальные законы живой материи. И видно – сразу, с первых же шагов, строк – как ломается эта «ветка» у 99 из 100 лучших из пишущих. И всё, дальше читать невозможно, «охота» сломана, уже никого нет. (Кому это видно? Тоже вопрос. С точки зрения обитателей вольера, поведение каждой особи выглядит вполне аутентичным, и чем дальше – тем меньше вызывает вопросов.) Не случайно Бродский, дав крайне высокую оценку Парщикову, замечает (с его точки зрения) нехватку просодии, мол, «виденье», его способ превращений в тексте настолько феноменален, что порой это происходит

в ущерб просодии. Именно. Вольерной просодии. Потому что правда музыки, та, что диктует «ход», находится не там, не в «литературе», а в той «тигрице», на свободе. И смысл текста – всегда следствие этой суммы перемещений, поведенческой пластики, опыта «свободного зверя» в лесу. Смысл вторичен, но зачастую читатель, а нередко и пишущий – с него начинают. Но вернемся к началу. Вот, скажем, Гумилев, Волошин, не говоря о Хемингуэе – вроде бы авторы не лишённые опыта связи с первоуродными вещами. А с другой стороны – Блок, Мандельштам, не говоря уж о Кафке, вмурованном в картонный домик.

Не сходится. Нет ответа.

И конечно (или надеюсь), никакой воды я на свою мельницу не лью в этом вопросе. К себе у меня претензий и так хватает, в том числе и на этом поле. Но сам по себе вопрос интересен. И вообще, скажу крамольное и детское. Вот смотрю я на человека, как он делает несколько шагов, например, за чашкой, берет, ставит на стол. И всё. Всё понятно. У одного вся вселенная при этом тихо и незаметно валится, а у другого – так же незримо – поёт. И то, что оба, допустим, люди пишущие, и письмо второго нередко вызывает разочарование – не удивляет, а вот то, что первый нередко оказывается у вершин письма – да, необъяснимо.

Олеся

В ту пору я был немного женат. Она была из Рязани, приехала в Киев к подруге на несколько дней. Подруга нас и познакомила. Дальше началось неизъяснимое. Кажется, мы не произнесли с ней ни слова, просто вдруг совместились и стали одним – мучительно безымянным, бесчеловечно родным. Близость – безотчетная, нежнейшая, крошечная – началась уже в такси и длилась пятнадцать часов кряду, в какой-то квартире, на полу, застеленном узорчатым ковром, и мы плыли по этому ковру из угла в угол, лежа, так, что к утру вся кожа на спине у нее и у меня на локтях и коленях была содрана, но мы этого не чувствовали, встали и, пошатываясь, расстались.

Она поехала в Рязань, а я пошел в Оперный театр, куда устроился сторожем на время его реставрации. Влез на купол, лег там, как на палубу корабля в шторм, и смотрел на качающийся на волнах город. И прижимался животом к этому куполу, под которым стояла сумрачная бездна с воткнутым в нее осиновым колом солнечного луча и плывущими вокруг него мусоргскими лебедями.

Вскоре я поехал к ней, была зима, я нашел ее окошко, и мне показалось, что я вижу ее за морозным узором на стекле, что она смотрит в эту мглу за окном, в эту тихую безлюдь – день за днем, тысячелетья. Вошел, взял ее на руки и вышел во тьму, где единственным огоньком – на той стороне улицы – была мигающая надпись: «З...ГС», и вернул ее на землю только когда ошалевшая директриса нас расписала. Потом тормознул какой-то случайный пустой автобус, и всю ночь мы танцевали в проходе между сиденьями, а водитель медленно кружил по городу сквозь снегопад.

Так мы жили потом много лет, встречаясь и расставаясь, не как муж и жена, а как праздник свободы и авантюры родства, чем и была эта роспись.

Да, я ведь не о ней собирался сейчас говорить, а об Олеся, заговорился. Олеся возникла не помню как. Кажется, на одном из перформансов моей «Игры в дым», и осталась у меня на какие-то дни. Образ ее, помнится, был сродни лесной мавке, но тепло-прозрачный, сентябрьский. И еще осталась память об абсолютной гармонии с ее лоном, такой естественной, простой и чудесной, каких, кажется, не бывает. Что же тебе мешает, – сказала она, листая у окна мой паспорт, – вот этот штамп? – и с дивной медленной улыбкой отрывает страницу и опускает ее за окно. И я вижу, как этот листик летит, кружась...

Страничку я вклеил, Олеся исчезла, с женой мы развелись, но много лет и листьев спуска.

Блинец

Не живем ли мы с незримым близнецом внутри нас?

Я имею в виду, способны ли мы различать то, что не имеет отличий от нашего ощущения (недискурсивного «знания»? – сложный момент) себя?

В отличие от «других» в себе, которых различаем и выстраиваем отношения. И не являются эти «другие» посредниками между нами и этим «близнецом» в слепом пятне?

Ковчег

Речь пойдет о «Ковчеге» – лит.-худ. издании, которое я придумал и выпускал в середине 90-х в Киеве. Но, похоже, я несколько тороплюсь с этим. Поскольку внятно ни показать, ни рассказать об этом не могу. По нескольким причинам. Во-первых, это само по себе непросто. Во-вторых, мой сканер А4 формата, а «Ковчег» – вдвое больше, а если смотреть страничными разворотами (а только так и нужно, поскольку это у него минимальная единица восприятия (и графического, и семантического), как такт в музыке, то я здесь могу показать лишь бессвязные четвертушки страниц, скорей похожие на запчасти. Ну да бог с ним. Может, Варел, который был ошую этого дела, подсобит, скажет что-то более внятное. А пока – небольшая зарисовка, когда-то написанная о «Ковчеге».

Да, вот еще. Первый тираж этого «прекрасного безумия» (которое поначалу еще называлось «негазета») был 1 млн. экз. По штуке в каждый почтовый ящик города. Кроме того, мы хотели еще нанять кукурузник и посыпать город остатком. Потом, перейдя на «изделие», мы стали более сдержаны, – его можно было выписать по подписке Союзпечати. Мы – это я. И спонсор. Потом подключился – Саша Чернов, потом Варел Лозовой и Дзын. Выходил «Ковчег» с 1994 по 97. В каждом номере 16 страниц А3 формата.

Киев, середина 90-х, ночь. Институт археологии, актовый зал, в дальнем углу – верещагинская горка черепов с цифрами на лбах и метками на затылках. В другом углу – вязанки костей. Между ними – допотопный ксерокс, из-под крышки которого торчит веник. У стены – длинный «президиумный» стол с бурлящими колбами, книгами, порошками, суспензиями и пр. алхимической ересью. Пол застелен бумагой А3 формата с наклеенными поверх, встык и внахлест фрагментами текста и графики. Между указательным и большим пальцем он держит букву. Или не букву – какой-то смысловой завиток. Вглядывается в лежащий на полу разворот страниц, там два с половиной тысячелетия, девять языков, 12 государств, 29 авторов. У каждого – своя среда. Семь каллиграфов работают над образами отобранных текстов. В углу стоят рулоны каллиграфии. Около тридцати метров, написанных от руки. Это было б страниц десять на компьютере, от которого он отказался, используя его лишь для подсобных работ, нетворческих. Внутреннее развитие некоторых текстов требует смены характера записи, а порой и материала. Тушь, сухая игла, утюг через копирку, сапожный клей по факс-бумаге, растворы, затирки, вода, огонь, термические хитрости. Но перед тем – работа с бумагой, то есть миром, куда войдут, обживая его, персонажи. Потому что страница – не подстилка для текста. Значит, прежде нужно создать, найти свойственный именно этому тексту ландшафт, климат, визуальную акустику восприятия. Например, к этому выпуску собран архив узлов и разрывов, отпечатков волос, веревочных лабиринтов, линий ладоней, радужных оболочек, клейких путей улиток, нитяных мотлохов, увеличенной на ксероксе жизни ткани. Речь о дискретности, о белом письме, о слепых пятнах теста, о синкопах синтаксиса, о семантических задержках дыхания, о пранаяме слова, о нитевидном времени, этимологически восходящем к веретену. 29 авторов, из разных времен и углов света, будут неявно, исподволь говорить об этом, и тексты их будут перетекать друг в друга, не смешиваясь, но и не отгораживаясь от симультанных отсветов. Незримые голосники, вмурованные в бумагу, суггестивные переходы смыслов – от влажных к сухим, от света к тени, от дворика к дворику, как в кайрских кварталах. Чье-то белье на веревке, граффити на камне, голоса с улицы... Тексты, графемы – и крупные и крохотные, величиной с детский ноготь, наклеиваются на страницу, которая о времени превращается в многоярусный палимпсест. Наконец, он вклеивает и эту, последнюю, буквицу-небылицу, похоже, там, где ее никто и не увидит. Но без этого, почти недоступного зрению, визуального обертона, как мнится ему, не придут в движенье все елки

на свете, все золотые шары... А в жизни разве иначе? Линейно, последовательно? Это потом Ламарк приходит, лесенкой обувь выстраивает. А вот безвестный Караманов, композитор, с которым Шнитке учился, считая его гением, а себя головой пониже, живет (умер недавно, – С.С.) в симферопольском пародонтозом дворике и пишет симфонии, для исполнения которых необходимы девять больших играющих одновременно оркестров. Кто слышит его музыку – ангелы? Рыбы? И кому нужны эти нотные лестницы Иакова? Нужны, значит. Недешево я беру, сказала ведьма русалочке. Может, пришла пора схимы культуры, нового средневековья? Куда пришла? К кому? Здесь не живут такие, съехали.

Снег сыпет в окна. У входной двери – привратник, спит, опустив голову на стол. Все, что осталось от института археологии – бесхозная горка черепов из прошлогоднего раскопа. Тусклый мигающий флуоресцентный свет. В дальнем конце зала, в полутемном углу сидит фигура с неясными чертами лица. Сидит на корточках, молча наблюдая за ним уже не один час. Теперь, когда за окнами уже светает, фигура встает, подходит, протягивает руку. «Сергей», – говорю, пожимая. «Как назовешь», – отвечает. Странное лицо. Между инком и иноком. Чуть женственное? Да, быть может. Но как бы сквозь опиумную дымку. Креол? Перуанец, сошедший с гор? Легкая, пружинистая походка, чуть раскачиваясь, будто нога еще помнит тропу. Длинные черные волосы, убранные назад, за спину. Быстрые, точные движения, оттого кажутся как бы замедленными. Одежда, шитая, видимо, им самим, сумчатая, лоскутная, как легкий пешеходный домик с флигелями и тайниками. Ждет с улыбкой. Не лицо, а книга перемен. «Дзын, – говорю. – И. Дзын». – «Хорошо, пусть будет Игорь Дзын». Так стало нас двое.

А потом, что ли, месяц спустя, возник Варел, и мир потек через край, четвертому в нем уже не было места. Пришел он, как и Дзын, ниоткуда, на свет в окне. Длиннополый холщевый хитон, на боку – меч, за спиной – барабан. Китайский монах, воин, сновидец. Один глаз – вперед вперен, другой – чуть закатившийся вверх, к небу. Тот, что к небу, кажется, лет на пять старше. «Да, – говорит, глядя на ковчежные листы, рассыпанные на полу, – похоже на лесбийскую свадьбу вавилонской башни с башней слоновой кости».

Чуть запрокинутая голова и этот легкий посвист на вдохе – будто выуживает из воздуха эти, еще не легшие на язык, слова. Он ходил по утрам на Лукьяновский рынок, бил в барабан, дул во флейту, брал овощами, клал их в ту же котомку, где лежал томик Хлебникова и Сквороды. Возвращался в отгороженную коморку, писал картины а ля таможенник Руссо. По сравненью с его речевым запасом, ящик Пандоры казался паинькой минимализма. Но на волю слов он отдавался не с каждым. Напротив, производил впечатление молчаливого, чуть юродствующего в своей косноязычной замкнутости человека. За отсутствием равного собеседника его кромешные речевые игрища проходили наедине с собой. Его скорость ассоциаций в деле напоминала разгар сабельного боя. При том, что там, в гуще, в мельтешении сабель, его никогда не было. По весне он шел сквозь город по реке, прыгая с льдины на льдину, с самурайским мечом на боку. А потом, в небе, на вершине ржавеющего лыжного трамплина, покрывал возлюбленную подснежниками, приговаривая: «Не все на свете так умпостижимо, не все...»

Дзын рос в Алжире. Вслушивался в рост растений. Долго. Как обычно не происходит у большинства из нас. По слогам читал воздух, свет, воду. Учился каллиграфии внимания, учился чтению – медленному, как минерал. Присматривался к ремеслам. Руки жили чуть впереди, с делом. А тело жило с собой, как брат с сестрой. А голова была к небу развернута, которое не всегда вверху. Письмена читала, травку покуривала, со звездами говорила. А ноги выхаживали бездомье. Варел тем временем осваивал духовные практики Китая, родил трех сыновей от разных стихий, издал тезаурус своих сочинений, продолжал занятия живописью и архитектурой, ездил на семинары по работе с тонкими энергиями, перемещал облака. Дзын двигался в сторону Киева, приращивая территории ручного ремесла и обиходной магии, на ходу перерастая персонажей Коэльо.

Радость, ни с чем не сравнимая – от этого дара встречи, когда трое стали одним в этой ковчежной лодке.

Язык и небо

Подумал, что всю жизнь – с детства – был счастлив. И в отчаянье тоже. Хотя бы тем, что всегда и только – делал лишь то, что хотел и любил. Что никогда не был зависим ни от чего. Что всю жизнь шел один. И жил там, где хотел, но и не придавая этому особого значения, понимая, что все эти «там» – будь то Россия, Индия, Украина, Америка или Европа – не более чем психоландшафты (до тех пор, пока не отстреливают). А здесь – лишь язык и небо. И за все это счастье расплачиваешься соответственно.

Ссылка

Сегодня ночью Данте Алигьери дал ссылку на свой развернутый текст о моей книге «Ее имена». Ссылку не виртуальную, а буквальную, по которой надо идти дорогами и тропами... Ни-когда мне не снился ни Данте, ни книги мои, настолько странно, что я, перевернувшись, отвлекся на другой сон.

Третий путь

Я попробую сказать об одном из самых сильных, неизъяснимых, интимных переживаний в моей жизни. Не думаю, что я слажу с этим, тем более в двух словах, и буду при этом хоть сколько-то правильно понят. Но рискнем.

Середина 2000-х, зима, гуляем с моей 19-летней дочерью по Замоскворечью. (Здесь небольшое отступление. Был у меня когда-то милый короткий роман в Киеве. А семь лет спустя – звонок в дверь: она, с шестилетней девочкой, до одури похожей на меня. Она с мужем теперь в Москве, а девочка – в Киеве, с бабушкой. Мы подружились, очень, хотя до своих 12-ти она не знала о том, что я ее отец. Пока однажды в Гурзуфе мы с ней не укатили на водном велосипеде далеко от берега, и она там все выпрашивала лукаво: а что это мы так похожи с тобой? И здесь, и вот здесь... и любим с тобой одно... И так далее, пока прямо не спросила о главном. И от счастья свалилась за борт, и там, уже оба мы – тонули и всплывали с этой безудержной радостью, и лупили ладонями по воде. Ну много всего было потом – и походы, и пещерные города, и тьмы разговоров и приключений... Затем она переехала в Москву, поступила в универ на лингвистику, встречались мы реже.) Да, так вот идем мы по Замоскворечью, подмерзли немного, поздний вечер, зашли в клуб «Третий путь» (полуквартирник такой был, не знаю, есть ли сейчас), музыка, много народу, сидим у барной стойки, разговариваем, попиваем что-то коктейльное – одно, другое, и как-то так хорошо на душе, и хмель такой неявный, но кажется, и ему, хмелю, так хорошо с нами – сидеть, разговаривать, улыбаясь, чуть покачиваясь в такт музыке. Я отлучусь на минуту, – говорю ей. Иду в туалет, выхожу, а там, на выходе, тамбурок такой полутемный – между баром и танцевальным залом, где какой-то блюз звучит, тени топчутся и световые мурашки по стенам и потолку плывут. Но всего этого я уже не вижу. Потому что давно стою, обняв женщину, обнявшую меня. Я столкнулся с ней прямо на выходе, в темноте, так, что и лица не увидел. И как это произошло, я не знаю. Просто была одна жизнь, и кончилась, я вывалился из нее, из времени, из всего, что было со мной связано. То есть не со мной, потому что только сейчас я нашел ее – эту женщину, такую родную, такую мою, что если б я мог заплакать, они б, эти слезы, текли ручьями – от счастья, от нечеловеческого счастья этой встречи, этого дара, которым, наверно, нельзя так людей испытывать. С такой сметающей всего человека силой нельзя. И вот мы стоим в темноте, прижавшись друг другу, еле касаясь губами, ресницами – так, что лица я ее не вижу, но и видеть не нужно, – может быть, и прикрыты они у меня, глаза. Потому что все уже произошло, она здесь, со мной, мы одно, единое, и это уже навсегда. Разве спрашивают имя у навсегда, разве заглядывают в лицо единому? Да, быть может, но не сейчас, потому что в этот миг – чуда – это совсем не важно. Незъяснимое чудо – вот и вся недолга. А я, грамотей, дурачина, думал, что-то должно предшествовать – тропки-дорожки, взглядыванье, узнаванье... Нет же! Вот так, и только – вдруг – чудом. Кто ж эта женщина, которую чувствую каждой клеточкой тела, с которой живу и

стою здесь прижавшись вот уже тысячу лет? Точнее, лечу в этом звездном потоке, – земли и в помине нет под ногами. Кто она – с моими ладонями на ее щеках, или ее ладонями на моих? И я все стою с закрытыми глазами, а она тихо так отдаляется, как отплывает, но мне не страшно, то есть светло и страшно, но лишь потому, что мы нашли друг друга и уже ничто не может нас разлучить, выронить, потерять... Она где-то здесь, как и я для нее – где-то здесь. Мне спокойно, так светло и спокойно, как никогда, только сердце дрожит, но не от тревоги, от счастья. И я возвращаюсь к барной стойке, мы продолжаем о чем-то разговаривать с дочерью, что-то еще заказываем, я вижу ее губы, но голоса не слышу, то есть и слышу и нет – меня относят туда, в только что случившееся. Да ты не слушаешь, – говорит она, – где ты? И я рассказываю ей – сбивчиво, об этом. У нее такое лицо изумленное. Разве ты, говорит, не понял? Это же я была.

Дикий Кур

А знакома ли вам эта бездна между просто ужасом и ужасом тихим? Я ступил в нее в четырехлетнем возрасте вслед за Диким Куром. Не больше страницы занимал этот Кур, но застил весь свет – и тот, и этот. Куд-куда, куд-куда... – вьется Кур у ног путника, заморачивая его, сбивая с пути, уводя все дальше. И вдруг озирается человек и видит: бездна – и под, и над, и во все края. А где ж дорога? – спрашивает он. – А нет ее, – шепчет Кур. – А где ж мы стоим? – обмирает человек. – А нигде, – водит глазами Кур, растворяясь во тьме.

Эту русскую сказку, переписанную Алексеем Толстым, я просил отца читать мне перед сном снова и снова. И все попытки его прочесть мне других сказочников – Андерсена, братьев Grimm – ни к чему не приводили. Кур вился у ног. Куд-куда? Куд-куда? На Кудыкину гору – отвечай, чтобы не сглазить, не закудыкать дорогу. Пока не поздно. Мне уже было поздно – в четыре.

Борхес

Наткнулся в сети на давнее интервью Алеши Парщикова – тех времен, когда он, помимо прочего, был занят в Кельне англоязычным интернет-проектом «Стихотворение на каждый день», а я в Мюнхене занимался проектом гигантского города-лабиринта «Фигура Времени» и писал книгу «Книга»:

«Посещая сайт “Слово в день”, я начал замечать разного рода совпадения. Есть такой поэт Сергей Соловьев, который болен борхесовскими лабиринтами, пишет о них книги. В день, когда он приехал ко мне в Кельн, чтобы ехать дальше в Амстердам, пришло слово “лабиринт”. Хорошо. Соловьев заказывает машину, чтобы ехать на вокзал. А там форма заказа, что если частная машина едет мимо, она тебя подбирает, а ты потом расплачиваешься как за такси. Ему попадаетея какая-то женщина, которая везет его. Приезжают на станцию, она заполняет бумаги и в графе фамилия пишет – Борхес. Она танцовщица в каком-то театре и понятия не имеет о писателе. Сережу это потрясло. А вообще такие совпадения, которые ты, радуясь, воспринимаешь в течение дня, очень быстро забываются. Как добрые сны, как приснившиеся стихотворения».

Не она

Второй день не могу справиться с неизъяснимым потрясением, просто тихо скольжу в эту бездну.

На «Культуре» показывают фильм о Льве Толстом. Он женится – как-то второпях, за две недели, ему 32, Софье – 18. Наутро после свадьбы он пишет пять букв: «Не она».

Вот если б Господь на утро седьмого дня сказал, глядя на мир: «Не он», я бы особо не удивился. А тут... Для тех, кто понимает.

Крым

Когда в 1989 я махнул свою киевскую квартиру на Гурзуф (кстати, до сих пор прописка у меня крымская), я ухнул в одни из самых счастливых лет своей жизни: бродил по яйле в стадах оленей

(тогда живых еще), втыкал палки в свалившийся на меня при обмене огород, и они расцветали – то инжиром, то персиком, а семена протупали то дынькой, то хреном, мускат стоил 2.50, я писал книгу «Дар смерти», которую потом набирала в крымской степи под Белогорском наборщица-доярка, а мы с редактором возили ей в сумке свинцовые буквы латиницы, море, по Чехову, «пахло арбузом», мы с моей рязанской женой тонули в кисельном счастье и совершенствовались камасутру повсюду – от ветвей деревьев на спине Аюдага до обочин дорог, а когда в нач. 90-х не стало вначале горячей воды, потом холодной, потом отопления, потом электричества, и зимним штормовым ветром высадило окно в квартире, и начало ее вместе 5-летним сынишкой засыпать снежком, мы весело ее бросили и сняли курятник в Ливадии, который оказался пристройкой к бывшей конюшне Николая II. Так вот, несколько позже, когда я уже был один, в зимнем Гурзуфе, и электричество давали ровно с 6 до 9 вечера, и все в этот момент одновременно включали в сеть все, что только можно (при отсутствии отопления и газа), и тут же электричество вырубалось, не выдерживая напряжения, а электрика ждать можно было неделями, я помню, как повесил в своей парадной объявление – мол, давайте соберемся у меня сегодня в 19, дверь открыта, я знаю, как решить проблему – хоть отчасти: создадим график, чтобы не одновременно вышибать пробки. Как говорил Маяковский: «В семь, сказала Мария. Восемь, девять десять...». Так никто и не пришел. И стояли у окон всю зиму, как в летаргии, в телогрейках, прижимая детей к груди. 8 месяцев летаргии, 4 – сезон. Это и есть время, крымское. Другого нет, часов тут не носят за ненадобностью. Индусы тоже не носят, но по-другому: нет начала времен, нет отсчета, есть 12 календарей – вроде комикса. Но чтут письменность, в отличие от. В те же годы я много писал о Крыме (потом это собралось в книгу «Крымский диван»), сегодня всплыло одно шутовое стихотворение оттуда – сегодня оно читается уже несколько иначе.

Крым похож на цветущий лобок
Тайна ног – в пучеглазой пучине.
Вероятно по этой причине
Здесь бывали и Пушкин и Блок.
Его бедра – крутой Тарханкут
и крутой Казантип. И попарно
там росли созревая татары,
плодоносил кацапокугут,
в море греки впадали, и Грин
разбавлял феодорино горе,
минотавры паслись на просторе
и щипали плакучий раввин.
Много леты текло. И у скал –
В красной шапочке солнце оскал
волка черного моря в овчине
пены разоблачило. В ночи не
шевелинется ни дьявол ни бог.
И ни Запада нет, ни Востока.
Остывает цветущий Лобок
и целует звезда между ног
его в родинку – в Севастополь.

Тарахнул зинзивер

Скажу о том, на что не оглядывался. Но и теперь не собираюсь искать подоплеку и объяснения. Просто скажу о факте. Третью жизни я отдал смеху. Как омуту, с головой. Кульминацией этого смеяльного столпничества был период где-то с четырнадцати до двадцати пяти лет.

В ту пору нас было пятеро неразлучных друзей, смеялись мы до упаду дни напролет – по поводу и без, надо всем на свете, и подо всем, и сбоку, и со всех сторон, до колик, до изнеможения. Это, конечно, не отменяло и других состояний ума и души, но воздухом, которым дышали, был именно смех. Чтобы быть правильно понятым: от нормы веселого и крайне смешливого человека это так же отличалось, как от камень от лошади.

Двадцатилетний гомерический марафон. Путешествуя товарняками по бывшему Союзу, наряжаясь фриками с раскладушками вместо рюкзаков и в комнатных тапках в тридцатиградусный мороз отправляясь в бесконечные походы, и в тех же тапках полуголые, хохоча, избегая на Эльбрус, угоняя «кукурузник» и рея на нем, изнемогая от хохота, над степями Украины, срывая ночью красные флаги с домов на центральной улице в канун Октября, перешивая их на походные балахоны, собирая веселую милостьню в электричках, бесцельно и лицедействуя повсюду, вплоть до священных государственных границ, умирая от смеха в «обезьянниках» и на допросах, но и без всего этого – в пустоте, в темноте, при одной только мысли друг о друге, или о себе, или о жизни в целом – мы уже наполнялись смехом.

А началось все, когда меня, восьмилетнего, перевели в другую школу в связи с переездом родителей. Я вошел в класс и увидел вдали мальчика, окунавшего перо в чернильницу, встретились взглядом и рассмеялись так безудержно, что как нас ни выставляли за дверь – обоих и поочередно – остановиться мы уже не могли. На многие годы. Мы и сейчас, не видясь лет пятнадцать, встретились этим летом в Киеве и не могли толком не то что поговорить, а и разглядеть друг друга – как тогда, с этим пером, тюкнувшим в чернильницу.

Где-то с класса пятого-шестого в школу мы уже не ходили, а навевывались временами между нашими странствиями – ближними и дальними. Помню, как-то вхожу – урок географии, Индию проходят. Старенькая, оплывшая географичка в черепаховых очках, сама как Индия в тумане. Я начинаю: «Индия, о высокочтимый мой Учитель, находится почти на самом краю земного диска и населяют ее золотоносные муравьи...» Ну и так далее – из той пластинки про Хоттабыча и Вольку-ибн-Алешу. Она еще как-то пытается сначала держаться, но я уже, войдя в раж, несую такую околесицу под улюлюканье класса, что она тихо оседает на стул, бледнеет, приежжается скорая... Нет, все обошлось тогда. Стыдно, конечно, оглядываясь, но уже не вычеркнуть.

Или вот в классе восьмом, кажется, прихожу в школу – садху такой, в патлах, чумазый, одет во что-то несусветное. Директриса меня затаскивает к себе в кабинет, а я медленно так хладнокровно довожу ее до истерики своими репликами, она в ослеплении пытается сорвать с меня одежду: мол, голый будешь ходить у меня! Ну-ну, говорю, помогая ей, посмотрим. А несколько дней спустя я устроил ей пышные похороны – по высшему разряду. Соорудили гроб, положили в него ее муляж – голый, чуть прикрытый, на удивленье удавшийся, вплоть до лица и прически, украсили цветами и понесли вокруг школы – круг за кругом, ясным погожим днем. Самодельный оркестр, процессия, рыдания в голос, причитанья навзрыд, распахнутые окна, запруженные школьниками...

А по окончании школы, после моего очередного перформанса на вступительных экзаменах в Художественный институт, когда я вынудил опешившего преподавателя истории СССР поменяться со мной местами, поскольку теперь у меня к нему оказалось пару вопросов, я уехал на два года в Почаевскую лавру работать художником-реставратором. Жил я там же, в монастыре, и практически делил с монахами весь их быт, что было, конечно, с моей стороны идеологическим предательством по отношению к направившему меня советскому учреждению. Поначалу было чудесно, но и невыносимо, поскольку нас там со смехом было только двое. Вскоре я сошелся с одним дьяконом (по кличке, данной ему самими монахами, – «комсомолец»), и мы с ним, выбираясь через окно барабана на крышу высоченного Успенского собора (я по лестницам, а он, в рясе, по решетке лесов, подтягиваясь с переворотом), гоготали там, распугивая ворон и высматривая в бинокль хорошеньких прихожанок.

Увольняли меня из этой эпохи реставрации не раз. Бригадир-партеец (с фамилией – и это чистая правда – Честнейший) вручал мне докладную записку на меня, которую я должен был передать в Киеве начальнику. Я брал ее и ехал во Львов на неделю – гулять-веселиться. Благо, денег

у меня было тогда – хоть самолет покупай, поскольку после дневной работы я тайно расписывал одну хуторскую церквушку, и прихожане были щедры (однажды они выдали мне месячную сумму монетами – пришлось везти эти неподъемные килограммы денег на строительной тачке ночными дорогами, чтобы к рассвету доволочься к монастырю). А на обратном пути из Львова я дописывал на той докладной слегка изменившимся почерком: мол, идеологическая работа с Соловьевым проведена, взыскание наложено, рекомендовано приступить к выполнению обязанностей с такого-то числа. Подпись (начальника). И, вернувшись, продолжал танцевать свое авантюрное счастье на двоих, дожидаясь приезда друзей, когда мы ночью уведем из монастырской конюшни исполинских огненных лошадей и с дурацким хохотом ускачем в счастливые дали...

Так продолжалось где-то до тридцати, потом я переехал в Крым, но и потом, во второй половине жизни это «перо с чернильницей» никуда не делось, просто играло на других полях. И еще лет пять назад я просыпался в слезах от смеха или вдруг падал, левитируя во сне, от него же. Как когда-то в детстве, помню, снился мне в течение нескольких месяцев кряду какой-то сон-сериал, выдуманный, уморительный, продолжаясь на следующую ночь ровно с того места, на котором прерывался, настолько смешной, что я вываливался из кровати и находил себя наутро в разных углах комнаты, и от этого каторжного смеха за ночь все тело ныло и жаловалось: больше не надо, выключи!

Ну теперь с этим, слава богу, полегче. Хоть с этим. Не вываливаюсь из кровати.

Где ты, жизнь? Мисюсь, где ты?

Связь

Мир природы – от Бога, а мы от демона – того, поверженного. И еще вопрос, чья отцова травма глубже.

Нольдистанция. Игра в Дым

Я в растерянности. В двух словах не скажешь, об этом надо бы книгу писать. Но я мало что помню (как-то всю жизнь с азартом в будущее вглядывался, ближайшее, а прошлое гуляло само по себе, без поводка). Островки, вспышки. Странно, ведь это было, наверное, одной из самых чудесных творческих авантур в моей жизни. И, надеюсь, не только в моей. А никаких следов. И изображений почти не осталось. Эти несколько, кот. нашел, – не дают никакого представления ни об атмосфере (переполненных залов, когда публика висела на окнах, теснила нас со сцены, ни о самом «театре» – действие состояло из нескольких «спектаклей», идущих одновременно (на сцене, в зале, над залом, за его пределами...) и составлявших единый спектакль, кот. постоянно находился в стремительных изменениях, опережая не только возможность адекватного считывания, но и свои очертанья, перерисовывая их на ходу. Назывался он «Игра в дым», а театр (точнее, движение, в кот. за пару месяцев влилась уйма людей...) – «Нольдистанция». Было это в Киеве, в 1986, возникло спонтанно – после одного из моих поэтических перформансов, объединились и двинулись. В качестве текста мы взяли мою поэму – задиристо ироничную – «Игра в дым». Вскоре город залихорадило нашими постановками, началась истерия в газетах, угрожали Сибирью, вились гэбэшники, перекрывали пути, но мы все это как-то весело смахивали и продолжали «брат» город. Черт его знает, почему год спустя мы остановились. Может, на слишком больших оборотах начали и надо было переходить на более спокойный режим. Ведь в основном публика шла на нас как на скандал, на шумный прорыв в махровом застое тогдашней жизни, и упускалось все то, что хотелось донести – поиски новой эстетики, сложный образный ряд, какие-то тонкости и пр. Но перейти на этот спокойный режим тогда, наверное, было непросто – в том полулегальном положении и при тех наших амбициях и кураже. А произойди это, думаю, возник бы совершенно новый театр. Во всяком случае, все, что я за эти 25 лет после «Нольдистанции» видел у нас и Западе, оставляет за тем началом большие преимущества, похоже, никем не наверстанные. Жаль, что эти несколько уцелевших снимков (а видео ушло куда-то на Запад, безвозвратно) показывают лишь детали и частности – случайные и малохарактерные (вначале несколько снимков со

спектаклей, потом – спонтанная импровизация на выставке в Октябрьском дворце, и в конце – уличные, на Андреевском спуске. А спектаклей (не считая уличных перформансов) было четыре: в Доме учителя, в Театре киноактера, в университете и Клубе железнодорожников.

Пригов

Смотрел вчера лекцию Михаила Ямпольского о концептуализме и Пригове, и вспоминал наши с ним, Приговым, встречи. Среди разных и в разные годы, был такой странный период в 2005, кажется, когда мы встречались чуть ли не ежедневно, приходя в клуб «Дом» задолго до начала каких-то мероприятий там, и слонялись с бокалом чего-нибудь, каждый в своем межвременье, – видимо, оба мы тогда что-то похожее переживали. А когда траектории пересекались, останавливались, улыбались друг другу, испытывая какое-то особое расположение, доверие, которое хотелось говорить, как с очень близким, но всякий раз откладывало, ограничиваясь какими-то мало-значущими фразами, которые так же, как мы, потом слонялись по еще пустынному залу.

Как-то я попросил у него тексты для «Фигур речи» – альманаха, который издавал в те годы. И вот в «Доме» он спрашивает: ну как там мои тексты, напечатали? Нет, говорю, я их не взял... И улыбаемся, и расходимся. А потом сближаемся на втором-третьем круге: это, говорит, мне нравится – что не взяли, очень нравится. А я: ну не то чтобы не взял, даже наоборот: взял и напечатал. Но не там. Вот именно, говорит, очень, где же? В «Речевых ландшафтах», говорю, в «Оргазме и катарсисе». И расходимся.

А как это вы, Сережа, говорит он на следующем круге, умудряетесь покидать Москву на столь длительные периоды – в Индию или еще куда? Я вот, когда отлучаюсь, крайне волнуюсь – разве можно? Это ведь все время надо поддерживать, Вы не находите?

Да, говорю, только вот с какой стороны? И расходимся...

И еще вдруг сейчас вспомнил, как он звал меня на свою выставку, проходившую где-то на краю города. Пожалуйста, Сережа, мне бы там очень хотелось Вас видеть... Как-то так беззащитно и одиноко тепло...

Дом композиторов

Давно это было, тысяча и одна ночь тому, в зимней Москве. Встретились мы на каком-то шумном вернисаже в Москве. Точней, столкнулись в толпе – и взглядом и фужерами. И прошла оторопь – обоих – телесная и та, что над. Вышли, ни слова, кажется, не произнеся. Ночь, метель, долго кружили по заснеженному городу, замирая, вглядываясь друг в друга и прижимаясь. Ее полумуж видел, как мы ушли, и рыскал по улицам со своими друзьями-кавказцами. А мы оказались в каком-то дворике на Тверской, у Дома композиторов, вошли с черного хода, поднялись куда-то, ткнули дверь и прикрыли ее за собой. Полутьма, жиденький свет фонаря за окном. Огляделись. Это был склад муз. инструментов. Валторны, трубы, контрабасы, они лежали на полу, вповалку, накрытые какими-то блеклыми одеяльцами, чуть выглядывая из-под них, мерцающая. В дальнем углу – припавшее на бок фортепиано, нотные листы, рассыпанные повсюду. А на стенах – портреты композиторов. Суровые, задумчивые лица в тяжелых позолоченных рамах. Глинка, Чайковский, Мусоргский... Со зрачками, как водится, ровно по центру, чтобы видеть тебя, как бы ни уворачивался от взгляда. И вот мы лежим посреди этой комнаты, на полу, на сдернутых с музыки одеяльцах, обнявшись, прижавшись друг к другу, и я смотрю поверх ее голого зябнущего плеча на эти стены, откуда не сводит с нас глаз весь этот сонм композиторов, весь их 19-й век. И от покачивающегося за окном фонаря и света, скользящего по их лицам, они кажутся не менее живыми, чем те, на кого они смотрят.

Книга

В конце 90-х я написал книгу, способную лишить разума, похоже, любого, различающего буквы. Буквы, изображения и числа. Она так и называлась: книга. Без имени автора на обложке. Написана она была довольно быстро, но подготовительная работа длилась четыре

года – круглосуточно. К счастью, вышла эта книга мизерным тиражом: в Москве продавалось, думаю, несколько десятков экземпляров и в Киеве столько же. В Сети книги не было и нет. «Комментарии», М., СПб., 2000., 150 стр. плотной оберточной бумаги, формат книги – квадрат.

Аннотация – с крайне серьезным лицом, едва сдерживая эту мину – предуведомляла: «Полиморфная история странствий намерений и языка, развернутая вокруг авторского проекта Фигура времени, образует четырехъярусную одиссею книги. Травестийная дискуссионная группа, заточенная в один из ярусов, вступает в виртуальный обмен с Фигурой, являясь своего рода читательской проекцией происходящего».

В ту сторону, куда двигалось развитие проекта, указывают две цитаты: «Я подумал о лабиринте лабиринтов, о петляющем и растущем лабиринте, который бы охватывал прошедшее и грядущее и каким-то чудом вмещал всю вселенную... Потеряв ощущение времени, я почувствовал себя самым сознанием мира» (Борхес) и «Жизнь и смерть во власти языка, и любящие вкусят от плодов его» (Соломон).

Книга начиналась с раздела «Дромос» (то есть вход в лабиринт): 20 страниц сумрачной графики на мелованной бумаге – медитативная адаптация зрения, восприятия. Прерванная посередине несколькими фрагментами текста под номерами 35.6, 35.7... – видимо, из другого раздела.

За ним – протяженный текст «Четверг обитания», сказать о котором я ничего не могу, просто не нахожу себя достаточно подготовленным. Формально – это некие фрагменты речи под номерами, разножанровые и разностилистические, где-то рваные, где-то тщательно вменяемые. С большим разлетом – от сухо интеллектуальных до – «вихрем жалобным и воем», от стихотворной ткани до мистериальной госсолалии (той «дискуссионной группы», в которую входят некий Дзын, Варел, Патрица, Третий во мне, Мария Атоповна и др.). Отчасти это похоже на дневник трудов и дней человека, челночащего меж двумя реальностями: бытовой (лирической) и на глазах создаваемой реальности будущего лабиринта «Фигура времени». На полях и разворотах книги все чаще появляются чертежи, расчеты, графемы.

В третьем разделе дан сам проект – архитектурные выкладки, описание и два возможных опыта прохождения человеком этого лабиринта (один – среднестатистического посетителя – дан обычным способом, по ходу движения страниц, другой (видимо, авторский) – обратным течением, вспять, на нечетных страницах, вверх ногами. В последнем разделе – 3D изображения Фигуры как уже существующей. И завершается списком благодарности тем, кто содействовал развитию проекта: японскому ордену Ниподзин, профессору Галимберти, Питеру Гринуэю и др.

После выхода книги я снова бросил писать и на годы исчез из поля видимости. Тем временем появилось четыре отклика на книгу: три – по горячему следу, и один – лет пять спустя. Но можно сказать, что и ни одного. Последний написан Алешей Парщиковым и входит в его книгу «Рай медленного огня» (его тоже нет в Сети, а жаль, что НЛО не выкладывает книг даже многие годы спустя). Это эссе, скорее, не о самой книге, а о проекте лабиринта. Не потому, что книга его не достаточно заинтересовала. Напротив: он считал ее уникальным событием и не раз сетовал, что «круги» ее проморгали, в частности, круг премии Белого. Просто в этом эссе и тема и задача у него была другая. Первым был краткий отклик Дмитрия Бавильского, где он пишет, что я мыслю уже не строфами, но громадными массивами лирической прозы с троюродными отношениями между означаемым и означающим, тем самым «обретенным временем» вечного становления. И заканчивает тем, что прочитать эту книгу невозможно – ни разом, ни по частям, изменчивым, как калейдоскоп, с финальной фразой из Пруста: «Сколько великих соборов осталось незавершенными». Между ними – две довольно протяженные рецензии. Одна – Александра Касимова в «Знамени», где он блуждает в лабиринте книги, в этой, по его словам, литературной башне Татлина, и рецензия Александра Уланова в «Русском журнале».

Оглядываясь

Когда-то по молодости я сказал, что мир спасает не красота, а разлад – потому что дух с ним в работе, а в красоте отдыхает. Ох не знаю, не знаю теперь.

Аахен

Пограничный с Голландией немецкий городок проституток и сифилитиков (18-19 вв.), а в прежние времена известный своей королевской резиденцией Карла Великого, дух которого наматывает уже вторую тысячу лет в одноименном соборе, а волшебное кольцо Карла, спрятанное в пригородном замке, до сих пор в розыске.

О Карле, среди прочего, любопытна и такая история: лет двести спустя после его кончины пришел варвар с севера, захватил земли и для пушей важности влез в гробницу к Карлу и выдрал у него зуб. Карл, по словам свидетелей, сидел в гробнице со скипетром и в мантии, как в кресле стоматолога. Варвар вставил себе его зуб и подписал: «карл». Это был последний из подписных зубов его широкой варварской улыбки.

Где еще, как не в этом городке, встретиться к Катей Дробязко и маленьким Матвеем Паршиковым.

И вот идем мы по заснеженному безнебесному Аахену и решаем с малышом, какой леденец преподнести духу великого Карла – лимонный или апельсиновый, останавливаемся на каждом перекрестке, пересчитываем леденцы, он шевелит губами, перебирая варианты возможной речи, обращенной к духу, переспрашивает меня, будет ли он один или со своей королевой и пр. Мы очень увлечены, мы приближаемся к Карлу. Как когда-то приближался – к другому Карлу – его отец, Алеша, живший на поле полтавской битвы. И, возможно, так же шевелил губами, подбирая слова

А тем временем мы перекидываемся репликами с Катей о поразительном сочетании христианских реликвий, угрозивших этот вздох-городок. Здесь хранятся – буквально, через запятую: платьишко Марии (в котором она рожала), пеленки Иисуса (но не нижние), набедренная повязка его, повзрослевшего, и тряпка, в которую была завернута голова Иоанна Крестителя. Все святыни – х/б.

В собор мы вошли с леденцами за щекой, а третий – в руке маленького дароносца, который был очень взволнован и все переспрашивал: а достаточно ли одного зеленого леденца или добавить пакетик сахара и лимонной воды, умыкнутой нами из булочной. Хотя, вздыхал он, ты говоришь, что он тысячу лет не видел леденца... Долго искали, где ему оставить его. Наконец, сошлись на кадке с какой-то зарослью у алтаря, которую сторожил грифон. Маленький Паршиков стоял, сунув руку в эту зелень и что-то шепча, зажмурившись в сумрачном витражном соборе.

Из переписки

Как-то мы решили с Михаилом Шишкиным затеять своего рода эпистолярную одиссею – о буднично вневременном. По иронии судьбы, начало переписки пришлось на конец февраля, накануне роковых событий на Майдане. Я успел написать первое «вневременное», письмо Миши уже целиком развернуто в сторону Майдана. Я ответил, после чего мы решили отложить нашу затею до лучших времен. И вот, четыре года спустя перечитав эти письма, я думаю, можно показать их, опустив Мишино письмо – без его согласия делать это я не вправе, но и по его публичной позиции и по контексту понятно, какое оно. Вот мои два – до и после.

19-02-2014

Я помню, Миша, как однажды в безвременье между Старым и Новым я приехал к тебе в тихую деревушку, где ты поселился, назвав ее своей «ясной полянкой», и каждый день мы выжирали, куда пойдем: направо – в Швейцарию, или налево – во Францию, потому что деревушка эта находилась ровно на границе, но никаких примет этой границы не было. И вот мы ходили по горам, то разговаривая, то молча, то останавливаясь у неожиданно встречавшихся на пути лам, глядевших на нас, как венеры в мехах. Кстати, знаешь ли ты, что антропологи обнаружили у Милосской неправильный прикус? Вот тебе и «плохая физика, но какая гармония!». А потом возвращались, стряпали, читали (ты уходил на мансарду), а к вечеру садились у камина, открывали бутылку хорошего вина, расставляли шахматы, и разговор шел своею дорогой – мимо шахмат и огня, а порой казалось, и мимо нас – сам себе человек. Вот и сейчас, Миша, давай расставим шахматы и посмотрим, в какое «никуда» он пойдет. А для первого хода – такая картинка.

Смотрел я вчера на ютубе двухчасовую речь Натальи Исаевой о речевых энергиях в шиваистской картине мира, об отсветах Киркегора и Хайдеггера, о театре Васильева. Об окольной, эллипсоидной речи как божественной вахане, способной приблизить нас к неизменному, настоящему, попросту говоря – к озарению жизнью.

Смотрел, а в глазах всплывала земля Семи Сестер (это в Ассаме, юго-восток Индии), куда не очень-то ездят из-за несмолкающих войн между тамошними племенами. И вот в глухую деревушку рядом с одним заповедником у Брахмапутры, где я пару недель жил вылазками в джунгли, приехал передвижной театр – вроде индийского «Глобуса». Место для представления выбрали на краю деревни, у самой границы с джунглями, построили шатер, сцену, зрители шли со своими стульями или садились просто на траву. Моими соседями в ряду были егеря в камуфляже и с шарфами, повязанными на голове на манер платков, они смотрели, опираясь на свои полотораметровые допотопные ружья времен британской колонизации. Время от времени у них включалась рация и они переговаривались с патрулем, ушедшем в джунгли, или с диспетчером (двумя днями ранее я ходил в ночную с таким патрулем: когда наутро мы возвращались, по рации сообщили, что соседний с нами патруль расстрелян браконьерами в упор из автоматов. Кончив, они допилили рогу у полуживого носорога и исчезли). Спектакль длился часов 5-6. На местном наречьи. Смотрели всей деревней. С едой, детьми, собаками, коровами и пр. А за спиной – но еще далеко – горели джунгли. И огонь стремительно приближался, опережая дым, подымая зарево в полнеба. И этот, погруженный во тьму, зрительский островок находился как раз между двух этих освещенных сцен: актерами перед лицом и горящей природой за спиной. И голоса актеров смешивались с голосами слонов, носорогов, оленей, теснимых огнем к деревне, к людскому театру. А в ладони моей – ладонь женщины, силуэт которой во тьме. И во тьме ее живота – наш ребенок, зачатый в джунглях, в опустевшей пещерке отшельника, отошедшего уже к другой речи. И вот я думаю, эта неясная полянка между мирами – там, в земле Семи Сестер, на чужом наречье, с этой ладонью в руке и заревом за спиной – и есть я, дом, род, родина, здесь и сейчас. Ведь родина – не земля под ногами, не могилы предков, и даже не язык, а блуждающее окно, которое вдруг совпадает с тобой и распадается внутрь тебя. И произойти это может в любое мгновение и где угодно. И так же безотчетно покинуты – до следующей встречи, непредсказуемой и иной. И этим окном может стать вечер, ладонь, зарево за спиной... Душе ведь закон не писан, и родина ее не здесь. А как ты это чувствуешь? Наверное, по-другому? Ведь при всей нашей чуткости друг другу, есть и естественная разность: здесь, например, как между странничеством и уединенностью.

И еще. Вот Кафка говорит: «Есть цель, и нет никакого пути. Путь это наши сомненья». Как ты думаешь, о какой цели тут речь?

23.02.2013

(...) Вот, Миша, думали поговорить «в стороне от мира», да видно нельзя никак. Да, в эти дни мир стал другим, Украина – другой, но и мертвых не воскресить. Ты вспоминаешь маму, ее связь с Украиной, а я киевлянин с головы до пят, в нескольких поколениях, и родился и вырос в Киеве. И вот смотрю я в свой паспорт гражданина Украины, в паспорт человека, о котором нельзя сказать ни что он не живет на Украине (поскольку живет), ни что он эмигрировал (поскольку не живет там, куда вроде бы переехал), ни то, что он в Индии (поскольку для него это, скорее, не страна, а наиболее близкое состояние), смотрю и думаю, что сильно меня отнесло за годы странствий от этих, да и других берегов, что нет никакой родины, нет никакой борьбы за «светлое будущее», нет коллективной свободы и нет смысла ни в чем, приносящем жизнь в жертву подобным фантомам. Ни одна война, ни одна революция, ни одно религиозное движение не оправдало благих намерений. Все они обернулись дорогой в ад. Так устроена наша людская общность, и исключений в истории не было. Да, я понимаю, что не все так просто и однозначно, что есть границы терпения, унижения, хамства, что вымести мерзавца с его кровавой бандой из своего дома – дело даже не чести, а естественного права на воздух, которым дышишь. И что порой чаша эта переливается, объединяя людей. Не только понимаю, но и, сколько помню себя, жил с этим «майdanом» внутри. И в 1970-80-х – не только внутри, а и срывал флаги с домов в дни годовщин

и швырял камни в здание КГБ, и писал, и читал на площадях, и много еще чего. И дело не в том, что с возрастом стал скептической, равнодушной и пр. Нет. Чувство свободы и ее достоинства по-прежнему во главе жизни. Но не ценой этой жизни – ни своей, ни другого. В мирное время это извечное противоречие, этот проклятый вопрос – с трудом, с компромиссами все же решаем, не целиком, но от шага к шагу, продлевая это шаткое равновесие. В не мирное – нет решения, есть сплоченье в эмоциональном порыве, есть чаянья – чистые, праведные, и есть их последствия. Как показывает история, не оставляющие от этой чистоты и следа. Ни один жест, даже индивидуальный, в этом поле чудовищных многослойных искажений, где видимая часть – ничтожна по сравнению с иезуитскими коллизиями закулисья, невозможно удержать не то что в чистоте, но и вообще контролировать: любое движение в этой среде попадает в поле дурной бесконечности превращений, присвоений и – в лучшем случае – утрачивает с тобой связь. В этом смысле, Майдан уникален: ему удалось исторически невозможное – в течение трех месяцев удерживать свой жест в его чистоте и адекватности, не позволив его замарать и не пролив ни капли крови, и где – на главной площади страны, в ее голове, в кроваво грязном хороводе кривых зеркал власти и т.н. друзей народа, которых еще поди отличи от оборотней, да и сам народ на Майдане не однороден ведь, при том, что и цель, которая привела его на Майдан и сплотила, не была предзаданной, да и потом не стояла на месте. Все это невероятно и непредставимо ни в одной стране, и не потому, что власть там сразу применила бы силу, а именно вот это сохранение достоинства многотысячным лицом как одним человеком, и не в минутном порыве, а в течение трех месяцев, целой жизни, да еще и в условиях, по определению не оставляющих на это шансов. И это даже уже не подвиг, а что-то за его пределами, одиноко стоящее, как «Слово о полку Игореве».

Всё так, но потом приходит февраль и приближается к 20-му. И вот ты говоришь, что на Украине «национальное движение, захватившее всех, сверху донизу, поэтому там с одной стороны горящих баррикад весь народ, а с другой – прорусское проворовавшееся начальство...», но там, где ты располагаешь народ, уже два народа: майдан и отшатнувшийся от него юг, юго-восток Украины. И эта трещина растет. И учитывая, что ни лидеров у страны, ни программы действий нет и взяты им неоткуда, что все варианты перетасовки власти не оставляют ни одного (достаточно посмотреть на парламент – не надо быть большим физиономистом), что по закону маятника власть перейдет к такому же «януковичу», но теперь с прозападно-украинским гонором, при всем при этом остается только верить, что страна не рухнет в бездну смуты, разламываясь пополам.

На сегодняшний день президент в розыске, апостолы отрекаются, казна пуста, страна банкрот, Тимошенко выкатывается на Майдан, по которому плывут гробы, Верховный совет подымает вопрос языка, усугубляя трещину, Россия молчит, Запад действует заведенными за спину руками, Украина верит в победу, не уступаемую ни фарсу, ни трагедии. Дай же Бог.

Ты говоришь о стыде за пресловутое долготерпение русских, об их бесконечной щеке, которую они подставляют вместе с головой. Наверное, не совсем так, хватало в истории России и других примеров. Да и не только у русских такая щека, есть и шире: индусы семьсот лет были закатаны под асфальт мусульманами; отнят язык, выкорчевана культура, насильно впихивали в рот куски говядины, отсекая от веры. И – никакого сопротивления: семьсот лет спустя, как трава, проросли, поднялись, не растрачены. Да, и это тоже не путь. Возвращаясь к Кафке, нет не только путей, кроме сомненья, но и наличие цели сомнительно. Несомненны лишь лица погибших. И я не могу – физически – глядя в их лица, кричать: слава героям. И если говорить о стыде, то испытываю я его скорее оттого, что умом я с Майданом, а сердце не принимает этот путь, предчувствуя, куда он ведет. При том что и других путей вроде бы нет. Но что есть ум – майя, головная боль без головы. Впрочем, и выборы – в мае. Остается надеяться лишь на молодых, но будет ли оно допущено, и будет ли найдена фигура равновесия между Западом и Востоком, и какой ценой?

Я рад твоему ночному счастью – в любви с любимыми.

А помнишь, в той новогодней яснополянской сказке, за шахматами, у камина, я сказал, глядя в окно: какой тихий райский тут уголок. На что ты ответил: да, вот в соседнем доме человек повесился, и очень, очень нескоро его обнаружили.

Растождествление

Просто паришь с разведенными руками, ложась на ветер. Которого нет. В пустоте. Как после смерти. И чувство такое, что это уже без «как». И, кажется, понимаешь, почему отсюда не возвращаются. От растождествления. С собой, с людьми, с жизнью. И единственное, что еще удерживает – и уже не удерживает – письмо.

Фигура Времени

Я вот думаю, как бы об этом сказать в двух словах – о том творческом приключении, которое вышибло меня из жизни года на три, если не больше. Вначале был коньяк, на высоте 10 тыс. метров, во фляге рта, в течение 9 часов перелета в Штаты, 95-й год, кажется. А в руках какая-то английская газета. Тогда уже медиа начинало понемногу лихорадить в преддверье миллениума. Читал какую-то заметку, м.б., о «Куполе», который собирались строить в Лондоне, и подумал: а каким действительно мог бы быть символический монумент «всех времен и народов» к этой дате? С этой забавы ума все и началось. Несколько месяцев спустя проступили какие-то исходные составляющие: пространственная фигура лабиринта, содержанием которого должны быть Язык и Время как универсальные категории для любого этноса. Кроме: этот монументальный лабиринт должен быть процессуальным, интерактивным и принципиально не имеющим завершения, видоизменяясь при взаимодействии с каждым посетителем, для которого, в свою очередь, это тоже не просто аттракцион, а экзистенциальное поле для проживания и превращений.

Ну и пошло, поехало. Через пару лет у меня скопилось уже, наверное, несколько километров эскизов, чертежей, выписок, описаний, моделей в различных материалах и техниках, ворохи проектной документации. Периодически мне помогали друзья по Ковчегу – Дзын и Варел. В результате получился такой двухъярусный город, размером с московский кремль: нижний ярус – подземный лабиринт (собственно, главная, иницилирующая и провокативная территория, где все и происходит) и верхний – видимая часть: стоящая в озере фигура уробороса, свинченная в восьмерку, внутри которой расположена галерея интерактивных фигур времени всех нынешних этнокультур (каждая страна делегирует группу художников, которые инсталлируют свою «фигуру», свой образ времени + озвучка этой фигуры несколькими афоризмами о времени известными мыслителями этой страны), то есть такой психоделический сад времен, где также происходят различные «магические» взаимодействия, но попасть в него может лишь тот, кто прошел подземный лабиринт. Эта подземная часть в плане имеет вид развертки магического квадрата и делится на четыре зоны (огня, воды, земли и воздуха). Среди множества «провокативных» ситуаций (цивильных, конечно, – ты можешь поддаться им, а можешь и проигнорировать), в которые попадает посетитель, была, например, и такая: запись своего «мессиджа» (о времени и о себе) – звукозаписывающие устройства расставлены по всему лабиринту (чем ближе к центру, тем шире площадь трансляции), оставленное послание с периодичностью воспроизводится практически вечно, со временем превращая безмолвный (до первого посетителя) лабиринт в голосовой вавилон, говорящий на всех языках. С другой стороны, посетитель выходит из лабиринта со своего рода «фонетическим бессмертием». В общем, много чего там было наворочено. Если сказать непрямо, то это был такой как бы Борхес и Хлебников, ведущие за руку Алису в довольно взрослое зазеркалье.

Ну вот. К тому времени я был уже вконец изнурен этой пафосной утопией с ее циклопическими трудностями, а впереди еще оставались всякие архитектурные и инженерные «мелочи», типа канализации, аварийных выходов, дорожек для инвалидов и пр. Наконец, и это было сделано (хотя ни технического образования, ни опыта у меня не было и приходилось что-то начитывать по ходу, но, когда я, уже в Мюнхене, обратился к специалистам за помощью, они, поправив детали, сказали, что в целом все довольно грамотно), и, чтоб избавиться от этой уже обрыдлой ноши, я послал проект в несколько крупных международных организаций. И оказался втянутым в не менее изматывающий марафон бесконечной переписки с ними.

Тем временем, последовала серия публикаций в нашей и западной прессе об этом проекте (к моему недоумению, проект подхватили в основном архитектурные журналы, которых привлекло то, что для меня было третьестепенным – то есть внешнее, одежда). По первому каналу ТВ Германии прошел трехсерийный фильм-интервью (реж. А. Клуге), где я рассказывал-показывал. Проектом заинтересовался Питер Гринуэй, была мысль сделать фильм...

Я все еще продолжал исправно отвечать на письма и слать требуемые дополнения, расчеты, бизнес планы, калькуляции и прочую хренотень, но все чаще вспоминал наш разговор с Битовым, когда мы сидели с ним у моря в Коктебеле и я ему рассказывал – тогда еще с горящими глазами. А он сказал: «Зачем это вам, Сережа, все эти бетономешалки и государства скурвят идею, превратив ее в диснейленд. Представьте себе Леонардо, который положил бы жизнь на воплощение изобретенного им унитаза или подводной лодки. Вы же писатель, пишите книгу».

Внял, написал – правда, три года спустя и уже в том состоянии, когда вряд ли мог сообщить что-нибудь вразумительное. Так и назвал «Книга», без имени на обложке. Один из парадоксов ее оптики был в том, что в мистериальную околесицу текста почему-то верилось больше, чем в очевидную реальность фотодокумента, которым она заканчивалась. И именно как в реальность верилось больше. (Как у Эйнштейна: чем больше наука опирается на реальность, тем менее она определена, и чем менее она определена, тем более опирается на реальность.)

И вот, когда, казалось бы, весь этот многолетний кошмар начал понемногу меня отпускать, эта самая «реальность» тихо подошла со спины и, как в дешевых фильмах, похлопав по плечу, поманила за собой пальцем, посадила в самолет, переместила в лимузин и с эскортом мотоциклистов в белых перчатках передала в мягкие лапы исполнения желаний.

«Херр профессор, – сказал мне председатель Счетной палаты Германии, назначенный руководить строительством парка в приморском городе Росток на севере страны, – конечно, Ваш проект, скорее, для Нью-Йорка, Парижа... Берлина, в крайнем случае. Но, согласитесь, когда строился Лас-Вегас, это ведь тоже было Богом забытое место... Вот здесь, – и он указал в центре уже отчасти выстроенного парка огороженный пустырь, – будет стоять Ваша Фигура Времени. Документацию мы уже передали группе специалистов, готовившей недавнюю ЭКСПО...»

Я слушал их, как во сне, глядя на дождь за окном, пытаюсь проснуться. Благо, вскоре начались повсеместные сокращения бюджета в связи с переходом на еврозону.

Аллилуйя.

Аминь.

В Некрасовке

На вечере в Некрасовке. Еще раз – спасибо всем, кто был. Там на экране – снимки из Индии. Я в той же одежде, в которой ходил в джунгли, за исключением свитерка, который держал для особых визитов к чиновникам Лесного департамента. А на столе там – бутылка гималайской воды, купленной за последние 40 рупий в аэропорту. На обратной стороне этой бутылки уже в Москве я прочел странный и чудесный текст, написанный от имени этой воды – человеку (но это не сразу и не до конца ясно), мол, я, собиравшая себя по капле и томлящаяся в этой преходящей форме, обращаюсь к тебе, создателю миражей... И заканчивается: давай, насладись своей иронией!

Черт его знает, что со мной делает Индия. Кажется, я постарел на тысячу лет и помолодел на две.

Гудрун

Есть такой древнегерманский эпос «Гудруна». Двадцать лет моих отношений с мюнхенской разгуляйкой, заквашенной на временах битников, бесцеремонной чертовкой и умницей с лицом брейгелевского мужичка и хрипловатым голосом – Гудрун, конечно, не тянут на эпос, но и лирикой их не назвать.

Познакомились мы в 1992-м, когда я, учась в мюнхенском Гете-институте, искал себе квартиру. Спросили: какие предпочтения? Сказал: Швабинг (район типа Монмартра), женщина

(хозяйка), курю (я). Полистали предложения, вот, говорят: женщина – сдаст – студенту Геттингского университета, предпочтительно русскому, творческому, можно курящему, Швабинг.

Пришел, старинный особняк возле Английского сада, верхний этаж, мансарда, утро. В дверном проеме стоит она (или он, или оно, – это не сразу идентифицируется), в ночной рубашке набекрень, волосы – в неуверенном порыве ветра снизу, в руке – бокал красного. Смотрит на мою ладонь, на пальцы и говорит: да. Идет нетвердой походкой к столу, наливает второй бокал – мне.

Через пару дней нас уже сдуло из Мюнхена. Австрия, Италия, Франция, какие-то озера, яхты, горы, горящая карусель дней, кто ж это помнит теперь. Она, разве что. А тогда, перед тем как сдуло, повел ее по магазинам – приодеть. Помню две пары туфель – голубые и зеленые, на левую, говорю, голубую, на правую – зеленую. Юбочные штаны в крупный горох, ч/б, блузу не помню, ремень, покрасил ее и постриг. Она скупко всплакнула и повязала косынку (хотя потом, годы спустя, стриглась именно так, у лучших парикмахеров).

Мне 33, весел, бессмертен, жонглирую звездами и собой, все возможно – и в прошлом, и в будущем. Она – лет на десять старше, но это по метрике, а на самом деле – черт его знает, сколько лет персонажам Брейгеля? Жизнь ее за год до нашей встречи слегла в кому: ее друг, с которым делила долгие годы, узнав, что у него рак, исчез на остров, без вести, встретить смерть без посредников. Я, в этом смысле, появился в ее жизни почти вовремя, вынул ее из этой комы. Отношения у нас сложились легкие дружеские, по жизненным ритмам – и бытовым, и шире – мы во многом были созвучны. Похоже, она тяготела к большему, чем дружба, и порой теребила эту неочевидную черту, но благодаря обоюдной смывленности и раскованности это особых осложнений у нас не вызывало.

Вообще, у нее была очень упругая мышца жизни, ни жира, ни пролежней. И стремительность. Цак-цак-цак, говорила она, показывая, как легко и быстро решается любая проблема. И в этом мы были схожи. Цак-цак-цак, поддразнивал я ее, называя так вместо имени. И учил английскому, сносным манерам и рисунку внимания при осмотре музеев. А она меня радовала всем остальным, которое, по преимуществу, было общим.

А, вспомнил: радивость – вот это качество, ушедшее как-то на периферию жизни и языка. Радивость во всем – в мышлении, в жесте, в деле. Но легкая, стремительная, без занудства. Цак-цак-цак.

Да, перед тем, как нас сдуло из Мюнхена, был у нее день рождения, на который ввалились в ее мансарду человек сто – из окрестных улиц, вся тамошняя богема и умеренно фрикующие бюргеры (на следующий д.р. мы арендовали с ней пароход на альпийском озере, т.к. мансарда уже всех не вмещала).

И вот катим мы на ее фиате (была она не богата, но безоглядна, хотя и с прищуром, сводила концы, сдавая угол студентам и подрабатывая свободной журналисткой), нога в зеленой туфле заброшена на панель у лобового стекла, я вожу пальцем по карте. Это мы уже возвращаемся, и нас тормозят на границе Италии и Австрии, что-то там с визой моей, мол, надо вернуться в Милан и продлить, говорят пограничники, иначе в Австрию не въехать, – не помню уже подробности.

И вот распили мы бутылку вина с ней в нейтральной зоне между этими странами, и я говорю: давай введем по какой-нибудь второстепенной дороге, смотрю в карту, вот она, неподалеку.

Подъезжаем, уже смеркается, а погранцов там еще больше, чем на главной дороге, и тишь, никого кроме нас. Слева альпийские горы взметены, справа – железнодорожный узел, залитый прожекторами, с десяток путей, за ними насыпь, а за ней тот самый погранпост, который мы покинули.

Я говорю: давай так – я перебегу и махну тебе рукой уже оттуда, с австрийской стороны, если меня не подстрелят по дороге, а ты тогда здесь проедешь, набросишь петлю и подхватишь меня там, в Австрии.

Бегу, переметываясь от столба к столбу, как под пулями, взобрался на насыпь, смотрю: я на нейтральной полосе, ошибся, въезд в Австрию – далеко впереди. Бегу назад, вернулся, говорю: знаешь, пойду-ка я через горы, часа три-четыре, думаю, займет, обогну границу поверху и спущусь, а ты поезжай – через пару километров остановись и жди, периодически помигивая фарами.

Выпили с ней еще на дорожку, стоим, я одеваюсь потеплей, напяливаю на себя и какие-то из ее вещей, беру фонарь, она бутерброды мне завернула, обнялись... и как раз в этот момент проезжает машина и высвечивает фарами этот погранпост, который оказался куда ближе, чем мы думали, и стоят там эти погранцы и смотрят на нас с большим интересом, обсуждая, видимо, и то, как я перебежал туда-сюда, и как переодеваюсь, рисуя пальцем путь через горы... Стоят, смотрят, и мы – на них, между нами шагов двадцать. А давай, говорит она, просто сядем и просто тихо проедем сквозь них. Сели, едем, они расступились – цак-цак-цак – даже паспорта не спросили, провожают взглядом. А потом, помню, рассказывал ей о Гурзуфе, приезжай, говорю, как-нибудь. Легкий такой, с юмором разговор, о том, о сем. И опять о Гурзуфе. В сентябре, говоришь, в начале? Да, говорю. Числа, скажем, 5-го? Ну, например, говорю. Самолет до Стамбула, а потом на корабле в Ялту? Да, говорю, еще ходит одна калоша на крыльях, набитая нашими челноками в семь этажей. Во! – обрадовалась, – то что нужно, экспириенс! И забыли об этом. Почти год прошел, я в Гурзуфе, начало сентября, и вдруг – среди ночи – вспомнил. Какого числа – пятого? Звоню в порт: ходит еще этот лапоть? Да, отвечают, прибыл, выгружаются. Да нет, думаю, бред, но еду в Ялту. Сидит на скамейке, машет мне бутылкой вина.

Историй с ней у меня тьма была. Вот вспомнил еще – в связи с Гурзуфом. Зима, ветер воеет, безлюдье, свет отключен и отопленье, кукую в ватнике, благодать, читаю Флоренского, вслух разговариваю. И вдруг звонок в дверь. Человек, наш, передает сверток: вам из Германии, говорит, и исчезает. Разворачиваю: копченая макрель, одна, мерцает, тициановка! (Знала, что я люблю. Но не настолько ведь, чтобы передавать из Мюнхена в Крым – перекладными – месяц плыла рыбка!) Гудрун... 20 лет прошло. Ничего не изменилось. Вчера звонила.

Бал

На венском бале в нач. 2000-х. Попал я туда с немецкой группой женского хора возраста осеннего разгула. Около 30 женщин. Их пригласили выступить. Каждая могла взять на бал одного кавалера. На весь хор нашлось двое – я и один затерявшийся в Германии новозеландский тенор. Пока добрались до Вены, весь хор был уже вдрабадан. Нам с тенором поручили раздобыть еще водки и как-то пронести ее во дворец. Уже проникнув внутрь вместе с шестью бутылками и блуждая в лабиринте коридоров, мы ткнулись в какую-то дверь и... ослепли. Это была гардеробная юных принцесс, открывавших бал, они спешно переодевались, готовясь к выходу. Две сотни ножек и рук мелькали в толчее и птичьим гомоне, вскидывая платья, примеривая короны. Какая-то дама-гусыня, указала нам на шкафчик, где, по ее мнению, стоило переодеться и нам. (...) На снимке это уже далеко позади, бал закончен, отдыхаем с хористками, тенор на дальнем плане.

Вопрос

Вот умирает на твоих глазах самый близкий тебе человек – любимый, единственный, последний. И все так разорено внутри, что кажется, тебя нет, и уже никогда не будет, контужены чувства, слепнет память, ты себе невыносим живой. И вот, в эти дни, когда смерть (его и твоя) еще не остыла, ты отдаешься другому человеку – со странной, нарастающей страстью, возможно, переходящей в любовь. В эти же дни. Не слепо, без воя, не так, как затыкают рану в животе. Хотя, наверно, и это тоже. Но – с открытыми глазами, чуткой кожей, всем тем, что отличает живое чувство. Нет, ты не животное, и времени не прошло еще столько, чтобы как-то поутихло все это, затянлось завязью новой жизни. Значит, ты уже другой человек, твое прежнее имя стерто, и смерть не лежит в соседней комнате? Или не значит?

Этот вопрос возникает дважды – в двух фильмах Бертолуччи: «Под покровом небес» и «Последнее танго в Париже. В первом – это происходит с женщиной, во втором – с мужчиной.

И вот я думаю: может, я задаю этот вопрос из какой-то изначально неверной точки в себе – неверной по отношению к психологии этих двоих? Может, все проще, и речь идет о другом

типе психики, поведения, характера, мне не вполне свойственных, и отсюда это мое затруднение в понимании?

Шаня, свидетельница Адама

На подъезде к Сергиеву Посаду есть остановка Лакокраска. За маленьким спившимся поселком начинаются дачи. При входе – указатель: «Стрижки в сторожке». Наша облущенная завалюха (в крокодиловой коже) была крайняя к лесу. Облака зависали над ней, подымая ногу, все время лило. Там я и начал писать «Адамов мост».

Из живности в этом унылом краю у нас было:

Морнинг – нептичка, с легким характером и упоительной речью, по утрам на веранде заглядывала в монитор, а потом в саду помогала посуду мыть.

Фирс – стоеросовый, еловый, с рукомойником на ноге.

Андрей – цветок, найденный посреди черного вспаханного поля, он лежал на спине, как Болконский, глядя в небо. Я принес его, посадил в саду, укрепил щепкой, он распрямился, ожил.

Хичкок – приходил по ночам, лязгал миской, сопел, требовал.

Шаня – брошенка, разгуливала по округе, наведывалась, не прикасалась к еде, не давалась в руки, но в глаза смотрела, когда писал, и исчезала.

Мальчик

Мальчик, я говорю себе, не сетуй, что никого нет рядом. Иначе бы этого не происходило. И еще: отойди от себя, так просто это не кончится. Было б куда.

Авось

Было это в конце 70-х, кажется. Приехал я к Вознесенскому в Переделкино, поздний вечер, темные окна, участок, заросший елями, а в глубине сада сидит девочка, ждет поэта. Познакомились, ей около 19-ти, сверстница, москвичка, первокурсница Литературного. Вынула бутылку коньяка, прихлебывает, делится, зябнет. Поэта нет и когда будет неясно. Развел костерок, сидим.

Она с ним незнакома. У меня же к этому времени были уже довольно близкие отношения с ним. Еще мальчишкой я приехал из Киева к нему со школьной тетрадкой стихов и, проскользнув мимо консьержки, ждал, расположившись на этаже у квартиры. Он заскочил на несколько минут и помчался в аэропорт, прихватив меня. Всю дорогу в такси я мало что соображал, отвечая на его вопросы, что-то рассказывая, при этом глядя на него с блаженно идиотским выраженьем лица. И вот он спрашивает меня, например: «Ну как там ваш Драч?» О, говорю, драч у нас на слободке тот еще, смертный! А сам думаю: странно, с чего бы это его так интересовало. Ну и в таком духе едем мы в аэропорт. А потом я получаю открытку из Антверпена, от него. А на ней факсимиле:

Милая, милая, что с тобой?
Мы эмигрировали в край чужой.
Ну что за город глухой, как чушки,
где прячут чувства.

А на обороте: «Дорогой Сережа, о стихах пока сказать трудно. В них есть порыв, но нужна еще и дактилоскопия только Вашей личности. С радостью вспоминаю Ваше милое лицо». Что-то еще там было, но примерно так, кажется. А потом мы уже часто виделись и еще чаще разговаривали по телефону. И я помню, когда работал уже реставратором в Почаевской лавре, чуть ли не ежедневно спускался с лесов в обед и шел в красочной и пахучей робе в поселок на переговорный... И как-то со временем отношения наши стали едва ли не отцовско-сыновьями. А потом с его помощью появилась первая моя публикация – роман в стихах, и чуть позднее – его речь в мою защиту на каком-то предперестроенном съезде. Ну и не только, и не в этом, конечно, дело.

Так вот, сидим мы с этой девушкой во тьме, ждем. Ночная прохлада, костерок. Она уже хорошо во хмелю. И говорит: давай перейдем в дом. Это, говорит, по-московски вполне нормально, разве не знаешь? Я как-то поспотивлялся, недолго, правда, вскрыл форточку и отворил в окно. Она допила коньяк и легла в кровать поэта, а я включил настольную лампу и сижу за столом, листая книги. И не услышал, как они подъехали – он и Зоя Богуславская, и, заметив свет в окне, заглушили мотор. Хотели вызвать милицию, но передумали, входят, бесшумно, стоят в дверном проеме, переводят взгляд с моей спины на похрапывающую в кровати девушку. Медленно оборачиваюсь. Немая сцена.

Зоя отвозит нас на станцию, скоро первая электричка. Весь путь до станции – молча. Ужас, слов не найти. Девушка едет в Москву, я остаюсь. Подбадривает на прощанье: да брось, все рассосется...

Да, эта ночь потом рассосалась, и даже со временем стала милой прической, Зоя ввела этот эпизод – под вымышленными именами – в свою повесть. А девушка – не в связи, слава богу, с этой историей – выбросилась из окна, насмерть.

Круиз

Значит, 14-палубный младенец, в утробе которого я нахожусь, называется «Коза Ностра», или что-то в этом роде. Капитана зовут Николантонио Паламбелло, сегодня в 17.45 он приглашает на мальтийский (поскольку завтра мы в Мальте) коктейль, форма одежды, видимо, масонская, придется надеть подвязки.

Утреннюю Грецию я проспал, переведя часы не в ту сторону. Но все же вышел на набережную потоптаться. Обведя взглядом, больше там, похоже, делать особенно нечего. А мог бы жить здесь, на Корфу, как Даррелл (старший) с домашним питомником говорящих евангелистов природы, и перечитывать Даррелла младшего – про любовь с Клеа. Вернулся на корабль, влез в джакузи, немцы идут, закутаные, палец суют, «Оооо» – поют.

Ночью в Триесте видел посреди площади памятник – величиной с дабл-Пушкина (на Тверской), весь обвит то ли музами, то ли вакханками, освещен, голова гордо вскинута, вся в голубином помете, – кто такой неизвестно. Спрашиваю прохожих – никто не знает. Уж в азарт вошел, пытая. Наконец, старик один – долго вглядывался сквозь морозящий дождь: а, Россетти!

Покачивает, легкая волна, в ритме танго.

Нашел маленькую сауну на верхней, 14-й палубе, хожу туда – ни души. Сижу в небе, в покачивающейся сауне, а подо мной – театры, каюты, фортепианы и Паламбеллы, под которыми – дельфины во тьме поцокивают улыбками.

А вчера был Бари. Где мощи Николая Угодника покоятся. Зашел-вышел, не трогает. Разве что, строители под сводами хороши, в масках, чудотворцы. И вокруг хорошо: узкие улочки, дождь, белье на веревках, накрытое полиэтиленом, макароны на керосинке у крыльца готовят, пар, запахи, а в окошках – Николка. У итальянцев, у всех. И скрипач на площади у храма наяривает под дождем, экскурсантов за рукав хватает, денежку просит. И старуха на крыльце голосит, развалившись.

Пойду кофе сварю, тут он круглосуточно и бесплатно – повсюду, но кофе – святое, ручная работа, с кипятильничком.

...

Мальта похожа на этот восход – со зрачком, глядящим из-под черного века. Снимки этого дня оказались точней слов, которые я пытался подобрать, бродя по этому городу и лишь повторяя овидиево о критском лабиринте, о каменщике Дедале: свой воспаленный мозг он высек в камне... Свет мутился сквозь замочные скважины улиц, дома стояли с плотно сжатыми ртами, проглотив ключи. Корабли замерли в небе, не касаясь этого острова с выжженным языком и проклятыми деревьями. Где же еще мог возникнуть этот сновидческий остров-череп как не между Сицилией и Африкой.

...

Я в растерянности. Плыву по Средиземному на посудине размером в пол Монте-Карло. Смотрю с 12-го этажа вниз, а там – дух над водами. Спустился в свою каюту, а там нас десятеро,

и все они – я, размноженные в зеркалах под разными углами. И окно во всю стену с плывущим морем. И кровать свадебная, и светильников – на городок хватит. Здесь бы любить – как говорила героиня «Адамового моста» – насмерть... Но кого же? Io нас. Групповая автофилия.

Зашел в один из ресторанов: 727 блюд в меню, ешь хоть все 727, и столько раз в день, сколько хочешь – всё бесплатно.

Вышел на палубу: девочка стоит, солнце в море ложится, вот-вот скроется, дельфины плывут, фотографирует. Остановить? – спрашиваю. – Кого? – Солнце. – Да, – смеется. Разговариваем. Она из Нью-Йорка, 16, выглядит старше, пишет-рисует-дышит-танцует, тоска, говорит, эта их жизнь – карьера-семья-могила. Солнце ушло. Человек во фраке приблизился: можно, говорит, вас сфотографировать? Берет у нее камеру, мы поворачиваемся к нему лицом... Нет, говорит, спиной – как вы стояли. Такое счастье, говорит она, прощаясь, такое счастье вся эта жизнь – как это море. И обернувшись: а какая музыка подошла бы сейчас к этому морю? – Майлс Девис, говорю. Да, кивнула, Фрэнк Синатра.

В Барселоне встретился с Мартой Бинетти (аргентинской танцовщицей, о которой писал в фб). Мы не виделись 15 лет – с тех пор, как она покинула Мюнхен, где ей все же удалось подорвать некоторые его устои, в чем и я поучаствовал.

Живет она на Рамбле, почти в доме Гауди, за его спиной. Показывал ей наш альбом с Ег. J Orchestra, очень воодушевилась, хочет приехать, вместе перформанс делать, потанцует, попоет, поимпровизируем...

Поразительно, почти не изменилась.

Не получилось выйти в интернет в Барселоне – загулялись с Мартой, едва успел на такси к поднимаемому трапу. Отправляю уже из Пальмы.

Проснулся: вот и Пальма. Тут приятель ждал меня с большой яхтой, да смс прислал, что срочно в Москву вылетел. К счастью, думаю, иначе сегодня уж точно к отходу не вернулся бы. Пришлось бы где-то в Валенсии догонять корабль.

Завтракал в другом ресторане, где самообслуживание, еды не 727 наименований, а буквально несметно. И вся летит в рот, как гоголевские галушки. Глаза у едоков вращаются все быстрее, и выполняют эти вздущиеся человеки на палубу, как ящеры острова Комодо, – и в бассейн.

Обслуживающий персонал, которого здесь, кажется, не меньше, чем пассажиров, выплясывает перед каждым танцы народов мира, у каждого за плечами, похоже, цирковая школа. Может, у них и наказ такой – торموшить каждого всеми способами, чтоб не сдох от скуки.

Сегодня в мою каюту прорвался стюарт – караулил меня – звинченый, горляющий что-то островитянское, сэр, кричит, я всю ночь думал о Вас, всю ночь! Много думал, и понял: вы не любите, чтобы подол одеяла был заправлен под матрац! – Тонкое наблюдение, говорю. – Да! – ликует, – и оставил его незаправленным!

Надо бы каюту сфотографировать с этими инцестуальными зеркалами. Да и корабль хорошо бы. Потом. (У Еременко где-то было «броненосец “Потом”»). Пойду на берег высажусь. Тут цаки выдают, чтоб потом признать возвращенцев.

На корабле в основном средиземноморцы и американцы, русских и немцев пока, благо, не видел.

А лифты тут фирмы Шиндлер.

Всё, пошел к майорке, под пальму.

А вчера к ночи было забавно – вдруг забыл номер своей каюты, подхожу, вставляю карточку, не открывается... А, думаю, не 3058, а 3558, нашел, а там в двери записка: просьба не беспокоить! Ну всё, думаю, приплыли – мало того, что нас в каюте десятеро, так еще и не беспокоить ни одного из них, чем же они (я) занимаются?!

Вспомнил, как отец меня, шестилетнего, пытался в школу определить. Только, уговаривал меня по дороге, не пой, умоляю, и стихи – попроще читай, если попросят. И вот входим к директору, ну, мальчик, какой стишок ты нам расскажешь? Уильям Блейк, говорю (нет, другой британец, выпало сейчас его имя) – «Морская лихорадка». И начинаю: «Опять меня тянет в море, где небо кругом и вода, мне нужен только высокий корабль и в небе одна звезда...» Ну потом я,

конечно, не удержался и спел ей (точной – проорал) эту душераздирающую телегу про ишака: «Мы купили ишака – и! – а! – за четыре пятака – и! – а! – захотелось ишаку – и! – у! – переплыть Москву-реку...» Длинная песнь, почти Илиада.

В школу меня, конечно, не взяли.

Но с тех пор я с ослами в дружбе, а теперь еще и на корабле высокоом.

Брошюрка

Мама вчера протягивает мне брошюрку: это твоя? К брошюрке этой я вернусь чуть ниже, а пока нужно кое-что рассказать, припомнить.

Жил в Киеве русский поэт Леонид Вышеславский, лауреат премий, член президиума, тот, чей сонет летал во рту Гагарина в космос. Положение его в тогдашней Украине было двояким. С одной стороны, официальная фигура №1 со всем полем почестей и возможностей, с другой, крайне подневольное положение – в том общем холуйном режиме страны и в ее отношении к русскоязычной литературе как соержанке и падчерице в частности. Всё это он хорошо понимал, а при том, что сердце у него было добрым, а порой отчаянно добрым, проходить меж двумя этими полюсами и совершать самостоятельные поступки было ему непросто, однако в критические минуты он это делал.

1978 год, мне было 19, я работал в бригаде художников-реставраторов настенной живописи в церквях Киева и Украины. Написал поэму, которую хитро, учитывая цензуру, назвал как производственную: «Я работаю». Сейчас даже нам, кто помнит это время, трудно представить ту жалкую абсурдную меру свободы, позволяемую в печати. Напр. слово «храм», «церковь» просто вычеркивалось цензурой – даже употребленные в нейтральном смысле – как сооружение. Не говоря уж о слове «Бог». Я помню, в эту же пору Андрей Вознесенский, даря мне свою книгу, авторучкой поправил в программном своем тексте, давшем название этой книге, «Ностальгия по настоящему» – по настояЮщему, даже ему и даже такие безобидные вещи не удавалось отстоять. В этом смысле поэма моя выглядела отъявленно антисоветской и вопиюще непечатной. Вся она происходила в храме, где я реставрировал Бога, время, речь, память, и вообще все то, что потемнело под грязью и уже едва различимо. Начиналась она так:

Я работаю в храме Рождества Богородицы,
сквозь разбитые стекла – как весла лучи,
я не ангел в библейской спецовке,
просто делаю то, что меня научили:
реставрирую сердце Михаила Архангела...

Ну и т.д., с перекурами. Но главное было не слова, а в той молодой безбашенной свободе формы, интонации – совершенно не от мира того, цензурного. И вот эту поэму Вышеславский добивается опубликовать со своим предисловием в самом махровом и подневольном, единственном русскоязычном журнале «Радуга». И публикует.

Второй случай еще более удивительный. Прошло несколько лет. Моя первая книжка стихов уже годы лежит в комсомольском издательстве «Молодь». Каждый год ее анонсируют, магазины собирают какое-то немыслимое количество заказов (настолько, что именитые украинские письменники просят меня посодействовать, чтобы и их книги хоть как-то заказывали, думая, что у меня там всюду «свои люди»), но выход ее всякий раз переносится на следующий год. Заведующая редакцией поэзии – Любовь Голота. Над ней начальник с еще более красноречивой фамилией Затульвитер (заслони ветер). Ее, книгу, вообще бы не рассматривали, если бы не заступничество из Москвы (Вознесенский и др.) и Киева – Вышеславский и вроде бы первых лиц украинской официальной литературы – Драч, Олейник, Мовчан... (Вознесенский – в первую мою встречу с ним, оборачиваясь в такси ко мне: ну как там, Сережа, в Киеве, как там Драч? – О, – говорю, понятия не имея о такой фамилии, – драч у нас на слободке тот еще! – и рассказываю ему в подробностях). Так вот, в какой-то день, когда уже совсем стало немоготу от этих кафкианских коридоров во-

круг книги, я – уж не знаю, как это у меня получилось – собрал в Союзе писателей весь генералитет их, напрямую или косвенно связанный с подобными решениями. (Вообще тогда я думал и вел себя так, что это моя страна, моя культура, мой дом, и вся так называемая власть имеет тут не большее право решать, как жить, чем я.) Перед тем поговорив с ними (по одному), что, мол, может, хватит говорить мне одно, кивая при этом на «непреодолимые обстоятельства» в сторону «Замка», а давайте соберем весь этот Замок со всеми его обстоятельствами в одной комнате, чтобы некуда было кивать, и наконец решим в отношении книги, пусть будет «нет», но ясное.

Не понимаю, как это произошло, но все они собрались. Человек 15-20. И потекли политкорректные иезуитские словеса. В торжественном зале Союза писателей тогдашней Украины. Начав на украинском и перейдя на русский. Так длилось, пока не встал Вышеславский. То, что он говорил, эти стены наверняка еще не слышали. После такого, казалось, ни о своем членстве в президиуме, ни вообще в сообществе – и не только писательском – уже речи не могло и быть. Голота вылетела из зала, хлопнув дверью. Драч сидел, обхватив опущенную голову руками. Сам Вышеславский был, похоже, близок к сердечному срыву. Это был отчаянно сильный поступок. Другое дело, что ни к чему, вопреки ожиданиям, это не привело. Промоина в болоте без труда затянулась. Книга еще через неск. лет все же была выпущена. Точнее, не книга, а узник концлагеря, едва узнаваемый.

И вот мы возвращаемся к брошюрке. 90-е годы. Я издаю в Киеве негзету «Ковчег», приходит Вышеславский, мы много лет не виделись, ему под 80. Он хотел бы издать маленькую книжку свою. Нет денег, вообще ничего нет от того мира, в котором мы еще недавно жили. На издание нужно 50 долларов, тогда это примерно было месячной зарплатой, чуть выше средней. Я нахожу эту сумму, звоню ему, предлагая завезти ему в конце недели, поскольку меня нет в городе, но деньги есть, лежат дома – у мамы. На левом берегу, у черта на куличках. Он вызывается приехать. И вот они сидят с мамой, чаевничают, он дарит ей эту тихую брошюрку Запорожского университета о его поэзии, подписывая: «Глубокоуважаемой Майе Львовне – матери веселого хозяина на великом пиршестве бракосочетания слов».

Через несколько лет его не стало. Старика избили какие-то уличные подонки.

Рим за шесть неторопливых часов

Конечно, и только потому, что с Сашей Сергиевским. Лингвист, историк, переводчик, москвич, гражданин Рима, живущий в нем уже 20 лет и знающий его как мало кто из коренных римлян...

Нет, конечно, не только поэтому, а еще и единый круг, к которому мы принадлежали, единый язык и та скорость ассоциаций, которую Набоков и называл культурой, – это и позволяло нам двигаться между и поверх шаркающих слов и срезать углы между зреньем и виденьем.

Как ни парадоксально, за почти 25 лет, в течение которых не виделись, мы стали не дальше, а ближе, и это с удивительной чуткостью и как-то совсем по родному обнаружилось с первых же минут. А через полчаса мы уже сидели в кафешке у Колизея (а лучше бы – с двумя «л») и дивились тому, что Рим вымер – ни людей, ни машин. И потом, уже обойдя весь старый город, где обычно толпа плывет в три этажа, Саша признался, что такого он не видел за все 20 лет. Ну да, суббота, жара, горожане за городом, но где туристы? Были, но совсем не много.

То есть даже не шесть часов – два из них мы просидели в таверне за Тибром, на острове. И говорили о своем, о нашем – об Алеше Паршикове, о Москве, Риме и Индии.

Из неизвестного известного о Риме меня привлекли три момента.

1. Квартирка Клеопатры, которую ей снимал Цезарь в жилом квартале, и откуда она бежала после его гибели. (А сам он жил в квартале магов, проституток и нищих интеллектуалов – по ту сторону стены, за которую благородные граждане не хаживали.)

2. 6-8-этажные дома, в которые римляне жили в начале эры (мы перешли в них лишь после Хрущева). А туалеты горожане по-прежнему выносят глухим балкончиком, прилепленным к фасаду – это на каждом шагу в «старом фонде». И главное: не строится ничего нового, а пере-до-при-у-страивается из старого – дома как палимпсесты.

3. Колонна Траяна. Она «спелената» барельефами, изображающими его войны с даками. Ювелирные миниатюры, «бинтующие» всю колонну, уходящую на 50 м вверх. Понятно, что в те времена невооруженному глазу были доступны лишь нижние 3-4 метра. Для кого ж этот изысканный бисер, текущий в небо на протяжении 45 метров? Для неба? Вот так и надо писать – на девять десятых ни для кого, с такой же, если не большей самоотдачей, чем нижняя десятая. И не потому, что почти две тыщи лет спустя влезли и разглядели.

На спине

Проснулся сегодня и вспомнилась одна история, из крымских, вроде бы ничего особенного, одна из многих. Но вот ходит за мной весь день, как собака. Выйду в дворик покурить, и она за мной, ляжет у ног, чуть отвернувшись, голову на лапы положит, вернусь, и она за мной. Так и хожу с ней, как дама с собачкой. Как бы мне рассказать ее в двух словах, не отвлекаясь на все то, без чего, казалось бы, и не будет ее, стоит лишь умолчать. И все же попробую.

Вот бывает такое: подходит человек утром к окну, смотрит и не понимает, что он тут делает и зачем, и вот он, назовем его Антон, уже на вокзале и садится в поезд, и ему все еще непонятно это «что и зачем», а он уже едет в Крым, например, из Москвы, и в купе входит девушка Алена с точно такой же историей этого дня. А по дороге, на одной из станций, скажем, в Туле, к ним подсаживается Наталья – из этих же «совпадений». А тем временем в Киеве в поезд садятся двое парней – Вова и Лёха – странно, но тоже из этих же. И вот эти пятеро по какому-то наитию оказываются в Гурзуфе и сходятся у калитки дома №13 по улице Крымская, где живет высокий ладный человек с тихой, чуть застенчивой улыбкой. Я сижу с ним в тени инжира, мы смотрим на море, вино на столе, виноград. Конец сентября, когда Крым, после летнего сна, наконец, возвращается в свои очертания и, как женщина у зеркала, вглядывается в себя, в свою близь – как в дальнюю даль глядят.

И вот они входят во двор, эти пятеро, спрашивают, можно ли снять жилье на пару дней. И начинается неизъяснимое: дни, недели, месяцы, а мы все не растаемся ни на минуту, и на чем это держится не понять. Ни пространства, ни времени, ни самих нас по отдельности нет. Лишь бескрайнее и такое же прозрачное, как воздух, счастье – жить, быть – вместе. И мы без конца идем в какие-то горы, пещерные города, возвращаемся, и снова уходим, и пьем, не пьянея, в огне не горим и на скалах отвесных во тьме не падаем, сошлись и расстаться не можем.

Скоро зима, и вот остается нас четверо: Вова, Лёха, Наталья и я. Она идет по поселку, сняв легонький свитерок, который носит на голое, и пританцовывает, развихривая его над головой. У нее с Вовой любовь.

В один из дней они, наконец, отпрашиваются в Киев – за родительским благословением. На следующий день к вечеру он возвращается. Говорит: «Сели в вагон, вышел купить еду, поезд тронулся, я не успел... Шел пешком сюда из Симферополя, ночевал на обочине...»

Ни жив, ни мертв сидит. Телефонов мобильных тогда еще не было. А адрес твой у нее есть, спрашиваю. Да, говорит. Ну так звони домой, что же ты тянешь? Звонит. Мать отвечает, что она приходила, уже ушла – на вокзал.

Я набираю справочное киевского вокзала, здравствуйте, говорю, я... И тут начинается то, что сейчас я уже восстановить в памяти не могу, а сочинять не хочется. Длился этот разговор, наверное, около получаса. Я говорил не смолкая, не зная «куда и зачем», говорил о Крыме, об этой встрече, об осени, о бог знает чем, о Данте и Беатриче, я просил ее, эту незнакомую женщину, находившуюся за тысячу километров, за стеклом, на киевском вокзале, просил ее объявить по громкой связи для Наташи, которая, наверное, где-то там сейчас, стоит в очереди за билетом в Тулу, сказать ей, что Вова любит ее, что он найдет ее и будет им счастье...

И эта дежурная в справочной, Лида ее звали, сначала едва не бросившая трубку, отвечает все менее резко, и вот притихла совсем, и вдруг слышу – тихонько всхлипывает, а я все говорю и говорю, и она робко так, с еле слышной горечью и надеждой: «да... да, и у меня было... в жизни... но нельзя ведь, меня уволят... нет, я скажу... ну и пусть... потому что нет ничего дороже, да?» И всхлипывает. Сейчас, говорит, соберусь и скажу, не кладите трубку.

А Вова сидит в углу, обхватив ладонями голову, сжался весь и дрожит: нет, не надо, шепчет, не надо...

И тут я слышу: «Наталья... – голос, чуть изменившийся, взволнованный – по громкой связи, на весь вокзал, – ... я люблю тебя». И мне кажется, вижу, как толпа вокзальная вдруг стихла, замерла. И девочка в свитерке у окошка кассы медленно оборачивается, не веря, не понимая, «куда, зачем?»...

А потом, что ли год спустя, я приехал в Москву и зашел к Антону – тому, первому, с которого все началось. Посидели, вспоминая. С Лёхой, как он слышал, что-то случилось, ушел из дому, зиму провел у Днепра, глядя в костер. А та девочка, Алена, с которой вернулся в Москву, теперь в Одессе, вышла замуж. Нет, о Вове ничего не известно. А почему бы не съездить к Натахе в Тулу, а? Просто приехать и позвонить в дверь. И был день, и мы втроем где-то в пригороде, на берегу реки: тишь, запах хвои, лежим, прикрываясь ладонью от солнца, и смотрим, как с высокого полуразрушенного моста кто-то все время прыгает и летит на резинке, и, не долетая до воды, возвращается, крохотный, как брелок...

А потом какой-то бар, ночь, и я просыпаюсь в ее голой комнатке: мы лежим втроем, она между нами, на спине, глаза открыты, и тихо так – то ли мне, то ли не видя меня, шепчет: «...как черепашка, на спине... вся жизнь... и не перевернуться...»

На полях

Что нужно, чтобы хоть отчасти приблизиться к слову, письму? И вообще – к реальности. От бога – понятно – допуск, «искра». А от человека? Опыт беды («возжечь беду», Введенский)? Да, но и, что случается куда реже, опыт счастья – тот, настоящий, в котором трудно уцелеть. И путь предельной единичности – не в смысле избранности, а той, которой не на что опереться, с подвешенным в себе «человеком».

Пишущие не спасутся.

Гульпен

Ходил в деревню за хлебом. Потому как хлеба в Голландии нет, есть нарезные тряпки, типа влажных салфеток цвета раскисшей грунтовой дороги. Последняя надежда была на булочную 1900 г.р. в центре этой деревни по имени Гульпен.

О радость – лежит – буханочка! Беру и спрашиваю у милой конопатой продавщицы: а где тут у вас кладбище? Вслед за этим вся булочная минут десять шумно припоминала, где оно у них. Американское? – переспрашивали. Нет, говорю, отечественное, старое. То, где башня 11 века. Башня? – изумлялась очередь.

Наконец, пришел я с буханкой на кладбище. Ничего особенного – башня невыразительна, могилы тоже, древней, чем сер. 19 века, захоронений нет.

На обратном пути, идя через поле, разговорился с лошадьми. Две. Подошли. Не дают фотографировать – лнут, в лицо тычутся. Поел с ними хлеба. Чудесен, а! Кивают ошалело. Несколько снимков, по-моему, совершенно хороши.

Сейчас сижу в бунгало, пишу, а в окне три цапли расхаживают – в пеньюарах. Туман.

Поле

Откуда эти беженцы из территорий «я» под флагом поисков нового языка, новой оптики? Оттого ли, что «я» не отвечает на вызов, не держит удар? Самостояние не держит, мышление, вмняемая связь слов? Не держит. Особенно после тех, кто держал. А реальность держит? Может, дело не в кризисе «я», а в тех, кто сейчас в поле?

Воскресенье

В этот небесный день я хочу вспомнить об одном близком мне человеке. Его уже нет в живых. А началось всё в 1981 году, когда в «Литературной учебе» (где годом спустя появятся «Новогодние

строчки» Алеши Парщикова, а затем «Ода» Ильи Кутика) был опубликован мой роман в стихах «На фоне неба и во всю длину». Жил я в Киеве, мне было 22, это было первой моей публикацией. И вот – вдруг – хлынул поток писем со всей страны. Почтальонша складывала их на лестничной площадке, поскольку все это в ящик не вмещалось. А полугодом спустя пришел пакет из Новосибирска, в нем письмо на 40 страниц от руки и метровая афиша Новосибирской филармонии, где в первом отделении значился Уитмен, Рильке и, кажется, Лорка, а во втором – этот мой роман в стихах. Этот годовой абонемент читал автор письма – Виктор Семдянкин. Те, кто помнит эти годы, могут себе представить, насколько этот случай невероятен... Я подумал, с чем бы это сравнить по нынешним временам. И не могу придумать. Сейчас, конечно, я с неловкой улыбкой вспоминаю этот «роман», но тогда это было одним из первых появлений другой литературы и другого, нашего, поколения, которое дальше кухонь в публичном пространстве не выходило. Потом, на протяжении 30 лет, я не раз менял свою жизнь, письмо, уходил из литературы и возвращался, менялся круг друзей, читателей, ожиданий, а этот человек неизменно был внутренне рядом. И продолжал писать письма, ради которых стоило жить. Несколько раз мы виделись. Потом он потерял сына, жену, работу. И единственное, что оставалось всегда с ним – вера в меня и любовь – внимательная и по-сибирски надежная. Он и умер, читая стихи – вдруг, тихо, дома – разрывом аорты. И это был год длиною в два, когда ушли из моей жизни самые близкие – отец, он, Алеша Парщиков... Ушла Индия и Москва. В эту же пору прервалась жизнь с женщиной, которая неожиданно стала большей частью меня.

Держись, Витя. Там. И я постараясь. Здесь.

Оглянулся

Полтора года меня не было на земле. Почти не было. Полтора года непрерывного письма. Открыл папку, ужаснулся: более трехсот стихотворений написано. Ежедневно, все световые дни напролет – у экрана. За исключением нескольких кратких отлучек. При том, что ни дома, ни семьи, ни службы, ни работы, ни проектов, ни путешествий, ни каких-либо связей с внешним миром, кроме фб. То есть по тексту в день, ежедневно, учитывая, что некоторые требовали и двадцать-тридцать часов работы. И не считая переводов Джойса и разных др. текстов. И без пресловутого «опьянения вдохновением», спокойная последовательная путевая работа, сродни экспедиционной. Внешне. С предельным напряжением сил. Не знаю, были ли такие случаи. Прозу, да, можно писать в таком режиме, да и то не всякую. Странно еще и то, что, казалось, к стихам уже не вернусь. После романа «Адамов мост», который писался семь лет – примерно в таком же режиме. И думал об этом спокойно, потому что в этой книге, по внутреннему ощущению, сбилось всё, ради чего я вообще жил-был. Беспокоило немного только будущее – чем его занять. И вот проходит где-то полгода и вдруг на полях дней возникает что-то вроде стихотворения, ничего вроде не обещающее в смысле продолжения... И всё. Голову я поднял лишь сейчас, полтора года спустя. И вот еще странно: я почти десять лет перед этим не писал стихов, но и тот островок был маленьким – пару десятков текстов, а перед тем – еще десять лет стихов не писал. И вообще со стихами было всё как-то неясно: будто писали их в разные периоды жизни разные, порой незнакомые друг с другом люди, и кто из них кто, и где из них я – вопрос, который вился за мной все годы, пока я не махнул на него рукой. И вот к пятидесяти годам они все сошлись и срослись в «Адамов мост». Казалось, уже не просящий никаких слов после... Тут-то меня и подгадало. Дивны дела твои, Господи. С Новым годом Тебя.

Касис

Маленький курортный городок на Лазурном берегу – похоже, один из самых, облюбованный французами с достатком, белыми, хотя и в 20 км от Марселя. Крымский ландшафт. Утес – тоже «самый» – высокий во Франции. Он меняет кожу трижды на дню – от разбеленной сиены до красной охры. День тут начинают с поедания мидий, их выносят в иссиня-черных трехлитровых

кастрюля и ставят на снежные скатерти, дальше – медленный танец рук и губ, с обсасыванием. Я мидий не едок – это единственное, что кто-то внутри меня не переносит – до тошноты.

(Помню, как приехал ко мне в Мюнхен Алеша Парщиков, мы долго не виделись, нам было о чем поговорить, ждали этого дня. И вот в первый день мы пошли в известный Музей техники – поздно, перед закрытием, выбрали зал оптики, там было две двери, каждый шагнул за свой черный занавес и ухнул в оптическую западню: 12 Парщиковых, глядящих друг на друга под углом крайнего отчуждения – у него, и столько же Соловьевых у меня. Вышли, не проронив ни слова. Долгое время спустя, Алеша сказал: «И с этим человеком я жил, спал под одним одеялом, любил женщин?!.»

А наутро мы ели мидии в харчевне у реки, думая, вот теперь уж побродим, поговорим... Весь день я блевал, обнимая деревья, так мы и шли через город – все 24 человека... И разъехались).

Так вот, после кастрюльного трешлика, французы делятся на два потока: один тянется на пляж, где достает тормозки и очень по-нашенски, под яростным солнцем, наворачивает из плосшек, кто чем запасся, запивая местным вином. А второй поток садится на катера и отправляется к «каланкам» – длинным красивым затокам среди высоких известковых скал. Потом оба потока сливаются на набережной в очередях за мороженым – съедаются тонны (Касис – звучит как «черная смородина» – отъявленный сорт здешнего мороженого, цвета той же кастрюли).

Ну и к вечеру – снова мидии и огромные подносы с морскими царевнами при свечах.

А над городком – замок, светится по ночам. И нет дорог к нему.

Сегодня утром переехали в другую квартиру – упоительную, по сравнению с прежней – просто прекрасной. Та утопала в садах и цикадах (кстати, с одной я тут разговаривал, крупная – как три наших, глазела на меня слепыми буркалами Тересия и не выдала тайны происхождения. А они ведь, мамочки, роняют своих детей с веток, и те, в пренатальном еще, падают оземь, и там, пробуждаясь гусеницами, уходят в землю на годы, бродят по черным садам айда, а потом восходят к свету, окукливаясь, превращаясь в цикад, и взлетают, чтобы прожить ровно лето и ронять детей с веток, немые, под оглушительный хор мужчин).

Та – в цветах и цикадах была, над гаванью, а эта – на тихонькой узкой мощеной улочке Сан-Клэр, на расстоянии полета бумажного самолетика, летящего с нашей веранды и лежащегося на море. С веранды – 200 градусов обзор – горы-море-горы, и в зрачке – яхты плывут.

А квартира в двух уровнях, с витой лестницей между ними, чудесная, не нафуфыренный гламур, а старое голое дерево и белизна стен. Дому – около 200 лет. Но главное – мансарда. И веранда, и черепица крыш... И шкафчик расписной, глубокоуважаемый, чеховский.

А вчера с восходом луны белые барабанщики – неисчислимым числом – двинулись к морю с гор – и скрылись в нем.

Гравитация

Подумал, чему бы я мог научить? А ничему. Уже ничему. Ни в литературе, ни в жизни.

Есть такая сумма опыта, энергий на разных полях того и другого, которая в какой-то момент выводит тебя за пределы значимости их «гравитации». Вообще какой-либо значимости, если говорить о литературе, традиций, школ, стилей, задач, целей, контекстуальных связей, групповых эстетик и прагматик, границ, трансгрессий и т.д.

Примерно то же происходит – не страшно сказать – и с жизнью.

Это вовсе не значит, что ты выброшен на какие-то божественные высоты и уж тем более застрахован от ошибок и провалов. Нет, конечно. Просто путь твой приобретает очень – сказал бы «личный» характер, если бы значимость не теряло и это.

Чему ж тут учить, когда вот так «пойман в своей свободе»? Одно из условий которой – не знать. Чему ж тут учить.

Но есть, если отвлечься от этого «перехода звукового барьера», и другая история, менее радикальная. Где эти привязки, эта зависимость от перечисленного выше снижена. И в жизни, и в искусстве есть оседлые фигуры, и есть номады. У одних – огород, соседи и почтовый ящик на заборе. У других – соответственно.

Ум за разум

А что значит «ум за разум зашел»?

Если ум – наше, здешнее, злаковое, культивируемое. А разум, если верить мудрецам – не от мира сего. (Гераклит: Разум вне нас. Или Дэвид Бом, физик-нобелиат, беседуя с Кришнамурти: Ну не может же разум не иметь никакого отношения к мысли! Кришнамурти: Разве?)

Не заходит ли ум за разум, когда первый становится между тобой и разумом на манер затмения?

Но тогда звучало бы наоборот: разум за ум.

А так, выходит, светит чистый разум безумия.

Любопытно, что в русском языке сумасшествие, безумие связано с утратой ума, а в украинском со свободой от бога – божевілля.

Севиля

Упомянутая история, сродни затяжному оргазму. Это Севиля, по сторонам этого дома – две улочки: одна (дальняя) называется Жизнь, другая – Смерть.

История такая. В 15 веке крещеный еврей Диего Сусон готовил восстание за права евреев в этих землях. Его дочь, прекраснейшая Сусонна, и католик Христиан любили друг друга, она проговорила ему о предстоящем, тот, принадлежа к знати города, предупредил мэра. Заговорщики были повешены (вместе с отцом Сусонны), она ушла в монастырь и завещала после смерти повесить свою голову на двери дома. Что и было исполнено, а когда голова истлела, ее заменили лампадой, улицу назвали улицей Смерти, теперь на ее доме барельеф с надписью.

А в магазинчике между улицей Жизни и Смерти работает киргизка по имени Раушана. На мой вопрос о том, кто живет в этом здании между улицами и не так ли оно внутри устроено, что комнаты, принадлежа одним хозяевам, выходят окнами и на смерть, и на жизнь, или делятся на жильцов Жизни и жильцов Смерти, сказала, что вон там, на втором этаже (Смерти) с окном на площадь, живет старуха, ей лет 80, и она всякий раз, когда подходит экскурсия, распахивает окно и несет проклятья на головы экскурсоводов, крича, что она их всех переживет, что у нее месячные еще не кончились.

За сим откланиваюсь.

...

А вот здание Архива Индий, то есть Америк. Строилось в то самое время, когда в городе жил комиссар по продовольственным закупкам и займам, почти мытарь Мигель Сервантес. Это самые темные для биографов его 5-10 лет. Пару раз он, 50-летний, оказывался в тюрьме. После этого севильского периода этот писатель-неудачник публикует первую главу Дон Кихота. В Архиве Индий – 9 км полок, 80 млн страниц документов, в т.ч., дневник Колумба, прошение Сервантеса о соискании какой-нибудь должности в Америке и пр. И ни души.

У двери

В общем-то говорить уже было не о чем. То есть было, конечно, но что уж – всё по тем же кругам. Так и топтались у двери, чуть виновато подбадривая друг друга. Прощание с умом затянулось.

Дар смерти

Вчера получил в личку вот это. От незнакомого человека. Пишет, что купил в Керчи в 1990-х. Это моя первая поэтическая книжка, с дивной страннической судьбой, гуляла по стране в те годы, всплывала потом где-то в сибирях и пустынях. Хотя издалась небольшим тиражом в Крыму и легла лишь в местные магазины. Набиралась она какой-то дояркой, бывшей наборщицей – под

Белогорском. Куда я с редактором возил тяжелый портфель свинцовой латыни, которая там, в Белогорске, не росла. Для милых инкрустаций в некоторых текстах. 150 страниц мелкого шрифта, исполнявшего пляску Витта. Я помню, как слал эту книжку своим друзьям – в Москву, Питер и др., представляя, как они вынимают из почтовых ящиков это «дар». Помню, как Володя Салимон позвонил мне, говоря, что ж я испытываю так его сердце, что в первые секунды его мог и инфаркт хватить. А я ездил из Гурзуфа в Ялту и торговал там книжкой – на хлеб для малыша той женщины с которой жил тогда. Конечно, оглядываясь, мы разные – там, в книжке, целый народ меня, боевой и кипучий, на алхимических полях лучезарного ада, я по сравнению с ним теперь – перс на льдине.

И какой-то стигмат проступил на носу на фотографии – видно, от долгого хранения.

Вена

Прислали запись моего недавнего вечера в Вене в галерее Overground на «Венских чтениях». Об Индии. Вернее, два фрагмента вечера, больше не записалось: начало и фрагмент перед концом. Причем второй записан без головы. Что и хорошо, сказали бы индусы, поскольку мир (мая) – головная боль без головы. Жаль, что середина не записалась, там я, кажется, пытался что-то важное сказать – о смысле. То есть не жаль, конечно, а слава богу, потому что попытки смысла – заминки вкуса, чтоб не сказать – жизни.

Светляки

Посмотрел фильм про светлячков. Ужас. Мерцающая тьма, тысячи светлячков, несколько видов (народов), говорящих на своем световом языке. Самки подзывают самцов на любовь особой световой фразой. И чередуют это со сменой языка, подзывая самцов другого вида. Те спешат на свидание, и самочки их сжирают. И опять меняют язык, полиглоты, на родной. Звездное небо, красота ходуном ходит.

Так прекратилось существование искусств

Я умер. Гомерически умер. Так умер, что уже, наверное, никогда. Нет, ну надо же! Лучшее, что могло быть написано обо мне. И не мудрено, что написано не человеком.

Этот прекрасный сдвиг сетевого разума найден на задворках Интернета, где предлагалось скачать одну из моих книг в обмен на ваш мобильный номер.

Прошу потомков разместить этот текст на моем могильном камне. Всё равно лучше никто не скажет.

Волоокий Сергей Соловьёв, проживающий на крымской вилле среди ланей и павлинов, пишущий о любви так, как если бы то ... Стихи. – М.: Московский рабочий, 1990. ... Рецензия на книгу Сергея Соловьёва «Крымский диван». Вплоть до элементов потока сознания 2002), «Amort: Роман» ничего не изменилось : «Медленные книги», 2015 Соловьёва. Учился на Сергей Соловьёв – открыватель: даже географические выставки в Германии, США, Чехии и др. Рубеже 1980-90-х гг Сергей Владимирович Соловьёв родился в в этом смысле за последние пять тысяч лет. Проза Соловьёва характеризуется превалированием стилистических задач над сюжетными книг поэзии и поэтической прозы, в том числе. «Фигура времени» Как писал С М Соловьёв писал: знакомой оленихе 9 января 1959, Киев) – поэт. Проживающий на крымской вилле среди ланей и павлинов, Тот же путь и те же задачи, которые. Который по-прежнему и есть этот поиск И до писал историк С Нольдистанция: Стихи Волоокий Сергей Соловьёв. Дегуманизация, постмодерн, поп-арт и пр Автор десяти книг Особенностью поэзии Соловьёва является обилие эротических мотивов: на. Прозаик, художник Адамов мост: роман / Сергей Соловьёв пишущий о любви так, как если бы то. Смене парадигм ни писалось на заборе времени – находящуюся на сайте, охраняются в соответствии с. Распластавшегося под землей Большого адронного коллайдера В начале крымским ханам 4 авг

2015 М : Русский. *Проекта и гл И поиск смысла человеческого существования, (рядом с м Соловьёв – К. Германин, США, Чехии и др – М – литературной премии «Читатель» Следующее вторжение татар в Крым. Великий русский историк С И о какой бы / С С XVII века государство вместо дивана-совета. И ведущий междисциплинарного дискуссионного клуба «Речевые ландшафты», автор ханстве являлся совет – диван СЛОВА И ВЕТЕР. Выпустил три тома альманаха «Фигуры речи», выступил организатором и стихов «Крымский диван» и роман «Аморт»; то. Была смерть, и о смерти – как о собой коктейль из потомков Все права на информацию, , 2005) «Крымский диван: [Стихи и проза]» (М законодательством РФ оо в Москве, в магазине «Циолковский. Пишущий о любви так, как если бы то 19 К началу XIII века население Крыма представляло. Кажется, он на скрещении самых важных проектов, открывающих Крым избавил Московию окончательно Пир: [Стихи и проза. (М 1 фев 2010 тексты из сборника прозы 1959 г Крымский диван (Проза, стихи) Соловьёв., Хана, входили его заместитель и наставник калги-султана, старшая сил пор никто не смог затмить славы С. Границей, активно выступает как художник (персональные выставки в книги «Книга» () – презентации приуроченного к рубежу. Соловьёв: «Так прекратилось существование – М, 2006), искусств*

Выбыть

Стоял у окна, смотрел сквозь свое лицо на луну заволоченную, знакомое чувство, думал о книге, нам надо ее написать, этим двоим, или не написать, просто доиграть человека, как день, идиотично светлый, как ни в чем не бывало, книгу, без читателя, чтобы ни одного, и это, похоже, уже достижимо, после «Адамова моста», как Поминки после Улисса, об этой Индии и совсем не о ней, если о нечитаемом, или наоборот: последовательно, что называется «запечатлеть» день за днем все эти джунгли (не джунгли), все то, чему и так нет места для соучастия со стороны, и особенно в русском сознании, без вины виноватом, и о женщине рядом, без которой, наверно, сожгло бы, о заземлении ею, о прикрывании глаз, об этой охранной грамоте поля помех, ставшей капсулой, воздухом, чтоб не убило дарами в этой лишенности речи, чувств, адресности и всего человеческого. Zero mile – так называлась та местность. И, может быть, книга. Вот лето, выбыть.

Письмо

Только что пришло письмо от неизвестной. Вот его полный текст: Меня зовут Вина, я надеюсь, ты хорошо

Борис КУТЕНКОВ

«И ВСЯ ЗЕМЛЯ ВИДНА...»

Денис Новиков. Река-облака / Сост. Ф. Чечика, О. Нечаевой; вс. ст. К. Кравцова; подг. текста, прим. О. Нечаевой. – М.: Воймега, 2018. – 488 с.: ил.

Эта книга – без преувеличения, самое долгожданное событие в мире современной русской поэзии за последние годы.

Слова Алексея Алёхина, сказанные при переполненном зале на презентации, о том, что время – лучший судья, истинно справедливый к поэтам, нашли подтверждение уже до её официального выхода. Востребованность налицо: «воймегаовцы» ещё при первых анонсах оказались буквально атакованы вопросами, где приобрести книгу, и это не случайно. Перед нами – первое полноценное собрание стихов и эссеистики Дениса Новикова (1967–2004), сопровождаемое обширным рядом примечаний. Для тех, кто хотя бы отдалённо знаком с литературным процессом, имя автора говорит само за себя; как те, так и другие, только вступающие на это поприще, получили драгоценный подарок из рук издательства «Воймега».

В книге два поэтических раздела: первый составили стихи, в основном хорошо известные читателям Новикова, второй – обнаруженные совсем недавно в его домашнем архиве (здесь стоит поблагодарить Феликса Чечика, Юлиану Новикову и Михаила Володина, благодаря которым опубликованы не печатавшиеся при жизни поэта тексты). Некоторые из ранних вещей, начиная с 1981 года, вынесены во второй раздел; стихотворение, открывающее книгу, датировано 1983-м. При этом хронологический принцип расположения, «убивший» не одно избранное (вспомним том Бориса Рыжего «В кварталах дальних и печальных», ставший классическим примером неудачи в этом смысле), в случае Новикова, который рано достиг творческой зрелости, оказывается

продуктивным. А для читателя, привыкшего воспринимать стихи вне временной привязки, – оказывается ещё и удивительным открытием. К примеру, некоторые тексты, по неразумению относимые мной к периоду «Самопала», – последней прижизненной книги поэта, после которой произошла его эмиграция – и личностная, и географическая, – внезапно «приоткрываются» как датированные концом восьмидесятых: на момент написания автору около двадцати лет. В стихотворении «Школьник» (1989; Новикову двадцать два) – психологический анализ пути человека от юности до окончательной зрелости (говоря точными словами Ольги Балла из другой рецензии, это стихи, «звучащие из условных сорока, не только обожжённых горечью, но уже и обживших её»). В другом стихотворении того же года – «Жизнь прошла, понимаешь, Марина...» – столь же последовательно анализируется, по Новикову, «драгоценного времени сплав»: пристрастное подведение жизненных итогов кажется несоизмеримым с временем написания, а точнее, с возрастом автора.

Стихотворение Новикова вообще часто строится как последовательное нарастание экспрессии в рамках всё того же «подведения итогов»; в нём звучит голос человека, ощущающего себя «славным малым подзвёздного мира», но не отделяющего себя от хаотизированной эпохи. Определение Бродского, данное в послесловии к новиковской книге «Окно в январе», «частный голос из будущего», становится не только оправданным, но как нельзя более точным в этом контексте:

Я обломок страны, совок.
Я в послании. Как плевок.
Я был послан через плечо
граду, миру, кому ещё?

Нонконформизм лирического героя Новикова критики констатируют единодушно – и это наблюдение совпадает с признанием непримиримого характера поэта теми, кто знал его при жизни. В этом смысле Новиков

становится интересен среди прочего как представитель личностного индивидуализма, не сумевший, а возможно, не захотевший «вписаться» в литературную ситуацию новейшего времени. Чувствуется, как «поэту крайних состояний и мучительных антиномий» (определение Артёма Скворцова из рецензии на предыдущее избранное Новикова, «Виза»¹) трудно было воспринимать положение 90-х – 2000-х, когда поэзия внезапно оказалась оттеснена на периферию общественного внимания. «Он находил оправдание своей беспощадности к окружающим в беспощадности к себе самому – со временем это привело к разрыву чисто человеческих отношений едва ли не со всеми дорогими его сердцу литераторами...» (В. Куллэ)². Индивидуалистическая философия – стержневая в творчестве Новикова: «я поищу изъясн в себе самом» («До радостного утра иль утра»), «Тридцать один. Ем один. Пью один» (в одноимённом стихотворении), «сам себе жертвенник, сам себе жрец», «сам себе поп» («Чёрное небо стоит над Москвой...»), «за ухом зверя из моря треплю, / зверь мой, кровиночка, век, / мнимую близостью хвастать люблю, / маленький я человек» (там же). «Маленький человек» этих стихов предстаёт как результат искусительного влияния; этот мотив «изгнания из рая» у Новикова постоянен – герой предаёт изначально заложенную в нём чистоту и сознаётся в собственном предательстве:

Гадко щерятся Павлов и Дарвин:
дохлый номер бороться естество.
Но недаром, ты слышишь, недаром
мы пока ещё верим в Него.

Поэт вообще мучительно выясняет отношения с Богом; уязвимость и незащищённость («ибо нам не осилить пути») сочетаются в этих стихах с самоаттестацией «подобия Божья» – и в некотором смысле с «дорастанием» до «изгнания из рая», удручающим, но вместе с тем полноценным

¹ Артём Скворцов. Бессрочная виза // Новый мир. 2007. № 6.

² Виктор Куллэ. Мальчишеская дружба неразменная // Арион. 2007. № 4.

знанием, соизмеримым с Божьим. Но человек, обладающий этим знанием, как бы вступает в конфликт с богоданной незапятнанностью – и в этом смысле оказывается низшим существом по сравнению с Богом. Если в стихах 80-х – начала 90-х этот мотив предстаёт на уровне осознания собственной подростковой «испорченности» и не лишён импульсивного начала, то в более поздних стихах возникает своеобразное осознание последнего аскетизма: «Мне кажется, тесно и строго / И так уже в доме моём, / Как будто под Господа Бога / Часть здания сдаётся внаём»; «Но краски оскудели / и вся земля видна». В тихих и не бранящих «голубиную Русь-приснодеву» (впрочем, таких стихов, бранящих, тоже предостаточно) стихах «Самопала» (1999) нравственная дихотомия проявляется то на уровне «болотистого рая» в стихотворении с ключевым образом Сусанина, то «придуманного мотива», который на фонетическом уровне превращается в «погребальный напев», и прямолинейной констатации: «ибо я – это грех», на другом психологическом полюсе которой – прощение («вы простили, а я не прощу / и в могиле» («Одной семье»). Мотив прощения, пожалуй, более приближен к «человеческому» и закрепившемуся в сознании современников образу Новикова в конце его жизни. (См., например, воспоминания Юрия Кублановского: «Я, к сожалению, застал Новикова уже в злом разложении (наркотики?). Говорить с ним было уже не о чем. Помню, какой-то особой злобой кипел он в отношении Тимура Кибирова... <...> Жизнь быстро его сломала, но что сделал – то сделал, и есть стихи превосходные»³).

Собственное всевластие, нередко приобретающее формы стихового бурлеска («Маргаритка», «Я б воспел укладчицы волосок...»), диссонирует у Новикова с ощущением собственной малости: «Как ты не слышишь лесть мою и ложь, / И я напрасно грыжу надрываю...», а «последняя» трансформация («роняет уже не мессия / уже не слова») – с, казалось бы, вполне «мессианской» угадкой: «...не то верну

³ Юрий Кублановский. Десятый // Новый мир. 2013. № 4.

порядки прежние / и годы вешние твои». Иногда складывается впечатление, что книга «Самопал» намеренно составлена так, чтобы эти мотивы шли попеременно. Чего точно нет в этих стихах – это доверия: приговор безжалостен: «любой предать тебя готов / за жизнь и кошелёк».

В неразрывном узле у Новикова сплетаются и социальные реалии, и ностальгия. Сергей Гандлевский, в давней и уже отсутствующей в Интернете рецензии на книгу 1995 года «Окно в январе», критично отзываясь о гражданской позиции Новикова, пишет, что «...те, кому в начале горбачёвского правления пришла пора прощаться с молодостью, простились заодно по случайному стечению обстоятельств и с Советской Россией. Могла произойти психологически объяснимая путаница: поминая добром юность, прослезиться и над участью незадачливой державы. Люди моего поколения не испытали воздействия такого эффектного историко-биографического совпадения. И в грусть о собственном прошлом не подмешивается казённая ностальгия. Ничего там не было достойного ни жалости, ни бережности, кроме человеческих жизней, в том числе и наших. Различием поколенческого опыта, видимо, объясняется моё решительное несогласие с гражданской позицией Новикова». Олег Хлебников, поэт, поколенчески близкий к Гандлевскому, впрочем, придерживается скорее оправдывающей позиции: «...Мы-то успели привыкнуть, а то и приспособиться к лицемерию застоя – нас и нынешний цинизм, порой изумляя, порой возмущая, все же не убивает – кожа заскорузла. А у русских мальчиков-восьмидесятников она была или обожжена Афганом (иногда до кости), или задубела на ветру первых “стрелок” и “разборок”, или – у не участвовавших ни в том ни в другом – так и осталась слишком нежной. Слишком – для того, чтобы адаптироваться к безвременью корпоративного чекизма, к тусовочному распределению ценностей – в том числе и духовных, к планомерному снижению или уничтожению критериев»¹. И в этом смысле подборки Новикова, нашедшие отражение в

рецензируемом избранном, опубликованные уже под занавес его жизни в «Знамени» (1999, № 2), «Новом мире» (1999, № 5), особенно показательны: перед читателем последовательно предстают все приметы распада прежней эпохи: «Высоко это раньше ценилось, / но отменил неразумным Гайдар» (очевидно, здесь имеется в виду крушение прежней системы, осуществлённое во многом при участии Егора Гайдара). Таким образом, за реминисценцией из пушкинской «Песни о вещем Олеге» встаёт набор политических и социальных реалий. Да и сами реалии оказываются значимыми постольку, поскольку воспринимаются через призму классической поэтической культуры: «Когда б не Пушкин, то чихал / бы я на всё на это, право. / Скажите, кто это – Джохар? / Простите, где это – Варшава?» («Как можно глубже дым вдохни...»).

Эпиграмматическое восьмистишие становится излюбленным жанром Новикова в этот период, хронологически совпадающий с выходом «Самопала»: меняется графика стихотворения – отсутствие заглавных букв и знаков препинания, встречающееся и ранее, превращается в норму (реже соседствуя, впрочем, и с традиционной пунктуацией); стихотворение становится загерметизированным и в некотором смысле самодостаточным, словно поэту уже не важно, услышат ли его и поймут ли. («Ты царь. Живи один» – пушкинский эпиграф к одному из последних стихотворений). В одном из недавних интервью Олег Чухонцев так охарактеризовал эту позднюю манеру Новикова: «нервные восьмистишия на фоне более протяжённых стихов»². В жанровом отношении такое стихотворение напоминает басню, но с отсечённой моралью, словно бы замкнутую в себе, а назойливые повторения («ну при чём тут завод винно-водочный / винно-водочный только предлог»; «до радостного утра иль утра – / здесь ударенье ставится двояко»), рефрены («не играй ты, военный оркестр, / <...> / всё в порядке, военный оркестр») символизируют закольцованность жизни и смерти, но одновременно – и собственное недоверие к

¹ Олег Хлебников. Поехали по небу, мама // Новая газета, 9 февраля 2005.

² Алексей Алёхин – Олег Чухонцев. Беспомощность лирики // Арион. 2013. № 1.

слову на фоне отражения «эха, которое не врёт»: «Все сложнее, а эхо все проще, / проще, будто бы сойка поёт, / отвечает, выводит из роши / это эхо, а эхо не врёт». «Литературный процесс» с некоторых пор представлялся ему клоунадой», – пишет Константин Кравцов в недавнем эссе о Новикове, цитируя стихотворение как раз из «знаменской» подборки, ритмически и психологически перекликающееся с пушкинским «Поэту»³:

Не думай о плохом, ты Господом
ведом,
но кто избранник, кто? Совсем
забыв о третьем,
кричит полцирка – Бим! кричит
полцирка – Бом!
Но здесь решать не им, не этим
глупым детям.

Характерно, что, по свидетельствам современников, именно эти стихи не вызвали ожидаемого поэтом резонанса: «И когда последняя, самая сильная книга стихов Дениса Новикова “Самопал” (СПб: Пушкинский фонд, 1999) прошла незамеченной, он решил, что стихи – это его сугубо частное, действительно личное дело, и порвал с литературным кругом окончательно»⁴; «К концу 1990-х гг. стихи Новикова стали суше и пронзительней, доходя в своих аскетичных восьмистишиях до экзистенциального отчаяния в духе позднего Ходасевича, однако в изменившемся российском поэтическом пейзаже именно эти тексты привлекли к себе меньше внимания...»⁵.

Не было бы преувеличением сказать, что Новиков навсегда остаётся поэтом конца: конца эпохи, конца XIX века и прежней России – и, может быть, в этом смысле символично, что в новом тысячелетии он, по собственному же признанию, «не создал ни строки». «И той России, в которой жил поэт, и самого поэта, который жил в той России, нет. Оста-

лись стихи. Они живут», – эти слова Артёма Скворцова, завершающие его рецензию на «Визу», как ни странно, перекликаются даже не столько с новиковскими строками, а со словами Цветаевой из стихотворения «С фонарём обшарьте...» (1913): «Той России нету, / Как и той меня» (слова Виктора Куллэ про типологическое сходство Новикова и Цветаевой заслуживают отдельного разговора⁶). В предисловии Константина Кравцова к рецензируемой книге «ненависть», отличающая Новикова, предстаёт как «иницированная выше», а значит – «дарованная», то есть «данная во спасение». И здесь не случайно, что на ассоциативном уровне в этом предисловии развивается именно блоковская тема: нигилистическое по отношению к переменам мироощущение Новикова оказывается контрастным блоковскому восторженному принятию революции. Перефразируя слова Мандельштама о Блоке, «Новиков был человеком двадцатого века и знал, что дни его столетия сочтены»; но нельзя не уловить и параллель с блоковским разочарованием, гибельным и последним. Констатируемый Новиковым перелом времени оказался выражен, как и у Блока, с безапелляционной суровостью: «мой кумир, как сказали бы раньше, и мой эталон, / как сказали бы позже, а ныне не скажут никак». Эту проблематизацию времени мы наблюдаем и в «пятнадцатилетних» стихах Новикова, предусмотрительно помещённых в конце книги: «И возраст мой покажется мне третью, / А то и половиной жизни всей» (1983). (Сразу скажем: если говорить об абстрактном «художественном уровне», то книга без многих из этих стихов обошлась бы, однако сам факт их публикации лишней раз свидетельствует о «канонизирующей» функции издания: в избранном классика в равной степени важны и стихи «отобранные», и ранние опыты, помогающие проследить движение поэтики.)

Не менее важен в контексте этой канонизации и третий раздел книги. Будучи ранее усилиями Феликса Чечика

³ О человеке. О. Константин Кравцов о Денисе Новикове (http://www.sinergia-lib.ru/index.php?section_id=1392&id=1273&view=print)

⁴ Олег Хлебников. Указ. соч.

⁵ Сайт «Проект «Арго», «Анонсы литературной жизни», архив (<http://www.argoproject.ru/announcements/2007/feb2007.html>)

⁶ В. Куллэ. Указ. соч.

разошедшей по «бумажным» и интернет-изданиям (портал «Textura» (1 марта 2014; там, собственно, и началась публикация этих эссе), журналы «Знамя» (2016, № 10), «Литература» (2014, 14 октября, № 22; 2016, 2 ноября, № 86) и «Prosodia» (2017, № 7), впервые под одной обложкой публикуется эссеистика Новикова. Тексты эти непересказуемы, как и его поэзия, и полны ассоциативных переходов (в основном по принципу «облака ассоциаций» вокруг одной темы) и изысканного самовыражения. Обращает на себя внимание «просветительское» эссе о Георгии Иванове (тогда только открываемом читательским большинством), сопроводённое подзаголовком «к столетию со дня рождения» (дата не указана, но, очевидно, 1994). Именно здесь – зная о любви Новикова к Иванову – невольно ищешь авторские интенции, подразумевая, что большой поэт всегда пишет о себе, даже когда о другом. «И чем ближе подходила реальная смерть Георгия Иванова, конец земного существования, тем лучше становились стихи. В их отражении, по странному оптическому эффекту, русская катастрофа будто не отдалялась, а наплывала всё стремительней и неотвратимей...» – звучит будто о его последней книге «Самопал». (Случайно ли и слова из эссе о Галиче: «Он-то вернулся, но уехала, эмигрировала – в “будущее”, в “неведомое”, в “другое” – сама Родина» – переключаются с наблюдением из эссе Гандлевского «Советский Гамлет»¹? Вот эти слова: «Но за время его отсутствия – по странному и роковому для Новикова совпадению – и он сам в дальних краях, и его родина получили тяжелейшие душевные травмы, как говорится, не совместимые с жизнью, во всяком случае – с прежней...»).

Одиночество, слегка вуалируемое иронией, подчёркивание всё того же собственного индивидуализма и растерянности – один из сюжетов этой эссеистики

ки, отражаемый не напрямую, но через множество развиваемых тем, неразрывно сочетая личное, литературное и социальное: «И куда уж денешься, отечество в постоянной опасности, – процесс политический. А я – не литературный процесс и тем более – не политический. Я сижу дома, сочиняю стихи или созерцаю жизнь и пишу своё, особенное мнение <...> Одним словом, люблю людей, люблю природу, но не люблю ходить гулять. И очень не люблю, когда меня держат за лоха». В цитируемом эссе не обошлось и без сведения личных, весьма нелицеприятных счётов с критиком Андреем Немзером, «походившим дважды» поэта в своих обзорах. Обзоров этих в Сети мне найти не удалось – и не могу оценить, насколько уничтожительная «расправа» Новикова адекватна немзеровским словам. Как поэта – понимаю Новикова: состояние неуслышанности после написанного удавшегося стихотворения – особый род одиночества, не менее болезненный, чем одиночество писателя перед белым листом. Импульсивная реакция, когда вместо человеческого диалога получаешь несколько критических оплеух, неудивительна. Как критик, сам в обзорах своих раздающий оценки, которые могут быть восприняты излишне резко, – скорее солидарен с Немзером.

Что же касается внимательных примечаний, любовно составленных профессионалом Ольгой Нечаевой, то целевая функция их неоднозначна. Выступая на презентации, Нечаева отметила, что отправным импульсом для составления примечаний стало понимание ею, насколько реалии, очевидные ещё недавно, не распознаются представителями младших поколений. В этом видится и своеобразный утопизм: внимательная текстологическая работа «для потомков» произведена в период, когда восприятие поэзии становится всё более дискретным, – и здесь трудно не подумать о фатальном новиковском «несовпадении с миром». Помогают ли примечания лучше понять стихи Новикова? Скорее – ещё более убеждают в их (как и всякой подлинной поэзии) неразложимости и сообщают множество полезной информации

¹ Эссе готовилось стать частью книги «Река-облака», но в процессе издательских пертурбаций туда не вошло и оказалось опубликовано в книге Гандлевского «Эссе, статьи, рецензии» (Астрель, Corpus, 2012).

разного рода: от подросткового романа Новикова с пионервожатой до биографического контекста упоминаемой в стихотворении «Одной семье» могилы; от пояснения мандельштамовской цитаты про «виноградное мясо» до «известия» о том, кто такой Георгий Иванов... Примечания выполняют и всё ту же роль канонизации Новикова в качестве классика – именно их присутствие делает его избранное скрупулёзно-академическим и заслуженно подчёркивает значительность его персоны. Отдельно стоит отметить внимание к советским реалиям, уходящим «в архив», пояснение которых стало стержневым сюжетом примечаний: это особенно важно в контексте новиковских стихов, наполненных приметам времени. В то же время реалии, сколь бы подробно они ни объяснялись, не могут восприниматься отдельно от произведения, и ассоциативное их преломление в лирике неизбежно: потому примечания здесь восстанавливают скорее не контекст стихов, но контекст времени. Интертекстуальный же пласт возникает в этих примечаниях скорее на уровне предположительных отсылок, и лично мне не хватило более внимательной работы именно с литературной составляющей стихов Новикова; впрочем, такая задача выходила бы за грань примечаний. При этом многие из них поясняют скорее литературно-биографические параллели: например, неожиданной становится взаимосвязь Новикова с Александром Башлачёвым, которому посвящено стихотворение Новикова 1985 года; в соответствующей сноске приводится цитата из интервью Вадима Степанцова об их совместных «посиделках».

Надо заметить, однако, что внимание к мелочам в этой текстологической работе потрясает: ради одного слова «брусчатка», упоминаемого в стихотворении Новикова, составители перерыли восьмитомник Маршака (нужное слово, правда, в восьмитомнике не найдено, но значение работы от этого не приуменьшается). Указаны все первые публикации и republications стихов Новикова. Вообще, количество ре-

публикаций – предмет отдельного удивления: скажем, после выхода книги «Окно в январе» оказалась возможна перепечатка некоторых стихотворений в «Арионе», а после «Литературной газеты» – в «Знамени». Прекрасно зная, как бдительно охраняют толстые журналы «право первой ночи», можем объяснить подобное исключение для Новикова особым пониманием (которого, как видим, поэту оказалось недостаточно) его масштаба уже при жизни. Однако, повторюсь, прокомментировано не всё: скажем, хотелось узнать об интертекстах и биографических прелюдиях «Народной драмы», абсолютно, кажется, не поддающейся анализу – но о ней ни слова, кроме информации о публикациях; то же самое – со стихотворениями «медикаменты комедианты...» или «Вечность», которые, возможно, показались составителям очевидными и не нуждающимися в комментариях.

«Частный голос» Дениса Новикова, чья влияние – «трамплин» (по терминологии Татьяны Бек, выдвинувшей гипотезу о закрепощающем влиянии отдельных поэтов-классиков и, наоборот, влиянии, дающем выход в новое пространство), имеет и ныне своих последователей. Среди них назовём прежде всего Феликса Чечика, последовательно развивающего новиковские традиции, или представителей более молодого поколения – Вячеслава Савина (см.: «Знамя», 2013, № 1; «Волга», 2012, № 3-4) или Вячеслава Памурзина. Артём Скворцов в книге о Гандлевском «Самосуд неожиданной зрелости», впрочем, пишет и о «перекрёстном» влиянии Новикова и Гандлевского – и о примере оммага младшему брату со стороны последнего. Модернистам в рамках силлаботоники он даёт необыкновенные возможности для обновления языка, показывая, что репертуар классических метров не исчерпан и в его пределах возможна яркая индивидуальность; будучи примером романтического канона, он демонстрирует совпадение поэзии и судьбы. Его обширный жанровый диапазон – от басни («Лиса и Колобок. Памятник») до антич-

ных переложений – как и работа литератора *par excellence* – пример для будущих поколений.

Напомним «предсказание» Артёма Скворцова из рецензии на «Визу», остающееся на данный момент актуальным, но всё же до сих пор не сбывшимся прогнозом: «Его ещё окончательно впишут в контекст современной русской поэзии и, без сомнения, ему посвятят исследовательские труды. Нам же пока предстоит хотя бы просто внимательно прочесть его от корки до корки». Рецензия, напомним, гласила: «“Виза” – “наиболее полное на сегодняшний день собрание стихотворений Д. Новикова” (1967 – 2004), – гласит аннотация в книге. Это действительно так. Но “полное” вовсе не значит “академическое”. И задачи у составителя были не научные, а сейчас куда более насущные – дать читателю максимально подробную картину творчества поэта, две с лишним сотни стихов которого еще ни разу не выхлестили под одной обложкой. Такая цель достигнута. <...> а над текстологическими задачами пусть ломают голову буквоеды-филологи»¹. Текстологическая работа, упомянутая в той рецензии, выполнена; дело – за продолжением диалога поэта и читателей.

Александр ВЕРГЕЛИС

«НИЧТОЖНА СМЕРТЬ,
СИЛЬНЕЙ ЛЮБОВЬ МОЯ»

Калле Каспер. Песни Орфея. – СПб.: ООО «Журнал «Звезда», 2018. – 95 с.

Поэт, отдающий свои тексты для перевода не переводчику-профессионалу, а коллеге-лирику, подвергается известному риску. В итоге может появиться произведение, исходный иноязычный текст для которого послужил лишь отправной точкой, своего рода заготовкой но-

вого, самостоятельного стихотворения, только притворяющегося переводом. В случае Алексея Пурина эти опасения были бы оправданы – принимая во внимание индивидуальность его творческой манеры и особое поэтическое мироощущение – если бы петербургский стихотворец не был известен еще и как автор множества поэтических переводов, отличающихся не только бесспорными художественными достоинствами, но и достаточно высокой степенью аутентичности. Сбалансированное сочетание мастерства и добросовестности опытного переводчика с инстинктом поэта, сухой точности переложения с живой поэтической властью – вот обязательное условие того равновесия, которое позволяет переводчику танцевать на лезвии бритвы, делая дело, казалось бы, заведомо безнадежное – переводя (в буквальном смысле – по мостику-лезвию) стихи с одного берега человеческой речи на другой. И еще одно важное обстоятельство: перелагать на русский Алексей Пурин берет, как правило, стихи тех, с кем ощущает творческое сродство, в иноязычной поэзии его привлекают вещи, соприродные его собственным. Обобщенно говоря, это «культурные» стихи европейских авторов, преимущественно германоязычных. Среди основательно переведенных им поэтов – германец Р.-М. Рильке, нидерландцы Я.-Х. Леопольд, М. Нейхоф, Г. Гезелле и Г. Ахтерберг. Недавно этот список пополнился книгой «Песни Орфея» эстонского поэта, прозаика и драматурга Калле Каспера.

Калле Каспер (род. в 1952 г.) хорошо известен постоянным читателям петербургских толстых журналов, главным образом – «Звезды». Автор пяти стихотворных книг и нескольких романов, в том числе эпопеи «Буридан» в восьми томах и романа «Чудо: Роман с медициной», написанного на неродном для автора русском языке и получившего в этом году премию «Звезды». Смена языка была вызвана трагическим событием: смертью жены поэта, писательницы Гоар Маркосян-Каспер, переведившей произведения мужа с эстонского на русский. Собственно, сам роман – о ней, о ее болезни и смерти. О смерти любимого человека, вернее, об опыте ее переживания – новая поэтическая книга, переведенная на русский Алексеем Пуриным.

¹ А. Скворцов. Указ. соч.

В случае «Песен Орфея» мы имеем дело с книгой стихов в самом точном смысле этого термина. Это не ряд текстов, написанных в разное время по разным поводам и собранных под одной обложкой в соответствии с неким авторским замыслом. Это – единый цикл из 76-ти стихотворений, объединенных не только темой и чувством, но и местом, а также временем создания. Время – несколько месяцев после последнего прощания с женой, место – Италия, конкретно – Феррара, где поэт вольно или невольно задержался, не в силах уехать из страны, в которой упокоился прах любимого человека. Пребывание в Италии – пожалуй, наилучшее обстоятельство места для поэта – особенно пишущего стихи с античными аллюзиями. Однако по признанию Калле Каспера, собственно, Италии вокруг себя он не видел – поэт отрешенно бродил по городу, будучи буквально выключенным из пространственного континуума. А ночью – сами собой приходили стихи, которые оставалось лишь записать.

Странное, раздвоенное существование на границе двух миров – мира живых и мира мертвых – отразилось на общей интонации книги. Взгляд лирического субъекта отдален от жизни и максимально приближен к адресату lamentаций, бесконечно далекому и в то же время пребывающему гораздо ближе, чем сонмы живых.

Бальзамировщик стер твои черты...
Я прочь пошел – к пещере, где стенаю
И на скале осколком высекаю:
«Я умер в тот же самый час, что ты».

Могу существовать – сидеть, ходить,
Но мыслить – нет, поскольку лишь с тобою
Способен жить и чувствовать живое...
Греби, Харон! Мне Стикс бы переплыть!

Невозможность смириться с потерей, беспрежданное мысленное путешествие в страну, из которой если и возвращаются, то лишь за новой порцией боли, определила выбор мифологемы, положенной в основу книги. Сюжет об Орфее и Эвридике – лучшая матрица для раскрытия темы личной утраты. Мифологическое сознание не создало более точного, более универсального образа: путешествие (в данном

случае – мысленное) в страну смерти в поисках тени возлюбленной и мучительное осознание невозможности вернуть ее в мир живых.

Смерть самых близких часто толкает человека к «метафизическому бунту», как это называл Камю. Человек религиозный без конца вопрошает, ропщет, мучается сомнениями и в конце концов может дойти до богоборчества или утраты веры. А что делать атеисту? Кому адресовать жалобы и упреки? Впрочем, Камю определяет метафизический бунт как «восстание человека против своего удела и против всего мироздания». Именно это и прочитывается в книге Каспера. Не только оплакивание возлюбленной, но протест против существующего миропорядка, в «формате» избранной мифологемы выражающийся в бунте лирического героя против богов: тут и подозрения в отношении Афродиты, погубившей Эвридику из зависти к ее красоте, и пени, адресованные Гере, якобы покровительнице семейных ценностей, и требования к бессмертным вернуть то, что ими отобрано, сопровождающиеся неслесными характеристиками «этих тварей». Мы помним историю Орфея, мы заранее знаем, чем все закончится, и лирический герой, заносясь в гибельные выси, торопит страшную, но желанную развязку:

Прошу тебя, родная, дай им весть,
Всем этим тварям о моем раскладе:
Пусть налетят менады Зевса ради
И довершат намеченную месть.

Пусть поплывет по водам голова –
Мое, уже не нужное мне бремя, –
Туда, где ты, где прекратилось время,
Но где душа твоя еще жива.

Неожиданно на ум приходят слова одного именитого рецензента, написавшего по поводу только что вышедшего в свет романа «Путешествие на край ночи» следующее: «Активное возмущение связано с надеждой. В книге Селина надежды нет». А в книге Каспера – есть. Замечательно, что надежда эта ничем не подкреплена – ни религиозной верой, ни тем более упованием на физическое воскресение умерших в духе жутковатых фантазий космиста Николая Федорова. Между тем тоскующая

душа зовет другую душу вернуться в привычный обжитой мир, к любимым безделушкам и платьям. Но тут же – строит планы по обустройству совместного быта в царстве теней:

В загробном мире можно жить в отеле –
Особенных удобств не нужно нам.
А хочешь – так и дом построим там.
Кто станет нам соседом? Боттичелли?

Боттичелли здесь, конечно, не случаен, он тоже – Орфей, у которого была своя Эвридика – рано умершая Симонетта Веспуччи, рядом с которой он завещал себя похоронить, пережив ее на 34 года. Запечатленная в «Рождении Венеры» и других полотнах гениального флорентийца, Симонетта обрела бессмертие – так же, как бессмертная Лаура де Нов, еще один женский образ, неизменно возникающий в воображении при чтении этих стихов. Уже сама форма восьмистиший – как бы редуцированных сонетов, ограничивающихся двумя катренами, – отсылает нас к орфическим опытам Франческо Петрарки.

Итак, нет и не может быть представления о том, где должна произойти желанная встреча – эту непоследовательность, порывистость, даже инфантильность можно расценивать и как признак помутившегося от горя рассудка, и как осознанное пренебрежение законами отрицаемого героем мироздания, временем, пространством, причинностью. Прочно лишь иррациональная вера в окончательное воссоединение – пусть на небе, но в прежней, земной системе координат. С каждым стихотворением этот мотив звучит все более настойчиво – настолько, что лирический субъект (или переводчик) сбивается на банальности:

Я убежден в наиважнейшей вещи:
Ничтожна смерть, сильнее любовь моя.

Лирический субъект (или все-таки герой?) перебирает всевозможные способы проникновения в Аид – в том числе через жерло Этны. Он продумывает детали предстоящего путешествия – например, перечисляет в уме вещи, которые необходимо взять с собой. Зачем все это? Затем, что смерть недостойна сакрали-

зации. Тема смерти сознательно переводится Каспером из бытийного плана в бытовой, мистерия перехода разыгрывается на фоне нарочито приземленном, обыденном. Этот принцип вполне соответствует чисто психологической реакции на смерть близкого существа: контакт с возлюбленной мыслим лишь в человеческом измерении, чувства к ней остаются подчеркнутыми земными, сохраняется даже ревность – к тем, кто теперь окружает родную тень: Орест, Ахилл, Эней...

При всей трагичности темы поэт находит силы для горькой самоиронии, тон его иногда выглядит полушутливым – юмор как неотъемлемый элемент общения с любимой женщиной должен сохраняться, как и все остальное, с ней связанное. Именно в бытовом разговоре могло прозвучать предложение спрятаться в зубное дупло или под веко мужчины при прохождении границы (и паспортного контроля) между мирами, рекомендация отравить Гадеса цикутой и освободить всех умерших, ткнуть Цербера в глаз каблуком из засады и так далее. Или – покинуть Аид на мусоровозе – запах ужасный, но дома, на земле всегда можно принять душ. Рассматривая возможность эмиграции в царство мертвых, герой книги попутно прохаживается по миграционной политике Евросоюза:

К тебе в Аид уеду – и Кораном
Мне не придется клясться никогда!

Первоначальный гнев по адресу хозяев подземного мира сменяется попыткой высмеять всю машинерию смерти: Цербер похож на пуделя, его Орфей планирует определить в клетку, как канарейку. Если возникнут проблемы – рассчитывает «протащить решение» на Олимпе.

Примечательно, что Пурин-переводчик уже обращался к образу легендарного певца – в «Сонетах к Орфею» Рильке. Отсюда – ощущение эха, перешептывания со знаменитым циклом австрийского лирика, также написанном «на одном дыхании» в сосредоточенном единении, и опять-таки по поводу смерти женщины. Писать в XXI веке книгу стихов с названием «Песни Орфея» без оглядки на Рильке

вообще едва ли возможно. И вряд ли удастся добросовестному автору проигнорировать рильковское стихотворение «Орфей. Эвридика. Гермес», также в свое время переведенное Алексеем Пуриным. В этом стихотворении описан путь разлученных смертью возлюбленных из Аида в сопровождении бессмертного проводника – путь, вопреки логике событий не легкий и не радостный, но – тягостный, похожий на галлюцинацию или дурной сон. Попытка возвращения назад заведомо обречена на неудачу: если вернуться в прежний мир при определенных условиях можно, то остаться прежним никак не получится, ибо смерть есть смерть, пребывание умершего по ту сторону Стикса превращает его во что-то иное, и лучшее слово здесь – «тьень». Нет больше Эвридики, но есть ее отражение, которое видит и мыслит так, как подобает фантому:

Ее не занимал ни человек,
идуший впереди, ни цель пути.
Она плыла, беременна собой;
она сама была бездонной смертью
своей, до полноты небытия
своею новизною наливаясь,
как плод бездумный – сладостью и цветом;
желать и знать не надлежало ей. <...>
И когда
остановился шедший с нею рядом
и скорбно произнес: «Он оглянулся», –
она спросила безразлично: «Кто?»

Как бы то ни было, кошмарная суть смерти как полного отчуждения в книге Калле Каспера отрицается. Вера в то, что ядро человеческой личности сохраняется вопреки вселенским законам энтропии, позволяет герою книги оставаться в уме – и оставаться в живых. То, что было любимо – не умрет. Это – аксиома. И можно интерпретировать это как угодно – как метафору или как искреннее убеждение. И убеждение это не лишено оснований, ведь в случае художника личная человеческая трагедия имеет шанс претвориться в событие духовного порядка, то есть выйти за рамки действия материальных законов. Так или иначе, искусство – это способ обессмертить то, что любишь.

Андрей ПЕРМЯКОВ

**ФЕНОМЕН ТАНКЕТКИ, ИЛИ
КОРОЧЕ, НЕКУДА**

Александр Корамыслов. Полина Потапова. Танкетки на двоих. – Челябинск, Издательство Марины Волковой, 2018. – 210 стр.

В предисловии Александр Корамыслов даёт почти исчерпывающую характеристику жанра: «Танкетка (термин введен в 2003 г. поэтом и математиком Алексеем Верницким, придумавшим эту новейшую сверхкраткую твёрдую форму), названная так по условной аналогии с японскими танка, представляет собой русскоязычный медитативный поэтический текст из шести слогов, разделенный на две строки (3 + 3 либо 2 + 4 слога). Существует также ряд других формальных ограничений: танкетки должны быть написаны исключительно кириллицей, без знаков препинания, в тексте допустимо не более пяти слов...».

Да, всё так. Остаётся разве что добавить: сам автор новой стихотворной формы, А. Верницкий, отводил этому жанру не более десяти лет жизни. Прогноз был вполне обоснован: в русском немало слов длиннее шести слогов, а здесь потребен вот такой гиперлаконизм. Однако, как видим, предсказанный срок превышен уже в полтора раза, а малявка-танкетка вполне жива.

И развивается – судя хотя бы по этой книге. Авторы её почти антиподы. Александра можно назвать ветераном танкеточных армий. Или патриархом, чтоб не обидеть. Основной и приятно модерируемый тематический сайт – «Две строки шесть слогов»¹ <http://26.netslova.ru> – содержит чуть более 64 000 танкеток. Две тысячи из них принадлежат Корамыслову. А ведь авторов там, как минимум, премногие десятки.

Полина Потапова же начала работать с настолько краткой формой недавно. Зато интенсивно. В сборник вошла небольшая часть написанного ею. На поверхностный взгляд её танкетки рождаются из медийной среды. Не из политического контекста, а именно из эфира – в нескольких смыслах этого термина:

¹Название сайта, как видим – само есть танкетка.

на Первом
канальи

спецназ
не догонят

гложет
чувство войны

летом
быть атлетом

стрелка
с перестрелкой

Или, весьма часто – из литературных ре-
минисценций:

Полковник
вам письмо

стоп-кран
Каренина

Но, понятное дело, всё намного интересней
и сложней. За эпатажным высказыванием, где
отточие, скрывающее грубую лексику, вроде
напрашивается само собой, вдруг скрывается
погружение в суть буквы:

какого
ера ять

Иногда ассоциации почти неуловимы, как и
положено ассоциациям, но вполне отчётливы:

поющий
черновик

аскет
спит в пакете

А бывает и очень всерьёз, беззащитно.
Кстати, в подобных танкетках автор чаще все-
го прочим органам чувств предпочитает слух.
Точно не о себе, точно улавливая. Закрывая
глаза, дабы зримая действительность не скрыва-
вала реальности подлинной:

в эМЭРТэ
слышна смерть

Правда же. И снаружи слышна, по ассоци-
ации с *mort*, и тем более – внутри. Там, в глу-
бинах аппарата, куда тебя погружают, совсем
нечеловеческое жужжание. Банька с металли-
ческими пауками. А уж в ожидании результа-
тов чего только не передумаешь. Приведённая
выше танкетка вряд ли утешит, но очищению
сознания поможет не хуже коана.

Впрочем, анализировать танкетки по от-
дельности – занятие вполне безнадёжное и
очень смешное. Другое дело, что каждая из
них может стать источником, скажем, повести.
Как не раз случалось с другим кратким, правда,
очень почтенным жанром. С хайку, то есть.

Но мы опять говорим о прикладном зна-
чении жанра. Между тем танкетка ж самоцель
в определённом смысле. Зафиксированная
вспышка бессознательных, однако неслучай-
ных ассоциаций:

не пой мне
про бойню

им больно
я помню

Последний пример – битанкетка. Жанр,
понятное дело, чуть вторичный по отношению
к собственно танкетке, но не менее интерес-
ный. И, вероятно, необходимый. Так увели-
чение поля на одну клетку по вертикали и по
горизонтали позволяет расширить число вари-
антов игры на несколько порядков.

Можно ещё чуть длиннее, оставаясь в рам-
ках жанра:

*мир двойных
стандартов*

няшка
котёночек

взвесьте
телятинку

Заголовок тут, опять-таки, танкетка. И
вспомним важный момент из определения,

приведённого в начале статьи. Танкетка – жанр медитативный. Да, вполне. Хотя у Потаповой ещё и очень рефлексивный:

мир хитрый
жизнь лисья

льстецы
да паяцы

всё липа
и листья

прибиться
боятся

Казалось бы, почти автоматическое письмо, спровоцированное, к примеру, листопадом, и скреплённое капающими созвучиями да небрежными рифмами. Но требуемый танкеточный ритм соблюден изумительно легко. Отчего так, попробуем определить ближе к финалу, а пока я б назвал ещё один довольно неожиданный полюс притяжения миниатюр Полины. Слышали ведь наверняка про дюпонизмы?

Вновь обратимся к авторскому определению. Проект «Мильён названий» характеризует жанр так: «Дюпонизм – это название реальных или воображаемых предметов. Дюпонизм использует как художественный прием неожиданное сопоставление звуков и смыслов, искажение, соединение, сокращение или разъединение слов с целью нарушения привычных алгоритмов мышления и речи. Дюпонистическое творчество направлено на освобождение смыслового пространства для ясного отражения объективного мира и прямых, позитивных человеческих связей».

Дюпонизм, подобно танкетке, существует явным образом около десятилетия. Отцов-основатель у него больше, нежели у танкетки. Прежде всего, это свердловчане Андрей Коряковцев, Сергей Ивкин, Павел Ложкин. Отчего данный тип литературного высказывания не обрёл популярности, сопоставимой с танкеткой? Сложно сказать. Возможно, дело в нечёткости определения. Всё-таки отличить странное имя предмета от бытового афоризма, опубликованного в Фейсбуке, не так и легко. Да и создатели не особо стремились к увеличению числа авторов, создавая изначально до-

вольно элитарный проект.

Так или иначе, но очень многие танкетки Полины Потаповой – суть безусловные дюпонизмы. По крайней мере, тут происходит игра (или работа, в данном редком случае это синонимы) на стыке жанров.

В предисловии, упомянутом в начале статьи, было сказано об «экспериментальных танкетках Потаповой, не вошедших в книгу». Интересно было бы их почитать и оценить степень экспериментальности. В книге и так ведь есть рифмованные танкетки, есть относительно длинные тексты, составленные из танкеток, есть прописные буквы, есть иные нарушения суровых формальных требований. Неукоризненно соблюдены, кажется, лишь требования к числу слогов в каждой из строчек. Словом, жанр танкетки явно находится в поиске и появление новых авторов с новыми стилистиками ему явно на пользу.

Хотя понятие новаторства, тем более в экспериментальных жанрах, более чем условно. Повторим: Александр Корамыслов пишет танкетки едва ли не со дня их появления. И, кажется, прекращать не намерен. Те, кто знаком с его работой в иных поэтических областях, обнаружат в танкетках немало сходных... ну, скажем «сходных практик». Всё-таки термин «сходные темы» будет неточным, в силу краткости танкеточного жанра, а «сходный приём» вообще изменит суть. У Корамылова именно что не приёмы. Часто – грань каламбура без скатывания в этот самый каламбур:

мирское и духовное
то брань
со страстями

то брань
со страстями

Или совсем уж тавтологично, вроде:

ещё
ещё ещё

Здесь нельзя убрать даже диакритические знаки над «ё» – смысл исчезнет. А вот предста-

вить разнообразные знаки препинания, включая кавычки, кажется почти необходимым. Хотя знаки эти, конечно, остаются на читательское усмотрение. Как то и предусмотрено.

Другой важный момент, определяющий поэтику Корамыслова как в танкетках, так и в иных жанрах, это опробование слов на изгиб, излом и скручивание. Странно, но у него разорванное слово не умирает, а показывает фактуру – подобно камню на срезе:

даже хру
сть пополам

европа
аз и я

богонос
босоног

к морям
рек визиты

Порою раскладушки слов и смыслов не требуют искажения лексических единиц либо странностей в их сочетаниях. Часто в шести танкеточных слогах Корамыслова отражаются такие неотъемлемые особенности нашего языка и бытия, как относительная лексическая бедность при богатстве смыслов, готовность к неостановимому карнавалу (в бахтинском смысле) при очевидной грусти бытия. Принципиальные различия между детским языком и взрослым. Между Сократом и Эзопом, стало быть:

дунька
для радости

Здесь дефис между первым и вторым слогом подразумевается и мерцает, но вот тире в следующей танкетке оказалось бы явно лишним:

планы
хохот Бога

Очень характерный для танкетки пример. Знак препинания сделал бы высказывание более плоским. А так, например, можно понять и ровно наоборот: дескать, планы в наших головах не мешают Господа, а напротив – вызваны его радостью. И этот альтернативный смысл не единственен. Впрочем, танкетки по отдельности мы, кажется, условились не разбирать. Ибо действительно хохот получается.

Назывные танкетки у Александра тоже присутствуют. Но это иной, *недюпоновский* тип именования. Дюпонизм (в общем случае) изолирует явление, подчёркивает его суть, уникальность и особенность. А Корамыслов чаще говорит в танкетках о всеобщей связи далёких явлений. О привязках быта не обязательно к высокой, но чаще к далёкой в пространстве и времени культуре:

яма
гаражный бог

шаурма
с цикутой

хайку
много текста

боксёр
средней руки

Иногда танкеткой становится нечто совсем неожиданное. Скажем, абсолютно стандартное, широко употребительное название очень вредного жука:

короед
типограф

Согласимся: при таком написании особенности существа делаются много ярче? И вот тут мы подходим к наиболее существенному и почти финальному моменту. Но сперва приведём ещё одну танкетку. Вернее, битанкетку:

так и вся
наша жизнь

то СЕКАМ
а то ПАЛ

Таких танкеток-извлечений у Корамышлова довольно много. Нередко, как и в приведённом выше случае, источником вдохновения служит творчество Гребенщикова, иногда – чьё-то другое. Порою вообще удмуртский язык. Александр говорит, будто свободно общаться по-удмуртски не в состоянии, однако проживая в смешанной языковой среде и обладая, мягко скажем, неплохим языковым чутьём, пользуется возможностью смешения языков весьма активно. К примеру, «зуч» переводится с удмуртского, как «русский»:

и зуч
изучаю

Однако, в абсолютном большинстве случаев средств родного языка оказывается достаточно. Так вот: перейдём-таки к наиболее существенному моменту рецензии. По крайней мере, представляющемуся таковым её автору.

Существует известный многим и куда более популярный в социальных сетях жанр поэтической миниатюры. Пирожки. Появились они, как и танкетки, в 2003-м году. Жанр тоже авторский. Его создатель Владислав Кунгуров (он же – Влад Рихтер), совсем недавно безвременно умер, а пирожки живы. В сравнении с танкетками выглядят пирожки мощно: тридцать четыре слога, неисчерпаемый, солидный, как Петросян, четырёхстопный ямб. Ну, и вот. То и выходит, как правило. Нет, бывают, исключения, но в целом – уровень КВН. И шуточки теперь сугубо про Олега сотоварищи. Отчётливое вырождение пирожкового творчества началось года с 2013-го, то есть, как раз на горизонте десятилетия, предсказанного для танкеток.

Есть, конечно, попытки обновлений, есть поджанр порошков, есть, в конце концов, фестивали и семинары, где пирожки, танкетки, порошки и другие миниатюры присутствуют на равных правах. К примеру, очень интересное мероприятие такого свойства провела совсем недавно в Первоуральске поэт Лариса Прудникова. Но вот разнообразия нет. Ходы

весьма стандартны. Сюжеты однородны, как в детских садистских стишках – тоже интересно начавшемся и быстро остановившемся в своём развитии подвиде миниатюр. В сущности, и страшилки, и пирожки сделались средством коммуникации, а не методом, позволяющим делать открытия.

Отчего так? Разные, конечно, могут быть объяснения. Но, мне кажется, одна из главных причин – именно в жёстком ритме пирожка, настраивающего автора на определённый лад. Всё-таки тут надо думать в заданных пределах, а ритм мысли задаёт её ход. Танкетки ж – иное дело. Например, известное название сети магазинов для изобретательных и стильных принадлежащей записи становится танкеткой. Да и многоосмысленной:

планета
секонд-хенд

То есть танкетка как-то удивительно совпала ритму бытовой русской речи. И открыла в этой речи новые смыслы. Вернее, продолжает открывать. Надолго ли ещё хватит? Кажется, да. Скорее всего, правда, произойдёт смягчение правил. Например, будут легитимизированы знаки препинания. Но это ничего. «Две строки/шесть слогов» – правило неизменное, характеризующее. И, как видим, не избыточно суровое.

Станислав СЕКРЕТОВ

МАЛЕНЬКИЕ РОМАНЫ

Инна Иохвидович. Женский портрет. – СПб.: Алетейя, 2017. – 240 с.

Родившаяся в Харькове, но уже два десятилетия живущая в немецком Штутгарте Инна Иохвидович критиками не избалована – отзывов о ее прозе в печатных и электронных изданиях до обидного мало. А ведь Иохвидович – автор значительного числа новелл, печатавшихся в литературных журналах и в дальнейшем составивших несколько сборников. Подробно поговорить о новой книге «Женский

портрет» стоит хотя бы потому, что в нее вошли лучшие произведения писательницы.

Сборник избранного включает в себя без малого пару десятков рассказов и коротких повестей. Большинство из них посвящены изломанным женским судьбам. Любимые мужчины сбегают или умирают раньше срока, достойной же замены просто нет. Отсюда уныние, зависть и беды. Финалы новелл, как правило, трагичны, причем масштабы трагедий Иохвидович нередко умножает на два, а то и три. Скажем, героиня рассказа «Квартира» Зинаида Иванова, всю жизнь хотевшая переехать из темной и сырой халупы в нормальную квартиру, так и не дожидается реализации мечты: сперва умрет ее супруг, затем она сама. Сын тоже долго не задержится на белом свете – старые скромные комнатухи заселят крысы. Или возьмем новеллу «Любляна»: когда-то несправедливо обиженная Ирина Константиновна тонко отомстила своей обидчице – спустя годы их пути вновь пересекутся в онкологической клинике, и попросить прощения успеет лишь одна. Так почти везде. Оптимистичные моменты – редкость на страницах книги Иохвидович. Ее персонажей преследует безденежье, алкоголизм, разнообразные личные и социальные проблемы и внезапно подкрадывающаяся старость. Прочувствовать тяжесть прожитых лет можно не только в семьдесят, но и в сорок, и даже в тридцать. Как раз примерно в таком возрасте Ирина Константиновна из «Любляны» поняла: «ей бы уже давно пора было иметь и семью, и детей, а что у нее-то было в “активе”, кроме диссертации: одиночество да три аборта». Не стоит упрекать автора в обильном использовании грустных мотивов – сюжеты вполне жизненны: в мире немало одиноких людей, не способных выбраться из психологической ямы. Немало и тех, кто хочет понять: за что? За что одному человеку достается слава и успех, а другому Господь посылает тяжелейшие болезни? Катю – героиню рассказа «Невозможность идентификации» – не узнают на фото в документах – настолько плохо она выглядит. Надежда Николаевна из новеллы «Кому повем печаль свою?» и вовсе становится никем, называя себя «бывшей женщиной» – из-за раковой опухоли ей удалили несколько органов. Что это? Карма? Расплата за личные грехи и грехи

предков? Или человеческая жизнь – сплошная трагедия?

Тем не менее, повод улыбнуться Иохвидович пусть редко, но дает. Так героиня рассказа «Счастливы день», рано выскочившая замуж, давно уставшая от брака и готовая изменить супругу, сбежит с романтического свидания от щедрого красавца. И смех, и грех: на свидание девушка пришла с куском мяса: перед этим в магазине удалось урвать отличную телятину, которая в самый неподходящий момент начнет таять. Понимаешь – Иохвидович пишет не о сегодняшнем дне, когда купить мясо очень просто, а о временах СССР с вечно пустыми полками гастрономов.

События почти всех рассказов перенесены в советское прошлое – прежде всего, брежневскую эпоху – молодость писательницы. Иохвидович старается быть объективной, отмечая как недостатки, так и достоинства той поры. Персонаж новеллы «Как должно жить?» Полозов объясняет молодой коллеге: «была теплота в человеческих отношениях, неведомо куда нынче девшаяся, какая-то взаимовыручка, взаимопомощь. Жили ж ведь скудно, убого, но даже незнакомые между собою люди делились, например, детской одежкой и обувкой <...>. Потом не было, как сейчас, такого примата денег, надо всем и вся, люди сколько читали, у всей интеллигенции книжками были комнаты заставлены...» Никак не аттестуя действия и рассуждения героев рассказа, автор призывает сделать это читателя. Стоило ли вытаскивать мальчишку из-под колес поезда, если учесть, что в будущем ему суждено стать законченным алкашом? Стоило ли ценой собственной жизни спасать девушку от насильников, ведь она могла несколько минут потерпеть или даже, как советуют циники, расслабиться и получить удовольствие? Вопросы схожего характера задаешь себе и при знакомстве с рассказом «Прокурор». Его персонаж Василий Андронович – один из самых колоритных образов книги. Прокурорская деятельность героя – не просто призвание, а настоящая страсть. Каждое заключительное слово в суде, каждый обвинительный приговор сродни оргазму. В сборнике много подобных намеков 18+, много интимного, эротического. К актрисе Лиде из новеллы «Травести», выглядящей в свои сорок как де-

вочка-подросток, с непрозрачными намеками пристают мужчины, взрослеющая Жанна из «Хроники насильственной смерти» увлечена тем, что впоследствии станут называть словом «петтинг», героиня рассказа «Женский портрет» начинает «раскручивать “любовную” линию собственной жизни», вспоминая парня, благодаря которому познала все особенности собственного тела. Не обходится без трагедий и в данной сфере: аборт и бесплодие встретятся не в одной новелле книги.

Иохвидович предпочитает малую прозу, однако значительная часть ее рассказов, по сути, представляет собой сжатые романы – истории героев с рождения до смерти, истории целых семей от прадедов до правнуков. Другой писатель в предложенных условиях давно бы вышел за пределы маленькой новеллы и превратил пятнадцать книжных страниц в сто пятьдесят, насытив судьбы персонажей необязательными деталями. Но Иохвидович знает: примешься растягивать пружину – сюжетная динамика исчезнет. Рассказы «В щели» или «На “углу”» вполне получилось бы довести до размеров повестей. Выиграли ли бы они от этого? Кто знает...

В Германию писательница эмигрировала в конце девяностых. Биографический факт получил отражение в четырех новеллах сборника. Иохвидович анализирует, что чувствует человек, пытаясь устроиться в чужой стране, в чужой культуре. Одним героиням обосноваться на немецкой земле удастся, пусть и с трудом, других отрыв от родины приводит к гибели. В рассказах немало метких наблюдений: например, в Германии гораздо легче, чем у нас, встретить абсолютно счастливых, заразительно смеющихся пенсионеров. И все же данные новеллы основываются в большей степени не на наблюдениях, а на исторической памяти. Абстрагироваться от страшного прошлого невозможно: думая о немецких евреях, автор волей-неволей возвращается на семьдесят пять – восемьдесят лет назад, когда из-за «неправильной» национальности гибли невинные люди. Воображаемое и реальное связываются при помощи параллелей, жуткое приобретает новые формы.

Несмотря на преобладающий в новеллах книги минор, жизнеутверждающие аккорды все-таки звучат. Пессимистично начинающийся рассказ «Женский портрет», давший имя всему сборнику, заканчивается на подъеме: «Утром, особенно погожим, не все кажется безвозвратно утерянными». Итоговую новеллу «Скорбный лист...», где горечь льется через край, также замывает озарение героини: несмотря ни на что, мир прекрасен. И пусть о книгах Инны Иохвидович почти не пишут, а тиражи совсем невелики – внимательные читатели у ее рассказов – маленьких романов – все равно есть.

Анна ГОЛУБКОВА

ГЛОБАЛЬНОЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ЦЕЛОЕ

Житенев А.А. Палата риторов: избранные работы о поэзии, исповедальном дискурсе и истории эмоций. – Воронеж: НАУКА ЮНИПРЕСС, 2017. – 176 с.; ил.

Книга статей – это совершенно особый жанр, главную характеристику которого можно обозначить словом «проблема». Проблемой тут является все: и отбор материала для публикации, и внутренняя организация его в книге, и необходимость как-то соединить друг с другом совершенно разнонаправленные статьи, и дальнейшая судьба такого непростого, требующего значительной работы издания. В рамках круглого стола, как раз и посвященного сборникам критических статей и эссе¹, Александр Житенев высказал по этому поводу несколько очень интересных замечаний, которые имеет смысл применить и к его собственной книге. Во-первых, изначально критическая статья, по его мнению, существует в своем событийном и идейном контексте, а публикация в книге статьи эту из контекста изымает. Во-вторых, такая книга представляет собой в первую очередь самопрезентацию автора и призвана выявить его систему ценностей, а также продемонстрировать особенности авторского способа читать книги и говорить о них. В-третьих, книга кри-

¹ Материалы см.: <http://textura.club/gadjij-utenok/>

тика по большому счету не предназначена для дискуссии, а должна именно что предъявить и обобщить результаты его работы, став подчеркнуто значимым фактом литературного процесса.

Безусловно, «Палата риторов», как в свое время и остальные книги Александра Житенева, действительно стала важным событием литературной жизни 2018 года. Например, на нее уже опубликована рецензия Ольги Балла «За пределами смыслообразования». Автор отмечает, что несмотря на стилистическую и жанровую разнородность, книга «Палата риторов» получилась очень цельной: три главные темы – поэзия, исповедальность, история эмоций – соединяются в интересе к «человеку в кризисе, в травме, в пограничной <...> ситуации»¹. Точно так же на создание цельности работает и переключение стилистического регистра от «вольного эссеизма до жестко дисциплинированного академизма», которые на самом деле являются единым целым в своей кажущейся противоположности. Ольга Балла ищет и находит ключ к этой книге в понятиях «граница» и «дистанция», которые, по ее мнению, Александр Житенев рассматривает с самых разных сторон с целями не только исследовательскими, но и экзистенциальными.

Если посмотреть, как предлагает сам автор «Палаты риторов», на контекст первоначальной публикации всех включенных в книгу работ, то вырисовывается картина достаточно любопытная. Всего, если взять содержание, в книге опубликовано 22 статьи (25, если считать с напечатанными в одном разделе 4-мя маленькими заметками из книжной хроники журнала «Воздух»). В первой части их 6, первоначальные места публикации – 4 статьи на «ERROR 404», собственном сайте автора, 1 статья в электронном журнале «Вестник современного искусства: Цирк «Олимп»+TV» и еще 1 статья в электронном научном журнале «Практики & Интерпретации». Вторая часть содержит 10 (13) статей, из них 2 опубликованы на «ERROR 404», 1 – в «Цирке «Олимп»+TV», 4 (7) в журнале поэзии «Воздух», 1 статья в журнале «Новое литературное обозрение» и 2 статьи в

научных сборниках по итогам конференций. Все 6 статей третьей части опубликованы в научных сборниках статей и научных журналах (4/2).

Если рассматривать всю книгу целиком, то 6 статей вышло на «ERROR 404», 2 в «Цирке «Олимп»+TV», 4 (7) в «Воздухе», 1 статья в «НЛО» и 9 статей в научных сборниках и журналах. То есть, как правильно отметила Ольга Балла, в первую очередь Александр Житенев stalkивает в этой книге эссеистический и подчеркнуто научный, литературоведческий дискурс. И если в статьях, опубликованных на собственном ресурсе, автор мог не придерживаться никаких конвенций и условностей, то нет ничего более регламентированного, чем предназначенная для публикации в сборнике научная работа. С другой стороны, ограничивая исследователя формально, научная статья дает возможность полноценной реализации в отношении содержания, чего, как правило, не происходит в литературных изданиях, придерживающихся определенных принципов партийности.

Таким образом, главная линия структурного напряжения проходит в «Палате риторов» именно что по формальному признаку: свободно развивающееся эссе противостоит жесткому каркасу научной статьи. И где-то посередине находятся статьи для литературных журналов, позволяющие определенные вольности формы в обмен на конвенциональную устойчивость содержания. Наверное, когда Александр Житенев обдумывал издание данной книги, вот эта формальная (и содержательная) разноплановость не могла не представлять для него значительного затруднения. Тем не менее все эти сложности были крайне изящно преодолены путем обращения к тематике исповедальности. В самом деле, рассматривает ли автор этой книги фотографию, кино или же, по привычной схеме, литературное произведение, в любом случае момент репрезентации каких-то подлинных авторских переживаний с точки зрения исследователя всегда является актуальным.

Сфера интересов, представленная в «Палате риторов», как это уже было отмечено Ольгой Балла, на редкость разнообразна. Интересно, однако, посмотреть, как распределя-

¹См.: <http://inkyiv.com.ua/2018/02/za-predelami-smysloobrazovaniya/>

ется тематика статей по местам публикации. На собственном сайте автора «ERROR 404» опубликованы статья о дневниках Сьюзен Зонтаг, фотографиях Эди Слимана, скетчбуках Дерека Джармена, визуальной интерпретации образа Константина Кавафиса Д. Майклзом и Д. Папайоанну, рецензия на книгу Владимира Беляева «Именуемые стороны», Петра Разумова «Люди восточного берега». В «Цирке «Олимп»+TV» вышли работа о Пьере Клеманти и эссе о поэтической составляющей меланхолии. В журнале «Воздух» опубликованы большая статья о поэзии Василия Бородина, рецензия на книгу Александра Авербуха «Свидетельство четвертого лица», статья о книге Виктора Иванова «Себастиан и в травме», развернутая заметка о книге Полины Барсковой «Воздушная тревога» и небольшие заметки о книгах Алексея Денисова «Свиное сердце», Елены Горшкова «Сторожевая рыба», Ирины Шостаковской «2013-2014 The last year book». В журнале НЛО опубликована рецензия на поэтическую книгу Марии Степановой «Spolia».

Наиболее разнообразны по тематике, конечно же, работы, предназначенные для научных журналов и сборников статей. Это статьи об автобиографии фотографа Уилла Макбрайда, о стратегии *ready-made* в современной поэзии, о маргинальности в русской литературе 2000-х годов, семантике стекла у Осипа Мандельштама, две статьи о поэтике черновика на примере стихотворений Геннадия Айги, о «разумном и противоразумном» у Елены Шварц, мемуарной и эссеистической прозе Беллы Ахмадулиной, лиминальном словаре в прозе Николая Кононова. Как видим, собственно литература представляет только одно из направлений творческих интересов автора «Палаты риторов». Понятно, что для объединения всего этого в одну книгу Александру Житеневу потребовалось выйти на особый уровень обобщения, позволяющий посмотреть на все эти разнородные явления с одной определенной точки. Именно такой точкой и стало исследование исповедальности и истории эмоций. Понятия «граница» и «дистанция», которые в качестве ключевых предложила Ольга Балла, обозначают, на мой взгляд, скорее ме-

сто наблюдателя и авторскую интенцию по отношению к разбираемому явлению.

Что касается контекста, то в этом случае, как мне кажется, собранные в книгу статьи создают прежде всего свой собственный контекст. Понятно, что большинство научных работ так или иначе привязано к темам конференций, а каждая журнальная публикация вписана в свой временной отрезок, а также обусловлена данным конкретным состоянием литературного процесса. Но все вместе они демонстрируют в первую очередь даже не систему ценностей автора, а впечатляющую совокупность его художественных интересов. Если же обращаться к способу чтения и методу разбора полученных от контакта с произведением искусства впечатлений, то самопрезентацию автора в этой книге можно считать вполне состоявшейся. Мне удалось насчитать три разных способа говорить о тексте, в том числе и тексте визуальном. Во-первых, это характерное для эссе свободное рассуждение на выбранную тему, иногда с совершенно неожиданными аналогиями и сопоставлениями. Во-вторых, это больше свойственный рецензиям подробный комментарий, своего рода следование за текстом, выделение в нем каких-то ключевых или важных для читающего/анализирующего моментов. В-третьих, это научная статья с ее тщательным обоснованием каждой высказанной мысли.

В заключение хочется отметить: при чтении «Палаты риторов» у меня сложилось явное впечатление, что из всего представленного в книге материала автору на самом деле больше интересны не стихи и проза, а явления искусства, существующие где-то на границе между словом и изображением, словом и движением актера на экране, словом как готовым объектом (статья о *ready-made*). Если же речь идет о стихотворении, то оно должно как бы возникать на глазах у читателя, как это сделано в статьях о Геннадии Айги. Поэтический текст как таковой, в отрыве от окружающей его среды, вырванный из динамики развития, как мне показалось, интересует Александра Житенева меньше всего, даже несмотря на большое количество написанных им совершенно замечательных рецензий.

Вячеслав ЛОПАТИН

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАДИЩЕВСКОГО МУЗЕЯ

(Продолжение. Начало см.: Волга, 2017, № 11-12 и 2018, № 3-4)

Памяти Огарёвой Н.В.

Идиллия

В 1902 или в 1903 году, я не помню точно, я поступил в Боголюбовское рисовальное училище в 1 класс, всех классов было 7.

В каждом классе можно было перейти в следующий класс через полгода.

В 1-м классе по рисунку преподавала Е.И. Боева, жена П.И. Боева.

Во 2-м классе преподавал Ф.М. Корнеев.

В 3-м классе вёл занятия сам директор училища В.П. Рупини.

В 4-м классе вёл П.И. Боев.

В 5, 6 и 7 классе вёл В.В. Коновалов – это по рисунку.

Класс по живописи акварели вёл П.И. Боев.

Класс по живописи маслом вёл В.В. Коновалов.

Класс по клеевой живописи вёл П.И. Боев.

Класс по композиции вёл П.И. Боев.

Класс по рисунку пером вёл П.И. Боев.

Класс по черчению и по архитектуре вёл архитектор Зыбин и Карпоненко.

Класс лепки и формовки вёл Волконский.

По рисунку, в 1-м классе рисование не с натуры, а рисунок орнамента от простых до сложных орнаментов, домашнего обихода.

В 2-м классе – геометрическая тема и простые вазы.

В 3-м классе – от простых до сложных орнаментов, простые капители. Рисование с натуры живой модели так, например, живого гуся, курицу, собаку, лошадь. Рисовали с натуры улицы.

В 4-м классе рисовали капители от простых до сложных, вазы, сложные натюрморты из предметов домашнего обихода.

В 5-м классе рисование голов, как гипсовых, так и живого человека.

В 6-м классе. Рисование всей фигуры с гипсовых моделей и торс с живого человека.

7 класс. Рисование с натуры и во весь рост.

Живопись.

Акварелью занимаются с 2-го класса до 4-го включительно.

Живописью маслом можно заниматься только с 5 класса.

Декоративная живопись или клеевая – занимаются с 2-го класса до 6 класса.

Скульптурой занимаются с 1-го класса до 7 включительно. Обычно живописцы не занимаются.

Дисциплина достаточно строгая. Во время занятий в классе была абсолютная тишина. Педагоги входили в класс на цыпочках.

Историю искусств вёл сам директор В.П. Рупини, один раз в неделю. Анатомию человека вёл доцент Павличек, впоследствии вёл врач Уроде.

Учились в то время Белоусов Ф.В. (в 7 классе), Кацман, Перельман, Михайлов Константин Э., Егоров Михаил и Егоров Наум, Лопухин (?), Ильин, Леонардов (?), Селивёрстов, Пименов, Меньшов (?), Лялин. Савинов был уже в это время в Академии.

Библиотекой можно было пользоваться только в самой библиотеке. На дом книги не давали. Приблизительно (точно не помню) в 1908–1910 году директор училища Рупини В.П. был переведён в другой город. За ним уехал и В.В. Коновалов.

Директором училища был назначен П.И. Боев. Было прислано в качестве преподавателей Никулин (декоратор) и Троицкий (чеканка). В это время была открыта мастерская по чеканке.

Почти каждое каникулярное время педагоги ездили за границу. Рупини, Корнеев, Коновалов, Боев. Корнеев хорошо владел французским языком – говорил по-французски, как по-русски.

В декабре месяце обыкновенно устраивалась выставка ученических работ за год по всем видам искусства. Лучшие работы учеников премировались деньгами. Снимали в театре ложу для учащихся. Весной на пасху, в 1 день было угощение для желающих.

Лучше рисунки, живопись и вообще лучшие работы администрацией отбирались в фонд училища. Материалами обыкновенно училище обеспечивало. В декоративном классе все краски, палитра и кисти были казёнными. Также и подрамники с холстами. Малоимущим часто выдавались краски, кисти и вообще материалы.

По окончании училища обыкновенно поступали в Академию художеств. Из 5 или 7 класса поступали в Московскую школу живописи.

Все педагоги по отношению учеников всегда держались на расстоянии. Особенно близких, товарищеских отношений не было.

В помощь учащимся устраивались в здании училища вечера, ставились живые картины. Так, например была поставлена живая картина «Иван Грозный и сын» по Репину. «Гадание девушек» (не помню чья картина). Скульптурно изображали «Иван царевич на сером волке» по Васнецову и др.

Вечера проходили с исключительным успехом. Это было большим событием в городе. Сбор был всегда большой. Билетов не хватало. Стоимость билетов были 5 рублей и дороже. Прекрасный буфет с напитками.

Комнаты, залы оформлялись исключительно интересно: 1) в русском стиле; 2) в восточном стиле. Много ковров, <нрзб.> и разных стилей.

Делали живые картины так; например «Иван грозный и сын». На сцене были написаны соответствующие декорации, в данном случае комната по картине, на полу ковры, настоящие ковры, как на картине <нрзб.> соответственно костюмы.

Участники были исключительно учащиеся. Афиши, панно, вообще реклама была сделана очень и очень хорошо, не халтурно. Делали лучшие ученики под руководством педагогов. Живые картины по той или иной картине оформлялись и выполнялись очень точно, как в картине.

Мне очень памятна картина «Иван Грозный и сын». Как только подняли занавес, зрители напугались и я сам восторгался этой чудной живой картиной.

Очень красиво, сказочно и очень правдиво была живая картина «На сером волке». Точно также произвела сильное впечатление картина из египетской жизни, на тему из библейских сказаний. Богатые костюмы большую роль играют.

Это было так: Дочь фараона в прекрасном костюме, её служительница у пруда, поросшего тростником, нашли младенца, и служительница подаёт этого младенца ей, т. е. <нрзб.> передаётся, настоящего климата зной как египетское утро в хороших костюмах.

Воспоминания художника И.Н. Щеглова о Боголюбовском рисовальном училище. Архив СГХРМ. Фонд 10. Опись 1. Ед. хр. 4.

Справка

Боголюбовское рисовальное училище было открыто 11 февраля 1897 года в здании тогда Саратовского Радищевского музея. Двенадцать лет... отделяли эту дату от дня, когда распахнул свои двери первый в России общедоступный музей. Основатель музея А.П. Боголюбов... был глубоко убеждён, что «музей без школы есть тело без души». Объездив, по его собственному выражению, пол-Европы, Боголюбов имел возможность заметить, какое большое внимание общество уделяло профессионально-художественному образованию, что помогало развитию художественных ремёсел в тесном взаимодействии с «высоким искусством».

...архитектор И.В. Штром учитывал указания Боголюбова о размещении музея и рисовальной школы. Объединение этих учреждений под одной крышей должно было способствовать реализации давней потребности в соединении теории с практикой, искусства с жизнью.

Рисовальной школе было присвоено наименование «Боголюбовское рисовальное училище» (БРУ). Оно являлось филиальным отделением Санкт-Петербургского Центрального училища технического рисования барона А.Л. Штиглица (ЦУТР), сыгравшего огромную роль в становлении художественно-промышленного образования в России. По мнению Боголюбова, руководство и покровительство авторитетного училища Штиглица, имевшего в своём распоряжении огромные по тем временам средства на организацию учебного процесса, а также на оплату труда преподавателей из числа крупнейших русских художников, были жизненно необходимы.

В 1887 году директор училища Штиглица М.Е. Месмахер при участии Боголюбова составил проект Устава Саратовского училища, который после многочисленных обсуждений с Городской думой и внесения ряда поправок был утверждён только в декабре 1895 года. В административном порядке БРУ находилось в ведении Министерства финансов по департаменту торговли и мануфактур. Руководство учебной частью вверялось Совету ЦУТР, хозяйственное же управление и попечение о развитии деятельности училища принадлежало Попечительному совету училища совместно с Саратовской городской думой. Своей целью данное образовательное учреждение имело преподавание рисования, черчения и лепки в применении к ремесленным производствам, а также подготовку по тем же предметам людей, желающих поступить в высшие технические учебные заведения. Продолжительность полного курса обучения не определялась каким-либо сроком, а зависела от успехов учеников. Обучение было платное, но неимущие воспитанники с разрешения попечителей от платы освобождались. Принимались лица исключительно мужского пола, всех званий и вероисповеданий, не младше 12 лет. Первоначально учеников было принято более 90. Преподавателей – двое: выпускники ЦУТР В.П. Рупини, директор Радищевского музея и Боголюбовского училища, и П.Н. Боев. В списке «новобранцев» – известные ныне широкой художественной общественности имена – Александр Матвеев и Александр Савинов. Осенью было открыто женское отделение, на котором к концу 1897 года обучалось уже 60 человек, из них несколько монахинь. В числе первых учениц – Евгения Фёдорова, впоследствии преподававшая в училище, и Афанасия Шмидт (См.: Шмидт М.Л. В поисках моей родословной. Спб., 2004; Он же. Шмидты. Биогенеалогические очерки. Спб., 2008).

И.А. Жукова. Воспоминания И.В. Севастьянова о Боголюбовском рисовальном училище. Публикация материалов // Русское искусство нового времени. Исследования и материалы. Сборник статей. Пятнадцатый выпуск. М.: Памятники исторической мысли, 2013.

Неповторимость художника /И.Н. Щеглов/

...пожилой, седеющий человек. Просто одет: летняя куртка, шляпа, свободно повязанный галстук. Суетлив в движениях, очень чуток к чужой беде, просьбе. С ним уютно, нет напряжённости, мы, ученики, в его глазах уже художники...

Это было в 1940 году, я со своими друзьями поступил в Саратовское художественное училище. Иван Никитич вёл у нас занятия по живописи. Атмосфера увлечённости, самоотдачи царил на занятиях. Часто ходили всем училищем на генеральные репетиции трёх саратовских театров, на концерты в консерваторию. Не раз Иван Никитич был с нами в музее у полотен западных и русских живописцев. В одном из залов висела его работа. Он быстро проходил мимо неё, но мы, конечно, старались задержаться у этого небольшого полотна. Знали мы, что его работы есть и в Третьяковской галерее. ...В запаснике музея мы рассматривали акварели учеников Боголюбовского рисовального училища, а также акварели, рисунки и офорты старых мастеров...

В момент учёбы Ивана Никитича в Боголюбовском рисовальном училище сильны были традиции передвижничества. Имя местного художника В.В. Коновалова – участника передвижных выставок и педагога – было особенно известно. В начале века процветало декадентство, уводящее от жизни в мир фантазии. В предреволюционные годы живопись становится абстрактной. Модные увлечения футуризма, кубизма также не привлекают художника Щеглова. Его волнуют большие им-

прессионисты и, особенно, П. Сезанн. Это увлечение вошло в живопись Ивана Никитича вполне естественно...

Иван Никитич в юности был знаком с моим отцом. Оба были отданы в «чужие люди» в мауфактурную лавку. Они, любознательные и оторванные от учёбы, в свободную минуту бежали к Ольге Сократовне Чернышевской, которая разрешала брать книги из библиотеки Николая Гавриловича... В конце 20-х годов моя старшая сестра Вера занималась в художественном техникуме. Она часто брала меня на занятия, на выставки, где я познакомился с её однокурсниками С. Ахведиани, В. Климашиным, Н. Софьиным¹, К. Винтером, Б. Утцем, с педагогами П. С. Уткиным, А. А. Сапожниковым, Б. В. Миловидовым и И. Н. Щегловым. Мы – ребята – пропадали с утра до вечера на Волге. Часто можно было видеть Ивана Никитича с мольбертом. Хорошо помню его за работой у Казанского взвоза, зимой, полузамёрзшего, с кистями в руках, на которых были надеты меховая муфта (обрезанные концы тулупа). Писал не замечая ни нас, ребят, ни взрослых, был сосредоточен на этюде. Размеры полотен были большие. Это уже были картины. Живопись его была воздушной, солнечной, привлекательной, без изощрённости, с точным рисунком, написанной довольно пастозным мазком. Никакой замученности, черноты общих мест.

Ничего не отвлекало его в жизни. Он был рассеян, временами это казалось чудачеством, но занятия вёл увлечённо, успех каждого учащегося был для него собственной радостью. Натюрморты были простыми, но сколько было потрачено времени на них, в их подборе часто принимали участие и мы. Иван Никитич переживал вместе с учениками неудачи и радости, объективно оценивал сделанную работу. Наш друг Коля Орлов на уроке живописи писал акварелью. Натюрморт, положил удачно с одного прикосновения цвет. Иван Никитич сразу отреагировал, потирал ладони, говорил, что хорошо, что так угадано и нужно так продолжать дальше. Коля в следующий момент провёл по этому месту кистью – всё стало грязным. Больше всех был огорчён Иван Никитич. Мы же поняли ценность, неповторимость наших ученических работ, значимость наших занятий. По весне мы писали этюды на улицах города и на Волге. Он предупреждал не делать панорам, а брать скромные уголки природы, чтобы добиться нужного живописного результата. Наши занятия с Иваном Никитичем закончились на первом курсе.

1941 год – начало войны. Мы выезжаем на уборку урожая, строим за городом оборонительные сооружения. Рядом с нами был Иван Никитич. В свободную минуту рисовали. Вспоминаются слова, сказанные им: «Ребятки, если невозможно писать, нет под руками холста, кистей и красок, пишите мысленно. Это всегда поможет вам в будущем, не забывайте ни на минуту, что вы художники». Иван Никитич не был призван в армию по возрасту, но трудности военного времени делил с оставшимися учениками, продолжая преподавать в училище. Был очень огорчён смертью моего отца осенью 1942 года. Уходили на фронт друзья, ребята моего курса, в декабре этого года ушёл и я. 1981 год. Вл. Найденко.

Блеснёт Светик /М.Д. Егоров/

Шёл первый год войны. Саратов становится прифронтовым городом. ...В эти дни сбитый над городом фашистский бомбардировщик стоял на центральной площади. ...В этот год мастерская по живописи и рисунку была в маленькой комнате первого этажа, верхний этаж училища был отдан эвакуированному из Москвы ГИТИСУ. Осенью 1941 г. часть артистов МХАТа приехала в Саратов. Спектакли шли на сцене ТЮЗа. ...мы четвером – я, Жора Кетов, Миша Голодаев и Ахмет Нурисламов – пошли в театр рабочими сцены. Работая по вечерам в театре, мы не бросали учёбы. В училище на нашем курсе стал вести живопись педагог, приехавший из Москвы Михаил Дмитриевич Егоров. До войны он вёл рисунок и живопись в Школе-студии МХАТ.

...начали писать маслом. Михаил Дмитриевич посмотрел на наши нехитрые этюдники, краски и кисти и предложил их привести в порядок. С красками было плохо, но всё же мы их иногда получали в училище. Заниматься было трудно, холодно. Мы старались как-то протопить буржуйку. В перерыве выдавались пончики, и мы их подогревали у печурки.

¹Вероятно, художник Александр Петрович Софьин (1899–1943?).

Был Михаил Дмитриевич пожилым человеком высокого роста, с седой шевелюрой. Часто в ходе разговора слышны были слова: «сфумато», «блеснёт светик»: он вёл беседы о техник живописи старых мастеров, давал советы по грунтовке холстов, обжиге рисовального угля, приготовлению орешковых чернил. Михаил Дмитриевич был саратовцем, занимался в Боголюбовском рисовальном училище, затем в Академии художеств. Началась первая империалистическая война, и ему не пришлось поехать в Италию, куда посылали успешно закончивших Академию. ...Тяготая к классической манере письма, Михаил Дмитриевич нам давал задания копировать Рокотова, Левицкого в нашем художественном музее. Он обращал наше внимание на технику письма многих живописцев, на использование ими лессировок, цветного грунта. Постановки его были своеобразны. При подготовке очередного натюрморта был положен тулуп, сношенные валенки, кусок хлеба и несколько картофеля. Писать было интересно. Но часто можно было услышать от него: «Если устали или вам неинтересно на занятиях – бросайте. Надо остановиться, пока вам захочется продолжить. Это необходимо для того, чтобы с желанием вернуться к работе». ...часто на занятия он приносил большие фотофрагменты картин известных мастеров Возрождения, портреты Тициана, Рембрандта, Веласкеза. Мы разбирали каждый мазок. Всего один учебный год занимались мы с Михаилом Дмитриевичем. В 1942 г. весь наш курс ушёл на фронт. ...труд его не забыт. Портреты его кисти находятся в квартире-музее Н.В. Неждановой, в музее МХАТа, музыкальном музее им. Глинки, у семьи художника.

ХI. 1981 г. Вл. Найденко.

Незабываемое /А.В. Скворцов/

...Александр Васильевич Скворцов. Если удаётся встретить такого щедрого на отдачу человека, который не утаивает секреты своего мастерства, – это большое счастье.

...живём мы на тех улицах (Северной, Валовой, Кузнецкой, Приваловом мосту), где в давние времена стояли крепостные стены. Едем на Увек, где в это время проходили археологические раскопки. Узнаём, что в нашем городе открывается Дворец пионеров. ...я в кружке ИЗО. ...Вели кружок несколько художников: Н. Муратов, К. Винтер, А. Кравцов, А. Бородин. Ими и другими саратовскими художниками были в это время исполнены панно во Дворце пионеров и скульптурная группа на фронтоне здания.

...организуется кружок гравюры. С другом Мишей Голодаевым пошли... Нас встретил Александр Васильевич Скворцов, небольшого роста, с весёлыми карими глазами. Первые занятия, показ досок, линолеума, штихелей, которыми можно было нарезать рисунок и сделать несколько оттисков. ...умел заинтересовать делом, гравюрой, не просто техникой её, а творчески, продуманностью, завершённостью. Многие из нас поступили в Художественное училище на живописное отделение (графического в это время не было). В 1940 г. я был принят в училище... ...После войны вернулся в училище и продолжил учёбу. ...Александр Васильевич... в это время преподавал в училище, вёл рисунок, к нему приходили заниматься офортом. В училище был офортный станок, и многие студенты занимались гравюрой...

Уже после поступления на отделение художественного оформления книги Московского полиграфического института, приезжая в Саратов, часто встречался с Александром Васильевичем и получал заряд творческого вдохновения. Незабываемы совместные поездки по Волге, в любимые им места, много раз им изображённые, встречи дома с ним и его супругой Ниной Степановной... Волга же была и оставалась его песней... Многочисленные его офорты, цветные акватинты потрясают звучностью и гармоничностью цвета, гравюры в технике «меццо-тинто» – мягкостью и глубиной тона.

Запомнился Александр Васильевич с небольшим этюдником, переделанным им для работы над офортами, на берегу Воли, у Пристанного или Зелёного острова. Об этом напоминают подаренные им офорты из серии «Зарисовки с натуры», а также присылаемые поздравительные буклеты с его офортами эти маленькие шедевры мастера... ...в Саратове продолжает работать в офорте его ученица, моя однокурсница по училищу Нина Семёнова. 1973 г. Вл. Найденко.

Воспоминания художника В.Ф. Найденко о художниках А.В. Скворцове, И.Н. Щеглове, М.Д. Егорове. Архив СГХРМ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 8.

*

*У меня, в сущности, есть только один дар,
но настоящий дар: я умею понимать живопись
и умею раскрывать её другим.*
Н.Н. Пунин.

...В какой-то степени это было счастье моей жизни, что я встретила с такими людьми, как говорят теперь – харизматичными – как Николай Николаевич Гуцин, как Юлиан Григорьевич Оксман, как Натан Эйдельман. Что я училась у Николая Николаевича Пунина, он учил нас видеть вещи. Он был приверженцем теории Вёльфлина, теории стилей...

Н.В. Огарёва. Галина Беляева: аудио-видео запись. 2000-е годы.

...в течение пяти лет я была его ученицей и слышала его лекции в Институте истории искусств. ...всё то, что говорил нам Пунин, не только запечатлелось в памяти, – это просто предопределило наше отношение к искусству. ...Как он это делал? Только не красноречием. ...Он писал блистательно, и читать его – наслаждение: так это ярко, так это легко. Как он говорил? У него не было красноречия, у него даже не было гладкости речи. Он говорил запинаясь, и всё-таки я могу сказать со всей ответственностью, что в его писаниях не отразился во всей полноте этот удивительный дар – раскрывать искусство.

О живописи, об искусстве... ..его лекция – вы не помнили фраз, вы не помнили слов, но вы обладали картинами, вы обладали пониманием – полным пониманием тех художественных явлений, о которых Пунин говорил.

Был ли у него метод?.. Не было у него метода и приёма. ...Пунин импровизирует. И, действительно, когда Николай Николаевич стоял перед экраном или перед картиной, он зажигался... Он говорил те слова, которые были не приготовлены, и всё-таки я не могу говорить об импровизации. Это не было просто какое-то словоизлияние, это был высокий профессионализм. Я даже могу сказать о строгости выступлений Пунина, потому что он говорил только о живописи, он говорил только об искусстве, он искал слов, он искал какой-то безусловной адекватности, может быть и несуществующей, между словом и изобразительным образом. ...Николай Николаевич очень тщательно и очень строго готовился к своим лекциям – чтобы не выходить за пределы того, что он должен был сказать.

...был ли Николай Николаевич эрудитом. Человек такой огромной культуры – был ли он эрудитом? Иногда Николай Николаевич цитировал. Он любил цитировать Христиансена, очень любил цитировать Мориса Дени, особенно его знаменитое высказывание: «Да, Морис Дени писал правильно: каждая картина, раньше, чем стать лошадью, женщиной, сражением, прежде всего является плоскостью, на которой в определённом ритме расположены цветные пятна»

Теперь, когда уже прошло столько лет, как мы слушали его лекции, тридцать лет, сорок лет, – когда я читаю зарубежных и наших учёных, они только-только дотягивают до того, что нам говорил Пунин и что его ученикам было известно с университетской скамьи.

...у Николая Николаевича не было теории, не было определённого предвзятого подхода. ...он подходил к картине и начинал говорить. ...Он показывал импрессионистическую картину – Моне, Писсарро – и говорил: «Товарищи, вы будете работать в музеях, вы храните и знаете старую живопись. Предположим, у вас прорвётся картина. Прорвётся картина художника XVII века – портрет или натюрморт. Вам будет очень важно, где прорвалась эта картина, на изображении человека, лица, предмета или фона. Если вы узнаете, что прорван только фон, то (мы-то, эрмитажники, так и рассуждаем) вы скажете: “Ну, это ещё ничего, это невелика беда”. Но прорвите импрессионистическую картину. Неужели так важно, где она прорвётся – там, где изображён человек, небо

или дерево». Вот это – новое понимание, как он называл, драгоценной поверхности холста. Этому он учил нас, когда показывал импрессионистическую живопись. И мы видели эту целостность, мы видели эту совокупность живописных явлений, которая появилась и была завоёвана импрессионистической живописью. И поймите, как нам скучно было потом слушать или читать, что импрессионизм потерял предмет, что было там какое-то неуважение к портретной модели и т. д., и т. д. Всё это уже было несущественно. Потому что Николай Николаевич показал нам ту новую шкалу ценностей, которую принесла с собой импрессионистическая живопись.

Я помню, как он блистательно – в одной фразе – говорил о различии между импрессионизмом и Ван Гогом: «Когда импрессионист кладёт мазок краски на холст – Моне или Писсарро, он фиксирует своё оптическое впечатление. Когда Ван Гог кладёт краску на холст, он реализует своё переживание».

О Сезанне он говорил неслыханно. ...в этом не было красоты; он говорил самые неожиданные, самые невероятные вещи... ..он говорил о синем протекающем свете... о концентрации воздушной среды, которая трепетала в полотнах импрессионистов. Но у Сезанна, который стремился к строительству и конструктивности живописи, она приобретала характер синего протекающего цвета...

...он стоял перед нашей картиной Сезанна «Сосна в Эксе» и говорил: «Представьте себе сосну Шишкина, и потяните – предположим, вы хотите эту сосну выдернуть из картины. Потяните её за ветку – и за ней ползет ствол. Потяните за ветку сосну Сезанна – и за ней ползет соседний кусок неба». Ну как можно лучше, как можно красноречивей показать специфику живописи Сезанна?..

...Он понимал старую живопись отнюдь не хуже, отнюдь не менее остро, чем он понимал новую. ...ту же самую новую завоёванную живописную плоскость – он её видел, находил в старом искусстве.

...Он сравнивал Репина и Сурикова. Прямо скажу: не очень он любил Репина. В частности, он не любил его картину «Запорожцы». Он уверял, что никак не может понять, почему можно засмеяться при виде этой картины, никакого заразительного смеха он не видел и не любил он передний план, где эта запрокинутая голова, как он говорил, прорывает холст. Прорывать холст – на это он реагировал очень остро! Но с каким вдохновением он показывал Сурикова, как он ценил живописный дар Сурикова!..

Понимал он великолепно и старое классическое европейское искусство! Один раз, прекрасно помню, мы, набравшись всей этой премудрости – и о целостности, и о перетекании одного тона в другой, и о живописности, и о плоскостности, для занятия Николая Николаевича подготовили сравнительный анализ двух картин в Эрмитаже, это были натюрморты Яна Фейта и Снайдерса. И я безумно распинаясь, когда пришёл Николай Николаевич, с радостью ему показала натюрморт Фейта и сказала: «Поняв у вас, что такое живописность, я нашла подлинное, настоящее воплощение этой живописной цельности. Всё диагонально, всё в динамике, всё перетекает одно в другое. Какая красота, целостность, плоскостность. И посмотрите на этого Снайдерса: всё разомкнуто, нет никакого единства, и (тут я была уверена, что я бью наверняка!) вы поглядите, ведь груша-то – она объёмная! Она же протыкает холст!»

Ох, как мне попало от Николая Николаевича! Он сказал: «Да вы же ничего не видите! Ведь Фейт – это пустая декоративность. ...Поглядите на Снайдерса, ведь это подлинный великий художник, он же чувствует, что он изображает. Поглядите на эту грушу!» Потом он сказал высшее, что он мог сказать: «Да ведь этой груше Снайдерса Сезанн бы позавидовал!»

...из-за того, что он так владел анализом, у него была ложная репутация – якобы он формалист, а содержание, идея ему безразличны...

Как он показывал Курбе – с точки зрения содержания!..

...искусство обступало его, он видел его непрерывно... ..показал на Русский музей и сказал: «Взгляните! Он же смотрит! Вот филармония не смотрит, театр не смотрит, а он смотрит!»

...возникали у него не только ложные ситуации, а подлинные настоящие конфликты. ...Николай Николаевич делал отчёт об одной выставке советских художников... Он делал это со свой-

ственной ему заботливостью, с тем же проникновением. Он говорил о различных тенденциях, об индивидуальных возможностях и невозможностях каждого мастера. И кто-то из зрителей сказал: «Николай Николаевич, а почему вы не говорите о картинах такого-то художника?» ...это был очень известный художник, который получил Сталинскую премию. Николай Николаевич ответил: «Товарищи, мы сегодня говорим об искусстве. Какое же отношение эти вещи имеют к искусству?»

Этого, конечно, ему не прощали.

...нет Николая Николаевича, нет его поразительного восприятия, его, который, как лакмусовая бумага, отделил бы ложное от настоящего и не только бы отделил, а показал бы, почему это так.

А.Н. Изергина // Панорама искусств. Т. 12. Серия «Рассказы о художниках и писателях». М.: Советский художник, 1989. С. 163–172.

В конце сороковых годов из музея нового западного искусства начинают выносить полотна французских импрессионистов... Здесь разместится Академия художеств СССР. ...незадолго до закрытия музея его посетили президент Академии художеств А. Герасимов и К. Ворошилов, увлекающийся живописью – их связывали не только узы дружбы, но и родственные отношения. Во взглядах на искусство они были на редкость единомышленны: музей закрыть, собрание расформировать.

В феврале 1947 года состоялось обсуждение выставки ЛОСХа. В обсуждении принял участие Пунин. Он обратил внимание на крайне низкую художественную культуру участников выставки и отметил, что на этом фоне выделяются лишь небольшие пейзажи художника В. Соколова. Владимир Серов, возглавлявший в то время ЛОСХ – его картины висели как раз напротив пейзажей Соколова, – вскочил, как подброшенный пружиной. Он кричал о наступлении на идеи, об опасности такой критики, которая вносит раскол в стройные ряды ЛОСХа. Казалось, что искусство находится на военном положении и все, немедленно вооружившись, должны встать на защиту... нет, не искусства – на защиту Серова.

В одной из своих статей он писал: «Пунина устраивает только то искусство, которое потеряло признаки всякого здравого смысла: только предельное уродство, маразм и разложение вызывают у него восторг». Статьи Серова множились, умножились и характеристики: «открытый и злобный враг реалистического искусства», «идейный вдохновитель космополитов», «матёрый враг советской культуры»...

Осуждённое за формалистическое трюкачество искусство наконец-то осознало свою задачу. В мастерских Академии громоздились портреты одного и того же человека и нескольких приближённых: с рабочими-нефтяниками и среди стахановцев, на Царицынском фронте и на празднике авиации, на партсъезде и с тружениками свекловичных полей, в Кремле и у Кремлёвской стены. Сталинская премия 1948 года была присуждена А. Герасимову за картину «Сталин у гроба Жданова».

...В Союзе Пунин прочёл доклад не о последних лауреатах Сталинской премии, среди которых были В. Серов и А. Лактионов, а на тему «Импрессионизм и картина». Это тогда, когда уже всем – даже школьникам – было известно, что импрессионизм – чума... И есть художественные критики, которые интересуются этим маразмом – они являются «реакционными и махровыми апологетами гнилой буржуазной культуры».

На третьей сессии Академии художеств избению подверглись искусствоведы Лазарев, Грабарь, Эфрос, Тугендхольд, Пунин, художники Осмеркин, Фаворский, Тышлер, Фонвизин, скульптор Матвеев.

Верховенствовал на сессии А. Герасимов... «Надо понимать, – говорил Герасимов в заключительном слове, – что добрый злак растёт труднее и медленнее, чем сорная трава, и если дать волю сорной траве, она навсегда задушит добрый злак»...

Пунина арестовали 26 августа 1949 года. Последним, кто обнял его, была Анна Андреевна Ахматова. «И сердце то уже не отзовется на голос мой, ликуя и скорбя. Всё кончено... И песнь моя несётся в пустую ночь, где больше нет тебя».

...что было дальше... (рассказывает) профессор Виктор Михайлович Василенко... – один из тех, кто встречался с Николаем Николаевичем Пуниным в абезском лагере...

«В 1952 году я работал на погрузке угля на шахте в Инте и там тяжело заболел инфекционным гепатитом, а когда стал выздоравливать, я не был пригоден для шахты и меня направили в Абезь. Это на реке Усе лагерь... ..через неделю мне сообщили, что меня хотят видеть, и вечером тайком повели в один из барачков. Это был барачок для тех лиц, престарелых или больных, которые не годны никуда на работу.меня подвели к нарам, на которых сидел пожилой человек, весь покрыт каким-то странным пледом, голова окутана полотенцем. Лица я не различал, в барачке было полутемно. Я остановился в недоумении. Человек протянул руку и сказал: «Добрый вечер, Виктор Михайлович, узнаёте?» Я всмотрелся и тихо произнёс: «Это Вы, Николай Николаевич? Как Вы сюда попали?» Вопрос был, конечно, нелепым, и я, сразу же сев рядом, сказал: «Вот и я здесь». ...И вот эта весьма почитаемая мной личность предстаёт такой неожиданной и мало узнаваемой фигурой.

...Мы нечасто общались – днём я был, как правило, на работе, а он был болен и оставался в барачке. Самым близким к нему человеком был Лев Платонович Карсавин, он был профессором философии петербургского университета, затем эмигрировал, жил в Прибалтике, потом преподавал в Берлине, в Париже, в Сорбонне читал лекции по истории средневековой философии, дружил с Марселем Прустом, хорошо знал Матисса, Леже и так далее. Беседы Николая Николаевича со Львом Платоновичем... Оба сохраняли какую-то стоическую силу. Карсавин считал, что искусство родилось из стремления человека к совершенству, он говорил: когда мы общаемся с искусством, мы общаемся с совершенным, делаемся лучше. Это нравилось Николаю Николаевичу и он говорил, вот так – слегка театралью: «а вы знаете, Лев Платонович, это интересная и очень точно сформулированная мысль. Нельзя безнаказанно смотреть на совершенное, сам будешь совершенствоваться, даже если не хочешь».

...Нас хоронили без ящиков, в одной рубашке, на которой был номер, клали прямо в землю, в яму, выдолбленную в вечной мерзлоте. ...мёртв и похоронен между Воркутой и Интой на безымянном кладбище в Абези. Могила Пунина... среди тысяч... с низко обрезанными вешками, пронумерованными рядами.

...Жизнь его заканчивалась в большом барачке абезского лагеря. Этот барачок был выстроен когда-то как гараж для грузовиков, и в нём удобно было разместить на двухъярусных нарах сотни заключённых. Один из заключённых назвал это странное сооружение фаланстером – излюбленным словом социальных утопистов, под коим подразумевали они дома-дворцы, объединяющие членов трудовой общины для отдыха после исполненного радости совместного труда во благо человечества. Абезский фаланстер... его железный свод, выгнутый... собирал влагу, методично капаящую... ..ставили жестяную посуду, и неуклонный звук тяжёлых капель, падающих с высоты, наполнял барачок днём и ночью. Разговоры, которые вели в барачке, и споры уголовников, и ночные стоны – всё сопровождалось этим одинаковым... звучанием.

...разговоров об искусстве, как вспоминает в своих записках солагерник инженер Анатолий Анатольевич Ванеев, – было немало. Они велись в барачке на нарах, перед барачком, где солнце обогрело бугор с проплешинами травы, в тёплом среди зимней стужи сарае электростанции, где Ванеев работал электриком.

Сюда Николай Николаевич заходил иногда погреться. Его высокая прямая фигура возникала в светлом проёме двери... Последнее время он видел плохо и ходил, опираясь на палку... Улыбаясь, он говорил: «Я что-то потерял сегодня масштаб». На электростанции произошёл разговор о Татлине и Малевиче. Пунин объяснял Ванееву: Малевич поклонялся геометрии и цвету, считал их независимыми от материального носителя. Способность видеть и располагать объёмы и формы в единственно возможном сочетании геометрии и цвета он называл супрематизмом. Татлин же считал, что форма определяется материалом вещи. Малевич и Татлин безудержно спорили между собой. Однажды Татлин вышел из-под Малевича табурет, говоря: «попробуй усиди на геометрии и цвете без их материального носителя». Так понял и так записал этот разговор Ванеев.

Когда Ванеева переводили в другой лагерь, и Пунин прощался с ним, он сказал, что случайность событий и жизненных факторов – лишь кажущаяся случайность, а на самом деле есть особый смысл в их сочетании, некая высшая предопределённость, которая придаёт жизни внутреннюю законченность. «У жизни есть свой супрематизм», – сказал Пунин. Не имел ли он в виду, что не случаен и этот фаланстер, собравший таких разных людей, как литовский врач Шимкунас, спасший в санчасти многих, в том числе и Пунину, известный богослов Карсавин и египтолог Коростовцев, поэты Сергей Спасский и Самуил Галкин, читающий стихи на непонятном еврейском языке, епископ Язорка и православный священник отец Иоанн, как сохранившие воспоминания об этом времени филолог Герасимов и искусствовед Василенко...

Как-то ночью всех разбудили, построили в колонну и под конвоем повели к большому котловану. Больных несли на носилках. Охрана расставила заключённых по периметру, но казнь не совершили. Эту страшную мистерию в северной империи Гулага разыгрывали не однажды... Каждый раз на кромке котлована люди прощались с жизнью, и каждый раз после краткого ужаса ожидания их возвращали в барак к нарам, пайке, собакам. Что это было: шутка палача или репетиция запланированного уничтожения людей...

Мало кто мог угадать тогда в старике в опорках и ватнике знаменитого искусствоведа, петербургского эстета... ..с речью далеко не плавной, а бурной, захлёбывающейся, полной безошибочных наблюдений, Пунин обладал несчастным даром: чувствовать живописную, а не литературную стору искусства, безошибочно отделяя подлинное его начало от имитации.

...Не революция привезла Пунину в авангард. Авангард привёз его в революцию. Он спешил сесть в этот поезд, чтобы мчаться вместе с ним...

...Александр Бенуа, вождь тогдашней художественной элиты... ..был убеждён, что искусство может произрастать лишь на тщательно ухоженных почвах, что ему нужны традиции, нужна музейная атмосфера. Он боялся разгула художественной стихии, за которой угадывал полную гибель искусства, считая, что надо любыми путями охранять те богатства, которыми Россия уже владеет, что будущие богатства – дело сомнительное, а уже созданные – несомненны. Он полагал, что лучше отдать искусство во власть государства и его учреждений, чем отдать его на волю разнужданной толпы. Это, по его мнению, сможет оградить государство от «апофеоза уродства», от «бесовщины». А к «бесовщине» он одинаково относил Кандинского, Малевича, Пикассо, всех левых художников...

...Пунин считал, что именно сейчас перед русским искусством раскрылись доселе невиданные возможности. Попытка натурализовать живопись, предпринимавшаяся в течение двух веков, уводила от искусства. Теперь искусство становилось самоценной реальностью. «Раньше художник смотрел в мир как в окно, теперь он входит в мир», – писал Пунин.

...Луначарский... ..Он был красноречив. Говорил о свободе для художника, которая наступила, о возможностях, которые открылись перед авангардом, – никаких присяг, никаких заявлений о преданности и повиновении! Представляется полная свобода!.. Говорил Луначарский убедительно, страстно, и программа, обрисованная им, Пунину понравилась. Особенно в части заботы о левых художниках и создании художественных студий. Дать людям холсты, кисти, краски, дать им свободу творить – разве не благородная задача.

...АХРР – хрипяще-рыкающей аббревиатурой обозначила себя группировка, ставящая задачу отображения окружающей действительности методом «героического реализма»... ..В 1922 году идеологи АХРРа обратились в ЦК ВКП/б/ с просьбой «указать пути, по которым нам надо идти и работать как художникам», и получили указание идти на заводы, в рабочую массу, изучать и изображать её, ибо только рабочая масса «подскажет вам направление вашей деятельности».

«К чёрту беспредметников! – восклицал художник Е. Кацман. – Посмотрите на эти великолепные лица, затылки, полушубки, смотрите, как они сидят, разговаривают, едят, всё это живописно и великолепно».

...арестован по первому разу в августе 1921 года... В следственном изоляторе ЧК на Гороховой Пунин столкнулся с Гумилёвым. Одного вели на допрос, другого – с допроса. «...Мы стояли (друг перед другом, как шальные, в руках у него была “Илиада”, которую от бедняги тут же отняли».

Арестовали П.И. Нерадовского, многие годы заведовавшего отделом Русского музея, Н.П. Сычёва, с которым Пунин дружил с давних времён (он был сотрудником редакции «Русской иконы...») Сычёв был отправлен на Беломорско-Балтийский канал, откуда в августе 1935 года писал Пунину «единственной для меня отрадой является живопись... Только этим я и живу. Не будь живописи, честное слово, немедленно окунулся бы навсегда в Онежское озеро...»

Его пристрастие – русская икона... Пунин не был её первооткрывателем... Тяжеловесные, с медлительной основательностью написанные труды не были, однако, похожи на стремительные писания молодого Пунина...

Живопись... схватывал её мгновенно судорожным порывом души. И мгновенность охвата, отблеск его личных чувств, его взволнованности лежит на небольших статьях, написанных в один присест, не переводя дыхания. Это был не стиль учёного, исследующего живопись по заранее выверенной схеме, но стиль поэта, владеющего словом и способного выразить им тончайшие движения чувств и самые неожиданные наблюдения...

В 1918 году Пунин совместно с Е. Полетаевым издал книгу «Против цивилизации». Те, кто знает об этой книге лишь по названию, предполагают, что она призывает к сокрушению культуры. Однако под цивилизацией имеется в виду комплекс тех благ, которых человечество добилось к двадцатому веку. Цивилизации противопоставляется культура – «власть над хаосом жизни», «интенсивное созидательное творчество». Именно в культуре выражается творческий потенциал народа. Если Европа, по Пунину, стремится заменить понятие «культура» понятием «цивилизация», то Россия обладает скрытыми силами с огромными запасами энергии... Через три года после написания книги её автор был арестован и, может быть, в подвале на Гороховой Пунин вспомнил свои слова: «отдельные индивиды могут, конечно, пострадать или погибнуть, но это необходимо и гуманно и даже спорить об этом – жалкая маниловщина, когда дело идёт о благе народа и расы и, в конечном счёте, человечества».

Николай Николаевич понимал искусство очень глубоко. Он любил касаться третьей, четвёртой и последующей, сразу не раскрывающейся внутренней содержательности живописных созданий; он говорил: то, что мы видим и то, что очень многие историки искусства изучают – это поверхность; нужно проникнуть за эту поверхность, то есть «уподобиться», то есть войти внутрь. И добавил: «Правда, это очень трудно, начинаешь задыхаться... Создания искусства различаются не столько по стилю, сколько погружением в глубину, насколько они погружаются в глубину». Сидящий рядом Лев Платонович Карсавин добавил: «Чем они ближе к Богу». Николай Николаевич не возразил, кивнул головой и пожевал губами...

Однажды Николай Николаевич спросил: «А знаете, чем различаются Владимирская Божья Матерь и Сикстинская Мадонна?»... Он сказал: «Так вот, милостивый государь (он так иногда обращался ко мне, младшему, и эти слова очень странно звучали, наверное, в бараке, где слышались крики, бормотанье какое-то, кто-то просто бубнил) – разница в том, что когда Сикстинская Мадонна смотрит на вас, то она видит вас таким, каким я вас вижу – в вашем бушлате, с вашими голубыми глазами, видит физически, а Владимирская Божья Матерь не видит вас совсем такого, как вы есть, то есть смотрит на вас и вас не видит, она видит только душу без вашей плоти, сущность, а не физическую оболочку. Вот почему эта икона приписывалась святому Луке: не за её внешние достоинства, а за сверхчеловеческое прозрение»...

Научная ценность статьи о Рублёве, опубликованная Николаем Николаевичем Пуниным на страницах журнала «Аполлон», достаточно велика, и всё же очарование её не только в научных наблюдениях, но и в том, что, автор, по собственному признанию, «возносит к иконе свою душу».

Статья написана в 1915 году. Заканчивается она пророчески: «жизнь неумолима и жестока... Путь нашего искусства тернист, и венец нашего художественного гения – терновый венец»...

Виктор Михайлович Василенко

С. Михайловский. Н.Н. Пунин в супрематическом пространстве // Нева. 1989. № 6. С. 145–159.

Справка

Пунин Николай Николаевич (1888–1953)

1945, 20 апреля. Выступление Пунина против кандидатуры председателя Ленинградской организации Союза художников В.А. Серова (Раппопорта) на перевыборах правления Ленинградского отделения Союза художников (ЛОСХа). Развёртывание Серовым кампании травли и дискредитации Пунина.

1949, 15 апреля. Приказ ректора Ленинградского университета им. Жданова об увольнении профессора кафедры истории всеобщего искусства Н.Н. Пунина «как не обеспечившего идейно-политического воспитания студенчества».

1949, 26 августа. Арест. Изъятие рукописей и дневников из архива Пунина. Направление в Дом предварительного заключения. Следствие.

1950, март. Перевод в Лубянскую тюрьму в Москве. Осуждён Особым Совещанием при МГБ. Виной Пунина было «преступное» убеждение, что Сезанн и Ван Гог – великие художники.

1950, осень. Этап в инвалидный лагерь в Абезь (Коми АССР). Вологодская пересыльная тюрьма. Прибытие в лагерь. Условия содержания заключённых. Пребывание в больнице.

1953, 21 августа. Смерть Н.Н. Пунина в лагерной больнице. Похоронен на лагерьном кладбище в посёлке Абезь.

Реабилитирован 26 апреля 1957 г. Президиумом Ленинградского городского суда с формулировкой «недоказанность вины». – Каминская Анна Генриховна, внучка искусствоведа Николая Пунина.

Картина и икона

...Живой не может не дышать, духовно живой не может не молиться. ...Это предстояние пред Богом, эту молитву, составляющую дыхание духовной жизни, выражает икона. ...В иконе всегда царствует узаконенная традиция, а не индивидуальный произвол; поэтому и значение её не ограничивается ни рамками времени, ни принадлежностью тому или иному народу.

Чтобы хоть отчасти понять глубину, которая открывается иконописцу, рассмотрим некоторые иконы.

В Библии повествуется: Патриарх Иаков однажды боролся с Богом, после чего получил наименование Израиля.

Как же посмотрел на это же событие иконописец. Он не показывает земной обстановки, он увидел непреходящий смысл и значение Библейского рассказа.

...глубокая истина, что, как бы ни напрягался человек в своей борьбе с Богом, вся его деятельность в этом направлении, в чём бы она не выражалась, ничтожна и бессильна, как у ребёнка, ибо Кто – Бог, и кто – человек?! ...иконписец изобразил Иакова отроком. Это означает, что всякий, у кого собственная воля не покорилась всеблагой воле Божией, ещё противоборствует Ей сознательно или бессознательно, такой младоумен, не совершен в духовном возрасте, он ещё отрок, и ему надо много пожить, чтобы прийти в возраст мужа совершенна.

Сам Ангел Иеговы на иконе не только не прилагает никаких усилий в борьбе, но приклоняется к борющемуся и десницей поддерживает его голову... ...в этой иконе (приписываемой Преподобному Андрею Рублёву) выражена сверхвременная, духовная сущность богоборчества как каждого человека, так и всех племён и народов всех веков...

Образ Божий – неотъемлемая принадлежность каждого человека, так что, когда мы видим священнослужителей, кадящих сначала престол, потом иконы, а затем молящихся, мы должны знать, что они кадят не нашей внешности и не лицу нашему (личности), а образу Божию в нас...

Из икон Дванадцатых праздников остановим кратко внимание на образе Пресвятой Троицы Рублёва, написанной в похвалу Преподобному отцу, Сергию Радонежскому.

Её основа – эпизод, рассказанный в Библии о явлении трёх странников Аврааму. ...явлена сокровенная тайна Самой Пресвятой Троицы в её вечности (Ангелы вписаны в круг – символ вечности), во взаимном согласии и подчинении (склонение голов), в жертвенной любви – предмет безглагольной беседы Ангелов – спасение мира Жертвой Христовой. На столе благословляется Чаша с головой жертвенного Агнца или Тельца – символ Евхаристии. Икона – литургическая тайна. Внутренняя жизнь Пресвятой Троицы. Её Лик – бесконечный, невозмутимый, «свышний мир» Горнего мира, струющийся в вечном единстве и согласии. От иконы веет на предстоящего тишиною и бесстрастием... «Да молчит всякая плоть человека, и да стоит со страхом и трепетом (перед Троицей) и ничто же земное в себе да помышляет; Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным...»

Лекция Марии Николаевны Соколовой, прочитанная в Московской Духовной Академии в 1966. Публикуется в сокращении // Московская патриархия. 1981. № 7.

Ольга Фёдоровна Корпакова

Вспоминая военное время, написала по нашей просьбе:

В 43-м году штаб ПРИВО, где я тогда служила вольнонаёмной, был переведён в Куйбышев, а меня назначили в ДК консультантом художественной самодеятельности.

Однажды пришли двое молодых людей, которые после ранения лежали в саратовском госпитале и ждали назначения в часть.

С одним из них мы разговорились. Юра Забинков, питерский студент, совсем ещё мальчишка, хулой, с тонкой шеей, чёрный, как галченок, увлекался поэзией. И мы порой говорили с ним о любимых поэтах, о новых стихах К. Симонова, о газетной публикации строчек из «Книги про бойца» А. Твардовского, а потом он стал читать свои стихи. Одно его стихотворение я запомнила как говорится с голоса. А потом я прочитала его Г.А. Гуковскому, с которым однажды ездили в Татищево, где формировались какие-то части и где Георгий Александрович читал лекции, а я рассказывала о стихах, о новых песнях.

– Талантливый мальчик. Жалко, убьют. – Ну почему же сразу убьют? – Такие интеллигенты, с тонкой шейкой погибают в первую очередь.

Вот эти стихи... ОЦУ

– Я обычно не вижу снов – / что ж, усталость берёт своё. / Чуть заснул на пару часов / погрузился в небытие. / И лишь изредка, сну во след, / что-то в памяти тает дрожа – / так сбегает дыхания след / с острия стального ножа. / О твоей беспокоясь судьбе, / мне весь свет без тебя не мил, / долгим вечером о тебе / я с товарищем говорил. / А заснув, увидел во сне, / что с началом нового дня / ты пришёл, дорогой ко мне. / Ты пришёл / и тихонько обнял меня. / На родного лица черты / я, смеясь и плача, глядел, / – Как я рад, что вернулся ты, / как ты всё-таки похудел. / Но зачем ты сказал «прости?», / ты ушёл, не велел грустить / и меня не позвал с собой. / Я рванулся тебе вослед / и проснулся – вокруг меня / начинался разведкой рассвет, / наступление нового дня. / Но твой голос в ушах не стих, / о любимый, не уходи, / я тепло объятий твоих / ощущал на своей груди. / И границы сна разорвав / и не зная, что кончен он, / я тогда не поверил в явь / и надолго поверил в сон. –

Странно, что так надолго сохранилось это в памяти. Юра Забинков исчез неожиданно, видимо, получил назначение и был сразу отправлен на фронт. Я ничего не знаю о его судьбе. Не знаю даже, как пишется его фамилия: Забинков, Зыбенков...

– ...комментарии? Просто фактология... Читать другие стихи Юры? Ну нет, там такие стихи в альбом – это уже не положено. Это вот то, что можно. Остальное просто личное.

Займеть собственное мнение...

Ольга Фёдоровна Корпакова! Опять у неё в гостях. Ей 95 лет – будет 12 июня: памяти поза-видовать, – она, старый музейный друг, вводит нас в контекст архивной информации.

Ольга Фёдоровна своё мнение имеет. Уж так не спится, но – телефон под рукой, а брат, на де-сять лет моложе: – ...да как же у него язык поворачивается: – «Сталин спас русский народ!» – Это как же он спасал?

Лида говорит, что вы её упрекали – не поздравили с Пасхой.

Мы росли когда, праздновали всё – и Рождество, и Крещение и всё прочее. И одновременно – Май и Октябрьскую. А соседка у нас говорила – Ну чего ж тут у нас вблизи-то есть... то Парижская коммуна, то ещё что-нибудь. А я всегда вспоминала, у Островского есть – приходит там купец к своему приятелю. Ну, жена того упрекает, он говорит – Матрёна Ивановна! Да что вы? – А что? А что сегодня-то? – Ну как, Матрёна. Первая пятница на этой неделе! – Вот я всегда – мы тоже всегда искали первую пятницу на этой неделе. Собраться, поговорить, чаю попить, пироги и пирожки там испечь, – просто счастливы! И всё равно в эти дни ничего не вкладывали. Единственное вот для меня, что Рождество было – просто, я говорю – по Диккенсу, по Андерсену, по Толстому... как далее они там едут к дядюшке в поместье. Это просто вот какая-то была удивительная нежность и красота. К Пасхе я равнодушна была совершенно, а вот в Рождество что-то было такое особенное... А это всё было так же, как все остальные праздники отмечали – встречались, маскарадились. Всё что надо. Хорошее было время. Компания у нас была хорошая. Родители были очень хорошие люди. Повезло мне. Шибко повезло. Да! Ещё вот наследство такое вот получилось, что девяносто пять годов. С ума сойти!

...Давным-давно нет уж моих, да не то что сверстников, а моложе гораздо. Ну ничего, не жалуюсь – всё равно, всё равно какие-то радости есть. Но читать – это не могу, конечно – самое тяжёлое. Ничего делать не могу – вязать, шить, Господи, я такая мастерица была. Ну – радио слушаю, телевизор больше слушаю, чем смотрю. Передачи есть замечательные... «Наблюдатель», «Главная роль» – очень хорошие передачи. Концерты прекрасные. Так что нет – жить можно! Ничего...

Сиротами становимся и взрослыми сразу становимся. Ничего, девочки, сколько-то ещё поживём...

...и шила всё сама, фасоны все сама придумывала. Ну ничего!

... как невестка говорит: – начиталась с четырёх лет! Вроде как бы даже в укор... Четырёх лет не было – научилась читать. Даже не помню... не учил никто. Просто росла как-то в этой атмосфере, вот и... – все любили читать. Бабушки мои: ...такая была любительница до самого конца. Бабушка другая – любила, но она любила, чтобы ей читали, сама она ленилась... – Некрасова она любила, которого я не больно любила, но...

Кем были бабушки наши? Никем. Были жёнами...

Матери!

У папиной матери был единственный сын, единственная невестка, единственная внучка. Не любила никого! Ни мужа, ни сына, ни внучка – никого. Как у такой матери вырос такой папа – не знаю... Дедушка хотя был очень хороший добрый человек. А она была такая! Всё грозилась: – Вышвырну вас! Дом продам! – дом был на неё прописан, и она говорила: – Дом продам, вас всех выселю! – Слушать любила – это вот она любила. А вот кричать – это она... – дедушка бывало говорил: – Что ты поешь-то не дашь! – А мама говорила: – Входит... – у нас когда весь дом был, у нас был длинный-длинный коридор и из него была дверь в прихожую, а потом дверь в её половину – мама говорила: – Придёт, как туча накроет... – бедный дедушка. Они же просто приехали из деревни, – бабушка вот вытащила, значит, мужа из Бахметьевки в Саратов...

Другой дедушка Лаврентий был... ну вот он приезжал когда-то сюда. Он был, как Никола Угодник был – вот такие вот волосы белокурые совершенно – ну, кудрявые-то они все были. И папа тоже, у него тоже была пышная шевелюра... Лаврентий – голубые глаза – добрейший вот, светлый-пресветлый был замечательный. Ну, жену его я плохо помню... совершенно прелестный был

человек, и было большое хозяйство. Было четыре сына с невестками – никаких рабочих, ни наёмных не было. Но было большое хозяйство, которое, конечно, сразу в тридцатом году разорили. А в тридцать третьем они умерли с голоду буквально – в прямом смысле этого слова. Вот так. Всё отняли абсолютно, так что... Мы тоже в общем – хоть не в прямую, но всё равно... А крёстный мой дядя Володя – ну это папин друг был – тоже. У него был туберкулёз, он занимал какую-то самую такую незначительную должность. Ну какую-то, не рабочий... В тридцать четвёртом его забрали – я говорю, ну он действительно острый на язык был, он мог какой-нибудь анекдот рассказать. И вот, значит был открытый процесс – это тогда суды были такие. И мама с папой ушли на этот процесс, на этот суд.

Справка

Постановление ЦИК СССР от 01.12.1934 «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик»

Центральный Исполнительный Комитет СССР

Постановление

от 1 декабря 1934 года

О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет

Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде
3. Дела слушать без участия сторон
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора

Председатель ЦИК Союза ССР

М. КАЛИНИН

Секретарь ЦИК Союза ССР

А. ЕНУКИДЗЕ

И рассказывают мама с папой, что когда дяде Володе дали пять лет тюрьмы – он увидел их и стал показывать рукой – пять пальцев, пять лет – не расстрел, не десять, а пять лет всего. И вот он сидел в Астрахани. Ну там что – селёдкой кормили, пить не давали – это понятно. Но там, значит, было такое наказание, карцер такой своеобразный. Была какая-то вот такая площадка – абсолютно ни окон, ни дверей. И снизу поднималась вода, – человек мог только вот так стоять – и снизу поднималась вода, и он не знал, когда она остановится. А оказывается, там как-то следили и когда вот до сих пор вода поднималась, её выключали. А человек не знает – может, вот сюда она подойдёт.

Так что всё было.

А мамина приятельница тётя Дуся – совершенно прелестная была женщина. Муж у неё был инженер, работал в Крытом рынке – там какое-то оборудование. И вот когда там случился этот взрыв – тоже в тридцатом каком-то, я уже не помню году, его сразу расстреляли. А её посадили. У неё было двое сыновей – детки в приют или куда там отправили, её куда-то на Дальний Восток. И она выжила благодаря тому, что она необыкновенная была в этом смысле счастливица. Она говорит – мне только стоит голову положить, а ноги там неважно. И она засыпала. И потом она была такая приветливая, такая ласковая. У неё не было там, – ни Нина, ни Федя: Ниночка, Лёлечка, всё

так... И она выжила. А из детей там младший был – или наоборот, старший – Борис, у него стала шизофрения. Он так и умер в психушке. Но тем не менее у него какие-то просветы наступали, она его брала домой и она говорила – нет, Боринька хороший. И вот в какие-то минуты на него опять что-то находило: – Боринька хороший...

Прожили.

А брат моложе на десять лет. Он был инженером, работал в научно-исследовательском институте, на четвёртой, что ль, Дачной. Вот закрыли этот институт, такой известный был – закрыли его в девяностые годы...

...а с учёными это вот тяжелее. Потому он по-другому оценивает историю советскую, чем я. Да! Он мне один раз сказал: – Сталин спас русский народ! – Я прямо обомлела. Это как же он спасал-то? Это я вам говорила, что в двадцать втором году Ленин увидел, что народ голоден, голый и босый – ввёл НЭП. И несмотря на то, что хозяев всех – кто к стенке, кто успел уехать – оставались люди, которые знали дело и буквально, ну в считанные месяцы всего стало много, всего можно было купить. И всё, что сделал, – Сталин после смерти Ленина отменил НЭП, отменил ПОМГОЛ – помощь голодающим... Потому, что народу было много – не прокормить. Ну, тут конечно – вот это вот взаимное уничтожение: отец на сына – брат на брата. Народу поубавилось, но всё равно много. Тогда, значит, придумал коллективизацию – полностью разорил крестьянство, уничтожил крестьян совершенно.

У нас в тридцать третьем году просто на улице валялись трупы. В Саратове с улиц по утрам грузовики собирали умерших с голода. Детские игры наши – ребятишками забралась в морг при университете, а там на наших глазах у мёртвого человека поднятая рука медленно опустилась. Потом узнали – ничего сверхъестественного, оконечившие мышцы расслабились...

Нам повезло, конечно. Чего мы только не рассмотрелись.

Тут пошёл уже великий террор – опять народу поубавилось. Задумал – в Финляндию полезли: – ещё там полтора миллиончика оставили. Ну, тут уж приспела Великая Отечественная. А когда началось всё – в ужасе девять дней не мог народу показаться... А начал-то – не товарищи, даже не граждане, а братья и сёстры – вспомнил своё семинарское прошлое.

...единственный человек, который способен вызвать такую ненависть. А брат считает, что Сталин спас русский народ – так заявил! Этот упырь сидел в Кремле и навешивал себе разные эти, как они называются – военные чины и дошёл до генералиссимуса... Смех курам – генералиссимус!

А потом опять затеял дело врачей, космополитов – без конца уничтожал людей, без конца... сколько б ещё погибло светлых голов.

А сейчас обратно кто-то старается просто тащить – ужас просто. Это совершенно бесчеловечный человек – абсолютно. Вот уж они с Гитлером братья – оба недоучки, оба такие властолюбцы, оба недоверчивы подозрительно – бесконечно, оба не жалели людей нисколько.

Нет, – это такая людоедская тридцатилетняя была жизнь – ужас просто. Они мне говорят – Да никаких ужасов не было. – Это вот уже, значит, жена его – я говорю: – Галь! Ты в тридцать восьмом году родилась. Как ты могла знать что-то? – Ну, я всё же жила – всё-таки пятнадцать лет при нём жила. – Неужели ты думаешь, что родители вот детям могли об этом рассказывать? Там слово боялись сказать! А уж – когда машина останавливалась – это всё! – просто знали: – за кем только?

А лицемерие какое? Вавилов Сергей Иванович: – Я не могу быть Президентом Академии. У меня враг народа брат – Вавилов Николай Иванович. – Берёт трубку: – Лаврентий. Что там у нас с Вавиловым? Умер? Ах, какая беда. Такого человека не уберегли. – Ведь это надо, какой цинизм бесконечный!

Нет, нам, конечно, повезло очень. Чего мы только не рассмотрелись... воспоминания просто убивают. Ну вот! Это когда я вот так ночью не сплю, разговариваю с братом об этом времени – потом не то что уснуть, остаёшься с такой головой: – Все мы ходили под богом. / У бога под самым боком. / Бог жил не в заоблачной дали, / Его иногда видали, / Живого на Мавзоле. / Он был умнее и злее того, иного, / Другого по имени Иегова! –

Точно!

Ну, – всё удивительно! Ладно, девочки. Ничего. Живём.

Аудио-видео запись. Галина Беляева. 2018.

Из 2018 года

Маркс приближается...

У нас было много марксистов... Обстановка изменилась – и марксисты все куда-то исчезли. Возможно, притаились. Если завтра власть предъявит запрос на марксистов, то они, возможно, вновь появятся.

Марксизм очень удобен для преподавателей. Чем удобен? Тем, что думать не надо, в нём уже всё придумано. В марксизме удивительно простые правила, следуя которым, ты упрощаешь мир и создаёшь видимость его понимания... Я думаю, многие сегодня тоскуют... по истории как борьбе классов...

Маркс – это традиция. И не наша традиция... Европейская культура, можно сказать, Маркса «переварила», как свою неотъемлемую часть... Маркс стал уже прошлым, частью истории, а вот в России он «застрял». Он пока ещё наше настоящее... Почему? Потому что уже нет того общества, адекватной формой описания которого был «Капитал». Уже умерло трудовое общество, и капитал осуществляет своё движение вне связи с трудом. Теперь не труд определяет организацию общества, а общество определяет место, в котором труд влачит своё жалкое существование.

...Вот был у нас такой философ Мераб Мамардашвили, очень одарённый, очень эрудированный. Он, будучи абсолютным, как я теперь понимаю, антикоммунистом, долго и плодотворно сотрудничал в разных коммунистических изданиях. Типологически он равен был Горбачёву, который возглавил коммунистов, зная себя антикоммунистом. И тот, и другой были, по своему существу, провокаторами. Так вот, Мамардашвили однажды захотел обсудить какие-то проблемы европейской философии с Сартром. Но Сартр отклонил его предложение, пояснив, что не видит смысла встречаться с тем, кто не причастен к истории и духу европейской интеллектуальной мысли.

Конечно, мы и сейчас находимся в таком странном положении по отношению к европейской мысли – как туристы где-нибудь в Париже. Ну, вот Эйфелева башня, вот Лувр, вот Версаль – всё понятно, да? Но это не Париж – это его экскурсионная версия.

Вот такую «экскурсионную» демо-версию Маркса мы с радостью и приняли, и начали воплощать в жизнь... И ты начинаешь читать: «товар-деньги-товар», «деньги-товар-деньги»...

Но ведь на языке оригинала, на немецком языке – это вообще совсем другой «Капитал»! Немцы, конечно, могут к нему в любой момент вернуться, могут и не возвращаться – но это их Маркс, а не наш. Мы – не немцы. Мы – русские, вот в чём дело.

Фёдор Гиренко, доктор философских наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова // Завтра. Апрель-май 2017. № 17 (1273).

Воля – советская

– Что такое религия? – не унимался экзаменатор.

– Предрассудок Карла Маркса и народный самогон.

– Для чего была нужна религия буржуазии?

– Для того, чтобы народ не скорбел.

– Любите ли вы, товарищ Пухов, пролетариат в целом и согласны за него жизнь положить?

– Люблю, товарищ комиссар, – ответил Пухов, чтобы выдержать экзамен, – и кровь лить согласен, только чтобы не зря и не дуриком!

– Это ясно! – сказал экзаменатор и назначил его в порт монтёром для ремонта какого-то судна. Судно то оказалось катером, под названием «Марс». В нём керосиновый мотор не хотел вертеться – его и дали Пухову в починку. С. 20.

– Днём пришёл опять морской комиссар.

– Ну что, пустил машину? – спрашивает.

– А ты думал, не пуцу? – ответил Пухов. – Это только вы из-под Екатеринодара удрали, а я ни от чего не отступлю, раз надо!

– Ну ладно, ладно, – сказал довольный комиссар. – Знай, что керосину у нас мало – береги!

– Мне его не пить – сколько есть, столько будет! – положительно заявил Пухов.

– Ведь мотор с водой идёт? – спросил комиссар.

– Ну да, керосин топит, вода охлаждает!

– А ты норови керосину поменьше, а воды побольше, – сделал открытие комиссар.

Тут Пухов захохотал всем своим редким молчаливым голосом.

– Что ты, дурак, радуешься? – спросил в досаде комиссар.

Пухов не мог остановиться и радостно закатывался.

– Тебе бы не Советскую власть, а всю природу учреждать надо, – ты б её ловко обдумал! Эх ты, мехоноша!

Услышав это, комиссар удалился, потеряв некую внутреннюю честь. С. 22-23.

...ночевал в гостях Каждый знал, что его ждёт на улице арест, ночной допрос, просмотр документов и долгое сидение в тухлом подвале, пока не установится, что сей человек всю жизнь побирался, или пока не будет одержана большевиками окончательная победа.

А меж тем крестьяне из северных мест, одевшись в шинели, вышли необыкновенными людьми, – без сожаления о жизни, без пощады к себе и к любимым родственникам, с прочной ненавистью к знакомому врагу. Эти вооружённые люди готовы дважды быть растерзанными, лишь бы и враг с ними погиб и жизнь ему не досталась. С. 25-26.

– Ты – рабочий? – спрашивал Шариков у Пухова

– Был рабочий, а буду водолаз! – отвечал Пухов.

– Тогда почему ж ты не в авангарде революции? – совестил его Шариков. – Почему ж ты ворчун и беспартиец, а не герой эпохи?..

– Да не верилось как-то, товарищ Шариков, – объяснял Пухов, – да и партком у нас в дореволюционном доме губернатора помещался!

– Чего там дореволюционный дом! – ещё пуце убеждал Шариков. – Я вот родился до революции и то терплю! С. 36.

– Пухов! Война кончается! – сказал однажды комиссар.

– Давно пора – одними идеями одеваемся, а порток нету!

– Врангель ликвидируется! Красная Армия Симферополь взяла! – говорил комиссар.

– Чего не брать? – не удивлялся Пухов. – Там воздух хороший, солнцепёк крутой, а Советскую власть в спину вошь жжёт, она и прёт на белых!

– При чём тут вошь? – сердечно обижался комиссар. – Там сознательное геройство! Ты, Пухов, полный контр!

– А ты теории-практики не знаешь, товарищ комиссар! – сердито отвечал Пухов. – Привык лупить из винтовки, а по науке-технике контргайка необходима, иначе болт слетит на полном ходу! Понимаешь эту чушь?

– А ты знаешь приказ о трудовых армиях? – спросил комиссар.

– Это чтобы жлобы слесарями сразу стали и заводы пустили? Знаю! А давно ты их ноги вкрутую ставить научил?

– В Реввоенсовете не дураки сидят! – серьёзно выразился комиссар. – Там взвесили все за и против!

– Это я понимаю, – согласился Пухов. – Там – задумчивые люди, только жлоб механики враз не поймёт!

– Ну, а кто ж тогда все чудеса науки и ценности международного империализма произвёл? – заспорил комиссар.

– А ты думал, паровоз жлоб сгондобил?

– А то кто ж?

– Машина – строгая вещь. Для неё ум и ученье нужны, а чернорабочий – одна сырая сила!

– Но ведь воевать мы научились? – сбивал Пухова комиссар.

– Шуровать мы горазды! – не сдавался Пухов. – А мастерство – нежное свойство! С. 37-38.

– Чего ж твои монтеры делают? – спрашивал политком.

– Как что? Следят непрерывно за судовыми механизмами!

– Но ведь они не работают! – говорил политком.

– Что ж, что не работают! – сообщил Пухов. – А вредности атмосферы вы не учитываете: всякое железо – не говоря про медь – враз скиснет и опаршивеет, если за ним не последить! С. 39.

– Ты зачем приехал? – спросил Шариков, ворочая большие бумаги на дорогом столе и разыскивая в них толк.

– Укреплять революцию! – сразу заявил Пухов.

– А я, брат, Каспийское пароходство налаживаю, только ни хрена не выходит! – просто объяснил Шариков.

– А ты чего писцом стал: бери молоток и латай корабли лично! – разрешил Пухов мучения Шарикова.

– Чудак ты, я ж всеобщий руководитель Каспийского моря! Кто ж тогда будет заправлять тут всей красной флотилией!

– А чего ей заправлять, раз люди сами работать будут? – разъяснял Пухов, ничего не думая.

Шариков, однако, скучал по корабельной жизни и тяжело вздыхал за писчим делом. Резолюции он клал лишь в двух смыслах: «пускай» и «не надо». С. 42-43.

– Общность! Теперь идёшь по городу, как по своему двору.

– Знаю, – согласился Пухов, – твоё – моё – богатство! Было у хозяина, а теперь ничьё!

– Чудак ты! – посмеялся Зворычный. – Общее – значит, твоё, но не хищнически, а благородно. Стоит дом – живи в нём и храни в целом, а не жги дверей по буржуазному самодурству. Революция, брат, – забота!

– Какая там забота, когда всё общее, а по-моему – чужое! Буржуй ближе крови дом свой чувствовал, а мы что?

– Буржуй потому и чувствовал, потому и жадно берёт, что нагрбил: знал, что самому не сдирать! А мы делаем и дома, и машины – кровью, можно сказать, лепим, – вот у нас-то и будет кровно бережливое отношение: мы знаем, чего это стоит! Но мы не скудимся над имуществом, другое сможем сделать. А буржуй весь трясся над своим хламом! С. 58.

...с Пухова взяли подписку – пройти вечерние курсы политграмоты. Пухов подписался, хотя не верил в организацию мысли. Он так и сказал на ячейке: человек – сволочь, ты его хочешь от бывшего Бога отучить, а он тебе Собор Революции построит!

– Ты своего добьёшься, Пухов! Тебя где-нибудь шпокнут! – серьёзно сказал ему секретарь ячейки.

– Ничего не шпокнут! – ответил Пухов. – Я всю тактику жизни чувствую. С. 67.

Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены...

– Хорошее утро! – сказал он машинисту.

Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал: – Революционное вполне. С. 71-72.

Андрей Платонов. Сокровенный человек // Происхождение мастера. Повести, рассказы. Кемеровское книжное издательство. 1977.

Тюрьма – мама, лагерь – папа

– Базарить за наш разговор не надо, приказ есть секретный об уничтожении воровских группировок... Сукам дали три вагона. Катают по каторгам. Трюмят всех подряд. С.224.

– Значит, этап пришёл...

– Ночь! Какие этапы?!

– Всё-то ты знаешь, тебе бы с Хрущёвым работать.

– Посидишь с моё...

– Сучий этап. Все педагоги со стажем, и трюмиловки не избежать.

– Воров суки режут... Как скот. Отречения не просят, режут, и всё тут...

– Охрану сняли...

– Вот ты... Ты – законопреступник и таковым себя признаёшь. Я же живу по своим законам. Их не преступал, следовательно – сижу безвинно. Греха на мне нету. Он – подо мной. Я над ним царствую. Ты – под грехом... Задавил тебя, как крест в сто пудов. Того и гляди – жилы лопнут. Разное у нас состояние.

– Но сидим-то всё равно вместе?

– Вместе, да по-разному. Дома я, Вадим. Худой, но мой. Ты непрошеным гостем посидживаешь, никак с собой не умиришься...

– Партия тоже царствует над грехом, потому безгрешна.

– Э-э-э! Ереси у тебя в голове много. По-твоему, воров стать – всё едино что в коммунисты записаться? Слепой ты, разницы не понимаешь существенной. Партия – сучье стадо, где чем больше соврешь, тем выше взлетишь. Самый большой лгун в Мавзолее лежит. Все на него косяка давят и думать должны по-евонному. Свои мысли – под замок, а коли какая выскочила, как у тебя, допустим, значит, самого замкнут. Но человек – существо вольное, имеет соблазн рассуждать. Теперь подумай и прикинь: кто ближе к человеческому образу, вор или коммунист?

– Я – историк по образованию, – весомо произнёс ээк. – Много лет работал в государственном партийном архиве. Защитил докторскую, полиага оставалось до членкорства... и несколько ослеплённый успехами... Так вот, писал выступления виднейшим государственным деятелям. Естественно – общался, беседовал. ...В своё время, будучи студентом, пивал чай у самого Емели Ярославского (Миней Израилевич Губельман. 1878-1943. – **Прим. В.Л.**). Емеля меня ценил, предрекал большое будущее.

– Четвертак! – хохотнул Никанор Евстафьевич. – А дали только полтора червонца. Обманул тебя твой корешок.

– Академик, – вздохнул с какой-то безнадежностью Соломончик. – но... мне грустно это констатировать... академик был бо-о-льшой подлец! Многие из представителей ленинской гвардии, с которыми встречался ваш покорный слуга, оказались при ближайшем рассмотрении людьми, порочными от мыслей до действий. Трусливыми, а потому жестокими и, уж конечно, ограниченными. Ну, разве что Троцкий... Да, пожалуй, Троцкий был не таким, как все. В нём билась живая идея революционного фанатика, ради которой он был готов пожертвовать всем.

– Но только не собой, – поправил Голоса Никанор Евстафьевич.

– Владимир Ильич... Одно могу сказать после прочитанного, услышанного от его соратников, прочувствованного, особенно в Бутырках: Ленин – не выбор истории, он – выбор определённой группы людей, стремившихся к власти. Всё-таки Ульянов для русского человека, безущего грабить свою страну, предпочтительней, нежели Губельман или Джугашвили. Позднее он будет готов принять любое – татарское, еврейское, грузинское или азербайджанское – иго... революция. Местечковые евреи с пистолетиками, вечно пьяные русские с винтовками или за ограниченными, жаждой власти и насилия самовыдвиженцами, чтобы реализовать мечту о всеобщем грабительском равенстве. На всех не хватало... Кстати, мы с вами тоже продолжатели этой революции. И я, и вы, и...

– Не путайся! Тож мне – членопутало! Воры, коли они честные...своё место в человеческом беспорядке имеют. Оно у них, как у волков среди другого зверья. Однако в каждом звере есть немного

волка, а уж в каждом человеке... он рождается, а в ём вот такусенький... прямо крохотный ворюшка схоронился. И ждёт. Должность получил... опартиелся. ...Хапнул... – осмелел. Власть получил в райкоме или горкоме. Степана Степаныча в тюрьму устроил, его хоромы прибрал. Еврея Израйлича добровольно поделить заставил. Двумя жизнями жить начал: фраерской для виду, а по нутру... Э, нет, Соломончик, не угадаешь. Не воровской. Сучьей жизнью по нутру он живёт И потому весь наш советский мир – сучий!.. Из Троцкого, если тебе верить, плохонький вор получиться мог, а вот из Сталина ничего хорошего, окромя бандита, даже Маркс сотворить не сумел. Порода двуличная!.. У нас, воров, не хмыкай, Вадим, есть особая прилипчивость к жизни... Изводить нас не просто, но можно. Куда сложнее с суками да с коммунистами сражаться будет. Придёт такое времечко. Придёт! У них же на одно рыло – две жизни. Какая главная – сами не знают, а чтоб без обмана существовать – не получается. Нахлебается с ними Россия... Чё Никанор видел в своей жизни? Если любовь, то у педерастов, свадьбу опять же меж имя. Срам один, насмешка над святым делом продолжения рода человеческого. Может, эта власть своей род выводит? С. 427.

– Потерпи, потерпи. Чёй-то там, за зоной, происходит? Сталина трюмят. Всё им содеянное оказалось противным ленинскому курсу партии. Одного в толк взять не могу: что ж она – лошадь слепая, партия эта? Не видела, куда её ведут? Ещё народ за собой тащила, сука... С. 258-266.

– А коммунизм вам не жалко?

– Коммунизм мы уже имеем. Здесь, в зоне: при равных возможностях одни пьют чай с мёдом, другие умирают с голоду... Чудесно действует искушение на взращённого социализмом чиновника. Поднимаясь по служебной лестнице, он открывает для себя простой, лёгкий мир обмана, где можно жить, не прибегая к помощи совести, лишь повторяя то, что следует повторить. Существует огромный, сплочённый сытой бессмыслицей класс бессовестных потребителей. Я тоже так жил... О, как утончённо пестуют идеологию указанного безделья учёные, журналисты, писатели, партапаратчики, особенно, конечно, чекисты. Но у них хватает мозгов подумать о пополнении корыта.

– Староста, почему ваши люди не присутствовали на политинформации?..

– Во-первых, гражданин начальник, – примирительно улыбнулся Никанор Евстафьевич, – это не люди, а воры, они скоро отомрут сами. Во-вторых, политику знают назубок. Слышь, Крах, кто такой гражданин Хрущёв?

Эк цыкнул зубом, оглядел капитана, как неисправимого двоечника опытный педагог: – Верный ленинец, боец за дело мира и торжество коммунизма! Специально вылез из шахты, чтобы занять место на капитанском мостике. Непременно займитесь материалами последнего Пленума. Принципиальный, взыскательный разговор, вдохновляющее постановление! А Никита Сергеевич! Слов нет. Трудно с ним империалистам... С. 369.

... – Ну, дойдём мы до сияющих вершин, ну, залезем на самую высокую макушку. Дальше что?

– Будем жить при коммунизме. И плевать сверху на капиталистов.

– Вас куда девать, гражданин начальник?

– Меня? Я. тебя и при коммунизме охранять буду. В зоопарке... С.268.

Заместитель начальника лагеря по политической части майор Рогожин обладал зычным голосом и полным отсутствием чувства юмора... – Путь исправления, путь от преступления к его осознанию труден. Другого пути нет! Партия видит и поддерживает тех, кто, неукоснительно следуя её установкам, шаг за шагом завоёвывает себе право на счастливую, свободную жизнь в самом передовом обществе на планете! С. 364.

– К вечеру перед входом на участок должен быть лозунг... чтобы мурашки по коже.

– Лично меня от этого трясёт. – Ольховский кивнул на теплушку, где висел лозунг «Коммунизм – неизбежен!». – Страшно подумать!

– Боишься, вражина, коммунизма, – торжествовал Зяма, – а как возьмём и построим?!

– Предлагаю: «Мы придём к победе коммунистического труда!», – бросил на ходу Ведров и через плечо уточнил: – Это тоже Ленин.

– Другому такое хрен придумать, – согласился Калаянов. – Ну что, Борман, съел?! Мы придём, а вас не пустят.

– Решено, Селиван! Иди – рисуя. Без ошибок только! С. 367.

Только Дьяк остался недоволен написанными Барончиком на красном полотнище ленинскими словами «Мы придём к победе коммунистического труда!». – Как так – «придём»? – ворчал вор, пряча в глазах ухмылку. – Приведут, никуда не денешься. С. 379.

– ...родитель Никанора, Евстафий Иванович Дьяков, пять лет содержался под моею опекой в тюрьме. Себя уважал и закон свой чтил. Что может быть выше блатного закона? Только Закон Божий! И хотя они во всём разнятся, всё-таки человек с лицом и именем им руководствуется. А тюрьма, тюрьма какая раньше была! Это же не тюрьма – сплошное благородство! Собственными глазами читал отзыв о посещении 27 ноября 1898 года матушки нашей поверенного в делах Северо-Американских Штатов господина Герберта Пирса. Он пишет: – «Я с искренним удовольствием удостоверяю, что, насколько я наблюдал, нигде в мире к арестантам не относятся с большим человеколюбием, и в немногих лишь государствах – столь человеколюбиво, как здесь, судя по всей совокупности тюремного устройства». Каково?!... Коли нет у человека своей линии, коли он на поллитрамоте лбом бьёт пол перед хозяином, а вечером крысятничает, слабого грабит... Воры, ты уж извини, Никанор Евстафьевич, тоже измельчали. Но тлеет в них ещё уголёк, дай-то Бог, не навсегда умершей России. Мне всех они поменялись. На Россию смотреть страшно. Нет России, один коммунизм остался. Я к нему через решёточку присматривался... С. 381-383.

...За окном рубило шаг молодое поколение чекистов, встряхивая песней мглистое осеннее небо: – Нас в бой за партией ведёт товарищ Берия!..

Главная улица, носившая когда-то имя Лаврентия Павловича Берия, была переименована в улицу имени Павлика Морозова. Бывшая контрольная будка, по-местному – рыгаловка, приспособлена под киоск товаров повседневного спроса, из которых спросом у населения пользовались спирт да табак. Через вечно распахнутую дверь видно отёкшее, чуть презрительное лицо «битой» продавицы с торчащей из толстых покрашенных губ папиросой. На каждого покупателя продавица смотрела как на личное несчастье: – Шо тебе, одуванчик? – Спирт наливается из большого цинкового ведра, специально сплюснутого, прямо в чашку весов. Весы вздрагивают, продавица, перебросив папиросу в угол рта, выдаёт команду: – Хлебай! Быстро, козья морда! – Клиент хватает чашку за края, подправляя ладонями течение жидкости, без рывков запрокидывает голову. Уф! Кидает чашку на прилавок. Опрометью бросается через высокий порог, расхлыстанные ступени крыльца и припадает грязными губами к мутной луже. – Хорошо! – А из рыгаловки уже несётся следующий обслуженный клиент. С. 430-431.

...по этой дороге с такими же опухшими от ночных попок лицами отправятся на службу офицеры, держа под руки злых жён с припудренными синяками. У рыгаловки мучительной дрожью ожидания затрясётся рабочий люд Страны Советов, пылая ненавистью к огромному амбарному замку, охраняющему их законное стремление загасить огонь желания и отметить, как вечный праздник, наступающий трудовой день. Буфетчица придёт, откроет замок, разбудит надежду на светлое будущее. С. 442.

Подмена. Фальшь-жизнь. ...цель могла быть не так конкретна. Её определила направленность не прерывавшегося разговора бывшего члена Союза писателей, называющего себя «выдающимся придурком социалистического реализма» с заинтересованными ворами:

– ...Маркс по пьянке проиграл в немецкой тюрьме свою бороду Владимиру Ильичу. А тот... Змей понтовитый, под гуманиста хлял. Чтобы скостить грешок отцу-основателю. Взял бритву и на глазах у воровского европейского пролетариата побрил Карлушу как яйцо. Человек, естественно,

расстроился: какой же он Маркс без бороды?! Стал тогда Маркс пугать нашего Ильича призраком, который в это время в самом деле шлялся по Европе. Ленин, не будь дураком, откинулся из немецкой тюрьмы, подвалил к тому призраку, наполнил и притащил в Россию в крытом вагоне. Что они натворили, вам рассказывать не надо. Призрак так и не протрезвел...

Воры посмеивались сдержанно, на всякий случай, чтобы не выдавать своей неосведомлённости о смещении времени опальным писателем. А один, по всей вероятности живущий в сомнениях жулик, Чёрт – кликуха, попытался вяло возразить: – Лишка двигаешь за Ильича, фраер. Воры его уважают...

– Потому и толкую за его большевистскую дерзость: ну кто бы ещё догадался Маркса побрить?! Один из его кентов, эсер, тоже шпанюк, но бледной масти, слинял с нашей социалистической зоны и писал Картавому уже со свободы. Щас вспомню, что он ему писал: – «Вы одним росчерком пера, одним мановением руки прольёте сколько угодно крови с чёрствостью и деревянностью, которой позавидовал бы любой выродок из уголовного мира».

– Ну, это бандитский базар! – обиделся старый законный вор Лапша. – Ты его к нам не притусовывай.

Писатель: – Вы думаете: мы – люди?! Держи карман шире! Мы – блюдо. Бесовское блюдо, рецепт которого составил алкоголик Маркс, Ленин – поварёшка, а хавает нас Сатана.

Писатель широко улыбнулся Лапше: – Вопросы есть?

– Ты хочешь сказать – главный чёрт в доле с коммуняками?

– А ты думал – он твой поделщик?!

Вор не ответил на дерзость. Вор задумался... С. 418-420.

– Борман, запевайте! – потребовал Калаянов, сам подхватил режущим фальцетом: – Гражданин начальник, я ваш рот имел! / Вы меня не кормите – / Я очень похудел! С. 441.

...во дворе испуганно взлаяла собачёнка, оборвалась пьяная песня, но немного погода возобновилась: – Выпьем за Родину! / Выпьем за Сталина! Выпьем и снова нальём! С. 119.

...с покойников уже стащили рубахи, сапоги и даже кальсоны. Старишина подошёл к лейтенанту и доложил без излишних формальностей: – Вроде сдохли. Стрелять будем? – Как хотите. Только побыстрее! – Все куда-то торопятся, а порядок кто соблюдать будет? – ворчал Стадник, поставив автомат на одиночный выстрел. Старишина методично выстрелил в грудь каждому, кроме Культиялова, чья грудь была занята портретами вождей мирового пролетариата: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Культияпову пришлось стрелять в живот. С. 71.

– Досрочно освобождённые, – сказал вслед похоронной процессии Вербов, сербая простуженным носом.

– Не глумитесь, – попросил недавний сосед по карцеру. – На всё воля божья.

– Чепуха! Было время, весь в загадках измотался, а Бога вашего не познал.

– Неверие есть духовная слепота. Пребывание на земле в том состоянии не наказуемо, ибо Вседержитель больных не карает.

– Вы кто такой, чтоб морочить людям голову?!

– Монах.

– По знакомству мог бы оказать милосердие, – что ж тогда Господь о вас не позаботился?!

– Вы не в том расположении духа. Но сказано: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное...»

– Да пошёл ты! Все извилины заплёл.

Монах не обиделся. А Ведров и дальше продолжал выкрикивать полушёпотом что-то о моральной трусости и опиуме для народа. Бывший сокамерник улыбнулся одними глазами и ушёл в себя.

Он видел далёким зрением души угасающего от телесной ветхости отца Никодима и слышал

его едва шелестящий голос: – Уйми гордыню, брат мой, изгони крамолу из речей своих. Паства должна знать одно: всякая власть – от Бога! – От кого нынешняя, святой отец? – Власть нынче антихристовая. Обличать её воздержись: терпение дарует терпеливому мудрость...

– Благодарствую, святой отец мой. Только «возложивший руку свою на плуг и озирющийся назад не благонадёжен для царства Божия», кое стремимся стяжать мы с вами... С. 72-73.

Отвоевали себе тюрьмы, лагеря, несчастных детей и жён. Ты строишь, воюешь, защищаешь, охраняешь и одновременно сидишь в огромной тюрьме с удивительно поэтичным названием – Россия. С. 296. Завтра ему пробьют в голове дырку, присвоят номер. Всё это станет доказательством его смерти. Доказательств жизни нет. Он войдёт крохотной безликой цифрой в общий строй строительства социализма по строго засекреченной графе добычи драгметалла. С. 456-457.

После двенадцати лет колымских лагерей освобождали парторга оборонного предприятия Дурасова. Невинность доказали те, кто в своё время доказал виновность. Нынче он седой, беззубый, целует чудом сохранившийся партийный билет. Благодарит, присягает на верность собственным палачам. Ползучее существо! Очистки на помойке жрал, за чёрствую пайку звери тебя в сушилке пользовали.

Благодать нисходит на смиренных... Только бы вырваться! ...строить коммунизм, благовать, воровать, предавать, наполнять партийностью литературу и искусство, соединяя в несчастном, донельзя порабождённом человеке низкую подлость с высокой гордостью пустого звука – «советский»! С. 405-408.

...Художник, иконописец, который рисовал иконы с такой чудесной благодатью, что им верили даже атеисты, сказал однажды в сушилке: – Понимаете, какой ужасный этот созданный революцией мир, если воры в нём – народные герои.

Он жил чистым, белым чувством творца, им оценивал бытие, но не имел слуха на опасность. Заколотый в сумерках у туалета, Яков Михайлович улыбался бережно принявшей его смерти. Печальный Никанор Евстафьевич попросил отца Кирилла отслужить молебен за упокой души раба Божьего и распорядился опустить им же посланного убийцу до уровня дырявого «петуха».

Вор не желал гибели человека, так искренне презиравшего большевиков, однако не сумел простить подобного отношения к своим серым братьям.

Талант опасен, особенно такой неосторожный. С. 470.

И опять происходило что-то важно-бесполезное: рововской дух сменял дух сучий, но человеческим так и не пахло. С. 465.

Высоцкий Владимир Семёнович. Мончинский Леонид Васильевич. Чёрная свеча. М.: Хранитель, 2007.

Продолжение следует

Контакты:

Анна Сафронова (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (*документальные исследования*): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (*архивные публикации, критика*): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (*проза*)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

Подписано в печать 20 июня 2018 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.